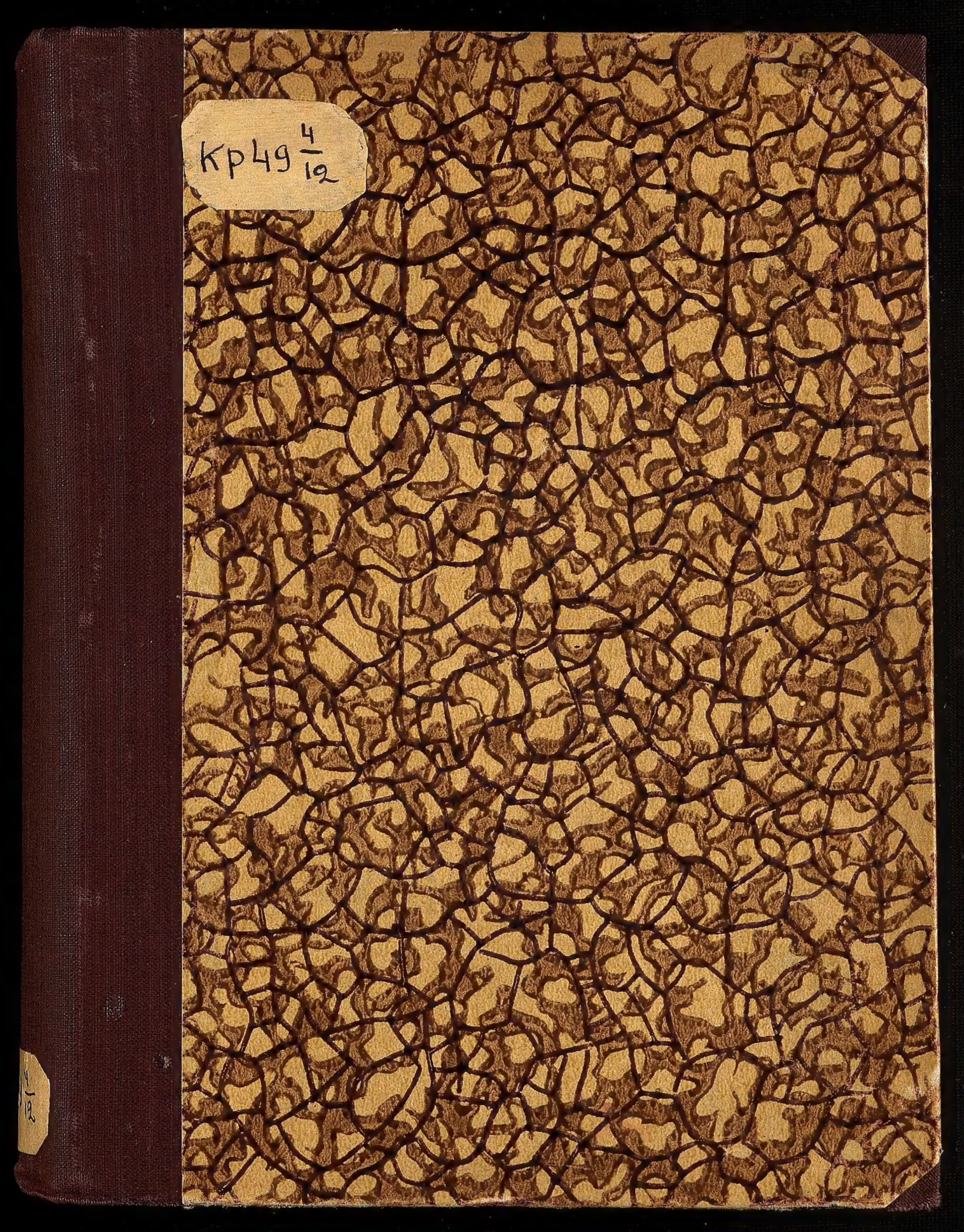
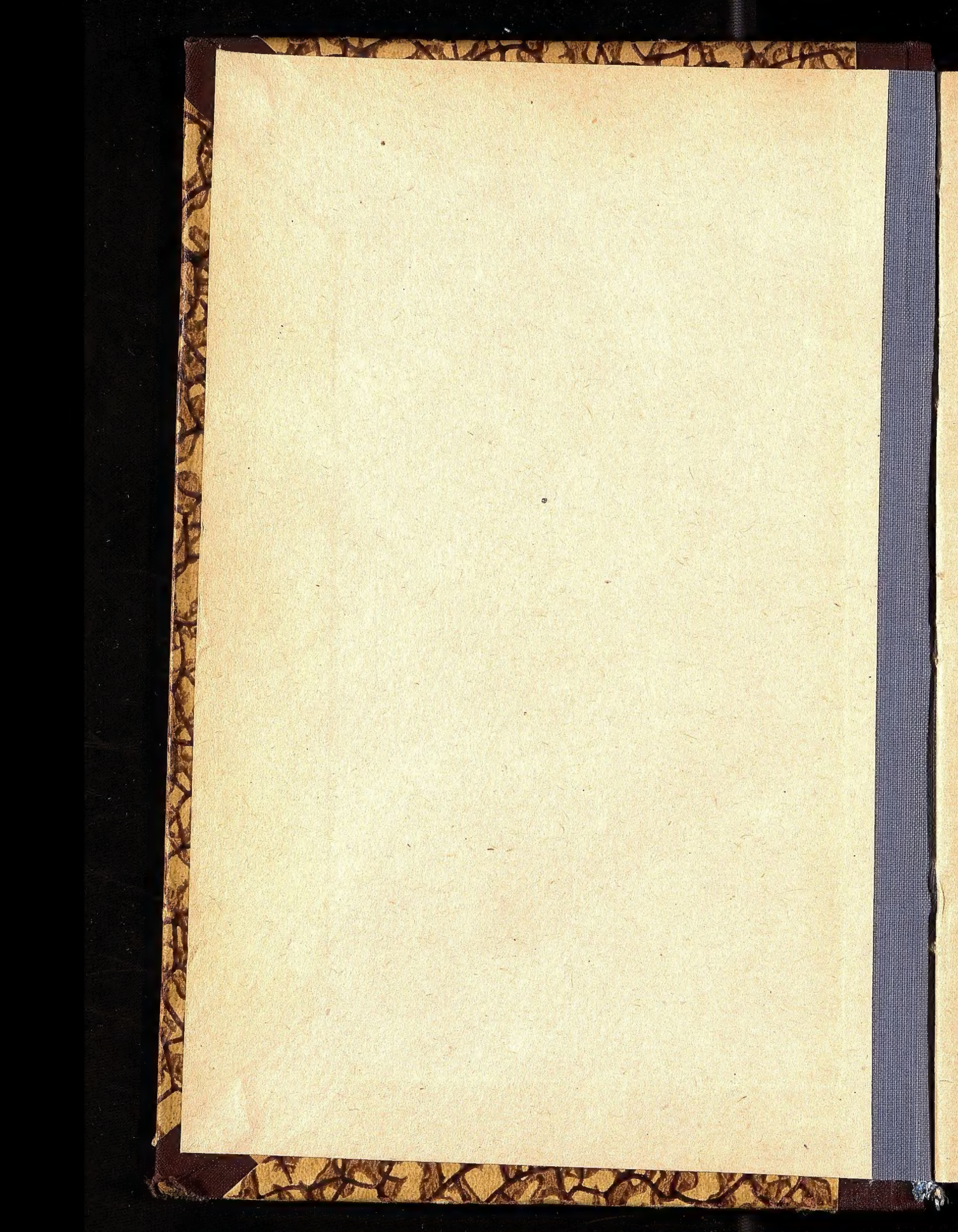
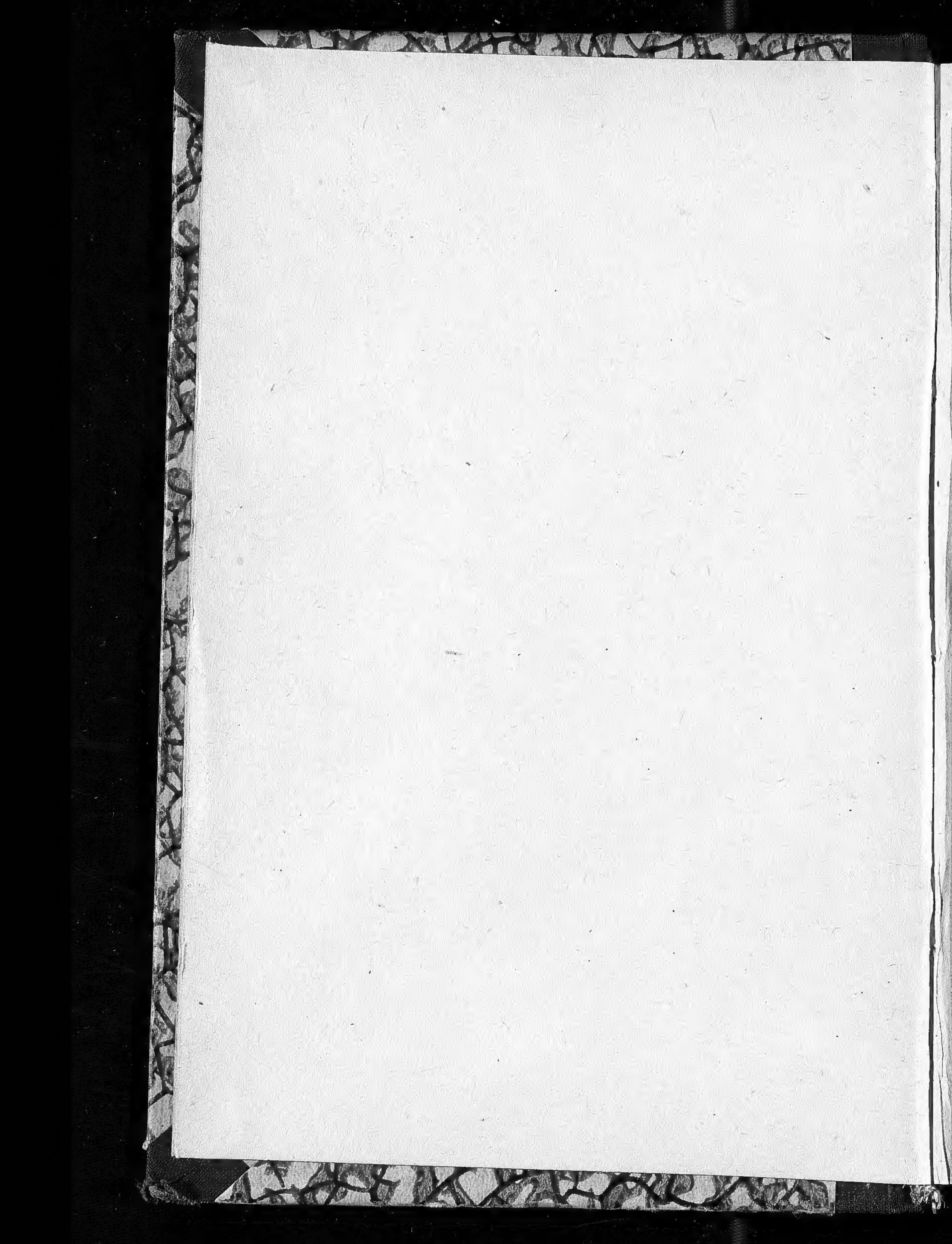

Kp49 4/12





М. ЛЕМКЕ

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
В РОССИИ 1860-х гг.
ПО АРХИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА — ПЕТРОГРАД
1923

Мих. Лемке

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ в России 1860-х гг.

(ПО АРХИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ)

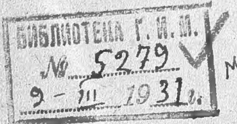
ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА ⊟ 1923 ⊟ ПЕТРОГРАД

Типография им. тов. Володарского.
Петроград, Фонтанка, 57.

Гиз № 4420. 16. IV. 23. — 7000 экз. Петрооблит № 6819.

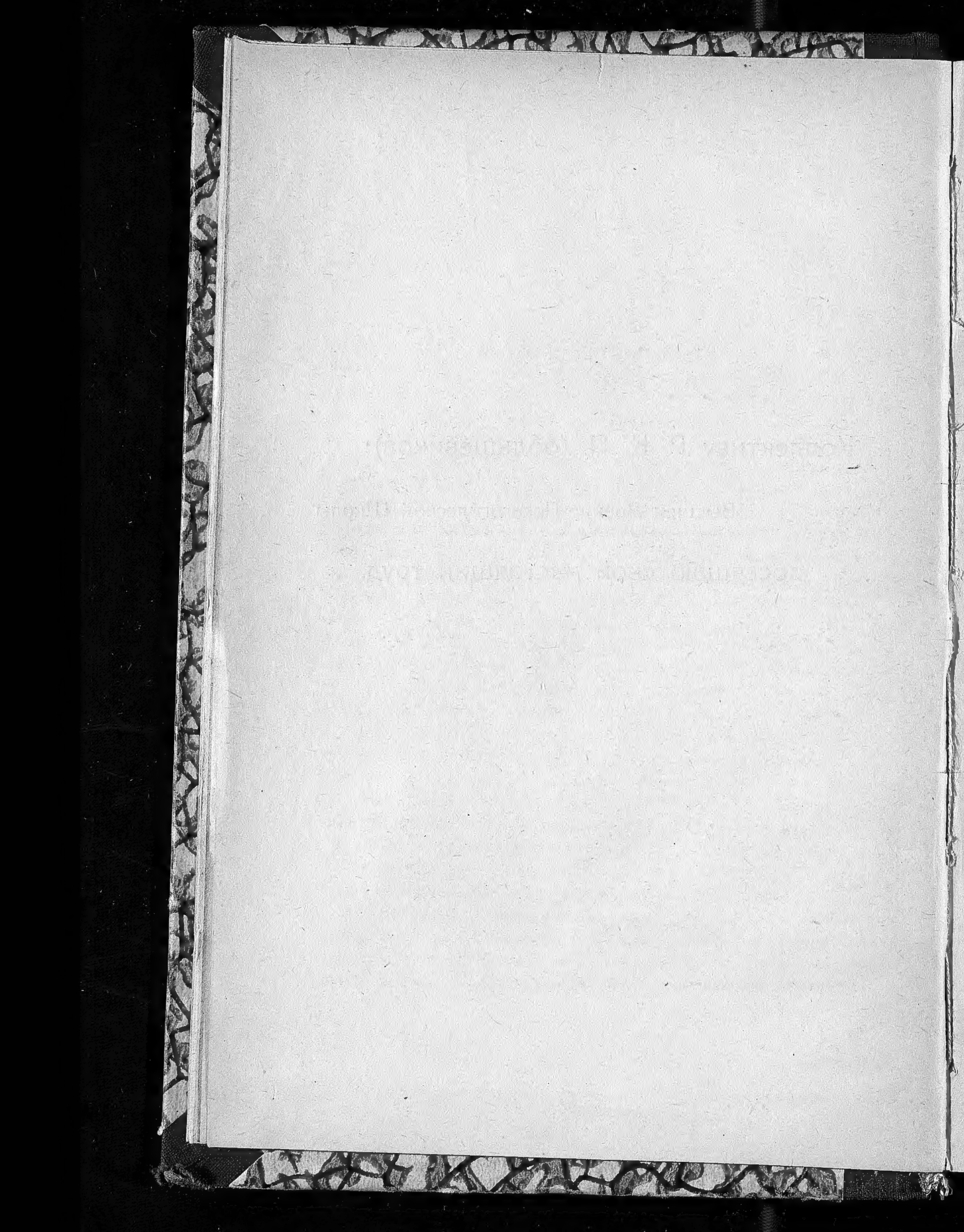


Коллективу Р. К. П. (большевиков)

Высшей Военно-Педагогической Школы

посвящаю свой настоящий труд.

Автор.



ПРЕДИСЛОВИЕ.

Период так называемых «шестидесятых годов» (1855—1866) — один из самых интереснейших этапов нашего революционного движения. Не потому, что тогда произошло какое-нибудь серьезное революционное действо, а потому, что он выдвинул новый фронт политической борьбы, нового борца. До шестидесятых годов против феодального и крупно-буржуазного русского правительства начал бороться только класс среднего дворянства, несший на своем знамени *либеральный монархизм*. В новую, глубокими экономическими причинами обусловленную эпоху начинает укрепляться новый класс — детище промышленного капитала, впервые начавшее себя обнаруживать с конца 1840-х годов, — мелкая буржуазия с политическим знаменем *буржуазного демократизма*. Знаменосцем выступила разночинная (мелко-буржуазная) интеллигенция, тогда, с некоторым отклонением от западно-европейской классовой группировки, начавшая складываться в очень реальную и активную группу борцов. Ее крайнее левое крыло подняло одновременно и рядом еще и второе, более яркое знамя: *социально-революционное*.

Если социальные революционеры, носившие тогда кличку «радикалов», не склонны были итти на блок с дворянством и крупной буржуазией, то буржуазная демократия охотно допускала единый фронт борьбы с либеральными монархистами, конечно, до определенного момента (созвания Земского Собора), когда пришлось бы разойтись и выступить друг против друга. В свою очередь либеральные монархисты, убежденные в своей силе, склонялись на такое блокирование, панически боясь, однако, непримиримых радикалов. Персональная принадлежность к тому или гдруому из трех течений таких людей, как Герцен или Чернышевский, вовсе не так проста, как ее трак-

туют многие, трафаретно возводя первого в вожди либеральных монархистов, а второго ставя во главу буржуазного демократизма. Этого рода вопросы требуют своего вдумчивого иного решения.

Государственной власти предстояла борьба на несколько фронтов разом. Оба лагеря мобилизовались, и оба — одни со страхом, другие с радостной надеждой — верили в скорое наступление момента решительной схватки, которым считали лето 1863 года, когда, по убеждению левой интеллигенции, крестьянство должно было, поддержав, если не социалистов, то во всяком случае демократов, повалить в бой за свои права, нагло попранные в «великую» реформу 19 февраля 1861 года. Либеральные дворяне верили в благоразумие власти и полагали, что она пойдет на некоторые конституционные уступки, чтобы сохранить свое господствующее положение.

Ясно, что момент появления двух новых борцов очень важен и крайне интересен. Феодальное дворянство и крупная буржуазия не положили, конечно, своего освященного властью оружия. Не имея теоретически понятия о законе классовой борьбы, обозначавшиеся класссы тем не менее, как и всегда, вступали в долголетний и, конечно, непримиримый конфликт. Класс пролетариата еще не был скомплектован экономикой страны; промышленный капитал еще не дал тех его громадных рядов, которые пришли на сцену тридцать лет спустя и потом властно и победоносно разыграли генеральное сражение октября 1917 года. Крестьянство же, после весьма энергичных правительственных залпов и тюрем 1861 — 62 годов смолкшее, затихшее, еще долго и потом в своей массе не решалось поднять руку на государственную власть, осененную в его глазах священной мантией царя божиею милостью.

Естественно, что одновременно с своим нарождением разночинная интеллигенция начинала складывать свою социологическую и политическую идеологию, во многом заимствуемую с Запада, где буржуазия к тому времени была уже вполне действенным элементом классовой борьбы. Часть ее (не исключая и социально-революционной) поддерживает историческое мессианство России, основывая его на таких «особенностях», какова, например, крестьянская община.

Во главе активной части демократической и социалистической интеллигенции становится и долго идет ее молодежь. Она вторгается в армию и впервые пробует составлять ряды будущих революционных борцов не только из офицерского корпуса, но и из солдатской массы — момент очень важный. Впервые вступает в революционные ряды крестьянин; пусть часто хоатично, пусть младенчески, — нам важно это.

Вот, весьма вкратце, общее содержание эпохи.

Следуя предложению Государственного Издательства начать переиздание моих работ по истории революционного движения 1860-х годов с настоящей книги (впервые появившейся в 1907 году под заглавием «Политические процессы М. И. Михайлова, Д. И. Писарева и Н. Г. Чернышевского»), я подверг ее значительной переработке. Почему, однако, выделяются таким образом некоторые судебно-политические процессы, когда в сущности почти все движение той эпохи можно было бы изложить в виде таких же процессов?

Во-первых потому, что в этой книге исследованы именно такие процессы, из которых каждый является весьма знаменательным для своего времени и вместе с тем, до известной степени, образцом ему подобных.

Во-вторых потому, что в таком изложении самого хода развития процессов, как их создавала и вела правительственная власть, для современного читателя выясняется многое такое, что при более суммарной форме изложения осталось бы совершенно неизвестным и неоттененным.

В-третьих потому, что каждый из предлагаемых процессов выявляет определенный угол, под которым и правительственною властью и политическими противниками рассматривалось все революционное движение. Приверженность их к старому убеждению, особенно выделявшему вождей и мало считавшемуся с окружающей — а мы знаем — и выдвигавшей их массой, диктовала очень разнообразное отношение к таким людям, какими были Заичневский, Чернышевский, Михайлов, Писарев, Шелгунов, Васильев, Бабашинский и др.

Наконец, так как каждый из процессов, кроме двух последних, довольно полно освещает определенные моменты жизни и мировоззрения выдающихся по тому времени борцов и таким

образом дает нам возможность судить и о выдвигавшей и массе единомышленников из ряда разночинной интеллигенции, то особое внимание к этим процессам вполне, конечно, понятно.

Остальные процессы 1860-х годов будут изложены мною наряду с массою эпизодов и фактов в другой книге: «Очерки революционного движения в России 1860-х годов», для третьего издания мною весьма значительно перерабатываемой. Там метод исследования и изложения будет иной.

Переработка настоящей книги очень значительна не только со стороны фактического содержания, но и идеологической. Своим отверждением в последнем отношении я обязан великой пролетарской революции. Поэтому считаю своим, особенно приятным, правом посвятить эту первую свою не-идеалистическую книгу, в новом ее виде, той пролетарской партийной организации, которая в очень важный для меня момент личных духовных переживаний по-товарищески приняла меня в лоно РКП (большевиков).

Мих. Лемке.

15 июля 1923 г.
Петроград.

I.

Дело нелегального издательства и первой вольной типографии в Москве.



В мае 1861 г. московский митрополит Филарет писал царю: «Архиерейская присяга обязывает архиерея, в чрезвычайных случаях, писать к его императорскому величеству. Такой случай нечаянно мне представился. Неизвестный, пришед ко мне, сказал, что намерен открыть мне дело, касающееся до безопасности государства, для доведения до сведения в. и. в. Несмотря на замечание мое, что есть другие должностные лица, к которым правильнее он может обратиться, он, настояв на своем, прочитал мне принесенную им записку, в которой содержится перевод прокламации поляка Мерославского, из Парижа, от 1 дня сего мая, о способах приготовления и начатия восстания в Польше и Литве. При сем он представил означенную прокламацию на польском языке. Кроме сего, он об'явил, что в московском университете литографируются и в большом числе распространяются антирелигиозные и вредные политические сочинения, в доказательство чего и представил четыре литографированные брошюры. Он присовокупил, что то же делается в университетах: харьковском, киевском и казанском. Полагаю, что от проницательности правительства в. и. в. не скрыто, сколько истины заключается в вышеизложенных показаниях; тем не менее, долгом верности побуждаюсь не умолчать об оных пред в. и. в., представляя при сем вышепоказанные документы и адрес, по приглашению моему, собственноручно написанный показателем отставным подпоручиком Балашевичем. Бог правды да разрушит ковы врагов веры и отечества и да сохранит престол в. и. в. в мире, силе и славе» [1]).

Таким образом, Филарет рукоположил довольно известного шпиона Балашевича, потом «работавшего» в III Отделении, преимущественно за границей, под именем Потоцкого, иногда

[1]) „Собрание мнений и отзывов Филарета“ etc, т. V, ч. I, 68—69.

с прибавлением непринадлежавшего ему графского титула. С легкой святительской руки митрополита, Балашевич предал не мало русских революционеров, играл роль в столкновении Бакунина с Мерославским в 1862—63 г.г., обхаживал П. Л. Лаврова и т. д., и т. д.

Раньше, в марте, как увидим ниже, некий Николай Костомаров сообщал московскому обер-полицмейстеру о существовании общества по распространению всякого рода запрещенных и «возмутительных» изданий, но тот остался глух к этому заявлению.

В июне студент московского университета Петр Григорьевич Заичневский (родился в 1842 г.) отправился к своему отцу в Орловскую губернию и по дороге откровенно беседовал с случайными спутниками, развивая им свои социалистические и революционные взгляды. Один из спутников, назвавший себя Шеренвальдом, был до того возмущен, что обещал донести об этом кому следует.

Заичневский уже успел забыть об этом «патриоте», живя на природе, как 15 июля шеф жандармов получил донос, повидимому, от Балашевича, которому это дело было поручено московской полицией; в доносе указывалось на Заичневского и друга его, студента Перикла Эммануиловича Аргиропуло (родился в 1839 г.), как на людей вредных и опасных. В тот же день прикомандированному к III Отделению жандармскому подполковнику Житкову было предписано отправиться в Москву, вручить тамошнему полковнику Воейкову приказ об арестовании Аргиропуло и о проследовании дальше в Орел для арестования студента Заичневского, пребывавшего в имении своего отца. Затем Житкову предписывалось произвести аресты в один день и доставить обоих в III Отделение.

22 июля названные лица были арестованы.

В отношении их не малую роль сыграл студент Ворошилов, товарищ Аргиропуло; дело, начавшееся благодаря перлюстрированному письму Заичневского к своему другу, пошло «успешно» (с точки зрения III Отделения), именно благодаря Ворошилову, представившему полк. Воейкову еще некоторые письма, издания и личные об'яснения.

Любопытно, что, едучи с Житковым в Петербург, Заичневский,

по его рапорту, «был весьма откровенен и показал себя молодым человеком, хотя и увлекающимся по своему легкомыслию преступными идеями, но доверчивым и вообще правил весьма благородных. Он откровенно говорил ему, что они имеют в виду произвести переворот в России и рассчитывают в этом на содействие всех студентов, которых в России до 8.000, на войско, в котором полагают найти людей, сочувствующих им, достаточно для составления, по крайней мере, трех полков, и на тюремных арестантов; денежные же средства, думают они, могут доставить им раскольники. Заичневский выражал также много сочувствия к делу Польши и отзывался о поляках с большим уважением».

25 июля оба арестованные были доставлены в III Отделение одновременно с своими бумагами, взятыми на обыске, и с уликами, представленными Ворошиловым.

В начале августа был арестован и студент Леонид Ященко, также посаженный в III Отделение.

Найдено при обысках у Аргиропуло: 1) 29 литографированных листов сочинений Шевченка; листы эти и тетради не сложены и, «как видно, в употреблении еще не были»; на листах этих отлитографированы: а) начало «Кавказа», б) неоконченное сочинение «Послание и мертвым и живым» и в) начало поэмы «Иоанн Гусс»; все эти произведения писаны на малороссийском языке; 2) 435 также не бывших еще в употреблении литографированных листов сочинения Герцена «Запад»; 47 полных тетрадей, по 128 страниц каждая; 3) 173 литографированных листа 71 № «Колокола» за 1860 г.; 4) 3 экземпляра литографированных статей из сборника Герцена и Огарева «За пять лет (1855 — 1860 г.)», на восьми страницах; 5) литографированная статья, без начала, о смерти императора Павла I, за подписью Ростопчина, в конце которой написано: цена 10 коп.; 6) литографированные листы, заключающие в себе конец 3-го и начало 4-го письма Искандера о России и Франции; 7) из Лорана «О христианстве» без начала, один литографированный экземпляр, с 129 по 145 стр.; 8) два литографированные экземпляра сочинений Искандера, с 81 по 96 стр., заключающие в себе конец 3 - го и начало 4 - го письма Искандера, с 81 по 96 стр., заключающие в себе статьи: а) эпилог рассуждения о России, политического содержания и б) о сельских общинах

в России; последняя статья без конца; 9) собрание английских авторов, сочинения Карлейля, на английском языке; 10) портреты Герцена в 7 экземплярах и других лиц.

У Заичневского: 1) «Запад» Герцена в 2-х экз., каждый из них заключает в себе 16 первых страниц, а также литографированные листы этого сочинения, от 33 — 49 стр., с 65 — 96 в 3-х экземплярах, с 71 — 76 стр. и с 17 — 32 стр.; 2) 9 литографированных экз. 71 № «Колокола»; 3) литографированные листы из «Полярной Звезды» Герцена, с 65 по 80 стр., в двух экземплярах; 4) изданное в Брюсселе на французском языке сочинение Прудона «De la justice dans la révolution et dans l'église»; 5) изданное в Брюсселе сочинение Луи Блана на французском языке: «Историческое открытие»; 6) изданное в Париже сочинение П. Леру, в 2-х томах, «О человечестве»; 7) портреты Искандера в 4-х экземплярах, декабристов и польских эмиссаров.

У Ященка: 1) литографированный экземпляр Фейербаха «О сущности религии» на 112 стр.; 2) литографированная брошюра Огарева «На новый год», изданная им в Лондоне по случаю освобождения крестьян; 3) литографированный экземпляр 71 № «Колокола»; 4) литографированные статьи Искандера: «Россия до Петра», «Петр I» и «Литература и мнение публики после 14 декабря 1825 г.; 5) литографированное сочинение Герцена «О развитии революционных идей в России»; 6) литографированное, без начала, произведение Искандера «С того берега», с 4-й по 64 страницу; 7) литографированные статьи Искандера под заглавием: «Эпилог, о сельских общинах в России»; кроме того, к этой тетради приложены литографированные листы сочинения Искандера с 99-й по 168 стр.; в конце листов написано: цена 40 коп. сер.; 8) литографированные стихотворения Шевченка: а) «Кавказ», б) «Холодный яр», в) «Разрыта могила», г) «Думка», д) «Послание землякам, мертвым и живым», е) «Маркевичу», ж) «Из поэмы Иоанн Гусс» и з) стихотворение Чужбинского «К Шевченко».

Найденное у Петра Заичневского черновое письмо, от 27 июня 1861 г., к Аргиропуло, с девизом Мацции «Ora e sempre», между прочим, обратило на себя внимание следующим: Заичневский, выставляя девиз Мацции, желал,

чтобы он был девизом его и Аргиропуло. Именуя себя и друга социалистами, Заичневский обязывался проповедывать социальные идеи везде и всегда, где есть общество. Из письма, найденного у Аргиропуло, писанного Петром Заичневским, видно, что он говорил в Подольске собравшимся крестьянам «возмутительные» речи о владении землею и о непослушании властям и прибавлял, что у них есть мир, есть община, которая и должна управлять всем; что проведение этих истин Заичневский считал задачей своей жизни, что проповедывать их будет не только в деревнях, но везде, где только можно. Из этого же письма видно, что Заичневский, проводя социальные идеи пред какими-то помещиками при обсуждении положения о крестьянах, воздавал хвалу Антону Петрову, герою крестьянского бунта в с. Бездне Казанской губернии. Описывая бывшие возмущения в Бездне и развевавшееся при этом у них красное знамя, Заичневский говорил, что это красное знамя начинает развеваться и у нас и осенять собою толпы, хотя и невооруженные, но собравшиеся на защиту великого дела социализма — общинного владения землею. В этом же письме Заичневский спрашивал, как идет типография и перевод Прудона, и часто ли бывает Аргиропуло у политического революционера. Потом, извещая о распространении запрещенных сочинений в Харькове, Заичневский представлял положение какого-то «кацапа», который продавал сочинения в Харькове так же, как он сам и Аргиропуло, — в Москве.

Из другого письма Заичневского на имя брата его Николая видно, что Петр, по приезде в деревню, на какой - то свадьбе провозглашал тост за волю и произнес речь, по окончании которой мужики обнимали его и все наперерыв стали звать его к себе, и что он все время после обеда принужден был переходить из дома в дом, где мужики пили за его здоровье.

В письме к Аргиропуло Николай Заичневский, сообщая о неприятных известиях, полученных им по приезде в деревню к отцу относительно действий брата по произнесению им в Подольске речи и о последовавшей из - за этого болезни отца, пишет, что, несмотря на это, брат в деревне продолжает уверять мужиков что земля их, и что приезд Петра причинил беспокойство мирным жителям.

Наконец, у Петра Заичневского найдена была тетрадь, писанная по-русски под заглавием «Odezwa do Rossian», содержащая в себе ответ на произнесенную Заичневским в ограде московской католической церкви речь к полякам. В этой тетради порицались действия правительства и высказывалась благодарность Заичневскому за сочувствие к польскому национальному делу по поводу происшествий, случившихся в Варшаве в 1861 г., а также за желание его сблизиться с поляками и стать под одно с ними знамя.

15 августа III Отделение получило следующий донос:

«Ваше сиятельство! Преданность моя к его величеству и вашему сиятельству заставила меня следить за делом столь важным, что последствия его наделали бы много шума и много хлопот для правительства. Представляю в. с—ву подлинные письма к войску и крестьянам, которые печатаются и будут пущены в дело; вы из них увидите, какой страшный заговор составлен между большой партией людей значительных. Благодаря бога, мне удалось во многом воспрепятствовать этому посредством хлопот и денег; если в. с—ву угодно будет знать все подробности этого заговора, то явлюсь по первому письменному приказанию в. с—ва! Мне бы гораздо лучше было об'яснить в. с—ву лично все подробности, не теряя драгоценного времени, потому что действия партии начались, и будет еще время поправить все это, но так как сижу сам без гроша и не имею средств доехать до Петербурга, то буду ждать в. с—ва приказания. Агенты партии большая часть на местах; имена мне все хорошо известны, а при личном свидании я об'ясню вам все. Я не дремлю, и они не дремлют. К несчастию, тут замешан мой родной брат; если в. с—ву угодно будет дать мне какое-либо предписание, то надо с большими осторожностями, на мой адрес никак нельзя, потому что я живу с родными и с братом, но вот он. Москва, Марьина слободка, дом свой; надо бы как-нибудь устроить это посекретнее. На московскую полицию секретную я не надеюсь, потому что все, что только там ни делается, известно брату. Москва, августа 9 дня 1861 г. Примите уверение в истинном почтении и преданности вашего покорнейшего слуги

Николая Дмитриева Костомарова.

(Имя мое тайна должна быть)».

При письме были приложены две рукописные прокламации: «Русским солдатам от их доброжелателей поклон» и «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон», которым суждено было играть роль в нескольких политических процессах того времени.

На другой же день в Москву опять был отправлен подполковник Житков. 17 августа он телеграфировал, что уже виделся с Николаем Костомаровым, все на ходу, но дело по существу входит в уже начатое против Заичневского и Аргиропуло.

Из рапорта Житкова видно, что Николаю Костомарову 19 лет, «это безупречный, безкорыстный, тихий, скромный, очень бедный молодой человек»; жил он с матерью и двумя сестрами. На сбор сведений и раз'езды Житков отвалил ему... 10 руб. серебром.

Жандарм сообщил, что напасть на след истинной виновности не легко; полученные пока сведения не дают оснований для ареста; напр., помещик А. Н. Плещеев «здесь, потому что знаком с некоторыми из личностей, они бывают у него и он у них, фактов же, обвиняющих его ясно, нет. Между тем, он семейный человек и ведет жизнь тихую». «Не подлежит никакому сомнению участие писателя Михайлова, его рукою писано воззвание к крестьянам и так как, быть может, оно будет нужно для сличения его руки, то я при сем его пересылаю к в. с—ву». «Студент Сороко в настоящее время находится в Варшаве, куда он увез с собою один типографический станок».

Тогда же, 18 августа, Житков послал управляющему III Отделением гр. П. А. Шувалову второй донос Николая Костомарова.

«Ваше сиятельство! Не знаю, как благодарить бога, что, наконец я нашел со стороны вашего с—ва соревнование к такому *важному делу*, как представленное мною, хоть немного поздно, но мы можем с помощью божиею прекратить это злое и приятное богу дело и захватить его в самом корне. В настоящее время сведения, какие я могу сообщить в. с—ву, есть следующие:

Имена заговорщиков.

Алексей Николаев *Плещеев* — о его виновности достоверного сказать не могу, жительство близь Москвы, село Давыдково.

Михайлов поэт литератор его рукою написано письмо к крестьянам, он ездил за границу и кажется был в Варшаве по этим делам. — В Петербурге.

Всеволод Костомаров глава партий у него в квартире печаталось 14 Декабря 1827 года и письмо к крестьянам; напечатано было пять экз. но они были мною перехвачены и представлены целиком при письме к московскому обер-полицмейстеру, но ничего не знаю об результате, в марте месяце автор поэмы: Православие, Самодержавие и народность пущенной вход — Марьина слободка в Москве.

Студент московского университета *Иосиф Сороко.* — в г. Варшаве.

Иаков Сулин — был в г. Саратове, но теперь, где не знаю, но постараюсь напасть на его след.

Кнастер (Кистер — *М. Л.*) — неизвестно.

Крыжов — неизвестно.

Петровский — неизвестно.

Лев Камбек — в Петербурге.

Новиков — в Петербурге.

Заичневский — в Петербурге.

«Кроме того, агенты повсеместно. Как я имел честь представить в. с — ву, типография находилась у Костомарова в марте месяце, но по полученным из Петербурга двум без'имянным письмам; она была перевезена Сорокой но куда, не знаю положительно, а другой станок был продан Кнастером со всеми принадлежности, а один из них у Сороко, у него находится копия с письма к крестьянам, вероятно (по его словам) он отпечатал его в Варшаве и пустил вход, мне кажется, что он

виною больших тревог в Польше. Но копии с письма к войску никто не имеет оно писано, если не ошибаюсь Сорокой, для большего доказательства в верности что письмо к крестьянам писано Михайловым я постараюсь представить письма его к брату, где сличением рук можно уличить его. У Камбека производилась продажа 14 Декабря портретов Декабристов и Искандера. В начале марта месяца у него в квартире производился обыск, но хороши были обыскивающие, в одни двери они вошли в другие вынесли все и с этим отправились в этот же день Петровский и Сорока в Москву на 12-часовом поезде, еслибы часом бы пораньше и правительство имело бы их в своих руках; потом было приступлено к печатанию писем, но благодаря бога мне удалось все это расстроить и прибрать к рукам. Что только моею деятельностью будет открыто, то немедленно сообщу в. с—ву. Поверьте, что мною движет, не какая-нибудь низкая корыстолюбивая цель, но именно долг присяги и преданность к правительству, так я вижу что это низкое дело привело бы к большим несчастиям для России, то я решился пожертвовать всем и моим братом, но предать это дело правосудию, потому что, я уверен в нашем правительстве, что все делается к благу государства и подданных, а в этом деле кроме безрассудной низкой цели я ничего не вижу, принялись за него люди безрассудные, которые, чего хотят сами не знают».

21 августа Шувалов писал Житкову, что придает особенную важность скорости его действий в деле, которое будет передано для формального производства; «если участие в этом деле доносителя сделается известным посторонним лицам, и он будет опасаться через то каких-либо неприятных столкновений, то вы можете, если впрочем он сам того пожелает, подвергнуть его на несколько времени мнимому аресту». О формальном производстве этого дела и об устранении вскоре от него III Отделения Шувалов доносил и в Ливадию, кн. Долгорукову, потому что хотел связать его с рядом мер по борьбе с печатью и распространением ее произведений вообще.

24 августа Житков донес, что сведения Н. Костомарова оказываются верными, но лучше пока следить за всеми, но не арестовывать. «По цели своей замысел их в высшей степени преступен, но по средствам, которыми он в состоянии располагать и кото-

рые они считают довольно сильными, чтобы достигнуть своей цели, замысла этого нельзя иначе назвать, как ребячеством, даже сумасбродством, смешным для всякого, несколько здравомыслящего человека».

Получив приказание Шувалова о быстром ведении дела, Житков приступил к арестам и обыскам, посоветовав сделать то же с Михайловым, Камбеком и Сорокой.

26 августа Житков телеграфировал: «Почтовый поезд сего дня повез арестанта Костомарова, у него нашел я улику, типографический шрифт, который отправлен тоже, бумаги несмотренные, доносителя из дома мать выгнала, ему негде быть, он просится в Петербург, прикажите привезти? Завтра я все кончу».

На следующий день Шувалов уведомил о своем согласии на привоз Николая Костомарова.

25 августа, ночью, был арестован Всеволод Костомаров; вечером и ночью 26-го — Иван Иванович Гольц-Миллер.

28 августа Житков донес, что первая мысль печатания принадлежит студентам Сороку и Сулину. Уже во время производства работы узнал об этом отставной корнет Всеволод Костомаров, вступил с ними в компанию и стал оказывать им всякую помощь.

«Он чрезвычайный трус; он высказывал давно уже мысль, когда еще только арестовали Заичневского, что он серьезно думает сам отправиться в Петербург и во всем сознаться, ибо не видел более надежды на успех предприятия, и личными и добровольным сознанием заслужить прощение».

По докладу обо всем этом царю последний приказал передать все дело министру внутренних дел для исследования на законном основании. 29 августа шеф жандармов сообщил обо всем этом Валуеву. В тот же день оба блюстителя общественной безопасности имели личную беседу, следствием которой было образование Валуевым особой следственной комиссии из двух чиновников мин. вн. дел (И. Ф. Собещанский и А. П. Стороженко), одного от мин. юстиции (А. С. Любимов) и одного от управления московского ген.-губернатора (И. С. фон-Визин); делопроизводителем был назначен Незнамов, в помощь ему дан Вильчевский. Уведомляя об этом кн. Долгорукова 30 августа, Валуев прибавил: «Собещенскому вменено в обязанность принять к руководству при

начале дела те указания, которые вашему сиятельству угодно будет ему дать для удобнейшего приступа к следствию». Это значило, что, помимо собранных III Отделением документов и вещественных улик, Собещанский должен был выслушать и воспринять секретные сведения о Балашевиче, Костомарове и проч.

Подлинное дело III Отделения, бумаги, найденные при обысках у обвиняемых, и прочие улики были получены комиссией 12 сентября. Кроме того, комиссия приняла «для соображений» всеподданнейший доклад III Отделения, два донесения жандармского штаб - офицера Воейкова, одно — московского обер - полицмейстера и одно жандармского подполковника Житкова; «для соображений», оговорилась комиссия в своем рапорте министру вн. дел от 21 декабря 1861 г., «потому что указания, не подкрепленные никакими фактическими доводами, не всегда могут найти применение в *формальном* следственном порядке»...

4 сентября Всеволод Костомаров обратился к Шувалову со следующим письмом:

«Ваше сиятельство, 26 августа я был арестован в Москве г.г. Воейковым и Житковым. До сих пор мне никто еще не об'яснил причину моего ареста, но некоторые обстоятельства заставляют меня предполагать, что он был вызван подозрением в печатании и распространении книг, не дозволенных правительством. Мне, вероятно, удастся доказать, что все мое участие в этом деле ограничивалось только тем, что я знал, кем, где и как были напечатаны некоторые книги, но молчал, не считая себя обязанным доносить правительству о деле, которое до меня не касалось, и, по моему убеждению, в руках *таких* деятелей, как известные мне руководители тайной печати *в Москве*, не могло принести никакого вреда ни обществу, ни правительству. Вместе с тем, мне, вероятно, удастся доказать и то, что когда деятельность тайного станка приняла другое направление, которое уже совершенно расходилось с моими убеждениями и, казалось мне, была несколько опаснее почти безвредной пропаганды никому ненужных книжек, — я отнял у него всякую возможность действовать. И я опять не донес правительству, потому что, отняв у людей, взявшихся за недоброе дело, всякую возможность действовать вредно, — я не видел надобности брать на себя новую обя-

занность доносчика, считая выполненною свою обязанность гражданина.

«Но теперь обстоятельства сложились так, что, оставаясь при прежнем образе действий относительно общества, к которому я никогда не принадлежал ни духом, ни делом, — я должен буду взять на себя всю ответственность перед правительством за поступки, на которые оно, конечно, не может смотреть хладнокровно. Поэтому я решился просить вас, граф, выслушать историю, очень недлинную, моих отношений к обществу. Комиссия, которая, вероятно, будет наряжена по нашему делу, будет действовать, разумеется, осмотрительно и честно, и я уверен, что рано или поздно, так или иначе, я буду оправдан ею. Но положение, в котором я оставил свою семью, лишенную хлеба и крова (не говорю уже о той нравственной пытке, которую должна теперь испытыват моя старая и больная мать, имевшая горе пережить обстоятельства, сопровождавшие мой арест), — это безвыходное положение моей семьи заставляет меня просить вас дать мне возможность способствовать всеми зависящими от меня средствами к ускорению развязки этого дела, которое без того может продлиться слишком долго и, лишая меня возможности работать, принесет столько горя и нищеты в семейство человека, совершенно чуждого всякой социальной деятельности и избравшего задачей своей жизни быть полезным только своей беспомощной семье».

28-м сентября датирована следующая служебная памятная записка для гр. Шувалова: «Ваше сиятельство изволили приказать напомнить вам о бедственном положении матери и сестры арестанта Костомарова». Резолюция графа: выдать 100 р. из шефской суммы. На другой день III Отделение уведомило полк. Воейкова о передаче денег матери Всеволода Костомарова «в виде негласного пособия», в чем и получена расписка: «Сто рублей серебром присланные, по распоряжению г-на управляющего III Отделением собств. е. и. в. канцелярии, ввиде негласного мне пособия через г. полковника корпуса жандармов Воейкова мною получены. Октября 6 дня 1861 года. Жена прапорщика *Надежда Николаева Костомарова*».

Надо знать Шувалова и всю политику III Отделения, чтобы понять, что такие отношения, которые так скоро переходили на путь «негласных пособий» семье несомненно по-тогдашнему серьезного преступника, не могли устанавливаться без предварительного с его стороны негласного же содействия правительству... Именно на путь такого подлого содействия во вред своим недавним товарищам и вступил Всеволод Костомаров, сразу оцененный гр. Шуваловым. Наглость, с которой он вел себя, будет проясняться постепенно из рода его показаний в этом деле, а в делах Михайлова и Чернышевского читатель будет поражен, до чего быстро приспособился этот негодяй к роли шпиона и провокатора.

Литература о нем очень невелика, поэтому я пользуюсь каждым случаем, чтобы сообщить о нем ту или иную деталь. Здесь скажу пока, что Всеволод Костомаров родился в 1837 г. в Ярославской губернии, в имении своих родителей: прапорщика Дмитрия Сергеевича и жены его Надежды Николаевны, урожденной Грязевой, и приходился племянником известному историку. Им принадлежали в конце 1830-х годов небольшие имения в Угличском и Романово-Борисоглебском уездах Ярославской губ. и в Калужской губернии, всего в общем в 154 души. Вскоре они все прожили и очень нуждались, так как отец совершенно не был в состоянии содержать семью из трех сыновей и двух дочерей. Мать, женщина грубая и необразованная, отличалась страстью к барству, которое привила и детям. Отсюда — постоянные поиски денег и предпочтение способов легкой их добычи. Как сложилась семья — читатель увидит из следующих очерков настоящей книги.

Понимая, что при дальнейшем формальном ведении дела, переданного комиссии Собещанского, следователям и судьям нужны будут не устные, вкрадчиво сделанные Вс. Костомаровым показания, а письменные улики, Шувалов предложил ему документировать главное из сказанного. Первым подлым актом Костомарова было письмо на имя Якова Алексеевича Ростовцева, написанное, якобы, в Москве и за несколько часов до его ареста, 25 августа, — оно приведено полностью в «Деле Михайлова». Там, между прочим, было сказано: «По делу с 14 Дек. запираться невозможно, да я и не хочу. Господ этих брат знает всех на пе-

речет, да они и не стоят того, чтобы подставлять за них спину; скажу все, что знаю. А во всем остальном буду держаться крепко... Одного не знаю, как поладим с этим несчастным «автографом». Голова идет кругом. Ну, да увидимся. Да, одним словом, не выдам ничего, кроме гадкой спекуляции с Корфом, в которой по грехам моим я замешан» [1]).

Письмо было написано 12—13 сентября в Петербурге и носило характер дружеской записки, якобы, перехваченной полицией. Мало того — надо было показать, что он знает гораздо больше, чем сказано, и, следовательно, может быть очень ценным при обнаружении вообще ряда преступлений революционной молодежи. Все это и было в наличности.

Окончивший свою роль Николай Костомаров просился быть отправленным на службу на Кавказ; из полученных его бумаг видно, что он уволен из 1-го москов. кадетского корпуса в марте 1861 г., а 26 мая — из Спб. губернского правления. 20 сентября Костомарову было выдано 90 руб. серебром из «шефских сумм», и он поехал на Кавказ для вступления там в гражданскую службу. Из Новочеркасска он просит о помощи еще в размере 65 р., которые не были посланы, и доехал ли до Кавказа и, вообще, куда делся, III Отделение не знало, потеряв его из вида.

6 сентября министр вн. дел Валуев просил перевезти всех арестованных в Москву, где комиссия решила сосредоточить и открыть свои действия. Шувалов был против такого решения и советовал начать работу в Спб., где уже приготовлено и помещение. При этом в деле имеется очень характерная записка к шефу от Спб. обер-полицмейстера Паткуля от 9 сентября: «Помещения для твоих голубчиков готовы в 1-й части 3 и в 3-й — 3. Советую самых сердитых посадить в 1-ю часть. Тут же отведена комната для заседаний в нижнем этаже с парадного под'езда — кабинет пристава».

На допросах в III Отделении 26 июля Петр Заичневский дал очень пространные показания.

---

[1]) «14 декабря 1825 г. и император Николай» — брошюра, написанная Огаревым и др. и изданная Герценом в Лондоне в 1858 г. Она посвящена разбору лакейского сочинения бар. М. А. Корфа: «Восшествие на престол императора Николая I-го».

«Положения высоч. утвержденные оставляли в руках помещика более половины земли и образовывали огромный класс людей, не имеющих никакой собственности, постоянно развивая которую, они могли бы добывать себе пропитание. Это класс — дворовые люди, не привыкшие к ручной работе и притом совершенно избалованные. Они готовы трудиться на своей земле, они желают пристать к общине, только была бы у них земля, но ее-то Положение и не дает. Что же предстоит им, как не голодная смерть или нищенство? И то и другое противоестественно, и то и другое — величайшая несправедливость. Признавая, что владеть землею может только община, мир, я проводил это мнение крестьянам. В сущности самого этого мнения лежит и мысль о неповиновении воле государя и причина к восстановлению против помещиков.

«Никаких советов и наставлений я им не давал, а только при рассказе об Антоне Петрове (с. Бездна — *М. Л.)* я им указывал на безрассудство возмущения без оружия и говорил, что, как бы ни многочисленна была толпа безоружных, ее всегда разгонят несколько десятков солдат; что для успеха оружия нужно оружие, а оно — в городах. Это были скорее уроки им из географии, показывающие, в каких местах находятся арсеналы и склады оружия, чем советы и наставления к возмущению.

«Во всех изложенных мною мыслях я не видел и не вижу никакого явного возбуждения к бунту. Повторяю, что высказывал только свои мнения о превосходстве общинного землевладения с общинным же управлением над личным.

«Это превосходство состоит в зависимости управляющих лиц от всего общества, в их ответственности перед ним. Это превосходство признано для крестьян самим правительством. Оно утвердило в народе выборное начало, дозволив миру назначать старосту, сотского, волостного голову и проч. должностных лиц. Оно признало ответственность начальников перед обществом, дозволив последнему судить первых. Если правительство признало общинное управление лучшим для одних крестьян, то я, признавая его наилучшим из всех для всего общества, развивал только мысль правительства. Вместе с тем, по моим понятиям, с вопросом об общине связан вопрос о машинах, наследстве, семье и пр. и введение первого без совершенного преобразования

последних невозможно. В этом-то и состоит его жизненность и своевременность, по моему мнению.

«Я несколько изменил девиз Маццини и из его «всегда и теперь» (ora e sempre) сделал «везде и всегда». Этот девиз должен считаться нашим, потому что всякий человек, считая какие-нибудь мнения справедливыми и, след., полезными для общества, обязан их распространять. Сознавая, что мнения, изложенные мною выше, справедливы, и зная, что Аргиропуло разделяет некоторые из них, я выбрал эти два слова за наш девиз, подразумевая под этим «изложение наших мнений». Что общего у нас с Маццини, этого я не знаю, и об этом ничего не упоминается в самом письме, а говорится только, что девиз его должен быть нашим. Под именем общества я подразумеваю знакомых студентов.

«Я предполагал все идеи распространить словом (доказательство этому находится в письме к Аргиропуло, где я высказываю, что спор есть самое могучее средство для убеждения). Я имел *лично* намерение, составивши статьи и напечатавши их в какой-нибудь типографии, продавать народу по дешевой цене. Для успешнейшего распространения я думал раздавать брошюры ходебщикам. Без сомнения, печатание брошюр должно было происходить в дозволенной правительством типографии».

29 июля Заичневский добавил на вновь заданные ему вопросы:

«... Занимаясь в гимназии по преимуществу историею, я в первый раз познакомился с действиями социалистов, как политических людей. По прибытии в университет я прочел некоторые из сочинений Герцена и, встречая там почти на каждый странице слово «социализм», я стал изыскивать все возможные случаи к прочтению социальных сочинений. Покупая эти сочинения, я увидал разумность мнений, излагаемых в них, и убедился в необходимости их приложения для выхода из положения, так тяготеющего над нами и убивающего все наши способности. Убедившись в этом, я стал постоянно спорить о политике и защищать разумность социализма. Этот-то беспрестанный спор и содействовал к развитию во мне социальных идей.

«Прежде всего я считаю долгом заметить, что я никогда не отделял участи России от Запада и, говоря о необходимости социального переворота, я основывался в большинстве на фактах,

представляемых западными публицистами. Положение мне кажется невыносимым потому, что там господствует один только капитал, что тяжелая физическая работа на фабриках, худо оплачиваемая, едва - едва дает средство содержать себя и уничтожает всякую возможность дать хоть какое - нибудь воспитание детям. Женщины, заваленные работою и во время беременности нередко умирающие с голоду; дети, изувеченные и измученные работою с самых ранних лет и едва доживающие до старости, — все это, мне кажется, делает необходимость социального устройства. Где и как могут свободно развиваться способности мальчика или девочки, идущих с ранних лет в поденщину? Правда, и при таком положении иногда гениальные люди находят свою дорогу, но сколько им нужно забот и трудов и разве во всей их жизни не отражается та надломленность характера, которую они получили еще в детстве?»

«Большинство товарищей, с которыми я встречался, имеют весьма смутные социалистические убеждения, по небольшому знакомству с произведениями западных социалистов. Сочувствие, следственно, к социализму я не мог встретить у многих, но знакомые с этими идеями всегда сочувствовали и сочувствуют им. В споре необходимо было раскрывать их и оттого - то я по преимуществу занимался им. Кто же из знакомых сочувствует им наиболее, этого я не знаю, потому что не старался замечать, сознавая, что сочувствие проявляется в деле, а не на словах. Дело же, в котором бы они могли выказать это сочувствие, еще до сих пор не случилось».

«Все профессора московского университета не только не развивают социальные учения, но от души возрадовались бы, если бы все социалисты в один ден исчезли с лица земли и ученье их было бы позабыто. Лекции их наполнены ругательством против социализма, и они стараются препятствовать всеми силами проникновению этой «зловредной ереси» в стены университета».

Подтвердив свои ответы III Отделению, Заичневский показал еще комиссии: «Слыша речь кн. Оболенского (в Подольске), я увидел, что он толкует не вполне справедливым образом настоящее Положение о крестьянах. По окончании его слов и ухода его с посредниками, я вышел к крестьянам, начав раз'яснять им значение посредников, потом же, как сказано уже в моем письме,

я указал на несправедливость налагаемой на них платы за землю, на самую несправедливость личного и потомственного владения землею и, как противоположность этому противоестественному положению, поставил общину. «Только то начальство, — продолжал я, — может вполне знать нужды народа, которое выбирается из среды его самого и действует по программе, данной им».

«В Подольске был проездом в Орловскую губернию. С самим кн. Оболенским незнаком. Подобные же речи о преимуществах общинного владения перед личным мне случалось нередко говорить в Москве в собраниях студентов и различных лиц. Целью моею было при этом желание, чтоб все остальные лица убедились в преимуществе общинного начала и увидели бы противозаконность современного экономического положения. Говоря, впрочем, с крестьянами об общине, мне кажется, я способствовал распространению идей самого правительства, отдавшего ей в изданных Положениях о крестьянах преимущество перед личным владением и установившего выборные самим народом начальства. В других местах мне случалось только говорить с крестьянами о необходимости выбрать им общинное начало перед личным, так как правительство дозволяет им и то и другое. Это именно было в некоторых деревнях Орловской губернии, в каких же именно, не помню.

«Я ставил себе задачею распространение мнений, составляющих мое убеждение. Высказывать я их всегда высказывал, когда представлялся к тому случай, и потому на вопросы крестьян, делаемые мне, отвечал точно так же, как и в собрании студентов. Нарочно распространять эти мнения по различным деревням я не ездил.

«Я говорил крестьянам о самой идее государя, об идее правительства и сравнивал настоящее правительство с тем, которое произошло бы при общинном порядке. Я указывал, повторяю, на несовременность настоящего экономического и политического быта и, как осуществление лучшего устройства, указывал на приложение социальных идей. Этого я во всех своих показаниях не отвергаю, а говорю, что правительству принадлежит инициатива признания общины необходимою для устройства народного».

На вопрос комиссии, сознает ли Заичневский, что, говоря об арсеналах и складах оружия, он, в сущности, призывал крестьян к возмущению? — он ответил:

«Стремление к возмущению крестьян в словах, высказанных мною и приведенных в этом пункте, не признаю. Я допускал уже, что возмущение произведено, и указывал только на безразсудство возмущения без оружия. Справедливо или несправедливо, разумно или неразумно будет произведенное возмущение, этого вышеприведенными словами не об'ясняется. Оно принимается, как факт, без критического разбора идеи, легшей в основание его, и указывается только разумный способ ведения его: крестьяне у меня спрашивали, какое им выбрать землевладение при нынешнем устройстве своих дел — личное или общинное. Я им указывал на общинное, как на лучшее, могущее предохранить их от нищеты, потому что земля при этом устройстве не может продаваться отдельными лицами, а составляет достояние всего мира. Последствий этих разговоров при себе я не видал; беспокойств, проистекающих от них, не было, да я и не ожидал их. Что было после меня, того я не знаю. Происходило это в простом разговоре по приезде моем домой на вакацию.

«Речь произнесена была по случаю происшедшей манифестации в Варшаве, окончившейся вследствие насильственного вмешательства русских войск. Составлена была мною и заключала в себе выражение сочувствия к идее, руководившей и в настоящее время руководящей поляков. Я сказал в ней еще, что наступило время доказать всем, что правительство и образованное и развитое меньшинство различно, что это последнее сочувствует самостоятельности Польши, первое же идет против нее. По просьбе окружающих лиц, я написал ее на бумаге и передавал желающим, — кому же именно, этого я не знаю».

На вопрос комиссии, кто составил ответ на его речь и откуда он получил экземпляр его, Заичневский отозвался: «Кем составлен ответ, не знаю. Получил его в университете от какого - то незнакомого студента - поляка».

О речи Заичневского есть указание, принадлежащее Похвисневу. 3 апреля 1861 г. он писал своему приятелю из Петербурга: «Посылаю тебе речь студента Заичневского, которую он произнес при панихиде об убитых поляках в 1831 г.; вот она:

«Есть в Европе событие, близко подходящее к нашему собранию. Это — смерть Годефруа Кавеньяка. Изгнанный из Франции, вдали от отечества, он все шел к одной цели. На похоронах его все партии примирились, подали друг другу руки. Результатом — 1848. Смерть благородных польских мучеников не должна быть забыта. Мы должны на похоронах подать друг другу руки, итти к одной цели. Враг у нас один; наше знамя должно быть одно: будет ли это красное знамя социализма или черное пролетариата. Подадим же друг другу руки, польские братья, и пусть первый клич, произнесенный нами, будет: да здравствует социальная Польша!».

«С ним ничего не сделало пока наше милое правительство, хотя речь его была произнесена публично при стечении 200 студентов с разных факультетов».

Содержание письма Похвиснева было сообщено рязанским губернатором московскому генерал - губернатору. За автором письма был учрежден секретный надзор; однако, ничего предосудительного замечено не было.

По справедливому замечанию нашедшего этот документ Б. Козьмина, «можно весьма сомневаться относительно точности передачи Похвисневым содержания речи Заичневского. Вряд ли сам Похвиснев присутствовал при ее произнесении. В этом убеждает нас то обстоятельство, что действительная причина панихиды ему осталась неизвестной. Панихида совершалась по полякам, убитым во время демонстрации, незадолго до того происходившей в Варшаве, а не погибшим в 1831 году. Тем не менее, сообщение Похвиснева сохраняет значение в качестве одного из вариантов речи Заичневского, вызвавшей в свое время в Москве много разговоров и ходившей по рукам во многих списках».

Речь, произнесенная Заичневским, не осталась, конечно, тайной и для московской администрации. Любопытно, что она знала и о намерении Заичневского заняться в имении своего отца пропагандой среди крестьян. В этом нас убеждает рапорт московского обер - полицмейстера, поданный 25 мая 1861 г. генерал-губернатору:

«Получено мною сведение, что выехавший на-днях отсюда Орловской губернии Орловского уезда, в имение своего отца помещика Заичневского, студент здешнего университета Петр Гри-

горьев Заичневский намерен распространять мнение в народе, и первее всего в имении своего отца, что вся земля помещиков принадлежит бывшим их крестьянам, вышедшим из крепостной зависимости.

«Принимая во внимание, что студент Заичневский, о котором я докладывал вашему высокопревосходительству, замечен был в сообщничестве и в сношениях с поляками, с которыми 17 прошлого марта участвовал в поминовении убитых перед тем временем в варшавском происшествии поляков, а после панихиды начал, было, произносить с крыльца французской католической церкви речь в пользу Польши, которую называл социальною, я о дошедшем до меня сведении сообщил начальнику означенной губернии для надлежащего сведения» [1].

Из писем, найденных у Аргиропуло, обращали на себя внимание письма Кистера, Понятовского, неизвестного лица и Новикова. Кистер, упоминая о какой-то машине, поручал Аргиропуло получить ее от брата; Понятовский, именуя Аргиропуло членом франк-масонских лож, пропагандистом, эмансипатором и уведомляя, что 2 листа в 2-х экземплярах «Былого и дум» Искандера взяты им из Москвы, просил выслать следующие и еще штук 10; неизвестный просил о высылке 10 экземпляров каких-то первых двух листов, в одном только экземпляре «О государстве» и о высылке литографии «The Belle», т. е. «Колокола», за 1860 год, книжки барона Корфа и тому подобных вещиц; Новиков, описывая торговлю чем-то в Харькове и говоря о высылке 130 р., уведомлял, что там больше всего требований на Бюхнера, и что если бы он привез туда 100 экземпляров, то и те скоро раскупились бы. В письме этом вырваны клочки бумаги, но по отрывкам можно было заключить, что деньги следовали за проданные сочинения и за книгу Корфа, кроме Аргиропуло, еще Ященку за сочинения Шевченка. Далее, Новиков просил выслать «Христианство» Лорана, а в случае, если не окажется, то взять у Ященка и переслать вместе с «Юрьевым днем»; потом Новиков спрашивал, сколько дал ему Ященко экземпляров «Юрьева дня». На этом письме находится заметка рукою Новикова, в которой, между прочим, обозначено количество следуемых

[1] «Историко-революционный бюллетень», № 1, стр. 23.

в уплату денег за взятые у Аргиропуло и Ященко запрещенные сочинения, проданные им, Новиковым: Фейербаха, Бюхнера, Огарева, Шевченка, «Былое и думы» и «С того берега». Николай Заичневский просил Аргиропуло сказать Евреинову о присылке «Колокола».

Кроме того, у Аргиропуло найдено было несколько клочков бумаги, на которых находились заметки о количестве проданных им запрещенных сочинений.

Аргиропуло показал III Отделению: «Переписка моя с студентом Петром Заичневским состоит из двух писем его ко мне. В первом он пишет, что в Подольске говорил с крестьянами кн. Оболенского, другое есть ответ на мое письмо к нему от 25 июня; в этом последнем я писал к нему, что нисколько не оправдываю его образа действий, что он не имеет права *бунтовать* крестьян, так как это поведет к их гибели только, а не к улучшению их быта, что, я убежден, есть его сильнейшее желание. Не помню, писал ли я в этом письме к нему, что, вероятно, он несколько преувеличил свои слова и действия, что составляет мое твердое убеждение, ибо я не могу предположить, чтобы он говорил в Подольске открыто крестьянам, что «они не должны слушаться государя», без того, чтобы его тотчас не арестовали. Больше о его действиях мне неизвестно ничего, да и это, как я уже сказал, я подозреваю в сильном преувеличении. Кроме упомянутого моего письма к нему от 25 июня, я никакого прямого или косвенного участия в его действиях не принимал; сам для распространения идеи об исключительной принадлежности земли крестьянам (которую я далеко не вполне разделяю) ничего не делал; не знаю также, какова была цель этих действий Заичневского, известие о которых было для меня совершенно неожиданным; зная его, я предполагаю только, что целью этой было слишком легкомысленное увлечение в пользу крестьян, которое заставило его говорить и делать то, что, может быть, он никогда не говорил и не делал бы, если бы он был более хладнокровен.

«Второе письмо в начале совершенно (схоже) с черновым от 27 июня, носящим эпиграф: «Ora e sempre». Оно наполнено, как видно из этого начала, и сколько помню, до самого конца отвлеченными, теоретическими рассуждениями о том, что человек, имеющий твердые убеждения, должен *везде и всегда, всем и каж-*

дому проповедывать, хотя бы от этого не было никакой пользы. Рассуждения его подкрепляются часто софизмами, которых шаткости он сам не видит, и примерами ничего не доказывающими. Очень жалею, что это письмо не сохранилось, так как, я думаю, оно было бы лучшим оправданием и его и моим».

На предложенный вопрос: откуда студентами московского университета заимствовано социальное направление и под влиянием каких обстоятельств получило оно развитие? — Аргиропуло ответил: «Мне кажется, что такое направление получило свое начало в сочинениях Искандера. Оно довольно распространено, хотя другое направление, — направление *экономическое,* имеет еще более последователей между студентами. Находясь почти постоянно в кругу студентов, прислушиваясь к спорам, часто возникающим между приверженцами той и другой системы, я уже давно убедился, что те и другие одинаково мало дают себе отчет в том, что они понимают под словами *социализм* и *политическая экономия.* Те и другие ограничиваются обыкновенно повторением общих мест, вычитанных ими и принятых на веру. Особенно этим грешат *социалисты.* Я не знаю ни одного из них, который бы был достаточно знаком с сочинениями писателей тех школ, которые обыкновенно обозначаются общим названием социализма. Это направление возникло в московском университете лишь недавно и, если оно теперь имеет более приверженцев, нежели до сих пор, то причиною тому, по моему убеждению, единственно *мода.*

Профессора москов. университета не только не поддерживают этого направления, но, напротив, всеми силами противодействуют ему. Полное раз'единение между профессорами и студентами, особенно усилившееся в последнее время, отнимает, однако же, у первых возможность с каким - нибудь успехом противодействовать распространению социализма и, может быть, даже помогло этому распространению».

В комиссии Аргиропуло подтвердил свое показание и добавил:

«Я нисколько не убежден в справедливости известий, сообщаемых Заичневским о том, будто он в Подольске произносил перед крестьянами возмутительные речи. Сомнения свои я выразил при получении первого известия об этом событии от брата его Н. Заичневского и потом, кажется, даже писал ему о своих

сомнениях. Они основываются, во-первых, на том, что мне кажется физически невозможным, чтобы он говорил публично, при всех такие речи, о каких он упоминает в письме своем к брату своему, чтобы это происходило в таком маленьком городе, как Подольск, и чтобы он не был тут же арестован; во-вторых, на том, что в подобных случаях легко можно поддаться увлечению выставить себя политическим деятелем и даже самому себе преувеличить значение собственных слов. На основании всего этого я советовал и брату Заичневского не вполне верить этим известиям и, конечно, не считал себя в праве донести на Заичневского. О других его возмутительных речах я не имею никакого понятия».

Жандармский полковник Воейков на запрос комиссии о содержании речи Заичневского 17 марта на паперти костела сообщил, что ему о ней вообще ничего неизвестно.

Относительно найденных у него сочинений Герцена и его портретов Аргиропуло показал, что они получены им для продажи от разных лиц, но от кого — не желал бы отвечать. Эти сочинения Герцена брали у него разные лица за деньги, но кому именно давал их, также не желал бы отвечать, потому что считает это несогласным с своею совестью; впрочем, из найденной у него записки видны фамилии некоторых из этих лиц. В распространении сочинений Герцена он не имел никакой цели, сочинения эти литографировались большею частью в открытых литографиях под видом университетских лекций. Цель литографирования была финансовая, для вспомоществования бедным студентам; его участие в этом ограничивалось посредством при переговорах с литографщиком да участием в продаже. Выбранные для продажи сочинения, по мнению его, не заключают в себе революционных идей и тем самым доказывают, что при распространении их не было в виду какой - либо политической задачи. Новикову он дал довольно большое количество экземпляров разных сочинений. Понятовский требовал у него литографированные сочинения Герцена, которые, не помнит, посылал ли ему. Студентам Михайлову и Тихонову он продавал сочинения. Найденные у него еще две записки с требованием запрещенных сочинений написаны не его рукою, и от кого получены, не помнит. Николай Заичневский

просил взять три номера «Колокола» для передачи брату Петру. Относительно значения записки о машине Аргиропуло об'яснил, что в половине июня некто Киро-Денжан, проезжая чрез Москву, просил взять какую-то машину у студента Кистера, обещая 99 р. за нее прислать из Курска. Машину эту он принял от брата Кистера, упакованною в небольшом ящике, так что даже не видал ее. Позже Аргиропуло об'яснил, что он неправильно указал на Киро-Денжан, как на покупщика машины; что же касается лица, для которого куплен станок, то не считает возможным об'явить его фамилию.

Дворянин Николай Заичневский показал, что он желал прочесть упоминаемые в его записке к Аргиропуло номера «Колокола», но последний их не прислал. В письме он описывал происшествие, бывшее с братом Петром, свидетелем которому не был, и в этом письме в шутку написал, что происшествие это сильно беспокоит жителей Орловской губернии, подразумевая под этими словами не крестьян, а знакомых в Орле. Возмущений брат его нигде не производил; о произнесенной же им речи в костеле и об ответе на нее ничего не знает.

По обыску у студента московского университета Александра Васильевича Новикова (род. в 1843 г.) ничего подозрительного не оказалось. При допросах он, подтверждая, что действительно брал у Аргиропуло некоторые запрещенные сочинения, об'яснил, что сочинения эти приобретены им покупкою у лиц, ему неизвестных; в университете они продавались открыто, даже людям совершенно незнакомым; поэтому он купил несколько экземпляров разных запрещенных сочинений и, по приезде в Харьков, продал их там неизвестным лицам. Сам же он в издании этих сочинений никакого участия не принимал.

Студент Иван Понятовский показал, что, желая прочесть «Былое и думы» Герцена, он просил Аргиропуло о присылке этого сочинения, но не получил. В записке своей он в шутку назвал Аргиропуло членом франк-масонских лож, пропагандистом и эмансипатором, потому что часто встречался с ним в собраниях по поводу воскресных школ, что считал общим их делом, а частным делом Аргиропуло считал состояние его главным кассиром в студенческой кассе для вспомоществования бедным товарищам.

Студент Петр Михайлов показал, что Аргиропуло продал ему один литографированный экземпляр «С того берега», который он купил исключительно для себя и, по прочтении, уничтожил.

Студента Тихонова по розыску не оказалось.

По обыску у студента Леонида Ященка, между прочим, найдено было письмо от 31 мая 1861 г. из Чернигова от старшего учителя тамошней гимназии Дорошенка, писанное на малороссийском языке. Посылая 13 руб., Дорошенко просил прислать, как и прежде, «Старый мир и Россия», «Колокол» за другую половину года, а также и за 1861 год.

При обыске Ященко, вынув из шкатулки портмонэ и взявши оттуда бумажку, мгновенно положил ее в рот и проглотил. Записка эта не имеет никакого значения и не относится ни к какому делу.

Литографию Фейербаха с одним № «Колокола» он получил от неизвестного студента. Деньги, присланные ему Новиковым, были у него заняты, в числе их были и такие, которые он должен был передать Аргиропуло. К учителю Дорошенко он посылал что-то из произведений Шевченка и писал ему, что в Москве можно достать различные сочинения, за что, впрочем, не брался; при все том Дорошенко просил их купить, он же отвечал ему — «жирно будет». Сочинений Герцена он не приобретал и кто занимается литографированием и распродажею их, не знает.

Илья Дорошенко, подтверждая показание Ященка, об'яснил, что он, действительно, просил его выслать ему сочинение Бюхнера, а знакомому его заседателю черниговской гражданской палаты Максимовичу — «Старый мир и Россия» и «Колокол», Герцена. Ященко не отвечал, никаких книг не выслал и денег не возвратил. Цель выписки сочинений была ознакомиться с сочинениями Бюхнера и Фейербаха. Дорошенко сознался, что ему желательно было ознакомиться с «Колоколом», но вовсе не для распространения его.

На допросах в комиссии Собещанского Всеволод Костомаров, между прочим, об'яснил, что все его участие в печатании и распространении запрещенных изданий ограничивалось только тем, что он знал, кем, где и как были напечатаны некоторые из них, но молчал, не считая себя обязанным доносить правительству.

Когда же деятельность тайного станка приняла другое направление, которое совершенно расходилось с его убеждениями, он не донес правительству потому, что отнял у людей, взявшихся за недоброе дело, всякую возможность действовать вредно, и поэтому не видел надобности брать на себя обязанность доносчика.

Ему известно, что печаталась книга Огарева «Разбор книги Корфа («14 декабря и император Николай»)» и литографировался «Колокол» с целью спекулятивной. Познакомившись со студентом Сороком, он зимою 1860 и 1861 г.г. получил от него приглашение посмотреть «первую русскую вольную типографию». Владельцами станка оказались студент Сулин и еще один господин, фамилию которого не припомнит; на этом станке допечатывался последний лист книги «Разбор книги Корфа». Это была рецензия почти литературная и исторической стороны касалась мало. Печаталось этого сочинения, по словам Сулина, до 600 экземпляров, и работа продолжалась до их знакомства, более года. После неудачной спекуляции, по отпечатании этого сочинения, Костомарову удалось узнать, что предпринимается издание двух возмутительных воззваний. В одном из них он узнал руку своего друга М. И. Михайлова, которому рекомендовал студента Сороко, но, не желая впутывать себя в эту историю, не спрашивал Сороко, от кого он получил прокламацию. Уже тогда он считал своим долгом не допустить владельцев станка до выполнения их предприятия, которое считал вредным и безумным; с этою целью, в видах большей безопасности, он предложил перевезти станок в дом своей матери; когда перевозка была окончена, Костомаров, подделываясь под чужую руку (а в этом деле он был, действительно, большой мастер), написал записку, предупреждающую, что у него на квартире будет обыск. По получении этой записки по городской почте, он убедил Сулина в невозможности действовать далее. В суматохе разборки и укладывания станка он завладел двумя рукописями воззваний и спрятал их. Часть станка Сулин увез с собою, а часть осталась у Костомарова и возвращена уже спустя долгое время.

Оставшиеся у него прокламации украдены были родным его братом Николаем, который за сокрытие их требовал с него

денег, а когда он не мог исполнить его требования, то донес на него, и он, Всеволод, был арестован; найденный у него в беседке под полом шрифт подброшен, как он полагает, Николаем. О литографировании недозволенных сочинений в Москве ему ничего неизвестно, и участия в нем никакого он не принимал, но от студента Кистера приобрел за 3 руб. литографированный экземпляр «Колокола» и за 50 коп. — брошюру Огарева «На новый год»; по прочтении они были уничтожены. При этом Костомаров, в доказательство, что брат Николай стращал его доносом, сослался на мать, брата Алексея и сестер Екатерину и Марию, которые были уже втянуты в гнусное дело, обещавшее семье великие и богатые милости с жандармского стола.

В другом показании Костомаров об'яснил, что рукописями завладел в то время, когда Сулин и Сороко переходили в дом его матери: увидев на столе завернутый пакет, он хотел узнать, что это такое, и, увидев по заглавиям прокламации, взяли их к себе.

По обыску у бывшего студента московского университета Якова Сулина ничего подозрительного не найдено. Сулин об'яснил, что в октябре 1860 г. знакомый ему бывший студент Петр Петровский - Ильенко предложил ему отпечатать книгу Огарева «Разбор книги барона Корфа», причем, занимая место корректора в типографии М. Н. Каткова, предложил ему свои услуги в деле печатания и просил с него на издержки 130 руб., обещая отпечатать 300 экземпляров, из которых 100 должны поступить в собственность Петровского, а остальные 200 в распоряжение Сулина. Не имея денег, Сулин долго не соглашался на предложение Петровского, но, получивши в ноябре 150 руб., отдал из них 130; в декабре Петровский привез большую деревянную машину, и работа началась. В феврале 1861 г. работы были окончены, станок уничтожен, дерево сожжено, а все металлическое, в том числе и шрифт, было продано на вес. Из напечатанных экземпляров, сколько он помнит, 100 взял Петровский, 30 — Всеволод Костомаров, около 15 — Сороко, около 20 — бывший студент Макавеев и 10 какой - то студент, по записке от последнего. Сороко не принимал в печатании никакого

участия, ни деньгами, ни трудом; на станке напечатана только одна эта книга; издание ее было сделано с спекулятивной целью, которая, впрочем, не была достигнута. Костомаров посещал его очень часто, и после неудачной спекуляции предложил ему помочь в его положении, если он, в свою очередь, согласится оказать содействие к напечатанию одной безделицы, не больше, как в один лист; причем Костомаров говорил, что со временем он будет издавать запрещенную газету. После такого предложения, на другой или третий день, Костомаров приехал за ним, и они отправились в Лазаревскую типографию, где он заказал шрифт на имя барона Ферзена в Псков, а потом у гравера Бекетова на имя того же лица купил небольшой чугунный станок. Чрез несколько дней Костомаров, переписав своею рукою несколько строк из какой-то неизвестной Сулину брошюры, дал ему их для набора, а когда он набрал строк пять или шесть, Костомаров сказал, что теперь и он выучился набирать и может обойтись без него. Помня содержание набранных строк, Сулин мог сказать, что набор был сделан из представленного ему в комиссии воззвания «К барским крестьянам». Содержание этих строк убедило его в необходимости, во что бы то ни стало, покончить дело. С этою целью он попросил художника Ильинского написать на имя Костомарова записку в следующих словах: «Милостивый государь, будьте осторожны, за вами следят», и внизу: «По обязанности ваш недоброжелатель». На другой день, во время хлопот около станка, когда набор был готов, Костомаров получил по городской почте эту записку и принялся за уничтожение станка; при этом Костомаров хотел сохранить набранные строки, но Сулин схватил их и рассыпал. Разобравши станок, Костомаров предложил взять его взамен полученных им книг «Разбора», за которые им не были отданы деньги. Сулин взял некоторые части машины и перевез их на квартиру студента Кистера, где на ней не производилось никаких работ. Остальные части машины были взяты у Костомарова в конце июня. Машина была продана Аргиропуло. Другого воззвания — «К солдатам» он никогда не видал, о литографировании запрещенных сочинений ничего не знает и не принимал в нем никакого участия.

Петр Семенович Петровский - Ильенко (род. в 1835 г.), вполне подтверждая показание Сулина относительно отпечатания «Разбора», прибавил, что всех экземпляров было продано 50, а остальные сожжены, потому что сбыта не было, а держать их не желали. Пред'явленных ему воззваний он ни у кого не видал и не знает, кем они были писаны, о литографировании и распространении запрещенных сочинений ничего не слыхал и участия никакого не принимал.

Дворянин Ильинский подтвердил показание Сулина об анонимной записке.

На очной ставке с Сулиным Костомаров об'яснил, что считал Сороко участником в деле печатания «Разбора» потому, что видел, как он отвез в Петербург большое количество экземпляров этой книги для продажи; он купил у Сулина для себя один экземпляр, а на комиссию не брал; после Сулин оставил у него несколько экземпляров, но они были взяты им назад. Станок, привезенный на его квартиру, был куплен у гравера Бекетова Сулиным. Воззвание «К барским крестьянам» он получил от Сулина, которому, сколько ему известно, передал его Сороко. Набор брошюры начат Костомаровым вместе с Сулиным поочередно, с подлинной рукописи и доведен до двух страниц, после чего оттиснута была корректура, переданная им впоследствии М. И. Михайлову. Не Костомаров предлагал Сулину деньги за напечатание брошюры, а, сколько ему известно, одновременно с брошюрою Сороко получил в Петербурге 200 руб., на которые и сделаны были типографские закупки; о выдаче и получении этой суммы ему говорили М. И. Михайлов, Сулин и Сороко. Анонимную записку писал не он, а, действительно, получил ее по почте. При этом Костомаров прибавил, что, получивши от Сулина прокламации, он решился участвовать в их печатании, и что станок куплен Сулиным после получения им от Сороко брошюры, и именно с целью печатать ее. О цели, с какою предпринималось печатание брошюры, он не может сказать ничего положительного: ни М. И. Михайлов, вручивший Сороку для напечатания воззвание «К барским крестьянам», а ему — «К солдатам», ни принимавшие участие в печатании он сам, Сулин и Сороко, не имели никаких средств к распространению прокламаций, даже если бы печатание их

и было кончено. Впоследствии же, когда оно прекратилось, они сами смеялись над бесплодностью и бесцельностью своего предприятия. Воззвание «К солдатам» писано рукою М. И. Михайлова. Пред'явленный ему в комиссии шрифт совершенно одинаков с тем, которым набиралось воззвание «К барским крестьянам».

При рассмотрении комиссией шрифта, найденного под полом беседки Костомарова, оказалось, что шрифт был совершенно новый, без следов краски, которые доказывали бы, что он был в употреблении.

Жена московского мещанина Анна Бекетова удостоверила, что станок, в присутствии Сулина, куплен Костомаровым, и последний отдавал ей деньги.

Датский подданный Иоганн Шюмон тоже показал, что шрифт, бабашки, шпоны и катушку с ручкою купил у него Костомаров на имя барона фон-Ферзена, за которого он в то время себя и выдавал. Был ли при покупке шрифта кто другой с Костомаровым, он не припомнит.

Костомаров возражал, что при покупке у Бекетова станка он только помогал Сулину торговаться, но деньги платил Сулин; за шрифт для Сулина платил Шюмону он, но опять-таки из денег Сулина, а за катушку платил Сороко; от кого последний получил 200 руб. на издержки по печатанию воззваний, ему неизвестно; корректурный лист набранной части воззвания он передал М. И. Михайлову, как любопытную вещь.

Литератор М. И. Михайлов показал, что пред'явленные ему два рукописные воззвания «К крепостным людям» и «К солдатам» ему известны. Первое воззвание он передал Сороку, явившемуся к нему познакомиться от лица Костомарова; другое было написано чрезвычайно неразборчиво, почему он переписал его сам и сделал в нем несколько поправок и приписок, единственно с литературной точки зрения. Это воззвание взял у него Костомаров для прочтения. Передавая оба воззвания, он желал, чтобы они были напечатаны, но, отдавши их, плохо на это расчитывал не помнит даже, выражал ли положительно свое желание. Корректурный лист одного из воззваний был передан ему Костомаровым; давал ли деньги Сороку, не помнит, воззвание же отдал ему, как человеку, который говорил, что имеет возможность напечатать рукопись в Москве.

По обыску у двор. Иосифа Каетановича Сорока (род. в 1839 г.) были найдены: 1) записка от Сулина, в которой он просил быть у Костомарова и взять принадлежности станка; 2) письмо Сулина, что машину взял в долг Аргиропуло, и 3) переплетенная рукописная тетрадь, в которую внесено несколько стихов, и между ними одни на польском языке, по заключению комиссии, предосудительного содержания.

Сороко об'яснил, что в издании «Разбора книги барона Корфа» и печатании его он не принимал никакого участия, узнал же о нем в то время, когда это дело было кончено; вместе с тем узнал от Сулина, что этого сочинения было отпечатано 300 экземпляров, из которых Сулин дал ему 15, чтобы при случае их продать. Не зная содержания этой книги, он по собственным делам отправился в Петербург, взяв с собою эти 15 экземпляров; из них один экземпляр продал неизвестному студенту, а два — литератору Михайлову, у которого он был, по просьбе Костомарова, за получением письма. Михайлов в разговоре сказал, что хочет напечатать одну вещь, но какую именно, не об'яснил; на это он сказал ему, что, может быть, Костомаров и найдет возможность; после того Михайлов вынес из другой комнаты и отдал запечатанный конверт для передачи Костомарову, которому он, Сороко, и передал его, не зная, что там было. При получении от Михайлова конверта, никаких денег не получал, но когда Костомаров просил привезти от Михайлова письмо, то в то же время говорил ему, что ему следуют деньги и от него; поэтому, может быть, Михайлов вложил деньги в конверт, но об этом ему не сказал. По возвращении в Москву, узнавши о розысках по отпечатанию «Разбора», он сжег оставшиеся у него 12 экз. Насчет покупки станка и шрифта ему ничего неизвестно и он никаких типографских принадлежностей ни на свои, ни на чужие деньги не покупал и никакого участия ни в приготовлении к печатанию, ни в самом печатании не принимал. Принадлежности станка взяты им у Костомарова, по просьбе Сулина, и привезены в квартиру Кистера. После того им получено от Сулина известие, что станок продан Аргиропуло. Каким образом попала к нему найденная у него рукописная тетрадь и кому именно она принадлежит, кто сочинил написанные в ней стихи, а также чьей рукой они переписаны, — не

знает; что касается распространения запрещенных сочинений, то ему нередко случалось видеть, как какие-то литографированные статьи продавались в университете, но он не обращал на них никакого внимания.

На очной ставке с Костомаровым Сороко остался при своем показании.

Студент московского университета Александр Петрович Кистер (род. в 1840 г.) об'яснил, что к нему на квартиру перевезен был станок, принадлежавший Сулину и проданный Аргиропуло. Посредничество в этом деле брата его, Вацлава Кистера, состояло только в том, что он должен был передать станок Аргиропуло, получить с него 99 руб. и отдать их Сулину. Как и где литографировались запрещенные сочинения, ему неизвестно, и сам в этом не участвовал. Раз ему случилось из любопытства приобрести от какого-то студента литографированные листы «Колокола» и брошюру «На новый год», которые у него взял Костомаров и, не возвращая их, отдал деньги.

На очной ставке Сулин и Вацлав Кистер уличали Аргиропуло, что при передаче ему Сулиным в квартире бр. Кистер станка, последний был открыт и взят лично самим Аргиропуло; тот признал их показания.

При обыске в квартире студента Ивана Ивановича Гольц-Миллера (род. в 1842 г.), между прочим, найдена памятная книжка, в которой находились следующие заметки: «Юрист Болотников взял 10 экз. Корфа по 1½ руб. сер., а у него взято 3 экземпляра Бюхнера по 1 руб. 70 коп.; медик Галахов — 5 экз. Корфа («14 декабря 1825 г. и император Николай») 10 руб. сер.; математик Заичневский — дать 3 экз. Корфа; юрист Яшенко взял 10 экз. Корфа, 15 руб. сер.; у него можно достать Бюхнера. Математик Адольф взял 5 экз. по 1½ руб. сер., Крыжов 5 экз. Корфа, Ластовский 10 экз. Корфа — 15 руб. сер.; Мантейфель — у него было 10 экз. по 2 руб. сер.».

Гольц-Миллер показал, что найденный у него экземпляр «Колокола» и все литографированные отрывки сочинения Герцена взяты были у студента Макавеева для прочтения, и потом, за смертью Макавеева, остались у него. Относительно заметок в памятной книге об'яснил, что Сулин, уезжая в деревню, просил его получить деньги с упомянутых в записи лиц. Он также взял

для себя у Сулина, вместо денег, которые тот был ему должен, несколько экземпляров «Разбора» с целью оставить их у себя, пока Сулин будет в состоянии отдать ему деньги. Поручение Сулина взялся исполнить из желания оказать товарищу услугу. Продажею и передачею запрещенных сочинений не занимался; найденные у него портреты получил от Макавеева с просьбою отретушировать их. Не доносил правительству об известном ему распространении запрещенных сочинений потому, что не видел от этого никакой опасности для государства; кроме того, стеснялся товарищескими отношениями с распространителями.

Студент Макавеев 4 августа 1861 г. найден застрелившимся на дороге из села Останкино в село Свиблово.

Сулин показал, что он не давал Гольц-Миллеру никаких поручений.

Студенты Болотников, Адольф, Александр Крыжов и Ластовский в приобретении запрещенных сочинений в нескольких экземплярах не сознались и вообще отозвались незнанием о печатании и литографировании запрещенных сочинений, а также о речи, произнесенной Заичневским в костеле и об ответе на эту речь; Крыжов прибавил, что он имел у себя один экземпляр «Разбора», который брал для прочтения у Макавеева и по прочтении возвратил.

Впоследствии состоялось высочайшее повеление, чтобы меру ответственности Крыжова, который, кроме того, обвинялся в участии в беспорядках, бывших в московском университете, определить при рассмотрении настоящего дела.

Московский военный генерал-губернатор уведомил комиссию, что, по его распоряжению, произведен был у студентов московского университета братьев Алексея и Никифора Шкляревских обыск, по которому взято несколько литографирванных запрещенных сочинений и рукописей и карточка с портретами Герцена и Огарева.

Алексей Шкляревский показал, что найденные у него при обыске сочинения, рукописи и карточка Герцена и Огарева принадлежат исключительно ему, так что брат его Никифор совершенно в стороне. Он приобрел их от Макавеева, имея при этом в виду познакомиться с выражением крайних мнений в философии и политике. Происхождение других изданий и способ их

распространения ему неизвестны; сам он никакого участия в издании или распространении их не принимал.

Никифор Шкляревский - показал, что все найденное при обыске принадлежит брату Алексею, а он, по недавнему вступлению в университет, ничего по этому делу не знает.

Затем временная следственная комиссия о беспорядках в московском университете препроводила в комиссию Собещанского литографированную брошюру Огарева «На новый год» и фотографическую карточку Герцена и Огарева, отобранные у вольнослушателя университета Павла Федосеева. Последний об'яснил, что все это куплено им на Смоленском рынке у неизвестной женщины. О литографии и распространении запрещенных сочинений ему ничего неизвестно и он не только не принимал никакого участия в этом деле, но даже и не думал о нем.

При рассмотрении бумаг арестованного по делу «Великорусса» студента петербургского университета Михаила Николаевича Сваричевского (род. в 1840 г.) оказалось письмо на его имя от 28 мая 1861 г. за подписью: «Гладкий», в котором от имени Петровского просят его выслать последнему деньги за какие - то 20 экземпляров. Сваричевский показал, что письмом этим студент моск. унив. Гладкий просил его выслать деньги за 20 экземпляров «Разбора», которые он получил от Петровского для продажи, в бытность его в начале весны 1861 г. в Петербурге, и которые продал своим знакомым. Продажу «Разбора» он принял на себя, так как полагал, что он может служить к раз'яснению событий 14 декабря 1825 г. Получил он эту книгу от Петровского в 30-ти экезмплярах и продал их некоторым лицам, которых всех не помнит, а оставшиеся в памяти не может назвать по фамилии, так как при продаже обязался честным словом не открывать их имен. Находящаяся в письме Гладкого фраза: «Кроме Дараганских экземпляров, сам Петровский дал вам до 20-ти экземпляров», означает то именно сочинение, переданное ему от Петровского чрез Гладкого и чрез Дарагана в числе 10 экземпляров. Заметка Гладкого: «В числе ваших 10 экземпляров у Смоленского» — означает, что в числе данных ему Петровским 20 экземпляров «Разбора» 10 он получил от него лично и 10 чрез Смоленского.

Петровский - Ильенко показал, что студент Гладкий,

узнавши, что он едет в Петербург, просил передать письмо Сваричевскому, познакомившись с которым, просил продать несколько экземпляров «Разбора», а затем, возвратясь в Москву и не получая от Сваричевского никакого ответа, он просил Гладкого написать ему о высылке денег.

Студент московского университета Антон Гладкий показал, что в письме к Сваричевскому принял на себя обязанность напомнить о долге Петровскому, по просьбе последнего, но за что именно и за какие экземпляры, не знает. Относительно упоминаевых в письме экземпляров Дарагана, Гладкий об'яснил, что имел и имеет денежные счеты с Петровским и Сваричевским и потому то, что говорится о долге Дарагана, касается этих счетов, и что он несколько раз посылал чрез Дарагана в Киев к своим товарищам разные незапрещенные сочинения и об этих экземплярах упоминается в письме.

Дворянин Михаил Дараган и студент Северин Смоленский показали, что они никаких экземпляров «Разбора» ни от кого не получали и Сваричевскому не продавали.

14 декабря 1861 г. доставлено было в комиссию письмо с подписью «Comte d'Arteniane», написанное из Москвы от 18 сентября 1861 г. в Одессу. В письме этом говорилось, между прочим, о существовании в Москве между студентами общества распространения запрещенных сочинений Фейербаха, Бюхнера, Лорана и других, что члены этого общества, в числе 500 человек, занимаются переводами и печатанием этих сочинений, что матери и сестры студентов помогают им в их труде, и что отпечатано сочинений до 10.000 экз.

Письмо это было писано студентом московского университета Алексеем Павловичем Соколовым (род. в 1842 г.), который об'яснил, что, упоминая о литографиях, он передал только то, что слышал из общего говора незнакомых ему студентов, с которыми встречался в университете. Он узнал, что многие студенты литографировали разные сочинения, переведенные ими же на русский язык; указать же их не может, потому что никого ни из литографировавших, ни из переводивших не знает. Что же касается слухов, то они были различны; слышал даже, что литографировано до 100.000 экземпляров, и потому полагает, что эта цифра, равно как и цифра 10.000, гиперболическая.

Уезжая из Одессы, он обещал писать к товарищам и знакомым о московских происшествиях и о жизни студентов, но, приехавши недавно в Москву, не мог знать ничего положительного, а писал только по темным слухам, которые всегда преувеличивают или даже извращают факты; поэтому некоторые места в его письме совершенно преувеличены и иногда даже вовсе неверны, иные же имели целью придать деятельности студентов более цены и важности. С сочинениями Фейербаха, Лорана и Бюхнера он познакомился еще в Одессе, где они случайно попались ему в оригиналах, и это подало ему повод, при неимении новостей, проводить в письме идеи, жертвуя иногда истиной из желания показать себя знающим.

После многократного опроса всех указанных лиц и данных некоторым из них очных ставок, комиссия передопрашивала Аргиропуло и Заичневского.

Показания Аргиропуло довольно пространны, но совершенно лишены того, что требовала комиссия; последняя поставила ему это на вид, напомнив, что большая откровенность облегчит его участь. Тогда Аргиропуло написал: «Об'являю, что во всем, что касается меня одного, я показал истину; открыть же имена тех, о которых я знаю, что они участвовали в распространении этих сочинений, я не могу себя принудить, потому что считаю это несогласным с моею совестью».

Относительно приобретенного им литографского станка Заичневский об'яснил, что на самом деле его приобрел работавший у него мастер Иван Антонов; станок стоял в литографии, открытой, с дозволения правительства, кн. Кугушевым. Он держал мастера в течение 1860 г. и литографировал лекции профессоров московского университета.

Иван Антонович Комаров показал, что Заичневский купил станок «в заведении кадетского корпуса», что он работал на нем до июля 1860 г., а затем станок был продан; формат его малый, а потому большие листы «Запада» и пр. там итти не могли.

Затем комиссия запросила попечителя моск. учебного округа о литографировании лекций, получила от него указания на студентов Аргиропуло, Величковского, Горе, Николая Заичневского, Побединского, Каравко, Шмелева и Крафта, опросила ранее не

опрошенных, установила, где они литографировали, привлекла к опросу еще студента Дебоша, владельцев и управляющих литографиями Емельянова, Гильдебрандта, Гирша, Трофимова, Папирова и др., но так ничего обнаружить и не могла.

Оставлены без опроса за неразысканием студент московского университета Тихонов (на которого указал Аргиропуло) и студент того же университета Мантейфель, фамилия которого значилась в памятной книжке Гольц - Миллера.

Что касается подозревавшегося III Отделением литератора Камбека, то оно сообщило комиссии, что полученное «частное сведение исследовано не было и никакими фактами не доказано».

Комиссия признала достаточным полицейский надзор за Сулиным, Петровским, Ященком, Сороком и Гольц - Миллером, для Костомарова — домашний арест, а остальных оставила на свободе, кроме П. Заичневского и Аргиропуло, арестованных при III Отделении по высоч. повелению.

27 октября 1861 г. Вс. Костомаров, по просьбе комиссии Собещанского, был отправлен из III Отделения в Москву; все остальные посылались отдельно, причем сношений их с Костомаровым комиссия не считала возможным допустить. При этом было разрешено дать ему там свидание с родными. 25 ноября Совещанский телеграфировал Шувалову, что Всеволод Костомаров комиссии больше не нужен. III Отделение телеграфировало в ответ, что препятствий к освобождению его не имеет. Однако, как видно из письма сыщика И. Д. Путилина к Потапову от 8 декабря 1861 г. из Москвы, в котором он благодарил за данный ему по III Отделению орден Владимира 4 степени, Костомаров все еще не был освобожден; мало того, благодаря путанице в делах комиссии и московской полиции, он был прислан 20 декабря в Спб., а 22-го возвращен обратно в Москву, и все в сопровождении жандармов. Наконец, его оставили в Москве под домашним арестом.

21 декабря 1861 г. комиссия Собещанского подала министру вн. дел очень пространный рапорт, из которого приведу лишь то, что дополняет уже приведенное из сенатской записки.

«Соображая скудость и неполноту поличного с тем, что можно бы было предполагать у обвиняемых, нельзя, — рапортует комиссия, — не прийти к заключению, что большая часть

литографированных листов, при первых же арестах, истреблена или разошлась по разным местностям, и там тоже или уничтожена или припрятана, а может быть, и ходит по рукам, скрываясь от полицейского надзора».

Подводя итог деятельности литографирования в Москве, комиссия нашла достаточные основания считать, что были изданы: Герцена: «Былое и думы» — часть 1, гл.гл. I—VI, вся ч. II, вся ч. III и IV, «Запад», гл.гл. I, II, III, из V части гл.гл. I — III, «Старые письма», «С того берега», «Русский народ и социализм», несколько статей из «Колокола», «За пять лет»; Огарева «На новый год»; Бюхнера «Сила и материя»; Фейербаха «Лекции о сущности религии», затем несколько стихотворений Шевченка и еще несколько вещей.

Обширный рапорт комиссии закончен следующими «общими соображениями»:

«Соображения выведенных по всем трем категориям обстоятельств приводят комиссию к заключению, что напечатание «Разбора книги бар. Корфа „14 декабря 1825 г. и император Николай"», а также умысел и даже набор, — подготовка к напечатанию весьма возмутительного воззвания к барским крестьянам, равно литографирование вообще запрещенных и злоумышленных сочинений, не были делом одних и тех же лиц и не связывались между собой общим интересом, указывающим на одну какую-либо цель, а всего менее — политическую. Так, помянутую выше книгу «Разбор книги бар. Корфа» печатали Сулин и Петровский-Ильенко, уроженцы Войска Донского, и сделали это единственно из желания воспользоваться барышами, столь искусительными при крайней их бедности, в особенности Сулина. Воззвание «К барским крестьянам», по желанию отст. губ. секретаря Михайлова, намеревался напечатать отст. корнет Костомаров, Сулин же участвовал в этом деле только, как несколько сведущий в типографском искусстве помощник, и сам, посредством придуманной им, Сулиным, безыменной предостерегательной записки, остановил дальнейшую работу. Издание литографированных сочинений производилось в Москве разными лицами и в разные времена, в течение последних двух или трех лет. Выбор статей положительно доказывает, что в деле литографирования, кроме спекуляции, не было одной общей полити-

ческой цели, а отсутствие всякой системы и самая разнохарактерность авторов и статей не оставляют, кажется, ни малейшего сомнения, что в этом предприятии не было организованного тайного общества, а скорее каждая личность, занимавшаяся изданием и распространением запрещенных сочинений, побуждалась к тому совершенным недостатком самых необходимых средств к существованию. Если же для литографии избирались статьи запрещенные, с более или менее политическим оттенком, то это происходило не по сознанию, что статьи эти будут иметь какое - либо влияние на читающую публику, и не в ожидании каких - нибудь опасных для государства результатов, а единственно потому, что эти литографированные листки, как и все запрещенное, скорее могли найти покупателей, которые, впрочем, приобретая их, не только не выражали сочувствия к идеям, проводимым в недозволенных сочинениях, но нередко даже не читали оных, как это комиссией замечено из того, что некоторые литографированные сочинения, найденные у обвиняемых, были вовсе не разрезаны. Вообще, издания эти, по большей части, весьма неразборчивы, неотчетливы, так что читать их можно только с большим трудом. Свойственная преступлению робость и скудость средств, которыми располагали издатели, видны почти на каждом литографированном листке, хотя на некоторых и выражается странная заносчивость, как, например, надписи на заглавных листках: «Посвящается московским студентам» или «Москва, 1861 года».

«Исполнение этой, хотя и спекулятивной цели издателей, но не менее того противозаконной и небезвредной, не мало способствовало то, что многие из московских литографов едва настолько грамотны, что умеют подписать свое имя, отчество и фамилию. Эти - то литографы, вернее всего, и были, так сказать, слепым, безсознательным орудием в деле литографирования запрещенных сочинений. Недостаток надзора за литографиями и за содержателями их неопровержимо доказывается существованием в Москве (как получено комиссией частное, но достоверное сведение) до 150 литографий, тогда как из них открыто с разрешения правительства не более 96.

«Чтобы отвратить зло, истекающее из своевольных изданий разных статей, чтобы дать закону полное применение в этом

деле, необходимо, по мнению комиссии, законными же мерами искоренить другое зло, дающее возможность и легкость к исполнению первого, а именно: предписать немедленно закрыть те литографии, которые существуют без надлежащего дозволения, а за литографиями, разрешенными правительством, и за книгопродавцами иметь то строгое наблюдение, которое разным ведомствам полиции предписано в законах. Кроме мер строгости, полезно было бы тоже увеличить число студенческих стипендий, в особенности, на счет городских сумм и доходов приказов общественного призрения, а также посылать в университеты периодические заказы на переводы сочинений, по выбору подлежащих министерств; равно, возложить на губернские и университетские начальства обязанность, посредством благотворительных спектаклей, концертов и добровольных складок, оказывать посильное вспомоществование неимущим студентам.

«Комиссия долгом считает доложить еще вашему высокопревосходительству, что отставной корнет Костомаров весьма много содействовал к раскрытию некоторых обстоятельств возложенного на комиссию дела, хотя показания его, Костомарова, не всегда вполне соответствовали действительности совершившихся фактов, и что из подсудимых Петровский - Ильенко и Новиков, неразысканные московскою полициею, сами добровольно явились в комиссию для допросов. В Костомарове заслуживает еще внимания, что он в самое короткое время приобрел себе почетную известность (!?), как даровитый и трудолюбивый писатель, и что он своими литератирными трудами содержит престарелую свою мать и двух сестер, которые тоже, для разных журналов, участвуют в переводах».

Если бы не этот конец, можно было бы сказать, что комиссия Собещанского очень корректно отнеслась к своей роли, выполнила ее беспристрастно, очень благожелательно защищала молодежь, опираясь на все формальные, а не жандрамские основания, и всячески искала юридического обоснования всем своим шагам и мнениям, особенно щепетильно относясь к лишению кого бы то ни было свободы.

Разумеется, всем, кто занимается изучением политических движений, в частности — эпохой 1860 - х годов, надо постоянно помнить, что каждый привлеченный старался всякими спосо-

бами убедить власть в своей невиновности, что и совершенно понятно. Только Заичневские — а таких немного, — видели необходимость, наоборот, говорить правду, но и то только «почти».

27 декабря Валуев представил всеподданнейший доклад об окончании следствия, прося соизволения на передачу всего дела в министерство юстиции для поступления с виновными по закону, согласно об'явленному 29 августа 1861 года управляющим III Отделением высоч. повелению, и, следовательно, для предания их суду сената. 28 декабря царь согласился с министром.

Дело слушалось в I отделении шестого (московского) департамента; в состав его входили: первоприсутствовавший И. С. Тимирязев, члены: генералы М. И. Жеребцов, бар. Х. Х. Ховен и И. Н. Хотяинцев, известный писатель кн. В. Ф. Одоевский и А. Н. Казначеев, обер-прокурор А. Н. Шахов.

Сенат передопросил всех лиц, но увидел, что узнать что-нибудь новое будет почти невозможно. Лишь некоторые внесли дополнения и изменения в свои показания, данные комиссии. Так, Костомаров показал, что не может утверждать, что прокламацию «К барским крестьянам» получил от Сулина или Сорока, потому что когда Сороко привез из Петербурга рукопись, они читали ее втроем: он, Сулин и Сороко, и по прочтении Костомаров унес ее к себе домой. Кроме того, он показал, что «К солдатам» получил от Михайлова только затем, чтобы прочитать и высказать о ней свое мнение. Один экземпляр «Разбора» он купил у Сулина собственно для себя, другие принесены были Сулиным к нему без всякой его просьбы и им же унесены назад, когда была получена анонимная записка. Сороко добавил, что по приезде в Москву прокламацию «К барским крестьянам» не читал и содержания ее не знает. А. Кистер дополнил, что Костомарову он дал «На новый год» не с целью распространения, а по просьбе его, для прочтения. От предложенных же Костомаровым за невозвращением сочинения денег не счел нужным отказаться, дабы не потерпеть убытка; что же касается листов «Колокола», то вовсе Костомаров их не давал.

Костомаров подтвердил это, об'яснив, что он платил деньги

потому, что, утративши брошюру, считал своим долгом возместить ее деньгами.

Я не буду передавать подробно очень пространное определение сената, не буду следить и за распределением лиц по категориям, а приведу лишь самое существенное и резолютивную часть.

«Между подсудимыми сообщества в распространении запрещенных литографированных сочинений Герцена, Огарева и других, а также в распространении портретов декабристов, польских эмиссаров, Герцена, Огарева и других подобных им деятелей, следствием не открыто; равным образом не обнаружено, кем именно литографировались означенные сочинения и портреты. Политической цели распространения сочинений, можно положительно сказать, не было; вся цель литографирования и распространения состояла в выручке денег, в том предположении, что сочинения эти, как запрещенные, могли расходиться в продаже в большом количестве и тем, действительно, представлять средство к вспомоществованию бедным студентам.

«Ясным и вполне положительным образом не доказано, какие именно из оказавшихся по обыску литографированных сочинений, каждым из подсудимых продавались. А потому, в виду сих обстоятельств, было бы опасно и не соответствовало бы строгой справедливости подвергать распространителей означенных сочинений наказанию, полагаемому за распространение сочинений, за которое закон определяет каторжную работу, а следует всех оказавшихся виновными в распространении какого-либо из литографированных или печатных найденных по обыску сочинений подвести под действие 319 ст. XV т. кн. 1.

«Изданное без дозволения цензуры и распространенное сочинение «Разбор книги барона Корфа „14 декабря 1825 года"» содержит в себе главнейше критический разбор описываемых бароном Корфом исторических фактов конца царствования Александра I и вступления на престол Николая I. Идей, клонящихся к подрыву верховной власти и вообще того, о чем говорится в ст.ст. 279, 282, 285 и 286 т. XV кн. 1, сочинение это в себе не заключает, но в нем есть, однако-ж, места, в которых допускаются недозволенные суждения о постановлениях и действиях существующего ныне правительства, а также оскорбительные отзывы о некоторых управлениях и должностных лицах по испол-

нению служебных обязанностей. Кроме того, «Разбор книги барона Корфа» наполнен оскорбительными выражениями против самого сочинителя статс-секретаря барона Корфа. Таким образом, вышеупомянутое сочинение, в отношении определения наказания виновным в распространении его, должно быть отнесено к числу сочинений, указанных 317, 318 и 319 ст. XV т. кн. 1.

«Правительствующий сенат определил:

«1) студента московского университета *Петра Заичневского,* за произнесение публично речей возмутительного содержания в г. Подольске к крестьянам и в ограде московской римско-католической церкви к полякам, и распространение запрещенных литографированных и печатных сочинений, лишив всех прав состояния, сослать в каторжные работы на заводах на два года и 8 месяцев, а, по прекращении сих работ, за истечением срока или по другим причинам, поселить в Сибири навсегда;

«2) отставного корнета *Всеволода Костомарова,* за напечатание воззвания «К барским крестьянам», по содержанию своему направленного к возбуждению восстания против верховной власти, имение у себя такого же воззвания к солдатам и подобного рода литографированного сочинения Огарева, под заглавием «На новый год», участие в распространении запрещенного сочинения Огарева «Разбор книги барона Корфа «14 декабря 1825 года» и открытие типографской работы без дозволения правительства, лишив некоторых, по 54 ст. т. XV кн. 1, особенных прав и преимуществ, заключить в крепости на четыре года;

«3) студента московского университета *Перикла Аргиропуло,* за распространение запрещенных литографированных и печатных сочинений, заключающих в себе недозволенные суждения о постановлениях и действиях правительства, и недонесение о произнесении Заичневским в Подольске речи возмутительного содержания, лишив некоторых, по 54 ст. т. XV кн. 1, особенных прав и преимуществ, заключить в смирительный дом на два с половиною года, оставив его в подозрении в самом литографировании запрещенных сочинений;

«4) студента московского университета *Леонида Ященка,* за распространение запрещенных литографированных и печатных сочинений, заключающих в себе недозволенные суждения о постановлениях и действиях правительства и за имение у себя

сочинения Огарева «На новый год», без лишения особых прав и преимуществ, заключить в смирительный дом на один год, а по предмету участия в распространении возмутительных воззваний от суда освободить;

«5) обер-офицерского сына *Петра Петровского-Ильенко,* за напечатание и распространение запрещенного сочинения Огарева «Разбор книги барона Корфа «14 декабря 1825 года», заключить в смирительный дом на один год;

«6) студента московского университета *Якова Сулина,* за участие в напечатании и распространении запрещенного сочинения Огарева «Разбор книги барона Корфа „14 декабря 1825 года"» и печатание в типографии, открытой без дозволения правительства, заключить в смирительный дом на три месяца, оставя его в сильном подозрении в печатании возмутительного воззвания «К барским крестьянам», с знанием содержания сего сочинения, и освободив от суда по предмету участия в распространении возмутительных воззваний вообще;

«7) студента московского университета *Александра Новикова,* за распространение запрешенных литографированных и печатных сочинений, заключающих в себе недозволенное суждение о постановлениях и действиях правительства, заключить в смирительный дом на три месяца;

«8) студента с.-петербургского университета *Михаила Сваричевского,* за участие в распространении запрещенного сочинения Огарева «Разбор книги барона Корфа „14 декабря 1825 года"» и недонесение правительству о присылке в университет воззвания «Великорусс», заключить в смирительный дом на три месяца;

«9 студента московского университета *Ивана Гольц-Миллера,* за распространение запрещенного сочинения «Разбор книги барона Корфа „14 декабря 1825 года"», заключить в смирительный дом на три месяца, а за оказавшиеся у него по обыску литографированные листы из «Колокола» и портреты декабристов, польских эмиссаров и других подобных лиц, наказанию его, Гольц-Миллера, не подвергать и от суда освободить;

«10) студента московского университета *Александра Кистера,* за имение у себя сочинения Огарева «На новый год», подвергнуть аресту на семь дней и потом отдать под полицейский надзор в продолжение одного года, а по предмету обвинения в распро-

странении запрещенных сочинений от суда освободить, равно не подвергать наказанию за участие его при продаже Сулиным типографского станка;

«11) бывшего студента московского университета дворянина *Иосифа Сорока* оставить в сильном подозрении как в участии в составлении возмутительного воззвания к барским крестьянам, так и в распространении запрещенного сочинения Огарева «Разбор книги барона Корфа „14 декабря 1825 года"», внушив Сороку быть впредь осмотрительнее при продаже и передаче книг сторонним лицам и обращать при этом внимание на пропуск их цензурою под опасением в противном случае ответственности по 1370 ст. XV т. кн. 1-й;

«12) студента московского университета *Алексея Соколова* по предмету составления, распространения и имения у себя запрещенных сочинений от суда освободить, а за распространение ложных слухов подвергнуть аресту в продолжение одного дня;

«13) студента московского университета *Александра Крыжова,* за имение у себя запрещенного сочинения «Разбор книги барона Корфа „14 декабря 1825 года"», наказанию не подвергать и от суда освободить, а за участие в беспорядках, происшедших между студентами московского университета и другими лицами, применяясь к высочайшему повелению, последовавшему 6 февраля 1862 года о других виновных в означенных беспорядках, выслать в Олонецкую губернию под строгий надзор городничего того уездного города, который, по ближайшему усмотрению начальника губернии, будет избран для его жительства, не воспрещая ему поступления на службу в присутственные места того города, но отнюдь не вне его;

«14) вольнослушателя московского университета *Павла Федосеева,* за имение сочинение Огарева «На новый год» и участие в беспорядках, происшедших между студентами московского университета и другими лицами, выдержать под арестом в продолжение семи дней и затем, по руководству вышеприведенным высочайшим повелением, исключив из университета и не дозволяя ему в продолжение двух лет вступать в другие университеты, если имеет родителей или родственников, отдать родителям или родственникам на поруки в его добропорядочном поведении; если же не имеет ни родителей, ни родственников, принимающих на себя

поручительство в его благонадежности, выслать, по соглашению министра внутренних дел с шефом жандармов, в один из уездных городов Олонецкой губернии на два года. На представление порук назначить срок, по ближайшему усмотрению московского военного генерал - губернатора, до истечение коего иметь за Федосеевым строгий полицейский надзор, об'явив ему, что как в сие время, так и впоследствии, за малейшее нарушение полицейских правил, если останется в столице, будет выслан из оной в отдаленные города;

«15) студента московского университета *Алексея Шкляревского,* за имение запрещенных сочинений Герцена, а также фотографических изображений Огарева и Герцена и лекций Фейербаха, наказанию не подвергать и от суда освободить;

«16) равным образом не подвергать наказанию и от суда освободить: студента московского университета *Петра Михайлова* за имение литографированного сочинения Герцена «С того берега», учителя черниговской гимназии *Илью Дорошенко* за намерение приобресть запрещенные сочинения Бюхнера, Фейербаха и «Колокол», студента московского университета *Ивана Понятовского* за намерение приобресть сочинение Герцена «Былое и думы», и дворянина *Николая Заичневского* за намерение приобресть «Колокол» Герцена;

«17) студента московского университета *Никифора Шкляревского* признать к делу сему вовсе неприкосновенным;

«18) студентов московского университета: *Владимира Галахова, Эдуарда Адольфа, Степана Ластовского, Петра Болотникова, Антона Гладкого,* студента с.-петербургского университета *Северина Смоленского* и дворянина *Михаила Дарагана* от суда и следствия освободить, по 304 ст. XV т. кн. 2-й;

«19) дальнейших розысков о студентах *Тихонове и Мантейфеле* не производить;

«20) на приведение решения сего в отношении Петра Заичневского, Александра Крыжова и Павла Федосеева в исполнение испросить высочайшее его императорского величества соизволение, а в отношении Всеволода Костомарова, Перикла Аргиропуло, Леонида Ященка, Михаила Сваричевского и Александра Кистера, на основании 617 и 628 ст. т. XV кн. 2-й, решение сената представить на утверждение государя императора, и затем решение

наличным подсудимым об'явить при открытых дверях присутствия, а отсутствующим, что до кого из них касается, чрез местных начальников губерний, о чем последним, равно для исполнения решения над обвиняемыми, московскому генерал-губернатору послать указы [1]).

Государственный совет согласился с сенатом. 1 ноября 1862 г. царь написал на его мнении:

«Заичневскому ограничить срок каторжной работы одним годом, Аргиропуло заключить в смирительный дом на один год, Ященко на шесть месяцев, Сваричевского на один месяц, Костомарова, по выдержании в крепости шести месяцев, отправить на службу в войска кавказской армии рядовым, а в прочем быть по сему».

Однако, об'явление этого приговора задержалось. Чтобы не обнаружить истинную роль Костомарова, 9 декабря его приказано было вновь заключить под стражу, как и Аргиропуло, впредь до об'явления приговора. 10-го оба были взяты из дома и арестованы при Сущевской полицейской части.

2 января 1863 г. приговор был об'явлен в сенате при большем стечении молодежи, особенно студентов, которые выражали свои симпатии главным образом Заичневскому. Этим было нарушено высочайшее повеление о недопущении сборищ. На донесении об этом полковника Воейкова царь, с присущею им безграмотностью, положил резолюцию: «Сборище в сенате неследовало не под каким видом допускать, что тем более неизвинительно, что все Начальство было о том предупреждено. По этому немогу незаметить этого Воен. Ген.-губернатору. Надеюсь что при отправлении осужденных, из Москвы, подлежащие меры будут приняты дабы небыло допущено ничего подобного. Желаю знать о дне их высылки».

10 января Долгоруков телеграфировал ген.-губернатору Тучкову: «Сборища не должны быть допускаемы собственно при отправлении осужденных из Москвы; но обряд следует исполнить

---

[1]) Сенатор Ховен подал особое мнение, в котором высказался за смягчение наказания Заичневскому, за что и был удостоен царской немилости (См. «Современник» 1912 г., III).

по закону и возвратить их в тюрьму. Для сего высочайше разрешается избрать место близ тюрьмы.

10 января Заичневского, не закованного в кандалы, тихонько отправили из тюрьмы на почтовых под конвоем двух жандармов, без публичного приведения в исполнение приговора, в Казань. Решительно никто ничего не знал, и потому все обошлось благополучно. 23 января Заичневский прибыл в Тобольск и, благодаря болезни, 16 февраля был отправлен дальше не пешком, а на подводе при «дворянской партии»; на другой день его вернули совсем больного в тобольскую тюрьму. 22 февраля он был вновь отправлен на обывательской подводе, и 18 апреля прибыл в Красноярск, где был сдан на завод.

Все остальные, присужденные к отбыванию тюремного заключения, были на свободе до 20 февраля 1863 г., что очень возмутило шефа жандармов, забывшего, что раз было отменено публичное приведение в исполнение приговора, то тем самым была продлена и свобода подлежащих заключению.

18 декабря 1862 года Аргиропуло умер в московской полицейской больнице; когда в день кончины доктор предложил ему приобщиться, он еще имел силы сказать, что «и без этого издохнет». Врачи после вскрытия констатировали разжижение мозга на почве недавно перенесенной тифозной горячки. 21 декабря его похоронили на Миузском кладбище; «присутствующих не было», — доносил довольный мирным исходом похорон московский жандарм. 31 декабря около двадцати студентов отслужили панихиду в Иерусалимском подворье; служил архимандрит Филарет, который потом набрался страху, узнав, что совершил такое преступление...

По окончании работ Петр Заичневский поселен был в Киренском округе Иркутской губ.; в 1868 г. был переведен в Пензенскую губ., а в 1872 г. отдан на поруки отцу с обязательством жить в его имении; в 1874-м ему было разрешено переехать в Орел. В 1876 г. жил в Орле под надзором полиции, все еще в качестве лишенного прав состояния. Мать просила о снятии с него этой тяжелой кары; начальник жандармского управления полк. Рыкачев ничего не имел против. Одновременно III Отделение довело до сведения министра вн. дел, что Заичневский, с разрешения орловских властей, приезжал в начале декабря

1876 г. в Спб. и, «как оказалось впоследствии, знал о приготовлениях демонстрации 6 декабря на площади Казанского собора. Хотя нет фактических данных, которые изобличали бы Заичневского в участии в этой демонстрации, но вследствие падающего на него подозрения в этом отношении», III Отделение просило министра сделать распоряжение о воспрещении Заичневскому всяких отлучек из Орла. В 1876 г. он восстановлен в прежних правах и преимуществах по происхождению, но с оставлением под строгим надзором полиции; служил секретарем в орловской уездной земской управе. 7 февраля 1877 г. орловский губернатор так аттестовал Заичневского: «Доселе аттестовался хорошо. Председатель орловской уездной земской управы, человек честный и благонамеренный, лично передавал мне, что, приглядываясь к Заичневскому, он пришел к убеждению, что последний не покидает своих политических заблуждений. В обществе о нем существует то же мнение и, кроме того, общее убеждение, что З. имеет вредное влияние на учащуюся молодежь, особенно орловской женской гимназии». В августе 1877 г. Заичневский был выслан в Повенец. Умер он в 1896 г. в Смоленске.

Так был выброшен из жизни один из самых выдающихся революционеров - социалистов 1860-х годов, перед смелостью и прямолинейностью которого невольно склоняешь голову [1]).

Московский генерал - губернатор Тучков просил министра вн. дел, в виду «достоверной ему известности, что заключенные в смирительном доме Ященко, Петровский, Сулин, Новиков, Гольц-Миллер и Сваричевский весьма неблагонамеренны и опасны по своему дурному направлению для столицы», не признает ли он возможным сделать распоряжение об административном удалении их из Москвы. Министр снесся с шефом жандармов и приказал отправить после отбытия заключения в смирительном доме: Ященко в Бугульму, Ильенко — Новоузенск, Сулина — Буинск, Новикова — Алатырь, Гольц - Миллера — Корсунь, Сваричев-

---

[1]) Интересующихся его фигурой отсылаю к «Воспоминаниям» А. М. в сборнике «О минувшем», Спб. 1909 г., к «Былому» (см. алфавитные указатели), к «Историко-революц. бюллетеню» № 1, к «Голосу Минувшего» (см. указатели) и к т. I «Красного Архива».

ского — в Курмыш с учреждением за ними полицейского надзора. Еще в 1867 г. Сваричевский просил перевести его в другое место, но просьба его не была удовлетворена. Сулин был затем сослан в Томскую губ., откуда в 1874 г. получил право переехать в Вост. Сибирь. Ссылка его в Сибирь произошла по высоч. утвержд. 6 апреля 1866 г. мнению госуд. совета: «лишить всех особенных, личных и по состоянию присвоенных ему прав и преимуществ со ссылкою в Томскую губернию».

23 октября 1863 г. Потапов сообщил Воейкову, что содержавшийся в московском смирительном доме Петровский-Ильенко, «через посредство рязанской помещицы Похвисневой имеет сношения с заграничными выходцами в Лондоне и с Гарибальди в Италии, намеревается бежать и, будто бы, не только все к побегу его приготовлено, подобно, как бежал И. Кельсиев, но что даже назначен день для побега и именно 20 ноября».

В 1865 г. Гольц-Миллеру было разрешено продолжать университетское образование вне столиц, оставаясь под надзором полиции. Умер в 1871 г. в Орле [1]).

В таких формах и тонах представляется нам это дело по официальным данным. Однако, отсюда вовсе не следует вывод, что Заичневский и Аргиропуло невинно печатали профессорские курсы, а если и шли на издание статей Герцена и книг первых материалистических проповедников тогдашнего времени, то делали это просто для пополнения скудного студенческого заработка в столице. Конечно, дело организовано было, как чисто политическое, конечно, Заичневский и его товарищи шли прямо, хотя и весьма осторожно и очень неуверенно, на организацию социалистической проповеди, как она представлялась тогда не только им, юнцам и авангарду шествовавшей мелкой буржуазии, но и людям, гораздо более их подготовленным и глубоким, какими были Чернышевский, Добролюбов и др. Печатание профессорских курсов давало им только оборотные средства для исполнения основной задачи издательства.

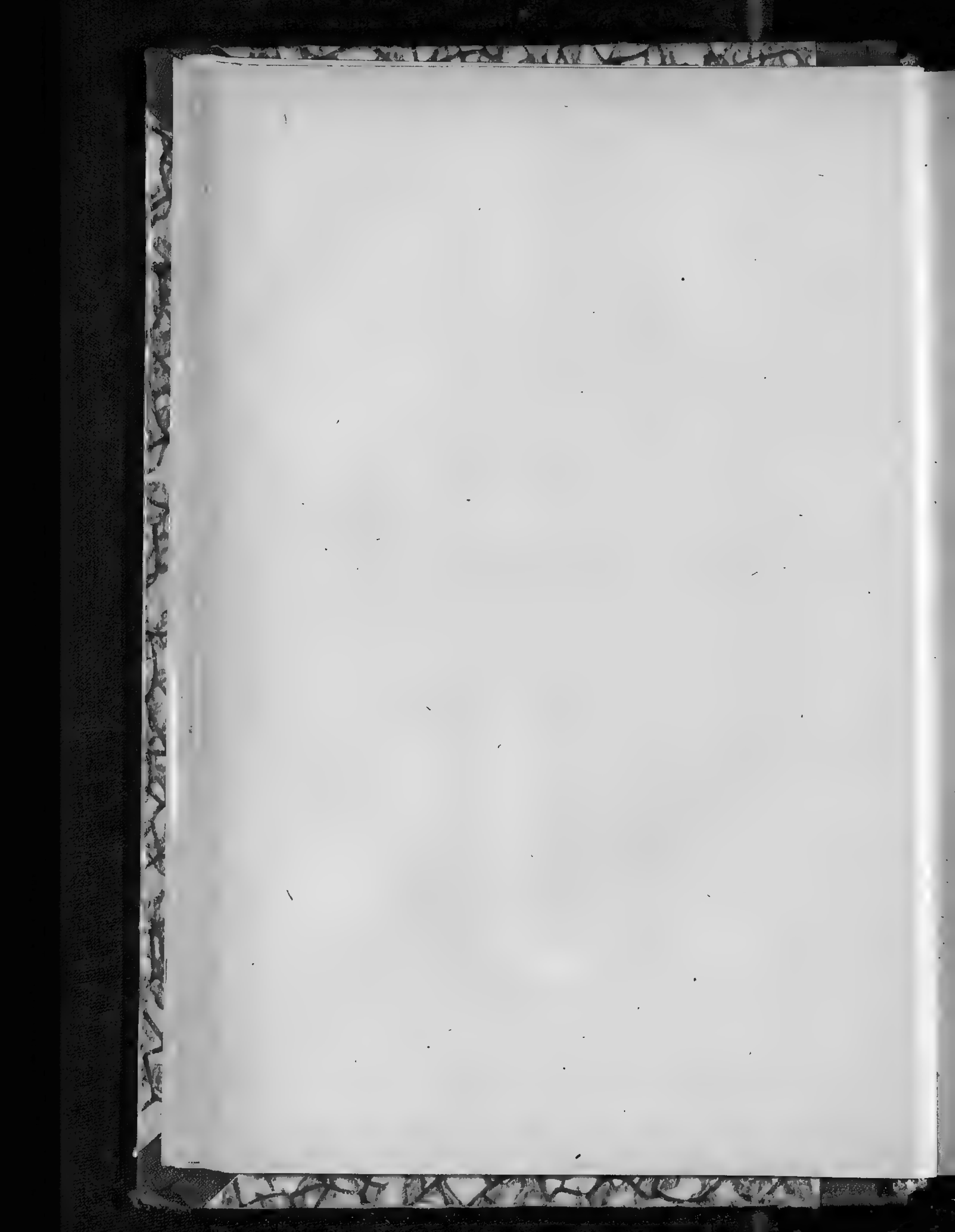
---

[1]) Архив III Отд. с. е. и. в. канцелярии, 1 эксп. 1861 г., дело № 212; архив мин. вн. дел, дело канц. 1881 г. № 82 и сенатская «Записка» «Стасюлевич и его современники», т. V.

Полиция, жандармерия, чиновничество и общество в целом до такой степени не были подготовлены в России к восприятию новых истин утопического социализма, что как нельзя лучше обнаружили свою невинность в этом именно деле, одном из первых политических дел новой эпохи. Ни Собещанский, вдохновляемый министром Валуевым, ни Воейков, руководимый «Петром IV» Шуваловым, конечно, не имели никаких поводов вдруг изменить свою природу в оценке поступков и побуждений московского студенчества. И если дело кончилось так, как оно кончилось, то именно благодаря их недостаточной осведомленности в сущности содержания революционной работы в ее новых формах, а с другой стороны — в виду конспиративности молодой группы издателей и типографов, несмотря на предательство Костомарова. Фигура последнего была только тенью; он не имел основания топить своих товарищей больше, чем нужно было для установления собственной невиновности, так как это грозило бы ему самому осложнением собственной роли. Между тем, ко времени окончательного подведения итогов Костомаров был уже в связи с полицией и жандармерией и знал, что может направить свои таланты по пути предательства людей более заметных и сильных.

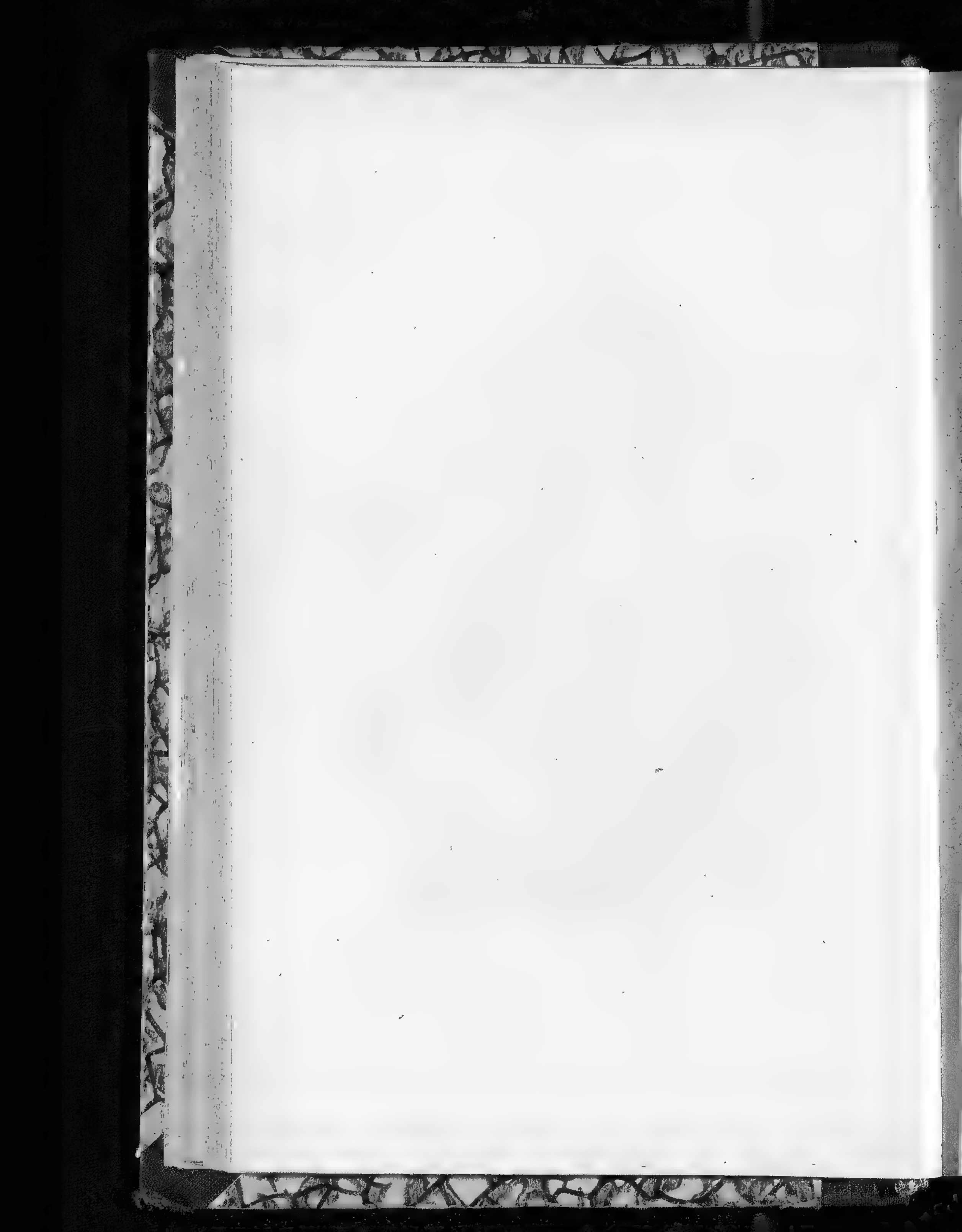
II.

Дело М. И. Михайлова.





М. И. МИХАЙЛОВ.



Михаил Илларионович[1] Михайлов, известный в 1860-х годах русский писатель, — один из тех, которые, по странной случайности и еще больше — по воле цензуры, все еще мало знакомы нашему времени. Она тщательно оберегала его от широкого общественного внимания; например, в числе мест, подлежавших исключению из моей книги «Эпоха цензурных реформ 1859 — 1865 годов», напечатанной в конце 1903 г. без предварительной цензуры и, по постановлению главного управления по делам печати, перепечатанной в 1904 г. со многими сокращениями и изменениями, — была такая строка, помещенная в конце обзора русской общественной жизни за 1861 г.: «14 декабря Михайлов сослан в каторгу»... Все мои доказательства против ее исключения самим начальником управления, сенатором и бывшим профессором Зверевым были им решительно отвергнуты.

А в свое время Михайлова хорошо знали. Он был известен прежде всего романом «Адам Адамыч»; затем прекрасными, можно сказать, лучшими переводами Гейне, этого всегда усиленно читавшегося поэта. Романы «Марья Ивановна» и «Перелетные птицы» упрочили популярность Михайлова в качестве «сочинителя», а переводы Байрона, Томаса Гуда, Лонгфелло и других европейских поэтов окончательно закрепили его выдающееся положение в ряду литераторов. Но это еще не все. Михайлов — и по тогдашнему времени это было особенно важно — снова поднял в русской литературе, так назызваемый, женский вопрос и, так как сделал это в то время, когда передовая часть России в лице интеллигенции рождавшейся буржуазии всем своим существом стремилась к «свободе», то,

---

[1]) В литературе общепринято называть его «Ларионовичем»; так он и сам иногда писал, но, разумеется, это сокращение в роде «Катерины».

очевидно, завоевал себе еще и лавры выдающегося публициста. И если справедливо мнение Пыпина, что «в целом литературная карьера Михайлова не удалась», что «у него были задатки, по которым он мог сделать больше, чем сдалал» [1]), то во всяком случае известность М. И. была достаточно велика, чему ясным доказательством может служить его проезд через Сибирь на каторгу, с которым я познакомлю читателя в конце настоящего очерка.

Литература о Михайлове не велика. Прежде всего надо назвать его собственные «Записки», появившиеся в 1906 г. одновременно в «Рус. Богатстве» (VI — IX кн.) и «Рус. Старине» (VIII — X кн.). Как и водилось, к сожалению, в нашей журналистике, ни та, ни другая редакция не отнеслись к делу с полным вниманием, а «Рус. Старина» допустила вообще вопиющие неточности и искажения, так характерные для этого журнала после смерти М. Семевского (тоже, правда, не мастера по части точности текстов). Издание «Записок» под редакцией Шилова (1922 г.) оставляет желать лучшего. Затем серьезный источник — «Воспоминания» Н. В. Шелгунова, вырезанные цензурой из «Собрания» его сочинений и появившиеся также частью в «Голосе Минувшего» 1918 г. (кн. 4 — 6), частью в «Юбилейном сборнике Литературного Фонда». Новый материал по биографии имеется в статье В. Мияковского («Голос Минувшего» 1915 кн. IX), в письмах Михайлова, помещенных П. Быковым в IX кн. «Современика» 1912 г. и в заметке Е. Дубровиной в XII кн. «Беседы» 1905 г. Все остальное или несущественно, или вздорно, или трафаретно.

Для желающих познакомиться с Михайловым, как беллетристом, поэтом и переводчиком, существует трехтомное издание «Полного собрания сочинений» его, полнота которого возвещена просто недобросовестно: оно не только не закончено, но редактор П. Быков проявил всегдашнюю свою неосведомленность со всем, что выходит за пределы библиографии и чистой художественной литературы, и притом на этот раз настолько, что решился заявить в предисловии всю свою безграмотность в принятом на себя деле: «что касается статей Михайлова, которых было очень много, то в настоящее

[1]) «Мои заметки» («Вестник Европы» 1905 г., II, 497).

время они потеряли интерес и потому не включены в настоящее издание. Они явились бы одним только излишним балластом»... Рецензия В. Мияковского в VI кн. «Голоса Минувшего» 1914 г. недурно иллюстрирует работу этого редактора. Биография, написанная П. Быковым для первого тома, дает кое-какую сводку части материала, но Михайлов вовсе не понят своим биографом. Кстати, к «Сочинениям» Михайлова. Предполагаемое издание их Н. А. Серно-Соловьевичем не было разрешено III Отделением, а отпечатанное Звонаревым в 1867 г. — по его же настоянию, уничтожено.

Между тем, М. И. вполне заслуживает реставрации в нашей памяти еще и потому, что, будучи одним из первых вполне сознательных распространителей русской вообще и народнической в частности прокламационной литературы, он был и из первых политических ссыльных в двуличное, афишированное кадетствующими публицистами-историками жестокое царствование Александра II.

I.

В конце 1860 года в Петербург приехал из Москвы Всеволод Дмитриевич Костомаров, уже знакомый читателю, через год «прославившийся» провокаторскими и шпионскими способностями. Имея письмо от поэта А. Н. Плещеева, он явился к Михайлову просить содействия в своих литературных работах в области самостоятельной и переводной поэзии. Разговорившись с Михаилом Илларионовичем, жившим с Н. В. и Л. П. Шелгуновыми, он настолько разоткровенничался, что показал им напечатанное на отдельных листках и подписанное полною его фамилией свое стихотворение, поражавшее нецензурностью. Знакомство, таким образом, легко завязалось.

Дальше я помещаю в особом приложении три письма Михайлова к Костомарову, из которых видно, что вскоре между ними установились самыя приятельские отношения.

Летом следующего, 1861, года Л. П. Шелгуновой надо было ехать за границу лечить паралич ног; ее сопровождали муж и близкий к ней Михайлов. Сначала они прожили в Наугейме, на водах, затем Шелгуновы поехали в Париж, а Михайлов — в Лон-

дон, к уже знакомым Герцену и Огареву, с которыми он виделся в прежние свои поездки, 1856 и 1857 г.г. Там в герценовской Вольной русской типографии Михайлов напечатал написанную Шелгуновым и им вполне одобрявшуюся прокламацию «К молодому поколению», в количестве 600 экз., которая в средине июля и была привезена в Петербург, заклеенная под двойное дно его чемодана.

По свидетельству Шелгунова, «Герцен не одобрил прокламации; он уже пережил тогда революционный период и в «Колоколе», и в «Пол. Звезде» соблюдал, собственно, правительственный авторитет и снимал с него ореол священности и демократизировал власть. Но мы не пережили 1848 г. в Европе, подобно Герцену, и потому верили в то, во что он уже не верил. Мы пенились, Герцен перестал пениться. Конечно, правда оказалась на стороне того, кто пениться перестал. А пока мы пенились и верили и считали себя «накануне» [1]).

Обращаю также внимание на ничтожное количество экземпляров прокламации. Тогда эта цифра не казалась маленькой — до такой степени невелики были кадры радикального лагеря, до такой степени отсутствовал распространительный аппарат, ограничивавшийся главным образом царской же почтой . . . Это было временем начала революционной мысли и революционного дела, главные очаги которых только-что разжигались, пока ограничиваясь Петербургом.

Здесь 20 — 21 августа Михайлов несколько раз виделся с Всеволодом Костомаровым, приезжавшим из Москвы, показал ему прокламацию и даже просил взять 100 экз. для распространения в Москве, на что получил отказ. Костомаров взял только один экземпляр для личного ознакомления.

По словам Михайлова, в последний свой приезд из Москвы Костомаров произвел на него далеко не такое приятное впечатление, как прежде. «Я в этот раз убедился, что он любит лгать, и, когда он мне рассказывал, что брат Николай грозит ему доносом, не верил ему и потому слушал его довольно хладнокровно». Тогда же Костомаров, говоря, по обыкновению, о своем тяжелом

---

[1]) «Голос Мин.» 1918, IV, 66.

материальном положении, вдруг выпалил Михайлову, что, если так будет продолжаться, то он пойдет в жандармы.

Однако, прощание приятелей было, все - таки, сердечное . . .

Проходит немного времени, и 25 — 26 августа Костомаров арестовывается в Москве по доносу своего, якобы, тоже арестованного брата Николая.

Из предыдущей статьи читатель знает, что этот арест Всеволода имел прямую связь с делом о первой вольной типографии в Москве, к которому, как указано, был примешан и Михайлов. Адрес последнего, по оплошности дворника, не был известен полиции, считавшей его за границей; его узнали случайно: 31 августа М. И. был встречен в книжном магазине.

1 сентября, ранним утром к незнавшему обо всем этом Михайлову являются полицмейстер Золотницкий, жандармский полковник Ракеев [1]) и квартальный и производят обыск. После очень тщательных поисков найдены были: портрет Герцена с его автографом, изданная им в 1855 году брошюра «27 февраля 1855 г. Народный сход в память переворота 1848 года в St. Martin Hall» и напечатанные за границей стихотворения Пушкина, не вошедшие в русские издания. Ища также автографа Михайлова для установления почерка лица, которое сделало вставки в представленную Николаем Костомаровым рукопись прокламации к крестьянам, его любезно попросили написать на пакете с отобранными вещами, что он принадлежит ему. Михайлов не растерялся и почти вслед за удалением обыскивавших сам отправился за об'яснением в III Отделение. Управлявший последним гр. Шувалов об'яснил ему, что он подозревается в участии в организации тайной типографии московских студентов и что ориентировать его в близком будущем могут уже не в III Отделении, а в министерстве внутренних дел, куда передано это дело.

Только на следующий день, на сходке у Н. С. Курочкина, по поводу Шахматного клуба, Михайлов узнал об аресте Вс. Костомарова, но, по его собственным словам, ему и в голову не

---

[1]) В своем роде «знаменитость»: он был свидетелем тайно совершенного погребения Пушкина. . . Ракеева знал весь Петербург, как большого ищейку.

приходило, чтобы III Отделение могло что-нибудь знать о привезенной им из Лондона прокламации....

Вернувшись от Курочкина и сообщив что знал, Шелгунову, Михайлов вместе с ним решил спешить с распространением прокламации, лежавшей на квартире и случайно лишь не найденной при обыске: она лежала в печке, просто задвинутой креслом. В этом им помогали брат Шелгуновой Евгений Петрович Михаэлис и Александр Александрович Серно-Соловьевич. Кое-что было развезено и разбросано по лестницам, остальное, опущенное в ящики, сдано на попечение почты.

4 сентября, в числе других сановников, и сам Шувалов получил конверт с экземпляром «К молодому поколению».

Привожу ее буквально, отступая только в общей орфографии на новую, но не вводя других исправлений, кроме — грубых опечаток.

К молодому поколению.

Печатано без цензуры в С.-Петербурге, в сентябре 1861 года.

Я-ль буду в роковое время
Позорить гражданина сан,
И подражать тебе, изнеженное племя
Переродившихся Славян?
Нет, не способен я в об'ятьях сладострастья,
В постыдной праздности, влачить свой век младой
И изнывать кипящею душой
Под тяжким игом самовластья.
Пусть юноши, не разгадав судьбы,
Постигнуть не хотят предназначенья века;
И не готовятся для будущей борьбы,
За угнетенную свободу человека.
Пусть с хладнокровием бросают хладный взор
На бедствия страдающей отчизны
И не читают в них грядущий свой позор,
И справедливые потомков укоризны.
Они раскаются, когда народ восстав
Застанет их в об'ятьях праздной неги
И в бурном мятеже, ища свободных прав,
В них не найдет ни Брута, ни Риеги.

Рылеев.

«Когда манифест о воле был уже готов и оставалось только об'явить его, русское правительство прежде всего струсило; оно испугалось своего собственного дела, — ну а если вся Россия

поднимется? если народ пойдет на зимний дворец? И решили об'явить народу волю в великом посту, а балаганы на время маслянницы отнесли подальше от дворца — на царицын луг. О знание сердца человеческого! О знание русского народа! Ведь правительство думало, что оно осчастливит свой народ? Где-же слыхано, чтобы человек счастливый пошел бить стекла и колотить встречных? Если-же правительство боялось народа, значит оно имело причины его бояться. И точно, причина была: Во первых, государь обманул ожидание народа — дал ему волю не настоящую, не ту, о которой народ мечтал и какая ему нужна. Во вторых, он украл у него радость, об'явил манифест в великом посту, а не 19 Февраля. В третьих, организацией коммиссий, составлявших и рассматривавших «Положение», государь показал полнейшее презрение ко всему народу и к лучшей, т. е к образованнейшей, честнейшей и способнейшей части русского общества — к народной партии: все дело велось в глубочайшем секрете, вопрос разрешался государем и помещиками, никто из народа не принимал участия в работе, журналистика не смела пикнуть — царь давал народу волю как милость, как бросают сердящемуся псу сухую кость, чтобы его успокоить на время и спасти свои икры.

«Все это не может и не должно быть прощено правительству. Не народ существует для правительства, а правительство для народа. Следовательно очевидно, что правительство, которое не понимает народа, не знает его нужд и потребностей, которое, считая себя помещиком, действует исключительно в своекорыстных целях, которое наконец презирает народ им управляемый — недостойно этого народа. Романовы вероятно забыли, что они свалились не с неба, а выбраны народом, потому что их считали способнее управлять Россией, чем каких-нибудь польских и шведских королевичей. Вот почему, если они не оправдывают надежд народа — долой их! Нам не нужна власть, оскорбляющая нас; нам не нужна власть, мешающая умственному, гражданскому и экономическому развитию страны; нам не нужна власть, имеющая своим лозунгом разврат и своекорыстие.

«Нам нужен не царь, не император, не помазанник божий, не горностаевая мантия прикрывающая наследственную неспособность; мы хотим иметь главой простого смертного, человека

земли, понимающего жизнь и народ, его избравший. Нам нужен не император помазанный маслом в успенском соборе, а выборный старшина, получающий за свою службу жалованье.

«Освобождение крестьян и последние четыре года показали, что новое правительство, при своем настоящем составе и при тех правах, которыми оно пользуется, решительно никуда не годится. Все та же сиятельная тупость и подлость окружают царя; все те же казнокрады, Адлерберги и Муравьевы стоят во главе правительства; России правительство не знает и знать не хочет; общественного мнения для него не существует, как не существует для него русского общества, как не существует для помещика мнения его крестьян. Правительство наше знает только себя и делает только то, что ему выгодно. Укажите нам людей довольных правительством! Адлерберги да Муравьевы, наживающиеся добром, содранным с народа? Десять человек из за которых страдают 60 милльонов? И это правительство и это императорская власть!

«Мы не знаем ни одного сословия в России, которое бы не было оскорблено императорской властью. Обижены все. Последняя обида нанесена как раз в то время, когда императорская власть думала, что она творит великое дело, что она кладет первый камень великому будущему России. Мы не отвергаем важности факта, заявленного манифестом 19-го Февраля; но мы видим важность его не в том, в чем видит его важность правительство. Освобождение крестьян есть первый шаг или к великому будущему России, или к ее несчастию; к благосостоянию политическому и экономическому, или к экономическому и политическому пролетариату. От нас самих зависит избрать путь к тому или к другому.

«Момент освобождения велик потому, что им посажено первое зерно всеобщего неудовольствия правительством. И мы пользуемся этим, чтобы напомнить России ее настоящее положение. Мы хотим напомнить ей, что наступила пора сделать с нашим правительством то, что сделали крестьяне одного именья Тамбовской губернии со своими управляющими из немцев. Когда манифест о воле был прочитан крестьянам, они запрягли лошадей в телеги, вежливо попросили своих управляющих садиться, довезли их до границы именья и также вежливо просили их вы-

лезть: «Мы вам очень благодарны за ваше управление, сказали крестьяне немцам, но больше его не хотим; ступайте с богом куда вам угодно, но уж к нам больше не возвращайтесь».

«Правительство наше вероятно не догадывается, что положив конец помещичьему праву, оно подкосило свою собственную императорскую власть. Император был крепок только помещиками и Екатерина II отлично понимала это, называя себя первой помещицей. Кончились помещики, кончилось и императорство — у него нет больше почвы, осталось имя без сущности, форма без содержания.

«Из всей русской истории мы знаем только один случай, когда деспотизм явился на помощь народу, «хочу, чтобы крестьяне были свободны» сказал царь и сто тысяч помещиков низким поклоном выразили полную готовность повиноваться воле монаршей. Но это была последняя вспышка умирающего деспотизма. Этим он кончил. Ему больше нет дела в России, ждать от него больше нечего. Сословия уже начинают понимать, какую жалкую роль они играли до сих пор, освобожденные крестьяне уже думают о своем безвыходном положении — они недовольны. Недовольные везде; все ждут чего-то... императорская Россия разлагается.

«Если Александр II не понимает этого и не хочет добровольно сделать уступку народу — тем хуже для него. Общее неудовольствие могло бы еще быть успокоено; но если царь не пойдет на уступки, если вспыхнет общее восстание, недовольные будут последовательны: они придут к крайним требованиям. Пусть подумает об этом правительство, время поправить беду еще не ушло; но пусть же оно не медлит.

«Но, с другой стороны и мы должны помнить, что имеем дело с правительством ненадежным, с правительством, которое временными уступками будет успокоивать нас и из личных, временных выгод готово испортить все будущее всей страны — для десяти подлецов ничего не значит счастье 60 миллионов.

«Молодое поколение! незабывайте этого. Незабывайте того, что мы обращаемся к вам по преимуществу, что только в вас мы видим людей способных пожертвовать личными интересами благу всей страны. Мы обращаемся к вам потому, что считаем вас людьми более всего способными спасти России — вы настоящая

ее сила, вы вожаки народа, вы должны об'яснить народу и войску все зло, сделанное нам императорской властью, вы должны показать народу, что тут нет никакого помазания, что Бог познается в делах общего блага, в делах добрых, а где добра нет, там действует злая сила — дух тьмы, а этот то дух и есть русская императорская власть в том виде, как она существовала до сих пор.

«Вы должны об'яснить народу, что у него есть доброжелатели, что есть люди желающие, чтобы он владел землей, а не находился в вечной зависимости от землевладельцев; есть люди, желающие убавить ему подати и всякие платежи, водворить правду в суде, избавить народ от лишних нянек и опекунов.

«Незабудьте и солдат. Об'ясните им, что и у них есть доброжелатели, которые хотели бы убавить солдатам срок службы, дать им больше жалованья, избавить их от палок.

«Об'ясните вы это народу и солдатам; но не забудьте прибавить, что помехой всему царь и его министры, для которых это не выгодно.

«В последнее время расплодилось у нас много преждевременных старцев, жалких экономистов, взявших свой теоретический опыт из немецких книжек. Эти господа не понимают, что экономизм нищает нас в духовном отношении, что он приучает нас только считать гроши, что раз'единяет нас, толкая в тесный индивидуализм. Они не понимают, что не идеи идут за выгодами, а выгоды за идеями. Начиная материальными стремлениями, еще придешь ли к благосостоянию? — односторонняя экономическая наука нас не выручит из беды. Напротив откинув копеечные рассчеты и стремясь к свободе, к восстановлению своих прав, мы завоюем благоденствие, а с ним, разумеется и благосостояние, т. е. то чего нам так хочется — деньги.

[1]) «А эти, к несчастию, плодящиеся у нас конституционные и экономические тенденции ведут к консерватизму; они черствят человека; они ведут к сословному раз'единению, к привиллегированным классам. Хотят сделать из России Англию и напитать нас английскою зрелостью. Но разве Россия по своему геогра-

---

[1]) На этом месте Михайлов при опросе сделал черту и написал: «С сих пор признаю за свое. *М. Михайлов*».

фическому положению, по своим естественным богатствам, по почвенным условиям, по количеству и качеству земель имеет что-нибудь общего с Англией? Разве англичане на русской земле вышли бы тем, чем они вышли на своем острове? Мы уж довольно были обезьянами французов и немцев, неужели нам нужно сделаться еще и обезьянами англичан? Нет, мы не хотим английской экономической зрелости, она не может вариться русским желудком.

Нет, нет, наш путь иной,
И крест не нам нести...

«Пусть несет его Европа. Да и кто может утверждать, что мы должны итти путем Европы, путем какой-нибудь Саксонии или Англии, или Франции? Кто берет на себя ответственность за будущее России, кто может сказать, что он умнее 60 миллионов, умнее всего населения страны, что он знает, что ей нужно, что он приведет ее к счастью? Где та наука, которая научила его этому, которая сказала ему, что его взгляд безошибочен? По крайней мере, мы не знаем такой науки; мы знаем только, что Гнейсты, Бастиа, Моли, Рау, Рошеры раскапывают навозные кучи и гниль прошедших веков хотят сделать законом для будущего. Пусть этот закон будет ихним законом; а мы для себя попытаемся поискать закон другой.

«Для неверующих мы делаем следующий пример. Существует Китай; ближайшие соседи его не знают другой страны более цивилизованной. Рошеры и Моли Китая утверждают, что закон, по которому развивалась жизнь в Китае и слагалась тамошняя цивилизация, есть именно тот закон, по которому должны развиваться все народы. Соседи верят глубокомысленным ученым и не видя жизни и цивилизации выше китайской лезут сами из всех сил в Китай. Но вдруг оказывается, что есть другие страны, что у других народов существуют стремления неизвестные китайцам. Следует ли из этого, что стремления эти вздор? что только китайская цивилизация и политические убеждения китайцев одни истинны? Человек видевший только Европу, сотни немецких королевств с их кенигами, герцогами и принцами, или Францию с ее Наполеоном, разумеется, удивится, узнав, что в Америке порядки совсем другие. Почему же России не придти

еще к новым порядкам, неизвестным даже и Америке? Мы не только можем, мы должны придти к другому. В нашей жизни лежат начала, вовсе неизвестные европейцам. Немцы уверяют, что мы придем к тому же, к чему пришла Европа. Это ложь. Мы можем точно придти, если наденем на себя петлю европейских учреждений и ее экономических порядков; но мы можем придти и к другому, если разовьем те начала, какие живут в народе. Европа сложилась из остатков древнего мира; тысячу лет назад в Европе была монархия; уж тогда Европа разбилась на могучих собственников и на бессильных рабов, не имевших земельной собственности; уже тогда было положено в ней начало того экономического и политического неравенства, которое привело и к пролетариату и вызвало социализм.

«Европа попыталась было выйти из своего крайнего положения, но партия привиллегированных людей была слишком сильна; вековые традиции были слишком крепки и в народе и в тамошнем мещанстве; а социальные теории настолько смутны и слабы своей организационной стороной, что 1848 год должен был привести к неудаче. А этой-то неудачи струсили и наши западники и наши доморощенные политико-экономы.

«Припомните, как легко Рошер решил вопрос об освобождениии крестьян. И с немецкой точки дело не могло быть решено иначе. Отчего же наш народ недоволен царской милостью, недоволен тем, от чего немцы пришли бы в восторг? А недоволен народ потому, что он не может представить себя без земельной собственности, он не может представить себя вне земледельческой общины. Ему нужно равенство прав и владения; он не верит и не хочет верить в законность такого порядка, по которому у 30 миллионов крестьян есть своя земельная собственность, а у остальных 23 миллионов земля чужая, принадлежащая какой-нибудь сотни тысяч владельцев. В Европе сидят еще и до сих пор остатки феодального права; а мы его не знали и не знаем; наше дворянство, наши помещики не европейская аристократия; наши просто незаконнорожденная власть, вышедшая из того же народа, искусственно созданная императорской властью и особенно расплодившаяся со времен Екатерины II; она должна осесть в народ и осядет с падением власти императорской.

«Неудача 1848 года, если что нибудь и доказывает, так доказывает только одно — неудачу попытки для Европы; но не говорит ничего против невозможности других порядков у нас в России. Разве экономические, земельные условия Европы те же самые, что и у нас? Разве у них существует и возможна земледельческая община? Разве у них каждый крестьянин и каждый гражданин может быть земельным собственником? Нет. А у нас может. У нас земли столько, что достанет ее нам на десятки тысяч лет.

«Мы народ запоздалый и в этом наше спасение. Мы должны благословлять судьбу, что не жили жизнью Европы. Ее несчастия, ее безвыходное положение урок для нас. Мы не хотим ее пролетариата, ее аристократизма, ее государственного начала и ее императорской власти.

«До сих пор народ наш жил своею жизнью, не мешаясь в дела правительства и не понимая их, и он был прав. Правительство то же не знало народа, да ему было и некогда за политическими бирюльками. А между тем русская мысль зрела, мы изучали экономическое и политическое устройство Европы; мы увидели, что у них не ладно, и тут то мы поняли, что имеем полнейшую возможность избегнуть жалкой участи Европы настоящего времени.

«Мы похожи на новых поселенцев; нам ломать нечего. Оставимте наше народное поле в покое, как оно есть; но нам нужно выполоть ту негодную траву, которая выросла из семян, налетевших к нам с немецкими идеями об экономизме и государстве. Нам не нужно ни того, ни другого в той форме, как это проповедывали и проповедуют нам наш профессор - правительство и разные последователи Рошера и Гнейста.

«Европа не понимает, да и не может понять наших социальных стремлений; значит она нам не учитель в экономических вопросах. Никто не идет так далеко в отрицании, как мы, русские. А отчего это? Оттого, что у нас нет политического прошедшего, мы не связазны никакими традициями, мы стоим на новине и, нисколько не пленяясь немецкими садиками и рощами, хотим разделить свое поле не по немецкой методе, не в заграничном вкусе, а как делилась земля встарь, когда еще людям не было тесно — и мы можем сделать это. Вот отчего у нас нет страха

пред будущим, как у западной Европы; вот отчего мы смело идем на встречу революции; мы даже желаем ее. Мы верим в свои свежие силы; мы верим, что призваны внести в историю новое начало, сказать свое слово, а не повторять зады Европы. Без веры нет спасения; а вера наша в наши силы велика [1]).

«Если для осуществления наших стремлений — для раздела земли между народом пришлось бы вырезать сто тысяч помещиков, мы не испугались бы и этого. И это вовсе не так ужасно. Вспомните сколько народу потеряли мы в польскую и венгерскую войну. И для чего? Из капризов Николая, и не только без всяких выгод, но на позор своей страны. Вспомните, что крымская война стоила нам 300.000 народу, что она раззорила целый край, что ввела нас в громадный долг, а разве мы испугались ее? Нет, хоть она и стоила нам лучших сил страны. А разве наше дворянство лучшая рабочая сила страны? Нет. До сих пор оно стояло враждебно к народу, оно было именно тем осадком общества, куда уходило все сочувствующее царской власти, все лакействующее, все ничего не делающее, все притесняющее народ, все своекорыстное, все вредное для России. Дворянство представляло у нас постоянно элемент более чем консервативный. Но нам могут заметить, что наше образование шло из дворянства, что лучшие люди были из этого сословия. Во первых это не совсем правда. А Ломоносов, Кольцов, Белинский? Во вторых, лучшее, что выходило из дворянства, тотчас же отделялось от него и становилось на сторону угнетенного народа. При разрешении вопроса об освобождении крестьян, дворянство, и из него так называемая старая аристократия, показало еще раз, чего может ожидать от него Россия. Мы увидели еще раз и убедились окончательно, что это партия плантаторов, что это помеха России на пути ее развития. Нравственные силы России, если они даже и из этого источника, они не принадлежат и не могут принадлежать дворянской партии: они составляют свое особое сословие, свой круг, непризнанный правительством, враждебный ему и дворянству, дружественный народу. Что народное, что сильно своей внутренней силой, что составляет

---

[1]) На этом месте написано: «До сих пор признаю за свое. *М. Михайлов*».

нравственное украшение страны, то не дворянское, не правительственное. Ни один человек, способный различить только серое от черного, не примкнет к правительственной партии, не пойдет в привиллегированное сословие, не воспользуется своим дворянским происхождением и титулом для притеснения народа, для своих узких, корыстных целей. Не ту пору мы переживаем. Современный честный русский не может быть другом правительства. Он друг народа. Все же враждебное народу, все эксплоатирующее его есть правительство, а все поддерживающее правительство и стремящееся не к общему равенству прав, а к привиллегиям, к исключительному положению есть дворянство и партия дворянская. Это враг народа, враг России. Жалеть его нечего, как не жалеют вредные растения при расчистке огорода.

«И что значит это привиллегированное сословие, эта аристократия рождения, аристократия физической силы, одна пользующаяся всеми выгодами, работающая чужими руками? В чем ее способности, в чем ее право на исключительность положения?

«Представьте себе, что внезапно, в один день, умирают все наши министры, все сенаторы, все члены государственного совета. Пусть вместе с ними умирают все губернаторы, директоры департаментов, митрополиты, архиереи — одним словом, вся нынешняя служебная аристократия. Что теряет от этого Россия? Ничего. Через час явятся новые министры, новый сенат, новый государственный совет; явятся новые губернаторы, директоры департаментов, архиереи и митрополиты — и колесо государственного управления пойдет до того по старому, что Россия и не заметит никакой перемены.

«Представьте, что в одно время с ними умирают все тунеядствующие вельможи, великие князья и княжны, все лакированные флигель-ад'ютанты, фрейлины, все штатс-дамы — весь придворный штат. Разумеется, потеря эта, как и всех министров, взятая с общей человеческой точки, принесет много огорчений родственникам, оставшимся в живых — но и только. На место умерших найдется немедленно не меньшее число людей способных заниматься тем же, и через час такие же лакированные ад'ютанты и фрейлины наполнят снова двор и если государь вздумал бы назначить вечером бал, то едва ли бы и сам он заметил перемену в лицах. Новые флигель-ад'ютанты танцовали бы

с не меньшим искусством, как и прежние, шеи новых фрейлин были бы также пленительны, улыбки их также очаровательны, разговоры их также пусты, как и прежних, и в общем характере не было бы заметно никакой перемены.

«Представьте, что вместе с министрами и фрейлинами умирает все наше старое дворянство, вся аристократия происхождения, все ничего не делающие помещики. Пусть даже число новых покойников будет сто тысяч. И эту потерю Россия не заметит. Через час царь может создать новых помещиков, наделать новых графов и князей. Разве не всякий на это способен?

«Таким образом внезапная потеря более ста тысяч людей, признаваемых правительством полезными и необходимыми ему, не только не повредит России, напротив, принесет народу пользу, избавит его от необходимости кормить тунеядцев.

«Но вот картина меняется. Министры с их товарищами живы и здоровы, сенат и государственный совет тоже, а с ними и все ничего не делающее столбовое дворянство; фрейлины и флигель - ад'ютанты танцуют, камер - юнкеры и камергеры прислуживают за царским столом; одним словом, все идет так, как идет теперь; все бесполезное население России живо и здорово, но умирает аристократия мысли, умирают литераторы, поэты, ученые, художники, фабриканты, т. е. те люди, которые производят вещи, полезные для страны и снабжают ее предметами наиболее нужными; в произведениях которых высказывается гений и все способности народа, которые составляют гордость и славу нации. Что станется тогда с Россией? И сколько нужно времени, чтобы восстановить ее потерю? Ни фрейлины, ни сенаторы, ни архиереи, ни митрополиты, ни члены государственного совета и флигель - ад'ютанты не в состоянии быть литераторами, художниками, учеными, фабрикантами. Что станется со страной, постигнутой таким страшным бедствием, лишенной всей нравственной силы? Что станут делать столбовые дворяне, министры, фрейлины, митрополиты и флигель - ад'ютанты? Царю останется одно — поселиться с ними особой колонией под Петербургом и возращать картофель. Да пожалуй и этого будет не нужно.

«И странное дело, эта клейменная неспособность, окружающая царя, эта дворянская партия, представители выгодного для

них консерватизма думают, что народ нельзя предоставить самому себе, что ему нужно дать нянек. Жалкие мыслители, хотя и последовательные, вы не хотите дать народу свободу, потому что и для себя самих вы видите возможность только одного положения — холопства. Но кто же дал вам право переносить свое тупоумие и бессердечие на весь народ? Кто сказал вам, что все должны быть лакеями потому что вы лакеи? Что ни у кого не должно быть собственной воли, потому что ее у вас нет? Что все должны быть тупоумны, потому что вы тупоумны? Вы говорите, что народ не созрел. Да что значит зрелость? Неужели нужна какая-то зрелость чтобы понимать удовольствие ходить в просторных сапогах, чтобы переменить узкий сапог на широкий? Неужели нужна какая-то зрелость, чтобы отличить справедливость от бессудия? Чтобы чувствовать потребность дышать свежим воздухом, есть, пить, мыслить и следовательно свободно выражать свои желания и мысли? Или вы думаете, что все это не есть органическая потребность человека? Или вы думаете, что наш крестьянин бесчувствен ко всему этому? Что его нужно приучать постепенно к справедливости и правде? Что в деле народного грабежа и раззорения нужно сходить *на нет* постепенно? Что если с крестьянина брали в год по лишнему волу, то не следует прекращать грабеж вдруг, а убавлять ежегодно порцию — сначала корову, потом теленка, барана, овцу, курицу, цыпленка, куриное яйцо — и даже в этом деле вести крестьянина путем переходного состояния, как это сделали с волей? Да ведь это бессмыслица!

«— Чего же вы хотите? могут наконец спросить нас. Вы говорите о скудоумии власти, но кто же этого не знает?

«— Тем хуже для нас. Мы знаем, мы видим все умственное и нравственное ничтожество власти и мы терпим ее.

«Кому нравится это, пусть остается в ярме; но кто проснулся и дозрел до понимания человеческого достоинства, в ком есть хоть искра гражданского мужества, гражданской доблести, пусть сбросит с себя цепи, пусть пристанет к людям, ищущим свободы, пусть число свободных людей растет все больше и больше, пусть они теснее и теснее пристают один к другому и наконец потребуют перемены существующих порядков.

«К этим-то людям свободы мы и обращаемся — они поймут нас. Чего мы хотим!

«Мы хотим, чтобы власть, управляющая нами была власть разумная, власть понимающая потребность страны и действующая в интересах народа. А чтобы она могла быть такой, она должна быть из самих нас — выборная и ограниченная.

«Мы хотим свободы слова т. е. уничтожения всякой цензуры.

«Мы хотим развития существующего уже частью в нашем народе начала самоуправления. Если крестьяне имеют это право, если они избирают сами от себя старшин и голов, если общинам предоставлено право гражданского суда и полицейской расправы, зачем же этими правами выборного начала и самоуправления не пользуется вся остальная Россия? Или все остальное население хуже понимает свои потребности и потребности страны? Или в нем меньше смыслу, чем в земледельческом населении? Нет, этого не скажет наше правительство. Оно дало крестьянам волю потому, что боялось крестьянских топоров; но нас никто и никогда не боялся. Теперь же мы сильнее, и мы хотим последовательного развития начал народного управления. Наша сельская община есть основная ячейка, собрание таких ячеек есть Русь. Везде должно проходить одно начало. Вот что нам нужно.

«Мы хотим, чтобы все граждане России пользовались одинакими правами, чтобы привиллегированных сословий не существовало, чтобы право на высшую деятельность давали способности и образование, а не рождение; чтобы назначение в общественные должности шли из выборного начала. Мы не хотим дворянства и титулованных особ. Мы хотим равенства всех пред законом, равенства всех в государственных тягостях, в податях и повинностях.

«Мы хотим, чтобы денежные сборы с страны не шли неизвестно куда, чтобы их не крали, чтобы правительство давало народу отчет в собранных с него деньгах.

«Мы хотим открытого и словесного суда, уничтожения императорской полиции — явной и тайной; уничтожения телесного наказания.

«Мы хотим, чтобы земля принадлежала не лицу, а стране; чтобы у каждой общины был свой надел, чтобы личных землевладельцев не существовало; чтобы землю нельзя было продавать, как продают картофель и капусту; чтобы каждый гражданин, кто бы он ни был, мог сделаться членом земледельческой

общины т. е. или приписаться к общине существующей, или несколько граждан могли бы составить новую общину. Мы хотим сохранения общинного владения землей с переделами чрез большие сроки. Правительственная власть не должна касаться этого вопроса. Если идеи общинного владения землей есть заблуждение, пусть она кончится сама собой, умрет вследствие собственной несостоятельности, а не под влиянием экономического учения Запада.

«Мы хотим, чтобы 9 миллионов десятин свободных земель европейской России (оброчные статьи) были отданы дворовым людям, пущенным манифестом 19 Февраля по миру.

«Мы хотим уничтожения переходного состояния освобожденных крестьян; мы хотим, чтобы выкуп всей личной земельной собственности состоялся немедленно. Если операцию эту не в состоянии взять на себя правительство, пусть возьмут ее все сословия страны. Это путь мирный, и мы хотели бы, разумеется, чтобы дело не доходило до насильственного переворота. Но если нельзя иначе, мы не только не отказываемся от него, но мы зовем охотно революцию на помощь к народу. Если из пустого честолюбия Наполеон I перебил на своем веку 8 миллионов народу, что значит какая-нибудь сотня людей, когда этой жертвой покупается счастье народа! Но и до этой цифры не дойдет. Стоит сделать один пример с теми, кто не идет на добровольную уступку — остальные согласятся. Но ведь это насилие, скажут сторонники настоящего порядка. А как вы назовете обращение 20 миллионов свободных людей в крепостных? Или последнюю Муравьевскую кражу? Разве это не было хуже чем грабеж народа? Мы не предлагаем такого грабежа, мы только хотим возвратить вполне права тем, от кого они были отняты.

«Мы хотим полного уничтожения следов крепостного права; уничтожения развитого им неравенства в землевладении; мы хотим полного обновления страны.

«Мы хотим уничтожения мещанства, этой неудавшейся русской буржуазии, выдуманной Екатериной II. И какие они tiers-état! те же крестьяне как и все остальные, но без земли, бедствующие, гибнущие с голоду. Им должна быть дана земля.

«Мы хотим сокращения расходов на бесполезно громадную армию. Она стоит нам более 100 миллионов деньгами, да воен-

ные натуральные повинности, падающие на народ, стоят почти столько же (90 миллионов). А чего стоит потеря в рабочей силе, оторванной от плуга и от верстака? На сколько должен народ усилить свои занятия, чтобы трудящиеся люди работали за ничего не делающую армию? В армию берут лучших людей и люди эти делаются совсем бесполезными для своей страны на всю жизнь. Прослужив 25 лет, отставной солдат делается неспособным к сельским занятиям, от которых его оторвали. Он идет или по миру — как искалеченные севастопольские герои — или в сторожа, швейцары, в легковые извозчики. А зачем нам гвардия? Для защиты зимнего дворца и царской семьи ее слишком много. И что такое гвардия? Военное дворянство? Но это вздор: или все гвардия, или все армия — все граждане равны, обязанности всего военного сословия одинаковы, а потому — нет привилегий.

«Мы хотим, чтобы офицеры армии и гвардии поняли свое истинное назначение; чтобы они поняли, что они не царское войско, исполняющее капризы императорской власти, а народная стража; что они служат не на угнетение слабого, а на его защиту против обиды сильных и власти, эксплуатирующей его труд и время. Непохвальна роль, какую играло до сих пор русское войско. Оно рубило поляков, рубило венгерцев, оно участвовало во всех злодеяниях русских императоров. Для него не существовало родной земли, родного народа. Его кумиром был царь, и волю его оно исполняло свято — оно резало свой народ, когда этого хотелось царю; оно было палачем и тюремщиком России. Солдат прикрывается присягой, которую он не понимает, и солдату это прощается, потому что он не понимает, что он делает. Но чем можете оправдать себя вы, господа офицеры? Вы учились кое-чему, вы развитее рядовых солдат, вы понимаете смысл присяги, вы должны знать, что вас призвали на защиту страны своей, а не на ее угнетение. Вы говорите, что сердце у вас обливалось кровью, когда вам приходилось бить венгерцев — так зачем же вы их били! Вы не хотели дружиться с австрийцами. Зачем же вы с нами дружились? Мы видели седых казаков, которые до сих пор рыдают как дети рассказывая историю с графиней Платер — постыдную казнь, выдуманную злодеем Николаем. А нынче: народу дали полусвободу, не растолковали дела,

он недоволен, и вас шлют стрелять и бить безоружных, и вы, храброе русское войско, хладнокровно стреляете в безоружных. Вот на что употреблялось наше войско. Позор ему! Пора кончить эту постыдную роль. Пора вспомнить о службе отечеству. Пора перестать быть царской стражей. Вот почему мы хотим, чтобы наше войско было не императорская гвардия, а стража народная. Тогда, в минуту восстания угнетенного народа, когда страна потребует своих прав, и войско не забудет, что оно было игрушкой власти, ее слепым и позорным орудием, и оно не забудет пред'явить свои требования и встанет на стороне народа, а не на стороне общего врага. И неужели вы думаете, что итти против французов и англичан, как это было в последнюю войну, менее опасно, чем сказать: нет, мы не хотим итти против своих; и не тронуться с места? Вас гнали на верную смерть и вы шли, а тут приходится сказать только «нет» и вы не смеете! Никто еще не укорял русских офицеров и солдат в недостатке военного мужества, но за то и никто не находил в них мужества гражданского.

«Уж если в вас не найдется силы сказать: «нет» — идите; но первый залп, который вам велят сделать в своих, сделайте в тех, кто вам велит это сделать — и уж за одно это благословит вас народ.

«Мы хотим, чтобы срок службы солдату не была целая вечность, убивающая в нем все гражданские способности, все человеческие силы, делающая его никуда негодным в отставке. Мы хотим, чтобы солдат шел в службу охотой, чтобы она представляла ему выгоды, чтобы срок службы был 3 — 5 лет, чтобы солдат не отрывался окончательно от своей родной избы, чтобы он уходил только на время и после службы возвращался в свою семью, чтобы после службы он оставался тем же селянином, как и до рекрутства, чтобы он получал жалованье не только достаточное для его текущих потребностей, но чтобы он мог посылать кое-что и домой, а не тянуть из дому последнюю копейку. Пусть наше войско будет ополчением; пусть каждая губерния составляет свою дружину. Не зачем солдату уходить в мирное время за тысячу верст от своего дома.

«Мы хотим сокращения расходов на все управление, мы хотим уничтожения вредных для народа управлений, как министер-

ство государственных имуществ, министерство двора, удельное управление. У народа есть и головы и старшины, есть наконец здравый смысл, в который верует и само правительство. К чему после этого еще управляющие палатами и конторами, окружные и депутаты? А кчему двору целое министерство? Домовые конторы, да расходчики, вот все, что нужно для дворцов. Народу все это слишком тяжело, ведь он, а не кто другой, платит за все это.

«Мы хотим сокращения расходов на царскую фамилию. Зачем какому-нибудь великому князю 130 лошадей, когда люди не менее порядочные и уже разумеется более полезные довольствуются вполне парой? Зачем на двор тратится 50 миллионов в год, когда за десятую часть этой суммы можно иметь людей, знающих лучше свое дело и, действительно, полезных стране? Крепостное право кончилось, а с ним должно кончиться и барство и всякие помещичьи замашки — дворовые, дворцы, дворы.

«Мы хотим освобождения из казематов и возвращения из ссылки всех осужденных за политические преступления; мы хотим возврата на родину всех политических выходцев.

«Наконец, мы хотим совершенного изменения основных законов. Например: «Император всероссийский есть монарх самодержавный и неограниченный. Повиноваться верховной его власти, не токмо за страх, но и за совесть, сам Бог повелевает». Что за клевета на Бога и совесть! В этом можно уверять только китайцев и турок, да и те едвали верят подобной басне. Странно навязывать подобное верование народу, у которого 9 миллионов сектантов, непризнающих царя. А, между тем, во всем своде проходит эта мысль — везде благоговение перед властью и сословное неравенство. Понятно, что мы хотим изменения основных законов и очистки всех остальных.

«Но кому мы указываем эту программу? Кто станет ее выполнять? где у нас люди, понимающие свои гражданские и человеческие права и способные пред'явить свои требования? Дворянство? Нет, в дворянство мы не веруем — оно показало уже свое бессилие, непонимание своих выгод и неуменье пользоваться обстоятельствами. Когда государь сказал им: «я хочу, чтобы вы отказались от своих прав на крестьян», им следовало ответить.

«государь, мы согласны, но и вы должны тоже отказаться от безусловной власти; вы ограничиваете нас, мы хотим ограничить вас». Это было бы последовательно и в руках дворянства была бы конституция. Дворянство струсило, в нем не достало единодушия и теперь очередь не за ним.

«Надежду России составляет народная партия из молодого поколения всех сословий; за тем все угнетенные, все, кому тяжело нести крестную ношу русского произвола — чиновники, эти несчастные фабричные канцелярий, обреченные на самое жалкое существование и зависящие вполне от личного произвола своих штатских генералов; войско, находящееся совершенно в таком же положении — и 23 миллиона освобожденного народа, которому 19-е Февраля 1861 года открыта широкая дорога к европейскому пролетариату.

«Обращаемся еще раз ко всем, кому дорого счастие России, обращаемся еще раз к молодому поколению. Довольно дремать, довольно заниматься пустыми разговорами, довольно бранить правительство в тихомолку или рассказывать все одни и теже рассказы об одних и тех же плутнях разных Муравьевых. Довольно корчить либералов, наступила пора действовать. И кто выдумал, что правительство сумеет сделать что-нибудь нужное само по себе? С какой стороны вы ждете еще доказательств способности правительства и желание его сделать что-нибудь полезное для России? Откуда ваши надежды? Или вам мало исторического прошедшего России? Не питайте в себе пустой надежды, этого предательского, усыпляющего чувства; не переносите своих благородных стремлений на ватагу негодяев, называемых русскими министрами и русским правительством. Или вы не видите, что власть и скудоумна и смеется над вами? Вы зовете Муравьева в тихомолку трехпрогонным, называете его казнокрадом, заграничные издания публикуют его проделки, а он в то же время прибирает к себе 22 тысячи десятин лучшей земли России. Нет, с такими господами нечего церемониться; пора с ними кончить, пора приступить к делу теперь же, не теряя ни минуты.

«Говорите чаще с народом и с солдатами, об'ясняйте ему все, чего мы хотим, и как легко всего этого достигнуть; нас миллионы, а злодеев сотни. Стащите с пьедестала, в мнении народа, всех этих сильных земли, недостойных править нами, об'ясните

народу всю незаконность и разврат власти, приучите солдатов и народ понять ту простую вещь — что из разбитого генеральского носа течет такая же кровь, как и из носа мужицкого. Если каждый из вас убедит только десять человек, наше дело и в один год подвинется далеко. Но этого мало. Готовьтесь сами к той роли, какую вам придется играть; зрейте в этой мысли, составляйте кружки единомыслящих людей, увеличивайте число прозелитов, число кружков, ищите вожаков, способных и готовых на все, и да ведут их и вас на великое дело, а если нужно, и на славную смерть за спасение отчизны, тени мучеников 14 Декабря! Ведь в комнате или на войне право умирать не легче!»

Самая длинная, самая пространная из прокламаций того времени. Читатель ясно видит неопытность авторов именно в направлении короткого, ясного, ударного стиля призыва. Прокламация — агитация, а «К молодому поколению» — скорее пропаганда. Прокламация — призыв к известному акту или об'яснение текущего момента, здесь — раз'яснения вообще, проповедь, передовая статья из невышедшего нелегального журнала.

Обращаясь от формы к существу содержания, приходится констатировать, прежде всего, немалую идеологическую путаницу. С одной стороны, вера в насильственный переворот, с другой — преклонение перед фабрикантом. С одной стороны, ненависть к дворянству и правительству, с другой — детская вера в крестьянство, как в элемент, устрояющий социалистический строй. С одной стороны, вера в результат об'яснений, с которыми молодежь обратится к народу, с другой — желание создать свое, русское понимание основ экономической и политической жизни, отличное от умственных и политических достижений Европы.

Для марксиста все это представляется отражением той путаницы, которая господствовала в середине прошлого столетия в мировоззрении подымавшегося нового класса, мелкой буржуазии, еще через десять лет принесшего с собой народничество, — мировоззрение, очень смутно разбиравшееся и в понятии «народ» и еще меньше в понятии «государство» и вовсе не имевшее никакого представления о классах и их извечной борьбе.

Авторы прокламации понимали, чувствовали, что так жить дальше нельзя, искали устроителей новой жизни и в своих поис-

ках разрешали вопрос в самую неожиданную сторону. Молодежь представлялась им тем элементом, который, будучи бесклассовым, в состоянии преследовать какие-то единые и ясные идеалы. Теперь каждый сознательный рабочий понимает то, чего тогда не понимали умнейшие люди в роде Герцена: молодежь — кадр всех классов, резерв всех мировоззрений. При истинной революции, совершенной в октябре 1917 года, мы увидели это воочию и видим и теперь. Мы не верим в возрастные перегородки, но зато истинно и крепко верим в экономические, классовые.

Мало кто сознательно отдавал себе отчет в разнице того, что говорилось в прокламации, с тем, о чем звонил уже пятый год «Колокол» Герцена; мало кто понимал, что согласные с ним авторы прокламации, ставили во главу угла, кроме утопического социализма, насильственный переворот, революцию, если без них нельзя было бы обойтись; еще меньше было тех, кто видел разницу идей прокламации с нарождавшимся радикальным чисто западническим течением русской мысли, получившим свое выражение в подцензурном «Современнике» Чернышевского и Добролюбова, — но многие понимали, что против массы положений «К молодому поколению» по существу нельзя было возражать. Прокламация имела несомненный широкий успех.

На власть она произвела очень сильное впечатление, немного лишь ослабленное почти сразу установлением ее лондонского происхождения: напечатанная так в России, она заставила бы думать о большой подпольной организации, имеющей возможность прибегать к услугам хорошо оборудованной типографии.

4 сентября спб. генерал-губернатор гр. Игнатьев телеграфировал шефу жандармов кн. Долгорукову, бывшему с царем в Ливадии, что вечером 3 сентября «подкинут в некоторых домах столицы печатный лист, имеющий заглавие «Молодому поколению». Лист заключает возмутительную злодейскую прокламацию. С первым фельд'егерем представлю экземпляр. Сообщено гр. Шувалову и приняты возможные меры к отысканию места печатания и экземпляров. Бумага и шрифт лондонские». На следующий день управляющий III Отделением телеграфировал своему шефу: «распространение воззвания по возможности приостановлено; полагаю, что воззвание разошлось в ограниченном числе; до солдат гвардии оно не проникло, а только оказалось

у офицеров; приняты деятельные меры к пресечению дальнейшего распространения воззвания». «С Милютиным лично говорил».

Шувалов приказал спб. обер-полицмейстеру Паткулю поднять на ноги всю столичную полицию и, в случае успешного розыска распространителей, «обещал значительное награждение открывателю».

Полиция заработала. Не дремал и Шувалов, как раз в это время получивший подлое письмо Всеволода Костомарова, приведенное на стр. 83. Он вызвал его, имел с ним продолжительную и весьма содержательную беседу и затем приставил к нему, кроме своих подчиненных, сыщика спб. полиции Ивана Дмитриевича Путилина.

Костомаров понимал, что серьезно скомпрометирован в найденной в Москве типографии и, как трус, и человек, лишенный каких-нибудь твердых нравственных устоев, очень поверхностно усвоивший лозунги революционной мысли, боясь притом серьезной ответственности, он решил оригинально осуществить свою недавнюю угрозу Михайлову о вступлении в жандармы. Не долго думая, он решил создать себе безопасное и выигрышное положение и предать одновременно своих товарищей-сотрудников по московскому делу и Михайлова по нашумевшей прокламации.

Шелгунов говорит, что у Костомарова был «как бы подавленный, несколько жалкий вид; в нем чувствовались беднота и не то какая-то робость, не то какая-то зависимость. Вообще, он на свое положение жаловался и, как видно, очень нуждался. У Костомарова был узкий кверху и убегающий назад, совершенно ровный, без возвышений лоб и под гребенку остриженная голова. Костомаров обыкновенно смотрел вниз и редко заглядывал в глаза».

Эта часть характеристики написана до приговора над Костомаровым общественного мнения, а вот как он характеризовался Шелгуновым после: «Главными отличительными чертами характера Костомарова, как мне кажется, были трусость и хвастливость. Хвастливость довела его и до либеральных стишков и до их печатания. Вообще, эта натура была придавленная, приниженная и пассивная. И вот, когда уж и так урезанная жизнь Костомарова кончилась заключением и солдатчиной, этого ока-

залось слишком, чтобы он мог вынести без протеста, но протеста в форме жалобы и обвинения других. Это обыкновенная форма протеста всех слабых людей, привыкших повиноваться чужой воле».

Чернышевский говорил, что был уверен в душевной болезни Костомарова, в его психической ненормальности, и даже просил артиста М. И. Писарева говорить об этом всем, кто о нем вспомнит [1]).

Результатом принятого Костомаровым решения было сначала устное сообщение, после которого решено было арестовать Михайлова, а затем и составление особого письма, написанного уже в Петербурге задним числом к несуществовавшему в Москве (где, якобы, письмо и писалось) Якову Алексеевичу Ростовцеву, — несуществовавшему, как я убедился из просмотра ряда полицейских и других списков жителей Москвы за 1860—61 годы. Ниже привожу это письмо от 25 августа, написанное 16 — 17 сентября, т. е. как раз в те дни, когда Шувалов, очень довольный удачным исходом дела, в избытке чувства исполненного долга телеграфировал вел. кн. Михаилу Николаевичу в Александрию (в Петергофе): «Не угодно ли будет вашему высочеству отложить заседание совета на несколько дней. Розыскания прокламации принимают особенно важный характер; нет ни минуты приготовиться к докладу заседания, боюсь упустить более важное».

Привожу текст письма Костомарова:

«Дорогой друг Я. Алекс. Дело мое гораздо хуже, чем я предполагал. Брат не только донес на меня, но и захватил коекакие бумаги, которые я не успел уничтожить. Одна из них писана рукою М. Мих. и может сильно компрометировать его. Ради бога, сходите к П. (Плещеев—*М. Л.*), узнайте от него адрес М. и поезжайте в Петерб.: скажите ему все это. Пусть он примет все меры, какие найдет возможными, и во всяком случае уничтожит все до одного экземпляры М. П. Он поймет, в чем дело.

«Ради бога, не забывайте мою бедную старуху. Я буду арестован, вероятно, сегодня. Брат ушел с утра с угрозами и проклятиями прямо к Житкову. Мне делать нечего и, вероятно,

---

[1]) «Рус. Стар.» 1905, XI, 473, 479.

придется поплатиться. По делу с 14 Дек. запираться невозможно, да я и не хочу. Господ этих брат знает всех на перечет, да они и не стоят того, чтобы подставлять за них спину; скажу все, что знаю. А во всем остальном буду держаться крепко... Одного не знаю, как поладим с этим несчастным «автографом»... Голова идет кругом. Ну, да увидимся. (Зачеркнуто несколько строк—*М. Л.)*. Да, одним словом, не выдам ничего, кроме гадкой спекуляции с Корфом, в которой по грехам моим я замешан. Вы не ходите уж ко мне. За мной, вероятно, уже следят, и мне будет неприятно, чтобы вы еще были замешаны. Письмо это я посылаю с Александрой; что будет нужно, напишите мне с нею же. Прощайте, дорогой друг; бог знает, увидимся ли мы. Не забывайте же мою бедную старуху.

Ваш *К.*

«Мне не лучше. Я не встаю с постели, жар, и озноб, и всякая гадость».

Путилин и III Отделение знали, согласно условию с Костомаровым, что делать с уже арестованным Михайловым. Арест произведен был немедленно вслед за устным сообщением Костомарова.

14 сентября, ночью, у Михайлова и Шелгунова был сделан вторичный обыск, который, кроме двух жандармских штаб - офицеров Щербацкого и Житкова, производил начинавший карьеру сыщик И. Д. Путилин; они взяли на помощь еще около десятка жандармов и полицейских, «бабу Аграфену» для осмотра Л. П. Шелгуновой, четырех сыщиков и двух понятых... Вот какую важность придавали тогда возможности обнаружить автора и распространителя одной из первых прокламаций. Были отобраны, между прочим, альбом с запиской Искандера и несколькими листками из его сочинения «Былое и думы» (потом он какими-то судьбами был опять у Шелгуновой, что Михайлову подало повод заметить в «Записках», что альбом и не отбирали) и рукопись Огарева, а у Шелгунова — конверты, похожие на те, в которых прокламация была разослана по почте, и печатка, схожая с печатью, положенною на сданных по почте пакетах. Шелгуновы были оставлены на свободе, а Михайлов отвезен в III Отделение.

Насколько не только арест Михайлова, но и вообще начинавшаяся создаваться атмосфера революционной работы (сначала «Великорусс», потом «К молодому поколению») были неожиданностью даже для Добролюбова, который, казалось бы, должен был быть в курсе настроения окружавших его людей, — видно из перлюстрированного письма его к Некрасову из Петербурга от 9 сентября (через три недели после возвращения из-за границы): «Здесь возникает, не знаю, надолго ли, какое-то подземное действие, по городу бегают и рассылают листочки, напечатанные тайно и об'ясняющиеся без всяких церемоний. Вследствие этого, конечно, розыски, полицейские строгости, чудовищные слухи. Только и слышишь, что того обыскивали, того взяли; большая часть, разумеется, оказывается вздором. У Михайлова был жандармский обыск с неделю тому назад; с тех пор я каждый день встречаю людей, уверяющих, что он арестован. Третьего дня вечером я видел Михайлова еще на свободе, а вчера опять уверяли меня, что он взят. Оно бы и немудрено — в течение ночи все может случиться; да, ведь, взять-то не за что — вот беда! ... Михайлова взять — ведь это курам на смех!» [1]).

Ясно, что все эти разговоры были следствием первого обыска, до фактического ареста Михайлова. Когда же он был уже в руках жандармов, агенты III Отделения, как всегда, получили задание осведомить своего шефа с общественным настроением. «При взятии его он выстрелил в первовошедшего к нему жандармского полковника, у которого пуля прошла между левым боком и рукой, пробила деревянную перегородку и в другой части комнаты ударилась в стоявший на комоде самовар»... Другой агент сообщал не более достоверные слухи, циркулировавшие в обществе:

«Сначала Михайлов притворился глухонемым. На него донес его брат — гимназист, со злости за оспариваемые от него сим братом законные по наследству деньги. При обыске в квартире Михайлова решительно нигде не найдено ни малейшего доказательства его улики, так что уже считали донос брата ложным, но тот указал на бюст императора Николая, в котором и нашли корректурные листы его прокламаций и проч.» [2]). Надо ли говорить,

---

[1]) «Русское прошлое», 1923 г., II, 146—147.

[2]) Там же, 148.

что все это являлось сплошным вздором, характерным, однако, для времени.

Да характерен для времени и сам Михайлов в роли политического деятеля. Тогда не было еще профессионалов - революционеров, революционеров, так сказать, по ремеслу — они появились позднее; тогда движение тем и отличалось, что все, не принадлежавшее к помещикам и плутократии, было настроено в течение нескольких лет определенно оппозиционно к власти, хотя и без всякой определенности в своем политическом символе веры.

И кто не понимает этого общего левого настроения, тот вообще не в состоянии понять 1860-х годов. Не понял их и Шилов, напрасно променявший родную ему библиографию на чуждую историю, в которой он вовсе не разбирается. Ища об'яснений, почему тяготевший к литературе, как таковой, Михайлов прикоснулся к политике, Шилов склонен считать, что «это скорее дело увлечения, быстрого порыва, может быть, даже моды, чем серьезной обдуманности»» и т. д. [1]). Для нас этих слов довольно, чтобы признать глубочайшее непонимание обстановки 1860-х годов, еще больше — социального положения того класса, к которому принадлежал Михайлов. «Дело» его потому - то для нас и представляет громадный интерес, что мы не ищем героя и об'яснений, откуда и почему он вдруг появился, а знаем, что в первой волне общественного гнева со стороны буржуазии приняли участие все те, кто потом или вовсе устранился от борьбы, или продолжал ее уже в других, более квалифицированных формах. Михайлов — показательная фигура времени, отнюдь никогда и никем в центр не ставившаяся, кроме тех «историков», которые без центров и фигур никак не представляют себе ни процесса, ни событий.

II.

Сначала его поместили в довольно просторной комнате самого обыкновенного вида, но уже через несколько часов перевели в другую, с голыми стенами, с крошечным диваном, шкапчиком, вместо стола, и двумя старомодными стульями. Железная

[1]) Вступительная его статья к «Запискам» Михайлова, стр. II.

кровать и вонючий ящик (параша) дополняли тюремную обстановку . . .

Прошло несколько часов, затем М. И. повели на первый жандармский допрос, в одну из «экспедиций» III Отделения. Там его встретил довольно влиятельный чиновник Ф. И. Горянский, поспешивший заявить, что он очень уважает талант представшего перед ним писателя и очень сожалеет, что им приходится знакомиться при таких обстоятельствах. На вопрос Михайлова, в чем же дело, Горянский заявил, что у III Отделения есть достаточные основания обвинять его в сочинении прокламации к крестьянам, а во-вторых — в привозе из-за границы другой прокламации — «К молодому поколению» и в распространении ее в России.

При этом Горянский показал Михайлову письмо В. Костомарова к Ростовцеву . . . Михайлов начинал понимать, но, будучи кристаллически чистым человеком, разумеется, еще не мог допустить мысли об истинной роли своего недавнего друга, столь ему обязанного. И даже после приезда в Сибирь Михайлов так и не узнал всей простой истины. Он искал об'яснений в причинах, подсказавших такое письмо, не зная, что оно было условленно и изготовленно задним числом. «Если это письмо было написано не с преднамеренною целью выдать меня, то в это время в голове Костомарова происходил странный процесс . . . Ничего не понимаю» — сказано в позднейших его «Записках». Как опытный застеночных дел мастер, Горянский тут же сообщил Михайлову и совершенную ложь, а именно, что уже арестованы очень многие, прикосновенные к делу московской пропаганды, и в их числе мать Шелгуновых, сестра Костомарова и . . . Л. П. Шелгунова . . . На самом же деле, 15 сентября обыск был произведен только в имении «Подол» Шлиссельбургского уезда, принадлежавшем отцу Шелгуновой, Петру Ивановичу Михаэлису, но там ровно ничего Житков не нашел.

Михайлов увидел, что надо спасать Шелгуновых, и потому решил признаться кое в чем, но, сначала, по возможности, в самом незначительном.

18 сентября он записал следующие показания:

«Во время пребывания моего в Лондоне нынешним летом, я получил перед от'ездом оттуда, от Герцена, десять экземпля-

ров печатного воззвания «К молодому поколению», как новость, только - что вышедшую из лондонской типографии. При этом он не об'яснил мне ничего и только на вопрос мой, почему тут напечатано «в сентябре» отвечал: «скоро ли еще дойдет до России». Эти десять экземпляров привез я с собою в Спб. и думал сначала раздать их кому - нибудь из любителей таких редкостей, но потом сообразил, что это неосторожно, и экземпляра четыре или пять сжег вскоре по приезде, а остальные хотел сберечь на память. Этих пяти или шести экземпляров (о которых и идет, вероятно, речь в перехваченном письме Всеволода Дмитриевича Костомарова) я никому, кроме его, Костомарова, не показывал и никому о них не говорил. Костомарову же, когда он был в Спб. в конце августа, показал их, как вещь, им еще не виденную и потому интересную не менее других заграничных русских изданий, но ни одного экземпляра ему не дал, и вскоре после его от'езда, из осторожности, их уничтожил. В начале сентября к моей квартире, общей с квартирой подполковника Шелгунова, был подкинут пакет с несколькими экземплярами помянутого печатного воззвания, что и г - на и г - жу Шелгуновых, не знавших и о существовании такого воззвания, и меня очень удивило и испугало. Так как это случилось на другой или на третий день после бывшего у меня полицейского обыска, то я принял этот пакет за какую - нибудь ловушку, - и он вместе с самыми воззваниями был сожжен. Вот все, что мне известно.

«По возвращении моем из - за границы, откуда я привез десять экземпляров воззвания «К молодому поколению», полученных мною лично от Герцена, я никому (ни даже живущим со мною Шелгуновым) об этом воззвании не говорил и, истребив вскоре по приезде четыре или пять экземпляров, остальные пять или шесть (тоже потом уничтоженные) показывал только В. Д. Костомарову, во время приезда его в Спб. в конце августа, как интересную новость, и об них - то, вероятно, и предупреждает меня Костомаров в перехваченном письме.

«О пред'явленных мне двух рукописных воззваниях «К крепостным людям» и «К солдатам» имею честь об'яснить следующее: как то, так и другое воззвания мне известны. Они ходили здесь по рукам в рукописи вскоре после манифеста об освобо-

ждении крестьян. Они были у меня в списках неизвестных мне почерков.

«Один список, именно воззвание «К крестьянам», и есть тот самый, который был мне пред'явлен. Другой же был так неразборчив и писан с разными поправками, что я переписал его для себя косым почерком, не похожим на мой обыкновенный, и сделал потом несколько поправок и приписок уже своей рукой. В Москве эти списки очутились следующим образом. Один из них («К крестьянам») выпросил у меня студент Сорока, являвшийся познакомиться со мною от имени Костомарова, хотя потом оказалось, что Костомаров его никогда ко мне не посылал. Отдавая ему рукопись, я не имел в виду, чтобы она была напечатана, и потом, когда мне пришло в голову, что это может случиться, я при приезде Костомарова в Спб. просил его взять рукопись у Сорока, чтобы он не указал впоследствии на меня, если попадется. В то же время, если не ошибаюсь, взял у меня Костомаров и список «К солдатам» для прочтения. Я просил его по прочтении истребить».

Михайлов показал на Сороко, уверенный, что последний уже достаточно скомпрометирован сведениями, полученными III Отделением от Костомарова, — и не ошибся; зато он мог, таким образом, отвести внимание от Шелгунова, который, собственно, и был автором прокламации «К солдатам», и Чернышевского — автора «К крепостным крестьянам»; обе рукописи, написанные измененными почерками, переданы были ими Михайлову для переговоров с Костомаровым об их напечатании.

Прокламация «Барским крестьянам» будет приведена дальше, в «Деле Чернышевского», а с содержанием прокламации «Солдатам» ознакомлю здесь, заметив, что полного первоначального текста мне нигде не удалось достать (второй текст помещен ниже на стр. 150 — 151).

В прокламации к солдатам, как передает составитель высочайшего доклада шефа жандармов, говорилось, что в польскую и венгерскую кампании солдаты были обмануты правительством, что они были не воины, а палачи своих братьев, за что и должны отдать отчет богу. Далее рассказывалась история положения Польши в таком виде: Екатерина II, сделав вольных казаков крепостными, хотела так поступить и с поляками; борьба продолжа-

лась 50 лет, наконец, император Николай послал туда огромное войско, страна была разорена и взята. Ныне поляки вновь хотят сделаться вольными — «помогите им». В том же духе описана венгерская кампания. «Венгерцы хотели освободиться от власти австрийцев, а вас послали рубить и колоть их — вы поступили против бога, который сотворил людей свободными. Но этого мало, вы шли даже против своих братьев, православных крестьян, когда они не хотели повиноваться помещикам. И все это вы делали потому, что боялись изменить присяге. Но что такое присяга? Она хороша только тогда, когда обязывает на добрые дела; если же вас заставят убивать своих братьев, то вы должны изменить присяге, тогда вы будете для России тем же, чем французы и англичане, которые также убивали русских. Не забывайте же, что вы сделались солдатами для того, чтобы защищать своих братьев от врагов. Вот и теперь дали волю крестьянам; а посмотрите — помещики и чиновники хотят не давать им земли, — вероятно, будет бунт. Вас опять пошлют убивать православных, разорять их дома, может быть, даже дома ваших родных, и опять польется невинная кровь, потому что народ не уступит своей земли; а если вы не пойдете, и они не пойдут против вас, и тогда вздохнет русская земля».

Во время допроса вошел Путилин и спросил Михайлова, знает ли он работающего с ним в одном журнале писателя Благолюбова... Потом он поправился: Добролюбова. Михайлов ответил утвердительно, но категорически отрицал свои, действительно, не бывшие свидания с ним за границей.

Через несколько минут Михайлова позвали к гр. Шувалову. Тот убеждал его показать сразу одну чистую правду, говорил, что все равно все уже хорошо известно, и т. д., но Михайлов твердо стоял на своем. Тогда приказано было позвать в ту же комнату Костомарова, причем был сделан вид, будто его привезли из крепости.

Письмо его к Ростовцеву лежало на столе Шувалова, и последний спросил Костомарова, что обозначали буквы «М. П.», прибавив, что Михайлов уже сознался, что под ними разумелась его прокламация.

— Если он сознается, — сказал Костомаров, — то это, действительно, так.

— Предлагал он вам 100 экземпляров? — спросил Шувалов, но был перебит Михайловым, поспешившим сказать, что, конечно, не предлагал и что Костомаров видел только один экземпляр.

— Так ли это, Костомаров?

— Так — ответил негодяй, и был после этого удален.

Вернувшись в камеру, Михайлов упрекал себя, что не стоял на совершенном отрицании всего, что сознался и в 10 экземплярах, хотя дело и могло кончиться в этом случае только непродолжительным арестом. Он чувствовал уже, что Костомаров его не поддержит. Ему становилось ясно, что «приятель» его высказал не только все, что знал, но и то, что только подозревал. И, все-таки, ему не хотелось еще так дурно думать о нем.

Михайлов придумывал, как поступить дальше, но видел, что уже сразу испортил дело . . . И над всем этим господствовало опасение, как бы не впутали других, особенно Шелгуновых.

Затем Горянский доставлял не мало страданий Михайлову своим ежедневным присутствием в его камере. Подлость характеристически отпечатывалась в каждой его черте, в каждом движении мускулов. В первые две недели Михайлов не знал ни одной спокойной минуты. Только вечером, да и то лишь после известного часа, он мог уже не ждать посещений Горянского или Путилина и приглашений во 2-ю экспедицию или к Шувалову. «Говорить с этими господами было для меня истинной пыткой, — пишет он. — Они постоянно делали мне в разговоре разные пугавшие меня намеки, на которые я старался не выказывать никакого ни любопытства, ни внимания, тогда как внутренно они меня очень тревожили».

Оригинальнее всего были расспросы Шувалова, к которому Михайлова водили раз пять - шесть. Они обыкновенно беседовали в таком роде:

«— Как вы ни запирайтесь, а г-жа Шелгунова знала об этом деле. Это мне известно, как нельзя лучше.

«— Не знала.

«— Нет, знала.

«— Нет, не знала.

«— Нет, знала.

«И так далее до злости.

«— Ну, я понимаю, — переменял тему Шувалов, — что вы не

хотите выдавать женщину, но брат ее [1]) знал. Мы не можем оставить его без наказания.

«— Нет не знал.

«— Нет, знал и помогал вам.

«— Нет не знал.

«— И что вы его защищаете? Знал.

«— Нет не знал.

«— Знал, я вам говорю.

«— А я вам говорю, что не знал».

Скучно и тоскливо проходили дни заключения Михайлова, похожие, как две капли воды. Иногда его развлекал смотритель, капитан Зарубин, единственный человек, если не считать сторожа Самохвалова, присутствие которого Михайлов даже любил. Зарубин сообщал ему преимущественно театральные новости, потому что посещал все новые пьесы. Внимательность он проявлял полную. Так, когда Михайлов просил давать ему обед позже обыкновенного, то просьба эта была сразу же исполнена, и Михайлов вдруг стал получать гораздо лучший обед. Оказалось, что Зарубин присылал ему из своего дома, потому что на тюремной кухне все кончалось гораздо раньше.

В тот же день, когда Михайлов был арестован, об этом стало известно в литературном мире и обществе; налицо был рассказчик-очевидец, Н. В. Шелгунов. Впечатление этого, тогда очень редкого, случая было велико. Многие, не подозревая в Михайлове распространителя прокламации «К молодому поколению», искренно удивлялись, некоторые недоумевали, но все так или иначе возмущались. Арест не вязался еще с атмосферой того времени... По словам Шелгунова, дня через два или три у издателя «Русского Слова», гр. Кушелева-Безбородко, собрались почти все (человек до ста) петербургские литераторы, чтобы обсудить это дело, посоветоваться и предпринять что-нибудь в пользу арестованного товарища. После довольно продолжительных дебатов решено было подать петицию министру народного просвещения графу Путятину, ведавшему цензурой, а, следовательно, бо-

---

[1]) Е. П. Михаэлис, игравший видную роль среди петербургского студенчества.

лее других прикосновенному к литературе. По любопытной для того времени дружности всех прогрессивных элементов, еще не дифференцировавшихся в партии, составление петиции было поручено... отставному жандармскому подполковнику С. С. Громеке, уже заявившему себя в широком кругу статьями в «Русском Вестнике» и «Отечественных Записках», а в более интимном — корреспонденциями в «Колокол»... Представление петиции было поручено депутации в лице гр. Кушелева - Безбородко, А. А. Краевского и Громеки, которые и явились 15 сентября. Перед тем Громека ездил в Москву, но там никто подписей своих не дал.

Надменный Путятин не соизволил принять депутацию, допустив перед свои светлые очи лишь одного Кушелева. Привожу полный текст этого документа.

«Милостивый Государь, граф Евфим Васильевич. Мы нижеподписавшиеся редакторы и сотрудники петербургских журналов, с глубоким прискорбием узнали, что вчера один из наиболее уважаемых литераторов подвергся аресту после вторичного обыска, произведенного у него на квартире полициею. Известие это тем более поразило нас, что еще недавно обнародован был закон об отделении судебной власти от полиции, — закон, по которому каждый из русских подданных огражден от произвольного вторжения полиции в его жилище. Вся русская литература с сочувствием приветствовала появление этого закона, никак не ожидая, что благодеяние его не распространяется на одних только служителей литературы.

«Мы не знаем, в чем обвиняется М. И. Михайлов, и даже сам г. Михайлов, как говорят, не знает этого. Мы знаем только, что вся литературная деятельность этого писателя направлена была к самым благородным и высоким целям и постоянно клонилась к уменьшению в человечестве страданий и преступлений, а не к увеличению их. Поэтому мы никак не можем допустить, чтобы г. Михайлов мог быть виновен в каком - либо чрезмерном преступлении, для которого необходимо было забвение всех установленных по наказу для судебных следователей правил. Соображения эти дают нам смелость обратиться к в. с., как к прямому и естественному защитнику русской литературы, с убедительнейшей просьбой принять под свою защиту дальнейшую участь г. Ми-

хайлова, как одного из лучших и благороднейших представителей литературы. По нашим законам, интересы каждого подданного ограждены при судебно-полицейском следствии заступничеством и присутствием депутата от того сословия или ведомства, к которому принадлежит обвиняемый. Одни только литераторы лишены этой защиты. Смеем думать, что они не заслужили такого печального исключения их из общих прав народа. Поэтому мы льстим себя надеждой, что в. с. не откажетесь защитить интересы литераторов в нынешнем прискорбном для них случае и примете к сердцу глубокое несчастие, постигшее одного из лучших наших товарищей. Г. Михайлов живет одним только литературным трудом. Занятия его внезапно прерваны к ущербу и его собственных интересов и интересов литературы. Г. Михайлов арестован и лишен всякой помощи, всякой защиты. Неопытный в судебно-полицейских делах, он может быть запутан в ущерб истине и справедливости. Позвольте, граф, надеяться, что вы не откажетесь испросить освобождение г. Михайлова, а если это не возможно, то, по крайней мере, исходатайствуете дозволение назначить к нему в помощь, по нашему избранию, депутата для охранения его гражданских прав во все время судебно-полицейского исследования поступков, в которых он обвиняется.

«Примите, в. с., уверение в совершенном и искреннем нашем почтении и преданности. Николай Альбертини, Александр Афанасьев-Чужбинский, Константин Бестужев-Рюмин, Григорий Благосветлов, Иван Вернадский, Николай Вессель, Александр Гиероглифов, Степан Громека, Владимир Зотов, Дмитрий Кожанчиков, Андрей Краевский, Валериан Кремпин, Василий Курочкин, Николай Курочкин, Григорий Елисеев, Николай Кроль, граф Кушелев-Безбородко, Петр Лавров, Сергей Максимов, Дмитрий Минаев, Иосиф Паульсон, С. Н. Палаузов, Михаил Стопановский, Николай Степанов, Василий Толбин, Николай Добролюбов, Михаил Достоевский, Аполлон Майков, Алексей Писемский, Иван Панаев, Ник. Некрасов. 15 сентября 1861 г.».

На следующий день Путятин получил еще и вторую петицию — от редакции «Энциклопедического словаря, составленного русскими литераторами и учеными», следующего содержания:

«Ваше сиятельство, граф Евфим Васильевич. Сегодня происходило общее собрание редакторов «Энциклопед. словаря», со-

званных общим редактором его, для обсуждения мер, которые могли бы быть приняты по случаю прискорбного ареста Михаила Ларионовича Михайлова, редактора одного из важнейших отделов словаря, именно отдела общей и русской словесности. Приняв звание редакторов различных отделов словаря, мы с тем вместе взяли на себя обязанность заботиться об успехе издания, которое может итти лишь при содействии большого числа русских ученых и литераторов, на которое положен издателями значительный капитал и которому выразил свое сочувствие самым делом государь император, высочайше соизволив назначить в ссуду издателям «для поощрения столь полезного издания» значительную часть основного капитала. Внезапное удаление от дела редактора весьма важной части словаря не может не иметь самого вредного влияния на ход нашего издания, и, между тем, следя за всеми трудами Мих. Лар. Михайлова по словарю, находясь с ним в беспрестанных сношениях, мы убедились, что замена его в эту минуту невозможна без ущерба, следствия которого предвидеть нельзя, особенно при обязательности срочного выхода книг. Поэтому мы обращаемся к вашему сиятельству, как к естественному покровителю науки в нашем отечестве, прося вашего содействия в деле, которое не может быть чуждо вашему сердцу, как министра народного просвещения и образованного человека. Мы просим ваше сиятельство ходатайствовать о скорейшем освобождении Мих. Лар. Михайлова, если арест его произошел лишь вследствие подозрения в каком-нибудь неосторожном поступке, и в этом случае просим принять наше поручительство в явке г. Михайлова по востребованию. Если же скорое освобождение его найдено будет невозможным, то просим о дозволении ему и под арестом продолжал свои ученые работы по словарю, причем требуемые книги и бумаги будут доставлены общим редактором назначенному от полиции лицу для предварительного осмотра. Еще для устранения перерыва в доставке работ по словарю, просим о дозволении общему редактору войти в словесные или письменные сношения с арестованным, причем г. Лавров соглашается подвергнуться при этом всем требуемым правилам. Надеясь на сочувствие в. с. к изданию, которое предпринято с серьезною целью науки и просвещения и пользуется высочайшим сочувствием, мы еще раз просим о ходатайстве вашем за нашего това-

рица, печальная участь которого нам глубоко прискорбна, потому что, работая до сего времени вместе с ним, мы привыкли любить и уважать его. Общий редактор Петр Лавров, Илья Березин, Константин Бестужев-Рюмин, Виктор Буняковский, Андрей Бекетов, Аполлон Майков, Аксен Годолин, Александр Лохвицкий, Федор Тернер, Александр Энгельгардт. Сентября 16 дня 1861 г., С.-Петербург».

Путятин послал обе петиции шефу жандармов и доложил о них на ближайшем заседании образованного, по случаю отсутствия царя, особого правительственного комитета под председательством вел. кн. Михаила Николаевича. Шувалов донес обо всем кн. Долгорукову.

Недели через три после заключения Михайлова, к нему явился Путилин и попробовал получить сведения о том, кому принадлежит печатка, которою были запечатаны письма Михайлова к Костомарову, совершенно тождественная с печатью на конвертах с прокламацией. На самом деле она принадлежала Шелгуновой, но Михаил Илларионович категорически отрицал, что знает печатку. Тогда Путилин пригласил его на очную ставку с Костомаровым.

Встретивший Михайлова Горянский обратился сначала к нему с тем же вопросом, сказав, что нравственное убеждение III Отделения в его виновности «так сильно, что они употребят все средства добиться истины», и, наконец, показал Михайлову письменные ответы Костомарова на целый ряд вопросных пунктов.

Вот, что он показал 20 сентября, после прочтения показаний Михайлова и встреч с ним у Шувалова и Горянского:

«25 августа я говорил с одним моим знакомым о привезенном Михайловым листке «К молодому поколению». В тот же день вечером брат мой Николай, возвратясь откуда-то домой, говорил, что бумаги, украденные им у меня, уже представлены куда следует и что ночью меня арестуют. «Кроме того,—хвалился он,—я с ним (т. е. со мною) сыграю еще одну штуку, от которой он никак не отвертится». Теперь мне ясно, что угроза эта относилась к подброшенному им шрифту [1]), но тогда мне пришло в го-

[1]) Этим Костомаров отводил от себя серьезную часть обвинения по московскому делу. На самом деле его брат Николай был на Кавказе и таким образом не прикасался к грязным делам семьи.

лову, не намекает ли он на разговор мой о «Молодом поколении», потому что разговор этот происходил в комнате, отделенной от других тонкой перегородкой, и легко мог быть подслушан. Опасаясь этого доноса, я сегодня же написал к Ростовцеву письмо, в котором просил его известить Михайлова, чтобы тот уничтожил все находящиеся у него экземпляры «Молодого поколения». Если бы это письмо не было перехвачено, и Ростовцев успел исполнить мою просьбу, а Михайлов последовал моему совету и сжег бы все экземпляры брошюры, то с уничтожением их правительство, я полагаю, не имело бы никакого повода начать свои разыскания о распространении брошюр в Петербурге.

«Из моего первого ответа видно, что я опасался в этом деле более за себя, чем за г. Михайлова; кроме того, так как во взятом мною в квартире г.г. Сулина и Сорока манускрипте прокламаций (кажется, к солдатам), в поправках и дополнениях я узнал руку Михайлова, то и полагал, что это обстоятельство, которое легко могло быть открыто следователями, должно будет вызвать арест Михайлова, а при обыске могут быть открыты и экземпляры «Молодого поколения». Во-вторых, полагая, что правительству известно о том, что я говорил с моим знакомым о «Молодом поколении» прежде, чем оно явилось в публике, я должен был предупредить Михайлова, чтобы он уничтожил все экземпляры своей брошюры. Иначе, когда правительство убедилось бы, что в Спб. точно распространяются экземпляры «Молодого поколения», оно имело бы основание требовать от меня сведений по этому делу, чего, очень естественно, я старался избежать.

«Так как у меня экземпляров «Молодому поколению» не было, то и скрыть их я не мог.

«О появлении их в России мне известно только то, что уже показал г. Михайлов, то-есть, что они привезены им из Лондона, что же касается до цели, с какою г. Михайлов привез эту брошюру, я полагаю, что г. Михайлову будет гораздо удобнее отвечать на этот вопрос самому. Увидав у г. Михайлова прокламацию, конечно, я не мог подумать, что он вывез их из Лондона для оклейки стен своего кабинета, и предполагая, что он с кем-нибудь поделится своими экземплярами, весьма естественно, я мог опасаться, что они разойдутся по Спб. и обратят на себя внимание правительства.

«Кроме сказанного мною в первом пункте, я ни с кем не имел никаких разговоров о брошюре и, кроме Михайлова, ни от кого о ней не слыхал.

«Я только просматривал воззвание у Михайлова, но не читал его.

«20 августа я приехал из Москвы по своим делам в Спб. и был у Михайлова. Тогда он мне и показывал привезенные им брошюры, а в каком количестве он их вывез, я не знаю; полагаю, что Михайлов скорее может разрешить этот вопрос с достаточной ясностью. Я, с своей стороны, могу повторить, только то, что уже очевидно из моих ответов, которые я должен был дать для об'яснения моего письма к Ростовцеву. Т. е. что я был уверен, что с уничтожением Михайловым экземпляров «Молодое поколение» не будет распространено в публике и, стало быть, до правительства не дойдет, а, во - вторых, что я просил Михайлова уничтожить экземпляры «Молодого поколения» с тою целью, чтобы предотвратить распространение их в публике; а чтобы распространять какое - нибудь сочинение, надо иметь его достаточное количество экземпляров».

Привожу дальше рассказ самого Михайлова.

«По особенному тупоумию меня более всего поразил, помню, ответ на вопрос: зачем он, Костомаров, предупреждал меня письмом? «Затем, — отвечал Костомаров, — чтобы Михайлов, получивши письмо, уничтожил все экземпляры (!!), и тогда, еслиб письмо и попалось в руки полиции (?), то нельзя было бы никак догадаться, о чем в нем идет речь».

«Этот ответ, чуть ли не дважды подчеркнутый Горянским красным карандашом, как особенно замечательный, рассмешил меня.

«На все красноречие Горянского я ответил одним, что к тому, что сказал раз в своих ответах, я ничего не прибавлю, да и прибавлять мне нечего.

«— Вот сейчас сам г. Костомаров будет здесь. Вы поговорите с ним.

«Я и не думал, какой оборот могло принять и приняло это свидание.

«Я решился не принимать на себя ничего более того, что уже принял, и, конечно, выдержал бы свое решение, *еслиб Костомаров не вывел меня из терпения своими упреками.*

«Он пришел в сопровождении Путилина.

«Горянский попросил его об'яснить разные пункты в его ответах. Я уж не помню хорошенько этих об'яснений, но мне памятно, что Костомаров как-то неловко старался вывернуться из нелепых фраз. Например, относительно того, что он воззвание постоянно именовал *моей* брошюрой или статьей, он сказал Горянскому что-то в роде этого: «Ведь, говоря про этот стул, на котором вы сидите, что этот суд *ваш*, я этим не хочу сказать, что он принадлежит вам».

«Когда дело дошло до рассказов его в Москве о прокламации, Путилин с сладостною улыбкою сообщил, что г. Костомаров подтвердил сказанное в ответах сейчас на очной ставке. Горянский спросил его. Он сначала молчал, потом сказал, что он, действительно, подтвердил сейчас на очной ставке да и теперь подтверждает, что рассказывал, что в сентябре месяце может добыть сколько угодно экземпляров воззвания.

«Я на это заметил ему, что он мог говорить такую вещь и не имея на это прочного основания.

«— Всякому из нас, — сказал я, — случалось в разговорах преувеличивать. И вы, верно, не станете утверждать, что говорили на этот раз правду.

«Я уже начинал сильно сердиться.

«Костомаров стоял на своем. Я очень кротко, стараясь выбирать выражения, напомнил ему один пример сделанного им преувеличения в разговоре со мной.

«Он вдруг вспыхнул и рассердился:

«— Вы хотите, кажется, свалить все на мою голову, — сказал он мне. — Валите, валите!

«— Я ничего на вас не валю да и нечего мне валить. Напротив, все, что касалось меня в вашем деле, я об'яснил, хоть и со вредом для себя.

«— Говорите, г. Костомаров, — сказал Горянский.

«— Да что мне говорить?! — возразил Костомаров. — Он (указывая на меня) хочет играть роль невинной жертвы. Ну, обвиняйте меня!

«— Нам не обвинить кого-нибудь нужно, а узнать истину, — сказал Горянский. — Говорите, г. Костомаров.

«Костомаров помолчал и потом резко сказал:

«— Не удивительно, что я молчу, а удивительно, что молчит он.

«Он показал на меня.

«— Что такое вы сказали? — вскричал Горянский. — Это замечание важное, и вы должны написать его.

«Он положил лист бумаги на конторку, облокотясь на которую, стоял Костомаров, и подавал ему перо. Костомаров не брал пера.

«— Нет, вы должны это написать, должны, — настаивал Горянский. — В ваших словах намек очень серьезный, и он должен быть раз'яснен. Пишите же, г. Костомаров. Как это вы сказали? «Не удивительно, что молчите вы, а то удивительно, что молчит г. Михайлов». Извольте написать эти слова.

«Костомаров все еще колебался. Я едва сдерживал злобу, которая раскипалась во мне.

«— Г. Костомаров никогда не покажут несправедливо, — вмешался сладким голосом Путилин, вообще мало тут говоривший и бывший, вероятно, лишь в качестве свидетеля. — Я их довольно хорошо знаю по Москве.

«— Пишите, Костомаров, — сказал и я.

«Он уже взял перо, но только занес его над бумагой, я остановил его словами, что у меня было гораздо большее число экземпляров, чем я показывал.

«Я сказал тогда, кажется, что 150, но потом в показании прибавил еще 100, потому что иначе не мог достичь нужного правдоподобия.

«Длить эту сцену очной ставки мне стало омерзительно Я боялся, что она примет характер еще гаже, и уже не в ущерб мне, а, может быть, и другим. Надо было покончить.

«Костомаров отошел к окну, опустился на стул и начал плакать, говоря бессвязно:

«— Ко мне пристают с утра до вечера. Мать моя в горячке [1]...

«Путилин предложил ему выпить стакан воды. Он подошел к столу, выпил и сказал, что желал бы уйти. Горянский об'явил, что это можно.

«Я забыл упомянуть, что, как только я сказал о том, что у

---

[1]) Мать была совершенно здорова и деятельно помогала сыну.

меня было 150 экземпляров воззвания, Горянский обратился и ко мне с требованием, чтобы я написал это. Я отказался наотрез и сказал, что в таком случае мало писать одну эту цифру, что я напишу все, что нужно, у себя в №, а отвечать на отдельные вопросы теперь не стану, не хочу. Горянский выразил, было, какое-то колебание, но Путилин обратился к нему (обычная уловка) с такими словами:

«—Да г. Михайлов напишут. Разве можно в этом сомневаться? Уж если они раз сказали, то, конечно, напишут.

«Вслед за Костомаровым ушел в свой № и я».

Горянский стал томить Михайлова еще чаще своими посещениями и уже не предлагал ему вопросных пунктов, а сказал, чтобы он просто написал показание. Сначала оно было короткое. Но Михайлов должен был прочесть его Шувалову в черновой рукописи — «и многие подробности явились только вследствие того, что им в первоначальном виде не удовольствовались бы и, все-таки, предложили бы мне еще не мало вопросных пунктов. Так, например, у меня сначала было глухо сказано, что я привез воззвание с собою, а о происхождении его не говорилось. Это прибавлено. Так точно не упоминалось в нем и имени Шелгуновых. Но Шувалов и все его клевреты говорили, что я приехал вместе с ними, и что в Лондоне они должны были находиться вместе со мною. Надо было и на это ответить. Вообще, многое, что казалось мне самому потом совершенно излишним (когда мне прочли это показание перед судом), было вызвано назойливыми вопросами и придирками в III Отделении.

«Когда, повидимому, все было удовлетворительно, Шувалов, прослушав показание, сказал мне:

«— Вам, конечно, все это неприятно. Но, согласитесь сами, принявши единожды это место, не мог же я поступать иначе.

«Он сказал, что будет стараться и надеется, что меня не более как отправят куда-нибудь в отдаленную губернию на жительство.... Но может, конечно, случиться, что государь захочет меня предать суду».

Только после пространно написанного сознания Михайлов, по собственному его признанию, стал немного спокойнее и по ночам перестал метаться без сна. Чтение, однако, все-таки, плохо его развлекало, хотя, признав за собою всю вину, он пере-

стал уже тревожиться за спокойствие Шелгуновых. Тревога за себя была слишком ничтожна в сравнении с тою.

Привожу полностью это сознание.

«Понятное чувство самосохранения заставляло меня сначала стараться по возможности отклонить от себя хоть часть падавших на меня обвинений в привозе из-за границы и распространении здесь печатного воззвания «К молодому поколению»; но, видя тяжкое нравственное состояние г. Всеволода Костомарова, перехваченное письмо которого выдало меня, видя, как его мучит невозможность выгородить меня из этого несчастного дела, я считаю противным совести скрывать далее истину.

«Вот как было дело.

«Весною нынешнего года я отправился за границу, с единственною целью — отдохнуть хоть немного от постоянных усиленных литературных занятий. Я поехал с семейством Шелгуновых, с которыми жил в Петербурге вместе; но в Германии простился с ними и посетил уже один сначала Голландию, потом Англию. Здесь, в Лондоне, я виделся довольно часто с Герценом и Огаревым, с которыми давно уже знаком [1]).

«Однажды, в разговоре с ними по поводу цензурных стеснений, я выразил мысль, что смягчению их содействовало бы усиление тайной прессы в самой России. Разговор невольно перешел к возможности печатать за границей издания с обозначением на них, что они печатаны в Петербурге. Тогда Герцен предложил мне написать для опыта статью с этой целью.

«Так как в течение всей моей почти пятнадцатилетней литературной деятельности это был первый опыт написать что-либо политического содержания, то опыт вышел крайне неудачен,

---

[1]) 31-го октября, отвечая на вопросы сенаторов: «об'ясните, когда именно вы прибыли в Лондон, долго ли там пробыли, когда приступили к совещанию с Герценом насчет сочинения воззвания «К молодому поколению», когда написали черновой проект воззвания, когда получили отпечатанные листы и когда выбыли из Лондона?»—Михайлов написал: «В Лондон прибыл в июне месяце, пробыл там две недели с небольшим. С Герценом я говорил вскоре по приезде, но разговора этого, так как он не имел главною целью печатание сочинения «К молодому поколению», совещанием я назвать не могу. Черновой проект написан мною вскоре по приезде в Лондон, а отпечатанные листы я получил накануне от'езда».

и из нескольких страниц, набросанных мною, не осталось и половины в воззвании «К молодому поколению», — так что я не мог бы по совести никак выставить под ним своего имени, если бы оно, по содержанию своему, могло быть напечатано в России явно.

«Лист «К молодому поколению» тогда же был напечатан — сколько мне известно — в очень незначительном количестве экземпляров, но в каком именно, не знаю. Знаю лишь то, что я не мог и этого количества взять с собою вполне, как потому, что мне нельзя бы было провезти его на себе, не возбуждая подозрения в таможне, так — еще более — потому, что мне не было бы возможности распространить его без чьей - либо помощи, а я твердо решился не втягивать никого в это опасное дело. Таким образом, я взял с собою двести пятьдесят экземпляров.

«Срочные работы по изданию «Энциклопедического словаря», в коем я участвую, как один из редакторов, заставили меня вернуться в Россию ранее, чем я думал, и из Лондона я, почти не останавливаясь, проехал, чрез Париж и Штетин, в Петербург [1]).

«Тотчас же по приезде сюда я занялся приготовлением к распространению листа «К молодому поколению», не говоря о том никому ни слова. Лучшим средством казалось мне сначала отправить все по городской почте; но, так как я боялся обратить внимание необычным количеством писем и не мог бы разнести всего сам, не возбуждая подозрения, то этою мерой я решился воспользоваться только в самой незначительной степени.

---

[1]) 23-го октября на вопросы сенаторов: «в своей записке вы упоминаете, что из Лондона, где напечатано было воззвание, вы возвратились в Петербург через Париж и Штетин. Об'ясните, на каких именно таможнях вы подвергались досмотру, где вы скрывали, как во время путешествия за границей, так и по прибытии в Россию, тюк с 250 экземплярами воззвания, и каким образом досмотрщики пропустили беспрепятственно означенный тюк, а также, когда именно вы возвратились в Петербург?»—Михайлов отвечал»: «По возвращении из-за границы я был осмотрен на петербургской таможне; за границей я вез сверток с листом «К молодому поколению» просто в чемодане, а отправляясь из Штетина морем, надел на себя тюк, в котором были зашиты экземпляры, а незначительная часть их была у меня разложена по карманам. Заметить на мне ничего было нельзя, потому что одет я был с ловкостью; притом же осматривали только мои чемоданы, а меня не осматривали. Возвратился я в Петербург в средних числах июля месяца».

«Будучи совершенно один в доме, я мог очень удобно приготовить все к сентябрю, как было мною решено [1]. Небольшую долю экземпляров — сколько помню, никак не более тридцати пяти - шести — я разложил по одному в пакеты и сделал адресы, наудачу, по адрес - календарю, изменяя по возможности свой почерк и разнообразя его. Затем около двухсот экземпляров разложил в двадцать пакетов большего размера — по три, по пяти, по десяти и по пятнадцати на пакет (их лишь впоследствии надписал я карандашом) с тем, чтобы разнести их по редакциям разных журналов и по некоторым более или менее известным мне лицам, коих квартиры я знал.

«Мне хотелось сначала послать часть в Москву; но я не знал, как это сделать, не отправляя по почте. Случайный приезд в Петербург г. Костомарова дал мне мысль, что он мог бы отвезти туда какую - нибудь долю экземпляров. Я, вполне полагаясь на его скромность, решился предложить ему это. Он, однако, не согласился — и ни одного экземпляра от меня не взял.

«1-го сентября был у меня произведен полицейский обыск, во время которого сверток с воззванием лежал в печи в моем кабинете, под золой и ненужными рваными бумагами. Так как воззвание напечатано на весьма тонкой бумаге и было хорошо спрессовано, то спрятать его было не трудно. К печке было придвинуто кресло. После обыска я думал, было, сжечь все и, вероятно, сделал бы это, еслиб знал, что арестован Костомаров, единственный человек, слышавший от меня, что у меня есть экземпляры листа «К молодому поколению».

«На другой же день, вечером, я отправил по городской почте пакеты, ходя большею частью пешком и отдавая по два и по три в мелочных лавочках, где принимается городская корреспонденция. Это взяло у меня не особенно много времени [2]).

---

[1]) Решено это было еще в Лондоне, потому что Михайлов не рассчитывал вернуться в Петербург раньше конца августа. Поэтому и в прокламации, после заглавия, значилось: «напечатано без цензуры в Петербурге, в сентябре 1861 года». Между тем, он вернулся на месяц раньше.

[2]) Тогда марок еще не было; отправка писем производилась на почте и в мелочных лавках, где их принимали, оплачивали особым порядком и сдавали почте.

«Так же не много понадобилось мне времени и в два следующие вечера для развозки больших пакетов по разным редакциям и другим лицам. Так как адресы были у меня для разных частей города, то я соображался с местностью, чтобы не раз'езжать много. Где было можно, проходил пешком; но вообще ездил на извозчиках, всякий раз их меняя. Я громко звонил у дверей, клал пакет рядом на пол (или опускал в ящик для писем, где такие были) и быстро сходил с лестницы. Так как у меня за раскладкою в пакеты оставалось экземпляров двадцать или несколько более, то я, имея их при себе в кармане, разбросал их по два и по три на лестницах, уже не звоня. Я брал с собою по десяти пакетов в вечер. Чтобы отвлечь подозрение дома, я точно также подкинул пакет с несколькими экземплярами у своей квартиры, общей с квартирою г. Шелгунова.

«В провинцию не посылал я ни одного экземпляра; но по окончании распространения отправил четыре экземпляра в штемпельных кувертах по городской почте к некоторым из высших правительственных лиц [1]).

«Таким образом, все было кончено мною в первые четыре дня сентября: так именно советовал мне сделать Герцен, и так я обещал ему [2]).

---

[1]) На допросе сенаторами 23 октября Михайлов показал: «Четыре экземпляра были посланы мною к следующим правительственным лицам: начальнику III Отделения с. е. и. в. канцелярии графу Шувалову и министрам: Муравьеву, Валуеву и Путятину. Последнему с надписью на верху листа: «Плоды цензуры».— Муравьев был министром государственных имуществ, а Валуев — внутренних дел.

[2]) На допросе сенаторами 23 октября Михайлов так пояснил это место своей записки: «Я употребил неточное выражение: «обещая». Дело было просто в разговоре, а не в договоре, как повидимому, истолковываются мои слова. Не в первые четыре дня сентября рассчитывал я распространить листы «К молодому поколению», а вообще в начале сентября, так как только к этому времени думал прибыть в Петербург. Кто именно поправлял написанный мною проект сочинения «К молодому поколению», я не знаю, ибо поправок и дополнений в рукописи не видал; свою же рукопись я отдал Герцену, а напечатанные листы получил из типографии, от одного из находящихся при ней лиц, фамилии которого не знаю.

«14 сентября был у меня произведен новый обыск, и меня арестовали.

«Вот полное и чистосердечное признание мое во всем, касающемся привоза и распространения листов «К молодому поколению». Что сделано в Лондоне с остальными экземплярами, которых я не мог с собою взять: уничтожены ли они там, или после меня даны еще кому-нибудь для распространения, — я не знаю.

«Мне остается теперь об'яснить побуждения, которые заставили меня так действовать.

«При распространении листов «К молодому поколению» мною руководила, как я уже упоминал выше, мысль, что усиление тайного книгопечатания в России должно непременно иметь влияние на ослабление цензуры. Таким путем, — думал я, — начиналась свобода слова везде; а эта свобода составляет теперь всеобщее желание. Та горечь, то ожесточение, которые невольно проявляются в вещах, печатаемых тайно, которые проявились в листе «К молодому поколению» (хотя, повторяю, — в большей части независимо от меня), становятся уже невозможны, когда допущено свободное гласное обсуждение всех вопросов; но пока его нет, они нужны, как более сильное средство. В этом убеждении я думал, что распространение листа «К молодому поколению», даже и в таком малом количестве экземпляров, приблизит хотя немного возможность говорить в печати с большею свободой, чего, как писатель, я не могу не желать пламенно.

«Не скрою, что выйти из сферы моей обычной скромной деятельности заставили меня горькая боль сердца при вести о печальных случаях усмирения крестьян военною силой и опасения, что эти случаи могут долго еще повторяться в будущем. Невозможность прочного примирения враждебных партий и интересов без печатной гласности поддерживает во мне и теперь эти печальные опасения. Они тем сильнее, что в них участвует не одна моя мысль, но и самое сердце. Покойный отец мой происходил из крепостного состояния, и семейное предание глубоко запечатлело в моей памяти кровавые события, местом которых была его родина. По беспримерной несправедливости, село, где он родился, было в начале нынешнего столетия подвержено всем ужасам военного усмирения. Рассказы о них пугали меня еще в детстве. Гроза прошла не даром и над моими родными. Дед

мой был тоже жертвою несправедливости: он умер, не вынеся позора от назначенного ему незаслуженного телесного наказания. Такие воспоминания не истребляются из сердца.

«Я высказал все.

«Глубоко чувствуя всю свою виновность, вполне сознавая преступность моего образа действий перед лицом закона, я не могу ни надеяться, ни ждать от него пощады, или даже смягчения заслуженного мною наказания. Но милосердию государя не поставлено пределов, взывать к нему не воспрещено и закоснелым преступникам. Ему вверяю я свою участь с твердым упованием, что какое бы тяжкое наказание ни постигло меня, незлобивое и кроткое сердце государя не допустит, чтобы тень моих поступков отразилась на счастии и спокойствии непричастного к ним семейства, с которым я жил под одною кровлей [1]).

Отставной губернский секретарь Михаил Михайлов».

Внимательный читатель ясно видит, что в этом «чистосердечном» показании Михайлов, в сущности, не дал ничего больше показанного раньше и, надо отдать ему справедливость, искусно замел все следы дорогих ему соучастников: Шелгуновых, Михаэлиса и А. А. Серно-Соловьевича. Разумеется, Герцен имел к прокламации только чисто типографское отношение. Кстати замечу, что таких работ лондонская Вольная русская типография выполнила не очень много. Александр Иванович обмолвился о нем лишь несколькими словами, а именно, в декабрьском нумере «Колокола» за 1868 г. он писал: «Мы заклинали Михайлова не печатать своей прокламации, — на это есть живые свидетели».

30 сентября Долгоруков писал из Ливадии гр. Путятину, что, прочитав письмо к нему 30 литераторов, государь «изволил найти

---

[1]) На допросе 31 октября, на вопрос сенаторов, что это за семейство, и не получало ли оно от Михайлова содержания и пропитания, — он отвечал: «Семейство, о котором я говорил, состоит со мною только в отношениях хозяина квартиры к постояльцу, хотя я пользовался от него очень дорогим для меня вниманием. Это подполковник корпуса лесничих Шелгунов и жена его; у них есть маленький сын. Содержания и пропитания оно от меня не получало, — я только платил за квартиру, которую нанимал у них».

оное совершенно неуместным и потому высочайше повелел, если оно, действительно, подано вам было, как дошло до сведения его величества, камер-юнкером гр. Кушелевым-Безбородко, г. Громекою и г. Краевским, чтобы вы сделали сношение с подлежащими главными начальниками об исключении гр. К.-Безбородко из числа камер-юнкеров, увольнении г. Громеко от службы и выдержании г. Краевского на гауптвахте в течение недели; прочим же лицам, подписавшим письмо, чтобы вы сделали от имени государя императора строгий выговор». Письмо это послано было Шувалову для передачи Путятину. 7 октября Шувалов телеграфировал Долгорукову, что, обсудив дело, совет положил «просить разрешения немедленно предать Михайлова уголовному суду по указанию министра юстиции. Исход этого весьма желателен в опровежение слуха, что Михайлов у нас отравлен и похоронен без вскрытия». Тогда же он прибавил, что высоч. повеление, изложенное в письме к Путятину, получено; «дело это давно забыто, умы вообще успокаиваются, опасаюсь тяжкого впечатления, не будет ли разрешено приостановиться исполнением до личного об'яснения всех обстоятельств. Таково мнение и великого князя. Ожидаю ответа. 9 октября Долгоруков телеграфировал, что царь разрешил письмо Путятину не посылать, «предать Михайлова уголовному суду, возложив на министра юстиции самоскорейшее производство дела, так как преступление выходит из обыкновенных. Где полагается содержать Михайлова? Не лучше ли в крепости?»

11 октября товарищ министра юстиции Замятнин был уведомлен об этом гр. Шуваловым, сообщавшим, что, кроме дела по прокламации «К молодому поколению», Михайлов прикосновенен и к делу о распространении запрещенных сочинений, по которому учреждена особая комиссия под председательством Собещанского.

«Проводник» и один из авторов «судебных уставов» Замятнин нашел нужным для большей прочности обвинения Михайлова заручиться от него вторым документом, неопровержимо доказывавшим его виновность, а потому шефу жандармов было дано знать о желательности получения от арестованного всеподданнейшего прошения о помиловании. Чиновники III Отделения знали, что автор «К молодому поколению», каковым они имели основание

считать Михайлова, не напишет такого прошения, если не обмануть его, а потому ему сочинили, что для того, чтобы дело могло быть решено в административном, а не судебном порядке, Михайлову необходимо написать прошение на высочайшее имя, причем Горянский советовал изложить дело как можно короче, говоря, что резолюция на таком письме и решит дело окончательно. «Без этого письма, — утверждал лукавый шпион, — вам нельзя будет избежать суда, который может окончиться для вас плохо, а главное — суд не ограничится одними вами, а постарается притянуть и всех, кто только был с вами в дружеских отношениях».... Тот же совет о необходимости письма к государю повторил и статский генерал Кранц, правая рука гр. Шувалова, навещавший Михайлова в его заключении несколько раз. Он начал свое знакомство с ним почти теми же словами, как и Горянский: об'явил, что очень уважает его талант, но прибавил, что Михайлов сделал непростительную ошибку, состоявшую в том, что ... «государь совершенно одинакового с ним образа мыслей».

Утром 14 октября Кранц пришел к Михайлову и предложил ему написать это письмо немедленно же, говоря, что они ждут царя в III Отделении с часу на час.

«Как ни возмущалось все во мне против этого, но суд страшил меня тем, что к нему будет призван Костомаров, и его ответы запутают дело и бросят тень подозрения на кого-нибудь, кроме меня. Я после увидал, что в праве был этого бояться, если бы Костомарова III Отделение не выгородило из суда. Я постарался написать покороче, с строгим соблюдением казенных форм, и только подтвердил мотивы, которыми оправдывал распространение прокламации и в показании».

Вот это прошение:

«Ваше императорское величество! В отобранном от меня показании я принес полное и чистосердечное признание в привозе из-за границы и распространении здесь листа противозаконного содержания, под заглавием «К молодому поколению». Я об'яснил также и побуждения, заставившие меня решиться на такой поступок. Причины эти не могут служить мне ни оправданием, ни смягчением моей вины пред бесстрастным лицом за-

кона, и я, глубоко чувствуя виновность свою перед ним и преступность моего образа действий, дерзаю прибегнуть к беспредельному милосердию вашего и. в. Безропотно покоряясь участи, ожидающей меня, я считаю долгом повторить вновь, что при распространении листа «К молодому поколению» я не имел цели колебать общественное спокойствие, возбуждать страсть или разжигать вражду. Такое намерение противоречило бы всему моему характеру, в существе своем миролюбивому, противоречило бы и горячему желанию моему, чтобы все в нашей родине развивалось к лучшему спокойно, разумно и законно. Желая распространить лист «К молодому поколению», я имел в виду одно: мне казалось, что явление его ускорит законные меры к расширению в России свободы слова, которая, как я думал, могла бы лучше всего разрешить проявляющиеся теперь в русском обществе недоразумения, и была бы могучим средством для примирения враждебных партий и интересов, и самым крепким и прочным звеном, соединяющим выгоды и нужды народа с интересами и намерениями правительства. Прибегая к милосердию и правосудию в. и. в., я дерзаю умолять об одном: казня мой поступок, не осудите в нем, государь, всего человека и не лишите меня лучшей моей надежды посвятить современем мои скромные способности посильному служению действительной пользе отечества и этим хотя отчасти загладить мое преступление».

В 3 часа дня, когда письмо было уже написано, Кранц еще раз зашел к Михайлову, сказал, что он сейчас едет к гр. Шувалову, взял письмо в карман и тотчас же ушел. Не прошло и получаса, — рассказывает Михайлов, — как в камеру явился Горянский и об'явил ему о предании его, по высочайшему повелению, суду и о переводе его из III Отделения в Петропавловскую крепость... «Мы употребляли все старания, — прибавил Горянский, как бы оправдываясь, — чтобы дело обошлось тише и не так ужасно для вас, как оно, вероятно, кончится. Но в городе было слишком много толков и неудовольствия»...

Теперь совершенно понятно, почему 11 октября, именно в день, когда III Отделение уведомило Замятнина о предании Михайлова суду, была написана на имя Шувалова короткая вопросительная записка: «Следует ли об'явить Михайлову, что он предан суду?» Когда все было готово, т. е. получено от Михай-

лова всеподданнейшее прошение, Шувалов пометил на ней — «можно».

В тот же день, 14 октября, часов в 7 вечера, когда уже совершенно стемнело, была подана карета и Михайлов, в сопровождении капитана Зарубина, был перевезен в № 6 Невской куртины Петропавловской крепости. Всю дорогу от комендантской квартиры до куртины сопровождавший его делопроизводитель крепостной канцелярии разговаривал с ним, извинялся, что теперь нет помещения получше, все битком набито студентами, говорил, что в содержании заключенных сделаны кое-какие улучшения, что теперь дают утром и вечером чай, чего прежде не было, что с 1 ноября и в ночниках будет гореть деревянное масло. «Нельзя же в наше время, — об'яснял он, — держаться старых порядков»... Михайлова поместили в камере, где ранее помещалось больничное отделение с шестью кроватями. Стены были закоптелые, с приметами сырости; со свода висела бахромой паутина... Два полукруглых, довольно больших окна с мелким переплетом, закрашенные снаружи, белели в глубоких, темных амбразурах, будто занесенные снегом. В довольно широком простенке между окнами, изголовьем к стене, стояла деревянная койка. На ней лежал парусиновый мешок, скудно набитый соломой и прикрытый сверху грязной простыней. Наволочка подушки была такой же сомнительной чистоты. Около изголовья койки стоял небольшой стол с оловянной кружкой для воды и стул с глухим деревянным сиденьем. Все вещи, бывшие при Михайлове, были переписаны и отобраны, но книги оставлены.

III.

Как ни пасмурна и печальна была окружавшая его теперь обстановка, даже в сравнении с камерой III Отделения, у Михайлова на душе было, все-таки, легче.

При воспоминании о крепостном заключении Михайлову всего живее представлялись впоследствии тамошние ночи. Они длились особенно долго, потому что рассвет под низкими сводами каземата начинался поздно, — так, в исходе 10-го часа, а в 3 и даже в половине 3-го часа нельзя уже было читать даже близко к

окну. Да и эти четыре - пять часов светлого промежутка нельзя было назвать днем, потому что сквозь закрашенные стекла проникало только самое незначительное количество света. Порядок дня был заведен следующий. Поднимался с постели заключенный довольно рано, обыкновенно часа за два до света, и взамен ночника, обязательно горевшего в течение всей ночи, зажигал свечу, которая покупалась, разумеется, на собственные деньги. Часов около 9-ти, а иногда и позже, отворялась дверь каземата, и арестанту приносили воду для умывания и чай. Между чаем и обедом иногда заходил комендант крепости ген. Сорокин или плац-ад'ютант. Первый был сухой и мало - интересный формалист; заходя к Михайлову, он ограничивался только краткими вопросами о его здоровье и о том, всем ли он доволен. Посещения же доброго и любезного плац - ад'ютанта Кандаурова доставляли заключенному большое удовольствие. Часов около 2-х подавался обед, состоявший обыкновенно из двух блюд в пределах ассигновывавшихся 11 коп. в сутки. Вечером подавался почти такой же, как и обед, ужин. Так как, кроме собственных книг, бывших с ним, Михайлову давались для чтения и старые журналы, то почти целый день и часть ночи он проводил за чтением. Писать же по - прежнему у него не было охоты да и бумаги комендант выдал писателю всего один лист . . . Настроение заключенного в общем было, конечно, не из радужных, но особенную тоску почувствовал он в тот день, когда выпал первый снег. «Я отворил крохотную форточку, — пишет он, — и увидал, что комендантский двор с его голыми деревьями (только этот двор да окружавший его серый забор и видны были в эту форточку) побелели. Помню, мне живо представилась печальная и дальняя дорога, которой я, и действительно, не миновал . . .» В одну из прогулок Михайлов вышел вместе с плац - ад'ютантом за ворота крепости и долго смотрел на угрюмый и серый Петербург, видневшийся на другом берегу Невы, прямо против крепости . . .

По словам Шелгунова, Михайлову посылали массу книг, всякого с'естного, папирос, и «он во всю жизнь не ел столько рябчиков и всяких родов варенья», как тогда.

Как только заключенная в крепость после октябрьских беспорядков студенческая молодежь прослышала, что в Невскую куртину перевезен М. И., ему очень скоро был прислан следующий

привет, принадлежащий перу Ник. И. Утина, впоследствии эмигранта:

Узнику.

Из стен тюрьмы, из стен неволи
Мы братский шлем тебе привет.
Пусть облегчит в час злобной доли
Тебя он, наш родной поэт!

* * *

Проклятым гнетом самовластья
Нам не дано тебя обнять
И дань любви и дань участья
Тебе, учитель наш, воздать!

* * *

Но день придет, и на свободе
Мы про тебя расскажем все,
Расскажем в русском мы народе,
Как ты страдал из-за него.

* * *

Да, сеял доброе ты семя,
Вещал ты слово правды нам,
Верь — плод взойдет, и наше время
Отмстит сторицею врагам.

* * *

И разорвет позора цепи,
Сорвет с чела ярмо раба,
И призовет из снежной степи
Сынов народа и тебя.

Этот теплый и энергичный привет очень тронул Михайлова Он поспешил ответить своим соузникам:

Крепко, дружно вас в об'ятья
Всех бы, братья, заключил
И надежды, и проклятья
С вами-б, братья, разделил.

* * *

Но тупая сила злобы
Вон из братского кружка
Гонит в снежные сугробы,
В тьму и холод рудника.

* * *

Но и там, на зло гоненью,
Веру лучшую мою
В молодое поколенье
Свято в сердце сохраню.

* * *

В безотрадной мгле изгнанья
Твердо буду света ждать
И в душе одно желанье,
Как молитву, повторять:

* * *

Будь борьба успешней ваша,
Встреть в бою победа вас,
И минуй вас эта чаша,
Отравляющая нас!

«Спасибо вам за те слезы, которые вызвал у меня ваш братский привет. С кровью приходится отрывать от сердца все, что дорого, чем светла жизнь. Дай бог лучшего времени, хотя, может, мне и не суждено воротиться».

Заключение Михайлова порождало не мало всяких слухов и прежде всего убеждение, что его пытали и мучили. Так, в дневнике Марковой-Виноградской от 8 декабря 1861 г. находим: «У нас есть пытка! . . . Приготовляемого к допросу несколько дней томят бессонницей; лишь только он уснет, его будят, стучат; потом, когда он достаточно раздражен и ослаблен такой процедурой, его ведут изнеможенного к допросу . . . Так было, вероятно, с Михайловым!» [1]). То же самое указывал кн. П. В. Долгоруков в своем заграничном «Листке»: «Прошлой осенью Михайлову не давали спать: его каждые пять минут пробуждали вопросом: кто ваши сообщники?» [2]). Наконец, в начале октября в Петербурге появляется слух, что М. И. отравили в III Отделении. Информатор-агент освещает это полнее: «Вчерашнего числа, вечером, в клубах купеческом и немецком много толковали об участи литератора Михайлова. Говорили, что он умер

[1]) «Мин. Годы» 1908, X, 64.
[2]) 1862 г., № 1.

вследствие сильных приемов опиума, данных ему по приказанию гр. Шувалова, придумавшего этот новый образ пытки. Михайлову будто бы давали опиум в той надежде, что он, придя в беспамятство, выскажет какие нибудь тайны» [1].

Однако, «Записки» Михайлова категорически отрицают что-либо подобное.

Чтобы видеть, как общество реагировало на массовый арест студентов и на избиение их около университета 12 октября при благосклонном участии Преображенского полка, приведу три никому неизвестные рукописные прокламации.

Командиру Преображенского полка был отправлен один из нескольких рукописных листков в конверте, датированном почтой 23 октября 1861 года:

«Славные товарищи, спасшие от свободы Россию в 1825 году — привет вам! Вы остались те же, нет более — вы усовершенствовались!... вы пошли в штыки против невооруженной толпы, стоящей за глупое дело «образование»! Зачем нам образование? Нам нужны дисциплина, монархизм, мрак невежества; при таком порядке мы будем первые. Будем поддерживать власть, гнетущую народ, — она позволит нам угнетать других; тогда мы покажем, что значит русское войско.

«Вы первые все это поняли, вы без приказания пошли бить негодяев бунтовщиков, — первый полк русской армии, ты превзошел самого себя! Хвала вам, храбрые товарищи! Потомство сохранит в памяти день 12 октября. Да будут ослиные уши вечным украшением вашим, как эмблема упрямства, тупости и невежества, за которые вы хотели пролить верноподданническую кровь вашу. Да гнутся ваши холопские спины более и более перед кнутом кнут дающих божиею милостью Владыкой голштино-татарского племени.

«Советуем прочитать при собрании офицеров».

Вторая прокламация — в виде письма от 28 сентября 1861 г. из Петербурга в Берлин к прусскому королю:

«Ваше величество!

---

[1] «Рус. прошлое» II, 149—150.

«Университеты в России заперты, за такое дело следует всемирно наказать Россию, а потому покорнейше просим ваше Величество, силою оружия вместе с другими державами заставить русского Императора немедленно открыть все университеты и требовать отсечения головы того царского холопа, который первый подал мысль к закрытию университетов. Наш поверенный от лица всех нас русских подданных, студентов всех университетов России, отправился уже к вам для подробного об'яснения дела и ходатайства в вашей помощи и представится вместе с князем Петром Долгоруким.

От русских подданных русских студентов».

Наконец, на мосту, ведущем в Петропавловскую крепость, был поднят такой рукописный листок:

«Г.г. Патриоты, неужели вы попустите обижать своих соотечественников и не восстанете против такого притеснения, которое возлагает Правительство на всех защитников Отечества, которые способствовали освобождению крестьян, к улучшению быта солдат, к распространению просвещения и другим благодетельным учреждениям. Восстаньте людие, яко рыцари и покажите любовь свою к Отечеству и правде. Вы христиане и потому должны любить правду. Ступайте по следам Иисуса Христа.

Протоиерей».

IV.

17 октября общее собрание петербургских департаментов сената, заслушав предписание Замятнина от 13 октября, приказало I отделению 5-го департамента принять таковое к исполнению. Отделение это состояло из первоприсутствовавшего Г. П. Митусова и сенаторов: Н. М. Корнеева, К. Б. фон-Венцеля, А. П. Бутурлина, А. А. Волоцкого (был в отпуску) и М. М. Карниолин-Пинского, обер-прокурора Н. А. Буцковского, обер-секретаря Кузнецова и его помощника Орестова; доклад по делу был поручен секретарю Шишкину.

I отделение 5-го департамента имело тогда же первое свое собрание. Заслушав все бывшие к тому дню документы, оно определило: вытребовать Михайлова из крепости в здание сената на следующий день к 1 часу дня, под надлежащим караулом; собрать све-

дения о роли его в деле, переданном комиссии Собещанского, а также о прежней службе и поведении и навести справку о судимости.

18 октября Михайлов, под конвоем плац-ад'ютанта Панкратьева и двух жандармов, был доставлен в сенат в карете.

Он так описывает сенатский ареопаг: «По неподвижной важности лиц и поз они показались мне очень похожими на позолоченных бурханов. Особенно выдавались из них двое: Карниолин-Пинский, своею умною, но злобно-хитрою физиономией, с длинными, беспорядочно торчавшими на голове волосами, да еще Бутурлин, но этот, напротив, обличал лицом своим тупость и что-то закоснело-солдатское; у него была крашеная голова и крашеные усы на одутловатом, дряблом лице; глаза смотрели довольно свирепо. Низенький старичок Корнеев имел вид крайне добродушный — вот и все, что можно сказать про него. Венцель обратил на себя мое внимание особенно неподвижною и прямою посадкой: он сидел на своем кресле, будто верхом на лошади перед фронтом, и, вытянув длинную и тонкую свою шею, глядел на меня совсем бессмысленно своими серыми глазами. Председатель Митусов был лицо не совсем для меня незнакомое: я видел его на свадьбе доктора Матвеева, у которого он был посаженым отцом. Про его наружность сказать совсем уж нечего — чиновник, как чиновник. За отдельным столом у окна сидел обер-прокурор (Н. А. Буцковский), самое антипатичное для меня по наружности лицо, даже антипатичнее противной рожи обер-секретаря Кузнецова, хотя и гораздо красивее».

Прежде всего, Михайлову были прочитаны высочайшее повеление и определение общего собрания сената, затем сделано обычное в те времена «духовное увещание».

«Остановившись передо мною на том месте, где стоял до этого обер-секретарь, поп начал жиденьким голоском читать заученную, вероятно, заранее речь о важности присяги и ее нарушении, о необходимости раскрыть преступление во всех его подробностях, о неукрывании никого из сообщников (на это он особенно напирал); потом стал рассказывать бессвязно, дико и притом ни к селу, ни к городу какую-то притчу из евангелия о рыбарях и мрежах, решительно мне неизвестную».

Потом взята была подписка, что ни против сенаторов, ни против обер-прокурора и обер-секретаря Михайлов не имеет подозрений, и, наконец, прочтено уже известное его собственное подробное признание.

Когда Михайлов вполне подтвердил все раньше им написанное, ему были пред'явлены допросные пункты, на которые тогда же следовало дать письменные ответы.

Вот они:

«*Вопр.* Ваше имя, отчество, фамилия, лета, жительство, какой веры, бывали ли на исповеди и где именно, если находились на службе, то не имели ли на оной каких-либо отличных заслуг или пороков?

«*Отв.* Михаил Ларионов Михайлов, 32 лет, в Петербурге, по Екатерингофскому проспекту, в доме Валуева, вероисповедания православного, на исповеди был в последнее время в Петербурге, в церкви Вознесения; по службе не имел никаких отличных заслуг, ни пороков [1]).

«*Вопр.* Признаете ли вы пред'явленную вам при сем записку, с изложением об'яснений по вышеозначенному делу, за собственноручно вами написанную и подписанную?

«*Отв.* Признаю.

«*Вопр.* В записке сей вы пишете, между прочим, что из нескольких страниц, *набросанных вами,* не осталось и половины

[1]) Текст аттестата, данного из нижегородского соляного управления 21 августа 1852 г.: «служившему в штате губ. секретарю М. И. Михайлову в том, что он, как видно из формулярного о службе списка, происходит из дворян, 23 лет, православного исповедания, холост; в службу вступил после домашнего воспитания, в нижегородское соляное управление писцом 1 разряда 1848 г. февраля 18 дня; произведен в кол. регистраторы со старшинством с 18 февраля 1850 г., за болезнью столоначальника 2 стола; исправлял сию должность с 25 сент. по 15 ноября 1851 г. Имения у него никакого нет; в походах против неприятеля и в сражениях не был; аттестовался к продолжению службы способным и к повышению чинам достойным; в штрафах и под судом не был. В отпусках был: в 1850 г. на 28 дней и явился в срок и в 1852 г. с 4 февраля на 4 мес., но пробыв в сем отпуску только 2 мес. и 18 дней, вошел в соляное правление 22 апреля с прошением об увольнении его в отставку Высоч. приказом 26 июля 1852 г. уволен от службы с награждением чином губернского секретаря».

в воззвании «К молодому поколению». — Посему имеете об'яснить: что именно признаете вы в воззвании «К молодому поколению» принадлежащим собственно вам, и что участникам вашим — Герцену и Огареву? и если можете, то означьте это на пред'явленном вам экземпляре воззвания «К молодому поколению».

«*Отв.* Отчеркнутое в пред'явленном мне экземпляре признаю за писанное мною. Остального я не признаю, так как оно не согласно с рукописью, которая была дана мною для напечатания, и я получил воззвание уже напечатанным.

«*Вопр.* В записке сей вы пишете, что при распространении листов «К молодому поколению» вами руководила мысль, будто бы усиление тайного книгопечатания в России должно иметь влияние на ослабление цензуры, и таким путем, думали вы, начнется свобода слова, тогда как по естественному порядку вещей, в случае усиления тайного книгопечатания, должны были усилиться и меры цензуры и правительства против тайного книгопечатания. Не можете ли точнее об'яснить видимое противоречие такого мнения с существом дела?

«*Отв.* Мне казалось именно на основании исторических примеров, что попытки тайной печати, выказывая недовольство, заставляют для смягчения его постепенно уменьшать строгость цензуры и тем позволять высказываться более спокойно и умеренно.

«*Вопр.* Высказанная вами цель распространения воззвания «К молодому поколению» совершенно не согласна и с содержанием этого сочинения, которое очевидно было направлено к возбуждению неуважения к верховной власти, личным качествам государя и управлению его государством, к возбуждению явного неповиновения верховной власти, к оспариванию неприкосновенности прав ее, к порицанию установленного государственными законами образа правления, а также к возбуждению неуважения и противодействия властям, от правительства установленным, с разрушением всякого порядка, и внушению взаимновраждебных чувств между сословиями, с угрозою прибегнуть к кровопролитию. — Об'ясните откровенно и чистосердечно цель распространения вами воззвания «К молодому поколению».

«*Отв.* Цели, кроме вышеупомянутой о влиянии на ослабление

цензуры, у меня не было. С этим именно и означено было в заглавии: «печатано без цензуры». Что касается до выражений, особенно возмутительных, мне в воззвании не принадлежащих, я думал, что резкость их будет именно служить поводом к принятию законных мер для уменьшения строгости цензуры.

«*Вопр.* Не можете ли вы указать какие - либо обстоятельства, уменьшающие виновность вашу в столь тяжком преступлении, кроме впечатления, произведенного на вас в детстве усмирением крестьян, в числе коих находились ваши отец и дед, так как побуждение это слишком отдалено от настоящего события?

«*Отв.* Кроме причин, об'ясненных в моей записке, других не нахожу.

«*Вопр.* Когда именно вы познакомились с Герценом и Огаревым, поддерживали ли вы с ними связи, по выбытии их из России, и каким образом; не было ли других участников в вашем преступлении, и не сделали ли вы сами каких - либо других преступлений?

«*Отв.* В 1856 или 57 году; связей с ними никаких не имел, кроме посещения их во время поездок (двух) за границу; в преступлении моем других участников не было, и других преступлений я никаких не делал».

Отобрав все эти ответы, первоприсутствовавший Митусов распорядился об удалении обвиняемого в крепость. После ознакомления с допросом, решено было сделать повторный 23 октября.

21 октября Замятнин сообщил обер - прокурору Буцковскому о высоч. повелении рассматривать дело о прокламации «К молодому поколению» особо от дела, порученного комиссии Собещанского. 23 - го шеф жандармов уведомил министра юстиции о высоч. повелении иметь поданную ему Михайловым всеподданнейшую просьбу в виду при окончании дела о нем.

23-го же происходил и второй допрос.

Кроме тех вопросов, которые приведены мною выше в выносках к «чистосердечному признанию» Михайлова, ему были предложены еще и другие.

«*Вопр.* В ответах, отобранных от вас 18-го октября, вы повторили первоначальное ваше показание, что при составлении воззвания «К молодому поколению», вы имели единственною целью понудить правительство к смягчению строгости цензуры

и руководились при этом историческими примерами прекращения тайной печати посредством дарования большей свободы печати гласной. Но если такова была цель ваша, то для достижения ее казалось бы достаточным, чтобы несколько экземпляров дошло до правительства, для чего они и могли быть препровождены к правительственным лицам; а между тем из об'яснения вашего видно, что вы старались распространить воззвание между жителями всех частей г. С.-Петербурга и намеревались даже сделать то же самое и в Москве, а по окончании уже распространения воззвания отправили последние 4 экземпляра к высшим правительственным лицам. Разве вы не предвидели, что с распространением воззвания оно может произвести на народ то возмутительное действие, к которому было направлено; разве, принимая на себя распространение воззвания, имевшего преступную цель, вы не желали достигнуть этой цели; разве можно употреблять возмутительные средства без цели произвести возмущение? Подумайте, что только откровенное признание и раскаяние могут облегчить меру наказания виновному, и, не уклоняясь от вопроса, откройте чистосердечно ваши намерения.

«*Отв.* Единственною целью моей была именно та, которая указана мною в первоначальном показании. Отправить лишь несколько экземпляров к правительственным лицам казалось мне для этой цели недостаточным; я думал, что при большем распространении листа «К молодому поколению» правительство скорее обратит внимание на преобразование цензуры. Незначительное количество экземпляров сравнительно с числом жителей Петербурга казалось мне достаточным обеспечением, что оно (т. е. сочинение «К молодому поколению») не будет иметь того дурного влияния, которое можно бы от него ожидать. Цели, кроме указанной мною, повторяю, у меня не было. Что лист «К молодому поколению» может произвести дурное действие на народ — я это упустил из виду, думая только о своей исключительной цели — смягчении цензуры, да притом количество экземпляров, как я уже упоминал, было слишком для того ничтожно. Преступности содержания я не имел, повторяю, в виду.

«*Вопр.* Где вы воспитывались и когда окончили воспитание, когда поступили на службу и куда именно, откуда уволены от службы и где находится аттестат о вашей службе?

«*Отв.* Воспитывался дома и потом слушал приватно лекции в Петербургском университете очень непродолжительное время. На службу поступил приблизительно в 1848 г. в Нижегородское соляное правление, где, прослужив четыре года, вышел в отставку. Аттестат о моей службе, по которому я и проживал в Петербурге, находится, вероятно, или в III Отделении канцелярии его императорского величества, или по бывшему месту моего жительства, в соответствующем квартале».

Тогда же с Михайлова была взята подписка в том, что «во время производства допросов и суда пристрастия делаемо мне не было»... Разумеется, это было преждевременно — суд еще не кончился.

24 октября сенат был извещен генерал-губернатором графом Игнатьевым, что требуемого «повального обыска о поведении» Михайлова сделать нельзя, потому что в данное время в Петербурге нет ни одного лица, которое бы знало его; все, как нарочно, уехали, кто за границу, кто в другие города. Палата же уголовного суда представила, что Михайлов нигде не судился и не судится.

Приказано было прислать Михайлова в сенат к 11 часам утра 31 октября. На этот раз допрос состоял из мелочей, уже приведенных мною раньше в выносках к «признанию». Митусов спросил Михайлова, не ходил ли он в казармы к солдатам и не возбуждал ли их к неповиновению? Получив отрицательный ответ, первоприсутствующий спросил то же о крестьянах. Отвечая на последний из заданных вопросов, о семействе Шелгуновых, Михайлов прибавил в самом конце: «Покорнейше прошу правительствующий сенат при суждении обо мне обратить внимание на крайне слабое и болезненное мое состояние». Действительно, он страдал сердечными болями и, вообще, был болезнен.

Когда Михайлов и на этот раз был возвращен в крепость, Митусов составил «вопросы по делу об отставном губернском секретаре Михайлове, судимом за государственное преступление».

Из судейских ответов на них следовало:

«1. Воззвание «К молодому поколению», не направленное прямо против особы государя императора, имело целью возбудить бунт против верховной власти (ст. 283—286 Улож. о наказ.).

«2. Оно оказывается следствием предумышленного умысла для потрясения коренных, основных учреждений государства (ст. 283).

«3. Преступление Михайлова следует подвести под закон, смягчающий наказание, во внимание к тому, что злоумышление, своевременно открытое, не имело вредных последствий (ст. 284).

«4. Сознание Михайлова и указание на то, что в «К молодому поколению» он не все признает за свое, не может уменьшить меру наказания.

«5. Нельзя принять в уважение показание Михайлова, что при составлении прокламации он имел единственною целью ослабление цензуры.

«6. Следует назначить 12½ лет каторжных работ.

«7. Сообщить, кому следует, о передаче Михайловым Костомарову двух рукописей».

Это было одобрено, и в тот же день составлено подробное определение. Привожу его полностью.

«Отставной губернский секретарь, из дворян, Михаил Илларионов Михайлов, предан суду правительствующего сената, по высочайшему повелению, за распространение в Петербурге преступного сочинения под названием «К молодому поколению». В этом сочинении обращают на себя внимание особенною дерзостью и важностью злоумышления следующие предметы:

«1) превратное истолкование и порицание действий правительства в выражениях, составляющих оскорбление величества, с намерением возбудить неуважение к верховной власти, к личным качествам государя и к управлению его государством, и с намеками или угрозами ниспровергнуть правительство и императорскую власть, если государь не сделает добровольно уступок народу;

«2) возбуждение свойственных будто бы России социальных стремлений, для осуществления которых народная партия, по словам воззвания, не желает аристократизма Европы, ее государственного начала и ее императорской власти и не только смело идет навстречу революции, но даже желает ее;

«3) внушение презрения и ненависти к служебной и природной аристократии, и ко всему дворянскому сословию, и к так называемой дворянской партии, представленной скудоумною, своекорыстною и враждебною народу, с намеками, что жалеть эту партию нечего, как не жалеют вредные растения при расчистке огорода, что страна ничего не потеряла бы, еслибы погибла вся

аристократия, еслибы для раздела земли между народом пришлось вырезать 100.000 помещиков;

«4) наставление, как надлежит обольщать народ и войско об'яснением им, что русская императорская власть происходит не от бога, а от духа тьмы; что у народа и войска есть доброжелатели, которые желали бы улучшить их быт, но что помехой всему царь и его министры; что войско должно быть не царскою, а народною стражей и потому не должно итти против народа; что у военных офицеров недостает любви к отечеству и гражданского мужества, и, что если у них нет столько силы, чтобы не итти против народа, то пусть первый залп, который им велят сделать в своих, сделают они в тех, кто им велит его сделать;

«5) из'явление желания совершенного изменения основных законов русской империи с тем, чтобы верховная власть была выборная и ограниченная, чтобы дано было развитие началу самоуправления народа, чтобы не существовало привилегированных сословий, а были бы все уравнены перед законом, и чтобы земля принадлежала не лицам, а стране;

«6) заключительное обращение к молодому поколению с увещанием, что довольно корчить либералов, что наступила пора действовать, что надо говорить чаще с народом и с солдатами; что если каждый убедит только 10 человек, то дело в один год подвинется далеко; что надо составлять кружки единомыслящих людей, увеличивать число кружков и искать вожаков, способных и готовых на все, дабы они могли повести на великое дело, а если нужно, то на славную смерть за спасение отчизны.

«В распространении этого преступного сочинения губернский секретарь Михайлов сознался еще до предания его суду, не желая, как он об'яснил, затруднять то лицо, по письму которого пало подозрение на него, Михайлова, и считая противным совести скрывать далее истину. На допросах в III Отделении с. е. и. в канцелярии и в правительствующем сенате подсудимый Михайлов показал, что воззвание «К молодому поколению» было первоначально сочинено им, по совету изгнанника Герцена, которому был вручен и черновой воззванию проект, но затем в напечатанных в Лондоне листках остались только те мысли его, Михайлова, которые относятся к социальным стремлениям России, а все прочее было изменено, кем именно, ему, Михайлову, неизвестно.

При этом Михайлов об'яснил, что при распространении воззвания «К молодому поколению он действовал, как литератор, единственно в видах побуждения правительства к смягчению строгости цензуры, руководствуясь историческими примерами, показывающими, что тайная печать везде была устраняема посредством дарования большей свободы печати гласной, с какою целью им и отправлено было несколько экземпляров воззвания к высшим правительственным лицам, но он вовсе не представлял себе вредных последствий своего поступка, тем более, что число экземпляров, им распространенных, весьма незначительно в сравнении с народонаселением С.-Петербурга. В заключение своих ответов Михайлов просит при суждении о нем обратить внимание на крайне слабое и болезненное его состояние.

«Рассматривая настоящее дело в таком виде, правительствующий сенат признает необходимым для определения по законам как рода и степени преступления подсудимого Михайлова, так и значения сделанных им показаний, обратиться к постановлениям нашего законодательства о государственных преступлениях.

«Вникая в смысл этих постановлений, правительствующий сенат находит, что в посягательстве на права верховной власти есть два вида преступлений, имеющие много общего, но остающиеся тем не менее различными по цели злого умысла. Эти два вида государственных преступлений суть следующие: 1. Злоумышление против жизни, здравия или чести государя императора и всякий умысел свергнуть его с престола, лишить свободы и власти верховной, или же ограничить права оной, или учинить священной особе его какое - либо насилие (св. 1857 г. т. XV Улож. о наказ. ст. 275). 2. Злоумышление на бунт против власти верховной, т. е. на восстание скопом и заговором против государя и государства, а равно на ниспровержение правительства, перемену образа правления или установленного законами порядка наследия престола (Улож. о наказ. ст. 283). Хотя эти два вида государственных преступлений сходятся между собою там, где злоумышление направлено в одном из них к лишению государя верховной власти или к ограничению прав ее, а в другом — к ниспровержению правительства или к перемене образа правления, но и в этих точках соприкосновения посягательство на права верховной власти в обоих видах различно, а различие это явствует

из самого названия глав, из коих состоит раздел о преступлениях государственных: в главе первой, *о преступлениях против священной особы государя императора и членов императорского дома,* злоумышление направлено прямо и непосредственно против верховных прав государя императора, с посягательством или без посягательства на личную безопасность или свободу его священной особы, а в главе второй, отделении первом, *о бунте против власти верховной,* злоумышление направлено преимущественно к ниспровержению государственного устройства и правительства вообще. Так как в государстве самодержавном император есть полный представитель государства, и в лице его сосредоточивается всецело верховная власть, то всякое прямое посягательство на личную безопасность, свободу или права его священной особы есть высшее из государственных преступлений, подвергающее виновного лишению всех прав состояния и смертной казни, независимо от степени развития злого умысла, хотя бы о преступном предположении этого рода было сделано только словесное или письменное из'явление мыслей (Улож. о наказ. ст. 276). Но в посягательстве на бунт против верховной власти, с целью ниспровергнуть государственное устройство и правительство вообще, закон принимает в соображение и степень развития злого умысла и, определяя лишение всех прав состояния и смертную казнь за преступление этого рода, уже приведенное в исполнение, или за непосредственное покушение к совершению его, смягчает наказание в тех случаях, когда приготовления к преступлению были заблаговременно остановлены правительством, и, вследствие того, ни покушений, ни смятений и никаких иных вредных последствий не произошло. В сих случаях виновные наказываются лишением всех прав состояния и ссылкою в каторжную работу или в рудниках на время от 12 до 15 лет, или в крепостях на время от 10 до 12 лет, смотря по большей или меньшей важности преступного их умысла, большему или меньшему в оном участию и по другим увеличивающим и уменьшающим вину их обстоятельствам (Улож. о наказ. ст. 283 и 284). Равномерно и в низших степенях виновности в том и другом из означенных двух видов государственных преступлений злоумышление против государя подвергается более строгому наказанию, чем соответствующее злоумышление против установленного в государстве порядка. Таким образом, изобли-

ченные в составлении и распространении письменных или печатных сочинений или изображений, с целью возбудить неуважение к верховной власти или же к личным качествам государя, или к управлению его государством, приговариваются, как оскорбители величества, к лишению всех прав состояния и к ссылке в каторжную работу в крепостях на время от 10 до 12 лет (Улож. о наказ. ст. 279). Между тем, соответствующая степень во втором виде государственных преступлений, а именно составление и распространение письменных или печатных об'явлений, воззваний или сочинений или изображений, с целью возбудить к бунту или явному неповиновению власти верховной, подвергает менее строгому наказанию: лишению всех прав состояния и ссылке в каторжную работу в крепостях на время от 8 до 10 лет (Улож. о наказ. ст. 285).

«Руководствуясь этими узаконениями, правительствующий сенат не может не принять во внимание, что, хотя в преступном воззвании «К молодому поколению» превратное толкование и порицание действий правительства и дерзкие оскорбления величества клонились к тому, чтобы возбудить неуважение к верховной власти, к личным качествам государя и к управлению его государством, и хотя в воззвании этом есть намеки или угрозы низложить правительство, если государь не сделает добровольно уступок народу, но при том не обнаруживается положительного умысла насчет личной безопасности и свободы государя императора, ни какой-либо установившейся мысли, прямо и непосредственно направленной к лишению его величества верховной власти или ограничению оной, а видны преимущественно революционные стремления достигнуть каким бы то ни было путем, не исключая и кровопролитного пути бунта, преобразований в государственном устройстве. Поэтому действия распространителя преступного воззвания ближе подходят под закон о бунте против верховной власти, об'емлющий и умысел ниспровергнуть правительство или переменить образ правления, при чем, однако, должно быть принято в соображение и усугубляющее вину преступника употребление в воззвании суждений и выражений, оскорбляющих величество. В таком мнении правительствующий сенат убедился еще и тем соображением, что, как по общему правилу уголовного судопроизводства, гласящему: чем более

тяжко обвинение, тем сильнее должны быть доказательства (Зак. угол. суд. ст. 310), так и по исключительному положению настоящего дела, в котором многие обстоятельства не приведены в ясность за невозможностью исследования на месте, где преступление было умышленно между Михайловым и его сообщниками и где преступное воззвание было сочинено и напечатано, неосторожно было бы признать Михайлова виновным в тягчайшем из государственных преступлений, подвергающем во всяком случае смертной казни — в прямом посягательстве на священную особу государя императора — без сознания подсудимого в умысле на такое злодеяние, по одному распространенному им воззванию, в котором он не признает своим сочинением намеков и угроз, относящихся к лицу государя императора. Но за тем виновность Михайлова в злоумышлении на бунт против верховной власти не подлежит сомнению, и злоумышление это представляется преступлением первостепенной важности. Действительно, распространение воззвания «К молодому поколению» не было внезапным революционным стремлением. По показанию Михайлова, воззвание это сочинено в бытность его в июне сего года в Лондоне, откуда он возвратился в Петербург в половине июля месяца, а к распространению воззвания, напечатанного в Лондоне и провезенного им скрытно через таможню, приступил он в начале сентября; из собственного же его показания видно, что еще в начале весны нынешнего года в руках его, Михайлова, были проекты воззвания к крестьянам и солдатам, переданные им отставному корнету Костомарову. Обстоятельства эти представляют распространение воззвания «К молодому поколению» преступлением заранее обдуманным, а самое содержание этого преступного сочинения показывает, что оно было не каким-либо случайным подстрекательством к неповиновению верховной власти, но следствием злоумышления, направленного к потрясению коренных или основных учреждений государства, для чего средствами должны были служить, с одной стороны, обольщение народа и солдат, а с другой — возбуждение неуважения к верховной власти, ко всем правительственным властям и к высшему сословию в государстве, со внушением при том, что страна не потеряла бы ничего, если бы пришлось вырезать 100.000 помещиков. Поэтому, очевидно,

что злоумышление в таких ужасающих размерах может обнять только тот закон, который заключает в себе определение бунта первостепенной важности (Улож. о наказ. ст. 283). Но так как распространение воззвания «К молодому поколению» не сопровождалось каким-либо другим более непосредственным покушением на бунт и не произвело ни народных смятений, ни иных беспорядков, то настоящий случай должен быть отнесен к числу тех посягательств на бунт, в коих злоумышление, заблаговременно открытое правительством, не имело вредных последствий (Улож. о наказ. ст. 284).

«Обращаясь засим к обсуждению об'яснений Михайлова, правительствующий сенат находит, что, за собственным сознанием подсудимого в принятии участия в составлении воззвания «К молодому поколению» и в распространении одним его лицом сего преступного сочинения в напечатанных листах, выказываемое им обстоятельство, что черновой проект воззвания, врученный им изгнаннику Герцену, был кем-то изменен, с оставлением только тех его, Михайлова, мыслей, которые относятся к социальным стремлениям России, не может иметь никакого влияния на определение виновности его, Михайлова, в том, в чем направление и цель воззвания очевидны. Если бы даже все воззвание было составлено другим лицом, то и в таком случае Михайлов, как принявший на себя распространение сего преступного сочинения, в чем и заключалось главное зло, представлялся бы главным виновным. Нельзя также принять в уважение показания Михайлова, что при распространении воззвания «К молодому поколению» он имел единственною целью побудить правительство к смягчению строгости цензуры, для устранения тайной печати посредством дарования большей свободы печати гласной, и не представлял будто бы себе, какое влияние может иметь преступное воззвание на умы читателей. Действия Михайлова в этом отношении говорят сами за себя. Очень может быть, что самые дерзкие суждения, намерения и желания не принадлежать лично Михайлову, признающему своим сочинением только одну часть воззвания, относящуюся к социальным стремлениям России, но ни в каком случае нельзя допустить, чтобы он, пользуясь здравым рассудком и свободною волею, мог употреблять возмутительные средства без цели произвести возмущение, почему одно рас-

пространение им возмутительного сочинения обнаруживает в действиях его революционную цель, которая выражается и в сочиненной им части воззвания, где также призывается революция, как желанное событие. Притом, по закону, если по обстоятельствам, сопровождавшим деяние подсудимого, он мог и должен был предвидеть, что последствием оного должно быть не одно, а несколько преступлений разной важности, то, хотя бы он и не имел положительного намерения совершить именно важнейшее из сих преступлений, мера его наказания определяется всегда по сему важнейшему из преступлений, долженствующих быть последствием его деяния (Улож. о наказ. ст. 120).

«Из всего вышеизложенного следует, что подсудимый Михайлов оказывается виновным в злоумышленном распространении, а отчасти и в самом составлении сочинения, направленного к возбуждению бунта против верховной власти, для потрясения основных учреждений государства, но что ответственность его в этом злоумышлении облегчается тем, что оно было открыто заблаговременно, при самом оного начале, и потому не имело вредных последствий. По закону, в подобных случаях, виновные, вместо смертной казни, определенной за преступления этого рода, сопровождавшиеся вредными последствиями, приговариваются к лишению всех прав состояния и к ссылке в каторжную работу или в рудниках на время от 12 до 15 лет, или в крепостях на время от 10 лет до 12, смотря по большей или меньшей важности преступного их умысла, большему или меньшему в оном участию и по другим увеличивающим или уменьшающим вину их обстоятельствам (Улож. о наказ. ст. 284). Как по важности злоумышления, имевшего обширные размеры, так и по тому, что преступное воззвание заключает в себе явные оскорбления величества и другие самые злостные средства к возбуждению бунта, подсудимому Михайлову должно быть определено строжайшее из вышеозначенных наказаний; но во внимание к добровольному сознанию Михайлова прежде предания его суду, наказание это может быть назначено в мере, близкой к низшей.

«На сих основаниях правительствующий сенат полагает: отставного губернского секретаря из дворян Михаила Илларионова Михайлова, 32 лет, за распространение злоумышленного сочинения, в составлении коего он принимал участие, и которое

имело целью возбудить бунт против верховной власти, для потрясения основных учреждений государства, но осталось без последствий, не подвергая смертной казни, определенной за преступления этого рода, сопровождавшиеся вредными последствиями, лишить всех прав состояния и сослать в каторжную работу в рудниках на 12 лет и 6 месяцев, а по прекращении сих работ, за истечением срока или по другим причинам, поселить в Сибири навсегда; но предварительно исполнения сего приговора внести оный на высочайшее усмотрение чрез государственный совет, на каковой конец и передать подлинное определение сената в министерство юстиции установленным порядком (Зак. суд. угол. ст. 452, 457, 458 и 617). Вместе с сим предоставить тому же министерству передать к производящемуся о распространении запрещенных сочинений следствию показание Михайлова о бывших в руках его рукописных сочинениях «К солдатам» и «К крестьянам», переданных им отставному корнету Всеволоду Костомарову: одно лично, а другое через студента Сороко».

12 ноября министр юстиции дал разрешение обер-прокурору Буцковскому на пропуск этого определения; на следующий день оно было скреплено всеми слушавшими дело сенаторами и послано по назначению.

21 ноября департамент гражданских и духовных дел государственного совета, рассмотрев сенатское определение и всеподданнейшую просьбу Михайлова о помиловании, нашел, что определение сената вполне правильно, а просьба подсудимого не заключает в себе никаких обстоятельств, которые могли бы служить основанием к ходатайству о смягчении следуемого ему по закону наказания, и мнением положил: «утвердить по настоящему делу заключение правительствующего сената и вследствие сего отставного губернского секретаря Михаила Михайлова, на основании приведенных в том заключении законов, лишив всех прав состояния, сослать в каторжную работу в рудниках на 12 лет и шесть месяцев». 23 ноября царь положил резолюцию: «Срок каторжной работы ограничиваю шестью годами, а в прочем быть по сему».

5 декабря общее собрание петербургских департаментов сената слушало список высочайше утвержденного мнения государственного совета и приказало передать его в I отделение 5 депар-

тамента. Последнее в тот же день предписало генерал-губернатору доставить Михайлова в сенат к 1 часу дня 7 декабря для об'явления ему приговора.

Достойно замечания, что собрание сената в этот день происходило публично, при открытых дверях; в зал допускались, конечно, по билетам, и бюрократический beau monde спешил поглядеть на интересное зрелище: невиданный преступник, автор той прокламации, которая ничего не имела против смерти всего высшего чиновничества, придворных и пр. тунеядствовавших элементов. Молодежь, студенты и обыкновенная публика удовольствовались Галерной (Красной) улицей и площадью и там, несмотря на меры, принятые полицией, ждали привоза и отвоза подсудимого.

По словам самого Михайлова, весть о назначенном ему наказании, разумеется, огорчила его, — «но не столько, сколько огорчило бы меня помилование, если бы оно последовало вследствие моей глупой выходки, беспокоящей меня и до сих пор». «Мнение государственного совета зашевелило во мне злобу на себя, и я рад был только тому, что и сам государственный совет понял, повидимому, всю неискренность моего обращения к государю и не принял его во внимание».

Молодежь кричала уезжавшему обратно в крепость каторжанину: «Прощайте, Михаил Ларионович!».

Но отправление в Сибирь не было совершено быстро. Михайлову еще предстояло играть роль в жалкой комедии публичного об'явления его преступления и постигшего за то наказания.

Как только он вернулся в занимаемую им с половины ноября комнату в главной крепостной гауптвахте (она была гораздо комфортабельнее, чем каземат куртины, откуда его перевели, чтобы удалить от студентов), к нему явился комендант и привез попа Михаила Архангельского. Прочитав незадолго перед тем закон и узнав, что поп, в случае отказа от скорой исповеди, обязан «усовещевать» его две недели, — и боясь выехать из Петербурга позже Шелгуновых, которые уже не могли долго оставаться в столице, Михаил Илларионович решил покорно отбыть исповедную повинность. Поп и сам был очень рад, что все разрешалось так хорошо, и сразу же начал подготовку к исповеди. «Мы говорили о всякой всячине, — вспоминает Михайлов, — но он

не раз возвращался в разговоре к моей судьбе и все старался изобразить яркими красками те ужасы, которые ожидают меня, если я буду столь неблагоразумен, что решусь на побег». О побеге Михайлов слышал и не только от попа и потому понял, что это был очередной городской слух.

12 декабря его позвали в крепостную церковь, исповедали, отслужили специально для него целую обедню и, таким образом, напутствовали на новую жизнь.

На исповеди Архангельский спрашивал, не сговаривался ли Михайлов с кем о побеге. По окончании обедни, комендант крепости пригласил Михайлова к себе в кабинет и угостил горячим чаем с ромом. В тот же день, перед сумерками, приехал генерал-губернатор князь Суворов. Он сообщил М. И., что в скором времени ему позволено будет видеться с друзьями, которых генерал назвал всех поименно. Пообещав осужденному всевозможные удобства в предстоявшей ему далекой дороге, Суворов выразил при этом свое сожаление, что не может спасти Михайлова от кандалов, в которых, вопреки явному смыслу закона, тот и был отправлен в Сибирь.

Ранним утром 14 декабря в карцер вошли палач с ножницами и бритвой, кузнец с кандалами и два плац-ад'ютанта. Михаила Илларионовича обрили по-арестантски и заковали в кандалы [1]). Затем, посадив его на особую «позорную» колесницу, спиною к кучеру, в серой арестантской шинели и шапке, повезли на Сытную площадь (на Петербургской стороне). Там на специально для этого построенном эшафоте была разыграна позорная комедия. При барабанном бое военного наряда Михайлова поставили на колени и, после прочтения приговора особым чиновником, палач переломил над его головой заранее подпиленную шпагу.

---

[1]) Момент заковки и стрижки изображен художником (имени которого мы, к сожалению, не знаем) очень верно. Михайлов поразительно похож. Офицер, сидящий слева, — плац-ад'ютант, штабс-капитан И. Ѳ. Пинкорнелли, не мало способствовавший переписке заключенных между собою и с «волей» и называемый Михайловым «добрым и милым», а стоящий — подпоручик Ф. Ф. Руссов.

Присутствовавший в немногочисленной толпе агент III Отделения так описал происшедшее: «Об'явление приговора кончено благополучно. Народу было очень мало — человек до 200, не более, и все простой народ. Читали не очень громко, так что большинство даже не знает, как фамилия преступника. Студентов положительно никого. Человека три - четыре чиновника. До приезда Михайлова в толпе говорили, что казнят какого - то генерала, но за что — неизвестно. После прочтения же некоторые, не понявшие указа, болтали, что он хотел *сменить* государя и всех министров — настоящего же почти никто не слыхал. Он был очень покоен, но бледен и во все время не произнес ни слова. Его привезли в наемной карете под прикрытием трех взводов казаков; таким же образом увезли обратно в крепость рысью. Палач, ломая шпагу, не коснулся нисколько его головы. Арестантскую куртку ему одели на его платье. По окончании толпа тотчас разошлась; часть побежала за ним, но далеко от всего кортежа отстала. Ни Шелгунова, ни других лиц, нами подозреваемых и мною виденных на похоронах Добролюбова, положительно не было. Были при этом обер - полицмейстер и комендант. Это происходило на Сытной площади, окруженной жильем торговцев и большею частью рабочих, которые и собрались; до остальных же жителей Петербургской стороны весть об этом дойдет позже; с городской стороны тоже не видать было, чтобы кто - нибудь туда приехал» [1]).

По возвращении в крепость, Михайлову дано было свидание с Шелгуновыми, Я. П. Полонским, А. Н. Пыпиным, Пекарским, Н. А. Некрасовым, Н. Г. Чернышевским, А. А. Серно - Соловьевичем и Н. В. Гербелем. Вечером в тот же день его отправили в Шлиссельбург; в ночь с 14 на 15 декабря, через несколько часов его отправили дальше уже просто под конвоем двух жандармов на Москву, Ярославль, Кострому, Вятку и т. д.

Из позднейших рассказов своих голубых провожатых Михайлов узнал, что администрация была уверена, что волнения в университете — дело его рук, и что на первой же станции, Ижора, его отобьют человек двадцать студентов. Поэтому, во избежание могущих произойти осложнений, его не посадили в собствен-

---

[1]) «Русское прошлое», II, 152.

ный возок, а запрятали туда двух жандармов, причем на одного из них надели арестантскую шапку. . . Затем за Ижорой комедия эта была кончена, и Михайлов поехал в сравнительном комфорте, добытом деньгами. Последние, кстати сказать, были зашиты ему друзьями в подкладку шапки и куртки.

О деле Михайлова подлое правительство не опубликовало решительно никаких сведений. Только в «Ведомостях С.-Петербургской Городской Полиции» от 14 декабря 1861 г. было помещено сообщение, что в этот день «в 8 ч. утра назначено публичное об'явление на площади перед Сытным рынком, что в Петербургской части, отставному губернскому секретарю Мих. Михайлову высочайше утвержденного мнения государственного совета». Далее на 6 — 7 строках говорилось о преступлении Михайлова и какое наказание ему за это назначено. Разумеется, когда газета была получена, «казнь» была уже окончена, а потому народу было очень мало. Правительство не считалось даже с тем, что 14-ое декабря было днем декабрьского бунта 1825 г.

Герцен и Огарев напутствовали М. И. из своего лондонского далека. Второй из них проводил симпатичным стихотворением «Михайлову», из которого приведу отрывки:

«Ты эта жертва. За тобой
Сомкнется грозно юный строй,
Не побоится палачей,
Ни тюрьм, ни ссылок, ни смертей.
Твой подвиг даром не пропал —
Он чары страха разорвал;
Иди-ж на каторгу бодрей,
Ты дело сделал — не жалей.

Закован в железы с тяжелою цепью,
Идешь ты, изгнанник, в холодную даль,
Идешь бесконечною, снежною степью,
Идешь в рудокопы, на труд и печаль.
Иди без унынья, иди без роптанья:
Твой подвиг прекрасен и святы страданья.

И верь неослабно, мой мученик ссыльный,
Иной рудокоп не исчез, не потух —

Незримый, но слышный, повсюдный, всесильный
Народной свободы таинственный дух.
Иди без унынья, иди без роптанья:
Твой подвиг прекрасен и святы страданья.

(«Колокол» № 119—120).

А с невских берегов, в мае 1862 года, Михайлову было послано бодрое слово знаменитого потом эмигранта П. Л. Лаврова:

С Балтийского моря на дальний Восток
Летит буйный ветер свободно;
Несет он на крыльях пустынный песок, —
Несет вздох тоски всенародной...
Несет он привет от печальных друзей
Далекому, милому другу...
Несет он зародыши грозных идей
От Запада, Севера, Юга...
И шепчет: «Я слышал, в полях, городах
Уж ходит тревожное слово;
Бледнеют безумцы в роскошных дворцах...
Грядущее дело готово.
Над русской землею краснеет заря;
Заблещет светило свободы...
И скоро уж спросят отчет у царя
Покорные прежде народы...
На празднике том уж готовят тебе
Друзья твои славное дело,
Торопят друг друга к великой борьбе
И ждут, чтоб мгновенье приспело...
И шлют издалека сердечный привет,
Надежду, тоску ожиданья...
И твердую веру: свобода придет —
И скоро... Борец, до свиданья! [1])

Оно ходило по рукам одновременно с другим стихотворением, которое выписываю из тетради, взятой на обыске у П. Н. Ткачева 17 ноября 1862 г.

14 декабря 1861.

Памяти Михайлова.

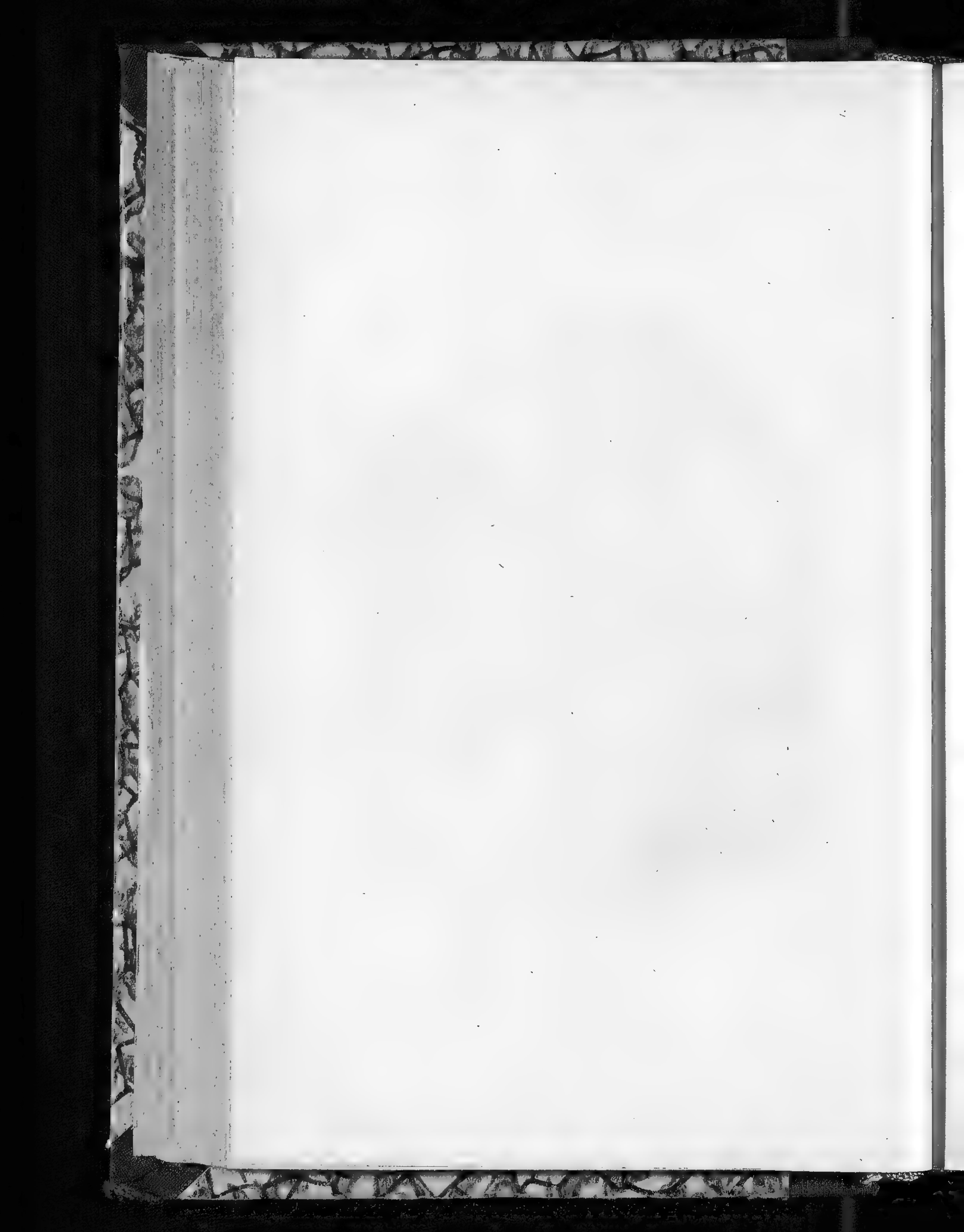
Еще одним их меньше стало,
Убыл еще из их кружка!..
На этот раз судьба избрала
Свободы лучшего бойца.

---

[1]) «Былое», 1906 г., № 5.



Заковка.



Закинутый в краю далеком,
И там окованный, в цепях,
Быть может, сгибнет одиноко
В сырых и мрачных рудниках!
За что?.. За то-ль, что он свободно
Восстал за угнетенных кровь,
Что отозвался благородно
На стоны страждущих рабов?
За то-ль, что был он «человеком»
Среди рабов и палачей,
Смеющихся над нашим веком
И пляшущих под звук цепей!
За то-ль, что вопль меньших братий
В нем сердце кровью обливал,
И что невольные проклятья
За них тиранам посылал!

Какая радость, ликованье!
Закон продажный «подведен»,
На муки, на изгнанье
Несчастный брат наш осужден!
У нас, как прежде у евреев,
Свели Спасителя к кресту,
Что обличал он фарисеев,—
Ведут к позорному столбу
Для площадного поруганья
Подкупленных продажных слуг
Того, кто «сильных» за тиранья
Смел обличать свободно, вслух.

Лишь только слово искушенья
Коснется чутких их ушей,
Кричат тираны в исступленьи:
«В Сибирь его, оков, цепей!»
Но не умрет живое слово,
Его цепями не сковать!
Оно воскреснет снова
И будет снова волновать
Рабов желанием свободы.
Его услышат с рудников
И встанут мощные народы
И отомстят за эту кровь!

1861 г., 18 декабря.

---

31 декабря Михайлов прибыл в Тобольск в распоряжение тамошнего приказа о ссыльных.

На этом я и закончил бы, еслиб в дальнейшем не возник очень характерный для того времени процесс «о послаблениях, оказанных начальствующими лицами города Тобольска государственным преступникам Михайлову, Обручеву и другим».

Как только Михайлов перебрался через Уральский хребет, он был не мало удивлен оказывавшимся ему вниманием и сочувствием. Его встречали очень тепло и радушно, оказывали всяческое снисхождение, не исключая даже и начальства, ведавшего его маршрутом и самым порядком следования. В Тобольске Михайлов прожил целый месяц.

Там из приказа о ссыльных его отвезли в тюремный замок и поместили в камеру с двумя какими-то подсудимыми. К вечеру, по распоряжению полицмейстера, его уже перевели в так называвшееся «дворянское отделение». Через несколько минут его посетили вице-губернатор Соколов, учитель словесности в местной гимназии и два доктора. На другой день, 1 января 1862 г., полицмейстер приказал снять с М. И. кандалы, очень мучившие его в течение восемнадцати дней.

Во все время пребывания в Тобольске Михайлов пользовался самым дружеским, почти родственным вниманием многих из местных обывателей. Тобольское общество, в лице своих более интеллигентных представителей, не давало ему ни скучать, ни чувствовать какие-либо лишения. Михайлов был буквально засыпан журналами, книгами; ему присылали со всех сторон всевозможные газеты в самый день получения почты в Тобольске, предлагали услуги относительно отправления писем в столицу помимо почты — через знакомых. «Обо мне не забывали ни на один день», — с благодарностью вспоминает Михайлов о тобольцах. Внимание их к арестанту простиралось даже до мелочей, носивших прямо-таки трогательный характер. Так, например, одна совершенно незнакомая Михайлову дама привезла ему, вместо поздравления с новым годом, букет живых цветов. Сибирский букет был не пышен: гвоздика, гераний, мирта и несколько полуразвернувшихся китайских роз, — вот все, чем могла блеснуть в средине зимы флора суровой окраины; но для Михайлова эти скромные цветы севера, в его положении и при переживаемом им

душевном настроении, были, конечно, приятнее самых дорогих и красивых цветов.

Доступ к нему в острог был не труден: достаточно было иметь для этого записку от полицмейстера, который обыкновенно никому не отказывал. Патриархальность острожных обычаев и порядков того времени была до такой степени велика, что, например, один из навещавших Михайлова, студент казанского университета, высланный в Тобольск за участие в беспорядках в связи с панихидой по известном Антоне Петрове, убитом в с. Бездне, на вопрос дежурного ефрейтера, есть ли у него билет для пропуска, вытаскивал из кармана какую-нибудь случайно оказавшуюся в нем бумажку, показывал ее ефрейтору, не развертывая, и командовал: отпирай! И ворота отпирались. А однажды, на вопрос о пропуске он сказал, что у него есть не только билет, но даже особое предписание, и вытащил из кармана целую пачку каких-то бумаг. После этого студента уже перестали и опрашивать.

С 3 января, дня своего рождения, Михайлов и сам стал выезжать из острога в город и бывать на обедах, на которые его приглашали. Так он посетил председателя губ. правления Соколова, губ. прокурора Жемчужникова, управляющего комиссариатскою конторою Ждан-Пушкина и лекаря сибирского линейного № 1 батальона Анучина. Тот же полицмейстер разрешил арестанту посещать и торговые бани в городе.

Редкое утро проходило без того, чтоб кто-нибудь не навестил Михайлова. В те дни, когда его приглашали на обед в город, за ним обыкновенно заезжал или полицеймейстер, или сам приглашавший. Вечером М. И. возвращался в острог часам к 7½ — 8, чтоб попасть к «поверке» арестантов, хотя мог бы, конечно, и не соблюдать этого правила при том доверии, с каким относилось к нему тюремное начальство.

Днем от'езда Михайлова из Тобольска было назначено 27 января. В этот день он был приглашен отобедать у Ждан-Пушкиных, приславших в острог лошадь.

Незакованный, он выехал из Тобольска в сумерках, не заезжая больше в острог, потому что все его вещи были привезены прямо к Пушкиным. Почти все обедавшие отправились провожать его и простились с ним уже за городом, на том историче-

ском месте, где, по преданию, некогда высадился Ермак со своими товарищами.

В Томске, куда приехали на третий день по выезде из Тобольска, Михайлов решил остановиться на несколько часов, чтоб сделать некоторые закупки, необходимые для дальнейшего пути. Один из сопровождавших его жандармов отправился за покупками в город, а с другим Михайлов стал играть от скуки на билліарде в гостинице «Золотой якорь», где они остановились. Когда весть о прибытии Михайлова распространилась по городу, в гостиницу стали являться и знакомые и незнакомые Михайлову лица, чтобы повидаться с проезжим писателем. В числе других заехал и жандармский штаб-офицер с предложением, не пожелает ли Михайлов остаться в Томске на несколько дней, и чтоб узнать, нет ли у него вообще каких-либо желаний, которые он мог бы исполнить... Пообедав в гостинице, путешественники двинулись в дальнейшую дорогу и через двое суток уже переехали границу Западной Сибири.

В Ачинске, первом городе Восточной Сибири, почтмейстером оказался земляк Михайлова, знавший его еще ранее. Он встретил проезжего писателя самым приветливым образом и потом проводил его со всей своей семьей до экипажа. В Красноярске Михайлов решил остановиться подольше, чтоб отдохнуть и вместе с тем увидеться с М. В. Буташевичем-Петрашевским, незадолго до того переведенным туда из Иркутска. Приехал Михайлов в Красноярск рано утром 7 февраля. Содержатель станции тотчас же сообщил ему, что его уже давно ожидают в городе и многие желали бы видеть. Не успел Михайлов разоблачиться от своих дорожных шуб и шарфов, как у него уже оказалось четверо гостей. В числе их был и капитан-лейтенант Сухомлин, — тот самый, с парохода которого бежал незадолго перед этим М. А. Бакунин. Пришел и Буташевич-Петрашевский. За оживленной беседой с ним на самые разнообразные темы Михайлов провел почти целый день, и выехал из Красноярска только на другой день утром.

В полдень 13 февраля он прибыл уже в Иркутск, где был отвезен полицмейстером в острог и помещен в квартире смотрителя. «Вот-с, вы здесь и поместитесь, в этой комнате, — обратился полицмейстер к Михайлову, элегантно расшаркиваясь

перед преступником из Петербурга: — извините, пожалуйста: это лучшее помещение, какое мы можем предложить вам. Все, что вам угодно будет, вы можете получить от г. смотрителя: это его квартира...» Комната была в три окна и смотрела светло и весело.

Так как была масляница, то решение вопроса о том, куда назначить Михайлова на завод, затянулось на несколько дней. Время это прошло для него довольно скучно, так как доступ посторонних лиц, желавших видеть его в остроге, был затруднен требованием разных формальностей.

По словам лично знавшей Михайлова Е. О. Дубровиной (урожденной Дейхман), в Иркутске дамы забросали поэта венками и букетами. Карточки, на которых он был снят в кандалах, ходили по рукам и покупались за огромные цены. Фотограф Петерсон нажился на них.

От петрашевца Львова, к которому у Михайлова было письмо из Красноярска от Петрашевского, он получил записку такого содержания: «Я порывался три раза к вам, но меня не пускают. Если можно будет, постараюсь на первой станции с вами свидеться. С высшими властями (местными, конечно) я не в ладах. В Нерчинских заводах вас ожидают, и вы будете назначены к брату на промысел; это мне известно наверно. На первое время, я думаю, вам лучше будет там, нежели в Иркутском солеваренном заводе...» Предостережение Львова было совершенно справедливо, так как бегство Бакунина, усилив недоверие местной администрации к политическим ссыльным, значительно усилило и надзор за ними, что можно видеть уже из тех затруднений, какие ставились Львову, желавшему увидеться с Михайловым. Но так как последний хотел, все же, так или иначе увидеться с ним, то пришлось придумать для этого такой план. Михайлов просил у полицмейстера позволения погулять; позволение это было дано, хотя он мог выйти на прогулку не иначе, как в сопровождении казака. Доктора же, бывавшего у Михайлова в остроге каждый день, Михайлов попросил передать Львову, что он будет ожидать его в известный день и час по дороге из острога в город, на мосту, где они и могут встретиться. План этого удался как нельзя лучше. Сопровождавший Михайлова на прогулку казак оказался настолько деликатным, что даже перешел на дру-

тую сторону моста, чтоб не стеснять своим присутствием беседующих.

Во вторник на первой неделе поста Михайлову сообщили от имени генерал-губернатора М. С. Корсакова, что, по точному смыслу высочайшего повеления, он должен отправиться в Нерчинский горный округ, и что, когда все формальности будут окончены, его известят об этом, с тем, чтоб он сам назначил день от'езда. Накануне этого дня к Михайлову приехал полицмейстер с приглашением поехать вместе с ним к Корсакову. Последний принял его весьма любезно, высказал сожаление, что не может изменить высочайшего повеления, сообщил о том, что получил из Петербурга письмо от кн. Суворова об оказании ему всякого снисхождения и что в этом же смысле он и сам напишет в Нерчинский завод к горному начальнику, и кончил все это дружеским советом Михайлову не ссориться с будущим его начальством и не жаловаться на него, как это делали некоторые другие политические (Петрашевский, Львов, Бакунин и друг.). 24 февраля Михайлов выехал из Иркутска на завод в сопровождении казака.

В апреле 1862 г. в III Отделение пришел донос местного жандарма о всех послаблениях Михайлову со стороны тобольских властей. Жандарм сообщал, что все тобольское общество оказывало ему сочувствие; что, по прибытии в Тобольск, Михайлов был раскован и так содержался в тюремном замке; что вице-губернатор Соколов, прокурор Жемчужников и начальник провиантской комиссии полковник Ждан-Пушкин не только принимали его у себя, но вместе с ним и обедали; что к Михайлову в тюремный замок приезжали и выказывали сочувствие к его положению военный медик Анучин, жена его, директриса тюремного комитета купчиха Пиленкова и другие дамы, которые подносили Михайлову букеты цветов; что в тот день, когда Михайлов должен был отправляться из Тобольска к месту ссылки, в квартире Ждан-Пушкина, из которой он был отправлен, разбиты были его кандалы, и кольцо из них видели после на столе у вице-губернатора Соколова с привязанною дощечкою, на которой было написано: «Покровителю угнетенных — от Михайлова»; что при самом выезде Михайлова из города повозка его остановлена была у заставы, где многие мужчины и дамы прощались с ним, пили шампанское и

кричали «ура!»; а за заставою он был остановлен вице-губернатором Соколовым, который прощался тут с ним и дал коробку с чем-то. Другой жандарм, полковник фон-Колен, подтвердил все это и добавил, что «поводом к сочувствию, выраженному в отношении государств. преступника Михайлова, вероятно, послужил слух, разнесшийся по прибытии его в Тобольск о том, что г. начальник губернии получил письмо от Спб. губернатора кн. Суворова о принятии участия в положении Михайлова; справедливость этого слуха впоследствии подтверждал сам г. начальник губернии при личном свидании со мною».

Дело было доложено царю. Он приказал произвести строгое расследование, для чего и назначен был свитский генерал-майор Сколков. Ему приказано было выяснить на месте: 1) сколько времени находился Михайлов в Тобольске, и почему он не был отправлен в дальнейший путь немедленно; 2) по чьему распоряжению он был освобожден от оков и допускаемы к нему, в место заключения, посторонние лица; 3) на каком основании и кто разрешил ему отлучки из тюремного замка в частные дома, и почему это злоупотребление не было сейчас же остановлено военным начальством, которое не могло не знать о таком противозаконном снисхождении к государственному преступнику и сношениях с ним тамошнего общества, сделавшихся гласными в городе; 4) кто был главным руководителем и виновником в этом деле, и у кого именно в доме был Михайлов; 5) действительно ли кандалы его были, при от'езде из Тобольска, разбиты лекарем Анучиным и розданы присутствовавшим и справедливо ли, что несколько колец этих кандалов с вышеупомянутою надписью нашли для себя место на письменном столе вице-губернатора Соколова; и 6) был ли затем Михайлов вновь закован при отправлении его из Тобольска, или он следовал без оков; и какими обстоятельствами сопровождался выезд его оттуда. — При следствии оказалось, что со стороны начальствующих лиц города Тобольска сделаны были одинаковые послабления и государственному преступнику Владимиру Обручеву и бессрочно-ссыльно-каторжному Макееву.

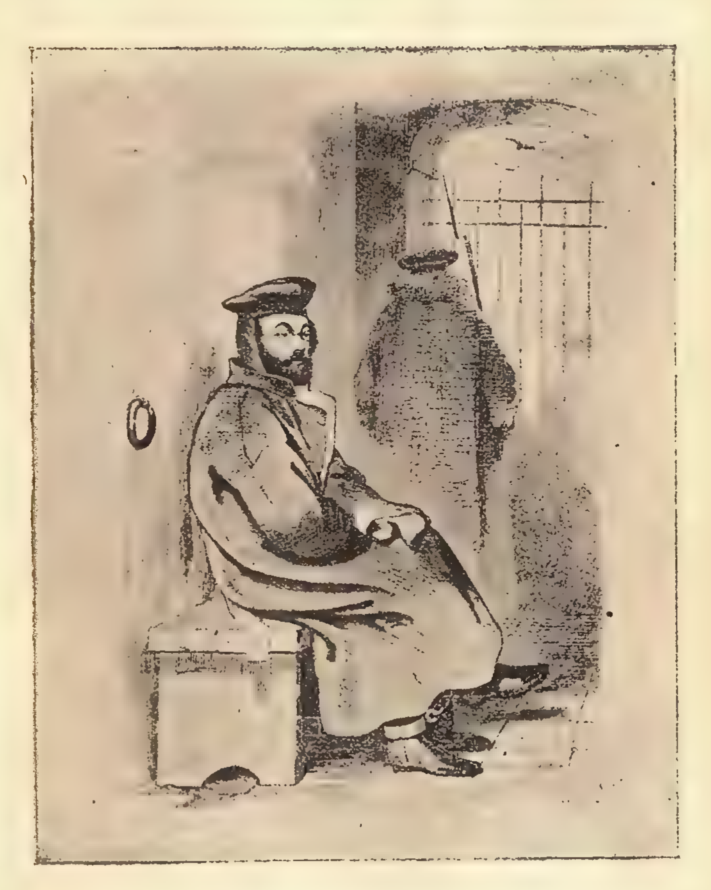
Показания обвиняемых при следствии были следующие:

Смотритель тобольского тюремного замка Козаков. Михайлов, Обручев и Макеев, во время бытности их в Тобольске, содер-

жались не на кандальном дворе, а во флигеле для подсудимых арестантов из дворян, с разрешения, по отношению к Михайлову, тобольского вице-губернатора. Камеры их не запирались. Обручев и Макеев были доставлены в Тобольск без оков и незакованными же были отправлены из Тобольска к месту ссылки. Михайлов прибыл закованный; по прибытии помещен был не в замке, а в квартире надзирателя острога Устюгова, и в тот же день, по приказанию полицмейстера был раскован и затем переведен во флигель для подсудимых дворян. Камера его, так же, как у Обручева и Макеева, не запиралась. Увольнялся он из замка, с разрешения полицмейстера, к вице-губернатору Соколову, лекарю Анучину и другим лицам. Посетители бывали у Михайлова с разрешения вице-губернатора. Его посещали: вице-губернатор Соколов, подполковник Ждан-Пушкин с женой, лекарь Анучин с женой, учитель тобольской гимназии Плотников, надзиратель той же гимназии Каталинский, товарищ председателя тобольского губернского суда Андроников, бывший советник того же суда Губарев, учитель тобольской духовной семинарии Знаменский, учитель тобольской гимназии Белорусцев, студенты, исключенные из казанского университета, Семенов и Добродеев, директриса тобольского женского попечительного о тюрьмах комитета купчиха Пиленкова и учительница танцев Затопляева. Все эти лица входили к Михайлову, с дозволения тюремного начальства, без билетов; предмет разговора был у них о литературе, эмансипации женщин, состоянии тобольского общества, о сибирской жизни; другие расспрашивали о своих знакомых (Ждан-Пушкин) или о своих детях (Каталинский).

От этого последнего показания Козаков на другом допросе отказался, об'яснив, что ссылку на вице-губернатора научил его сделать полицмейстер Кувичинский, а что на самом деле впускал посетителей он сам, без билетов, в чем и сознает себя виновным.

Показание полицмейстера Кувичинского. Преступники Михайлов, Обручев и Макеев содержались не на кандальном дворе, а во флигеле для подсудимых арестантов из дворян; но это было сделано по издавна заведенному порядку в тобольском тюремном замке, где отделялись содержавшиеся преступники привилеги-



В сибирской тюрьме.

рованных сословий от простого. Что же касается того, что давал ли он прямо приказания смотрителю замка Козакову о содержании Михайлова, Обручева и Макеева во флигеле подсудимых дворян, то он этого не помнит; но, может быть, и давал. Камеры означенных трех преступников никогда не запирались, также по существующему издавна порядку. Отдавал ли он приказание смотрителю расковать Михайлова по прибытии его в Тобольск, не помнит, но не отрицает, что мог и отдавать, уважая в преступнике дворянское сословие, к которому последний прежде принадлежал. О посещениях, делаемых Михайлову разными лицами, он в начале ничего не знал, но когда смотритель доложил ему об этом, то приказал никого не пропускать без своих записок, сам же дозволил бывать у Михайлова только полковнику Ждан-Пушкину, а также разрешил Михайлову быть на обеде у лекаря Анучина. В самый день отправления Михайлова из Тобольска к месту ссылки он дозволил ему быть в доме Ждан-Пушкина, откуда Михайлов отправился в Нерчинск, а не заковал его при отправлении потому, что не пришло это в голову.

Сколков при производстве следствия открыл, что на другой день по прибытии Михайлова в Тобольск лекарь тюремного замка, по обыкновению, осматривал его и нашел, что у него сильное кровохарканье, а на нижней части голеней были синяки, почему начал его лечить, но, по тесноте помещения в больнице, Михайлов, во время лечения, оставался в своей камере и поэтому же оставлен был в Тобольске с 31 декабря 1861 г. до 27 января 1862 г. В январе 1862 г. Михайлов подавал прошение в тобольский приказ о ссыльных о разрешении ему отправиться к месту ссылки, по болезненному его состоянию, не с партиею пересыльных арестантов, а на почтовых. Вследствие этого прошения, тобольская врачебная управа свидетельствовала Михайлова и нашла, что он действительно не мог не только что итти с партией арестантов, но даже следовать и на пересыльных подводах, почему разрешено ему было отправиться на свой счет на почтовых. В день отправления его в ссылку из Тобольска, в квартире Ждан-Пушкина, по показанию находившегося у последнего в услужении Лыскова, капитан генерального штаба Скибинский взял из чемодана Михайлова, где лежали арестантские его вещи, кандалы, разбивал их молотком,

а жена Ждан-Пушкина сказала, будто бы, что кольцо от этих кандалов нужно оставить на память о Михайлове. Но это показание Лыскова опровергается показаниями двух жандармов, сопровождавших Михайлова из Тобольска, которые об'яснили следственной комиссии, что, принимая из квартиры Ждан-Пушкина арестантские вещи Михайлова, они приняли вместе с ним и кандалы его, совсем целые. Кроме того, в комиссии, для большего убеждения, по распоряжению генерал-майора Сколкова, при кузнецах разбивались арестантские кандалы молотком и оказалось, что, без помощи кузнеца, разбить их невозможно, о чем и составлен был генералом Сколковым акт.

Показание тобольского губернатора Виноградского. О послаблениях, которые оказывались Михайлову, Обручеву и Макееву, он совершенно ничего не знал. Вице-губернатор и директор попечительного о тюрьмах комитета, напротив, всегда представляли ему, что в тюремном замке нет никаких беспорядков; сам же он не мог бы допустить их, потому что хорошо знает, что всякое послабление, оказываемое таким преступникам, как Михайлов, Обручев и Макеев, есть протест против правительства. Об этих послаблениях он не мог иметь даже частных сведений, потому что не имел никаких частных сношений с обществом: все время его поглощалось служебными занятиями, в которых он, как человек бедный, видел всю цель своей деятельности. Кроме того, во время бытности Михайлова в Тобольске, он занят был приготовлением к ожидавшейся ревизии генерал-губернатора, и потому узнал о послаблениях, делавшихся преступникам, только из бумаги, полученной им от генерал-губернатора, вследствие которой потребовал донесения об этом предмете от полицмейстера и получил об'яснение, что послабления преступникам делались смотрителем замка по приказанию вице-губернатора и прокурора. Это донесение он препроводил от себя к генерал-губернатору.

Показание вице-губернатора Соколова. Как председатель губернского правления, он постоянно занимался делами о преступниках; как директор попечительного о тюрьмах комитета, он постоянно бывал в тобольском тюремном замке для наблюдения за помещением арестантов, а как доктор, считал своею обязанностью всегда помогать преступникам в их недугах, и Михай-

лова он сожалел, как больного человека. Занимаясь в продолжение 10 лет изучением легочной чахотки, в доказательство чего представляет несколько статей своих об этой болезни, он видел в Михайлове не только больного, достойного сожаления, но и интересного суб'екта для изучения со стороны науки; знал он его только по литературным трудам и, в особенности, по его статьям о женщинах. На квартиру к себе Михайлова он, действительно, призывал для подания медицинского пособия; а так как Михайлов являлся к нему к 4 часам, то он оставлял его у себя обедать, но в 6 часов отправлял в замок, под присмотром полицейского чиновника, который его к нему и привозил. Этих случаев было только два. Впрочем, главный начальник всех тюремных заключений в губернии — губернатор, который, в продолжение трех лет совместного служения с ним, никогда не делал ему никаких замечаний по поводу неисполнения лежавших на нем обязанностей относительно тюремных заключений, между тем, как сам губернатор, в продолжение трех лет, был в остроге не более трех раз. Что касается прощания с Михайловым за заставою, то происходило оно следующим образом: он поехал с женою своею, по случаю болезни последней, в загородный монастырь; но, не доезжая до монастыря, должен был возвратиться назад, по причине вдруг усилившегося холода и ветра. На возвратном пути увидел он ехавшую по направлению от города повозку, но не знал, кто в ней сидит, а когда под'ехал к ней, то увидел сидящего в повозке Михайлова и потому остановился проститься, причем отдал последнему бывшую с ним коробку с 5 рябчиками; но это было подаяние, которое закон не воспрещает давать преступникам и которое делается в России повсеместно.

Показание прокурора Жемчужникова. Михайлов, Обручев и Макеев содержались во флигеле подсудимых дворян, согласно порядку, исстари заведенному в тобольском тюремном замке. Во время содержания он видел их раскованными, но приказания расковывать не давал; заковать же он их не мог приказать, потому что, на основании законов, лица привилегированного сословия освобождаются от оков, и он считает, что действия его были бы более противозаконные, еслиб он приказал заковать Михайлова и Макеева. Кроме того, вопрос о заковывании преступ-

ников в разных местах понимается различно; так, Михайлов, осужденный в каторгу на 6 лет, прислан был в оковах, а шведский подданный Бонгард из Варшавы, осужденный в каторгу на 12 лет — без оков; следовательно, закование Михайлова может быть отнесено к ошибочному пониманию закона. О посещении Михайлова разными лицами он ничего не знал. Один раз брал его к себе обедать, с тою целью, чтоб дать ему возможность, при его сильной болезни, воспользоваться хорошею пищею, и разрешения на это ни у кого не спрашивал. Разговора с ним ни о чем противозаконном не имел, а говорил только о своих племянниках, которых Михайлов знал давно, потому что жил в том городе, в котором жила его родная сестра. Сочувствия к нему, как к государственному преступнику, не имел, а сочувствовал ему, как человеку несчастному и больному, и смотрел на это сочувствие, как на дело сострадания к ближнему, пример которого показывал сам государь император. Конфирмации над Михайловым он не читал; но из слов последнего узнал, что он осужден был за найденное у него сочинение, автором которого был не он, но принял его на себя, чтоб отстранить от ответственности действительного автора, и это обстоятельство не могло не возбудить в нем, Жемчужникове, сочувствия к осужденному, пострадавшему за других; о самом же этом сочинении он ничего не знал. Притом он не предполагал, чтоб правительство, вверив ему должность прокурора, усомнилось в его преданности и чистоте действий.

Генерал Сколков донес, что тобольское общество вовсе не сочувствовало преступлению Михайлова, что букетов дамы ему не подносили, потому что при сибирских морозах очень трудно иметь живые цветы, и что если некоторые из лиц города и высказывали сочувствие Михайлову, то это делалось или из желания прослыть передовыми людьми, покровительствующими литератору, или из подражания другим. Вице-губернатор Соколов оказывал сочувствие Михайлову с целью сблизиться через него с литераторами и приобрести для себя сотрудничество в каком-нибудь журнале. Полковник Ждан-Пушкин знаком был с Михайловым в Петербурге и потому встретил его в Тобольске, как знакомого.

Произведенное таким образом следствие царь велел передать в 1-й департамент сената для определения порядка ответственности виновных, так как они принадлежали к разным

министерствам. 1-й департамент потребовал заключения соответствующих министров. Министр внутренних дел представил, что губернатор Виноградский и вице-губернатор Соколов подлежат ответственности, после удаления от должности, за превышение и бездеятельность власти, по 383 ст. XV т., а шеф корпуса жандармов нашел нужным предать военному суду тобольского жандармского штаб-офицера. После этого сенат определил: губернатору Виноградскому, уволенному от должности, сделать выговор в административном порядке, а вице-губернатора, прокурора, полицмейстера и смотрителя тюремного замка предать суду. Комитет министров нашел, что Виноградский так же, как и другие, должен быть предан суду, на что последовало высочайшее согласие. Военный медик Анучин и капитан генерального штаба Скибинский, по распоряжению военного министра, уволены от службы без прошения.

Приехав в Нерчинский завод 7 марта, Михайлов услышал подтверждение того, что уже узнал раньше, — ему разрешено было жить на Казаковском прииске, которым заведывал его родной брат Петр. Там писатель был освобожден от работ, за что вскоре пострадал начальник нерчинского округа полковник О. А. Дейхман, исключенный из службы в сентябре 1865 г.

Михайлова тогда уже не было в живых; он скончался 3 августа 1865 г. от чахотки, осложненной органическим перерождением почек. Указание Дубровиной на прием им цианистого кали, как только стало известно об участи ее отца, Дейхмана, ни на чем не основано и хронологически невозможно [1].

С делом Михайлова связано и дело Н. В. Шелгунова. По личному мне свидетельству Л. П. Шелгуновой в 1898 г., осенью 1861 г.,

---

[1] Архив III Отделения с. е. и. в. канц. 1 эксп. 1861 г. дела №№ 212 и 274; архив мин. вн. дел, дело канц. 1861 г. № 114; архив сената; дело мин. юстиции 1863 г. № 105.

уже после ареста Михайлова, им была выпущена в Петербурге прокламация «К солдатам», заново составленная Шелгуновым, — в ней ловко было пересказано все наиболее важное из основных мыслей большой, выданной Костомаровым, прокламации, так и не увидавшей света.

Привожу ее полностью.

К СОЛДАТАМ.

«Много лет русское войско, русские солдаты исполняли службу только царя, а не служили вовсе своей родине; они даже, по приказанию царя, угнетали ее, например: разве не угнетение это, когда царь из своей прихоти на счет крестьян держит огромное войско, половина которого вовсе бесполезна, и это войско расставляет на квартиры по деревням и селам к мужикам, которым и без солдат тяжело жить, которые и так разорены своими начальниками; разве не угнетение это, скажите, пожалуйста, когда царь, не дав мужикам настоящей свободы и тем заставив их взбунтоваться, посылает солдат для усмирения ничем невиноватых бедных мужиков, и солдаты, по приказанию царя, бьют, угнетают народ?! Хотел бы я знать, неужели между солдатами не найдется таких, которые поняли бы это и растолковали бы другим своим товарищам. Растолковали бы они им, что присяга, которую они произносят при вступлении на службу, обязывает их на служение своей родине, своему русскому народу, а не исполнять несправедливые, преступные приказания царя; исполнять эти приказания все равно, что делать самому преступления. Ведь, никто из солдат не сделает убийства, например, сам по себе; всякий из них чувствует отвращение от этого преступления, а по приказанию начальства они делают преступления хуже этого; например, угнетение народа, следствием которого бывает: и голодная смерть, и самоубийство, и грабежи, и убийства, и разврат, и пьянство, которое тоже ведет ко многим порокам; и всем этим несчастиям, всем этим порокам виною царь и исполняющие его приказание, а солдаты служат во многом царю, следовательно, и они отчасти виновны в несчастиях народа, — лучше бы им не исполнять преступные при-

казания царя. Сам бог учит, чтобы не повиноваться приказаниям против совести, а неужели совесть не говорит, что грешно убивать безоружный невинный народ, как это было в Бездне, или — что грешно бить палками до полусмерти невинного товарища, убежавшего от горького солдатского житья.

«Говорят, что солдаты любят царя! Да за что его любить солдату? Разве за то, что царь отнимает вас вовсе от семьи и приказывает служить ему 25 лет, в продолжение которых он и ест дрянь, и бьют его немилосердно начальники, а случись солдату быть раненым на войне, которую царь ведет не по желанию народа, а по своей прихоти, так и не поблагодарит он его за это, не даст ему куска хлеба, как, например, многим *севастопольцам*, а иди бедный солдат по миру. На службе-то помаялся 25 лет, да и после службы майся. А убеги солдат от горького житья, так поймают да и сквозь строй прогонят. Нет, если солдат все это поймет, он не будет любить царя и не будет исполнять его подлые приказания. Он не станет стрелять в народ, когда тот восстанет, чтобы облегчить свою горькую долю, а присоединится к нему, чтоб ему помочь да и свое житье поправить; а как поправить его, ему расскажут, ему укажут, что можно сделать.

«Можно сделать, чтобы солдат служил только от 3-х до 5 лет и во время службы получал бы достаточное жалованье, такое, чтобы мог посылать из него и семье своей на помогу; можно сделать, чтобы его варварски не били; можно сделать, чтобы он не уходил от семьи далеко, а жил бы поблизости и после службы своей снова приходил бы на помощь семье своей, — одним словом, можно сделать, чтобы солдатское житье было хорошее, и всякий с охотой бы шел служить солдатом.

«Когда бы все солдаты об этом знали да поняли бы все это, так, наверно, при случае помогли бы себе да и другим тоже, и сами после были бы счастливы, да и другие бы им были благодарны».

Эта прокламация была отпечатана в ручную и, повидимому, в очень небольшом количестве экземпляров, главная часть которых осталась в Спб. для его гарнизона, в Москву же и провинцию попали почти всюду рукописные копии, иногда сильно отсту-

пающие от оригинала; в Казани она была найдена 28 октября 1861 г. у ворот казармы внутренней стражи, в других местах раньше — Нижний-Новгород и Владимир, в иных позже — Северо-Западный край и Ц. Польское.

Вслед за привлечением к суду Михайлова Н. В. Шелгунов ожидал осложнений и в своей судьбе, а когда в декабре 1861 г. друг его был отправлен в Сибирь, Шелгуновы решили следовать за ним и там, может быть, принять меры к совместному бегству за границу по примеру Бакунина. 26 марта Шелгунов был уволен от службы полковником с мундиром и пенсией, и в мае поехал с женою в Сибирь. Благодаря перехваченному конспиративно посланному письму его к сидевшему в крепости Н. Серно-Соловьевичу, следственная комиссия кн. А. Ф. Голицына заподозрила его в соучастии с последним, признала нужным учредить за ним секретное наблюдение, о чем и дала знать III Отделению 31 июля. 14 августа вторая оплошность повела к большему осложнению: по перлюстрированному письму Л. П. Шелгуновой к М. В. Авдееву, комиссия сообщила III Отделению, что, так как Шелгунов задался целью способствовать облегчению участи Михайлова, а пребывание его в местах, населенных ссыльными, может сопровождаться вредными последствиями, то комиссия входила по этому поводу с докладом, на котором положена высоч резолюция: «его следует арестовать и по осмотре его бумаг и снятии допроса решу его участь».

Между тем, уже в конце июня Шелгунов проехал через Тобольск на пароходе, где под видом собирания статистических сведений о разных местностях России, вместе с тамошним полицмейстером осмотрел острог; там содержался В. А. Обручев (сосланный по делу общества «Великорусс»), с которым их беседа ограничилась вопросами о здоровье и времени прибытия. В Томск Шелгуновы, с двумя детьми прибыли 12 июля и, пробыв сутки, выехали в Иркутск. Содержатель гостиницы на вопрос свой, куда и по каким делам ехал полковник, узнал, что он отправился в Иркутск для свидания с одним искренним другом, к чему его обязывала святость данного ранее обещания. Царь был очень недоволен визитом Шелгунова Обручеву и приказал заметить это ген.-губ. Дюгамелю. Поиски Шелгунова в Сибири продолжались долго; 28 октября приказано

было доставить его и жену по арестовании в Иркутск, где и держать под строгим домашним арестом впредь до особого распоряжения. Между тем, 28 сентября полк. Дувинг нашел их на кабинетском золотом Казаковском промысле, в квартире начальника последнего, поруч. Михайлова, где был и сосланный брат инженера. Дувинг догадался о близости его с женой Шелгунова по сходству с Михайловым двухлетнего ее сына Михаила. При обыске ничего предосудительного найдено не было; Шелгунова была так поражена этой неожиданностью, что с нею случился апоплексический удар, от которого отнялись обе ноги (то же случилось с нею и в 1860 г.). Сначала они были препровождены в Ундинскую слободу, а 19 января 1863 г. — в Иркутск. Родители Шелгуновой Михаэлисы и сами Шелгуновы просили себе права приехать в Спб. 21 декабря комиссия уведомила, что разрешено освободить их от домашнего ареста, оставив в Иркутске под надзором. В феврале 1863 г., вслед за доносом Вс. Костомарова (не ожидая еще документирования его в письме на имя Соколова), по постановлению полиции, ген.-губ. В. Сибири было предписано прислать Шелгунова в Спб., а жене разрешено свободно вернуться туда же. 16 марта Шелгунов был отправлен, 15 апреля прибыл в III Отделение и в тот же день передан в Алексеевский равелин, где занял «покой» № 1. 14 мая приказано было предать Шелгунова военному суду. В июне комиссия последнего, учрежденная при Спб. ордонанс-гаузе запросила III Отделение, в чем именно проявлялось противоправительственное направление Шелгунова, в каких его действиях и сочинениях, кроме приложенной к делу о нем статьи его для «Русского Слова», запрещенной 15 февраля 1862 г., и кто такой и где находится Николай Иванович Соколов, к которому писал В. Костомаров из Тулы. Ответы III Отделения были, конечно, очень уклончивы...

22 июля Шелгуновой и ее сестре были разрешены свидания с Н. В.; потом была присоединена и теща, Евгения Михаэлис, и сестра его, Надежда. 18 авг. Шелгуновой было, наконец, разрешено отправиться за границу на месяц, но с тем, что она была обязана не вывозить туда ни писем, ни рукописей, и с предупреждением, чтобы за границей была осторожна в речах и действиях; на границе по пути из России ее приказано было обыскать. В ноябре

ей был дан вторично заграничный паспорт, опять с теми же условиями, но уже на полгода, а в апреле 1864 г. было разрешено отсрочить паспорт на год.

В августе 1865 г. министерство иностранных дел уведомило III Отделение, что с живущей в Женеве Шелгуновой взыскивается ссуда в 600 руб., полученная ею еще от благотворительного комитета при иркутском общем губернском управлении; между тем, она, «ведя жизнь предосудительную», содержит в Женеве гостиницу для русских эмигрантов.

Шелгунов писал в крепости довольно много; все его статьи поступали к Спб. военн. ген.-губернатору, от которого шли в цензуру, оттуда в управление крепости, а затем выдавались сестре; в мае 1864 г. коменданту было приказано присылать все рукописи прямо в III Отделение.

23 июля 1864 г. ген.-аудитор уведомил III Отделение, что «подсудимый Шелгунов по предмету сношений с госуд. преступниками Обручевым и Михайловым с противозаконною целью, в составлении воззвания к солдатам, чтении его некоторым из них и участвовании с Чернышевским в составлении другого воззвания, «К барским крестьянам», по несознанию подсудимого и неимению доказательств, на основании военно-уголовного устава, оставлен в сильном подозрении, но как Шелгунов из'явил желание по всем этим предметам обвинения принять очистительную присягу, то из опасения клятвопреступления, суд, не допустив его к присяге, освободил его от подозрения». Однако, прежде освобождения его из-под ареста, суд запросил шефа жандармов, удобно ли дозволить ему жить в столице, и притом без надзора. Было отвечено, что вопрос преждевременен, так как формально дело еще не совсем окончено. 26 октября высоч. утверждено было решение ген.-аудиториата о лишении Шелгунова права на пенсию и мундир и о высылке под надзор в одну из отдаленных губерний. 24 ноября он был выпущен из равелина и направлен к Спб. обер-полицмейстеру, который отправил его в Великий Устюг, а потом в Никольск Вологодской губернии.

В январе 1865 г. Шелгунов просил министра вн. дел отпустить его за границу для лечения от грозившей ему чахотки или, в случае решительной невозможности, перевести его в другую губернию, но III Отделение не нашло это возможным. В декабре

Шелгунов вновь обратился с той же просьбой, но уже прямо к царю, прося о посредничестве шефа жандармов, которому 2-го числа писал, между прочим: «Закон, назначивший мне ссылку, конечно, не хотел моей смерти; иначе суд приговорил бы меня к смертной казни. Ссылка больного человека в Вологодскую губернию та же казнь, но только медленная». III Отделение вновь потребовало медицинских свидетельств и не отвечало, пока 10 октября 1866 г., уже из Никольска, Шелгунов третий раз просил одновременно об отпуске за границу и о переводе, указав, что к нему возвращается жена с ребенком; одновременно жена просила перевести мужа или в шлиссельбургское имение ее родителей («Подол») или в Самару. Министр вн. дел не нашел возможным перевод в Самару, «лежащую на самом оживленном водяном пути», а полагал ограничиться Ветлугой или Кологривом Костромской губ. 13 декабря царь соблаговолил на эту «милость». Шелгунов от нее отказался, а в мае 1867 г. (уже из Кадникова) просился в Вологду, где были хоть известные врачи; о том же одновременно просила и жена, бывшая уже в Кадникове; в июне просьба была удовлетворена. В феврале 1868 г. Шелгунов просился в Ярославль — отказ: «слишком сближен с Москвой»; в ноябре просьба о переводе в имение тещи — «повременить»; в феврале 1869 г. просьба в Тверь — «его величество, вспомнив о прошедшей вредной деятельности Ш., неоднократно обратившей его внимание, не соизволил на перевод его в Тверь, но высоч. разрешено, буде здоровье Ш. это требует, перевести его в лучший климат, но в такое место, которое не находится на железной дороге»; в апреле перевели, по просьбе жены, в Калугу. Когда к Н. В. приезжали родственник жены Петр Вольский, учитель П. А. Гайдебуров и Г. Е. Благосветлов, об этом было донесено III Отделению. Затем было отклонено еще несколько просьб о переводе в Тверь, Новгород и в шлиссельбургское имение; не был распространен на Шелгунова и манифест 13 мая 1871 г. по случаю рождения вел. кн. Георгия Александровича. В июне 1873 г. ему был разрешен приезд на три недели в Спб., куда он ехал по совету врачей, опасавшихся начала психического заболевания. В мае того же года жена просила о переводе Н. В. в Выборг; III Отделение нашло, что просьба эта подана «не без затаенной цели, ибо выборгский климат едва ли лучше калужского, но близ

Выборга поселился в прошлом году Берви (Флеровский), и это обстоятельство не мешает иметь в виду». Когда в Выборге было отказано, была возобновлена просьба о Новгороде. Шувалов просил ст. сов. Г. Г. Перетца дать справку о литературной деятельности Шелгунова за последнее время. В справке этой от 15 декабря 1873 г. сказано, что «статьи его в журнале «Дело», по мысли и по способу изложения были вполне солидарны с известным общим направлением журнала и потому не всегда были безупречны в политическом отношении, хотя и не касались вопросов чисто политического свойства. Вообще, участию Ш. в журнале сам редактор Благосветлов придавал руководящее значение, что очень рельефно подтверждается выпискою из письма, писанного им в июне 1870 г. к находившемуся в Екатеринбурге под надзором полиции врачу Веньямину Португалову. В письме этом Б. говорит: «Я был бы страшно несчастлив, если бы вы или Ш., или Ж. Лефрень оставили меня. Вы и Ш. ведете «Дело», а я у вас чернорабочий!». Воспользовавшись этим материалом, 3-я экспедиция III Отделения сделала от себя заключение: «принимая во внимание, во-1-х, что он в течение последнего десятилетия занимался исключительно литературою и не был в это время причастен ни к одному из массы дел политического характера, во-2-х, что в последнее время и литературная его деятельность, обращенная к обсуждению специальных вопросов педагогии, не отличалась вредным направлением, и в-3-х, что хотя Ш. и принадлежит несомненно к числу лиц, недовольных существующим порядком вещей, но, тем не менее, он человек настолько серьезный, что, наверно, понимает всю несостоятельность какой бы то ни было подпольной антиправительственной деятельности, и потому, казалось бы, на его спокойное отношение к делам политического свойства можно положиться». 17 февраля 1874 г. последовало высоч. разрешение на перевод в Новгород; в мае было разрешено прибыть в Спб. на три недели; потом поездки в столицу разрешались несколько раз. В апреле 1875 г. состоялся перевод в Выборг; через год Н. В. просил и получил разрешение вернуться в Новгород. 7 декабря 1876 г. высочайше разрешено снять надзор и дано право повсеместного жительства, кроме столиц и их губерний, а в июне 1877 г. снято и это ограничение (Архив III Отд. с. е. в. канц. 1 эксп. 1862 г., дело № 230, ч. 28).

Письма М. И. Михайлова к В. Д. Костомарову.

Письма эти были «отобраны» от Костомарова во время ведения дела Чернышевского.

1.

20 апреля 1861 года (Спб.).

Дорогой друг, Всеволод Дмитриевич, спасибо Вам за весточку о себе. Я ждал ее с нетерпением и потому только не писал к Вам. Книги, посланные Вами с Бергом [1]), я получил и с ним же посылаю Вам Томаса Гуда и свой портрет, который, наконец-таки, сделал. Сегодня я видел Н. Гавр. [2]), и он мне сказал, что посылает Вам письмо с предложением ехать за границу [3]). Как бы я желал, чтобы это уладилось, и я мог бы встретиться с Вами там где-нибудь. Во всяком случае, прошу Вас — пишите ко мне туда и если вздумаете отвечать на это письмо (чего я жажду), то адресуйте к Herrn Michel Michaïloff, Frankfurt am Main, poste restante. У меня после свидания с Черн. составилась уже приятная мечта, как мы будем где-нибудь вместе, на каком-нибудь этаком Рейне или в какой-нибудь этакой Ницце или Флоренции. Кстати, я несколько изменил план своего странствования. Я думал ехать купаться в море на Гернсей, но не знаю, удастся ли это теперь. Вернее, что это купанье будет происходить в Ницце. Мне вообще очень хочется побывать в Италии, где я не был еще. Надо будет и поправильнее поучиться. В Англии буду я, вероятно, ненадолго, на неделю, может быть, и только

---

[1]) Ѳ. Н. Берг — поэт-переводчик, преимущественно Гейне, начавший печататься в «Современнике» 1860 г., а потом, с 1889 г., редактировавший реакционный «Русский Вестник».

[2]) Н. Г. Чернышевского.

[3]) Оно напечатано в «Деле Н. Г. Чернышевского».

в Лондоне, куда с'езжу из Парижа. Первое же местопребывание мое будет, как Вы знаете, в Наугейме, на водах, близ Франкфурта. Письма Вы, все-таки, адресуйте во Франкфурт и не франкируйте их. Это вернее. Мне очень жаль, что ни у меня, да и ни во всем Петербурге нет книг, которые Вам нужны для затеянных статей о сатириках. Если мечта моя не сбудется и Вы не поедете нынче за границу, где можно будет заняться, то я постараюсь привести с собою всех этих Чальмерсонов и Вильсонов, которых Вам нужно. Если вы останетесь на лето в России, что, опять - таки скажу, очень меня огорчит, знаете, что попробуйте сделать? Вы, вероятно, знакомы с произведениями немца Грегоровиуса об Италии. Хорошо бы любое из них изложить в сокращении, и я вам ручаюсь за помещение их в «Современнике». Стихи, как меня не будет, посылайте или к Ник. Гавр., или прямо к Некрасову. Жаль, что я вас с ним не познакомил. О Фурье едва ли цензура что - нибудь пропустит, и я боюсь, как бы вы, занимаясь биографией и характеристикой, не потеряли, как говорится, oleum et otium. В редакции «Совр.» была большая статья о Фурье и не могла пойти «по независящим обстоятельствам». «Бориса» вашего прочитал и возьму с собой. Если пришлете мне за границу конец, я напишу о нем в «Совр.». Впрочем, лучше пусть издание не кончится, но вы будете за границей. Вот я с каким эгоизмом цепляюсь за вас. Жаль, что вы не поработали побольше над «Суб. вечером»; немного бы нужно, чтобы перевод вышел безукоризненный. А Берг все носится с своим Андерсеном, защищает Карла Бека и проч. Он, по всей вероятности, добрый и хороший малый, да уж очень мягок и слишком ударяется в романтические сферы. Впрочем, он был у меня еще раз только и сидел недолго. Я, подобно белке в колесе, мечусь перед от'ездом и единственно поэтому пишу мало, а то готов бы толковать с вами без конца. Людмила Петровна [1]), по страсти своей к корреспонденции вообще, а с хорошими людьми в особенности, хотела к вам тоже писать и остановилась только потому, что не имеет на то вашего согласия. Она очень вам кланяется, также, как и Ник. Вас. [2]). Крепко, крепко целую вас, дорогой друг,

---

[1]) Шелгунова

[2]) Шелгунов.

и желаю вам всего доброго, чего только вы сами можете пожелать себе. Пишите же ко мне, а я немедленно буду вам отвечать. Дай бог, чтоб — до свидания за границей.

Всею душой любящий вас

Мих. Михайлов.

Мы едем на святой, во вторник, т. е. 25 апреля.

2.

20 июля 1861 г. (Спб.).

Дорогой друг, Всеволод Дмитриевич! Вы, может быть, ждете (если только ждете) письма от меня из-за границы, а я пишу вам уже из славного града Питера. Мое гнусное молчание вы простили уже? Не правда ли? Надеясь на вашу доброту, расскажу вам кое-что о себе. Воротился я в Петербург потому, что за границей шляться мне надоело. Я постоянно задавал себе вопрос: что я там забыл? и не мог ничего делать. По привычке к работе, обходиться без нее было просто не вмочь, а к работе там решительно ничто не располагало. Из Наугейма я отправился через Голландию (большая гадость!) в Лондон, пробыл там недели две и через Париж, где прожил тоже не больше, и Берлин, Штеттин и море приехал сюда. Здесь, разумеется, чувствую более, чем обыкновенно, на первых порах горестное отсутствие разных удобств европейских, но зато принялся хоть за дело, каково оно ни есть. За границей не сделал я ровно ничего и теперь догоняю прожитое даром время. Прилагаю письмо к вам Людмилы Петровны, которое привез с собой. Я думаю, она с Ник. Вас. не останутся долго за границей и в половине августа (или к 20 ч.) будут уже здесь. Не браните меня, голубчик, за мою неаккуратность и отвечайте мне. Я поведу себя похвальнее, чем прежде. Крепко вас целую.

Михайлов.

P. S. Где Берг и получили вы от него книгу и портрет? Что Плещеев? Кланяйтесь ему от меня хорошенько.

3.

5 августа 1861 года.

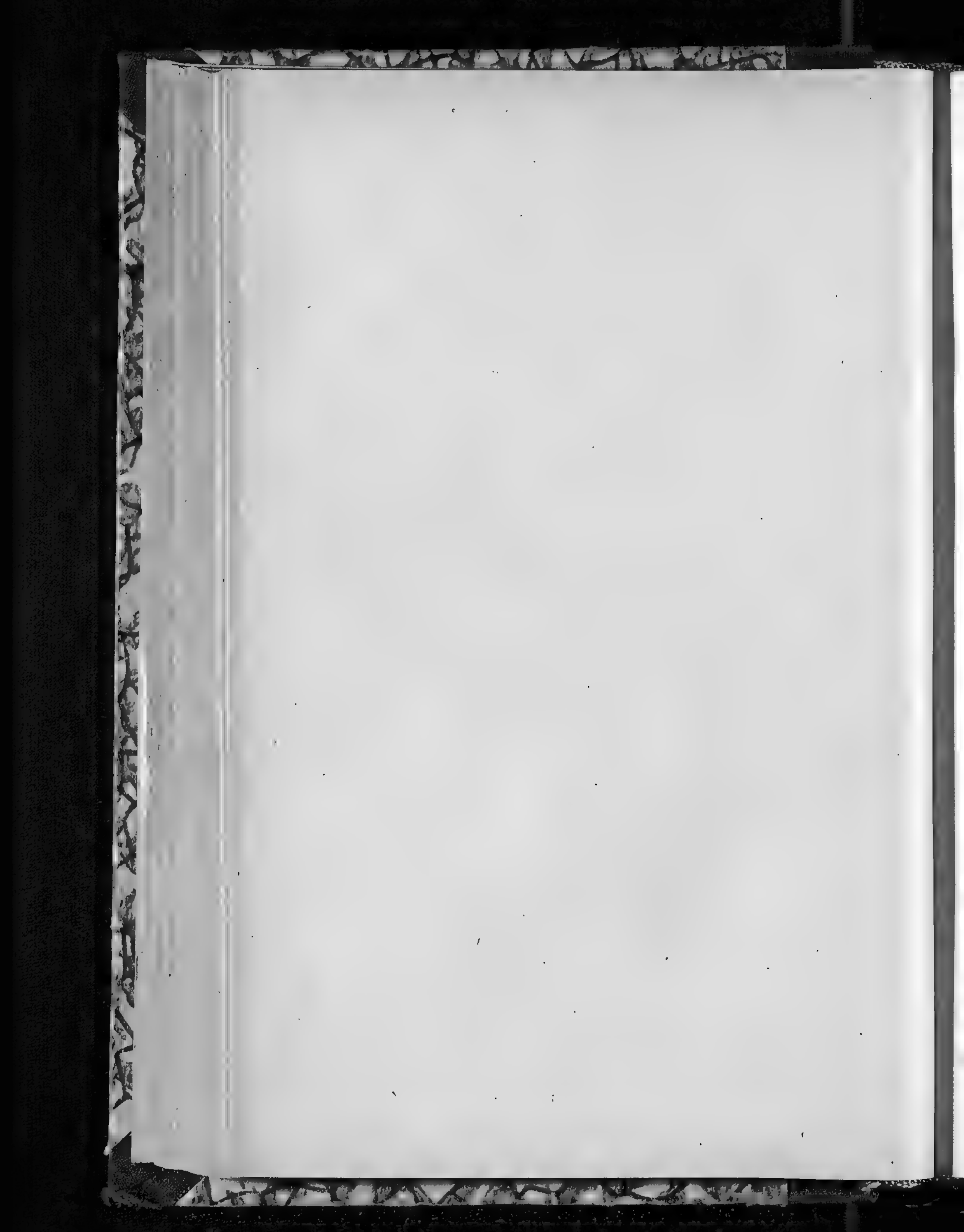
Дорогой друг, Всеволод Дмитрич, тороплюсь послать вам хоть малую толику денег, сколько у меня есть. Мы сочтемся, когда вы пришлете что-нибудь в «Совр.». Извините, что сумма так ничтожна; я сам теперь, что называется, в тонких, а из конторы «Совр.» все раз'ехались. Кроме того, посылаю вам тетрадь из истории Шлоссера для перевода. Плата за перевод очень хорошая (хоть не могу определенно сказать) и вам, немедленно по доставлении рукописи, будут высланы деньги. Я бы в этот же нумер «Совр.» пустил вашего «Бориса» и «Дер. кузнеца», да ни того, ни другого не могу у себя найти; а потому пришлите, как получите это письмо. По окончании перевода, который я посылаю вам, я постараюсь достать вам еще какую-нибудь работу. Это будет легче, когда в Петербург с'едутся все издатели и редакторы. Ради бога, простите меня, голубчик, что я пишу вам редко и мало. Ведь, вы не выведете из этого заключения, что я не люблю и не уважаю вас от всей души. Но, во-первых, я завален работой с утра до вечера, и, во-вторых, совсем не умею писать писем. Мне очень бы хотелось перетащить вас сюда, но в настоящую минуту ничего не могу придумать. Может быть, зимой это будет возможно, особенно если удастся мое намерение издавать газету. Ваш «Мост вздохов» — прекрасная вещь, только, извините, это не „Bridge of Sighs" Гуда. Хорошие стихи в пьесе вы, конечно, и сами знаете, а относительно неудачных скажу: зачем это вы ставите такие вымученные рифмы, как *ежели—нежели, ближе ли—ни жили* и пр.? Я все еще один, Шелгуновы не приехали, и я жду их с нетерпением к 15 авг. До свидания, милый Всеволод Дмитрич. Будьте здоровы и, если вас не сердят мои краткие ответы, пишите мне. Я всегда рад вашим письмам и всегда рад исполнять ваши поручения, если только могу. Мне бы очень хотелось узнать от вас, сколько бы вам нужно было приблизительно иметь в месяц для жизни в Пб., с семейством, чтобы не терпеть лишения. Я имел бы это в виду, чтобы ухватиться обеими руками за первую возможность извлечь вас из Москвы.

Целую вас крепко.

Мих. Михайлов.

III.

Дело Н. Г. Чернышевского.



Шестьдесят лет тому назад русское общество узнало о ссылке знаменитого Чернышевского в каторжные работы и долго потом задавало себе один и тот же вопрос: за что?

Напечатанная тогда же в «Колоколе» краткая сенатская записка не разрешила этой загадки и только заставляла задумываться над решением многих других вопросов. В литературе ничего сколько-нибудь определенного по этому поводу не появлялось. Сам Чернышевский, повидимому, никому дела не рассказывал, по крайней мере, близкие ему люди многого не знают, а о степени участия его в революционном движении не имеют никаких положительных сведений.

В 1906 г. на мою долю выпало познакомить, наконец, русское общество с делом Чернышевского, — с теми ужасающими произволом, беззаконием и наглостью, которые скрываются за этим словом. Это не был процесс следствия и суда, понимаемых даже и тогда, как нечто об'ективное и формально честное. Это — процесс подкупа, насилия и профанирования всякого понятия законности. Это — образец дел, которые неоднократно потом вело подлое самодержавное правительство против лиц, ему неугодных, не стесняясь никаким декорумом приличия. Это — процесс, который власть, вообще несклонная знакомить подданных с какой бы то ни было «политикой», имела особое основание скрывать.

Про процесс Чернышевского вполне можно повторить то же, что сказал И. Мышкин про известный процесс 193-х: «Это — не суд, а простая комедия или нечто худшее, более отвратительное, более позорное, чем дом терпимости; там женщина из-за нужды торгует своим телом, а здесь сенаторы из подлости, из холопства, из-за чинов и крупных окладов торгуют чужою жизнью, истиной и справедливостью, торгуют всем, что есть наиболее дорогого для человечества»... В довершение полноты характе-

ристики надо сделать существенное дополнение: не только сенаторы, но и министры, следовавшие подлым приказам Александра II, как нельзя лучше вырисовывающегося за кулисами этого темного дела.

Когда Чернышевский говорил: «Бог их знает. Может быть, им и известно, за что сослали, а я не знаю» [1], — он был прав: в руках правительства не было ни одного свидетеля, заслуживающего доверия, и ни одного серьезного подлинного, не поддельного документа. Тот материал, с которым оно имело дело, был совершенно негоден в руках любого сколько - нибудь добросовестного следователя, не только высшего в стране суда.

Это, однако, не значит, чтобы я тогда же (1906 г.) стал на точку зрения, более или менее общепринятую в литературе: Чернышевский пострадал, де, *совершенно* невинно. Положение вопроса иное: Чернышевский пострадал *юридически* невинно, он *ничем* не мог быть уличен в своей несомненной противоправительственной деятельности.

Все историки русского общественного движения, хоть сколько-нибудь занимавшиеся этой стороной нашего прошлого, согласны были с выставленными мною положениями. Однако, вскоре раздался один протест, и притом из «ученой» среды; в 1912 г. в Неофилологическом обществе при петербургском университете молодой «ученый» М. Клочков выступил с опровержением моих положений, а в 1913 г. напечатал свой доклад в IX и X кн. кн. «Исторического Вестника». Специалисты отнеслись тогда отрицательно к этому экскурсу в совершенно чуждую автору область. Я не счел нужным возражать на утверждения, что «не остановился на одной фактической стороне дела, а часто привносил в него собственное освещение и свои догадки, вследствие чего в моей книге об'ективного изложения процесса найти нельзя» (IX кн., стр. 890), — не счел потому, что, вообще, всегда игнорирую критику людей, не знакомых с предметом их случайной темы. Кроме того, насколько точки зрения Клочковых и им подобных могли быть открыто высказываемы в пору сугубой николаевской реакции, настолько моя была преступна.

---

[1]) *В. Короленко*, «Воспоминания о Н. Г. Чернышевском», Лондон 1894 г., 10.

Прошло почти пятнадцать лет со времени появления моей работы в «Былом» (книгой она была выпущена в конце 1906 г.); благодаря революции, я имел возможность основательно изучить еще ряд дел из архива III Отделения с. е. и. в. канцелярии и теперь категорически утверждаю, что все найденные мною материалы вполне подтверждают все мои прежние положения, а «привнесенные в освещение дела мои догадки», основанные тогда на понимании скрытого механизма провокации, шпионства, подкупа и подлогов, делаются теперь утверждением, основанным на неоспоримых документах. Таким образом, неученая «суб'ективность» становится научной об'ективностью, в чем я и был глубоко убежден пятнадцать лет назад. Наоборот, все учено-об'ективные пункты защиты русского царя, министра юстиции Замятнина, сената и его сенаторов, негодяя Всеволода Костомарова и родственного ему III Отделения, — защиты, взятой на себя «ученым» Клочковым, разлетаются, как мыльные пузыри, не оставляя следа от дипломированной научности в нашей затхлой академичности.

Указывая на основное положение своей работы, я утверждаю, что Николай Гаврилович действительно был прикосновенен к революционной работе.

Не такой это был ум и не такой человек, который сидел бы сложа руки и только и делал, что писал в «Современнике». Припомните некрасовское [1]:

Не говори: «Забыл он осторожность.
«Он будет сам судьбы своей виной»...
Не хуже нас он видит невозможность
Служить добру, не жертвуя собой.

Но любит он возвышенней и шире,
В его душе нет помыслов мирских.
Жить для себя возможно только в мире,
Но умереть возможно для других.

---

[1]) Привожу это стихотворение полностью, с четвертой строфой, не напечатанной в собрании сочинений поэта и заимствуемой мною с автографа, подаренного Некрасовым П. А. Ефремову. Заглавие «Пророк» — «Из Барбье» — ширма, изобретенная специально для цензуры. На самом деле, стихотворение озаглавлено было (1874 год) просто: «Н. Г. Чернышевский».

Так мыслит он, и смерть ему любезна.
Не скажет он, что жизнь ему нужна,
Не скажет он, что гибель бесполезна:
Его судьба давно ему ясна...

Его еще покамест не распяли,
Но час придет — он будет на кресте.
Его послал бог гнева и печали
Рабам земли напомнить о Христе.

Заметьте, что это писал человек, знавший Чернышевского изо дня в день восемь лет... восемь лет беседовавший с ним о самых различных вопросах и при самых различных обстоятельствах. Ему ли, чуткому и проницательному, не понять было вождя своего журнала?! По совершенно справедливому замечанию Николаева, политические взгляды Чернышевского можно выразить в немногих словах: «катастрофа вскоре немыслима, но долг мыслящего и последовательного человека — стремиться к ней и *делать* все возможное для ее приближения. Поменьше фраз и теорий и побольше *действия* [1]).

Этого мало: Чернышевский был социалистом и демократом, человеком, всегда и везде проводившим одну и ту же мысль: труд и трудящиеся — во главу. Далее. Посмотрите на его близкие знакомства: Сигизмунд Сераковский, Иосафат Огризко, Н. Н. Обручев, Николай Серно-Соловьевич и многие другие деятели революционного движения шестидесятых годов.

Мне документально известно о сочувствии Чернышевского тайному обществу «Земля и Воля»; подробнее я сказал об этом в своих комментариях к «Полному собранию сочинений и писем» Герцена (см. т. XVI).

Наконец, нам известно, что в начале 1860 года Чернышевский выявил свою радикальную политическую позицию в одном документе, который послал в «Колокол» Герцена. Я говорю о том «письме», которое за подписью «Русский человек» впервые тогда печатно поставило вопрос о разграничении радикалов с либералами, напугало последних до полной на момент паники и показало складывавшемуся радикализму и его вождю общие их задания.

[1]) *Николаев*, «Личные воспоминания о пребывании Н. Г. Чернышевского в каторге (в Александровском заводе) 1867—1872 гг.», М. 1906 г.

Сомневаться в принадлежности этого письма Чернышевскому могут только ученые à la Клочков. А. А. Слепцов, видный член тайного общества первой «Земли и Воли», категорически свидетельствует в своих воспоминаниях: «Писано Н. Г. Чернышевским и прочитано мне до отправления к Герцену». Всякий, кто действительно знает Н. Г., а не делает его таким, каким хочет видеть для разыгрывания и на нем своих кадетских конституционных рулад, прочитав этот документ, увидит, что иного автора и быть не могло.

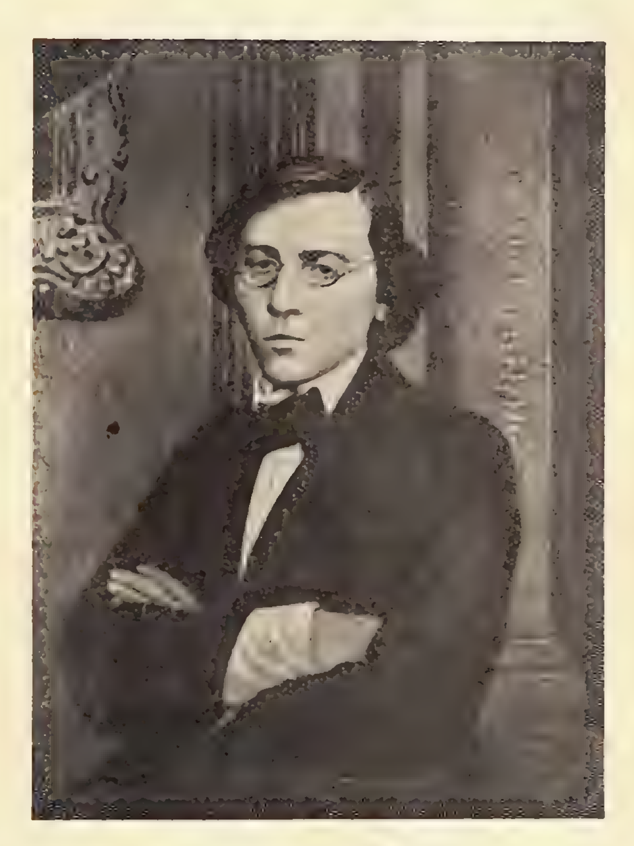
Привожу это весьма важное выражение мыслей Чернышевского полностью еще и для того, чтобы прекратить в нашей литературе неверные указания на идеологическую близость Н. Г. к «Великоруссу» в середине 1861 г. Может быть, зная, что *до* «Великорусса» он написал это свое знаменитое «письмо», а *после* него, в начале 1862 г. — «Письма без адреса», историки нашего революционного движения поймут, что пришло время отделить Чернышевского от Борисов Чичериных, Кавелиных, Иванов Тургеневых и пр. [1]).

«Милостивый Государь! На чужой стороне, в далекой Англии, вы, по собственным словам вашим, возвысили голос за русский народ, угнетаемый царскою властью; вы показали России, что такое свободное слово... и за то, вы это уже знаете, все, что есть живого и честного в России, с радостью, с восторгом встретило начало вашего предприятия, и все ждали, что вы станете обличителем царского гнета, что вы раскроете перед Россией источник ее вековых бедствий, — это несчастное идолопоклонство перед царским ликом, обнаружите всю гнусность верноподданнического раболепия. И что же? Вместо грозных обличений неправды, с берегов Темзы несутся к нам гимны Александру II, его супруге (столь пекущейся о любезном вам православии с отцом Бажановым). Вы взяли на себя великую роль, и потому каждое ваше слово должно быть глубоко взвешено и рассчитано, каждая строка в вашей газете должны быть делом рассчета, а не увлечения. Увлечение в деле политики бывает иногда хуже преступления... Помните ли, когда-то вы сказали, что России при

---

[1]) Особенно желательно видеть исправление этой ошибки в „Истории" М. Н. Покровского.

ее пробуждении может предстоять опасность, если либералы и народ не поймут друг друга, разойдутся, и что из этого может выйти страшное бедствие — новое торжество царской власти. Может быть, это пробуждение недалеко; царские шпицрутены щедро раздаваемые верноподданным за разбитие царских кабаков, разбудят Россию скорее, чем шопот нашей литературы о народных бедствиях, скорее мерных ударов вашего «Колокола» . . . . Но чем ближе пробуждение, тем сильнее грозит опасность, о которой вы говорили . . . и об отвращении которой вы не думаете . . . По всему видно, что о России настоящей вы имеете ложное понятие, помещики - либералы, либералы - профессора, литераторы - либералы убаюкивают вас надеждами на прогрессивные стремления нашего правительства. Но не все же в России обманываются призраками . . . . Дело вот в чем: к концу царствования Николая все люди, искренно и глубоко любящие Россию, пришли к убеждению, что только силою можно вырвать у царской власти человеческие права для народа, что только те права прочны, которые завоеваны, и что то, что дается, то легко и отнимается. Николай умер, все обрадовались, и энергические мысли заменились сладостными надеждами, и поэтому теперь становится жаль Николая. Да, я всегда думал, что он скорее довел бы дело до конца; машина давно бы лопнула. Но Николай сам это понимал и при помощи Мандта предупредил неизбежную и грозную катастрофу. Война шла дурно, удар за ударом, поражение за поражением; глухой ропот поднимался из - под земли! Вы писали в первой «Полярной Звезде», что народ в этой войне шел вместе с царем, и потому царь будет зависеть от народа. Из этих слов видно только, что вы в вашем *прекрасном далеко* забыли, что такое русские газеты, и на слово поверили их возгласам о народном одушевлении за отечество. Правда, иногда случалось, что крепостные охотно шли в ополчение, но только потому, что они надеялись за это получить свободу. Но чтоб русский народ в эту войну за одно шел с царем, — нет. Я жил во время войны в глухой провинции, жил и таскался среди народа и смело скажу вам, что, когда англо - французы высадились в Крым, то народ ждал от них освобождения: крепостные от помещичьей неволи, раскольники ждали от них свободы вероисповедания. Подумайте об этом расположении умов народа в конце царствования Ни-



Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ.



колая, а вместе с тем о раздражении людей образованных, нагло на каждом шагу оскорбляемых николаевским деспотизмом, и мысль, что незабвенный мог бы не так спокойно кончить жизнь, не покажется вам мечтою. Да, как говорит какой-то поэт, «счастие было так близко, так возможно». Тогда люди прогресса из так называемых образованных сословий не разошлись бы с народом, а теперь это возможно и вот почему: с начала царствования Александра II немного распустился ошейник, туго натянутый Николаем, и мы чуть-чуть не подумали, что мы уже свободны, а после издания рескриптов все очутились в чаду, как будто, дело было кончено, крестьяне свободны и с землей. Все заговорили об умеренности, обширном прогрессе, забывши, что дело крестьян вручено помещикам, которые охулки не положат на руку свою. Поднялся такой чад от либеральных курений Александру II, что ничего нельзя было разглядеть, но, опустившись к земле (что делают крестьяне во время топки в курных избах), можно еще было не отчаиваться. Вслушиваясь в крестьянские толки, можно было с радостью видеть, что народ не увлечет 12-ть лет рабства под гнетом переходного состояния и что мысль, наделят ли крестьян землею, у народа была на первом плане. А либералы? Профессора, литераторы пустили тотчас же в ход эстляндские, прусские и всякие положения, которые отнимали у крестьян землю. Догадливы наши либералы! Да и теперь большая часть из них еще не разрешила себе вопроса насчет крестьянской земли. А в правительстве в каком положении в настоящее время крестьянский вопрос? В большей части губернских комитетов положили страшные цены за земли; центральный комитет делает чорт знает что: сегодня решает отпускать с землею, завтра без земли, даже, кажется, не совсем брошена мысль о переходном состоянии. Среди этих бесполезных толков желания крестьян растут; при появлении рескриптов можно было еще спокойно взять за землю дорогую цену, крестьяне охотно бы заплатили, лишь бы избавиться от переходного состояния; теперь они спохватились уже, что нечего платить за вещь 50 целковых, которая стоит 7-мь. Вместе с этим растут и заблуждения либералов; они все еще надеются мирного и безобидного для крестьян решения вопроса.... Одним словом, крестьяне и либералы идут в разные стороны. Крестьяне, которых поме-

щики тиранят теперь с каким-то особенным ожесточением, готовы с отчаяния взяться за топоры, а либералы проповедуют в эту пору умеренность, исторический постепенный прогресс и, кто их знает, что еще. Что из этого выйдет? Выйдет ли из этого, в случае, если народ без руководителей возьмется за топор, путаница, в которой царь, как в мутной воде, половит рыбки, или выйдет что-нибудь и хорошее, но вместе с Собакевичами и Ноздревыми погибнет и наше всякое либеральное поколение, не сумевши пристать к народному движению и руководить им? Если выйдет первое, то ужасно; если второе, то, разумеется, жалеть нечего. Что жалеть об этих франтах в желтых перчатках, толкующих о «*демокраси*» в Америке и не знающих, что делать дома; об этих франтах, проникнутых презрением к народу, уведенных, что из русского народа ничего не выйдет, хотя, в сущности, не выйдет из них-то ничего... Но об этих господах толковать нечего; есть другого сорта люди, которые желают действительно народу добра, но не видят перед собою пропасти и с пылкими надеждами, увлеченные в общий водоворот умеренности, ждут всего от правительства и дождутся, как их Александр засадит в крепость за пылкие надежды, если они будут жаловаться, что последние не исполнились, или народ подведет под один уровень с своими притеснителями. Что же сделано вами для отвращения этой грядущей беды? Вы, смущенные голосами либералов-бар, вы после первых номеров «Колокола» переменили тон. Вы заговорили благосклонно об августейшей фамилии; об августейших путешественниках говорили уже иначе, чем об августейшей путешественнице; зато с особенною яростью напали на Орловых, Паниных, Закревских: в них беда, они мешают Александру II! Бедный Александр II! Мне жаль его; видите, его принуждают так окружать себя... Бедное дитя, мне жаль его! Он желает России добра, но злодеи окружающие мешают ему! И вот вы, вы — автор «*С того берега*» и «*Писем из Италии*», поете ту же песню, которая сотни лет губит Россию. Вы не должны ни минуты забывать, что он — самодержавный царь, что от его воли зависит прогнать всех этих господ, как он прогнал Клейнмихеля. Но Клейнмихеля нужно было ему прогнать, по известному правилу Маккиавелли — в новое царствование жертвовать народной ненависти любимым министром прежнего царствования, и вот

Клейнмихель очутился козлом очищения за царствование Николая. Согласитесь, ведь, жертва ничтожна? Но как бы то ни было, либералы восторгались и этим фактом, забыв, что Николай так же прогнал Аркачеева; что же из этого? Неужели на эту удочку всегда будут поддаваться? Или, может быть, вы серьезно убеждены, что Александр слушается вашего «Колокола»? Полноте... Сколько раз вы кричали: «долой Закревского, долой старого холопа!», а старый холоп все правил Москвой, пока собственная дочь не уходила его. Да разве Москва за свою глупую любовь к царям стоит лучшего губернатора? Будет с нее и такого... Говорят даже, Александр II нарочно его держал губернатором, чтобы не показать, что он слушает «Колокола». Это может быть. И это нисколько не противоречит слуху, что вы переписываетесь с императрицей. Что же, она может вас уверять, что муж ее желает России счастия и даже свободы, но что теперь рано. Так обольстил, по рассказу Мицкевича, Николай I Пушкина. Помните ли этот рассказ, когда Николай призвал к себе Пушкина и сказал ему: «Ты меня ненавидишь за то, что я раздавил ту партию, к которой ты принадлежал; но, верь мне, я так же люблю Россию, я не враг русскому народу, я ему желаю свободы, но ему нужно «сперва укрепиться». И 30 лет укреплял он русский народ. Может быть, этот анекдот и — выдумка, но он в царском духе, т.-е. брать обольщением, обманом там, где неловко употребить силу. Но как бы то ни было, сближение с двором погубило Пушкина... Как ни чисты ваши побуждения, но, я уверен, придет время, — вы пожалеете о своем снисхождении к августейшему дому. Посмотрите — Александр II скоро покажет николаевские зубы. Не увлекайтесь толками о нашем прогрессе, мы все еще стоим на одном месте; во время великого крестьянского вопроса нам дали на потеху, для развлечения нашего внимания, безыменную гласность; но чуть дело коснется дела, — тут и прихлопнут. Так и теперь господин Галилеянин запретил писать о духовенстве и об откупах. Нет, не обманывайтесь надеждами и не вводите в заблуждение других, не отнимайте энергии, когда она многим пригодилась бы. Надежда в деле политики — золотая цепь, которую легко обратит в кандалы подающий ее. В то время, как вы снисходительны стали к августейшему дому, само православие в лице умнейших своих

представителей желало бы отделаться от союза с ним. Да, в духовенстве являются люди, которые прямо говорят, что правительство своею опекою убьет православие, но, к счастью, ни Григорий, ни Филарет не понимают этого! Так пусть они вместе гибнут, но вам какое дело до этих догнивающих трупов? Притом Галилеянин продолжает так ревновать о вере, что раскольники толпами бегут в Австрию и Турцию, даже вешают у себя на стенах портреты Франца-Иосифа вместо Александра II. Вот подарок славянофилам! Что, если Франц-Иосиф вздумает дать австрийским славянам свободную конституцию? ведь, роль между Голштинцами и Габсбургами переменится. Вот была бы потеха! Нет, наше положение ужасно, невыносимо, *и только топор может нас избавить, и ничто, кроме топора, не поможет!* Эту мысль вам, кажется, высказывали, и оно удивительно верно, — *другого спасения нет.* Вы все сделали, что могли, чтобы содействовать мирному решению дела, перемените же тон, и пусть ваш «Колокол» благовестит не к молебну, а звонит набат! *К топору зовите Русь.* — Прощайте и помните, что сотни лет уже губит Русь вера в добрые намерения царей. Не вам ее поддерживать.

«С глубоким к вам уважением

Русский человек.

«Я просил бы напечатать вас это письмо, и, если вы печатаете письма врагов ваших, то отчего же бы не напечатать письмо одного из друзей ваших?» [1].

Современники не напрасно были убеждены, что Чернышевский принимает активное участие в революционной работе.

В этом отношении очень интересен один аноним, полученный Н. Г. в конце 1861 года от какого-то неведомого злобствовавшего агрария. Он показывает, какой репутацией пользовался всегда скромный Чернышевский.

«Г-н Чернышевский! О пропаганде Вы знаете; Вы ей сочувствуете; поговорим о ней. Вы, наконец, пережили себя, нехотя; Вы говорите о наших собраниях, протягиваете руку дворянству; но кого Вы этим обманете? Неужели ваша приветливая улыбка украсит вашу медузину голову? Неужели мы не видим Вас с но-

---

[1]) «Колокол» 1860 г., 1 марта, № 64. Курсив в последнем абзаце мой.

жом в руках, в крови по локоть? Неужели мы можем сочувствовать заклятым социалистам (направление вашего журнала нам понятно, да и «Великорусс» — ваше произведение), которые ищут и будут искать нашей погибели, которые с маратовским восторгом принесут в жертву, для осуществления своих бредней, наши имущества, нас самих, наши семейства?! Кто во главе движения? Желчный, злобный социалист - мужикофил Искандер, хитро упрятавший в свои карманы миллиона два русских денег и спокойно поджигающий вдали несчастную русскую молодежь. А Вы? Да, Вы его лакеи. У Вас не станет духу обречь себя даже на изгнание. Скажите, пожалуйста, неужели же Вы думаете, что мы настолько просты, что будем жертвовать собой ради социализма, признанного наукою несчастным произведением больного ума?! Допустим, что идеи социализма осуществимы, то все - таки они осуществимы в стране, где нравственное развитие всей массы слишком велико, но никак не в стране монголов, шамсугов и т. д. Поверьте, мужички наши мало чем нравственнее этих милых народов. В нашем народе есть добрые начала, но они еще в зародыше, и за развитие их нужно взяться умно, практично, без нежностей, а нежностей ваших они не поймут, наплюют они на Вас и найдут себе другого Антона Петрова, о котором так искренно сожалеет ваша хамская натура. Не вверимся же мы Вам, человеку или совершенно непрактичному, или совершенно подлому: вспомните, в какую цену вы оценили наши имения. Кого Вы презираете? Лучшее сословие в России, дворянство. На кого Вы надеетесь? На полудикое сословие мужиков, людей, религия которых заключается в одной еде и гимнастических упражнениях. Вы хотите безусловной демократии. Мы видим, до чего довела грязная демократия Францию, до чего доводит она великую республику Вашингтона. Да, дворянство — лучшее сословие; нашими деньгами поддерживается журналистика; при всей непрактичности нашего воспитания, в чем виноваты наши сентиментальные наставники, мы улучшили и улучшаем сельское хозяйство; мы давали и даем честнейших должностных лиц. Обратите внимание на громадную разницу между выборными и коронными; взгляните на добросовестную деятельность взятых из среды нашей мировых посредников. Вы этого не знаете. Вы говорите о провинции, не потрудившись даже узнать о ней. Мы

то есть наши офицеры - дворяне, сделали из русской армии силу, наводящую ужас воспоминанием о Севастополе и на хвастливых французов, и на стоических англичан. Вы скажете, что мы же обокрали Россию. Ложь: обокрали ее бюрократы, а истые дворяне дальше поручика не служат. Мы хладнокровно встретили разыгравшиеся страсти временно - обязанных, опьяневших от данной им свободы и, действуя снисходительно, добросовестно, мужественно, сохранили и сохраним мужественное спокойствие. Кого же вы пугаете?! Ха, ха, ха!.. Мы — люди благородные и потому бесстрашно встретим смерть, защищая права законные, несомненные. Совесть у нас чиста. Вашей хамской натуре это непонятно. Впрочем, опасности большой нет. Вникнем в дело: кто угрожает и кем угрожаем? Вы, господа, социалисты двух родов: социалисты бесштанные, которые, как плотоядные птицы, нетерпеливо ждут поживиться мертвечиной, и социалисты сентиментальные, которые за несчастные писульки попадают под розги, а иногда и в каторгу. Как это трогательно, но как же пошло и глупо. Кровожадность у вас волчья, да слабость овечья. Есть рьяные, да их немного. Вы не умеете вооружить Петербург и думаете взволновать целую Россию. Вы сами никуда не годитесь и думаете, что грязная лапа мужика выведет Вас на дорогу. Заметьте, впрочем, что мы с Вами поступать будем покруче, чем поступают с Вами в столице. Нас много, теперь мы настороже и, поверьте, не станем с Вами нежничать. Кем Вы угрожаете и на кого хотите действовать? На студентов. Действительно, прекрасная молодежь; но ведь по окончании курса эти мотыльки, по большей части, наперекор зоологии, обращаются в червячков. В особенности семинаристы, которые и в аудитории вносят свой собственный запах. На купцов и мещан — но им нет времени: обмерить, обвесить, рассыропить водку — это нелегко, всего вдруг не сделаешь. Дальше что: духовенство? — это сословие ни рыба, ни рак; полудикие мужики? — я уже о них сказал; они могут и должны быть пока в ежовых, — понимаете... Притом же государственные крестьяне не только без участия, но, кажется, даже с некоторою злобою смотрят на временно - обязанных. Да и временно - обязанные начинают понимать, что быт их значительно улучшен, и что нельзя ограбить одних в пользу других. Притом нужно сказать, они никогда не разделяли ваших

литературных убеждений, а потому и не смотрели на нас, как на злодеев. Дворовые оставляют нас неохотно; крестьяне не спешат заводить новые порядки.

«Одним словом, мы всего ожидаем от государя, которому не мешает, впрочем, вспомнить свои же слова московскому дворянству: «движение должно начинаться сверху, а не снизу». Мы будем просить его избавить нас от нашей болячки — Польши, которая вместе с остзейскими губерниями взяла, кажется, подряд на поставку нам чиновников-бюрократов. Считаем не лишним заметить Вам, г-н Чернышевский, что мы не желаем видеть на престоле какого-нибудь Антона Петрова, и, если действительно произойдет кровавое волнение, то мы найдем Вас, Искандера или кого-нибудь из Вашего семейства, и, вероятно, Вы не успеете еще запастись телохранителями».

Люди, не пользующиеся видным влиянием, таких писем не получают...

Литературный мир тоже считал Чернышевского очень влиятельным в революционном кругу. Припомните рассказ самого Достоевского, как тот в 1862 году явился к Н. Г. и уговаривал его подействовать на составителей какой-то прокламации в сторону их вразумления [1].

Таково же, повидимому, было убеждение и правящих сфер. В воспоминаниях Шелгунова есть такой рассказ кн. Суворова-Рымникского, бывшего петербургского генерал-губернатора, человека неглупого и не ставшего бы говорить неправду. «Я поступал иначе, — говорил Суворов Шелгунову вскоре после своей отставки вслед за каракозовским покушением. — Мне доносят, что подготовляется движение. Я посылаю за Чернышевским, говорю ему: «пожалуйста, устройте, чтобы этого не было». Он дает слово мне, и я еду к государю и докладываю, что все будет спокойно. Вот как я поступал!» Записывая это, Шелгунов заметил: «пишу с буквальной точностью, слышу эти слова, как бы теперь». Конечно, это не значит, что Суворов при по-

[1] «Дневник писателя», IV. Достоевский ошибочно называет эту прокламацию — «К молодому поколению»: этому противоречит его же указание, что вся она состояла из десяти строк. Прокламация Михайлова была очень велика.

мощи Чернышевского подавлял и парализовал революционные проявления. Чернышевский ни в каком случае не занял бы такой позиции. Но, весьма вероятно, что некоторые возможные проявления общественного неудовольствия и демонстрации и были предотвращены беседою с Н. Г., пользовавшимся таким влиянием и авторитетом, что его совет остановиться, снабженный достаточно веской аргументацией, принимался к исполнению.

Сам Чернышевский хорошо видел, какими глазами смотрело на него жандармско-полицейское око. Он неоднократно отказывался от участия в таких общественных начинаниях, которыя, благодаря его присутствию, могли бы быть взяты под особо внимательное попечение.

Нужно думать (а к этому заключению приводят и беседы с хранящим архив отца М. Н. Чернышевским), что революционная деятельность Н. Г., обставленная по тогдашним временам необыкновенно конспиративно, так и не вскроется для нас. Она унесена им в могилу [1]).

Какое же преступление было поставлено ему в вину правительством Александра II?

Прежде всего, не одно, а два. Первое — сочинение прокламации «К барским крестьянам», второе — приготовление к возмущению. Было еще и третье — «противозаконные сношения с изгнанником Герценом», но оно сочтено недоказанным.

---

[1]) В первой книге изданного главным управлением архивным делом «Исторического Архива» помещена статья (сплошь основанная на данных литературы, без какого бы то ни было привлечения к исследованию неизданных документов, что вряд ли должно входить в план подобного издания) А. Хоментовской «Н. Г. Чернышевский и подпольная литература начала 60-х годов», в которой автор пытался доказать «несомненное» участие Чернышевского в «Великоруссе»; потратив десятки страниц на свою аргументацию, местами обнаруживающую недостаточное знакомство с литературой того времени и о той эпохе, автор был бы, повидимому, очень удивлен, если бы знал, что «анонимный корреспондент» Герцена, подписавшийся в марте 1860 г. «Русским человеком», и есть именно Чернышевский... Это одно совершенно опрокидывает все основное содержание работы гр. Хоментовской.

В поисках за уликами.

I.

После майских пожаров 1862 г., правительство, опираясь на дворянскую и буржуазную часть общества, испугавшегося нароставшего революционного настроения, стало в курс реакции и пошло в нем все тверже и определеннее. Два влиятельных журнала: «Современник» и «Русское Слово» были закрыты в начале июня. Учреждена особая следственная комиссия, сыгравшая большую роль в вскрытии современной революционной работы. Чернышевский, увидя возможность хоть немного отдохнуть от утомлявшей его журнальной работы, хлопотал о поездке с семьей в Саратов. Спешно продавались вещи, ликвидировались некоторые дела и пр. В это время Чернышевскому пришлось быть у управляющего III Отделением Потапова по поводу какой-то дерзости одного гвардейского офицера относительно его жены. В разговоре Н. Г. спросил генерала, не имеет ли правительство каких-нибудь подозрений против него, и может ли он спокойно ехать на родину. Потапов уверил, что ровно ничего не имеется[1]).

Но Потапав уже хитрил: Чернышевский был под наблюдением гораздо раньше, чем попал под арест. Так, 25 ноября 1861 г. в III Отделении была составлена памятная записка со слов одного из агентов, из которой видно, что Благосветлов, собиравший на похоронах Добролюбова какие-то деньги, не то на памятник Добролюбову, не то для Михайлова, которому вообще уже было собрано до 5.000 руб., и его приятель Гиероглифов «принадлежат к обществу Чернышевского и компании». «Сей последний уходил вчера со двора в 9½ ч. и вернулся домой в 2½ ч. Приезжий из Москвы вовсе не отлучался из квартиры Чернышевского, а занимался у него в кабинете до 3 ч. ночи. Вечером, в числе посетителей, у Чернышевского были артиллерийский офицер и студент»... В самом

[1]) *Н. В. Рейнгардт*, «Н. Г. Чернышевский», «Рус. Стар.» 1905 г., II 470—471.

же начале июня 1862 г., а именно 5-го числа, Потапов направил в следственную комиссию кн. А. Ф. Голицына следующий лично им полученный анонимный донос:

«Что вы делаете, пожалейте Россию, пожалейте Царя! Вот разговор, слышанный мною вчера в обществе профессоров. Правительство запрещает всякий вздор печатать, а не видит, какие идеи проводит Чернышевский — это коновод юношей — направление корпусных юношей дано им [1] — это хитрый социалист; он мне сам сказал (говор. проф.), что «я настолько умен, что меня никогда не уличат». За пустяки сослали Павлова и много других промахов делаете, а этого вредного агитатора терпите. Неужели не найдете средств спасти нас от такого зловредного человека! Никто вам в глаза не скажет, что Чернышевский — язва всему, потому что сочтут его доносчиком — я вам пишу, не подписываясь, потому, что вы спросите, кто говорил — а вы знаете, что многое говорят в обществе — сказали бы Потапову — но никогда не скажут жандарму. Передаю вам впечатление, вынесенное из общества людей, десятки лет [2]) знающих Чернышевского — бывших его приятелей, но теперь, видя его тенденции уже не на словах, а в действиях, все весьма либеральные люди настолько благоразумные, что они сознают необходимость существования у нас монархизма — отдалились от него и убеждены, что ежели вы не удалите его, то быть беде — будет кровь — ему нет места в России — везде он опасен — разве в Березове или Гижинске — не я говорю это, говорили ученые дельные люди, от всей души желающие конституции, но путем закона — Земской думы, но по призыву Царя — не даст Царь ни того, ни другого, Господь ему судья, а крови не минуете и нас всех сгубите — это шайка бешеных демагогов, отчаянные головы — это «Молодая Россия» выказала вам в своем проспекте все зверские ее наклонности быть может их перебьют и сколько невинной крови за них прольется! Тут же слышал, что в Воронеже, в Саратове, в Тамбове, везде есть комитеты из подобных социалистов и везде они разжигают молодежь. Ник. Утин —

---

[1]) Чернышевский был одно время преподавателем во 2-м кадетском корпусе.

[2]) Очевидный вздор: Чернышевскому тогда было 34 года.

правая рука Чернышевского — юношу бы за границу [1]), но навсегда, а Николая Гавриловича — куда хотите, но скорее отнимите у него возможность действовать.

«Я сам не знаком с этими злодеями — пишу, что вчера случайно слышал — не доискивайтесь кто я — к чему вам? В доносчики не гожусь, а услышу что либо подобное — напишу — теперь каждый честный человек обязан указывать Правительству все, что слышит, что знает, ибо общество в опасности, сорванцы бездомные на все готовы и вам дремать нельзя; на вас грех падет, коли допустите их до резни, а она будет чуть задремлете или станете довольствоваться полумерами. Время николаевское ушло — распустили однажды, теперь не совладаете, — выхода другого нет, как земская дума; боитесь дворянства — пошумят только, если потребуют конституции то путем законным она не страшна для Царя, а эта бешеная шайка жаждет крови, ужасов и пойдет напролом, не пренебрегайте ею.

«Избавте нас от Чернышевского — ради общего спокойствия» [2]).

Донос этот писан чьим-то очень красивым мелким почерком, и можно утверждать — неизмененным. Нет сомнения, что автор тоже столбовой крепостник.

Таким образом комиссии (где сам Потапов был членом), разыскивавшей по России крамолу, напоминалось о существовании Чернышевского... Но вот в конце июня III Отделение получает сведения, что 27-го числа из Лондона выедет в Россию некий Павел Ветошников и будет везти с собой довольно много писем Бакунина, Герцена, Огарева и Кельсиева к самым разнообразным лицам... Разумеется, сейчас же были приняты меры, и Ветошников был арестован на границе со всей корреспонденцией... Донес «гость» Герцена Г. Г. Перетц.

После беглого разбора ее в III Отделении нашли, между прочим, два письма «лондонских беглецов» Герцена и Огарева. Приведу их полностью:

---

[1]) Николай Утин и бежал туда вскоре.

[2]) Отрывки из этого письма приведены в сенатской записке, но неисправно. В таком же виде их цитируют оттуда и некоторые авторы.

1.

«Милостивый государь,

Николай Александрович,

«На письмо ваше, в котором вы спрашиваете мое согласие на издание моих сочинений, напечатанных в России, — честь имею уведомить вас, что я совершенно согласен на ваше предложение. Следующие деньги, т. е. 10 процентов с получаемой от продажи суммы, предоставляю моим дочерям.

«Уведомляя вас, милостивый государь, честь имею прибыть вашим покорным слугою, *Александр Герцен.*

«8/20 июня 1862. Лондон. Орсетт Гоус, Вестборн Террас. М. Г. Николая Александровичу Серно - Соловьевичу в С. - Петербург».

2.

«Давно не удавалось побеседовать с вами, дорогой друг. В минуту жизни трудную — мы как - то разобщены, и коротенькие вести *не достаточно* дают пищи для людей, жаждущих подробностей. Но минута жизни трудная, покачаясь из стороны в сторону, пройдет к осени. Чуть ли даже не так досконально пройдет, что и вовсе заглохнет без следа. Что же останется? Останется общий фонд — не минуты, а годины трудной. Мне кажется, что уяснить необходимость земского собора становится делом обязательным. Губернские земские думы, о которых пророчат к тысячелетию [1]), успокоив умы на полгода, дадут новый элемент удобства в выборах и опять приведут к необходимости земского собора. Состоится ли он? Будет ли он чем - то переходным или действительно организует — как знать! Но я думаю, что из всех последних событий вы убедитесь, что мое озлобление на литературную дрязгу не было слишком пусто; мое озлобление шло к тому, что я вообще в петербургской суете не вижу исхода. Тут нет живой жизни, нет построения будущего и нет места для коренного движения и преобразования. Опять прихожу к моей теме, шепчу и кричу ее вам в уши, чтоб она неотступно вас пре-

---

[1]) 8 сентября 1862 г., по совету лакейской Академии наук, правительство определило праздновать... 1000-летие России.

следовала: живая жизнь в провинциях; если у вас нет корня в провинциях — ваша работа не пойдет в рост. Я даже рад, что Петербург не в силах ничего сделать, потому что все, что он ни сделает, будет иметь результат только тот же — отместку провинций. Уясните же . . . [1]) провинциям, ищите друзей в провинциях. Вы только в провинциях встретите народ, а не мещан-извозчиков, для которых всего менее понятна коренная цель — земской земли [2]).

«Мне жаль молодежь, которой я не обвиняю, потому что за молодость обвинять нельзя; это — физиолого-патологическое явление, которое быстро проходит. Мне жаль и ваших мещан-извозчиков — они не виноваты. Рознь верхушек уже слишком велика, чтобы понять друг друга, и сближение их всего меньше возможно на невской набережной и Марсовом поле, — оно возможно только при реках черноморско-каспийских.

«Оставьте мертвым погребать мертвых. Работайте в провинциях.

«Крепко обнимаю ваше общество. Вестей побольше — ради бога. N [3]) — золотая душа, преданная бескорыстно, преданная наивно, до святости [4]).

«Кажется, речь о нашем сбежавшем восточном приятеле. Поклонитесь ему — это преблагороднейший человек; скажите ему, что мы помним и любим его.

«Прилагаю официальное письмо; если оно не так написано — я готов написать и другое. 10% я поставил зря, — уменьшайте и увеличивайте, делайте, как знаете.

«Чтоб не забыть, прибавлю еще маленькую просьбу. Если вам нельзя, любезный друг, самим приезжать с письмами, то пишите их так, чтобы можно было хоть половину разобрать. Мы мучились день целый и то не все поняли. Вместо воскресных школ я становлюсь . . . [5]).

---

[1]) Одно слово не могло быть прочтено, потому что испорчено шнуром, скрепляющим дело.

[2]) Намек на столичных реформаторов, изучавших народ по петербургским извозчикам.

[3]) Под этой буквой скрыт — М. Л. Налбандян.

[4]) До сих пор письмо писано Огаревым, дальше — Герценом.

[5]) Одно слово испорчено шнуром.

«Да вы не сердитесь.

«А какова «Совр. Летоп.»? Вот я вам вылупил *хризеиды* — Кат. и Леонт.» [1]).

«Если скоро будет оказия, напишите. Знаете ли вы Г. Перетца? [2]). Он, кажется, очень хороший и образованный человек.

«Дайте вашу руку. У меня сегодня болит голова — и потому написал один вздор. Прощайте.

«Мы готовы издавать «Совр.» [3]) здесь с Черныш. [4]) или в Женеве. Печатать предложение об этом. Как вы думаете?»

Как видит читатель, имя Чернышевского упомянуто лишь один раз, но этого было достаточно, чтобы на другой же день после ознакомления с корреспонденцией, взятой у Ветошникова, а именно 7 июля, арестовать Н. А. Серно-Соловьевича и Чернышевского. Из отношения управляющего III Отделением к председателю следственной комиссии кн. А. Ф. Голицыну от 9 июля видно, что упоминание имени Н. Г. в письме Герцена и было внешней причиной его ареста.

Арест Чернышевского произошел совершенно для него неожиданно, в присутствии бывших у него в то время М. А. Антоновича и доктора П. И. Бокова [5]).

Утром 7 июля в квартиру Чернышевского явились обыскивавший Михайлова жандармский полковник Ракеев и квартальный надзиратель Мадьянов, запечатали все бумаги и часть книг в холщевый мешок, который и представили в III Отделение, а все остальные книги, по заявлению Н. Г., 2.400 томов, корректуры и материалы для издания «Сочинений» Добролюбова опечатали

---

[1]) Речь идет о «Современной Летописи» Каткова и Леонтьева.

[2]) Г. Перетц был одним из русских, довольно часто посещавших Герцена летом 1862 г. Потом он служил в III Отделении...

[3]) Речь идет о «Современнике» Панаева и Некрасова, в котором главная роль принадлежала Чернышевскому. 19 июня, по высочайшему повелению, были приостановлены на 8 месяцев «Современник» и «Русское Слово»; еще 8-го Герцен имел сведения о возможности такой кары и потому сделал свое предложение. Не получив ответа от Серно-Соловьевича, он и печатно предложил издавать у себя «Современник».

[4]) Конечно, Чернышевский.

[5]) Подробности этого ареста изложены в заметке первого из них в мартовской книжке «Былого» за 1906 год.

в запертом кабинете. Сам Чернышевский сразу был отвезен в Алексеевский равелин Петропавловской крепости.

Можно себе представить впечатление, произведенное этим событием на левую интеллигенцию!.. По словам Пантелеева, «если сказать, что арест Чернышевского на всех произвел сильное впечатление, то это значит выразиться слишком слабо: с напряженным вниманием прислушивались к малейшим известиям о ходе его процесса»...

Осмотр его бумаг комиссия поручила своему члену Каменскому, а опечатанных на квартире книг — Турунову, в помощь которому министром внутренних дел были назначены три чиновника особых поручений: Фридберг, Мороз и Третьяков. 17 числа все они, в сопровождении еще: старшего чиновника III Отделения Кайзера фон-Нилькгейма, состоящего при обер-полицмейстере поручика Ниппе, квартального надзирателя Мадьянова и стороннего свидетеля — отставн. кол. секретаря Сергея Николаевича Пыпина, прибыли на квартиру Н. Г. Окончив осмотр, отложили еще несколько книг и пакетов для передачи в III Отделение, а остальное запечатали и поручили на хранение полиции [1]. На другой день печати были сняты, и все имущество Чернышевского сдано Мадьяновым С. Н. Пыпину [2].

Высочайше учрежденная следственная комиссия была сдана царем в верные руки опричника кн. А. Ф. Голицына, отличившегося еще в деле Герцена, Огарева и др. в 1830-х годах, при неудобозабываемом Никола I. Трогательная связь Голицына со всеми шефами жандармов держала его всегда на виду, и когда полиберальничевшему первое время Александру II понадобился человек, способный бороться с крамолой, все указали на того, кого царское око и само держало на примете. Гостиный шаркун

---

[1]) М. А. Антонович рассказывал мне, что он был на этом обыске со специальною целью выручить из рук комиссии материалы по собранию сочинений Добролюбова, которое не было доведено Чернышевским до конца. Конец последнего тома был полностью просмотрен и прокорректирован уже Антоновичем. Турунов отнесся внимательно к его заявлению о возврате запечатанных материалов. При этом удалось выручить и «Дневник» Добролюбова, переданный потом А. Н. Пыпину.

[2]) Жена и дети Чернышевского уехали в Саратов еще 3 июля.

и царский сводник, кн. В. А. Долгоруков не понял, что образование комиссии было актом недоверия к его способности занимать свое место, но, не допуская мысли о самостоятельном существовании комиссии, сумел подчинить ее себе, став в особо важных случаях докладчиком комиссии у царя. Голицын был человеком без всяких принципов, способным на инквизиторство и подлоги, на все приемы Малюты Скуратова в костюме камергера.

От III Отделения членом комиссии был назначен А. Л. Потапов, человек которого достаточно аттестует занимаемое им место начальника этого застенка и все то, что читатель увидит в последующем ходе развертывающегося перед ним дела.

От министерства внутренних дел — С. Р. Жданов, опытный полицейский, бывший директор департамента полиции, блюдолиз и пресмыкавшийся перед Потаповым, как и перед всеми, кто хоть немного мог выдвинуть его по службе и выхлопотать внеочередную награду, в особенности денежную.

Вторым представителем того же министерства был Каменский, впоследствии член совета главного управления по делам печати, — безличный чиновник, довольно опытный в делах цензуры, которая предполагала и знание литературы; он ею специально в комиссии и занимался.

Третьим представителем мин. внутр. дел был М. Н. Турунов, — злостное ничтожество, в общем схожее с Каменским.

От министерства юстиции — М. Ф. Гедда, безмолвный чиновник, смирный укротитель русской крамолы, безвредный для комиссии блюститель законности.

Военное министерство было представлено свиты ген.-майором П. Н. Слепцовым, — лицом совершенно без физиономии.

Зато с очень проявленными физиономиями были три представителя полиции: от Спб. ген.-губернатора свиты ген.-майор К. И. Огарев, взяточник и кутила, друг Потапова, спб. обер-полицмейстер И. В. Анненков, только и бредивший искоренением начинавшейся крамолы, которую понимал не шире и не глубже своих будочников, и свиты ген.-майор А. М. Дренякин, отличавшийся жестокостью и безудержным произволом при усмирении крестьян в 1861—62 г.г., полицейский по призванию.

II.

Среди бумаг Н. Г. особенно заинтересовали всех две средней толщины тетради размером в писчий лист. Пробовали читать — ничего не понять. А написано так часто и мелко. Каменский, как ни старался, ровно ничего не понял, кроме того, что это «дневник». 7 августа решено было отправить его в III Отделение, отличавшееся искусством раскрытия самых замысловатых шифров. Но как ни старался Потапов, а должен был сознаться, что вверенная ему тайная канцелярия тоже бессильна, и направил «дневник» в министерство иностранных дел. Там проработали с месяц, и 15 сентября товарищ министра Муханов сообщил Потапову, что рукопись не шифрована, а писана только с самыми сложными сокращениями. Для удостоверения он приложил несколько страниц, написанных полностью, правда, всетаки, с очень значительными искажениями и пропусками, и при этом заметил, что при «всем желании со стороны министерства, по множеству текущих, не терпящих отлагательства дел, не было никакой возможности до настоящего времени разобрать всю рукопись, но из содержания разобранного можно думать, что слог этот имеет условный смысл». Министерство иностранных дел настолько простерло свою внимательность к «дневнику» Чернышевского, что не преминуло даже исследовать его на все возможные способы, при которых обыкновенно удается обнаружить тот или иной состав симпатических чернил, особый сорт скрывающей бумаги и пр. Но и чернила, и бумага оказались самыми обыкновенными.

Комиссию мало удовлетворил ответ Муханова. Имея теперь ключ, в виде нескольких развернутых страниц, она решила поручить добиться толку от «дневника» своему члену, сенатору Жданову.

Не мало интриговали комиссию и четыре картонные полоски, длиною около четверти аршина. Вдоль них слева были написаны по порядку буквы русского алфавита, а справа — цифры, начиная с 1. Все полоски содержали в себе буквально одно и то же... Шифр, шифр! — решила сначала комиссия, но потом как-то сама охладела, поняв, вероятно, что такими простыми шифрами не переписываются даже и дети.

Затем комиссия сочла стоящими серьезного внимания приведенный уже мною дворянский аноним и довольно пространное письмо Огарева и Герцена к неизвестному; обращение и все фамилии в нем подчищены перочинным ножом, — на самом деле оно адресовано к Н. Н. Обручеву, потом начальнику главного штаба, тогда профессору академии генерального штаба.

Привожу это письмо, относящееся к середине августа 1861 г.

Сначала написанное Огаревым:

«Ну, милый ( )[1], долго я думал и ждал, не поедет ли кто к вам, но не дождался и решился писать просто. С чего начать? Да уж начну с того, что стряхну злобу с сердца. Истинно жаль мне, что вас нет в Питере, потому что наши шалят. Вы спрашивали, что такое, что больно было слышать. Да то, что Черн. поручил тому господину, который в ( )[2] не попал, сказать нам, чтоб мы не завлекали юношество в литературный союз, что из этого ничего не выйдет. Конечно, никто так не уважает скептицизм, как я. Рассекая мир до математической точки, я дохожу до формулы 0∞, но это не мешает мне знать, что нуль также результат и $= + -$, и собственно есть предел. Что я не в состоянии наполнить бездну или черту, разделяющую логические определения от живого мира, не могу показать, каким образом предел переходит в действительность, и чему, какой формуле $= 0 \infty$, из этого не следует, чтоб я в ту минуту, когда надо дело делать, задал бы себе задачу: ну, а если из этого ничего не выйдет? Такой скептицизм равен тунеядству и составляет преступление. А между тем он человек с влиянием на юношество; на что ж это похоже? Ступайте в Питер, возьмите его за ворот, порастрясите и скажите: стыдно. Вскоре после этого, по случаю какой-то истории Рима, встречаем мы в «Совр.» (уже прежде смекнувши из довольно плохой критики в «Петерб. Ведом.») статью прямо против нас, т. е. что напрасно, мол, говорить, что в России есть возродительное общинное начало, которого в Европе нет, что общинное начало — вздор, что Европа не умирает, по-

---

[1]) Скобки стоят на месте подчищенных слов. Вероятно: «Николай Николаевич».

[2]) Вероятно «Лондон».

тому что одному человеку 60 лет, но зато другому 20 (как будто, историческая смерть есть вымирание людей, а не разложение общественных химических соединений известного порядка!), и что те, кто это говорят — дураки и лжецы, с намеком, что речь идет о нас, и забывая, что до сих пор сами держались этим знаменем. Зачем это битье по своим да еще действительно с преднамеренной ложью? Плохо дело! ( )! ( )! горе, когда личное самолюбие поднимает голову, завидуя или в отместку за неуважение к воровству какого-нибудь патрона! [1] Какая тут общественная деятельность, какое общее дело! Тут идет продажа, продажа правды и доблести из-за личных страстишек и Сидов; продажа *дела* из-за искусственного скептицизма, который даже не скептицизм, а просто сомнение в приложении *себя* к делу, без всякого понимания принципиального скептицизма. Вдобавок в этой статье сказано, что растение не умирает оттого, что питательные соки перестают в него из земли с любовью всасываться. Хорош скептицизм! Нет! поезжайте в Питер и скажите, что это стыдно, что так продавать Христа, т. е. правду и дело, непозволительно. Это то, что христиане называли преступлением против духа. Ну! будет об этом, только помните, что я считаю эти выходки не личной обидой, а *помехой делу*, поэтому и убежден, что вы обязаны щелкнуть дружески, но военным кулаком по такой дребедени.

«Вы видели, что ( ) [2] приложено, а теперь со стороны потребовали еще издания. Доказательство, что промаха не было Теперь вот что: о ( ) [3] людях написать было бы ( ) [4] дело, ( ) [5] язык известнее. Тройная форма присяги —

---

[1]) Намек на издателя «Современника» Некрасова, которого Герцен и Огарев несправедливо обвиняли в воровстве денег, принадлежавших второму.

[2]) Вероятно — «Что нужно народу?»; оно было напечатано в № 102 «Колокола» от 1 июля 1861 г. и тогда же было выпущено еще и небольшой брошюрой и большим листом.

[3]) Вероятно — военных.

[4]) Вероятно — хорошее.

[5]) Вероятно — вам этот. Вопрос о присяге поставлен в прокламации «Что нужно делать войску?», помещенной в № 111 «Колокола» 1861 г., иначе, но тройственность ее оставлена.

дело очень важное. Раз, присяга по природе или по породе: родившийся в Москве по породе присягнул не продавать Москвы татарам. Другое, присяга по истине: родившийся человеком, по рождению присягнул не продавать того, что считает за истину. Третье, присяга по службе, — дело приказанное, невольное, без внутреннего согласия и которому до такой степени никто не верит, что все крадут.

«Долго я думал о ( ) подписке ( ). Я, как величайший приверженец мелких капиталов, думаю, что 50 челов., жертвуя по 5 рублей в месяц, жертвуют в год 3.000 руб. На этот капитал много можно сделать. Можно дать трем приказчикам по 500 руб. для учреждения контор на трех самых торговых пунктах, как Нижегородская ярмарка, которая-нибудь из днепровских ярмарок и, смотря по надобности, Ирбит или иной урало-сибирский пункт. Можно на 500 или 1.000 руб. ( ) и 500 или 1.000 оставить на раз'езды. Заметьте, что это ежегодно и что число акционеров будет расти и что чуть ли ни на 2-й год можно уже будет производить не только комиссионерство, а пустить капитал в настоящую торговлю. Для этого капиталы не нужно отправлять за границу; достаточно небольшую раз'ездную сумму для комиссионеров-заподрядчиков. Вы заметьте, что петерб. торговля не требует ежегодных пожертвований, потому что сама компания налицо, что пожертвования требуются только для учреждения ярмарочных контор и выписок материалов из-за границы; петерб. компания всегда может вести свою изолированную торговлю на имеющийся капитал, но что действительное развитие оборотов все свое значение получит от контор и от общности торговых интересов. Надо вызвать капиталы, существующие около ярмарочных центров [1]).

«Думал я еще о плюсе и минусе, об отрицательном и положительном. Мне кажется, что кроме отрицания в наше время прожектерства надо развивать положительную сторону в проектах о будущем устройстве. Я страстно думаю о проекте местных банков; одной маленькой буквы не достает, чтобы поставить формулу совершенно ясно; я ее чувствую, она близка, месяц-два ра-

---

[1]) Весь этот абзац скрыто говорит о сборе денег для предполагавшегося тайного общества.

боты — и алгебраическая формула постановится; останется только сделать ее наглядною арифметически. Но есть и другие задачи, не экономические, но требующие также положительной формы. Напр., система рекрутства. Я рассчитываю так, что каждый холостой, с 17 лет, должен выучиться военному ремеслу в продолжение 6 мес., без всякой особой солдатской одежды, кроме дружинных значков; таким образом он будет одет на свой счет, а содержан на счет волости, где его maestro будет обучать строю и стрельбе в цель. Оружие от государства. А постоянная регулярная армия, 1.000 чел. на милл. душ, сведет число постоянного войска на 50 или 60 тыс., откуда будут взяты учителя для дружин и артиллерии. Это войско наемное из охотников. Рассчитав, сколько это даст военной силы вообще и как мало будет стоить, очевидно будет превосходство и народность такого устройства против существующего.

«Также нужны положительные проекты администрации и судебных учреждений. Теперь составляются при министерстве юстиции многие. Говорят, сенат будет только высшим апеляционным судом, а правительство берет себе только право смягчать приговоры. Госуд. совету дадут иную физиономию. Я надеюсь напечатать министерские проекты с разбором [1]. Но, кроме того, надо, чтоб кто может подумали и о положительной стороне, т. е. о проектах, более идущих к делу. Помещение их в печати при самом популярном изложении чрезвычайно важно. Если возможно ввести их в полемику, то вопросы уяснились бы быстро и язык становился бы с каждым днем доступнее. Поверьте, что мудренность языка лежит в не доскональной ясности мысли. Пока человек ищет, он не может сойти с научного изложения в популярное. Пока я развиваю алгебраическую формулу, я употребляю обычные знаки; когда я ее развил и уяснил себе доскональнo, я берусь при небольшом таланте рассказать ее на словах понятно каждому, хотя это и длинный перифраз. Но до окончательного развития формулы это невозможно. От этого так мало (и еще меньше удачных) популярных книг: наука сама еще не пришла в ясность, она живет своими средствами, специальными приемами и только ими может развиваться, иначе совсем запу-

---

[1]) После того печатались в «Колоколе».

тается; где же выражаться общими приемами, всем неподготовленным понятными?

«В ( ) поместили по поводу статьи ( ) статью о государств. банке. Прелесть! Хоть и видно, что кое-где цензура мешала, но какое благородство тона, определенность и *ясность* изложения! Просто — я его помянул, как мать сына, с таким удовольствием и любовью.

«Вопрос: я кончил разбор Положений и думаю, что он весьма полезен. В нынешних №№ местные пол; оно, может, и посуше, но небесполезно. В будущем и еще одном № — администрация[1]). Это опять очень интересно. Не напечатать ли все отдельной брошюрой? Мне кажется, что это было бы полезно. Как вам? Дайте сейчас ответ, ибо пока станок не разобран, перепечатание будет стоить ничего.

«Ну, засим прощайте. Устал; пожалуй, и вы устали читать. Лучше в другорядь напишу. Отвечайте немедленно для успокоения моей души. «Кол.» посылаю».

Приписка Герцена:

«( ) [2]) такую бездну написал, что я из любви к ближнему не буду писать много. Мы никогда бы не догадались, что Черныш. à la baron Vidil, ехавши дружески возле, вытянул меня арапником. Это я обязан «Спб. Ведомостям» — они указали. Впрочем, ( ) [3]) слишком серьезно это принимает. Я тут, как в пресловутом письме. Чич. [4]), больше всего дивлюсь ненужной запальчивости выражений; ругаться слишком простое средство и не есть патент на особую эстетичность. Если вы увидите ( ), кланяйтесь ему от меня; мне очень досадно, что я его не мог навестить ( ) — хлопот была бездна.

«Читал повесть Печерского (Мельникова) «Гриша» [5]). Ну, скажите, что же это за мерзость — ругать раскольников и де-

---

[1]) «Разбор» Огарева напечатан в нескольких №№ «Колокола» в 1861 г.

[2]) Вероятно—Огарев.

[3]) Вероятно — Огарев.

[4]) Письмо Б. Н. Чичерина, напечатанное в «Колоколе» 1858 г. против Герцена.

[5]) Помещена в мартовской книжке «Современника» за 1861 год.

лать уродливо-смешными! Экой такт! A propos, рекомендую вам небольшую статейку мою об открытии мощей Тихона.

«Будьте здоровы и прощайте».

Об этом письме будет говорить еще сам Чернышевский. Я сделаю лишь необходимую для читателя краткую историко-литературную справку, не останавливаясь здесь на интересном вопросе о разрыве Герцена и Огарева с Чернышевским и Добролюбовым, исследованном мною в комментариях к «Полному собранию сочинений и писем» Герцена.

Известно, как реагировал Герцен (а за ним и Огарев) на события 1848 года, которые ему удалось наблюдать лично. Он пришел к убеждению, что Западная Европа отжила свой век, что ей не возобновить истощенных жизненных элементов, не продолжить дела прогресса, что вся созидательная роль в истории должна принадлежать молодому русскому народу. Эта мысль с каждым годом становилась все ближе и ближе символом веры издателя «Колокола». Несомненно, в ней была наличность некоторой доли славянофильства, т. е. того политического учения, которому так не сочувствовал Чернышевский в целом, но в целом не сочувствовал ему и сам Герцен, меньше всего, вообще, способный итти в шорах партийного или группового миросозерцания. Н. Г. считал, что говорить о дряхлости Запада и о возродительной роли России значит играть в руку людей, не желавших коренным образом сверху до низу реформировать всю нашу жизнь и расчитывавших ограничиться крестьянской полуреформой. Мысль эту он высказывал неоднократно. В майской книжке «Современника» за 1861 г. он поместил статью «О причинах падения Рима (подражание Монтескье)», написанную по поводу выхода в свет перевода «Истории цивилизации во Франции от падения западной римской империи» Гизо. Не называя нигде Герцена, Чернышевский полемизировал там с его взглядом об изжитии Запада. Язык статьи местами резок. Например, показав нелогичность оспариваемого взгляда с точки зрения истории же, Чернышевский говорит: «Что за охота выказывать себя глупцом или лгуном». Что касается общинного землевладения, как средства для перестойки социальной жизни, которое только и имеется, однако, в России, то Н. Г. по этому поводу

отвечал: «Если сохранился у нас от патриархальных (диких) времен один принцип, несколько соответствующий одному из условий быта, к которому стремятся передовые народы, то ведь Западная Европа идет к осуществлению этого принципа совершенно независимо от нас... Европе тут позаимствоваться нечем и не для чего: у Европы свой ум в голове, и ум гораздо более развитой, чем у нас, и учиться ей у нас нечему, и помощи нашей не нужно ей; и то, что существует у нас по обычаю, неудовлетворительно для ее более развитых потребностей, более усовершенствованной техники; а для нас самих этот обычай пока еще очень хорош, а когда понадобится нам лучшее устройство, его введение будет значительно облегчено существованием прежнего обычая, представляющегося сходным по принципу с порядком, какой тогда понадобится для нас, и дающим удобное, просторное основание для этого нового порядка». При этом Чернышевский замечал еще, что, «кроме общинного землевладения, невозможно было самым усердным мечтателям открыть в нашем общественном и частном быте ни одного учреждения или хотя бы зародыша учреждения для предсказываемого ими обновления ветхой Европы нашею свежею помощью». Там же он обращал внимание Герцена и его единомышленников на их, по его мнению, коренную ошибку при констатировании мнимого исторического вырождения Европы, на то, что творящие истинное перерождение массы еще и не жили в Европе историческою жизнью, а на них-то и надо возлагать надежды, а не на Россию.

Статья эта, благодаря своему заглавию, не обратила бы на себя внимания в Лондоне, если бы не пространный и довольно глупый фельетон о ней пресловутого тогда Н. Воскобойникова в «Петербургских Ведомостях», в котором автор взял под свою защиту «лучших людей русского общества», оскорбленных Чернышевским.

Разумеется, такое письмо, на котором дата была выскоблена, фамилии и имена тоже, привлекало особое внимание комиссии Голицына, но она обнаружила полное неумение расшифровать его и, конечно, так и не дознались, что адресатом был видный профессор академии генерального штаба полковник Н. Н. Обручев.

Среди других бумаг более или менее обратили на себя внимание записки и письма Чернышевского к проф. И. Е. Андреевскому по поводу прекращения публичных лекций, письмо по тому же поводу историка Н. И. Костомарова, вырванный листик из «Дневника» Добролюбова и письмо к Чернышевскому М. Е. Салтыкова. Остановлюсь на них.

2 марта 1862 г., в присутствии многочисленной публики, на литературном вечере, устроенном Литературным Фондом, известный профессор П. В. Павлов, один из основателей русских воскресных школ, произнес речь по поводу исполнявшегося тысячелетия России, а 5 марта его уже выслали за это в Ветлугу. Тогда решено было прекратить чтение систематических лекций в залах Думы, перенесенных туда из университета после беспорядков осенью 1861 г., и хоть этим выразить посильный протест по адресу правительства. Некоторые профессора, и в том числе Н. И. Костомаров, не согласились на это. Молодежь собралась 8 марта на его лекцию и на заявление профессора о своем решении продолжать курс ответила скандалом... Большинство коллег Костомарова тоже решило чтение лекций продолжать. Так или иначе, а надо было уладить возможность уже нескольких и больших скандалов. За это взялся Чернышевский.

Он решил обратиться прежде всего к И. Е. Андреевскому, бывшему ближе других к комитету студентов, ведавшему лекциями, но Андреевский отказался от предложения Н. Г. «быть посредником между публикою и читавшими лекции профессорами», потому что сам принадлежал к их числу, и находил недостаточно удобным «формальный юридический способ», предлагаемый Н. Г. для раз'яснения разногласий о причине прекращения лекций.

На другой день Н. Г. ответил Андреевскому (кстати, отмечу отсутствие твердого знака в подлиннике):

«М. Г. Иван Ефимович. Из Вашего ответа на мое письмо от 17 марта я должен вывесть следующее заключение:

«Раз'яснение формальной стороны дела о прекращении лекций было бы невыгодно для профессоров, читавших лекции;

«если бы Вы не находили этого, Вы, вероятно, не затруднились бы сообщить им желание, выраженное в моем письме.

«Этот вывод так натурален, что я буду считать его верным, пока не будет доказано противное, и присваиваю себе формальное право публично выражать это мнение.

«С истинным уважением имею честь быть Вашим покорнейшим слугою. *Н. Чернышевский*».

18 марта 1862 г.

Андреевский отвечал 19-го, что вывод этот совершенно несправедлив, что способ не невыгоден для профессоров, а «не может выяснить существа дела», и заявлял, что Чернышевский не имеет права основывать свое мнение на его письме.

Н. Г. стремился выяснить дело и приготовил для Андреевского три вопроса, ответы на которые разрешали бы многое. Вот они: «1) Было ли во вторник, 6 марта, на квартире профессора В. Д. Спасовича собрание профессоров, читавших публичные лекции? 2) Было ли на этом собрании принято профессорами решение прекратить чтение публичных лекций? 3) Были ли даваемы профессорами формальные записки, сообщавшие распоряжавшимся лекциями студентам это намерение дававших записки профессоров прекратить чтение лекций?»

А вот и любопытное письмо Н. И. Костомарова к Чернышевскому:

«Посещение Ваше навело на меня грусть . . . мне стало больно; мне глубоко запали в душу Ваши слова . . . да, мы были когда - то друзьями [1]). Три года я боролся сам с собой и, наконец, решился и написал уже формулу, и готовился с нею ехать к вам... Вдруг курьер от Делянова с извещением, что лекции мои прекращены по распоряжению мин. н. просвещения.

«Прощайте, Николай Гаврилович. Во многом, что Вы говорили мне сегодня, я слышал голос любви и правды... хотя, всетаки, не знаю, в чем бы Вы могли упрекнуть мое поведение в прошедшей печальной истории с публичными лекциями: я действовал логически и справедливо; мне так кажется; я так уверен... а между тем Ваши слова так встревожили меня . . . неужели я ошибался? Я не вижу этого. А между тем Ваши слова звучали любовью и правдою...

---

[1]) В Саратове, до переезда Чернышевского в Петербур.

«Прощайте, Николай Гаврилович; мы, действительно, были когда-то друзьями... что развело нас? Не знаю. Но знаю, что более никогда не будем! Наши дороги разные. Вы меня раз, другой обругаете в вашем «Свистке» [1]), как уже было, со всеми возможнейшими извращениями дела, сообразно иезуитской мудрости, освящающей всякое средство для цели, а я в своих нервных увлечениях сделаю еще два-три шага, которые удалят меня еще более от Вас, и так будет между нами пропасть поглубже, чем та, которая разделяла богача от убогого Лазаря.

«О лекциях я ни мало не сожалею. И, однако, мне ужасно грустно, так грустно, что хоть в воду...

«Скучно на этом свете. Вы приезжали обвинять меня в самолюбии, в измене прежним убеждениям: последнее совершенно ложно; первое мне кажется ложным... Да неужели же правее меня те, которые теперь спасены прекращением (министерским предписанием) моих лекций от последствий, какие постичь их могли за свистки, ругательства и бросание яблоками, как они обещали? Неужели Вы можете ожидать чего-нибудь в будущем от таких *общественных деятелей?* Неужели, наконец, мы должны преклоняться перед всякою пошлостью, потому только, что она одевается в либеральную одежду? Воля Ваша, Николай Гаврилович; мне кажется, уж если кому, так именно Вам следовало бы таких героев бить по носу, а Вы их по головке гладите. Неужели Вы разделяете такое мнение, что закрытие лекций есть полезное дело, а не ребяческий фарс, каприз дитяти, которое, рассердившись на няньку, разобьет об пол чашку, стакан, что ему попадется под руки? Неужели не было бы лучше, еслибы лекции продолжались и публика приучалась к серьезному, живому, свободному слову? Утвердились бы они в Петербурге, принялись бы в провинциях, вошли бы в обычай, после вошло бы в обычай говорить публично и слушать. Мне кажется, это было бы одно из великолепнейших орудий обновления нашего общества, которого мы равно желаем. Смотря с такой точки зрения, я старался, во что бы то ни стало, удержать от падения учреждение, так недавно воздвигнутое... Оно пало; поднять его; я возобновлял свои лекции; за мною уже готовились делать три чело-

---

[1]) Отдел «Современника».

века; может быть, снова все связалось бы, все пошло бы попрежнему... Итак, вот что, а не мелкое самолюбие руководило мною, как Вы хотели обличать меня. Хотите — верьте, хотите — нет, но я высказываю Вам свое убеждение, может быть, ошибаюсь, но по крайней мере говорю, что думаю. Прощайте, но знайте, что поругания и клеветы, право, не хуже ссылки в Саратов или в Ветлугу, чем может наделить Третье Отделение».

Это письмо, воспроизводимое мною с подлинника, несомненно, должно иметь большое значение, поскольку может служить яркой иллюстрацией разницы в настроении тогдашней молодежи и Костомарова. Писано оно очень нервным почерком, не датировано, без обращения и подписи...

Листок, вырванный из «Дневника» Добролюбова, не имеет прямого отношения к данному делу и потому не приводится мною; интересующиеся найдут его в редактированном мною «Полном собрании сочинений» Добролюбова.

Письмо М. Е. Салтыкова привожу полностью; из него видно, как высоко ставился литературный авторитет Чернышевского.

Милостивый Государь,
Николай Гаврилович.

«Вероятно, Вам известно, что я вместе с Унковским [1]) и Головачевым [2]) задумал издавать с будущего года в Москве журнал, который будет выходить два раза в месяц. Независимо от официальной программы, уже поданной в московский цензурный комитет, мы предполагаем с августа приступить к напечатанию об'явления, в котором с большою ясностью выразится как цель издания журнала, так и самое направление его. Препровождая при сем проект этого об'явления [3]), мы просим Вас сообщить нам Ваше искреннее мнение об нем и не оставить нас Вашими советами. Глубоко ценя и уважая Вашу честную общественную деятельность, мы заранее можем ручаться, что замечания Ваши

[1]) Известный тверской дворянин-либерал.

[2]) Автор трудов по истории реформ 1860-х годов.

[3]) Речь идет о журнале «Русская Правда», который так и не был разрешен Салтыкову, яко бы под предлогом пересмотра цензурного устава. К сожалению, при письме нет проекта об'явления.

будут приняты нами с величайшею благодарностью. Не думайте, прошу Вас, чтобы я писал это письмо лишь от своего имени: А. И. Европеус может удостоверить Вас в противном, но дело в том, что я и будущие мои соредакторы покуда рассеяны в разных местах по лицу России. Если Вы найдете свободную минуту, чтоб удовлетворить нашей покорнейшей просьбе, то письмо Ваше прошу адресовать на имя Плещеева, для передачи мне, так как я на будущей неделе уезжаю из Твери в деревню и не могу еще положительно определить свой адрес. Впрочем, до 19 числа еще пробуду в Твери.

«Вместе с тем позвольте нам заявить надежду, что, хотя по отношениям своим к «Современнику» Вы и не можете принять деятельного участия в нашем журнале, но не откажете нам в сотрудничестве, которое для нас особенно важно, как доказательство Вашей симпатии к задуманному нами делу.

«Теперь позвольте мне обратиться к Вам с просьбой, лично до меня относящейся. Н. А. Некрасов, с которым я виделся в Москве, сообщил мне, что редакция «Современника» предполагает находящиеся в ее распоряжении три моих рассказа разделить на два нумера, т. е. напечатать их в апрельской и майской книжках. По словам Некрасова, это сделано в том внимании, что рассказы займут много места. Но я убежден, что все рассказы, вместе взятые, не займут более 3½ печатных листов, и если это только возможно, то просил бы Вас убедительнейше пустить их все в апрельской книжке. Это для меня необходимо по многим соображениям, которые я об'яснил лично Н. А. Некрасову. Но каково бы ни было решение Ваше по этому предмету, во всяком случае прошу Вашего распоряжения насчет высылки ко мне цензорских корректур: или в Тверь, если они уже готовы, или на имя Плещеева, если они будут готовы не раньше 19 числа. Я возвращу их с первой почтой. Еще одна просьба: так как я выезжаю из Твери, то нельзя ли прекратить высылку «Современника» на мое имя, а вместо того прислать мне билет на получение журнала из московской конторы.

«С истинным почтением и совершенной преданностью имею честь быть Вашим, милостивый государь, покорнейшим слугою».

14 апреля 1862 г. *М. Салтыков.*
Тверь.

Кроме бумаг самого Чернышевского, было взято довольно много чужих рукописей, бывших у него на просмотре. Неизвестно, что сталось бы с ними, еслиб (в середине ноября) Некрасов не подал прошения о возвращении их.

Но как бы ни старалась комиссия истолковать вкривь и вкось все прошедшие перед читателем документы, как бы ни выискивала она в них, включая сюда и четыре линеечки с цифрами и буквами, чего-то скрытого и таинственного, — ясно было, что, в сущности, строгий и внезапный обыск не дал ничего из того, что так хотелось бы иметь. Надежды и ожидания и комиссии, и III Отделения были обмануты . . .

Однако, Потапов выходил и не из таких положений...

1 августа он внес в комиссию весьма любопытную «Записку из частных сведений о титулярном советнике Чернышевском», что на языке III Отделения значило: по донесениям той или иной степени рачительных агентов... «Записка», рузумеется, стоит того, чтоб и ее привести полностью, исправляя по пути наиболее важные ошибки «частных сведений».

«Отставной титулярный советник Николай Гаврилович Чернышевский, будучи автором многих журнальных статей политического и экономического содержания, в которых постоянно проводились свободные идеи [1]), приобрел себе известность литератора-публициста и пользовался авторитетом между молодым поколением, которое он, с своей стороны, старался возвысить в глазах общества, как, по его мнению, деятелей. Он составил себе отдельный круг знакомства, по преимуществу из молодых людей, и притом недовольных правительством, лжепрогрессистов и лиц, сделавшихся государственными преступниками [2]); собрания у него постоянно отличались какою-то таинственностью и большею частью происходили в ночное время. Доступ к нему посторонних лиц был чрезвычайно затруднителен. Корреспонденцию он имел огромную и вел ее не только в России, но и за границей. Внимание правительства обращено на Чернышевского после беспорядков, происходивших в С.-Петербургском университете осенью 1861 г., когда получено было сведение, что появившаяся между

---

[1]) Всегда под строгой правительственной предварительной цензурой.
[2]) Очевидно, имелись в виду Н. И. Утин, В. А. Обручев и др.

студентами прокламация, возбуждавшая молодежь к сопротивлению властям, была составлена Чернышевским [1]). С тех пор за ним учреждено было постоянное наблюдение, которым обнаружено:

«В конце 1861 года Чернышевский почти постоянно бывал дома и спал не более 2 — 3 часов в сутки; иногда он уходил из дому рано утром, чуть свет, но в 10 часов уже возвращался; по вечерам же уходил почти постоянно в 10 час. и возвращался в 12, принося часто с собою бумаги [2]). Писем он рассылал очень много, большею частью по почте, но иногда с поваром или швейцаром; 14 ноября он отправил два довольно толстых письма в Москву по железной дороге; 16 ноября [3]) Чернышевский, противу всякого обыкновения, ушел со двора в 12 час. дня и воротился в 7 час. вечера. Когда же за несколько перед этим времени Чернышевский потерял ключи от своего письменного стола, то, не выходя из кабинета, велел позвать слесаря, подобрать к столу ключ и, вместе с тем, приделать замок к двери кабинета, который с тех пор и запирал, когда уходил со двора. Напрасно жена его делала ему замечание, что это лишняя предосторожность: он, все - таки, продолжал запирать комнату. Между тем замечено было, что Чернышевский переменился, стал задумчив, угрюм и малоразговорчив, избегал прислуги, тогда как прежде был ласков с нею. Оказалось, что перемена эта произошла в нем после поездки в августе месяце в Самарскую деревню его [4]). 26 сентября Чернышевский явился на сходку студентов около квартиры бывшего попечителя округа генерала Филипсона, 20 ноя-

---

1) О такой прокламации до сих пор ничего неизвестно. Ясно, что это намек на участие Чернышевского в составлении «Великорусса». Несомненно, в связи с начатым надзором стоит и секретный циркуляр всем губернаторам, данный Валуевым 23 ноября 1861 года: «Покорнейше прошу ваше превосходительство, в случае поступления к вам просьбы от литератора Николая Чернышевского о снабжении его заграничным паспортом, не выдавать ему онаго, а представить на разрешение вверенного мне министерства».

2) Явный вздор: образ жизни Чернышевского в общем был довольно правильный, что не мешало ему работать не менее 12 — 14 часов ежедневно; так же работал и Добролюбов.

3) Канун смерти его друга Добролюбова.

4) В Саратов.

бря, в день похорон литератора Добролюбова, Чернышевский говорил речь, в которой, видимо, старался выразить, что Добролюбов был жертвою правительственных распоряжений, мученик, убитый нравственно, — одним словом, что правительство уморило его [1].

«Замечательно обстоятельство: за несколько пред сим времени двери к Чернышевскому в комнату стала отпирать жена его, тогда как прежде это делала их гувернантка; когда же потом г-жа Чернышевская уехала, то двери к себе отпирал уже сам Чернышевский. 8 декабря Чернышевский получил из Парижа письмо следующего содержания:

«Прошу Вас, Николай Гаврилович, постарайтесь выслать мне деньги. Мне очень деньги теперь надобны. Пишу Вам опять на всякий случай, — может быть, Вы уже в Петербурге. Прошу Вас — не медлите. Уважающая Вас *М. Маркович*» [2]. Вскоре после этого Чернышевский вдруг стал чрезвычайно осторожен: он стал запирать кабинет свой, когда не только выходил со двора, но даже шел обедать или чай пить в столовую; он никому не доверял, и единственное лицо, которое пользовалось еще доверием его, был метранпаж из типографии Вульфа, Иван Михайлович Стругалев. Между литераторами составилось убеждение, что Чернышевский и Некрасов находятся под влиянием какого-то панического страха, который, впрочем, распространился и на других [3]. Поздно вечером 22 декабря к Чернышевскому пришли четверо мужчин, — из коих один в волчьей шубе, не покрытой сукном, — которые занимались с ним в кабинете до утра. В час ночи он приказал принести самовар, но людям велел лечь спать — и посетителей выпустил по черной лестнице. Судя по наружности, означенный посетитель в волчьей шубе был, вероятно, из простого звания. Около же этого времени сестра г-жи Чернышевской принесла три пачки каких-то бумаг и сама сожгла их, оставаясь перед печкою до тех пор, пока они сгорели, и мешая собственноручно в печке. Через несколько дней подобное же

[1]) Такой же смысл речи передают и Никитенко в своем «Дневнике», и Рейнгардт на стр. 452—453 «Рус. Стар.» 1905 г. II.

[2]) Марко-Вовчок. Речь шла о деньгах за собрание ее сочинений, которое Н. Г. устраивал у одного из издателей.

[3]) Разумеется, вздор.

сожжение бумаг было повторено [1]). Впоследствие сделалось известным, что жена г. Чернышевского развозила по городу какие-то небольшие книжки, завернутые в бумагу, и поручала кучеру своему Никите Тимофееву спрятать их в сарае, но потом опять потребовала их к себе. Тогда полагали, что это были воззвания Герцена, под заглавием «Что нужно народу» [2]) и т. п. Справедливость этого подтверждается тем, что через несколько после сего времени брат жены его, студент Студенский [3]), давал кучеру Чернышевских брошюру «Что нужно народу», и тот читал ее в кухне в присутствии всей прислуги и даже посторонних. Оказалось, что книжки эти г-жа Чернышевская возила Вас. остр в 8 линию, на подворье к монахам [4]). В марте сего года Чернышевский, будучи у Некрасова, рассказывал, что к 26 августа готовятся по всей России манифестации, в которых будут выражены следующие желания всего образованного сословия:

«Прощение политических преступников, всех без исключения, какие только находятся в живых; дарование конституции; свобода печати и уничтожение цензуры; ответственность министров; гласное судопроизводство и т. п. Он говорил также, что он виделся со многими лицами — коноводами в провинциях этих манифестаций, как-то: из Киева, Харькова, Владимира и др. городов. В апреле месяце разнесся слух об адресе в пользу преступника Михайлова, и главными двигателями этого называли: Чернышевского и подполковника Шелгунова; на адресе видели даже в числе других подпись Чернышевского [5]). В мае Чернышевский получил из-за границы письмо от проф. Пыпина, который уведомлял его, что он начал заниматься своими специальными изучениями, но более отрицательно; что берлинские матрикулы народного образования лучше путятинских, и что он приготовляет для «Современника» статью о прусском законе печатания. В заключение же Пыпин просил отвечать ему немедленно.

---

[1]) Речь идет об Е. С. Васильевой.

[2]) Не Герцена, а Огарева; развозкой этого издания Ольга Сократовна, конечно, не занималась.

[3]) Студенский не был братом О. С.

[4]) Тоже вздор.

[5]) О таком адресе (1862) ничего неизвестно.

«Наконец, Чернышевский утратил совершенно сочувствие к себе в литературном кругу [1]). Там положительно уверяли, что если все беспорядки в городе и произведены молодежью, то, конечно, вследствие тех идей, которые были развиты в ней партиею Чернышевского, Иероглифова [2]), Елисеева [3]) и всех его сотрудников. Арестации некоторых из посещавших Чернышевского лиц и студентов [4]), им образовываемых, подействовали на него: он расстался со всеми, отправил жену в деревню, распродал вещи, экипажи и намеревался уехать [5]), но в это время открыты положительно его сношения с Герценом — и он арестован. Посещавших Чернышевского в продолжение этого времени лиц было чрезвычайно много, по преимуществу литераторы, студенты и молодые офицеры артиллерийского и инженерного ведомства. Покойный Добролюбов и Михайлов были его друзьями; полковники Лавров и Шелгунов пользовались особым расположением его. Вообще Чернышевского можно считать главою партии либеральных литераторов.

«Кроме сего, известно, что в июне месяце 1859 г. Чернышевский ездил за границу, был в Лондоне у Герцена, который до того, по денежным делам Огарева с Панаевым [6]), бывшим редактором «Современника», был враждебен этому журналу, с поездки же Чернышевского за границу со стороны лондонской русской прессы стало проявляться сочувствие к оному» [7]).

---

[1]) Разумеется, явный вздор; разделившийся на-двое, литературный мир относился к Чернышевскому далеко не одинаково.

[2]) Гиероглифов ни в какой связи с Чернышевским не стоял и был одним из мало заметных журнальных деятелей.

[3]) Григорий Захарович Елисеев; потом один из членов редакции «Отечественных Записок».

[4]) Кое-кто, действительно, уже был арестован по разным поводам, но не благодаря знакомству с Чернышевским.

[5]) «Современник» был приостановлен, прямого (литературного) дела временно не было.

[6]) Некрасовым.

[7]) Полное незнание обстоятельств. Чернышевский ездил вовсе не мириться, а об'ясняться насчет статьи Герцена «Very dangerous!!!», прямо направленной по адресу «Современника» и в частности Добролюбова. Об'яснения эти ни к чему не привели, и, возвратясь, Чернышевский не раз выражал сожаление, что ездил в Лондон... Отношения их с Герценом

Эта «записка» явилась как нельзя более во-время. Комиссия не считала, разумеется, необходимым проверить «частные сведения». На них был штемпель безупречной истины: самого III Отделения...

Кроме того, большие надежды возлагались комиссией на иногороднюю и заграничную корреспонденцию Чернышевского, которую со дня его ареста приказано было доставлять прямо в III Отделение, а оттуда в комиссию. Ждали самой преступной переписки, надеялись встретить подготовления манифестации 26 августа и т. д. Но и здесь III Отделение и комиссию постигло серьезное разочарование.

Из-за границы были получены сначала три письма Льва Мечникова, от 8 июня и 4 июля н. ст. 1862 г., в которых он благодарил Чернышевского за внимание к его литературным предложениям, посылал свою статью о Маццини и разрабатывал план статей о революции 1848 года в Италии. Потом, не получая, разумеется, ответа, Мечников вновь наполнил своему корреспонденту о сделанных предложениях и просил написать в первую же свободную минуту.

Из провинции были письма от Т. К. Гринвальд, просившей Чернышевского ответить ей в Дерпт на два письма и все еще не верившей смерти Добролюбова, близкие ее отношения с которым Н. Г. были хорошо известны; Ив. Захарьина (Якунина) — о передаче забракованной статьи в редакцию «Времени», и друга Добролюбова — М. И. Шемановского, посылавшего статьи «Плата за учение и училищный налог» и «Казань» и просившего выслать ему денег, без которых невозможно было продолжать начатое путешествие по югу России. Так как в письмах этих были вложены лубочные народные картинки, то этого было совершенно достаточно, чтобы комиссия признала, что Шемановский «должно быть, агент Чернышевского», а потому и положила обратить на него внимание III Отделения...

Поэт А. Н. Плещеев писал из Москвы 12 июля Чернышевскому, не зная об его аресте, что, кстати, показывает, как не скоро тогдашняя Москва узнавала новости Петербурга:

остались острые, несмотря на сочувственные потом заметки последнего о Добролюбове и о нем самом.

«Добрейший друг, Николай Гаврилович. В бытность Суворина [1]) в Петербурге вы сказали ему, между прочим, чтобы он свою повесть доставил Вам. Это подало нам с ним некоторую надежду на возможность близкого возобновления «Современника». Будьте добры, напишите, в какой степени эта надежда осуществима. Дело вот в чем. У Суворина повесть готова. Он, конечно, желал бы всего более отдать ее в «Современник». Но он в то же время в таком положении, что едва-едва имеет насущный хлеб. С Краевским [2]), он, разумеется, не сошелся по очень уважительным причинам и в Петербург, вероятно, не переселится. Значит, ему прежде всего нужны деньги за повесть. Еслибы он мог теперь же получить их, то отдал бы свою повесть в редакцию «Современника» и готов бы был ждать ее напечатания сколько угодно. Мне самому никуда не хотелось бы отдавать ничего своего. А у меня теперь кое-что накопилось. Если «Современник» будет выходить, то я никуда и не пошлю. Будьте добры, дорогой мой, не поленитесь написать. Нам необходимо знать что-нибудь верное, особливо Суворину. И еще напишите, в Петербурге ли Некрасов? У меня есть до него дело.

«Ваш весь *А. Плещеев*».

Вся эта невинная корреспонденция прошла бы без внимания, еслибы не нервное и все увеличивавшееся недовольство III Отделения и комиссии отсутствием прямых и положительных улик.

Вся остальная корреспонденция не стоила даже и такого внимания, но, все-таки, вся доставлялась в «Современник» через комиссию; денежные пакеты по подписке на журнал и т. п. — и те не шли уже к Некрасову непосредственно.

III.

Естественно, что при наличности такого скудного материала, комиссия не считала возможным делать допрос Чернышевскому: просто потому, что не из чего было составить «вопросных пунк-

[1]) Речь идет об А. С. Суворине, потом издателе-редакторе «Нового Времени», также, как и Буренин, бывшем в молодости в приличной литературной компании.

[2]) Издатель «Отечественных Записок».

тов». Положение ее было очень незавидно, и это лучше всего понимало ревнивое III Отделение. Как в 1849 г. оно конкуррировало с министерством внутренних дел по вскрытию дела Петрашевского, так теперь, особенно, благодаря желанию отличиться недавно назначенного Потапова, оно решило побить рекорд такого опытного ищейки, каким считался кн. А. Ф. Голицын.

План Потапова, одобренный лукавым, но ленивым Долгоруковым, был несложен: помучить комиссию и затем, когда она сама поймет, что совершенно не обладает серьезными данными для осуждения главы русской оппозиции, приподнести документы, которые окончательно решат все дело и тем выдвинут верную службу III Отделения «обожаемому» монарху...

Таким образом, за кулисами шла усиленная работа.

Известный читателю И. Д. Путилин, как мы знаем, еще в сентябре 1861 г. был близок с Вс. Костомаровым; уже и тогда их связывало «довольно хорошее знакомство».

До ареста Михайлова, в самых первых числах сентября, Путилин был командирован в Москву, по распоряжению министра финансов, для открытия шайки подделывателей ассигнаций, но затем вдруг экстренно был вызван в Петербург, где получил от своего начальника ген.-губернатора кн. Суворова приказание отправиться к начальнику III Отделения гр. П. А. Шувалову для содействия раскрытию лиц, распространявших первые прокламации. Ему удалось тогда обнаружить распространителя «Великорусса» В. А. Обручева и оказаться полезным в деле Михайлова. Занимаясь под руководством Шувалова до ноября 1861 г., Путилин совсем коротко познакомился с Вс. Костомаровым, а после, когда граф оставил свою должность, сдав ее Потапову, он вновь отправился в Москву для прерванных занятий по делу о подделке бумажных денег. Там, по просьбе Костомарова, он познакомился с его семейством и, «видя стеснительное положение их в средствах, помогал им деньгами» (конечно, казенными). Вот, напр., расписка матери Костомарова: «1862 г. января 9 дня я, нижеподписавшаяся, взяла займообразно у кол. секр. Ивана Дмитриевича Путилина сто семьдесят пять рублей серебром, которые обязуюсь ему заплатить по первому его востребованию. Жена прапорщика Надежда Николаевна *Костомарова*».

10 ноября 1861 г. московский обер-полицмейстер гр. Крейц писал Потапову: «Сейчас был у меня Путилин и сказал мне, что Костомаров по тому, что он слышал в комиссии (Собещанского — *М. Л.*), подлежит к освобождению, и узнав от меня, что я ожидаю от тебя бумаги, чтобы отправить Костомарова в Спб., Путилин поручил тебе передать, что Костомарова бы лучше не отправлять в Спб., а освободить здесь, *что это так же и мнение самого Костомарова.* Спешу передать тебе это, присовокупляя, что я не входил ни в какие дальнейшие расспросы с Путилиным по этому предмету».

23 ноября 1861 г. Н. Костомарова писала из Москвы Путилину:

«Милостивый Государь, Иван Дмитриевич! Благодарю и благодарю за Ваше обязательное внимание. Получивши письмо Ваше, заключающее приятное для меня известие, я немедленно отправляюсь в комиссию и, будто бы ничего не ведая, спрашиваю, нет ли чего нового и когда я получу обещанную свободу? Мне показывают официальное отношение 3 Отделения, где говорится, что с его стороны препятствий к освобождению не имеется. — Почему же Вы не приводите в исполнение? — Потому что мы, не получая еще этого отношения, сделали с своей стороны таковое же министру вн. дел на разрешение: освободить или нет. — Сама комиссия, закончивши все свои дела здесь, в субботу уезжает обратно в Спб. Теперь вопрос: кому министр будет отвечать? и в чьих руках теперь судьба Всеволода? Хотя они и сказали мне, что ответ передается московскому обер-полицмейстеру для исполнения, но все это неверно и слишком длинно.

«Прошу Вас убедительнейше вместе с Всеволодом не забыть нас и не лишить своей помощи. Я-то собственно не знаю, как и об чем именно просить Вас, потому что не знаю хода и порядка дел, но позвольте надеяться, что Вы похлопочете об моем бедном где можно и где следует и не оставите нас известить, если что будет новое.

Ваша покорнейшая слуга *Н.*».

В январе или феврале 1862 г., когда Костомаров содержался в Тверской части Москвы по делу первой вольной типографии и распространению прокламаций и недозволенных цензурою со-

чинений, Путилин посещал его наедине, зная, что Костомаров может дать указания на лиц, участвовавших в начинавшемся политическом движении, и препроводил его даже на свидание с прибывшим в Москву Потаповым, которому Костомаров тогда-то и указал на роль Чернышевского, Добролюбова (уже умершего) и других вдохновителей оппозиции. По освобождении Костомарова из заключения до окончательного приговора по делу, Путилин «увидался с ним, когда уже он жил вместе с семейством, и при разговоре Костомаров выражал неудовольствие свое на правительственных лиц, которые за указание его не скрыли имени его и тем уронили в обществе литераторов и поставили в подозрительное положение к лицам, в тесной связи с коими он находился в деле революционной пропаганды, а между прочим говорил, что он имеет весьма важные сведения, но опасается с искренностью довериться правительственным лицам, о чем я, по прибытии в Петербург, докладывал Потапову».

Когда весною 1862 г. вновь появились прокламации, Суворов опять поручил Путилину возобновить розыски. «Не сомневаясь, что Костомаров может помочь мне, я письменно просил его о сем, на что и получил ответ, что ему необходимо видеться лично со мною». Вот ответ Костомарова от 7 мая 1862 г., написанный, как и почти все последующие письма, со всякими предосторожностями, с ложными указаниями места написания, без подписи и т. п.:

«Я все дивлюсь вашему молчанию и, наконец, начинаю думать, что вы или испугались моего письма от 19 апреля или перестали интересоваться известным вам делом... а жаль. В настоящее время, окончив жизнеописание *пр. Тихона Задонского* (читали вы его?), мы принимаемся за обширный труд «Обозрение раскольничьих скитов *Ярославской* епархии»... работа идет весьма успешно и близка к концу, если ничто не помешает. Пора бы вам оставить свой скучный, деловой Петербург и приехать отдохнуть в нашу мирную деревню; что вы об этом думаете? Напишите мне — и я немедленно вам отвечу, приняв все предосторожности, чтобы письмо мое дошло к вам. Вам преданный *В.*».

Село ***.

Через нарочного Путилин просил Костомарова точно уведомить, какие именно сведения он может дать. На это последовал ответ:

«Не удивляйтесь, дорогой Иван Дмитриевич, что вы не много поняли из моего последнего письма: вижу, что вам не много и очень не много известно из того, что делается теперь в нашей матушке Москве. Иначе вам был бы очень понятен мой намек на пр. Тихона. Надеюсь, что вы не будете на меня в большой претензии, если и из настоящего письма узнаете тоже не много. Во-первых, дела такого рода не излагаются письмами никогда, а тем более преждевременно; что же касается до догадки вашей, что «мне известно многое», смею уверить вас, что она справедлива гораздо более, чем вы думаете. Мне известно столько, что я еще не знаю, не выгоднее для меня будет молчать и помогать, чем открыть и мешать. Впрочем, это будет зависеть от личных переговоров с вами. Имейте только то в виду, что дело идет уж не о таких пустяках, как неудачные ухищрения какого-нибудь Костомарова или Михайлова или невинные плакарды [1]) каких-нибудь «Дум» и «Комитетов», которыми, впрочем, пренебрегать не следует. Очень бы хотелось мне исполнить свое обещание и прислать вам то сочинение, о котором я намекал вам, но в настоящее время это невозможно, по причине весьма уважительной, но которую об'яснить я могу вам только при личном свидании. А чтобы хоть чем-нибудь загладить неисполнение этого обещания, посылаю вам с вашим посланным *кое-что*, из чего вы и кто следует могут убедиться, что сведения наши не могут быть не справедливы и не положительны.

«А если те господа, которые, более нас заинтересованы в этом деле [2]), будут или скаредничать, или смотреть на нас вообще недоверчиво или, чего доброго, возымеют намерение поступить с нами по-шуваловски [3]), то предупреждаю, что меня уже нельзя будет поддеть ни на какую удочку. Игра будет большая. Ну, да вообще приезжайте и поговорим. Будьте уверены, что я вас не введу ни в напрасные расходы, ни в напрасную трату времени, ни скомпрометирую вас перед вашим начальством [4]). Конечно, я не буду виноват, если мы с ним не сойдемся в условиях,

[1]) Летучки, листки.

[2]) III Отделение.

[3]) Т.-е. проговориться о сношениях с ним, как проговорился Шувалов в деле Михайлова.

[3]) Кн. Суворов.

а тут, как я уже (помните) говорил вам, дело *не в одних деньгах,* которые для меня на втором плане.

«Итак, вы меня спрашиваете: «нужны ли люди, деньги, какие-либо сведения или личное мое свидание с вами?

«Отвечаю вам положительно: *людей* никаких не нужно, ибо мы сами *люди.* Деньги — может быть, но разве какая-нибудь сущая безделица. *Сведения* мои, вероятно, полнее, разнообразнее и вернее ваших, но если в ваших есть что-нибудь для меня новое, конечно, это не помешает делу. Но *вы,* вы, сами вы нужны мне более всего на свете, более всех людей, всех денег, всех сведений.

«Но опять-таки, во избежание всех недоразумений и неудовольствий, об'яснимтесь на этот счет подробнее. Если я и желал бы видеться с вами, то единственно затем, чтобы поговорить с вами, но не затем, чтобы действовать. Это еще рано. *Но для того, чтобы, когда придет пора действовать, не было поздно,* мы должны видеться с вами и условиться. Вот видите ли: если бы мы условились с *ними* прежде, а вы бы приехали по моему вызову, мы бы могли перенять дело в самом его зародыше и на самом месте действия; теперь же мы должны ждать, пока оно созреет, и, конечно, это сопряжено с большими трудностями, хотя будет гораздо рациональнее.

«В заключение, еще раз уверяю вас, что игра будет стоить потраченных на нее свеч, и что я — единственный ключ ко многим замкам, которые нельзя ни сшибить, ни отпереть. Пусть попробуют.

«Коли хотите, приезжайте: поговорим по душе. А писать, право, я не стану... Не по недоверию к вам, конечно, — вы в этом отношении и не смейте сомневаться во мне, — а потому, что, во-первых, всего не напишешь, а, во-вторых, переписка, вообще, — дело опасное; по почте письма не всегда доходят, а ваше письмо я получил подпечатанное. Вам преданный *В.*

«(Мое запечатано синим сургучом)».

«Кое-что» означало приложение двух прокламаций и несколько типографских литер, которыми они были напечатаны (в деле сохранились только литеры). Путилин представил все это Суворову, приказавшему ему узнать лично от Костомарова «ха-

рактер его сведений и каким путем можно иметь оные». «Корнет Костомаров лично об'яснил мне, что он есть член тайного общества, но ныне, разойдясь в убеждениях, в плане и цели действия сего общества, решается открыть не только лиц этого общества, но их типографии и план действия, но открытие это иначе не согласится сделать, как после об'явления решения по делу его, единственно чрез посредство кн. Суворова».

В скором времени Путилин представил последнему следующую «записку»:

«Член революционного общества, согласный открыть лиц, участвующих в заговоре, план и цели их действий, после личного моего с ним об'яснения, ныне письменно уведомил меня, что так как при открытии им в прошлом году преступления против верховной власти, одно важное правительственное лицо [1]) неисполнением своего слова в отношении оставления его личности в неизвестности, нравственно уронило его в обществе, то, не имея уже теперь такого доверия, он имеющиеся у него весьма важные сведения не может выдать безусловно. Между тем, он берется открыть: 1) несколько главнейших узлов огромной сети тайного общества, покрывающей большую часть России, 2) столичные революционные комитеты в полном их составе, до 150 членов присутствующих и до 200 чл. корреспондентов, 3) выдать корреспонденцию трех членов руководителей тайного общества, 4) указать помещение нескольких тайных типографий, основанных членами в обеих столицах и селе, 5) ему известен полный состав редакции проектированного революционным комитетом журнала «Мысль и Дело», помещение ее типографии, с указанием, где, когда и кем приобретены станки и шрифт [2]), и затем 6) подробный систематический свод всех имеющихся у него сведений о ходе дела и планах революционного общества.

«Но для того, чтобы дать ему возможность не только исполнить все эти обещания, но даже сделать гораздо больше, должны быть выполнены следующие условия: 1) он не должен быть заме-

---

[1]) Гр. Шувалов.

[2]) Действительно, позже у привлеченного по делу «Земли и Воли» А. Н. Плещеева искали, но нашли несколько нумеров такого листка и типографский шрифт (дело 1 эксп. 1863 г., № 97, ч. 69).

шан в этом деле ни в качестве участвующего, ни в качестве открывателя или свидетеля, 2) для отклонения всякого от него подозрения в измене обществу, он должен быть разжалован в рядовые с назначением в кавказский корпус, и вместе с тем это может служить правительству ручательством в том, что со стороны его будут исполнены обещания, так как если бы доставленные им сведения оказались несправедливыми или даже менее важными, то правительство может оставить его навсегда без выслуги; 3) если же оказанная им услуга будет велика, то назначить его семейству ежегодное вспомоществование, равное той сумме, которую он вырабатывает литературными трудами (примерно до 1.500 руб.), а самому ему даровать право выслуги.

«Характер его сведений, если бы и имело его правительство в своих руках, не может уничтожить всего общества, по неимению на многое юридических доказательств, но зато достоверны источники, где и как их найти, и даже берется, может быть, ввести в общество человека, который возьмется быть обвинителем и свидетелем. Передать все эти сведения и документы он согласен только мне; это — тоже условие, от которого он не отступит ни на шаг. Дабы же, принимая от него дело это, я знал, за что берусь, об'ясняет следующее: арестовать всех лиц, которые им будут указаны, разом нельзя, во-первых, потому что они составляют, быть может, $^1/_{200}$ общества, и, стало быть, аресты их ни к чему не поведут; во-вторых, потому что юридических улик на многих из них у него нет, так как, если бы и захватить, на основании фактов, двух-трех столичных коноводов или наличных членов какого-либо комитета во время заседаний, забрать ли два-три станка, — ведь, этого мало: еще останутся тысячи членов во всех сословиях, во всех углах России, останутся учителя кадетских корпусов и других учебных заведений, попы с семинаристами и всякими странниками, раскольники разных толков и казаки с войском их, с штаб- и обер-офицерами, и всякие барыни, и цыгане, и еврей, и поляки, и мало ли еще кого... Не должно скоро арестовывать лиц, указанных им, а следить за ними, чтобы посредством этих сотен открыть тысячи. Все это он говорит для того, чтобы видеть, какие средства должны быть даны для этого правительством, и, если оно на все эти условия согласно, то просил меня немедленно к нему приехать.

«Кроме того, в письме его сказано, что последнее собрание общество доказало, что средства реакционеров [1]) велики, и, стало быть, и велика опасность, ибо борьба предстоит им на жизнь или на смерть. Представляя при сем подлинное письмо, считаю обязанностью доложить вашей светлости, что, если угодно будет возложить на меня открытие этого важного дела, то за вполне успешнейший исход его я могу ручаться только в таком случае, если необходимая для сего в начале секретнейшая комиссия под непосредственным руководством вашей светлости будет составлена из лиц, на содействие которых я мог бы вполне надеяться, и не был бы стеснен как в личных моих действиях, так равно и в потребных для сего больших денежных средствах. Необходимость составления таковой комиссии обусловливается распространением в столь громадных размерах политической заразы».

Записка Костомарова к Путилину от 3 июля 1862 г.: «Дело мое перешло в Петербург 27 июня, но чем кончилось, здесь неизвестно. Разузнайте сами, где оно и что с ним. Вообще не медлите высылкой и пишите чаще сами».

В 2 часа ночи 7 июля Потапов писал шефу жандармов кн. Долгорукову: «В городе, благодаря богу, все благополучно. С кн. Суворовым, конечно, не без прений, согласились и арестования сделаны удачно; Ветошников и Серно-Соловьевич очень сконфужены; Чернышевский ожидал, взят здесь на своей квартире; когда приехали его арестовать, у него были Антонович и доктор Боков, которые ушли в другие двери. Все прямо отправлены в Алексеевский равелин; надеюсь, что в понедельник им уже будут даны вопросы . . . Виделся с П. А. Валуевым и Ахматовым [2]), а также с Путилиным и условились о совещаниях. Завтра еду в Знаменское к е. и. в. вел. князю». Резолюция шефа жандармов 10 июля: «Кн. Суворов писал мне по этому предмету лично. Он согласен, после ваших об'яснений, в необходимости принятых нами мер и желает быть освобожденным, без гнева, от Путилинских действий. Я думаю, что это будет хорошо, и потому прошу вас сообразить к моему возвращению, как удобнее вести Путилинское дело. Надобно будет связать его с нашим и, след., вероятно, придется дер-

---

[1]) Явная описка — революционеров.

[2]) Обер-прокурор синода.

жаться нашей собственной системы. Не полезно ли будет, согласно с прежним мнением князя А. Ф. Голицына, вытребовать Костомарова в Спб. и воспользоваться его указаниями тем способом, который признаете наиболее успешным. Переговорите об этом предварительно с князем. Окончательно мы решим вопрос при свидании».

«P. S. Кн. Суворов просит, между прочим, не забыть трех его обещаний по Путилинскому делу: 1) 500 руб. на поездку Костомарова, 2) содержание его семейства на несколько лет, 3) причисление Путилина или к нему, кн. Суворову, или к мин. вн. дел. Все три обещания можно иметь в виду».

Письмо Костомарова в конверте на имя Путилина от 27 июня из Хорола, а по штемпелю почты из Москвы 24 июля 1862 г.: «М. Г. Семен Григорьевич, последнее письмо ваше вчерашний день я имел честь получить; известия, сообщенные мне свекровью моею, крайне меня удивили: господин барон П. [1]), предлагая племяннику моему свою протекцию для помещения его в известную вам контору [2]), вероятно, все еще думает, что мне что-нибудь известно в интересуемом его деле [3]); неужели вы, почтенный, зятюшка, не имели до сих пор случая убедить господина барона, что я ровно ничем не могу быть полезным правлению его компании, и что если я и ходатайствую за племянника своего, то рассчитываю в этом случае *единственно* на то, что моя прежняя служба компании не забыта господами акционерами? Все это вы потрудитесь поставить на вид господину барону.

«Адольф Карлович просил меня передать вам, что предпринятая им в товариществе с Вами и господином Князевым [4]) операция насчет покупки чая должна быть немедленно окончена, ибо чай с каждым днем падает в цене, особенно после того, как у них в городе разнесся слух об арестовании московской таможней транспорта купца С—нкова [5]). Приказчика своего я отправил еще до получения от вас телеграммы на свой риск; ибо и так уже

---

[1]) Потапов.

[2]) Т. е. для помещения Костомарова, сидевшего в полицейской части в Москве, в Спб. при III Отделении.

[3]) Чернышевского.

[4]) Кн. Суворовым.

[5]) К. Т. Солдатенков.

потеряно не мало времени за приисканием понадобившихся на сей предмет денег; завтра я должен получить уже и известие от приказчика; не думаю, впрочем, что предприятие мое увенчается успехом, ибо посланный мой промешкал почти двое суток и, вероятно, уже не успеет проследить действий агента враждебной нам компании.

«Я очень рад, что вы не успели видеться с моей свекровью после получения вами ее записки. Она случайно узнала от одного из преданных мне акционеров вести, не слишком приятные для директоров главного общества, но так как, по моему мнению, это — пустая сплетня (подобная сообщенному вами известию о прибытии из-за границы контрабандного чая), то я и не слишком сожалею, что она не сообщила всех ее подробностей. Напишите мне обстоятельно о результате последних совещаний акционеров и отправкой племянника подождите до получения моего ответа; имейте за ним строгий надзор.

«Поручаю себя родственному расположению вашему, имею честь быть *Феофан Отченашенко*.

«P. S. Передайте племяннику, чтобы он употребил все усилия достать денег, которые в настоящее время для меня необходимы до такой степени, что за недостатком средств приходится на время закрывать лавку».

Письмо Костомарова к Путилину от 22 сентября из Калязина (по конверту 27 июля 1862 г. со станции Москва Николаевской жел. дороги): «Милый брат, последнее письмо твое не то, чтобы удивило меня, а как-то озадачило. Будучи уже раз проведен самым нелепым образом, я, конечно, не упускал из вида возможности остаться в дураках и во второй раз, а, все-таки не ждал, чтобы в *наши* сношения с тобою так скоро вкрался тот угрожающий тон, которым, признаюсь тебе, действовать на меня можно всего безуспешнее. Тебе ли упрекать меня в осторожности? да какой же? в чем? осторожность моя *законная*, — вспомни это. И я вижу, что я хорошо сделал, действуя *более или менее* осторожно: ты начинаешь уже нарушать *условие*, требуя от меня *уплаты раньше срока* [1]). Повторяю же тебе еще

---

[1]) Выдачи обличающих Чернышевского и Шелгунова документов раньше окончания дела самого Костомарова.

раз, что *еслиб* даже я и *хотел* заплатить тебе долг раньше *срока*, я решительно не могу, потому что все мои деньги и документы находятся на сохранении у одного лица, которое ни за что не выдаст мне их прежде, нежели удостоверится, что процесс мой выигран *окончательно*. А в минуту выигрыша процесса наступит, как тебе известно, и срок моего платежа тебе. Я вот не сижу сложа руки, я все стараюсь об том, чтоб дать тебе более, чем обещал, и успею в этом; а вы так плохо, видно, хлопочете, если уж, от нечего делать, принялись за угрозы. Неужели и вас только *на это* станет? Нет, не верю, и не хочу верить. Верно, ты был очень не в духе, милый брат, когда мне писал письмо свое. Все оно, с первой и до последней строчки, как-то... странно. Во-1-х, ты требуешь почти с угрозами от меня того, что я не могу дать до известного времени и чего ты *добровольно* согласился от меня не требовать до срока; во-2-х, укоряешь меня в излишней осторожности, как-будто осторожность бывает, когда-нибудь излишнею, особенно в моем положении. Вы вот до сих пор ничего еще не могли для меня сделать; кто мне поручится за успех? А отступление-то уж началось: вон ты уж на одной странице успел мне три раза написать, что плохо-де будет... В-3-х, ты пишешь: ждали больше, — подождите немного. Какой ты странный! Ты, ведь, знаешь, что *мне ждать очень удобно*, так что скорое окончание процесса нужно не для меня, а для вас; медленность в его ходе не мне вредит, а вам. Если бы я хлопотал только из-за своих интересов, так я не торопил бы вас окончанием дела, а просил вести его как можно медленнее, потому что, повторяю, окончание его не принесет мне ровно никаких ни удобств, ни выгод в настоящем. В-4-х и в в-последних, пиши ко мне пожалуйста, попонятнее, а то я половину твоего письма не понял. Что за *иностранцы* в процессе? Что за обер-прокурор [1]), который спрашивал, уверен ли ты в желании сестры твоей кончить процесс миром? Какой мир, с кем? Она, кажется, ни с кем не ссорилась...

«Вообще, я удерживаюсь от об'яснений до получения от тебя менее кабалистического послания; только, пожалуйста, без

---

[1]) Ахматов.

угроз, потому что ими взять тут нечего. Будем лучше аккуратнее исполнять данные друг другу обещания, — и я уверен, что по окончании дела никто из нас не останется ни в накладе, ни в претензии. До получения от тебя более положительного уведомления о ходе нашей тяжбы [1] и о степени возможности окончить ее по условию [2], я откладываю писать тебе о ходе моих химических работ, результат которых пока довольно успешен. Особенно вчера мне удалось сделать одно довольно интересное открытие в *черном никеле*, находимом в восточной *Армении* около Арарата [3].

«Итак, жду от тебя послания более отрадного. Брат твой *Николай Озерец*... ¼ коп. сер.».

Письмо Костомарова к Путилину от 16 августа из села Марьина [4]: «Chère cousine письмо, полученное мною *вчера*, было первое со времени от'езда из Пб. твоего племянника. Я думаю, что муж твой monstre qu'il est читает наши письма, иначе как могло письмо, писанное тобою 11, могло получиться 15 вечером. Поэтому не будь в претензии, что мои письма так коротки; я вовсе не желаю твоего урода мужа делать участником наших секретов, каковы бы они ни были, хоть даже самого невинного свойства. Да и притом я, начиная с 9-го, все ждала тебя к нам в Марьино. Кончай свои проклятые дела и приезжай к нам поскорее; с каким я тебя драгоценным человеком познакомлю, ma chère, душка! Пожалуйста, влюбись в него и подари своего отвратительного мужа парой хорошеньких рогов. Вообрази, ma mie, что поездка моего племянника не удалась; в N. была большая охота; г-н Отчн. [5]) в отчаянии; они травили лисицу, который, надо сказать, зверь очень редкий в наших местах, и г-н Отч., несмотря на все усилия, не мог ее выследить.

---

[1]) Процесс самого Костомарова.

[2]) Об этом выше.

[3]) Химия значила изучение почерка Ник. Чернышевского (Черн. Ник.) и, вероятно, с помощью проф. С. Назарянца, редактора армянского журнала «Северное Сияние», приятеля М. Л. Налбандяна, близкого, в свою очередь, к лондонским эмигрантам, Костомаров хотел установить связь Чернышевского с Лондоном.

[4]) В Москве есть Марьина роща.

[5]) Отченашенко, т. е. сам Костомаров.

Теперь он из себя выходит; загнал лошадь и не затравил зверя. Я не буду ничего писать тебе, ma bonne, рассчитывая на скорое свидание; целую тебя крепко и желаю хорошеньких рогов своему гадкому мужу. Adieu, ta *Fanny*.

«P. S. Чуть было не забыла, ma chère, передать тебе поручение кузена. Он извиняется недосугом в том, не пишет к тебе, но ты ему не верь, он просто лентяй; ну, так он просил меня передать тебе, что, если ты будешь так обязательна, то попросить своего дядюшку похлопотать о переводе Вольдемара [1]) на Кавказ; как ему решительно все равно, в какой полк ни поступить, лишь бы кавалерийский, впрочем, лучше всего было бы в Нижегородский, тот, как он говорит, стоит в хорошем месте.

«Еще он просит тебя не забыть навести справки о том господине, о котором он писал к тебе.

«Adieu, ma chère. Dieu te garde».

Письмо Костомарова к Путилину от 19 сентября 1862 г.: «Вот, ma mie, как вы дурно исполняете свои обещания. Я не говорю уже о том, что вы обещали приехать к нам в Можайск к 16 сент. и не едете; я знаю, что это зависит более от вашего мужа [2]), чем от вас; но вполне зависит от вас писать ко мне; приезжий наш все ждет, желая лично познакомиться с вами, и я вся уже изовралась перед ним, об'ясняя разными небылицами Ваше равнодушное молчание, для меня самого непонятное, ибо я уверена, что без надежды на успех, вы бы не начали тяжбы [3]), которые уже и мне, и вам обошлись так дорого, а между тем, на успех, как видно, надеяться нечего. Спешите, пожалуйста, до сих пор еще ничего не потеряно, но скоро, быть может, я не буду в состоянии ничего сделать для вас и для супруга вашего. Не утешайте себя тем, что все спокойно: *тихо перед бурей*. Итак, милая моя, напишите мне обстоятельно, как идет ваша тяжба, и есть ли надежда на успех, верная, непременная надежда. Мне надо действовать, чтобы не упустить из рук одного важного обстоятельства... а в случае, если нельзя надеяться на успех в *Петерб.*, я решусь на тот образ действий, который необходим

---

[1]) Самого Костомарова.
[2]) III Отделение.
[3]) Дело Чернышевского и Шелгунова.

в настоящее время для наших успехов в Москве. Напишите, непременно напишите положительный и верный ответ, на который я могла бы положиться вполне, потому что, еще раз повторяю, что для успеха нашего дела мне необходимо прибегнуть к настоящему coup d'état.

«Прощайте, дорогая моя, спешите же выигрывать процесс, если не хотите, чтобы все было потеряно; но во всяком случае пишите подробно и искренно о состоянии процесса. Жду от вас скорого ответа, уверенная, что неточными известиями вы не захотите вводить в заблуждение и подвергать величайшей опасности душевно вам преданную *М. Гаври...*

«P. S. Прошу свидетельствовать супругу вашему мое глубочайшее почтение и расцеловать от меня милую сестрицу вашу [1]). Не будет ли с моей стороны злоупотреблением дружбы вашей просить вас привезти мне из Петербурга капор потеплее — у нас, в нашем скверном городишке решительно нельзя найти ничего порядочного.

«Еще раз целую вас, ваша *М. Г.*».

Читатель, вероятно, уже понял, что тактика Костомарова в отношении Путилина и стоявшего за его спиной III Отделения была совершенно та же, которой думал вести свою политику против комиссии Потапов, конечно, сумевший доказать Долгорукову всю выигрышность возможно меньшей *до времени* откровенности с Голицыным. Костомаров хотел помучить их, чтобы получить побольше, а не продешевить так, как продешевил по делу Михайлова и своих товарищей. Во - время Путилиным были выдвинуты реальные денежные условия московского поэта; вовремя он начинал склоняться на требования быть более откровенным, тем более, что, вопреки своим храбрым заверениям, был порядочным трусом. С своей стороны, Потапов, «храня казенную копейку», стремился удешевить сделку, зная, что Костомаров, все-таки, боялся приговора сената по делу о вольной типографии.

---

[1]) Можно прочесть и «Валуа», т. е., вероятно, Валуева, вместе с Ахматовым игравшего роль в деле за очень дальними кулисами.

IV.

Пока за кулисами шла эта интрига, а на сцене сидела комиссия с разинутым от удивления ртом, Чернышевский терпеливо высиживал в Алексеевском равелине.

Он хорошо знал и был твердо уверен, что ни в его бумагах, ни в бумагах близких ему лиц не найдут ровно ничего, могущего служить материалом для сколько-нибудь добросовестно построенного обвинения. А так как Н. Г. еще верил в благоразумие правительства именно в своем деле, то и не допускал мысли о возможности наглых подлогов.

Поддерживая переписку с женой (бывшей с детьми в Саратове), Н. Г. всячески ее ободрял и успокаивал. Надо ли говорить, что все отправляемые и получаемые им письма прочитывались предварительно в комиссии.

Последняя обратила особое внимание на письмо Н. Г. от 5 октября, признала невозможным отправление его жене и приобщила к делу, чтобы «иметь в виду при допросе Чернышевского».

Вот оно полностью:

«Милый мой друг, моя золотая, несравненная Ляличка.

«Целую тебя, мой ангел. Я получил твои письма от 19 и 22 сентября. Теперь я имею основание думать, что доверенность тебе вышлю на-днях, — тогда, моя милая, делай, как тебе угодно, нисколько не сомневаясь в том, что мне будет казаться наилучшим именно то, что ты сделаешь: если не станешь продавать дом и останешься дожидаться меня в Саратове, — значит, так было лучше; если продашь дом и приедешь в Петербург, — значит, так лучше. Ведь ты знаешь, моя милая, что для меня самое лучшее то, что для тебя лучше. Ты умнее меня, мой друг, и потому я во всем с готовностью и радостью принимаю твое решение. — Об одном только прошу тебя; будь спокойна и весела, не унывай, не тоскуй; одно это важно, остальное все — вздор. У тебя больше характера, чем у меня, — а даже я ни на минуту не тужил ни о чем во все это время, — тем более следует быть твердой тебе, мой дружок. Скажу тебе одно: [наша с тобой жизнь принадлежит истории; пройдут сотни лет, и наши имена все еще будут милы людям; и будут вспоминать о нас с благодарностью, когда уже забудут почти всех, кто жил в одно

время с нами. Так надобно же нам не уронить себя со стороны бодрости характера перед людьми, которые будут изучать нашу жизнь]. — В это время я имел досуг подумать о себе и составить план будущей жизни. Вот как пойдет она: до сих пор я работал только для того, чтобы жить. Теперь средства к жизни будут доставаться мне легче, потому что восьмилетняя деятельность доставила мне хорошее имя. Итак, у меня будет оставаться время для трудов, о которых я давно мечтал. Теперь планы этих трудов обдуманы окончательно. Я начну многотомную «Историю материальной и умственной жизни человечества», — историю, какой до сих пор не было, потому что работы Гизо, Бокля (и Вико даже) деланы по слишком узкому плану и плохи в исполнении. За этим пойдет «Критический словарь идей и фактов», основанный на этой истории. Тут будут перебраны и разобраны все мысли обо всех важных вещах, и при каждом случае будет указываться истинная точка зрения. Это будет тоже многотомная работа. Наконец, на основании этих двух работ я составлю «Энциклопедию знания и жизни», — будет уже экстракт, небольшого об'ема, два - три тома, написанный так, чтобы был понятен не одним ученым, как два предыдущие труда, а всей публике. Потом я ту же книгу переработаю в самом легком, популярном духе, в виде почти романа, с анекдотами, сценами, остротами, так чтобы ее читали все, кто не читает ничего, кроме романов. Конечно, все эти книги, назначенные не для одних русских, будут выходить не на русском языке, а на французском, как общем языке образованного мира. Чепуха в голове у людей, потому они и бедны ,и жалки, злы и несчастны; надобно раз'яснить им в чем истина и как следует им думать и жить. Со времени Аристотеля не было сделано еще никем того, что я хочу сделать, и буду я добрым учителем людей в течение веков, как был Аристотель. А, впрочем, я заговорил о своих мыслях; они секрет, ты никому не говори о том, что я сообщаю тебе одной (тех, которые будут читать это письмо прежде тебя, я не считаю, потому что они этими вещами не занимаются). Но я рассказал тебе это для того, чтобы ты видела, как далек я от всякого уныния, — о, нет, мой друг, редко когда бывал я так спокоен и доволен, как в это время. Смотри же, будь и ты спокойна и бодра.

Ты здорова — только это и нужно мне, чтобы я был в хорошем расположении духа.

«Но что тебе сказать о положении вздорного дела, которое служит причиною твоего огорчения и лишь по этому одному неприятно мне? Решительно ничего не мог бы я тебе сказать об этом, если бы даже говорил с тобой наедине, потому что сам ровно ничего не знаю: до сих пор мне не сказано ни одного слова об этом деле, и оно остается для меня секретом, которого не разгадал бы я при всем своем уме, которым так горжусь, не разгадал бы, еслибы и захотел думать о вздоре, о котором и не думаю, будучи уверен, что важного тут не может быть ничего. Когда это дело кончится? — тоже не знаю; но, вероятно, скоро — ведь не годы же оно будет тянуться. Ну, может быть, протянется еще месяц, другой, — ведь три целых месяца уже прошло, — а может быть, и одного месяца не протянется, — я ровно ничего не знаю, мой дружочек. Можно только судить по здравому смыслу, что большая половина этого нашего времени разлуки уже прошла. Будь же умница, мой дружочек, будь весела и спокойна, — за это я поклонюсь тебе в ножки и расцелую их. — Быть может, мой милый ангел, ты вздумаешь, что лучше тебе дождаться в Саратове доверенности и выехать уже по продаже дома, — если так, то так; а впрочем, тебе виднее это; ведь тут все зависит от денег, — продав дом, ты будешь иметь их; а теперь имеешь ли? Напиши об этом. Когда мне скажут что-нибудь, я уведомлю тебя, а теперь ровно ничего не знаю и уж по этому одному должен все предоставлять единственно твоему рассуждению, моя золотая Ляличка, еслибы не был всегда расположен во всем думать, что ты лучше меня можешь судить, как и что надобно сделать. Ведь ты у меня золотая умница, и за это я целую тебя.

Твой *Н. Чернышевский.*

«Чуть не забыл приписать, что я здоров. Целую детишек. Будь здорова и спокойна. Тысячи и миллионы раз целую твои ручки, моя несравненная умница и красавица, Ляличка, — не тоскуй же смотри, будь (несколько слов на нижней строке стерлись от времени с бумагой — *М. Л.*). А какая отличная борода отросла у меня: просто загляденье».

Особое внимание комиссии обратило на себя место, заключенное мною в прямые скобки. Комиссия увидела в нем непомерное самовозвеличение, преступную гордость! Она совершенно не поняла, что сколько - нибудь умный человек вообще не мог серьезно написать этого письма; что потому Чернышевский и просил Ольгу Сократовну никому не рассказывать о его «планах», что понимал, как они должны показаться всякому смешными своею совершенною вздорностью. Он просто издевался над комиссией и убеждал жену, хорошо его знавшую, в полном своем спокойствии. Дальше читатель встретит об'яснение этого письма, сделанное самим Чернышевским.

Наконец, комиссия пришла к заключению, что если и можно что получить в виде улик, то только, разве, путем допроса самого Чернышевского, который, конечно, де, проговорится, и 30 октября сделала ему первый допрос, предварительно, следуя общеустановленной форме, — совершив через ловкого и популярного протоиерея Полисадова «священническое увещание», «чтобы показывал сущую правду».

Вот этот допрос:

«Николай Гаврилович Чернышевский; происхожу из духовного звания; имею чин титулярного советника и нахожусь в отставке; вероисповедания православного. На исповеди и у св. причастия бывал, но не ежегодно, пропуская иногда обычное время говения по множеству занятий. Женат на дочери покойного коллежского (или статского — не помню) советника Сократа Евгениевича Васильева, служившего врачом при Саратовской удельной конторе; имя моей жены Ольга Сократовна. Мы имеем двух сыновей: Александра, 8 лет, и Михаила, 4 лет. Жена и дети мои находятся ныне в Саратове.

«Отроду мне 34 года. Воспитывался сначала в Саратовской духовной семинарии, потом в Петербургском университете, в котором кончил курс в 1850 или 1851 году (кажется, в 1850, но не ручаюсь, что именно тогда, а не годом позже) [1]).

«По окончании курса служил сначала преподавателем во 2-м кадетском корпусе, потом (весною 1851 года, кажется) уехал учи-

---

[1]) В 1850 г., со степенью кандидата.

телем гимназии в Саратов [1]); весною 1853 года возвратился в Петербург и служил года два опять преподавателем во 2-м кадетском корпусе [2]); прослужив срок, требующийся для утверждения в чине, вышел в отставку, — кажется, в начале 1856 или, может быть, и в начале 1855 года (последняя цифра, вероятно, точнее, но не помню хорошенько) [3]); потом, через год или год с небольшим, причислился на службу в С.-Петербургское губернское правление [4]), не принимая никакой должности в нем, лишь бы считаться на службе в угождение отцу, которому это нравилось. Такое зачисление на службу устроил тогдашний петербургский вице-губернатор г. Муравьев; когда он был переведен из Петербурга, и поступил новый вице-губернатор, незнакомый мне, разумеется, нельзя стало мне числиться на службе, не неся никаких занятий по ней, и я вышел в отставку — кажется, в 1858 году, а может быть и в 1859, — не припомню хорошенько [5]).

«Недвижимую собственность я имею: по наследству отца своего и своей матушки дом в городе Саратове и несколько десятин земли (должно быть, 25 или 30 десятин) в Аткарском уезде Саратовской губернии.

«Под судом не был.

«С 1854 года, то есть почти с самого возвращения своего в Петербург из учительства в Саратове, занимался литературой».

Вопр. «С кем вы знакомы в Петербурге, Москве и других местах России, равно за границею; когда и по какому случаю с каждым из них познакомились и в каких находились сношениях?».

Отв. «Занимаясь в течение нескольких лет редакциею одного из больших журналов, я должен был быть знаком с сотнями или тысячами лиц в России. Пересчитывать их всех здесь было бы слишком долго, да и напрасно, — напрасно потому, что нужно только пересчитывать людей, писавших в журналах петербургских и мо-

---

[1]) Назначение туда произошло 6 января 1851 г.

[2]) Там и в Саратове преподавал русскую словесность.

[3]) Высоч. приказом 1 мая 1855 г.

[4]) Высоч. приказом 7 декабря 1856 г. зачислен канцелярским чиновником с 13 ноября того же года.

[5]) 4 марта 1859 г.

сковских, — и тот, кто потрудится пересчитывать их, будет пересчитывать почти все знакомых мне. Отношения эти у меня к ним были чисто литературные, — по помещению статей в журнале «Современник» и по плате денег за статьи. — По случаю помещения статей г. Мечникова в «Современнике» я писал ему раза два или три в Италию, где он тогда (в первой половине 1862 г.) жил. Содержание писем моих к г. Мечникову было таково: «такая-то статья ваша получена или напечатана мною. Деньги за нее вам посылаются или будут посланы» [1]).

В. «По имеющимся в комиссии сведениям, вы обвиняетесь в сношениях с находящимися за границею русскими изгнанниками и другими лицами, распространяющими злоумышленную пропаганду против нашего правительства, и с сообщниками их в России; равно в содействии им к достижению преступных их целей. Об'ясните: с кем именно из этих лиц вы были в сношениях, в чем заключались эти сношения и ваши вследствие оных действия, а также, кто участвовал с вами в этом деле?»

О. «Мне очень интересно было бы знать, какие сведения могут иметься о том, чего не было. Под русскими изгнанниками тут, вероятно, разумеются г.г. Герцен и Огарев (это предположение я высказываю здесь потому, что их фамилии были мне сказаны лицом, предлагавшим мне изустные вопросы, имени и фамилии которого не имею чести знать) [2]) — всему литературному миру известно, что я нахожусь в личной неприязни с ними по делу г. Огарева с г-жею Панаевою из-за имения, которым управляла г-жа Панаева, по доверенности г. Огарева. Неприязнь эта давнишняя.

«Каких соумышленников имеют и имеют ли или нет каких соумышленников в России г.г. Герцен и Огарев, мне неизвестно.

«Я принужден здесь выразить свое удивление тому, что мне предлагаются подобные вопросы.

«Прибавлю, что и по делу г. Огарева с г-жею Панаевою я не

---

[1]) По ответам Льва Мечникова видно, что, в сущности, письма были, конечно, вовсе не такого казенно-шаблонного характера, но Чернышевский знал, с кем имел дело, и был уверен, что писем к Мечникову комиссия никогда не увидит.

[2]) Генералом Огаревым.

имел ни с г. Огаревым, ни с г. Герценом никаких сношений. Точно также не имел я сношений ни с кем другим из русских изгнанников».

По прочтении вопросных пунктов Чернышевскому стало совершенно ясно, что он не ошибался, что за четыре месяца усиленной, казалось бы, работы комиссия не нашла никаких серьезных улик, и потому он решил держать себя с нею совершенно определенно и притом вызывающе.

Мало того, что он написал приведенные ответы, но по окончании допроса заявил еще, что как только кончится его дело, подаст жалобу на действия комиссии. Можно себе представить, как обозлился могущественный Голицын.

Но комиссия его понимала свое неловкое положение. На следующий день она постановила признать последние ответы Чернышевского «неуместными» и, имея в виду статью закона, по которой ответы должны излагаться без всяких околичностей, положила «потребовать от Чернышевского, чтобы на предложенные ему вопросы дал об'яснение, согласное с требованием закона».

1 ноября Чернышевский был вновь вытребован в комиссию и написал другой ответ на вчерашний последний вопрос: «Ни с кем из лиц, распространяющих злоумышленную против правительства пропаганду, и ни с кем из находящихся за границей русских изгнанников, и ни с кем из их сообщников в России я не был ни в каких сношениях. Прибавлю, что мне и неизвестно, находятся ли таковые сообщники у них в России».

Повидимому, Чернышевский надеялся быть выпущенным скоро и, когда увидел, что надежда эта становится несбыточной, 20 ноября решил написать два письма: одно царю, другое кн. А. Суворову. Привожу их полностью:

«Всемилостивейший Государь.

«Я был арестован 7-го июля. Меня призвали к допросу 30-го октября, почти через четыре месяца после моего ареста. Если бы можно было найти какое-нибудь обвинение против меня, достаточно было времени, чтобы найти его. О чем же меня спросили? О том, «в каких отношениях я нахожусь к русским изгнанникам, Огареву и Герцену». — Я отвечал: «в неприязненных, это всем

известный факт; он должен быть известен и комиссии». — Ничего не нашли сказать мне, ни против этого, ни кроме этого. Допрос едва ли продолжался 10 минут. Я подождал еще две недели, не имеют ли о чем спросить меня, кроме этого; меня не призывали. Тогда я выразил сам желание, чтобы меня пригласили в следственную комиссию; ждал приглашения 4 дня; не получил его и обратился к его превосходительству г. коменданту С.-Петербургской крепости с запискою, по которой мне разрешено теперь писать к вашему величеству.

«Государь, не из этого хода моего дела я заключил, что против меня нет обвинения, — я знал это и говорил это при самом арестовании моем. Но если бы я раньше настоящего времени стал уверять ваше величество, что обвинений против меня нет, вы, государь, не имели бы оснований верить моим словам. Теперь, смею думать, что они не покажутся пустыми словами. Если бы против меня были какие-нибудь обвинения, кроме намека, заключающегося в вопросе о моих отношениях к Огареву и Герцену, мне предложили бы какие-нибудь вопросы, относящиеся к этим другим обвинениям. Таких вопросов не было предложено; следовательно, и других обвинений нет. Вот первое мое основание. Вот второе: когда я выразил желание, чтобы меня пригласили в комиссию, я хотел через нее просить разрешения писать к вашему величеству; но это не было известно комиссии, — она не могла знать, зачем я желаю быть приглашен. В подобных случаях самое естественное предположение всякого следователя то, что арестованный желает сделать признание или показание, открывающее какую-нибудь тайну. Если бы комиссия имела это предположение, она поспешила бы пригласить меня. Но она не пригласила; следовательно, она не имела такого предположения. А не иметь его она могла потому только, что из самого дела ей было очевидно, что мне не в чем признаваться и нечего открывать.

«Но, государь, самое главное доказательство, что не нашлось возможности оставить на мне какое-нибудь обвинение, заключается именно в том единственном вопросе, который был мне сделан. Спрашивать меня о моих отношениях к Огареву и Герцену значит показывать, что спрашивать меня решительно не о чем. Всему петербургскому обществу, интересующемуся лите-

ратурою, известна та неприязнь между мною и ими, о которой я говорил; известны также и причины ее. Их две. Первая заключается в денежной тяжбе, которую имел Огарев с одним из знакомых мне лиц. Он выиграл ее; но в многочисленных разговорах, которые она возбуждала в обществе, я громко порицал действия Герцена и Огарева по этому делу. В моем положении неудобно мне говорить о другой причине неприязни между нами. Но ваше величество может увидеть эту причину из письма Огарева и Герцена, которое сохранилось у меня в бумагах. Неизвестное мне лицо, получившее это письмо, прислало его мне по городской почте, в очевидном желании сделать мне неприятность, потому что в этом письме Огарев советует своему корреспонденту побить меня, а Герцен говорит, что я поступаю с ним à la baron Vidil (указание на известный английский процесс: Видиль был приговорен к смерти за покушение на убийство). Почему Герцен так отзывается, и почему Огарев желает, чтобы меня поколотили, пусть об'яснит вашему величеству самое письмо их.

«Государь, имею ли я теперь основание обращаться к вашему величеству, как человек, очищенный от обвинений, — если вы находите, что имею, то благоволите, прошу вас, оказать мне справедливость повелением об освобождении меня от ареста.

Вашего Величества

Поданный *Н. Чернышевский*».

20 ноября 1862.

Письмо к кн. А. А. Суворову:

Ваша Светлость,

«В письме к его величеству я не употребляю ни одного из принятых в обыкновенных письмах к государю выражений чувства; это оттого, что, по моему мнению, человек в моем положении, употребляющий подобные обороты речи, оскорбляет того, к кому обращается, — обнаруживает мысль, что лицу, с которым он говорит, приятна или нужна лесть.

«Потому и к вашей светлости я пишу совершенно сухо. Когда я имел честь говорить с вами в прежнее время, я иногда употреблял теплые слова, которые можно было принимать, как угодно: или за выражение действительного моего уважения и до-

верия к вашей светлости, или за лесть. Я не стеснялся возможностью последнего, потому что тогда не нуждался в помощи вашей светлости. Теперь другое дело.

«Осмеливаюсь напомнить вашей светлости два случая. Однажды, вы сказали мне, чтобы я постарался остановить подписывание адреса о Михайлове. Я сказал, что не слышал о таком адресе, и что едва-ли он существует, но что спрошу об этом. Я спрашивал и оказалось, что, действительно, никакого адреса не существовало. А ведь ясно было, что вашей светлости говорили, что в числе хлопочущих о подписывании адреса нахожусь и я. В другой раз, вашей светлости было сказано, что я собираю у себя офицеров, — это было прошлой зимой. Вы были так добры, что передали мне это, предостерегая меня. А у меня во всю зиму не было никаких собраний.

«Эти два обстоятельства могут свидетельствовать, что не все слухи обо мне, доходившие до вашей светлости и других правительственных лиц, были верны. Это были слухи политические; но было много слухов обо мне. Когда, год тому назад, умер мой отец, говорили, что я получил в наследство, по одним рассказам, 100.000 р., по другим — 400.000 р. Или другой слух — даже не слух, а почетное показание: есть повесть известного писателя Григоровича «Школа гостеприимства»; я в ней выведен под именем Черневского, которому даны мои ухватки и ужимки, мои поговорки, мой голос, все; это лицо — то есть я — выставлено гастрономом и кутилой, напрашивающимся на чужие богатые обеды. Я не напрашиваюсь на изящные обеды уже и по одному тому, что встаю из-за них голодный: я не ем почти ни одного блюда французской кухни; а вина не люблю просто потому, что не люблю.

«Этих сплетен обо мне было бесконечное множество. Обратили внимание на те, которые относились к политике; почему бы не обратить его и на те, которые относились к вещам и не-политическим, в роде моего наследства и гастрономичности? Степень основательности этих последних могла бы служить мерою основательности и первых.

«Почему же обо мне ходило множество нелепых слухов? Я не очень скромен, потому скажу просто: я был человек, очень знаменитый в литературе. Как о всяком человеке, которым много занимаются, говорят много пустого, так говорили и обо мне.

«Например, много кричали о моем образе мыслей. В моем положении излагать его — неудобно: да, по счастью, и не нужно: я уже излагал его вашей светлости, излагал без всякой надобности, просто потому, что не имел причин скрывать его, — излагал с такими оговорками, которые могли доказывать, что я не хотел лгать или утаивать что-нибудь из него. Это главное. А притом, ваша светлость не раз говорили мне совершенно справедливо, что закону и правительству нет дела до образа мыслей, что закон судит, а правительство принимает в соображение только поступки и замыслы. Я смело утверждаю, что не существует и *не может* существовать никаких улик в поступках или замыслах, враждебных правительству.

«Должен ли я доказать, что не только говорю я это, но что это и действительно так, что их *не может* существовать? Доказательство тому: я оставался в Петербурге последний год. С лета прошлого года носились слухи, что я ныне - завтра буду арестован. С начала нынешнего года я слышал это каждый день. Если бы я мог чего - нибудь опасаться, разве мне трудно было уехать за границу, с чужим паспортом или без паспорта? Всем известно, что это дело легкое, не только у нас, но и везде. Да мне не было и надобности прибегать к такому средству: г. министр народного просвещения предлагал мне казенное поручение за границу, говоря, что устранить запрещение о выдаче мне паспорта он берет уже на себя. Почему же я не уехал? И почему, при всей мнительности моего характера, я не тревожился слухами о моем аресте? А что я не тревожился ими, известно всему литературному кругу и доказывается состоянием, в каком были найдены мои бумаги при моем аресте: опытный следователь, разбирая их, может убедиться, что они не были пересматриваемы мною, по крайней мере, полтора года.

«Или нужно доказывать, что я знал очень давно, что за мною следят? Теперь: правдоподобно ли, чтобы человек, уже немолодой (мне далеко за тридцать лет), заваленный работой, живущий в изобилии, с каждым годом имеющий больше дохода (в 1860 г. я получил до 10.000 рублей, в 1861 г. до 12.000 — это можно видеть из счетных книг журнала «Современник» — в нынешнем, если бы не арест, получил бы, по крайней мере, 15.000 р.; это можно видеть из рассчетов, находящихся в моих бумагах;

остановка издания «Современника» расстраивала мои доходы месяца на два, на три; когда я был арестован, я изготовил издания, которые дали бы мне больше дохода, чем давал журнал), — следовательно, человек, не имеющий личной надобности желать перемены вещей, — человек, имеющий на своих руках семейство, человек, которого еще никто не считал дураком, — чтобы такой человек стал ввязываться в опасное дело, правдоподобно ли это, ваша светлость? Правдоподобно, чтобы он стал это делать, зная, что за каждым его шагом следят?

«Прося вашу светлость представить государю мое письмо к его величеству, я должен об'яснить вам, что смягчил рассказ о моем допросе, отчасти для краткости, а больше потому, что считал неуместным говорить в этом письме о канцелярских промахах, вероятно, неумышленных. Выражение письменного допроса было не «об'ясните, в каких отношениях находились вы к Огареву и Герцену», — а «об'ясните ваши сношения, *о которых имеются в комиссии сведения»*, но прежде, нежели дали мне эту бумагу для письменного ответа, один из членов комиссии делал мне изустный допрос (который и продолжался не более 10 минут). Это лицо не решилось сказать в глаза мне того, что было написано в бумаге, а употребило именно те слова, которые привожу я в письме к его величеству: «об'ясните, в каких отношениях» и проч. и не решилось заговорить о «сведениях, имеющихся» и проч. Итак, в письме к его величеству я говорю об изустном допросе. Что же касается письменного, то я, прочитав выражение об «имеющихся сведениях», вспыхнул и написал горячие слова: «очень интересно было бы знать, какие могут быть сведения о том, чего не было. Я принужден выразить свое удивление тому, что подобные вопросы предлагаются мне». Через два дня меня призвали в комиссию, сказали, что по закону нельзя допустить таких резких выражений, попросили на другом листе повторить прежний ответ без этих выражений, — я согласился потому, что не люблю тягаться из пустяков. Но и тут мне не отважились ничего сказать о каких - то «имеющихся сведениях» о небывалых «сношениях». А тут ведь уже нельзя, кажется, было бы не сказать о них, если бы было, что сказать. Напротив, тут уже были со мною любезны, мы даже обменялись несколькими шутками, — почему же и не шутить? Я это люблю. Словом сказать, очевидно, что и «имеющиеся све-

дения» просто была канцелярская фраза, употребленная, вероятно, и не по злому умыслу, а только по машинальной привычке. Не стоило бы и говорить о ней, но на случай говорю, сожалея о том, что утруждаю вашу светлость такими дрязгами.

«В письме к его величеству упоминаю я о тяжбе Огарева с «одним из знакомых мне лиц»; это лицо — г-жа Панаева. Тяжба кончилась года два тому назад. Я не имею к ней никакого отношения.

«Я упоминаю также о лицах, которым во время моего арестования выражал, что обвинений против меня быть не может и что все дело состоит, без сомнения, в недоразумении или ошибке. Эти лица, по порядку времени: г-н полицейский чиновник, находившийся при моем арестовании; чиновник, с которым я ехал из дома III Отделения собственной его величества канцелярии в С.-Петербургскую крепость, и, наконец, его превосходительство г. комендант крепости.

«Следовало бы мне благодарить вашу светлость за то, что вы приняли на себя ходатайство по моему делу; но не хочу теперь делать и этого, чтобы не могло быть ничего, могущего заставить вашу светлость думать, что в моих словах не все говорится для правды, а хотя что-нибудь и для одного вида. Отлагаю выражение моей правдивой благодарности к вашей светлости и за это ходатайство и прежнюю вашу благосклонность ко мне, до того времени, когда опять буду вне прямой зависимости от вас.

«С глубоким уважением и искреннейшею преданностью имею честь быть вашей светлости покорнейший слуга *Н. Чернышевский*».

20 ноября 1862 г

Оба письма были направлены к кн. Суворову через коменданта крепости. Но... они не дошли до генерал-губернатора. Их получил шеф жандармов кн. Долгоруков и направил не по назначению, а председателю следственной комиссии кн. А. Ф. Голицыну. Александр II видел их; но этот скрытый инквизитор не счел нужным подражать Чернышевскому в поисках какой-то законности. Шеф жандармов послал, по его приказанию, оба письма Голицыну и, конечно, получил от того наглый, по существу, ответ.

«Милостивый государь, князь Василий Андреевич. Ваше сиятельство, препровождая ко мне, по высочайшему повелению, два письма Чернышевского, из коих одно на имя государя императора, а другое на имя князя Суворова, сообщили мне, что его величеству угодно, чтобы я, не говоря о сих письмах ни князю Суворову, никому другому, возвратил их вам, с надлежащими справками и с моим собственным заключением, для всеподданнейшего доклада.

«Во исполнение сей высочайшей воли, прилагая при сем подробную записку о Чернышевском, составленную из всех бывших о нем производств, я по содержанию сих писем долгом считаю отдельно об'яснить здесь следующее. Сущность их заключается в разборе медленных действий комиссии относительно его личности и свойства вопросов, которые ему были даны. Приняв основанием эти два предмета, Чернышевский в пространных и разнообразных рассуждениях, приходит к заключению, что не было настоящего повода к его обвинению и «что спрашивать его не о чем». Соображая и поверяя действия комиссии, я нахожу, что одновременно с арестованием Чернышевского предстоял еще не маловажный труд пополнить все сведения поверкой и оценкой опечатанных у него бумаг. Эти предварительные занятия представлялись тем более необходимыми и важными, что и самое арестование последовало по поводу задержания писем от Герцена, Бакунина и Кельсиева у возвратившегося из Лондона Ветошникова. В числе сих писем одно от Герцена к Серно - Соловьевичу обнаружило сношения первого с Чернышевским. Между тем, труды комиссии значительно увеличились. Кроме главного дела, ей порученного, множество других поступило к ней из разных ведомств, но почти в одно время. Все эти дела ею рассмотрены и приведены к окончанию. При таких обстоятельствах трудно было сблизить и ускорить допросы Чернышевскому. Между тем, новое обстоятельство невольным образом отложило их возобновление. Комиссия, для большей улики, ожидает показаний Костомарова. Рассмотрение и собрание их, совокупно с имеющимися о Чернышевском сведениями, определит степень прикосновенности его в общем деле.

«Обращаясь затем ко второму предмету разбора Чернышевского в означенных письмах его, т. е. к свойству и смыслу во-

просов, данных ему комиссиею, я нужным считаю заметить, что вопросы ограничились первоначально в известных пределах и составились из тех сведений, кои были у нее в виду. Неуместные ответы Чернышевского и самое его упорство вызывали со стороны комиссии указание на статьи уголовных законов. Отвергая в последующих ответах своих существование каких-либо сношений с лондонскими изгнанниками, он утверждал, что он находится в личной неприязни с Герценом и Огаревым. Письмо Герцена к Серно-Соловьевичу, содержание коего означено в приложенной при сем записке, служит лучшим доказательством несправедливости его показания.

«Сообразив содержание писем Герцена с изложенными обстоятельствами, до него касающимися, я полагал бы оставить их без последствий.

«Примите, ваше сиятельство, уверение в совершенном моем к вам уважении и преданности.

Князь Александр Голицын.

С.-Петебург.
30 ноября 1862 г. [1])

Когда в феврале 1863 года, до Суворова дошли, однако, слухи о недоставленном ему из III Отделения письме Чернышевского, он обратился к коменданту Сорокину:

«. . . Считаю долгом заявить вашему превосходительству, что адресуемые на мое имя письма я обыкновенно распечатываю и прочитываю сам и никому еще не давал права вскрывать и читать подобные письма прежде меня; поэтому и письмо литератора Чернышевского следовало доставить ко мне не распечатанным.

«С.-Петербургская крепость, находящаяся в губернии и столице, высочайше вверенных моему управлению, состоит и в моем ведении, как здешнего военного генерал-губернатора; посему, если ваше превосходительство имеете особую инструкцию, на основании которой письма, адресованные на имя князя Суворова, от лиц, содержащихся в С.-Петербургской крепости, должны быть передаваемы не мне, а кому-либо другому, в таком случае вам следовало, прежде чем разрешить г. Чернышевскому писать

---

[1]) «Былое» 1922 г., кн. 18.

ко мне, довести о таком намерении его до моего сведения, и тогда я испросил бы предварительно у государя императора разрешение, могу ли принять письмо от этого арестованного. Еслибы высочайшего соизволения на это не последовало, в таком случае литератору Чернышевскому не представлялось бы и повода писать вышеупомянутое письмо. Дозволять же ему писать ко мне, не предваривши, что письмо его не может быть доставлено по адресу, по моему убеждению, значит злоупотреблять моим именем, потому что Чернышевский, получивши такое предупреждение, без сомнения, отказался бы от намерения обращаться ко мне с письмом»...

Сорокин отвечал, что с 3 июля 1826 г. Алексеевский равелин состоит в ведении III Отделения, что все письма арестованных в равелине всегда передавались секретно в III Отделение и что «на том же основании было поступлено и с письмом содержащегося в Алексеевском равелине Чернышевского, адресованным на имя вашей светлости» [1].

Однако, этим все и кончилось . . . А Чернышевский все ждал исхода своей переписки и, конечно, ничего не знал.

Досуг свой он употреблял на работу, начав ее переводом 15-го тома «Всемирной истории» Шлоссера, разобранной для этого по томам им, В. А. Зайцевым, В. А. Обручевым и Н. А. Серно-Соловьевичем. 15-й был почти готов еще до крепости и, по окончательной отделке в декабре 1862 г., по просьбе Чернышевского, был передан комиссией в типографию Огризко, но сначала дан на просмотр сенатору Гедда, а потом, в декабре 1862 г., передан через обер-полицмейстера Огризку.

28 декабря 1862 г. Потапов сообщил комиссии, что Чернышевский просит купить ему 17-й том, — пусть поручат это знакомому им Пыпину, которого просил об этом и сам Н. Г. Перевод 16-го тома в январе 1863 г. передан через обер-полицмейстера в кн. магазин Н. Серно-Соловьевича, после отказа Огризка принять его без уверенности, что печатание будет происходить в его типографии.

16 ноября 1862 г. Некрасов обратился к комиссии со следующим прошением: «Частным образом сделалось мне известно, что

---

[1] «Былое» 1906, V, 131—132.

в числе бумаг т. с. Н. Г. Чернышевского были, при его арестовании, некоторые рукописи, заготовленные им для журнала «Современник». Получив после разрешение правительства на возобновление этого журнала, под моею редакциею и желая поместить в первых книжках сего журнала означенные рукописи, я имею честь покорнейше просить высоч. учрежд. следственную комиссию выдать мне, под расписку, эти рукописи, если не встретится к тому каких - либо препятствий». 27 ноября он обратился к Потапову: «Ваше пр — во, милостивый государь Александр Львович! Прискорбное обстоятельство заставляет меня неожиданно оставить Спб.: я получил депешу, что отец мой умирает, и еду в Ярославль. Между тем, рукописи, о которых я просил следственную комиссию, нужны для «Современника»: так, если рукописи эти будут назначены комиссией к выдаче, то покорнейше Вас прошу выдать их под расписку товарищу моему по редакции «Современника» Михаилу Евграфовичу Салтыкову, который вручит это письмо в. п — ву. Простите, что беспокою Вас моими делами. Примите уверение в совершенном моем уважении и преданности, *Н. Некрасов*.

Рукописи были просмотрены Каменским, а с Чернышевского 5 декабря была взята расписка о его согласии на выдачу их Некрасову, Салтыкову или кому будет указано первым из них. Все, кроме двух, были выданы Салтыкову 18 декабря; немногие из них напечатаны в «Современнике» 1863 г.; не появились, между прочим, «Очерки современных нравов» Д. Григоровича; задержаны анонимная — «Следственное дел о хреях и силлогизмах» и «Из воспоминаний детства» Н. Аристова.

15 января 1863 года Потапов передал комиссии начало романа «Что делать?» и письмо Чернышевского жене. Решено было роман передать на просмотр члену Каменскому, а письмо не посылать, пока не будет прочтена рукопись. 26 января она была послана обер - полицмейстеру для передачи А. Н. Пынину, с правом напечатать ее «с соблюдением установленных для цензуры правил». Каменский, следовательно, не нашел в ней ничего относящегося к делу Чернышевского, а комиссия и не подумала посмотреть на «Что делать?» с точки зрения цензора, — предполагалось, что эту обязанность будут нести профессиональные цензора.

Начатый свой роман Чернышевский решил, однако, прервать более энергичной борьбой с комиссией.

22 января 1863 г. он написал Сорокину:

«Надеясь, что дело его достаточно раз'яснено теперь, Чернышевский имеет честь покорнейше просить ваше превосходительство представить с вашим ходатайством на рассмотрение, кому следует, его желания:

«1. Чтобы ему *немедленно* было разрешено видеться с его женою, постоянно.

«2. Чтобы комиссия пригласила его для сообщения ему тех сведений о положении его дела, которые могут быть сообщены без всякого нарушения какой-либо следственной тайны, — именно, в какое, приблизительно, время дело Чернышевского может быть окончено производством. Чем оно окончится, этого он не спрашивает; это ему известно; но *когда* оно кончится, — это он желает знать.

Н. Чернышевский.

«22 января 1863 г.

«P.S. Если он не получит ответа до четверга вечера (24 ч. января), то он будет знать, что не нашли удобным или нужным обращать внимание на эти его желания. — 22 января 1863 года.

Н. Чернышевский».

Сорокин тотчас отправил эту записку в III Отделение. На следующий день Потапов передал ее в комиссию. Последняя положила «приобщить к делу»... Чернышевский терпеливо прождал 22-е, 23-е и день 24-го, а вечером послал Сорокину новую записку: «Чернышевский имеет честь покорнейше просить его превосходительство г-на коменданта известить его, получен ли его превосходительством какой-либо ответ на записку Чернышевского от 22-го числа этого месяца. — Вечер 24-го января 1863 г.

Н. Чернышевский».

Сорокин послал и эту записку в III Отделение. Ответа не получалось. 1 февраля комиссия и ее «приобщила к делу». 26 января она послала обер-полицмейстеру два письма Чернышевского и два пакета с рукописью «Что делать?» на имя А. Пыпина.

Чернышевский прождал еще до утра 28 января и... начал голодовку.

Тогда это было совершенною новостью. Власть к ней не была приготовлена.

Вот, что рассказывает помощник смотрителя равелина: «Дело было так: нижние чины караула да и сам смотритель заметили, что арестант под № 9, т. е. Чернышевский, заметно бледнеет и худеет. На вопрос о здоровье он отвечал, что совершенно здоров. Пища, приносимая ему, повидимому, вся с'едалась. Между тем, дня через четыре караульные доложили смотрителю, что в камере № 9 начал ощущаться какой-то тухлый запах. Тогда, во время прогулки Чернышевского в садике, осмотрели всю камеру — и оказалось, что твердая пища им пряталась, а щи и суп выливались... Стало очевидно, что Чернышевский решился умереть голодною смертью... Ни увещания добряка-смотрителя, ни воздействия со стороны III Отделения долго не влияли на него. Приказано было, однако, приносить ему в камеру всю пищу попрежнему ежедневно, но он еще 3—4 дня не дотрагивался до нее и пил только по 2 стакана воды в день. Соблазнительный ли запах пищи, страх ли мучительной голодной смерти или другие побуждения, но на 10-й день Чернышевский стал есть, и недели через две он совершенно оправился» [1]).

Состоявший при крепости доктор Оксель 3 февраля донес коменданту, что Чернышевский голодает, вследствие чего «заметно слаб», «цвет лица у него бледный, пульс несколько слабее обыкновенного, язык довольно чистый; прописанные ему капли для возбуждения аппетита он принимал только два раза, а 3-го числа об'явил, что не намерен принимать таковые, и что он воздерживается от пищи не по причине отсутствия аппетита, а по своему капризу».

Утром 6 февраля Чернышевский прекратил голодовку, выдержав таким образом девять дней, и писал коменданту:

«Так как только через ваше превосходительство я имею сношения с правительством надежным для меня образом и так как, без сомнения, будет спрошено Ваше мнение о случае, возбужденном мною [2]), то я с Вашего согласия, изустно сообщенного мне г. смотрителем, письменно прошу Вас прямо сказать мне, изустно

[1]) *Ив. Борисов,* «Алексеевский равелин в 1862—1865 г.г.», «Русская Стар.» 1901 г. XII.

[2]) Почему так осторожно говорит он о голодовке — непонятно.

или письменно: достаточно ли убеждены Вы в совершенной серьезности и твердости моей воли, которая была изустно об'явлена мною Вам [1]). По неопытности в различении симптомов страдания, я слишком рано приостановил продолжение начатого мною. Но я держу свой организм в таком состоянии, что результаты, которых я достиг в предыдущие 10 дней, нисколько не пропадают; и если ваше превосходительство еще недостаточно убеждены, я возобновлю свое начатое, без всякой потери времени, с прежним намерением итти, если нужно, до конца. Мне неприятен скандал, но не я причина его; вероятно, и ваше превосходительство также нисколько не причина его, — по крайней мере, я в том убежден, что Вы — не причина его.

«Прошу Вас отвечать мне — этого требует уж и обыкновенная учтивость. Но если Вы не будете отвечать ныне (в среду), это будет для меня значить, что Вы недостаточно убеждены в серьезности моего намерения. В таком случае прилагаемая (запечатанная) записка моя к его светлости г. генерал - губернатору не может иметь успеха, и для меня все равно, как Вы найдете нужным распорядиться ею.

«Если же Вы достаточно убеждены в серьезности и твердости моей воли, я прошу ваше превосходительство помочь мне испытать последнее средство избежать мне от развязки, гибельной для меня и невыгодной для правительства: я прошу Вас передать его светлости г. генерал - губернатору мою записку к нему. Она запечатана, — это требуется деликатностью относительно его светлости [2]). Но копия записки остается у меня, и если Вам нужно или угодно, Вы можете взять у меня копию, которую я в таком случае пришлю Вам также запечатанною, как это письмо, — запечатанною потому, что я желаю избежать всякого скандала.

«С истинным уважением имею честь быть вашего превосходительства покорнейший слуга *Н. Чернышевский*.

7-го [3]) февраля 1863».

---

[1]) Очевидно, перед голодовкой был разговор лично с комендантом.

[2]) Письмо к Суворову было запечатано сургучною печатью с каким-то гербом и сделана надпись: «в собственные руки».

[3]) Н. Г. сбился в числах; в среду было 6 февраля да и комендант датировал свою надпись на ней 6-го же.

«P.S. Понятно, почему я приостанавливаю начатое, когда в последний раз пробую вступить в переговоры, — это для того, чтобы по возможности не иметь ненужного угрожающего вида. *Н. Чернышевский.* P.P.S Прошу, ваше превосходительство, не пренебрегайте моею просьбою. Дело нисколько не шуточное. С этой минуты, если еще эта попытка не удастся, я уже не буду тревожить никого ни одним словом».

А вот что писалось Н. Г — чем князю Суворову:

«Ваша светлость, Я обращаюсь к Вам, как человеку, в котором соединяются два качества, очень редкие между нашими правительственными лицами: здравый смысл и знание правительственных интересов. Моя судьба имеет некоторую важность для репутации правительства. Она поручена людям (членам следственной комиссии), действия которых показывают — тупость ума или всех их, или большинства их, — говорю прямо, потому что это мое письмо, ведь, не для печати. Для меня жизненный вопрос, а для репутации правительства не ничтожное дело, чтобы на мою судьбу обратил внимание человек, могущий здраво судить о правительственных интересах, каким я знаю вашу светлость.

«Мои желания очень умеренны. Я могу указать средства, которыми правительство может исполнить их с честью для себя, нисколько не принимая вида, что делает мне уступку, — нет, вид будет только тот, что оно узнало ошибку некоторых мелких чиновников и, как скоро узнало, благородно исправило ее.

«Это об'яснение гораздо удобнее было бы сделать изустно, чем письменно: в разговоре всякие недоумения с той или другой стороны тотчас же могут быть устранены. Потому я прошу вашу светлость навестить меня. Но если Вы не имеете времени исполнить эту просьбу, я прошу у Вас разрешения писать к Вам, но лично к Вам и только к Вам, — потому что, как я сказал, я только в Вас вижу качества, какие нужны государственному человеку для здравого понимания государственных интересов и выгод правительства.

«С истинным уважением имею честь быть вашей светлости покорнейшим слугою, *Н. Чернышевский.*

7 февраля 1863».

Уже из того, что Чернышевский считал свою голодовку в десять дней и 6-е февраля счел за 7-е, которым и датировал оба

документа, можно видеть, как подействовала на него самого голодовка . . .

Сорокин рассудил за лучшее вытребовать у Чернышевского и копию письма к Суворову и все три документа тотчас отправил в III Отделение, сделав на письме Н. Г. к нему надпись: «Записку и письмо Чернышевского к кн. Суворову, полученные в 2 ч. пополудни, при сем к его пр — ву Александру Львовичу препровождаю». На следующий день они были пересланы Потаповым в комиссию, а Суворов опять ничего не получил.

7 - го числа Сорокин передал Чернышевскому свой весьма неопределенный ответ, и Н. Г. пишет ему: «Ответ вашего превосходительства передан мне в неясном виде, — это обыкновенное неудобство сношений через третье лицо. Я спрашивал Вас: совершенно ли Вы убеждены в твердости моего намерения, — прошу Вас прислать в ответ одно из двух слов: «да» или «нет», не прибавляя к этому одному слову ничего, чтобы опять не вышло путаницы. Итак — «да» или «нет». 7 февраля 1863. *Н. Чернышевский*».

Ответ коменданта неизвестен. Ясно только одно: 7 февраля Сорокин был лично у Чернышевского.

11 февраля комиссия положила «все эти документы приобщить к делу»...

12 - го Чернышевский посылает А. Н. Пыпину уже 35 убористо написанных полулистов (37 — 72) продолжения «Что делать?» и полулист заметок о необходимых поправках при корректуре «для проверки собственных имен и чисел, встречающихся в этих листах романа». Все было получено комиссией на следующий день. Рассмотрение рукописи поручено генералу Слепцову, и потом она была отправлена Пыпину.

Писание романа Чернышевский прерывал, и довольно на продолжительные сроки, переводом «Истории» Гервинуса и Маколея (т. VI «Истории Англии»), которые рассматривались обычным порядком и доставлялись полицией Пыпину. 13 февраля Потапов сообщил комиссии, что, по донесению коменданта, Чернышевский «здоров и деятельно занимается переводом истории Гервениуса».

Между тем, ответ коменданта на вопрос: «да» или «нет», заключал в себе, вероятно, какую - нибудь угрозу, потому что, выждав семь дней, 14 февраля Чернышевский писал ему: «Вот

неделя проходит после моего свидания с Вами; и мне кажется, что ждать больше — было бы напрасною потерею времени, и что Вам пора принимать против меня меры строгости, о которых Вы говорили. 14 февраля 1863 г., утро. *Н. Чернышевский*».

18 февраля комиссия, наконец, решила не вызывать Чернышевского на вторичную голодовку и дать ему свидание с женою в присутствии своих членов.

23 февраля, через семь с половиною месяцев после ареста, Чернышевский, наконец, впервые увидел свою жену.

Перед тем он был посещен членами комиссии, но об этом мы прочтем его собственный рассказ. Они обещали освободить его через несколько дней. Веря обещанию, Н. Г. пишет комиссии: «Чернышевский просил бы уведомить его, когда будет назначено новое свидание его жены с ним, и, если это не представляет неудобств, назначить его завтра, в четверг. — Среда, 27 февраля 1863. *Н. Чернышевский*».

Обещание и просьба, разумеется, не были исполнены.

Вслед за свиданием Ольга Сократовна поспешила послать мужу довольно много книг, рукописей из редакции и новых журналов: в первых числах февраля уже вышли первые книжки «Современника» и «Русского Слова», отбывших наложенную на них кару. Комендант адресовался к Потапову, а последний 27 февраля запросил комиссию, прибавив, что, «для доставления арестантам Алексеевского равелина развлечения чтением, разрешено давать им книги из библиотеки, заведенной для сего при крепости». Комиссия нашла, что присланное Чернышевскому женой, исключая современных журналов, можно выдать.

4 марта Н. Г. пишет вторично в комиссию: «Чернышевский имеет честь напомнить о той просьбе, которую он выражал в своей записке от 27 февраля. — Марта 4, 1863 г. *Н. Чернышевский*».

Комиссия решила молчать.

Тогда 7 марта Н. Г. пишет Сорокину:

«Ваше превосходительство, со мною опять начинают шалить. Задерживают письма моей жены; не обращают внимания на мои желания, о которых я *знаю*, что для исполнения их нет препятствий; даже не отвечают на мои желания, — что уже просто не-

вежливо: наконец, я не вижу исполнения того, что мне было сказано в глаза 23 февраля о *нескольких* днях.

«Сделайте одолжение, ваше превосходительство, употребите ваше влияние на то, чтобы убедить других в напрасности и неудобстве этих шуток. Я не знаю, кто это шутит; но, вероятно, лица, говорившие со мною 23 февраля, поддержат Ваше мнение, что шутки эти пора прекратить.

«Когда мое терпение истощится, я, по своему обещанию, предупрежду ваше превосходительство. Теперь пока, я думаю, что его еще достанет на несколько времени. Но вернее было бы не испытывать его. Ныне *восемь* месяцев, как его испытывают, — кажется, этого довольно.

«Боже мой, что у нас, как все неловко и неуместно шалят над людьми. Пора бросить эту старую привычку, — ею наделано довольно уже много такого, чему вовсе не следовало быть, и что, конечно, не приносит пользы правительству.

«С истинным уважением имею честь быть вашего превосходительства покорнейшим слугою, *Н. Чернышевский.*

«7 марта 1863 г.»

Но комиссия уже знала, почему шутила . . . В тот же день Потапов переслал это письмо ей.

V.

Вернемся за кулисы, где, как помнит читатель, велась игра Костомарова с Путилиным и Потаповым и Потапова — с мучимой им комиссией.

14 октября Костомаров, все увлекательнее рисовавший декорации своей осведомленности в революционной работе, передал приехавшему в Москву Путилину два «документа».

Первый — следующий листок:

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

в заседании своем
14 октября 1862 года
П О Л О Ж И Л:

§ 1. Издание газеты «Мысль и Дело» приостановить до нового года; изготовленные нумера сдать на хранение в архив комитета и затем действие главной типографии прекратить.

§ 2. По распоряжению Верховной Думы, Всероссийский с'езд депутатов назначается в Петербурге к 15-му января. Выборы депутатов от Московского общества будут произведены 22 декабря. Временная типография изготовит по сему предмету особые циркуляры, литография же комитета озаботится изготовлением трех тысяч экземпляров сеймового устава.

§ 3. Гг. казначеи приглашаются к 27 представить трехмесячные отчеты.

Я уверен, что и самый этот комитет и протокол его были сочинены Костомаровым, знавшим, что невежественный Путилин, а за ним и очень мало разбиравшееся III Отделение, сочтут этот печатный «документ» заслуживающим весьма серьезного внимания. У Костомарова имелся в небольшом количестве шрифт, а тискание набора производилось им вручную штемпельной синей краской, употреблявшейся тогда для белья и разметки товаров . . .

Мало того, «осторожный агент» таинственно ночью засадил Путилина и своего брата Алексея за переписку своего чернового наброска (уничтожив, вслед за ней, самый черновик), в котором нагородил еще всякого другого вздора, перемешенного с правдой. Вот этот второй шантажный «документ»:

«Любезный друг, приняв вторую степень посвящения, ты имеешь теперь право несколько более познакомиться с нашими рев. силами и их составом.

«Ты уже знаешь, что оппозиция правительству приняла в последнее время такие размеры, что из лагеря «недовольных» образовалась целая status in statu. Было ли это беспрепятственное возрастание наших сил следствием беспечности правительства, слишком ослепленного ложной идеей о своей нерушимости; было ли оно следствием незнания наших сил или, наконец, презрения к ним, решать я не берусь, а предоставляю тебе самому заняться когда - нибудь на досуге решением этой странной, в высшей степени странной загадки. Теперь мы поговорим о свойствах нашей оппозиции.

«Силы наши различного свойства, и я считаю необходимым показать тебе общую их связь и об'яснить тебе состав их настолько подробно, насколько мне позволяет это степень твоего

посвящения. Я надеюсь, что тогда тебе будут понятны и настоящий характер, и результаты нашего действия.

«Во-первых, есть у нас партия, которая сохраняет еще иллюзии на способность нашего правительства «усовершиться». Члены этой партии серьезно верят в обещания правительства, не ожидая ничего доброго от настоящего государя; они все еще рассчитывают на его династию. Партия эта исключительно состоит из либералов среднего сословия и представителем своим у нас, в Мо. [1]), считает I — а, человека в высшей степени честного, симпатичного и красноречивого. В нашем комитете поддерживаю его... В составе редакции нашего будущего органа, к сожалению [2]), никто из этих господ не принимает участия. Другая партия, почти такая же влиятельная, хотя и меньшая числом, по положению своих представителей может назваться партией высшего сословия. Проникнутые английскими началами, они формулировали свое учение в такое правило: «государь царствует в государстве, но не управляет им». Не скажу, главою, а скорее *центром* этой партии у нас считается *2;* ты увидишь (узнав, в свое время его фамилию), как ловко умеют люди этой партии носить маски верноподданнической преданности к особе I [3]), *3* и *4* — самыми влиятельными членами; *5* — публицист и посредник с другими партиями; *6, 7, 8, 9* — самые влиятельные члены. Впрочем, надо тебе сказать, что партия не успела, да и не могла приобрести много приверженцев в массе; она, так сказать, — штаб генералов и офицеров без солдат. Влияние этой партии держится только на *личном* достоинстве ее членов.

«Радикальная партия имеет самое большое число представителей в нашем комитете. Опора ее в стране — огромная симпатия масс (об чем, кажется, и не подозревает правит.). Партия эта имеет обширные связи в средних слоях общества и ведет деятельную переписку с членами Л-ского [4]) комитета. Она находится в постоянных и тесных сношениях с работниками, ремесленниками, солдатами, земледельцами, промышленниками, крестьянами, негоциантами, мелким чиновничеством, сельским духо-

---

[1]) Москва.

[2]) Отсюда после Путилина продолжал переписку Алексей Костомаров.

[3]) Александр II.

[4]) Вероятно, Лондонского.

венством и проч.; и, основательно изучая их интересы и потребности, их страдания и надежды, она знает все, что есть великого, благородного и инстинктивно - гениального в сердце народа. А это знание — такая сила, перед которой ничтожны и пули, и штыки тупого насилия. Наконец, своими связями, принципами, своим неутомимым возбуждением борьбы за право всех униженных, всех оскорбленных, всех поруганных и обманутых, своим неотступным апостольством, своим безбоязненным и твердым заявлением широко - либеральных стремлений и той горячей деятельностью, которая бывает плодом только сильных убеждений, — всем этим радикальная партия соединила под свое знамя огромные массы приверженцев. Преданные и горячие поборники дела, исполненные презрения ко всякой коварной тактике, отчасти суровые и мрачные, но откровенные энтузиасты, они призывают на битву с невыносимым деспотизмом всех людей с оскорбленным сердцем, напоминая им их забытые интересы, их попранные права, возбуждая их раздраженные страсти, разжигая всю ненависть, все отчаяние демократии, у которой всюду поперек дороги легли гниющие трупы привилегированных сословий. К несчастию, и эта партия разделилась на два лагеря. Оба они хотели одного и того же — республики и демократического правления, но каждый из них стремится к осуществлению своих целей различными путями. Одни из республиканцев, полные веры в могущество своего дела, полные убеждения в своей правоте, надеются (или, лучше сказать, надеялись) достигнуть своих стремлений посредством общественного сознания, которое, по их мнению, *должно* же восторжествовать. Самым лучшим надежным и неотразимым средством к достижению успеха они считают неутомимую пропаганду посредством слова и тайной прессы. Вооруженное восстание не находит сочувствия в этой части республиканской партии, хотя теперь они и согласились на него, *как на зло, хотя и важное,* но неизбежное. Другие, более нетерпеливые, провозглашают, что против бесправия могут иногда быть употреблены меры и не совсем правые; что правительство, действующее насилием, насилием должно быть и свергнуто («обнажившие меч мечом и погибнут»); самоуправление есть единственное *законное* правительство, стало быть, для достижения его *законны* и все средства, каковы бы они ни были: бунт, заговор, тайные

убийства и т. д. В оправдание того мнения, что *силою навязывать* народу новые принципы правления есть ошибка и преступление, они говорят, что народ, находясь в постоянном неведении своих прав, *не может* заявить сам своих требований, и что в таком случае не только позволительно, но даже должно *навязать* ему отнятую у него насилием и обманом свободу.

«Впрочем, несогласия эти никогда не доводили нас до ссор и антагонизма. Скрепленные одинаковостью чувств, одинаковостью стремлений, мы легко подчиняемся большинству в выборе средств для достижения этой цели. *Одна* какая-либо партия никогда не могла бы создать такой громадной оппозиции *одними своими силами,* да, если бы даже реакция и явилась делом одной партии, она непременно погибла бы от противодействия остальных соединившихся между собой партий [1]).

«Теперь познакомив тебя в общих чертах с направлением и составом наших *сил,* нахожу возможным посвятить тебя в некоторые подробности касательно наших учреждений. Наперекор всем парламентарным законам, *законодательская* власть нашего союза находится в руках постоянного института, имеющего вид правильно организованного министерства и, наоборот, властью *исполнительной* облечены центральные комитеты делегатов, составляющие, так сказать, венец всей массы наших сил. Организация этой могущественной силы очень проста. В каждом из округов есть комитет, который посылает своего депутата в центральный комитет. Посредством этих депутатов-представителей центр. комитет сообщает деятельность окружным комитетам, а те, в свою очередь, передают это движение своим избирателям. Центральный комитет, разумеется, неусыпно заботится о том, чтобы во всех частях союза возбудить одинаковую жажду деятельности. Долго успех в этом деле казался более, чем сомнительным, но в настоящее время различные элементы слились уже в общую массу и достаточно приготовлены к тому, чтобы действовать общими силами. Теперь влияние центр. комитета значительно усилилось, и авторитет их принят везде и безусловно.

---

[1]) В непродолжительном времени я доставлю тебе блестящую речь «о необходимости примирения партии и действий сообща», сказанную Р—вым в собрании 10 октября. Р—в один из самых сильных представителей партии радикалов. *В. К.*

Ни откуда не встречается ни возражений, ни сопротивления, ни равнодушия.

«Я знаю, что ты, мой неисправимый скептик, не очень веришь в могущество нашей оппозиции. Ну, вот теперь пришло время *подставлять известные величины* в знакомые тебе формулы, — ты сам удостоверишься в непреложном значении исторической истины, что все правительства от долгого царствования поражаются слепотою. Мы слишком привыкли возиться с мелочами, проглядели все глаза на пустяки, и когда пришла действительная опасность, мы ее не видим. Наша service de sûreté весь век свой ловила одних ершей, и если на ее удочки не попадаются пудовые осетры, она остается в совершенной уверенности, что осетров этих не существует и вовсе. Точно также и в армии. Ты, конечно, согласишься со мной, что наше правительство держится уж никак не самовеличием своей идеи. Армия всегда и везде была одною из самых сильных внешних опор деспотического правительства. Но при каких условиях? Пока ее задаривали и покупали, как солдаты-императоры римские; пока ее держали в узде, как солдат-император Н.[1]; пока ее «водили к победам», как солдат-император N.[2]). Про нашего И.[3]), ты знаешь, мы не можем сказать ни того, ни другого, ни третьего. А между тем, он все еще уверен, что «армия, подобно жене Цезаря, не может быть даже и заподозрена». Сильно он ошибается, бедный. Если армия *по привычке* и была до сих пор верна дисциплине, зато она далеко не воодушевлена, а *мы убеждены*, что она не очень усердно будет сражаться за людей, которые так слабо держали в руках своих то знамя, которое они обязаны были покрыть славой. Но для ограниченных умов *доверчивость доступнее бдительности*. Уверенность в своих силах была, вообще, болезнью деспотов.

«Степень твоего посвящения не позволяет мне сказать тебе ничего более. Если интересы нашего дела, точно, близки тебе, постарайся, чтоб срок твоего искуса окончился как можно скорее. Иначе *действие начнется*, и на твою долю выпадет одна

---

[1]) Николай I.
[2]) Наполеон I.
[3]) Александр II.

только глупая и жалкая роль *постороннего зрителя*. Я не стану повторять тебе в сотый раз того, когда наступит время твоего искуса: ясно, само собою, что ты должен будешь что-нибудь сделать для общества прежде, чем оно решится облечь тебя *полною своею доверенностью*. Что же касается до кандидатуры известного тебе человека, то решение комитета осталось на этот счет неизменно: т. е. он может быть введен в общество только на место К... [1]), который *должен выбыть из общества известным тебе образом*. Чем скорее это случится, тем бесконечно лучше для всех, интересующихся успехом нашего предприятия.

Комендант города Мальты *Венцеслав Лютый*».

Оба эти «документа» были доложены Суворову и Потапову.

14 декабря 1862 г. Костомаров писал Путилину из Москвы: «Об решении моего дела одна важная особа справлялась в сенате у другой важной особы: на два года в крепость без всяких дальнейших последствий. Сто десять рублей отправил, куда следует. Имею кое-какие свежие вести. Мне что-то крепко принемоглось; скучно как, — смерть. Пожалуйста, пиши мне. Касательно моей личности есть слух, *очень верный*, что придется пробыть в Москве несколько недель. Дай бог, чтобы хоть праздники не тревожили. В. просит извиниться, что замедлил отсылкой книги; брат был третьего дня дежурный и не мог сходить за ней. В. говорит, что книга эта не так интересна, но посылает пока, что может.

«Прощай, голубчик мой, пиши ко мне, и я буду писать. Низко кланяюсь Т. К. [2]). Твой навсегда *В. Кост*....».

В декабре Суворов сказал Путилину, что дело Костомарова решено в сенате, но, вместо непосредственного отправления на Кавказ рядовым, признано необходимым заключить его предварительно в крепость на 6 месяцев; при этом князь приказал уговорить Костомарова, что «если он окажет правительству важную услугу, то содержание в крепости может быть отменено». Взбешенный и испуганный Костомаров потерял доверие к своему покровителю-посреднику и заявил ему, что ничего не укажет, пока не повидается лично с Суворовым, и не будет им гарантирован

---

1) Сам Костомаров.
2) Жена Путилина.

в соблюдении со стороны правительства уже известных его условий.

В средине декабря Костомаров писал Путилину: «Дорогой друг, Иван Дмитриевич, посылаю к тебе А. Д. [1]), которого ты из'явил желание иметь на праздниках, дабы познакомить его с какими-то точками. При сей оказии он исправил кое-какие поручения лица, касающиеся нашего общего дела. Если оно не погибло и идет своим чередом, то существование А. в Пб. во все время моего сидения там совершенно необходимо. Как-нибудь это надо устроить. Решение об'явится 2-го. Ко времени моего прибытия возврати мне А. в целости, и, конечно, нам надо повидаться с тобою еще в Москве, дабы условиться насчет весьма многого и очень важного. Матушка кланяется и поздравляет тебя и Т. К. с праздником и с будущим днем Рождества. Дай бог вам повеселиться хорошенько весь год. Распродажа наша идет очень плохо: продали уж почти все, а вышло всего рублей тридцать. Из Женевы нет еще ответа. Мне очень нездоровится».

В конце декабря Вс. Костомаров прибыл в Спб. и 2 января 1863 г. писал Потапову: «Ваше превосходительство, милостивый государь, Александр Львович! Мне бы очень хотелось, — даже необходимо было бы, — прежде, чем мы сойдемся в понедельник [2]), говорить с *Вами* как о той записке, которую я обещал составить *для Вас* (но неудача последней экспедиции в Москву так меня расстроила, что я решительно не мог еще до сих пор привести в порядок своих воспоминаний, и не знаю, поспеет ли моя записка к понедельнику), так и о предположенной поездке матушки моей в Москву».

Указанная «записка» — записка о литературной деятельности Чернышевского, с которой мы своевременно познакомимся. Свидание с Потаповым или пока вовсе не состоялось, или было раньше 7 января, так как в этот день Костомаров был снова в Москве. Я думаю, что вернее второе предположение. Вот что писал Костомаров по-французски, без подписи, повидимому, после свидания с начальником III Отделения, 4—5 января, а получено оно было Суворовым 7-го:

[1]) Брат, Алексей Дмитриевич Костомаров.

[2]) 7 января.

«Милостивый государь, бесцеремонность в отношении ко мне III Отделения достаточно, кажется, удостоверяет меня в совершенной невозможности иметь когда-либо честные и откровенные сношения с нашим правительством. Независимо от сего, другие обстоятельства, вследствие которых я имел возможность оказать правительству некоторые незначительные услуги, заставили меня удалиться от обманувшего меня управления и обратиться к вам, м. г., как к человеку, который, я в том уверен, никогда не употребит во зло мое доверие. Цель настоящего письма просто желание извиниться перед Вами в том, что до сих пор не имел полного доверия как к Вам, так и к лицу, избранному мною единственным посредником в моих с вами сношениях [1]). Позволяю себе надеяться, что по прибытии своем в Спб. (путешествие совершенно мною неожиданное) Вы удостоите меня непродолжительной аудиенцией, кроме сего, прошу разрешить мне, до своего от'езда, письменно сообщить Вам о причинах моего недоверия».

По приезде в Москву, Костомаров написал Суворову второе письмо, по-немецки (привожу, как и французское, в переводе чиновника III Отделения Келлера), датировав его 7 января:

«Милостивый государь, в последнем письме своем я просил разрешения об'яснить вам причины и побуждения чувства, называемого всегда г. П(утилиным) недоверием, и которое я никак не могу назвать иначе, как осторожностью и самосохранением. Прискорбный результат бескорыстного содействия с моей стороны в предприятии, в котором я действовал не совершенно безуспешно, мог бы вполне извинить мою осторожность, если бы в настоящее время я имел дело с теми же личностями, столкновение с которыми меня почти уронило в общественном мнении. Ныне эта осторожность была бы совершенно неуместна, так как мне удалось войти в более или менее непосредственные сношения с личностью, ясно отделяемою народною массою от той массы низких и грязных людей, которые в отношении честности не отличаются излишнею щепетильностью, дозволяя себе всякую низость, приняв в основание своих действий весьма безнравственное правило, что выбор средств оправдывается предположенною целью. Из вышеизложенного следует, что с моей стороны не мо-

[1]) Путилин.

жет быть никакого недоверия, да на самом деле его и нет. Письмо это доказывает полное мое к вам доверие: послание мое к гр. Шувалову [1]) было началом и главною причиною настоящего моего несчастия. Но летать мне невозможно, пока не выросли крылья, а что их у меня нет до сих пор, в этом виноват не я. Если бы они и выросли месяцев через шесть, то весьма может быть, что будет уже и поздно их употребить. Чья же в этом вина? Не моя, конечно, ибо судьба (или, по менее фаталистическому на жизнь воззрению — III Отделение) прекратила мою деятельность именно в то время, когда для успешного приведения в исполнение моих обещаний более, чем когда - либо, была необходима свобода действий и доверие лиц, в интересах коих я действовал.

«Неожиданный и незаслуженный мною арест нанес первый удар разрушившемуся плану моих действий. Неисполнение условий, гарантированных мне от вашего имени, побудило меня принять, с своей стороны, предосторожности, которые, если не совершенно лишат меня возможности исполнить данные мною обещания, то, по крайней мере, значительно затруднят их исполнение. Я и в настоящее время, как это вам известно, мог бы быть вам во многом полезен. Но настоящее мое положение лишает меня всякой к тому возможности. Чтобы служить вам словом и делом, мне необходимо то положение, на которое, вследствие неоднократных обещаний, я по всем правам мог рассчитывать, но вижу, что должен ждать этого еще полгода, тогда как, полагаясь на ваши уверения, и согласно с ними, мною было уже все устроено, и я мог считать себя вполне обеспеченным. Более подробные об'яснения буду иметь честь сообщить вам при свидании; до тех пор прошу вас, м. г., быть уверенным, что побудительные причины настоящего моего образа действий не заключаются ни в случайном и преходящем настроении духа, ни в недоверии, но един-

---

[1]) Еще в 1861 г.; оно не найдено. По всей вероятности, следуя общей привычке наших адинистраторов — считать адресованные им по должности письма и наиболее важные бумаги принадлежащими им лично Шувалов спрятал это письмо в личном своем архиве. Так поступали очень многие, например, Валуев, Милютин, Головнин и др. Архив последнего подарен им самим Публичной Библиотеке. Пора вообще обратить внимание на «личные» архивы потомков наших государственных деятелей, все еще успешно скрываемые от республики.

ственно в совершенной невозможности действовать иначе до изменения настоящего моего положения. Конечно, не могу я скрыть и того, что тут примешана небольшая доля весьма удобооб'яснимого чувства самосохранения и тем более, что вследствие насильственного перевода моего в Спб., я предвижу попытку известных мне лиц, желающих вытянуть из меня некоторые подробности.

«Считаю, однако же, долгом уверить вас, что я всегда и в такой степени почитал общественное мнение, что охотно перенесу даже жестокую месть вышеупомянутых мною лиц, но не решусь опозорить шпионством честное мое имя (sic!). И если бы я даже погиб под тяжестью могущих быть употребленными против меня насилий, то это не может иметь никаких последствий для других, потому что мною приняты против этого известные меры. Я, однако же, надеюсь иметь честь видеться с вами в скором времени и уверить вас лично в неизменной моей готовности вам служить».

Записочка Долгорукова: «По прочтении переговорить. Я полагаю, что как эти два письма, так и записка, мною вам переданные, должно будет представить в председательствуемую кн. Голицыным комиссию. 12 января».

На конверте второго, немецкого, письма Суворов написал: «Испросите выс. позволение Путилину быть у Костомарова».

10 января Путилин встретил Костомарова в Спб. на Николаевском вокзале (7 января он был вытребован из Москвы Долгоруковым для отбывания в крепости положенного ему заключения, при чем, согласно приказу шефа жандармов, был отправлен не по этапу, а по жел. дороге в сопровождении жандарма) и узнал, что тот желал, во что бы то ни стало, видеть Суворова 12-го числа. Князь и был у него в назначенный день в крепости. «Что именно послужило поводом к тому, что Костомаров не высказал ничего его светлости, то мне, — писал Путилин, — неизвестно, потому что я до сего времени (декабрь 1863 г. — *М. Л.*) более уже Костомарова не видал, и хотя я заявлял о необходимости нового моего свидания, но разрешения на это не получил».

Не зная этого, Костомаров писал Путилину конспиративно:

«М. г., Иван Дементьевич, если вы не увеличили своих требований насчет некоторых сведений, которые вы желали иметь от

меня (в последнее свидание наше) касательно проектируемого нами журнала, то я с готовностью сообщу вам их при первой же возможности видеться с вами. Вы, надеюсь, поймете причины, заставляющие меня наотрез отказаться от всякого посредничества в этом деле городской почты и, вообще, чего бы и кого бы то ни было, кроме вас и личных переговоров с вами. Жду от вас немедленного ответа, сообразно с которым я и расположу свои дела. Пожалуйста, дорогой мой, поверьте мне, что я употреблю все средства, чтобы извлечь вас из положения, как вы говорите, «крайне оскорбительного и неприятного». Отвечайте же немедленно, когда вы придете ко мне; чем скорее, тем лучше».

15 января 1863 г. Суворов сделал царю доклад о положении дела.

16-го следственная комиссия кн. Голицына заслушала официальное сообщение своего председателя о словесно переданной ему Суворовым царской воле принять к производству дело о разжалованном в рядовые Всев. Костомарове; было постановлено затребовать об'яснения от Путилина, Алексея Костомарова и матери его, а Потапову поручить «войти в личные об'яснения» со Всеволодом Костомаровым.

К этому времени Потапов немного приподнял свою завесу для комиссии, все еще, однако, не имевшей ничего для осуждения Чернышевского.

17 и 18 января брат и мать Костомарова дали показания.

«Брат мой Всеволод Костомаров предлагал мне, в видах пользы для правительства, принять участие в открытии тайных обществ против правительства, но я сначала не соглашался, опасаясь быть замешанным в какое бы то ни было дело, тем более в политические дела, зная, что брат находился в то время под судом. Но впоследствии, когда уже брат мой Всеволод Костомаров в присутствии г. Путилина стал предлагать мне принять участие, то я, приняв в соображение, что г. Путилин принимает тоже участие по приглашению брата, и с ведома пр — ва, то я и согласился». Затем шел рассказ, как Алексей был послан братом на один из углов Москвы получить от лица, якобы имевшего его фотографию, важный пакет; как он трижды никого не мог дождаться и как, в конце концов, пакет был передан ему в харчевне... самим же Всеволодом. Оказалось, что все это «было выдумано братом соб-

ственно для г. Путилина». Потом Алексей был командирован братом к кн. Суворову заявить, что «Всеволод надеется на его покровительство и выдаст все, что ему известно». Мать с Алексеем скрывали друг от друга о своем участии в почтенной деятельности Всеволода, не желая делиться выпадавшими на их долю крохами со стола III Отделения. При указании комиссии на какие-то именные списки произошла даже странная несогласованность: Алексей утверждал, что Всеволод передал их матери при первом аресте в 1861 г., мать отрицала это категорически.

Повидимому, речь шла о списках, имеющихся в деле. Первый из них писан Костомаровым шифром, а второй и третий писаны, а первый и дешифрирован Путилиным. Привожу их полностью, сохраняя подчеркнутые фамилии и их взаимное расположение [1].

1.

?	Зыков	Львов
Мещерский	Адамович	Молчанов
Певцов	Зоринцын	—
Челищев	Жеваковский	Андреев.
Ставровский	Некрасов	Теличев
Васьков	Офенберг	Попов
Майдель	Григорьев	Стариков
Родионов	Страхов	Жуковский
Якимов	Болтен	Ненарокомов
Сороко	Шамшин	Резвой
Черкасов	Смирнов	Миллер
—	?	—
Руднев	Абросимов	фон-дер Пален
Гагарин	Семенов	Рот
Семевский	Беляев	—

д. Таубе.

2.

Кулаков	Турчанинов	Остен-Сакен
Малин	Зарин	Киреевский
Гургин	Волков	Офенберг

---

[1]) ? означает неразобранные фамилии на месте знака — фамилии нет.

Буренин

Берг

Дружинин
Покровский
Адамовский

Флоринский

Туманский
Никифоров
Орлов

Заславский
Фролов
Дуров
Пике

Мрочковский

Шалыгин

Топоров
Перхуров
Ляпунов
Яковлев
Сиверс
—
Добрынин
Елагин

Лавров

Победоносцев

Швяков
Виноградов

Шидловский

Соколов

?
?
Ширяев

Лабунский
Беляев
Друзин
Петров

Коншин

Свещников

—

Грицевич

Карнович

Ф. д.-Пален

Островский

Горчаков

3.

Руссель
Вульф
Фусен
Андриевский
Бороздин

Лаппа
Столыпин
Штерн
Глинка
Мельгунов

Буяковский	Григорович
Добровольский	Головин
Романовский	Сорокин
Костанда	Мейхте
Капустин	Хрущев
Каскуль	Цурмилен
Корсаков	Толмачев
Маевский	Березкин (зачеркнут)
Чебышев	Рашет
Каховский	Думшин
Падлевский	Майдель
Беляев	Трусов
Симашко	
Панютин	

К этому же времени относится любопытное письмо Н. Н. Костомаровой Путилину:

«Спешу сообщить вам то, что мне самой передал вчера утром мой муж. За ним присылал Пот.... и спрашивал его: «подала ли ваша супруга просьбу, какую я советовал ей подать?» и при этом передал ему все ее содержание от слова до слова, и «попросите ее уговорить сына *передать мне все, что он знает*. За то будут награды и почести для всего семейства. И выписывайте своего второго сына; мы сейчас же дадим ему место». Вследствие-то этого он его и выписывал, как я вам говорила, но для меня все это была тайна. Оба эти дни муж ездил куда-то во фраке, что с ним бывает только в торжественных случаях. Наконец, сегодня он об'явил мне свою тайну. Я, разумеется, очень смутилась при этом и сейчас же спросила, не сказал ли он ему, что я уж подала просьбу и кому именно? Он отвечал, что нет, но что он сказал ему, что я здесь. Но вижу по его смущению, что он все высказал, потому что я подловила некоторые слова; напр., Пот...., говоря и то и другое, между прочим, сказал: «мы, начальствующие, ничего друг от друга не скрываем; кому бы она ни подала просьбу, мы все сообщим один другому. Сув. — мне, а я — Сув.». Алексей приехал и сегодня будет у вас, и потому я сочла обязанностью предупредить вас обо всем, хотя, быть может, это и не составляет для вас никакой важности, — я, ведь, ничего не знаю;

но вы, как действующее лицо, должны знать все, а Алексей должен быть и у того, и у другого; следов., узнавши все, вы так его и настроите, как с кем держать себя, а ему велено вас слушать. Вот я и пишу это письмо украдкой и украдкой же принесла его к вам в дом. А очень бы нужно лично повидаться. Много есть у меня дельного и требующего немедленного распоряжения, но этого вы не узнаете до приезда моего в Москву. Действуйте же как знаете. А на дачу к вам ехать мне не хочется и не поеду; что-то вы очень недружелюбно бываете со мной у себя дома, да и люди ваши величайшие невежды, а я этого не люблю и не привыкла к этому. Если я буду вам нужна завтра, то напишите по получении этой записки одно слово, чтоб я приехала к вам, — я приеду, а то так, может быть, мы вас пригласим в Москву.

«Письмо это я написала с вечера, думая сама отнести, а сегодня встала вся больная — и вы получите его от Алексея.

«Хочется сегодня уехать. О последствиях всего пишите к нему в Москву».

18 января комиссия поручила С. Р. Жданову, Потапову и М. Ф. Гедда вызвать Костомарова из крепости в III Отделение и потребовать от него раз'яснения всех представленных Путилиным (и мною выше приведенных) бумаг; а чтобы получить пакет его, находившийся в Москве у Ивана Шиповалова, разрешить Всеволоду Костаморову написать последнему письмо о выдаче пакета Алексею Костомарову, которому дозволить поехать в Москву, оставить мать в Спб. безотлучно, впредь до распоряжения; тогда же была написана просьба министру вн. дел, чтобы Путилин состоял пока в распоряжении комиссии.

Костомаров понял, что настал момент, когда в нем ощущалась острая нужда; он знал о полном отсутствии у власти каких бы то ни было доказательств против Чернышевского и о всей безрезультатности не только обыска, но и допроса 30 октября. Вместе с тем Костомаров понял, что, для выигрыша собственного положения пришло время устранить Путилина, для чего прежде всего нужно было дискредитировать его в глазах комиссии и III Отделения. Так он, без труда, и поступил.

Прежде, чем привести журнал о его допросе, скажу, что Путилин представил Суворову довольно подробную записку о дета-

лях организации тайного общества, нагородил там всякого вздору, что показывает, как, действительно, мало он был способен отнестись сколько-нибудь критически к костомаровской хлестаковщине. Я не привожу эту записку, как не имеющую никакого серьезного значения [1]). Прибавлю только, что тогда, вообще, у правительства не было *ни одного* человека, могшего *считаться* компетентным в таком вопросе, начиная с шефа жандармов и кончая «талантливейшими» местными жандармами. Любой радикальный студент знал и понимал обстановку несравненно лучше, а к чести молодежи, она еще не шла на приманки «такого» легкого заработка.

«Бывший корнет Костомаров, — читаем в журнале следственной комиссии, — удостоверяет, что «записка», в которой изложено образование и организация тайного общества и которая представлена г. Путилиным г. спб. воен. ген.-губернатору, составлена не им, Костомаровым, и что он только исправлял редакцию *подобной* записки, представленной ему однажды г. Путилиным; в настоящей же прибавлены такие сведения, о которых в прежней *вовсе не упоминалось*. Костомаров, по словам его, не сообщал Путилину и не мог сообщать тех *положительных* сведений, которые из'яснены в представленной ныне Путилиным записке относительно существования *правильно и окончательно организованного* тайного общества, его *личного состава, средств, численности членов оного, ополчения с значками и оружием*, ибо о существовании в России такого правильно и окончательно организованного тайного общества Костомаров не имел никогда никаких сведений и потому не мог и передавать их Путилину... Костомаров сообщал Путилину лишь свои *личные соображения и выводы*, как литератор, вообще о разных направлениях, существующих ныне в обществе, и, сверх того, некоторые известные ему, Костомарову, *частные сведения* об образе действия или намерениях *отдельных личностей* или *отдельного кружка людей*, в который он имел доступ. Так, в записке, которую Костомаров редактировал для Путилина, было изложено лишь все то, что ему, Ко-

---

[1]) В качестве «ценного» открытия по истории нашего революционного движения она напечатана сыном Путилина в V кн. 1913 г. того же невежественного «Исторического Вестника».

стомарову, было известно относительно преступных замыслов Михайлова и Шелгунова, а именно: что Михайлов сочинил прокламацию «К молодому поколению» и барским крестьянам, а Шелгунов — к солдатам и что его, Шелгунова, рукою писан экземпляр подобной прокламации, взятой у Костомарова при его арестовании по делу, по которому он осужден. Что Михайлов, отправляясь за границу, составил программу или конспект будущих действий по распространению противоправительственной пропаганды, и повез эту программу для совещания по оной в Лондон. Обо всем этом была составлена Путилиным и редактирована Костомаровым записка единственно с тою целью, дабы Путилин знал, на что необходимо обратить внимание и где следует отыскивать следы преступных замыслов для предания виновных в руки правительства. Независимо от всех сих сведений, которые в редактированной Костомаровым записке были изложены, передавал Костомаров Путилину еще все то, что ему удавалось слышать или узнавать в Москве, в отдельном кружке молодых людей, в который он успел получить доступ три раза, и где он однажды говорил речь, а именно: фамилии личностей, указываемых в этом кружке, как деятелей, сведения о существовании типографии и архива, или хранилища всей переписки этого кружка, небольшие плакарды, напечатанные в сей типографии; далее, он сообщал ему о том, что типографиею этого кружка заведует Плещеев, а устраивал оную Барфкнехт; что доступ в кружок Костомаров получил чрез Аргиропуло, который свел его с одним членом кружка, именовавшимся Ив. Сергеевичем Шиповаловым, который и вводил Костомарова в собрания кружка, бывшие один раз в каких-то chambres garnies на Петровке, а другие два раза в каком-то доме за Москвою-рекою; что некто (Николай) Буренин, архитектор, был указываем Костомарову, как руководитель кружка молодежи, готовый на уличные агитации, а раскольник Ярославской губернии Дорофей был в сношениях с Чернышевским и указываем Костомаровым, как деятель на раскольников. Наконец, Костомаров предлагал Путилину доставить случай войти самому в помянутый кружок, но Путилин отказался, а какое он сделал употребление из переданных ему в свое время сведений о личностях вышеозначенного кружка, его типографии и архиве, т. е. исследовал ли он сии сведения надлежащим образом, Костомарову неизвестно. Из

представленной же Путилиным записки о существовании, будто бы, в России тайного общества, Костомаров усматривает, с одной стороны, что в оной сообщенные Путилину известия, как слух (напр., о бывших у гр. Кушелева - Безбородко вечерах), изложены в виде положительных фактов, а с другой, — что в записке сей некоторые сведения (напр., о внутренней организации тайного общества), будучи заимствованы целиком из устава подобного польского общества, из газеты Долгорукова «Будущность» и из прокламации «Великорусс», равно из той программы, которая была проектирована Михайловым при от'езде его за границу, изложены в записке также в виде осуществившихся и продолжающих поныне существовать фактов. Далее, некоторые сведения, сообщенные Путилину Костомаровым, помещены в записке в искаженном виде; так, Костомаров показывал Путилину медный значек в виде жетона, который получает каждое новое лицо, допускаемое в вышеупомянутый кружок молодых людей в Москве; в записке же Путилина говорится о значках, имеющихся у земского ополчения тайного общества. Наконец, откуда заимствованы сведения, помещенные в записке о числительности членов тайного общества, о его ополчении и даже огнестрельном оружии, Костомарову вовсе неизвестно [1].

«Что касается до другой, представленной Путилиным записки, в *форме письма* члена тайного общества [2], то помещенные в сей записке сведения о различных партиях Костомаров признает за сообщенные им Путилину в том, однако, отношении, что, говоря Путилину о партиях, он разумел те различные направления, которые он, как литератор - наблюдатель, заметил в современном обществе; но, чтобы существовали различные правильно - организованные партии тайного общества, о том ему неизвестно. Так, под именем партии, которая в записке названа партией высшего

---

[1] В бумагах, представленных Путилиным непосредственно в следств. комиссию, имеется *черновая* записка о существующем в России тайном обществе, которая, по словам Путилина, была писана со слов Костомарова и представлена Путилиным в перебеленном виде воен. ген.-губернатору; в записке этой в самом начале, где излагается об образовании тайного общества, рукою Путилина отмечено: *«здесь надо по-литературнее изложить». (Комиссия).*

[2] Выше, с подписью «Венцеслав Лютый».

сословия, проникнутого английскими началами, он разумел приверженцев направления, проводимого Катковым. Записка эта была составлена единственно для того, чтобы дать Путилину возможность войти в кружок людей и сблизиться с ними. Заключающееся в записке сведение о речи, произнесенной в собрании 10 октября, касается речи, которую Костомаров имел случай слышать в вышеприведенном кружке молодых людей в Москве и которую говорил некто Рыков. Изложенные в конце записки сведения, т. е. с того места, где излагается об организации тайного общества, его законодательной и исполнительной властях, в виде постоянных институтов, имеющих устройство правильно организованного министерства, Костомаров не признает за сведения, сообщенные им Путилину, так как он подобного правильно организованного тайного общества не знает.

«О прочих письмах и бумагах, представленных Путилиным непосредственно комиссии, Костомаров отозвался, что письма эти писаны им в том же духе, в котором писал к нему Путилин. В заключение Костомаров об'яснил, что, получив недоверие к Путилину и сомневаясь в искренности желания его содействовать пользе дела, он, для удовлетворения его настояниям о выдаче имеющихся у Костомарова обличительных писем, сговорился с своим братом сделать мнимую попытку к получению сказанных писем от лица, у которого они хранятся, как о сем уже об'яснял брат Костомарова; на самом же деле Костомаров вовсе не посылал за письмами, так как до окончания дела о нем в сенате сделать этого было невозможно. Обстоятельство, касающееся сих писем, Костомаров об'яснил так: по распространившемуся слуху о том, что преступник Михайлов осужден вследствие доноса на него Костомаровым, сей последний, дабы разубедить кружок, в который он был введен студентом Аргиропуло, *пред'явил оному имеющиеся у него два письма Михайлова, одно письмо Чернышевского к Плещееву и одну записку Шелгунова,* с таким присовокуплением, что если бы слух о доносе его был справедлив, то, конечно, помянутые письма не были бы сохранены им у себя, и потому для большего убеждения в искренности своих действий, *он предложил одному из членов этого кружка (именовавшемуся Ив. Сер. Шиповаловым)* взять от него конверт с означенными письмами и хранить их до того времени, пока подозрение, на него

упавшее, совершенно раз'яснится, и с тем притом, чтобы письма сии не были истреблены и во всякое время могли быть обратно получены им, в случае надобности в них для своего оправдания в сказанном подозрении. Шиповалов на это согласился, и с этого времени приведенные три письма и записка хранятся у него в запечатанном конверте. Где живет Шиповалов и точно ли фамилия его такова, он, Костомаров, не знает, но приметы лица этого следующие: молодой человек, с черною бородой, без двух передних зубов, с шрамом на левом виске; он был студентом дерптского университета, хорошо говорит по-немецки и одет всегда хорошо [1]). Уговор обратного получения Костомаровым от Шиповалова конверта с письмами заключался в том, что Шиповалов обещался выдать этот конверт не иначе, как лично Костомарову или, по записке его, брату его, который служит офицером в армейской пехоте (4 резервного бат. Либавского пех. принца Карла Прусского полка) и которого он, Шиповалов, знает в лицо. Истребование этих писем от Шиповалова, прежде окончания дела о Костомарове в сенате, было неудобно в том отношении, что осуждение Костомарова, по приговору сената, должно было служить для кружка молодых людей новым доказательством того, что Костомаров не делал доноса правительству и потому не пользуется от него никаким особым покровительством в деле, по которому он предан суду.

«Наконец, относительно *списка личностей, представленного Путилиным,* Костомаров отозвался, что из помещенных в списке сем фамилий, некоторые суть те, которые сообщал ему Костомаров в разное время, по мере получения об них каких-либо сведений, а другие ему вовсе неизвестны и включены в список самим Путилиным. Припомнить те обстоятельства, по коим каждое лицо было указываемо Путилину Костомаровым, сей последний ныне не может. Припоминает, что из трех фамилий, именованных на записке, два лица: Гуркевич и Ольшевский, были указываемы Костомарову, как представители варшавского тайного общества».

Тогда же Костомаров выразил желание иметь свидание с Ми-

---

[1]) В особой справке рукою Потапова еще указано, вероятно, по дополнительному сообщению Костомарова: «на калошах N. R.».

хаилом [1]) Петровичем Милюковым и Федором Николаевичем Бергом.

20 января царю было доложено Голицыным обо всем изложенном и испрошено разрешение командировать члена комиссии ген. Огарева в Москву «для собрания на месте необходимых сведений», преимущественно о пакете у Шиповалова, на который возлагалось столько надежд... Огарев взял с собою шпиона III Отделения Путерницкого, а по приезде в Москву привлек к делу и местного жандарма полк. Воейкова. Сначала, 18 января, с Костомаровой была взята подписка о невыезде из Петербурга и учрежден над нею строгий полицейский надзор. Затем, кроме разрешения ехать, ей было дано право свиданий с сыном два раза в неделю «в уважение слабого его здоровья»; мало того, все в тот же день, 20 января, царь, по докладу шефа жандармов, приказал перевести Костомарова из куртины в Алексеевский равелин, водить его, если хочет, по праздникам к обедне, давать прогулки и свидания не только с матерью, но и с другими лицами, которым это будет высочайше разрешено, в квартире коменданта крепости в присутствии плац - майора или плац - ад'ютанта.

21 января комиссия просила Потапова сообщить обер - полицмейстеру о разрешении матери Костомарова выехать в Москву, что она вместе с Алексеем Костомаровым и сделала, отправившись одновременно с ген. Огаревым.

Вскоре на помощь был вытребован из Спб. еще пристав следственных дел Загоскин (уже не Путилин). «Работа», однако, не дала результатов... Вот что докладывал Загоскин: «Г - жа Костомарова отправлялась к Шиповалову, где пробывши 10 минут, вышла и рассказала, что слуга отказал ей в свидании с его господином по случаю болезни последнего; тогда, по совету Загоскина (все донесение писано в третьем лице), г - жа Костомарова поехала к Плещееву с просьбой, чтобы он, как знакомец Шиповалова, написал к нему и упросил бы повидаться с г - жею Костомаровой; но Плещеев просил ее избавить его от всякого вмешательства в их дело и устранился. На другой день г - жа Костомарова снова была у Шиповалова; слуга его об'явил ей, что барина его нет

---

[1]) Вероятно, описка вместо Александром.

дома, и что он приказал ему, если кто придет из Костомаровых, то всем отвечать, что Шиповалов никого из них не знает и даже знакомства с ними продолжать не желает. Загоскин, убеждая г-жу Костомарову приискать еще кого-либо из общих знакомых сына ее Всеволода и Шиповалова для улик второго и не удовлетворяясь ответом, предложил г-же Костомаровой употребить для посылки к Шиповалову с письмом женщину, бывшую у них, Костомаровых, в прислуге и теперь живущую в Москве».

Ни сном, ни духом неприкосновенный к делу Шиповалов написал, наконец, надоедавшей Костомаровой: «Милостивая государыня, не имея чести знать никого из фамилии г.г. Костомаровых, я решительно становлюсь втупик и не могу понять, откуда идут эти недоразумения. Если еще люди не совсем изверились в Бога, даю вам слово перед Его Святым Образом».

24 января Огарев писал Потапову: «Признаться тебе, я удивляюсь, чего вы церемонитесь с Шиповаловым и Плещеевым и чего жалеть архибестию Костомарова! Кстати же, он наврал еще об Барфкнехте и Буренине. Барфкнехт уже около 2 лет выехал в Спб. и теперь там наборщиком в академической типографии и никогда у Грачева не был фактором, а был фактором Ратье, который теперь также в Спб. и завел свою литографию. Николай же Буренин умер еще в 1861 г. Кроме нашего пьяницы Шиповалова, есть еще несколько, но не подходящие, совсем другого складу, да и рожи-то не такие, как описывал Костом.» . . . Тогда же генералу Огареву было дано знать о поездке в Москву Ф. Н. Берга, который должен был читать на литературном вечере 20 января свое стихотворение «В тюрьме», не читал и вовсе на вечере не был, а 21-го отправился в Москву; встретившись на вокзале с Костомаровой, о чем-то с нею говорил.

11 февраля «Алексей Д. Костомаров пред'явил в присутствии матери Загоскину, что он, назад тому часа 4, получил по городской почте на свое имя конверт; распечатавши, увидел другой, на имя брата его Всеволода от неизвестного «Ш.»; распечатавши и тот конверт, нашел в нем письмо красными чернилами, написанное тщательно цифрами. С письмом Загоскин пригласил Ал. Д. Костомарова поехать к жандармскому полк. Воейкову; по совещанию с ним, согласились посредством его представить это письмо с двумя бывшими при нем конвертами на имя начальника III Отде-

ления канцелярии его величества на рассмотрение. Загоскин списал с него копию и употребляет меры к успеху открыть содержание его через других лиц». Кроме того, Загоскин попутно убедился, что компания студентов в шесть человек, живущая у еврейки Александровой (из них один брат Берга, знакомого Костомарову), ведет очень предосудительную жизнь; «локомотивы их действий большею частью поляки». На вопрос, сделанный Загоскину при от'езде о «подвижничестве» г-жи Костомаровой, ответ достаточно оправдывается: «А. Д. Костомаров в нерешимости: пользоваться ли ему отпуском, или находиться при штабе в Москве, или же явиться в роту в Вышний-Волочек; он, вероятно, сказал начальству штаба, что занят делом по поручению III Отделения. При комиссии дела ему в настоящее время не предвидится, а, между тем, невозвратимые издержки возрастают». Вся эта комедия была разыграна Костомаровыми, которые вперед хорошо знали, что неведомый даже Всеволоду Шиповалов разыскан никогда не будет. Разумеется, сам автор шифровки, В. Костомаров, успешно дешифрировал письмо на имя Алексея, подписанное «И. С.»:

Передаю его в дешифрованном виде; прибавлю, что Воейков приложил и самый ключ шифра, хранящийся также в деле.

«25 янв. Г. Костомаров, — совершенно нечаянно до меня дошли слухи, что вы уже давно ищете меня с письмом от брата вашего, в котором он поручает взять у меня вверенный им мне конверт с бумагами известного вам содержания. Очень жалею, что я не мог ни его посетить в Сущ. ч., ни встретиться с вами после. Впрочем, в последнем едва ли даже и предстояла какая-нибудь надобность после того, как с заключением в крепость брат ваш совершенно перестал нуждаться в доверенных им мне бумагах, ибо не может уже (извлечь?) из них той нравственной пользы, какую они приносили ему, когда он был на свободе. Но, если вы найдете возможность, уверьте брата вашего, что бумаги его будут у меня целы, как нигде, и что я строго и свято держу данное мною слово возвратить ему эти бумаги тотчас же, как он сам будет возвращен обществу и, стало быть, получит возможность делать из них то употребление, какое до сих пор делал, а не то, какое по слабости природы человеческой мог бы сделать теперь, в минуту отчаяния и скорби.

«Я повторяю его же слова, которые он сказал мне, отдавая эти письма; он благородно сознал, что обезсиленный страданиями, самый честный человек может быть иногда очень неразборчив в средствах к своему спасению, — чего потом уже никогда не простит себе, — и, презираемый самим собой, отвергнутый (всеми?) честными людьми, всю жизнь свою будет мучительно раскаиваться в своей малодушной слабости. Вот это-то благородное сознание и заставило многоуважаемого братца вашего отдать бумаги свои человеку, образ мыслей которого был ему, конечно, известен, но настоящей фамилии и адреса которого он не знал, — чтобы отнять у себя таким образом всякую возможность сделать подлое дело на «пристрастном опросе», который, к стыду нашему, уничтоженный de jure, продолжает существовать de facto. Все это я к тому говорю, чтоб показать вам (что?) мой образ действий вполне согласуется с желанием братца вашего и, я уверен, не может быть ему неприятен. Да и оставя все это, он сам же связал меня клятвой, нарушить которую меня не заставит ничто; в силу этой клятвы, я обязан возвратить письма брату вашему немедленно по его водворении (там?), куда он будет послан в солдаты. И я сдержу свое слово, ибо, благодаря бога, до сих пор никогда не нарушал его. Тогда я умываю руки. Мое дело будет сделано, а там братец ваш может делать со своими письмами, что ему угодно. Мы внимательно следим за судьбою его (потому что принимаем в нем большое участие), и, поверьте, что, куда бы судьба ни забросила его, письма, доверенные мне им, немедленно найдут его. Я сегодня же должен уехать из Москвы, по делам своим, месяца на три; а то, поверьте, никак бы не отказал себе в удовольствии познакомиться с вами. Но это, конечно, не помешает мне знать все о брате вашем; я буду к нему даже несколько ближе. *И. С.*».

16 февраля III Отделение предписало Загоскину: «1) Если пакет от Шиповалова не получен и вы не на следу, чтобы получить оный немедленно, то розыскание прекратите, и, передав прилагаемое письмо г-же Костомаровой, предложите ей возвратиться в Спб.; 2) прапорщику Алексею Костомарову передайте, что пребывание его Спб. не нужно и чтобы он явился в распоряжение своего начальства». 21 февраля полк. Воейков, который должен был вскрыть этот пакет на имя Загоскина, если бы последний

выехал в Спб., донес, что второе приказание исполнил; что Костомарова выехала в Спб. 18 февраля и потому письмо ей не могло быть вручено; что же касается Шиповалова, то «в получении от него бумаг, врученных сыном г-жи Костомаровой, не только не предвиделось надежды, но даже при доставленном ей свидании в присутствии Загоскина с Шиповаловым в моем кабинете, дало явное понятие, что никакого успеха не будет, потому что Костомарова положительно говорила, что это не тот Шиповалов, которого два раза видела в своем доме, приезжавшего к сыну; также и «Николай Ираклиевич» отказался от всякого знакомства с Костомаровыми, равно и в получении на сохранение неизвестных ему бумаг».

Мать и сын Костомаровы были, однако, вознаграждены: ей выдано 100 рублей, ему — 20 рублей при оплате всех его расходов; прислуга их получила 8 р. . .

Одновременно III Отделение просило военное начальство оставить А. Костомарова в московском фехтовально-гимнастическом полубаталионе. Кстати, в июне Воейков донес своему начальству, что «А. Костомаров выдавал себя, что он состоит на службе при III Отделении, именно вашего пр — ва, показывал даже некоторым счет, сколько ему следует получить за командировки и поручения от III Отделения». Пользуясь своим положением, Алексей Костомаров шантажировал портного, сапожника и разных купцов. Конечно, Потапов поспешил написать Воейкову официальное отречение от такого негодного агента, предложив об'явить его кредиторам, что «он не состоял никогда и не состоит на службе ни при III Отд. с. е. и. в. канцелярии, ни лично при мне, и что ему не следует никаких денег ни от Отделения, ни от меня».

Два лжесвидетеля и один подложный документ.

I.

Итак, пакет с сильно изобличавшими Чернышевского и Шелгунова их письмами прошел мимо рук — думали III Отделение и следственная комиссия . . . Удалось напустить им туману — не

только думал, но хорошо знал Костомаров. Под натиском обстоятельств и в видах его собственных интересов, надо было приниматься за фабрикацию документов, которые, прежде всего, дали бы *формальное* основание ввести в дело Костомарова и затем дойти до гражданской казни Чернышевского, все еще ожидавшего второго допроса. В обществе не одобряли такого ведения дела; правительство жаждало новых открытий и жертв, думало, что Костомаров знает действительно много, но только не имеет, к сожалению, ни подтверждающих документов, ни свидетелей.

Потапов взял на себя роль режиссера, сценариусом была комиссия, а в ней — прежде всего Голицын; кн. Долгоруков, повидимому, ограничился ролью директора театра, иногда делавшего всем общие указания. Другим директором был . . . двоедушный царь.

19 февраля Костомаров писал Потапову: «Матушка моя вернулась из Москвы. *Поэтому* мне необходимо видеться с Вами. Ради бога не медлите с письмом. Имею особенные причины на эту просьбу. Бумаги ваши получил все. При свидании сообщу Вам все, что я об них думаю». Пометка Потапова: «Прошение матери. Дневник Чернышевского», т. е. эти бумаги были посланы Костомарову в крепость для прочтения, а «дневник» — и для изучения почерка Чернышевского и его манеры писать что - нибудь интимное, не для печати. О каком «письме» говорил Костомаров, читатель скоро увидит. Прошение матери — черновик, который был перебелен в III Отделении на следующий день и 20 февраля вручен шефу жандармов.

С ведома Всеволода она ходатайствовала, «как мать, как беспомощная женщина, лишившаяся в падшем сыне моем единственной опоры моей и всей семьи моей», о милости «не преступному сыну, но несчастной его матери, вместе с ним несущей тяжелое наказание за его преступления». «Облагодетельствованная разрешением вашего величества посещать сына моего в заключении, я в самой этой милости нахожу для себя и укор совести моей за сына и всю безнадежность отчаянного нашего положения». «Сократите срок заключения в крепости сына моего, вменив ему в оный и содержание его под арестом в Москве, и освободив его ныне, даруйте ему возможность скорее доказать его раскаяние в военной службе, назначив пребывание на Кавказе в одной из

таких местностей, куда бы могла последовать за ним его мать для совместного с ним жительства». Резолюция Александра II, «Преобразователя и Освободителя», на следующий день: «*Будет иметься в виду, когда он исполнит новые свои обещания*». Ясно, это значило: хотя прежние и были исполнены, но не считались еще столь важными, чтобы снизойти до удовлетворения просьбы матери. Самодержавие никогда не было очень щедро с негодяями, в роде Костомарова, зная, что они вполне в его власти и навсегда потеряны, как люди общества, — за все скажут спасибо... При этом Долгоруков написал Потапову: «Не сочтете ли вы нужным теперь же сообщить прилагаемые бумаги князю А. Ф. Голицыну и сообразить, какие по содержанию оных потребуются с нашей стороны распоряжения».

21-го Голицын сделал доклад, доведя до сведения царя, что Костомаров, «по убеждению ген. Потапова, из'явил готовность обнаружить известные ему преступные замыслы и действия отст. тит. сов. Чернышевского и отст. полк. Шелгунова и указать других лиц, коим известны были их замыслы». «Чтобы открытия их не могли быть сочтены за донос со стороны Костомарова и не поставили его в положение доносчика, он нашел для себя более удобным написать одному из своих друзей Милюкову письмо, в котором, сообщая ему о постигшем его несчастии и о последовавшем над ним проговоре, выскажет по *поводу этого приговора* все известные ему обстоятельства в том виде, как они были на самом деле. Письмо это Костомаровым уже написано и рассмотрено в комиссии. В нем он подробно об'ясняет обстоятельства, при коих были написаны воззвания Чернышевским к барским крестьянам и Шелгуновым к солдатам, и присовокупляет, что Чернышевским, кроме того, писано было послание к раскольникам и что Шелгунов ходил в казармы и об'яснял солдатам написанное для них воззвание. Причем Костомаров не скрывает и своего участия в сих действиях. К улике Чернышевского Костомаров обещает представить хранящуюся у него в Москве собственноручную записку Чернышевского и указывает лицо, бывшее у него в то время, когда приезжал к нему в Москву Чернышевский. Лицо это, по об'яснению Костомарова, может представить от себя письменное удостоверение сношений Чернышевского с Костомаровым и справедливость своего показания подтвердить

присягою. Кроме сего, Костомаров надеется получить в Москве бумаги, отданные на сохранение некоему Шиповалову, который до сего времени, за всеми принятыми комиссиею мерами, от выдачи их отказался. Написанное Костомаровым письмо будет отдано им здесь и адресовано будто бы из Тулы в то время, когда он, следуя по назначению на Кавказ, прибудет в этот город.

«В таком положении дела комиссия полагала бы: 1) по получении от Костомарова означенного письма перевести его из каземата на гауптвахту крепости и оставить на оной в течение трех дней, дозволив ему в это время, под строгим надзором, иметь свидание с лицами, которые пожелают его посетить перед отправлением на Кавказ; 2) по распоряжению инспекторского департамента военного министерства, назначить ту часть войск, в которую Костомаров должен быть определен на службу, для того, чтобы до от'езда он мог об'явить, куда следует адресовать к нему переписку, в числе которой, вероятно, будут отправлены и необходимые для дела письма, оставленные Костомаровым у Шиповалова, если он не успеет получить их в Москве, согласно обещанию Шиповалова, из'ясненному в шифрованном письме на имя брата; 3) отправить Костомарова отсюда в сопровождении жандармского офицера. В Москве оставить его на три дня на гауптвахте, допустить для свидания с ним лиц, желающих его видеть, и затем с тем же офицером отправить его до Тулы; 4) из этого города, по поводу написанного Костомаровым означенного письма, будто бы, задержанного при отправлении его по адресу, Костомаров должен быть возвращен в Спб. и доставлен в III Отделение; 5) по передаче письма в комиссию и по содержанию его Костомаров будет допрошен; 6) *показание его должно служить основанием для допроса Чернышевского, Шелгунова и др. лиц, которые окажутся прикосновенными к делу;* 7) так как Шелгунов, по высоч. повелению, оставлен в Иркутске под надзором полиции, а допрос его в комиссии по свойству и важности дела оказывается необходимым, то теперь же сообщить местному начальству о немедленном доставлении его в Спб. и по прибытии оставить до времени при III Отделении.

«Вместе с сим, долгом считаю представить на милостивое воззрение в. в. просьбу матери Костомарова, вдовы прапорщика, Надежды Костомаровой, ходатайствующей о облегчении участи ее

сына. Что касается до условий, в отношении денег, для отправления Костомарова и для обеспечения его матери и сестры, которые были испрашиваемы чрез бывшего надзирателя Спб. полиции Путилина и на которые, по докладу ген.-ад. кн. Суворова, последовало высоч. в. в. соизволение, а именно: на выдачу Костомарову перед от'ездом 500 руб. и на производство его матери ежегодно по 1.500 руб., — то Костомаров просьбу по сему предмету не признает происходящею от него, а как свою судьбу, так и положение матери и сестры, остающихся без его помощи в совершеннейшей нищете, всеподданнейше повергает на всемилостивейшее в. и. в. воззрение».

«Искренний» реформатор русского суда согласился со всеми проектируемыми мерами, а в конце (о деньгах) написал: «По этому дам особое приказание г.-а. Долгор.»...

«Прилагаемые бумаги», это — фабриковавшееся Костомаровым письмо, о котором он писал Потапову и 22 февраля: «Посылаю вам черновой проект моего письма к неизвестному другу [1]). Тысячу раз извиняюсь, что письмо мое вышло черновое в полном смысле этого слова, но вот мои оправдания. Во-первых, я до девяти часов вечера все ждал обещанных вами бумаг и не дождался их даже и до сей минуты. Теперь пятый час утра, переписывать некогда да и не на чем: бумага у меня вся вышла, а будить смотрителя и поднимать на ноги весь Алексеевский равелин неудобно. Перья тоже, как видите, немногим лучше помела, а стальных нам не дают, вероятно, из опасения, чтобы не закололись ими. Все это в извинение каллиграфии; что же касается до того, что в письме моем больше болтовни, чем дела, — в этом вините уж не меня, а скудность самых фактов. Впрочем, я полагаю, что при той обстановке, которая имеется в виду, совершенно достаточно и этого. Припоминать все эти забытые разговоры, все несостоявшиеся проекты, все разрушившиеся планы я считал совершенно лишним, с чем, кажется, и вы совершенно согласились со мною. Впрочем, все это — черновое и может измениться хоть сто раз, конечно, в форме, но не в содержании, сущность которого постоянно останется одна и та же».

---

[1]) Было решено не вмешивать А. П. Милюкова и вновь сочинить несуществовавшего в природе адресата.

А 24 февраля Костомаров писал Потапову: «У меня эти дни так страшно болела голова, что я насилу мог окончить письмо, посланное вам в пятницу [1]), и уже не был в состоянии написать вам даже несколько строк о тех изменениях, которые я там сделал. То, что вы не присылаете мне этого письма для новых изменений, позволяет мне надеяться, что вы более или менее довольны тем новым видом, который оно приняло. На мой взгляд, оно, в самом деле, стало дельнее, связнее и вероятнее прежнего [2]); только я опасаюсь, что несовсем цензурный и черезчур ругательный тон, принятый мною именно для этой-то *вероятности*, пожалуй, накличет на мою голову новую беду. В таком случае я совершенно отдаю себя под вашу защиту [3]).

«О *письмах* я не мог говорить обстоятельнее и яснее, не возбудив вопросов, отвечать на которые официально мне было бы крайне трудно и даже просто невозможно. Что же касается до второй из указанных Вами поправок («я взял рукопись с собою»), то я нарочно расставил пошире слова «рукопись» и «с собою» с тем, чтобы пополнить промежуток между ними после, когда я, взглянув на рукопись, en question, удостоверюсь или припомню, кем именно она переписана [4]). Наконец, в новой редакции моего письма я умолчал о месте, времени и обстоятельствах диктовки *третьего* послания: на это я имел тоже очень важные причины (не в ущерб делу, конечно). О них, так же, как и о многом другом, я сообщу вам при свидании, которое мне очень хотелось бы иметь еще раз до моего от'езда.

---

[1]) 22 февраля.

[2]) Сначала Костомаров представил Потапову письмо на имя «милого, дорогого друга моего Якова Алексеевича», т. е. того же легендарного Ростовцева, к которому сочинил письмо в деле Михайлове и первой вольной типографии, — как будто в Женеву, но оно было забраковано; надо отдать справедливость, что оно менее «удачно», чем написанное потом на имя Соколова. Последнее в очень хорошей писарской копии, конечно, имеется в деле.

[3]) Разумеется, защита оказалась достаточно солидной: никто и не посмел видеть в письме ничего, кроме нужного для осуждения Чернышевского.

[4]) Речь идет о прокламации к солдатам; слова: «и я взял рукопись с собою» см. ниже; в них так ничего и не вставлено. Очевидно, «свидетель» боялся проврваться.

«*Записки,* которую я обещал составить для вас, пока не посылаю, в надежде добыть в Москве, между прочим, свою памятную книжку (не дневник), которая, может быть, об'яснит мне что - нибудь из множества предположений и догадок, возбужденных чтением вашей записки. Еще раз повторяя мою покорнейшую просьбу дать мне возможность видеться с вами до моего от'езда, прошу принять искреннейшее уверение в моей глубокой преданности и всегдашней готовности служить вам».

Работа кипела. Военному министру Д. Милютину, как человеку не вполне «своему» (но, все же, кстати сказать, и не чужому), секрет, конечно, не был открыт, и потому III Отделение запросило его серьезно, куда будет угодно назначить разжалованного корнета; назначение последовало в Кавказский линейный № 6 баталион, расположенный в ст. Абадзехской, для чего необходимо было следовать в Ставрополь, где стоял штаб войск Кубанской области.

24 февраля Потапов писал своему шефу: «Костомаров просил, чтобы его оставить еще на сегодня в равелине, на гауптвахту будет переведен завтра, а в среду или четверг (27 или 28 февраля) отправлен в Москву». Разумеется, просьба заканчивавшего свое «письмо» честного литератора была уважена... 28 - го он был сдан крепостью в верные руки жандармского капитана Чулкова, с которым и выехал в тот же день в Москву. Коменданту последней было сообщено, что так как, «быв болен, Костомаров потребует, *быть может,* отдохновения в Москве», то в таком случае ему там «необходимо будет пробыть несколько дней», для чего «поместить его на гауптвахту под ответственность сопровождающего его капитана Чулкова».

Пока поезд Николаевской дороги доставляет их в Белокаменную, остановимся на оставленном в руках Потапова или следственной комиссии «письме» Костомарова на имя никому, даже самому корреспонденту, неизвестного Николая Ивановича Соколова, заранее с твердостью датированном «5 марта, Тула». Из позднейших официальных показаний Костомарова видно, что это легендарное лицо встретилось с ним в Париже в 1859 г., где Соколов жил в качестве гувернера в *каком - то* русском семействе; до августа 1861 г. Костомаров писал ему туда, а затем до декабря 1862 г. ничего о нем не слышал. В это время Соколов посетил

его уж в Сущевском частном (полицейском) доме в Москве, где Костомаров находился в ожидании приговора сената и тогда же обещал Соколову рассказать всю истинную подкладку своего дела. Адрес его был помечен теперь очень точно: «Петербург, оставить на почте впредь до востребования» . . . Налицо все данные, позволявшие считать адресата вполне реальным . . . Ничего другого Костомаров сообщить и не мог, да от него и не требовали: так было спокойнее, не следовало вовлекать в дело еще новое лицо, разыскивать его, как делали *всегда,* в случае адресования комулибо писем и значительно менее преступных . . .

Приведу этот «документ» полностью.

«Тула. 5 марта.

«Ну вот, наконец, я и дождался возможности говорить с вами на свободе, без разных цензурных стеснений со стороны агентов хранителей души и тела наших. И я дождался этого, как видите, гораздо скорее, чем предполагал. Уезжал и обещал писать к вам с места, до которого, вы знаете, не рукой подать; слышно так, что в Туле приключилась мне болезнь некая, так что, не имея никакой возможности продолжать свое странствие, мы остановились здесь на несколько дней.

«Итак, пользуясь этим неожиданным отдыхом, я, не откладывая до неизвестного нам будущего, принимаюсь за обещанный вам комментарий на нашу юридическую войну.

«Принимаюсь . . . а с чего начать? Pour commencement, — конечно, как говорят французы, или, по древней поговорке, ab ovo — с яиц Леды . . . Но вот тут - то и камень преткновения . . . С яиц... с которых же именно? Их так много.... В таком случае всего лучше было бы начать с самой Леды, необ'ятное чрево которой . . . но это слишком далеко заведет нас, — а у меня слишком мало времени и . . . бумаги. Поэтому — я начну с Чернышевского — «Что за чорт! говорите вы (à peu près): Леда, яица и Чский! Где же тут Witz, где-ж тут последовательность, логическая связь etc?..» — Mais, mon ami, toutes ces choses paraîtrons en temps et lieu; к тому же я, ведь, собираюсь писать к вам чуть ли не целую эпопею, а — la plupart des poètes épiques se jettent tout d'abort *in medias res:* Horace tait de ce *precepte* le grand chemin de l'epopée . . . (из этого вы видите, между прочим,

что я никак не могу отстать от своей несчастной привычки подражать в своих письмах вавилонскому смешению языков).

«Итак — начнем... Но вас, может быть (я бы даже должен был сказать «конечно»), удивляет, что я начинаю прямо с лица, о котором нет и помину в том рассказе об юридической войне, на которую я, en nouveau Cézar, пишу свои комментарии?... Но в том-то и штука, друг мой. Слушайте — и рукоплещите явлениям всероссийской Фемиды... Говорю «рукоплещите» — plaudite! — и не «удивляйтесь», потому что дивиться тут нечему — nil mirari. Смиренномудрая богиня правосудия не скрывает ни от кого, что она носит на глазах повязку и держит в руках фальшивые весы... В таком виде, in blinde Kuh, ее можно видеть ежедневно на одном из интереснейших зданий нашей северной Пальмиры [1]...

«Но, боже мой! — я написал уж целую страницу и все еще ничего не написал. Mais dût mon premier vers me coûter une heure, — я всетаки не начну своей истории прежде, чем познакомлю вас с милой личностью моего «потаенного» героя.

«Разумеется, я буду очень короток и скажу вам только то, что необходимо знать вам пока, чтобы вам не показалось странным то озлобление, с которым я, при всем моем желании быть сдержаннее, не могу не говорить об этом человеке. Впоследствии, когда я буду иметь более *свободного* времени, я непременно поговорю с вами о его литературной деятельности, — тайной и явной, — чтоб показать вам, откуда подул тот ветер, который, как вы справедливо, хоть и немножко цветисто, заметили (ну, да вы, чай, не совсем забыли реторику Кошанского-то), — который наслал столько жалких жертв в казематы российских крепостей и в те злачные места, куда отсылают «по соглашению министра внутренних дел с шефом жандармов» [2], тогда вы увидите, откуда на святом знамени свободы появился тот скверный девиз, во имя которого действуют наши доморощенные агитаторы, пишутся все эти «Великоруссы» и «Молодые России», все эти бесполезные прокламации с красными и голубыми печатями.

---

[1]) На бывшем сенате.

[2]) Одна из основных мыслей «Записки» о литературной деятельности Чернышевского.

Вы слишком хорошо меня знаете, чтобы заподозрить меня в ультра-ренегатстве, в подкупленном или вымученном каждении деспотизму, в малодушном отступничестве от Христа, «иже свобода есть» — по словам Павла; от Христа, не идущего во славе судить вселенную, но Христа заушенного и угнетенного, идущего на казнь крестную... Вы знаете, чего ищу я; вы знаете, чему я поклоняюсь. Вы знаете, в чем я вижу свободу, — и знаете, каким путем, хотелось бы мне, дошла до нее моя родина. Вы давно знаете это, мой старый, мой сердечный друг, — поэтому-то я так смело говорю с вами, уверенный, что омерзение к лжепроповедникам свободы вы не назовете иудиным лобзанием Христа. Да, я буду и могу говорить с вами с чистым сердцем, с покойною совестью. Вы не имеете ничего общего ни с тем человеком, о котором я буду говорить вам, ни с той средой, в которой он действует; вы не имеете ровно никакого влияния правительственного, — поэтому, может быть, слишком резкие, слишком желчные слова мои не будете об'яснять ни личным моим озлоблением, ни желанием очернить Чского, для того, чтобы самому рядом с ним казаться белее (потому что ваше мнение составилось обо мне твердо, и его, я уверен, не изменит никакая сплетня): вы увидите в письме моем только желание, рассказав вам один из подвигов нашего агитатора, — спросить вас вместе с евангелистом Матфеем: *«Как же могут добро глаголать зли суще?»* (Я знаю, вы, старый ханжа, любите читать свою старую книгу в темном кожаном переплете с уродливыми медными застежками).

«Вот какое длинное вышло предисловие. Ну, зато я постараюсь сделать как можно короче текст. — Чский — так, по крайней мере, я понимаю его — человек с самолюбием необ'ятным. Он, без сомнения, считает себя самым умным человеком в мире — он даже и не думает делать секрета из такого самопризнания [1]). Вследствие этого безцеремонного взгляда на самого себя, ему, разумеется, кажется, что все, что сделано не им, никуда не годится. И так как, кроме пагубы нескольких десятков наших лучших юношей, до сих пор пока еще ничего не сделано, то и выходит, что все, елика на небеси горе и на земле книзу и в водах

---

[1]) Вспомните, читатель, письмо Н. Г. к жене от 5 октября 1862 г. Ясно, что и его видел Костомаров...

и под землею, — не годится ни к чорту. Молодое поколение воспиталось не в его школе (по крайней мере, не все) — молодое поколение дрянь; общество устроилось не по его методе — ну, и оно дрянь; да нечего тут пересчитывать, — одним все *существующее* идет в брак, в ломку («все права и блага общественной жизни находятся теперь в нелепом положении», — наприм., говорит он), и все, имеющее существовать, должно созидаться по его методе, если хочет, чтоб оно на что - нибудь годилось. Итак, — «давайте все разрушать»... Но, наделенный от природы такими воинственными наклонностями, наш Thalaba the Destroyer не одарен, к сожалению, большой храбростью. Он, как новый Самсон, во что бы то ни стало, хочет разрушить здание нашего общественного устройства... Только видите ли... старый, сильный израильтянин был так непрактичен, что втемяшился в самую середину здания и — расшатав столбы of his Commonweal — повалил все обломки на свою голову:

The poor, blind slave, the scoff and jest of all,
Expired,— and thousands perisched in the fall...

«Это и коротко, и ясно... Но наш Самсон рассуждает иначе. Он так и полагает: чем мне погибать под обломками старого здания, я лучше пошлю других развалить его, а сам посижу пока в сторонке... Коли развалят — хорошо; я займусь тогда постройкой нового (и, вы уже видите, что *такой* архитектор, составляя сметы, конечно, не обидит своего кармана), а не развалят — надорвутся, толкая крепкие еще столбы, — так мне - то что? *Я - то* всячески цел останусь. И пошлю новых работников; авось же, найдется, наконец, когда - нибудь такой крепкий лоб, что и прошибет стену... и в писании сказано: толцыте и отверзется, и греческая пословица (которую, помните, зубрили мы когда - то в грамматике Кюнера) говорит: капля долбит камень не силою, но часто падая...

«Я сказал, что разрушитель наш не одарен большой храбростью. Не знаю, отчего это я так сказал. Может быть, для того, чтобы фраза вышла покрасивее. Надо было бы сказать: «он просто жалкий трус». Это вернее. Но многие — вот что удивительно — видят в нем, напротив, чудо храбрости, просто какого - то черкесского делибаша или скандинавского берсеркера. Но это

вот отчего: ces braves gens немножко перепутывают два понятия: наглость, нахальство, охаверничество с храбростью, самоотвержением, геройством. В «Полемических красотах» [1]) они видят, например, целую Иллиаду храбрости. Отщелкать какого-нибудь Альбертини они считают подвигом, равным убиению гидры лернейской. Написать под всеохраняющей эгидой матери-цензуры статейку об июльской монархии (т.-е. перефразировать Луи Блана) и в ней, с разрешения какого-нибудь Загибенина [2]), поглумиться над людьми, *восторгающимися настоящим*, над отчаянием людей *нетвердых духом* или *нетерпеливых* (ты-то тверд) — в этом они видят целый крестовый поход против настоящего порядка вещей, целую революцию, — тогда как это, с одной стороны, шиш в кармане, а с другой — просто поддразнивание. Но, боже мой! Неужели Аполлон сделал великий подвиг, содрав кожу с бедного Марсиаса за то, что бедный пастух *осмелился* лучше играть на флейте? Неужели Чский взаправду совершил великий подвиг, отваляв на обе корки Альбертини, которого сам же называет ребенком... в сравнении с собой? Нет, воля ваша, это — пакость, а не подвиг. Отодрать человека вдесятеро слабейшего да еще хвастаться: «вот, дескать, господа, смотрите, так будет со всеми, кто не со мной идет, ибо кто не со мной, тот против меня... милые дети, слушайтесь меня и избегайте полемических встреч со мною, не то выпорю вас, канальи, обругаю и сотру с лица земли. А уж кого я обругаю, тот не жилец на белом свете»... Вот вам и рыцарь духа, и апостол свободы, и проповедник равенства! Да, ведь, это просто застращиванье; это хуже всякого III Отделения; хуже... чорт знает чего! А потом это науськиванье в его бесконечных видоизменениях... этот поддельный, искусственный скептицизм, которым он так удачно бьет всегда по двум целям разом: подстрекает *нерешительных*, которые видят в этом скептицизме глумление над собой, и отводит глаза кому следует... Вот, дескать, смотрите, добрые люди: я всем говорю, что *«из этого ничего не выйдет»*; меня даже не раз в тунеядстве укоряли за это... О, этот скептицизм, это науськиванье, эта дрессировка бульдогов!... Знаю я,

---

[1]) Известная статья Чернышевского.
[2]) Цензор.

хорошо знаю и этот скептицизм, и эту дрессировку, и это науськиванье: «*сей есть ученик, свидетельствуяй о сих, иже и написа сия*».

«И вот вы, ворчливее, чем когда-нибудь, в сотый раз предлагаете мне свой сердитый вопрос: «за что-ж ты, дурень, щадил его, этого нехорошего человека? За что ты взял на себя его вину? Ведь, в твоих руках были все средства увязить его на свое место! Ведь, я же сам видел эти письма... что-ж ты теперь-то, снявши голову, плачешь по волосам?» — Да, друг мой, вы правы в том отношении, что в руках моих всегда была возможность сделать то, чтобы текст моей сентенции: «за составление возм. воззв. к б. кр. [1]) осуждается на то-то» — относился не ко мне, а к Чскому. Но вы ошибетесь, если увидите в письме моем глупый «плач по волосам, снявши голову». Тогда я должен был молчать... даже перед вами, чтоб в жалобе моей *даже вы* не видали малодушного моления о чаше; теперь, когда уже consummatum est, — «совершилось», говорит во мне горькая боль оскорбленного сердца. Вы поймете меня. Вы знаете, что это не фраза. Вы можете быть судьей между мною и ими. Вы слышали, что они говорят обо мне *на основании* какой-то *сплетни*, и видели, что я мог сделать *на основании* неоспоримого *факта*. Вы знаете, что было в моих руках, и как я *этим* воспользовался. Меня обвиняли в малодушии, подозревали в предательстве. Многие, подхватив на лету нелепую сплетню, молча оставили меня; другие были почестнее и говорили мне, в чем меня обвиняет молва. Перед *этими* мне легко было оправдаться, точно так же, как *было бы* легко оправдаться перед законом. У меня были письма, которые в *моих руках* служили мне оправданием перед теми, кто меня обвинял в предательстве, а в *руках правительства* могли служить мне полным оправданием перед лицом закона. Вы знаете, что я выбрал, *какое* оправдание я предпочел и что сделал с этими письмами... Нечего и говорить, что, выгораживая таким образом Чского и Шнова [2]) из этого дела, я более щадил себя, чем их. Я не стану об'яснять вам этой фразы; вы ее поймете и так. Знаю я, что, загораживая собою Ч. и ему

---

[1]) Т.-е. к барским крестьянам.
[2]) Н. В. Шелгунов.

подобных, я глубоко виноват — не говорю: перед правительством — потому что я не связан с ним ничем, — но перед обществом, для которого деятельность кружка, созданного учением Чского, принесла и приносит такие горькие, такие отравленные плоды. Не говоря уже о множестве личностей, сделавшихся жертвою его наускиванья, — я твердо убежден, что всем этим печальным поворотом к старому порядку, этими тяжелыми цепями, которые снова положили на наше слово и на нашу мысль, мы обязаны деятельности этих господ. Они не избавили нас от того, что они называют «рабством египетским», но своими безумными кривляньями сделали то, что нас закрепощают в еще большее рабство. В 60-м году, например, пресса наша была в положении, которое можно было назвать весьма близким к разумной свободе. Что же они сделали? Они сейчас же воспользовались этой свободой для своего науськиванья (я стою на этом слове, потому что решительно не признаю в их писаниях апостольства свободы), они сделали литературу орудием своих личных страстей, видели в свободе слова только возможность скандальничать и оправдывались тем, что свобода, «дарованная» нашей прессе, не шла долее этого позволения (но вы хорошо знаете, что это вздор). Пр-во, конечно, не могло долее терпеть этого бесчинства, оставаясь самим собой, т. е. «императорско-российским» пр-ом. Но оно поступило не совсем справедливо (ради бога, да останется это между нами), отняв свободу слова (т. е. ту долю свободы, которую мы имели в 60-м г.) у *всех*, а не у тех только, кто не умел ею пользоваться, хотя, с другой стороны, нельзя и порицать его за это безусловно. (Я знаю, что его никак нельзя порицать, хотя бы оно засмаливало людей и зажигало их вместо факелов; но ведь... да останется это между нами, друг мой). Пр-во наше постоянно смотрело на литературу только издали, считая ее выражением не общественного мнения, а носительницей идей того или другого кружка литераторов. Так оно и в самом деле было, — да и не могло быть иначе, — пока цензура подводила все мнения под один общий уровень, мера которого указана была свыше, дана была извне, а не вышла из внутренней потребности самого общества. Пр-во имело тогда полное право не интересоваться положением нашей литературы, потому что, давая ей тон, оно

знало наперед, что найдет в ней. Но когда оно значительно ослабило цепи, тяготевшие на нашем слове, оно должно бы было несколько внимательнее присматриваться к тому, что делается в литературе. И тогда... (тут я делаю большой пропуск; тут многое следовало бы сказать, но ни время, ни место не позволяют этого)... тогда оно увидело бы, что голос Чского и братии его, раздававшийся, правда, крикливее всех голосов в нашей литературе, — не есть голос общественного мнения; оно увидело бы, что этот голос, из-за которого нашу литературу снова вернули в тот душный каземат, в котором она задыхалась со дня своего рождения, снова отдали под солдатский надзор разных Фрейгангов и Флеровых [1]), прогонявших «вольный дух» даже из поваренных книг, как — не есть голос, выражающий общественное мнение, а, напротив, идущий наперекор ему; оно поняло бы, что, говоря словами немецкого поэта,

Die öffentliche Meinung schreit und klagt:
Ihr habt von mir erborget eure Kraft;
Durch mich geschah, was Gresses ihr geschafft,
Durch mich gelang, was siegreich ihr gewagt.

Und nun ich euch erhöht, wollt ihr als Magd
Mich züchtigen mit Ruthen und mit Haft;
Ihr schämt euch flüchtigen Genossenschaft
Und habt mir, eurer Herrin, widersagt?

Und doch, ihr hörtet meine Donner rollen,
Und der Koloss der Zeit war schon zerstoben,
Von dessen Joch ich kam euch zu erlösen.

Ihr Seifenblasen, die mein ich geschwollen,
Und flücht'gen Schimmers meine Huld gehoben,
Ihr eitle Seifenblasen — seid gewesen!..

«Но обо всем этом, *en temps et lieu* мы еще будем говорить с вами. В сотый раз принимаюсь за «прерванную нить моего рассказа» (как говорили когда-то) и на этот раз уже с положительным обещанием допрясть ее как можно скорее.

«Итак, если вы что-нибудь поняли из моих бессвязных слов (я удивляюсь еще, как в последнее время я окончательно не

---

1) Фамилии цензоров.

утратил всякую способность мыслить и говорить) — вам будет понятно и то ожесточение, с которым я говорю об этих людях, и та глубокая скорбь, которая разрывает теперь мое сердце... потому что

«Nessun maggior dolore» —

«Нет муки больше той, как страдать за идею, которой не служишь», и «положить душу свою» за людей, которых не уважаешь, которым не имеешь что сказать, кроме слов нашего великого апостола: «Гроб отверзт гортань их — языки своими мщаху; яд аспидов под устнами их. Их же уста клятвы и горести полна суть: скоры ноги их пролияти кровь! Сокрушение и озлобление на путях их, и пути мирного не познаша»...

«Я выбрал этот текст не наудачу, друг мой. С глубоким убеждением, не изменяя ни одной иоты в этих горьких словах великого апостола, я применяю их к людям, которых называют моими учителями, моими сообщниками...

«Я никому не говорил этого, — ни даже вам, — пока исповедь моего сердца могла быть перетолкована в малодушное желание отвертеться от казни; но теперь, когда для меня уже все кончено, я имею полное право говорить с вами так, как говорю; мне нужно высказаться — «иль разорвется грудь от муки».. Я не могу молчать долее, потому что

«J mici pensieri civ me dormir non ponno»...

«Я должен *все* сказать вам. Я слишком дорожу вами, мой верный друг, и не хочу, чтоб *вы* смешивали меня с людьми, которые не познали мирного пути, но с сокрушением и озлоблением действуют, ибо *«скоры ноги их пролияти кровь!»*

«Само собою разумеется, кровь чужую.

«Зная мой миролюбивый и от природы кроткий характер, вы хорошо поймете, как тяжело было и тогда мне смотреть на этих проповедников «крещенья кровью и огнем», на этих людей, говоривших, что «незачем тратить слова там, где штык скорее возьмет то, что нам надо»... но тогда, по крайней мере (насколько это было возможно), меня мирила с этими людьми мысль, что каков бы ни был путь, избранный ими, но они руководятся на нем общей нам целью — исцелением язв нашей страдающей

родины; а теперь... с каким глубоким омерзением смотрю я теперь на этих кровавых людей, когда я убедился, что они вооружились огнем и мечом не во имя благой идеи, а только затем, чтоб, обрубив головы всем, кто выше их, стать таким образом выше всех и господствовать, хотя бы и над обезглавленными трупами... Да, я имею полное право говорить это; я имею твердое основание называть этих людей проповедниками крещения кровью и огнем: так называли бы их и вы, так называл бы их всякий, кто прочитал бы первые редакции этих несчастных воззваний, авторство которых так обязательно приписывает мне московский сенат! Я не могу, конечно, на память возобновить их первоначального текста, но живо помню то впечатление, которое они произвели на меня. Это было какое-то странное, опьяняющее впечатление. Словно, кровавый туман застилал глаза; казалось, он входил в самый мозг... страшно и мерзко становилось мне, и вместе с тем зарождалось какое-то безотчетное удальство; так и подмывало схватить топор или нож, так и хотелось рубить и резать, не разбирая, кого и за что... Как Фету при виде обоза русских мужичков стал понятен миф об Амфионе, под звуки флейты которого сами собою складывались фивские стены, так мне впервые стала понятна тогда сила Тиртеевых песен, сила марсельезы... так обаятельна была сила их лукавого слова! Потом, как и всякое опьянение, впечатление это, конечно, рассеялось скоро... Через несколько часов я уже был в состоянии понять, что такое в самом деле эти прокламации, и потом [1]) (какой вздор я написал, было) уговорить Ч. совершенно переделать и значительно смягчить текст воззвания к «Б. К.». (Но, говоря потом со мною об этих изменениях, Чернышевский признавался мне, что он согласился на эти изменения только потому, что иначе я не соглашался печатать их; что он остался при своем убеждении, что *мужикам* не толковать следует, не вразумлять их, а только кричать почаще — «в топоры, ребята!», что в таком дряблом виде, какой, по нашему убеждению, приняло воззв. к б. к., «из него ничего не выйдет» . . . вот уж не это ли называют *скептицизмом?).* Впрочем, о воззваниях этих речь впереди. Мне уже решительно пора кончить беседо-

[1]) Несколько слов вычеркнуто.

вать с вами, — а я с ужасом замечаю, что я еще и не принимался за исполнение своего обещания — сделать несколько поправок в юрисдикции моих нелицеприятных судей, которым, по словам того же апостола Павла, «даде бог дух умиления, очи не видети и уши не слышати, даже до сего дня»...

«Итак, вот как было дело.

«Как и когда я сблизился или, лучше сказать, сошелся с Чским — это все равно. Выступая на так называемое «литературное поприще», я искал случая пристроиться к какому-нибудь журналу, — чего *без протекции*, особенно мне, с моими, как вы знаете, весьма и весьма скромными способностями, сделать было нельзя. Особенно хотелось мне пристроиться как-нибудь к «Совр.», направлению которого (в том виде, как оно проявлялось явно) я горячо сочувствовал. Больше всего мне хотелось сблизиться с Мих. [1]) — и я был так счастлив, что случай к этому представился скоро... Я сердечно полюбил этого человека... и теперь горячо люблю его, несмотря на то, что мы пошли с ним в разные стороны... ну, да об этом говорить нечего.

«Первый визит мой к Ч. был крайне неудачен. Меня привез Михайлов. У Чского было много народу в тот вечер, — говорили все большею частью о таких важных материях, в которых в то время я был совсем еще homo novus; говорили все люди для меня новые, незнакомые, говорили так горячо, так самоуверенно обсуживали и решали все такие важные вопросы, что я — человек, как вы знаете, вообще до смешного застенчивый — только конфузился и молчал... Изобразив на лице своем, вероятно, что-нибудь в роде весьма глупого умиления, я долго сидел, забившись в угол дивана. Наконец, хозяин сжалился надо мною и подошел ко мне. Очевидно, он затруднялся тоже, не зная, об чем ему говорить со мной — только, коротко, conversation наше опять не удалось, потому что я снова уткнулся в угол дивана, а Ч., оставшись, впрочем, рядом со мной, на кресле, заговорил с кем-то о чем-то другом. Так шло время. Я глупо молчал; Чский, как-то странно оставшись в своем кресле, беспрестанно хихикал своим визгливо-дребезжащим, неприятным голосом... Наконец, вышел Мих. из другой комнаты и, моргнув Чскому, увел его в кабинет.

[1]) М. И. Михайлов.

Минут через 5 он вернулся и вызвал меня. Тут-то и началось наше настоящее знакомство... Я не стану, конечно, передавать вам нашего разговора; *слов* его не помню, а *смысл* — понятен. Со стыдом сознаюсь, что результат его на первых порах — стал благоговеть перед Ч., как перед человеком, который, казалось мне, держит в руках своих судьбы всея Руси. Тогда-то и происходило чтение «воззв. к б. к.» в первоначальном его виде. (Надо вам сказать, что Мих., знавший уже от меня, что в Москве есть возможность печатать без цензуры, на том станке, на котором отпечатана была книга о Корфе, и предварительно переговорив с Ч., привез меня к Ч. именно с той целью, чтобы переговорить о возможности напечатания воззвания). О впечатлении, какое произвело на меня это воззвание, я уже говорил... Я не был в состоянии ничего ответить Чскому. Я окончательно, что называется, потерял голову, исчез, как Семелла в величии Юпитера. Заметив это (т. е. не Семеллу и Юпитера, а мое плачевное состояние), Мих. увез меня от Ч., захватив с собою и рукопись воззвания.

«На другой день утром мы вместе с М. еще раз прочли воззвание. Впечатление было уже совершенно иное. Мне просто было тошно слушать этот аннибальский призыв к резне... Михву тоже, очевидно, было неловко и тяжело. Один Шлгнов тоже присутствовавший на чтении, скакал и восклицал, как Давид перед ковчегом завета... Много и долго говорили мы с Мвым об этом воззвании. Оба мы признавали полную необходимость помочь, как умеем, крестьянскому горю, вразумить мужика, что его — как нам казалось тогда — во многом обошли и обманули; но вразумить вовсе не с тем, чтобы он с топором в руках стал добывать себе «Землю и волю»; поэтому мы положительно осудили текст воззвания, составленного Чским. Мы покончили, наконец, тем, что Мих. должен был отправиться к Чскому с положительным отказом, с моей стороны, способствовать напечатанию брошюры, если в ней не будут сделаны предложенные нами изменения и поправки.

«Мих. с'ездил к Ч.; и что они там говорили, не знаю. В следующее свидание наше Мих. сказал, что Ч. с трудом согласился на изменения, говоря, что, напротив, следовало бы усилить тон, но что уж если *нельзя* печатать брошюру в том виде, какой он

проектировал, он, пожалуй, сделает изменения, только уж за успех не ручается, и даже думает, что в *таком виде* прокламация будет совсем бесполезна (скептицизм).

«Прошло несколько дней. Домашние дела отозвали меня в Москву. Я уехал, не дождавшись измененной брошюры.

«В Петерб. остался Сороко, приехавший вместе со мной для распродажи своего издания и стоявший на одной квартире со мной.

«Через несколько дней в Москве вдруг я узнаю стороной, что Сулин рассказывал какому-то своему приятелю, будто Ч. поручил ему (Сулину) отпечатать одну чрезвычайно важную брошюру. Известие это, дешедшее до меня, может быть, уже через двадцатые руки, — очень понятно, и удивило меня, и встревожило. Я сейчас же отыскиваю Слна и узнаю следующее: Ско, оставшись в Пб. для окончания своих дел, отыскивает Миха и, явившись к нему познакомиться от моего лица, рекомендует себя одним из владельцев тайного станка. Михайлов отдал ему рукопись воззвания, «как человеку, который говорил ему, что имеет возможность напечатать рукопись в Москве» (так, à peu près Мих. говорит в своем показании, которое я запомнил очень хорошо; но сенат принял во внимание не на совершенно одинаковое показание двух лиц, которые не могли и не имели никакой надобности стакнуться между собою, а на совершенно невероятное показание самого Срко), и, отдавая рукопись, «желал, чтоб она была напечатана»». Но это только *официальные* показания. В самом же деле вот как было: познакомившись с Сркой, Мих. повез его к Чскому, и уже сам Чский, лично, передал Сороке и рукопись воззвания, и деньги (200 р.) для ее напечатания. Когда я пришел к Слну, я увидел, что деньги эти тратились совсем не на то, на что оне были даны Чским. Но, вероятно, устыдившись моих нареканий, С. и С. сейчас же принялись за приготовление к устройству станка. Шрифты и станок немедленно были куплены; помещение я дал им у себя наверху — и работа началась. Тут я не могу не остановиться на некоторых обстоятельствах, «следствием обнаруженных». Сулин показал, что я обещал «помочь его положению, если он, Слн, согласится, в свою очередь, оказать содействие к напечатанию одной безделицы»... и Слн согласился, будто бы даже не полюбопыт-

ствовав у меня, что эта за безделица. Посмотрим теперь, что же это было за содействие, за которое я, повидимому, обещал заплатить Слну так щедро, ибо каким-нибудь пятиалтынным помочь бедственному положению человека нельзя же. А по показанию Слна (на котором, очевидно, основан и приговор судей), только набором пяти или шести строк, потому что, когда Слн набрал эти пять-шесть строк, я будто бы сказал, что теперь я выучился набирать и *могу обойтись без него.* Как все правдоподобно, — не правда ли? Но пойдем далее. Когда получена была предостерегательная записка, я (по тому же показанию) принялся за *уничтожение* станка (должно, принялся его жевать и проглатывать); но при этом я (будто бы) хотел сохранить набранные строки, но Сулин схватил их (схватил!) и рассыпал... а потом взял некоторые части машины (да, ведь, я же принялся за ее *уничтожение?)* и перевез на квартиру Кистера. Хорошо. Стало быть, станок, частью мною *уничтоженный,* частью отвезенный на квартиру Кистера, — работать не мог. Зачем же мне было желать сохранения набранных строк, тем более, что их было набрано так мало? Мог ли, наконец, я желать сохранения у себя чего-либо, могущего компрометировать, если я, по показанию Слна, так искренно поверил его предостерегательной записке, что *немедленно принялся за уничтожение станка,* т. е. стал его жевать и проглатывать? Ce pauvre diable — Сулин, конечно, впопыхах не мог сообразить всей нелепости своих показаний, — его в продолжение всего следствия била лихорадка; но послушайте, — что те patres conscripti?.. Но мы никогда не кончим, если я буду останавливаться на всех подробностях нашего дела (у меня нет на это ни времени, ни охоты). Поэтому, «оставив мертвым погребать своих мертвецов», мы переходим к другой брошюре, озаглавленной так же вычурно, как и первая: «Русским солдатам от их доброжелателей поклон».

«Призывая крестьян к бунту (если и не прямо, то возбуждая между ними такие вопросы, к разрешению которых крестьянин, очевидно, не мог найти другого средства, кроме топора), составители манифеста естественно должны были позаботиться о том, что противопоставить тем мерам, которые правительство примет для подавления бунта. С Чского довольно было заварить кашу; как и кому придется ее расхлебывать, об этом он не за-

ботился. Ясно, что самое естественное, самое близкое и самое верное орудие пр — ва есть солдат. Стало быть, надо действовать на солдата, надо его сманить на крестьянскую сторону. И вот проектируется «Русским солдатам от их доброжелателей поклон». Манифест этот берется составить Шелгунов. Но из его писаний вышло чорт знает что; такая чепуха, что в ней и мужик ревет, и корова ревет, и сам чорт не разберет, кто кого дерет. Недовольные этим опытом, пробовали и мы с Мих. написать что-нибудь, но у нас вышло едва ли даже не хуже. У Михва — какой-то философский трактат, в роде пресловутого dei doveri degli Uomini, а у меня — не то полковой приказ, не то марсельеза. Так что, за неимением лучшего, поневоле приходилось удовольствоваться произведенинем Шгнова. Между тем, сам автор твердо был убежден в том, что его воззвание есть именно то, «что нужно солдату». И чтобы убедить нас в этом, предложил мне походить вместе с ним по солдатам, поговорить с ними и, если представится возможность, прочесть им воззвание, чтоб посмотреть, какое оно произведет на них впечатление. Сказано — сделано. Шел. пошел в одни казармы, меня послал в другие. Сговорились сойтись в какой-то харчевне. Но я, конечно, не пошел в казармы (вы знаете, что особенным удальством я вообще не отличаюсь), а, побродив по улицам, пришел прямо в харчевню, где уже сидел Ш. со своими знакомыми солдатами. Я, поздоровавшись с Ш., подсел к ним и молча слушал их мудрую беседу. Ш. заносился; солдаты были такие глупые, — пыхтели за чаем и поддакивали, как видно, ровно ничего не понимая, или всего скорее, не слушая. Мне (признаюсь в своей трусости) была крайне неприятна эта глупая и опасная комедия, — и я скоро уговорил Ш. уйти из харчевни. Дорогой он сообщил мне, что солдаты слушали его с восторженным участием и сделали ему много очень дельных замечаний; а я — что его знакомого солдата не нашел, а другие, с которыми я пробовал, было, заговаривать, чуть меня не приколотили. Я поздравил его с успехом; он посмеялся над моей трусостью и неспособностью к политическому агитаторству... Таковы были наши экспедиции в полярные страны. Ну, потом Ш., вразумленный опытом, еще раз десять переписывал свое послание; Мих. поубавил в нем метафизики, повыкинул слишком ярые санкюло-

тизмы, — и я взял рукопись со собою [1]). Впрочем, мне, всетаки, это послание не нравилось, особенно начало, где доказывалась несправедливость завладения Польшей, — было, по моему мнению, очень глупо. То есть не глупо само по себе, но глупо обращенное к солдату, не имеющему ровно никакого понятия ни о народном праве, ни об «исторической необходимости».

«Ну, теперь *послание третье.* — Вы знаете, что у нас на Руси есть общины, внешние формы которых довольно близко подходят к идеалу коммуны. Это раскольники, на которых с такой любовью останавливаются наши современные реформаторы. Отречение от собственности (у духоборцев), общее пользование женами на бардачном положении, отвращение от наружных обрядов церкви, неуважение к предписаниям гражданской власти и пр., и пр. — вот те attraits, которые привлекают к русскому расколу любовные взгляды наших коммунистов. Они, конечно, не могут не видеть во всем этом одного тупого религиозного фанатизма; они очень хорошо понимают, что ненависть к наружной церкви явилась у раскольников не потому, чтоб им были тесны формы, данные Никоном, но потому, что эти формы не во всем соответствовали заскорузлому преданию; люди, провозгласившие раскол свободою от оков, наложенных формами, не могли забыть фанатической привязанности раскольников к своим старым книгам, к своим копченым образам, к своему двуперстному знамению; в этих тупых изуверах, которые считают для себя осквернением даже пить воду из одного колодца с «погаными» никонцами, — они никак не могут, в самом деле, видеть людей, руководящихся правилом: что «в сущности все люди равны, ибо все равно грешны и все подлежат искушению». Нет, не *«живая сила духа»* дорога мне в расколе, а дорога его непримиримая фанатическая ненависть к обществу; дорого то, что они называют «позыванием ума и совести и всего человека к свободе», но что для «имеющих уши слышати» значит то, что в расколе никогда не умирал зародыш пугачевщины. Поэтому для наших агитаторов раскол есть желанный и ожидаемый мессия бунта.

«Само собою разумеется, что мы не забыли *подоброжела-*

---

[1]) Об этих словах было сказано Костомаровым в письме к Потапову — см. стр. 272.

тельствовать и расколу. «Поклон старообрядцам» был составлен тем же «доброжелателем», который составил и манифест к крестьянам. Жаль, что он не сохранился у меня. Он был писан мною под диктовку Чского (жаль, что нет ни охоты, ни места, ни времени, а то я рассказал бы вам, с какими смешными предосторожностями совершалось это таинство . . . но — увы! — ничто же тайно есть, еже не откроется), — и я сжег его вместе со многими другими бумагами, во время торгов с Николкой [1]) о доносе. Впрочем, это была страшная дребедень — скучная, сухая, длинная рацея; во время ее писанья я с трудом преодолевал сон. Помнится, это было бесконечное разглагольствование во вкусе Ламеннэ; нелепая болтовня об антихристе и его печатех, пересыпанная самой наглой лестью и самыми лживыми обещаниями...

«Таким образом мы, казалось, ничего не упустили из виду . . . кроме одной мудрой пословицы: не шути огнем — обожжешься . . .

«А вы, Чский, забыли еще одну пословицу, тоже очень глупую. Когда - нибудь я вам ее припомню.

«Это было во время второй моей поездки в Птб., — кажется, во время ***последней добровольной*** поездки . . . с тех пор — но эта история еще впереди.

«Во время самого печатания манифеста к крестьянам Чский посетил меня в Москве, сделал кое - какие поправки в тексте воззвания и, оставшись доволен работою, благословил меня на новые и новые подвиги . . .

«Потом, как вы уже знаете, я бросил печатание брошюры, не кончив ее. Мих. уехал за границу. Этим роль моя политического агитатора и кончилась . . . навсегда.

«Весна и лето прошли тихо. Я предпринял издание истории всемирной литературы и, углубившись в изучение греческих и римских классиков, совсем, было, забыл о крестьянах барских и о солдатах царских, — как на меня был сделан донос Николкой . . . Меня взяли. Судили. Приговорили. И вот —

«Вот и все.

«Т. е. все, о чем я хотел и обещал писать вам. А там — что пережилось, что передумалось в это время, это . . . что говорить

---

[1]) Брат Костомарова, Николай.

об этом! Это уж *мое* дело. Были у меня и другие столкновения и с этими, и со многими другими людьми . . . «Суть же ина многа, яже сотвори, яже аще бы поединому писана быша, ни самому мне всему миру вместите пишемых книг» . . .

«Я обещал написать вам комментарий на производство моего дела в сенате. Ну — вот он вам. Теперь выводите, меня ли следовало бы подвергнуть наказанию за *составление* «возмут. воззв. к б. к.», меня должно было признать «*зачинщиком* содеянного преступления, управлявшего действиями оного» . . . Не говорю уж о других обвинениях: логичность их говорит сама за себя. Вот, например, образчик: «К — в по собственному его сознанию (любопытно было бы мне прочесть это *собственное* сознание) и обстоятельствам дела (о!!) *оказывается* (!!!) виновен в участии в (чем бы вы думали?) в **составлении** и распространении разбора книги бар. Корфа» и т. д. Как это вам нравится? *Я оказываюсь* (разумеется, как положительно это говорится) виновен в *составлении* книги, напечатанной давным - давно за границей, *с именем автора* (Огарев), и только *перепечатанной* в Москве, да и то в то время, когда я жил в Петербурге. (Когда я приехал в Москву и познакомился с Сулиным, допечатывался уже *последний* лист разбора). Или вот еще: *По 6-й категории* (нас разделили на 7 категорий по числу гимназических классов или, может быть, по числу чинов небесных) К — в состоит подсудимым за . . . **распространение** воззваний «к барским крестьянам» и «к солдатам»! За *распространение воззваний*, которых (это уж точно, по обстоятельствам дела *оказалось)* не было отпечатано ни одного экземпляра и которых *даже в рукописи* ни у кого не было найдено.

«Ну, да будет, — всего не пересчитаешь. Да и незачем.

«Итак, вот вам истина во всей наготе ее, — истина, которой я не позволил прикрыть никаким фиговым листком даже самых зазорных частей тела . . .

«Но, — спросите вы меня (т. е. я это предполагаю, в самом же деле вы, верно, не спрашиваете, потому что болтовня моя надоела вам давно), — какую роль я играл во всей этой комедии *с переодеваньем,* которая, однако, для меня окончилась так трагически? Что же руководило мною? Желанье ли втереться в кружок, в который не пускали без известного лозунга; желанье ли

пощеголять в роли политического агитатора; наконец, может быть, искреннее сознание в полезности всех этих прокламаций? Нет, нет и нет! — «Ну так что же?» — Mais si voulez savoir ce que c'est... demandez—le au pourceau qui voit le vent!.. (quoique cette figure est banale et stupide, mais elle est empruntée au psaumes).

„Sur ce, mon ami, en vous souhaitant tous les biens possibles et impossibles.

Je suis
celui, qui Suis.

„PS. Письмо это я имею случай написать и послать вам, что называется, «воровским манером» — завтра или послезавтра буду писать к вам уж *открыто* и тогда поговорю с вами о наших домашних делах и о кое - каких поручениях, о которых я хочу просить вас. Valete... et plaudite“ [1]).

II.

1 марта шпион - провокатор и жандарм прибыли в Москву и, как доносил Чулков... «по слабости здоровья Костомарова», остановились там на сутки в гостинице «Венеция». К ним явился подготовленный Алексеем Костомаровым бывший переписчик Всеволода Яковлев и в разговоре с бывшим своим принципалом сделал «весьма важное открытие»: ему, де, известны все отношения Чернышевского к Костомарову. Чулков, уже приготовленный к приходу этого гостя, явившегося по вызову Костомарова особой запиской, очень предупредительно подал Яковлеву бумагу и просил задокументировать все сказанное. Яковлев, разумеется, исполнил просьбу без особых приглашений...

Чулков, с своей стороны, тут же написал Потапову: «Вашему превосходительству осмеливаюсь рекомендовать подателя сего, московского мещанина Петра Васильева Яковлева, который очень может быть полезен во многих случаях, — он мне уже оказал услугу, и покорнейше прошу ваше превосходительство принять

---

[1]) Рейнгардт сообщил об этом письме совершенно неверные сведения (см. «Русск. Стар.» 1905 г., II, 463), а уж совсем что-то непонятное и спутанное сообщил, со слов какого-то товарища Чернышевского по ссылке, Э. К. Пекарский в № 77 «Нашей Жизни» за 1905 г.

его под милостивое ваше покровительство [1]). Вручив Яковлеву эту многозначительную рекомендацию, Чулков дал ему денег на дорогу в Петербург В свою очередь, Костомаров написал матери: «Милая моя, я в Москве уже, — по обыкновению весел, здоров и благополучен. Петр Васильевич оказал мне весьма важную услугу — и сообразно этому будет, конечно, принят тобою. Я подарил ему свое пальто — пожалуйста, отдай. Ну, больше я ничего тебе не пишу; во-первых, нечего, потому что я ни с кем еще не виделся, во-вторых . . . ты догадаешься, почему. Au revoir. Крепко целую тебя и мою милую Моху» . . .

Радостный Яковлев отправился на Николаевский вокзал, чтобы ехать в Петербург.

Что же он написал по предложению Чулкова?

«Летом 1861 года, около июля месяца, будучи переписчиком бумаг и разных сочинений у г. Всеволода Костомарова и занимаясь у него постоянно, я очень часто видал у него из Петербурга какого-то знаменитого писателя под именем Николая Гавриловича Чернышевского, и, переписывая бумаги по случаю летнего времени в беседке сада дома г. Костомарова, когда они, ходя между собою под руку и разговаривая между собою, произносили слова, из которых мне удалось запомнить следующие фразы, произнесенные г. Чернышевским: «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон». «Вы ждали от царя воли, ну вот вам и воля вышла». Называя г. Чернышевский эту статью своею, упрашивал г. Костомарова о скорейшем ее напечатании. Не только не находя в этих фразах ничего противозаконного, но даже не имея решительно никакой возможности понять точного смысла статьи, о которой у них шел разговор, ибо до моего смысла доходило только несколько отрывочных фраз, — я не считал тогда своим долгом довести этого ни до чьего сведения. Но когда уже услыхав впоследствии, что г. Костомаров осужден будто бы за какие-то противу правительства незаконные действия, и чтобы оградить себя от всякой могшей бы впоследствии возникнуть ответственности и считая себя в непременной обя-

[1]) Потом, когда «дело» было передано в сенат, Чулков донес Потапову, что под «услугой» Яковлева он разумел полную его готовность об'яснить известные ему отношения Костомарова к разным лицам и назвать их.

занности и долге всякого честного гражданина, обязанного не скрывать пред правительством лиц, ему вредящих, доводить до сведения этот разговор, неясно слышанный им между гг. Чернышевским и Костомаровым, хотя и теперь не понимая настоящего его значения, но единственно догадываясь, что лицу, повидимому, стоящему в таких близких отношениях, как г. Чернышевский к г. Костомарову, может быть, были известны и преступные, как оказалось, замыслы друга его г. Костомарова. Московский мещанин *Петр Васильев Яковлев*».

На другой день, 2 марта, Костомаров, якобы, сказал Чулкову, что ему хуже, и потому, по просьбе своего провожатого, был отправлен на гауптвахту, как в свободное казенное помещение. Там у него были: проф. С. Назарянц с сыном, прапорщик Ростовского полка Охотский, доктор того же полка Меншиков, прапорщик Днепровского полка Шостак, конечно, брат Алексей, фотограф Сулов и содержатель нотного магазина Юргенсон. Общество, как видим, довольно разнообразное... 4 числа Костомаров, как и следовало, почувствовал себя лучше, и они выехали из Москвы, прибыв в Тулу утром 5 марта.

Там Костомаров, по условию, снова «заболел» и просил остановиться на два дня... В день прибытия он сел писать прощальное письмо родным, и вдруг Чулков заметил у него одно довольно толстое письмо... Он взял его, прочитал, увидел в нем не мало материала к начатому правительством делу о Чернышевском, и поспешил послать этот весьма ценный документ в Спб.

7-го они «хотели» двинуться дальше, но, конечно, получили телеграфное распоряжение Потапова: немедленно вернуться в III Отделение... Так наивно все это и изложено Чулковым, не думавшим, что его донесения будут подшиты к делу вместе со всеми сценариями комиссии и III Отделения и потом, хоть и очень поздно, прольют свет на все подлоги, проделанные правительством царя-Освободителя...

7 марта Потапов телеграфировал тульскому жандарму: «Прикажите капитану Чулкову *с арестантом возвратиться*» (курсивные слова переданы шифром). В тот же день сгоравший от радости Потапов уведомил кн. Голицына, что Чулков представил ему «ныне отобранные им у Костомарова по прибытии их в Тулу, письма, из которых одно, адресованное на имя некоего Николая Ивановича

Соколова в Спб., вынуждает по своему содержанию к подробному расследованию», поэтому сделано распоряжение о немедленном возвращении арестованного в Спб. для допроса его в следственной комиссии. При этом к раньше времени отправленной бумаге было приложено, конечно, только письмо к Соколову, давно, на самом деле, нетерпеливо лежавшее в бюро Потапова: ведь, ничего фактически и не успели еще привезти из Тулы.

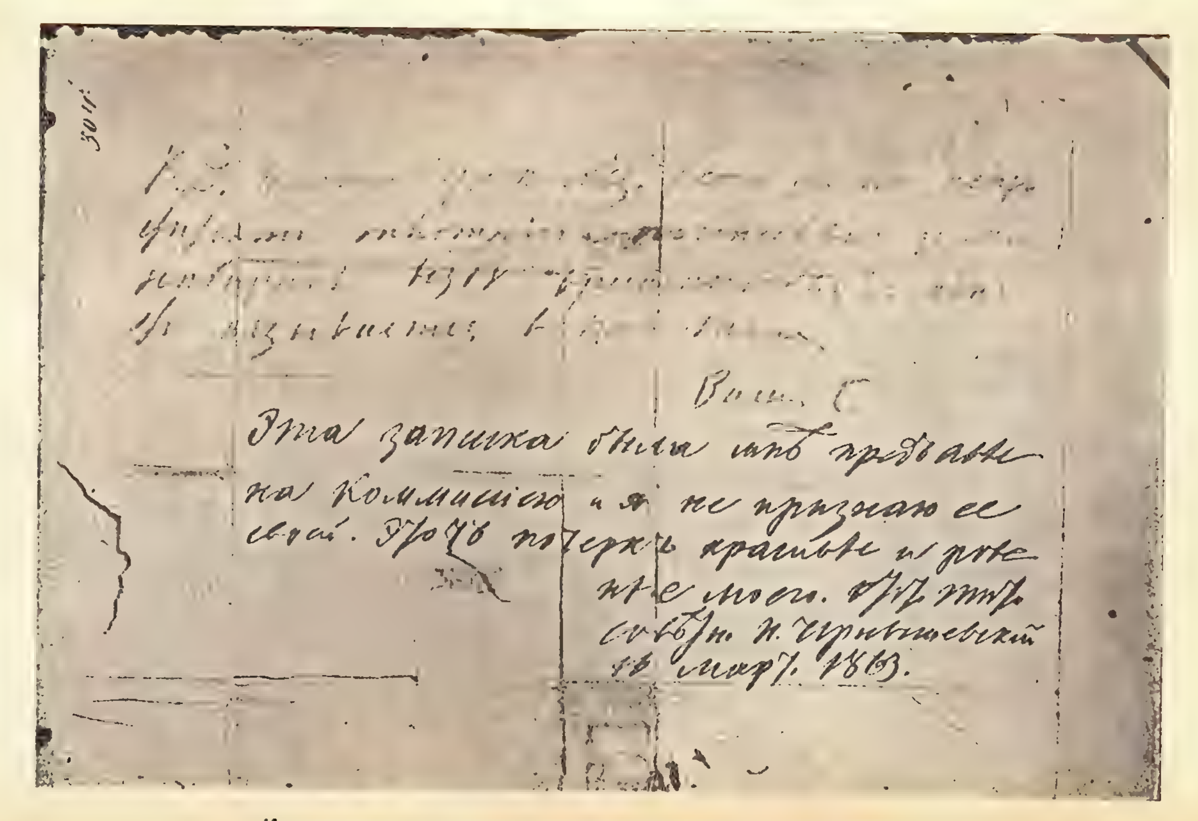
10 марта Костомаров и Чулков прибыли в Спб. Потапов послал Голицыну показание «московского мещанина Петра Васильевича Костомарова», как было написано в «отпуске» под диктовку Потапова, а затем карандашем его рукой исправлено: «Яковлева». При этом еще одна любопытная подробность: Потапов умолчал, что показание Яковлева привез Чулков, а написал, что оно было «прислано» на его имя. Разумеется, это было сделано, чтобы впоследствии сенат не имел кричащего документа о способе получения этого показания, — там пусть сенаторы все это секретно узнают от комиссии Голицына, но на бумаге следов не будет... В тот же день Потапов отправил Голицыну и вторую бумагу с указанием, что по прибытии в Спб. у Костомарова, при арестовании в камере III Отделения, отобраны «находившиеся при нем 3 письма Михайлова, 2 письма и одна записка Чернышевского, записка Шелгунова и одно письмо Плещеева». 10-го же марта — вот как все обрадовались и спешили, несмотря на воскресный день, — Голицын, забыв всю заранее выработанную mis en scène, серьезно доложил Александру II, что комиссия получила от III Отделения письмо, написанное Костомаровым к некоему Соколову и «отобранное от Костомарова в Туле сопровождавшим его жандармским офицером»...

Но названные сейчас письма преданных Костомаровым лиц не следует смешивать с таинственным «шиповаловским» пакетом: он, ведь, и не мог быть еще у Костомарова, благодаря неожиданному от'езду «И. С.» из Москвы на три месяца... Костомаров, очевидно, хотел, с одной стороны, вымотать у правительства побольше земных благ, а с другой, — получше приготовиться к нелегкому, даже для него, шагу — составлению длинного подложного письма от имени Чернышевского к Плещееву, которое, как помнит читатель, уже было «анонсировано» Костомаровым в его показании,

отобранном тремя членами следственной комиссии в крепости, вместе с двумя письмами Михайлова к Костомарову и одной запиской к нему Шелгунова.

Говорю «даже для него», имея в виду поразительную способность Костомарова менять почерк, — способность, вероятно, и толкнувшую его в омут особого шантажа. Опись одного из «дел», включающего почти всю переписку Костомарова с Путилиным, составлена и написана собственноручно Путилиным, который, разумеется, хорошо знал все им самим сшитые и представленные следственной комиссии документы; конверты ко всем письмам заадресованы на имя Путилина по его настоящему адресу и притом одинаковы, как посланные по почте, так и с оказией, а между тем, почерк каждого письма совершенно не похож на почерк других; переписываясь с Путилиным, очевидно, Костомаров думал не о том, чтобы скрыться от перлюстраторов, а исключительно о возможной увертке при будущем обвинении его в игравшейся им подлой роли, уверенный, что, если Путилин даже и сохранит все конверты (писанные тоже разными почерками), то, все-таки, ни у кого не будет никакой возможности доказать, что именно в них лежали соответствующие письма... Виртуозность Костомарова в перемене почерка, повторяю, прямо поразительна.

Что же было отобрано у Костомарова в Спб.? Прежде всего, карандашная записка Чернышевского, «уличавшая» его в прикосновенности к составлению прокламации «К барским крестьянам». Это пожелтевший листок, на одной стороне которого видны какие-то стихи и подбор рифм, написанные рукою Костомарова, а на другой — почерком, *похожим* на почерк Чернышевского, карандашом значится буквально следующее: «В. Д. Вмѣсто «срочнообяз.» (как это по непростительной оплошности поставлено у меня) набиритѣ вездѣ «временнообяз.», как это называется в положении. Ваш Ч.». Подпись-буква сделана уж совсем неискусно и очень походит на «С.». Я долго сравнивал почерк записки с почерком Чернышевского в различные моменты и *категорически утверждаю, что подделка не удалась,* с чем согласится каждый знающий толк в подобного рода вещах. Мало того, также категорически утверждаю, что она подделана *после* выезда Костомарова из Спб., но *до* возвращения из Тулы, когда в руках



Эта записка была мнѣ предъявлена Коммиссiею и я не признаю ее своей. Этотъ почеркъ красивѣе и ровнѣе моего. Отст. тит. совѣтн. Н. Чернышевскiй 14 март. 1863.

Костомаровская подложная карандашная записка (в натур. велич.).

Костомарова уже были полученные *из дома* два подлинных письма к нему Чернышевского, отобранные 10 марта. По существу надо сказать немного. Первое — Чернышевский, вынесший на своих плечах все литературное прохождение крестьянского вопроса, знавший и следивший за ним изо дня в день, конечно, не мог употребить такой основной термин, неверно, — но это мог и даже должен был сделать поэт-переводчик, бывший, как в лесу, в крестьянской реформе. Второе — вполне и редко для того времени грамотный (орфографически) Чернышевский никоим образом не мог написать *набиритѣ* вместо *наберите*.

Затем два письма Чернышевского к Костомарову.

1. От 20 апреля 1861 г.: «Вчера моя жена видела, Всеволод Дмитриевич, одного юношу, который, отправляясь за границу, нуждается в спутнике-руководителе его неопытного ума. Этот юноша показался жене порядочным человеком, и она выразила ему предположение, что спутником его быть может согласитесь быть Вы. Он очень обрадовался и дал нам адрес своего брата, живущего в Москве, с которым Вы можете переговорить относительно условий и т. д. Он напишет к брату, а меня просил написать Вам. Вот адрес юношина брата: в Москве, на Моховой, в доме Скворцова, Григорий Григорьевич Устинов. Пожалуйста, повидайтесь с этим Г. Г. Устиновым, — быть может, Вы и сойдетесь. Ваш *Н. Чернышевский*».

2. От 2 июля 1861 г.: «Добрый друг, Всеволод Дмитриевич, Ваша пьеса «Мост вздохов» (или как это иначе называется? об утопленнице-то) печатается в VII книжке «Совр.» (за июль). О Вашей благотворительности в пользу дворовых пишу к Алексею Николаевичу [1]. — Но что-то поделываете Вы в свою пользу? Я все возвращаюсь к мысли об уроках в одном из корпусов. У меня теперь там, кроме Котляревского, есть еще добрый знакомый, Свириденко, человек вполне порядочный, подобно Котляревскому (хоть Алексей Николаевич его и не долюбливает, говоря попросту, но ведь это только несходство темпераментов и приемов, а люди они очень хорошие). Мне хотелось бы познакомить Вас с ними, конечно, в том случае, если Вы думали бы похлопотать при их содействии об уроках в одном из корпусов.

---

[1] Плещееву, жившему в Москве.

«Спешу, по обыкновению, и опять выходит от этого лапидарный слог.

«Жму Вашу руку. Ваш, преданный *Н. Чернышевский*».

Три письма Михайлова к Всеволоду Костомарову я уже привел в приложении к статье «Дело М. И. Михайлова».

Письмо к Костомарову А. Н. Плещеева от 3 июня 1861 года:

«Дрожайший полиглот!

«Во-первых, напишите мне тотчас же, по городской — что цензурный комитет и прошение наше? [1]) Вы об этом меня не уведомили.

«Крыжов ваш дачу смотрел, но у меня не был. Записку отдала мне бабуся. Дело в том, что вы, кажется, напутали. Соколов, ведь, сам будет жить и хочет сдать только комнату, а Крыжов рассчитывает, вероятно, на всю избу. Вы ему скажите, чтоб он побывал у Соколова, если он не церемонный господин. (В Гагаринском переулке, близ Успенья на Могильцах, дом Коменовского).

«В субботу жду вас непременно. У меня созрел еще проект издания. Стих один написался. А вы уж, чай, в эту неделю целую библиотеку наваляете. Зачем вы Шеллея [2]) немецкого увезли? Это гнусно с вашей стороны. Реализм прочел. Хорошо составлено, но о Мейснере мало, больше о Грекове. Привезите Шеллея; я жду Аластора. Я писал к Чернышевскому — если он ответит через вас, — то дайте знать. Из Гартмана я перевел две странички (frei bearbeitet), но к вашему приезду, авось, еще переведу. Скучно ужасно, и потому именно скучно, что это *служба*, что хочется другое делать. А очень, кажется, его путешествия замечательны, только не все идет в географическую книгу. Будьте здоровы. Что переведете — привезите, — прочтем. Если я буду раньше, то заеду к вам и вас увезу. Это может случиться.

«Весь ваш *А. Плещеев*».

Записка Шелгунова в деле отсутствует.

---

[1]) Они просили о разрешении им какого-то периодического издания.
[2]) Вместо Шелли (Schelley).

III.

Итак, 7 марта комиссия узнала, что наконец-то III Отделением найден путь к верному обвинению Чернышевского по любому числу преступлений. В этот-то день она и получила письмо Н. Г. к коменданту Сорокину от 7 марта... Каждому понятно, как, заручившись новыми данными, она могла теперь реагировать на подобный документ.

9-го Потапов прислал в комиссию несколько листов рукописи перевода Гервинуса. Значит, Чернышевский работал, несмотря на все больше обострявшиеся отношения со своими обвинителями.

10-го, в день возвращения Костомарова в Петербург, все еще ничего не подозревавший Н. Г. писал Сорокину: «Я не понимаю, ваше превосходительство, чего добиваются господа, упорствующие не отвечать мне. Чего они хотят? Прошу их бросить шалить — извольте взглянуть на подчеркнутые мною строки письма моей жены от 8-го марта. Вы видите, что здоровье бедной женщины расстраивается с каждым днем от каприза каких-то шалунов. Прошу их отвечать мне, чтобы не отвечать перед правительством, которое раньше или позже поймет, какую плохую шутку играют над ним эти шалуны. Что это за мальчишество в людях, которым правительство поручает важные обязанности?

«С истинным уважением имею честь быть вашего превосходительства покорнейшим слугою. *Н. Чернышевский*».

«P. S. Шутя, по своей обыкновенной догадливости, шалуны опять вздумают задерживать письма моей жены и мои, как столько раз принимались делать, — не советую им делать этого».

Но комиссия уже не намерена была спускать Чернышевскому все, что он прямо или косвенно писал по ее адресу. Теперь она хорошо понимала, что с помощью ловкого Потапова сумеет отмстить дерзкому арестанту за все его издевательства и оскорбления... На следующий же день было положено просить коменданта крепости «сделать Чернышевскому строгий выговор за неуместные и неприличные выражения, употребленные в записке, со внушением при том, что если он и на будущее время позволит себе неуместные выражения, то ему будет воспрещена всякая вообще переписка».

Когда комендант об'явил этот выговор Н. Г. письменно, через смотрителя равелина, требуя вернуть бумагу с его надписью, Чернышевский написал на ней:

«Те выражения, на которые комиссия выражает свое неудовольствие, употреблены были мною не по какому-нибудь желанию выражаться грубо, — этой наклонности нет в моем характере, но это было нужно, чтобы доказать, что я слишком твердо знаю всю правоту, и что я очень хорошо понимаю отношения, которые, по вине неизвестных мне лиц, имеют такое тяжелое влияние на мою судьбу и — я имею право просить внимания к этим следующим моим словам — вводят правительство в продление напрасной несправедливости. Что касается до решения комиссии сделать мне строгий выговор, то, не имея под руками свода законов, я не могу знать, имеет ли она на это право, — если имеет, то я не имею против этого ничего сказать, кроме того, что одними выговорами не должно ограничиваться, а следует вникать в сущность дела и удовлетворять справедливым требованиям. — Что касается до угрозы воспретить мне вообще переписку, то мне кажется, что в письмах моих жене и г. А. Пыпину (моему родственнику) очень давно не было ничего, дающего основание для такой угрозы, — я в этих письмах не выражал ровно никаких чувств или мнений, оскорбительных для комиссии, и, кажется, можно из этого видеть, что я хорошо понимаю разницу между официальными записками, в которых высказываюсь прямо и вполне, и моею частною перепиской, в которой я соблюдаю канцелярскую тайну. Но важнее всех этих моих замечаний, имеющих только формальное — не интересующее меня — значение, будет следующее мое желание: пусть же, наконец, сделают по моему делу то, что обязаны сделать по закону и по совести, — пусть же, наконец, прекратят несправедливость, тяжелую для меня, не приносящую ничего полезного правительству, — пусть вспомнят, что я испытывал все пути для этого: пять месяцев терпел молча, потом просил (в письмах 20—22 ноября), наконец, вот уже три месяца действовал возбуждением самолюбия, обидчивости, — и все было до сих пор напрасно. Неужели же в самом деле никак и ничем не может добиться у нас человек, чтобы ему оказана была справедливость? Отставной титул. советник *Н. Чернышевский.* 13 марта 1863.

«P. S. Может, для формы нужно прибавить и потому прибавляю: это отношение за № 61-м читал, отстав. титул. совет. *Н. Чернышевский*».

13 марта комиссия сняла с Костомарова первый допрос.

Он показал, что мать и отец живут в Спб., о месте пробывания брата Николая ничего не знает; сестры — Мария и Екатерина; воспитывался в московском дворянском институте, а потом в Михайловском артиллерийском училище, не кончив которое, поступил юнкером в Малороссийский кирассирский принца Альберта прусского полк, а потом в 1856 г. был произведен корнетом в Смоленский уланский. В 1860 г. вышел в отставку по домашним обстоятельствам. Все семейство содержал на свой литературный заработок. Жил в Москве, часто приезжал в Спб.

Чина и звания Соколова, которому адресовал письмо из Тулы, как и тогдашнего его адреса, не знает. Познакомился с ним около 1851 г., по рекомендации одного из своих учителей, и брал у него уроки греческого и санскритского языков. Одно время был с ним очень близок и неразлучен. В 1859 г. они встретились в Париже, где Соколов жил в качестве гувернера в каком-то русском семействе. Писал ему туда до августа 1861 г., а потом ничего о нем не слышал до декабря 1862 г. В это время Соколов посетил его уж в Сущевской части, в Москве, где Костомаров, в ожидании приговора, и обещал, де, ему рассказать всю истинную подкладку своего дела.

Писал Соколову вовсе не для того, чтобы свалить вину на Чернышевского и Шелгунова. «Скрыв от правительства настоящих виновников преступления, я совершенно сознаю всю виновность свою перед законом, и поэтому я прошу комиссию в настоящем отказе моем «представить доказательства на все написанное мною в письме к Н. И. Соколову» — видеть не желание остаться при своем прежнем образе действий, а только физическую невозможность доказывать такие вещи, которые большею частью происходили с глазу на глаз между мною и обвиняемыми мною людьми или совершались в присутствии таких людей, фамилии которых были мне или совершенно неизвестны, или в настоящее время мною забыты. Если же из каких бы то ни было источников комиссия найдет какое-нибудь стороннее подтверждение словам

моим, то и я, со своей стороны, из'являю полную готовность подтвердить их, даже, если нужно, под присягой».

Сколько в этом одном тонкости и знания всех *будущих* обстоятельств . . .

Знакомство его с Михайловым было чисто литературное. «Что же касается до моего выражения, что *«мы пошли с ним в разные стороны»*, то я теперь повторю то же, что писал в письме к Соколову, т. е., что «говорить об этом нечего» . . . особенно после настоящего приключения с этим письмом (sic!) Впрочем, пусть лучше первый камень в меня будет брошен самим мною, а не другими. Вот в чем в настоящее время мы *не сходимся* с Михайловым: Михайлов до конца остался верен своим убеждениям и своим друзьям, а я сделался врагом тех, которые называли меня своим другом, и навсегда отказался от того, на что когда-то смотрел, как на лучшую цель моей жизни . . . не потому, чтобы я струсил перед опасностями этого пути, не потому, чтобы меня соблазнили приятности другой дороги, более торной, — а только потому, что я имел несчастие убедиться вполне, что мы сеяли на совершенно бесплодную почву». «Михайлов до *конца* вынесет на себе, вместе со своим грехом, грех других; а и в своем-то грехе он признался только из сострадания ко мне; а я, хотя и совершенно невольно, являюсь без всякой надобности обвинителем других». «Михайлову будут все сочувствовать, — сознается Костомаров, — а меня отвергнут *все*».

Когда Михайлов вез его к Чернышевскому, то сказал, что там они переговорят с хозяином о прокламации к крестьянам. «Что воззвание к барским крестьянам сочинено Чернышевским, — говорил мне и сам автор, говорил и Михайлов». Кто был тогда у Н. Г. — он уже не помнил. «Почерк прокламации мне был незнаком».

Свидетелей при передаче ему Михайловым разговора его с Чернышевским по поводу необходимых изменений в прокламации не было. Когда Костомарову пред'явили рукопись этой прокламации, взятой из московского дела о нем и первой вольной типографии, он добавил, что это «не та рукопись, которую читал Чернышевский в первое наше свидание; это уже окончательная редакции манифеста, сделанная Чернышевским, вследствие моих убежде-

ний, и переданная г. Чернышевским Сороке. Переписано оно Михайловым».

С Шелгуновым познакомился в первое же посещение Михайлова, жившего тогда с Н. В. и его женой.

«О знакомстве моем с Михайловым Сороко знал, а о воззвании, написанном Чернышевским, а равно и о самом Чернышевском, разговору у нас не было».

Сороко сам ему рассказал, как был у Чернышевского и получил от него воззвание и деньги на печатание. «Относительно *доказательств* повторяю: что не имею их да и вообще не считаю возможным представлять какие - нибудь доказательства на то, что говорится в дружеском, частном письме, а не писалось для судебного показания»...

«Мы втроем (т. е. Костомаров, Михайлов и Шелгунов — *М. Л.*) рассуждали о манифесте к крестьянам (на другой день моего первого визита к Чернышевскому) и потом все трое принимались за составление воззвания к солдатам. Шелгунову, как человеку в солдатском деле более нас компетентному, мы предоставили только формулирование общей идеи». «Развитие этой идеи, применение ее к венгерцам и полякам, наконец, тон всего послания — неотлемлемо принадлежат одному Шелгунову. Рукопись его я получил от Шелгунова из рук в руки при Михайлове». Писал прокламацию Шелгунов «при мне (измененным почерком); поправки сделаны Михайловым».

Солдат, бывших с Шелгуновым в трактире, не знает ни по полку, ни по фамилиям, но мог бы узнать в лицо. Харчевню тоже не помнит, но, вероятно, нашел бы.

Привезя в Москву прокламацию к солдатам, Костомаров спрятал ее в стол, «откуда она была украдена братом моим Николаем и представлена им в III Отделение».

Воззвание к раскольникам «писалось в Знаменской гостинице, весною 1861 г., конечно, без свидетелей, по крайней мере, таких, какие нам были видны. Я никому не читал и не показывал этого воззвания, — а знал ли об нем кто - нибудь из какого-нибудь другого источника — не знаю».

«Которого месяца и числа приезжал Чернышевский в Москву во время печатания воззвания — не помню. Где он останавливался, сколько времени прожил — не знаю. Я к нему не ходил,

Чернышевский бывал у меня всегда один и у меня никого не встречал».

На вопрос комиссии, что это за литературная деятельность Чернышевского, о которой Костомаров хотел еще написать Соколову особо, — он отвечал: «Ни мое здоровье, ни мое положение не позволяют мне принять на себя такой обширный и такой щекотливый труд». «Я убедительнейше прошу комиссию обратить внимание на то, что в письме к Соколову я высказывал только свой *личный* взгляд на литературную деятельность Чернышевского (как публициста) и его школы (или кружка, как я неосторожно выразился в письме к моему приятелю, перед которым, разумеется, я не старался быть слишком разборчивым и осмотрительным в выражениях); и я нисколько не намерен упорно отстаивать непогрешимость моего мнения, а, напротив, всегда готов согласиться с теми, кто убедит меня в противном».

Что касается замечания в письме к Соколову о средствах «увязить Чернышевского», то Костомаров показал: «В руках комиссии, вероятно, уже находится записка Чернышевского, отнятая у меня, в числе нескольких других писем, сопровождавшим меня на Кавказ капитаном Чулковым. Я полагаю (может быть, я и ошибаюсь, — не знаю), что этой записки, еслиб я представил ее в комиссию (1-ю), было бы совершенно достаточно, чтобы сложить с меня всякое обвинение в *составлении* воззвания к барским крестьянам».

Присутствовавший при допросе, в качестве члена комиссии, Потапов, вероятно, торжествовал, а близкий его приятель С. Р. Жданов, конечно, знавший всю подведенную шпионскую махинацию, — горд был за своего будущего покровителя.

На следующий день Костомарова допросили о кое-каких мелочах; так, кто нанимал номер в Знаменской гостинице? — «Чернышевский». — Как Яковлев мог слышать их беседу? — «Не понимаю. Мы его не видели». — Кого считал он жертвами наускиванья Чернышевского? — Прежде всего самого себя, «а потом всех тех молодых людей (лично мне неизвестных), которые агитировали, *как мне кажется,* под влиянием Чернышевского». — Как он получил карандашную записку? — Чернышевский заехал к нему, но не застал дома, и написал на первом попавшемся клочке бумаги, оставив записку на столе.

Читатель понимает, как должна разыграться вся эта гнусная драма . . .

---

13 марта Потапов послал комиссии три записки Чернышевского на имя коменданта.

Первая:

«Ваше превосходительство. Будучи очень благодарен Вам за Ваши прежние хлопоты обо мне, я теперь утруждаю Вас новыми, — извините, но что ж делать, когда шалуны доводят до этого?

«Я думал написать раньше две записки, которые прошу Вас представить по начальству — (не в комиссию, потому что этот бестолковый омут совершенно глуп, и иметь с ним дело значит только терять время, — нет, не в комиссию, которая, ведь, и не начальство Вам, — а прямо по начальству), — но я в эти дни был несколько нездоров; болезнь была ничтожная, конечно, не имевшая влияния на настроение моих мыслей, но, всетаки, могли бы сказать: он писал это в болезненном раздражении. Я ничего не делаю иначе, как по зрелому расчету, и в особенности никогда ничего важного не делаю без расчета. Потому я отправляю только ныне записки, которые, еслибы не было у меня редкого терпения, отправил бы еще в прошлый вторник. Вчера был у меня доктор и сказал, что моя болезнь совершенно прошла. Значит, можно и не говорить о болезненном раздражении.

«Первая записка, где я говорю о себе в первом лице, имеет только полуофициальную форму; это потому, что иначе она вышла бы длинна. Если Вы найдете, что 6-й пункт ее имеет вид излишней угрозы, я предоставляю Вам право вычеркнуть его: Вам виднее, нужно ли повторять то, что я решительно не хочу оставаться долго и не останусь в настоящем моем положении — здоровье жены погибло бы все равно, а в таком случае мне неприятно было оставаться где бы то ни было, — так или иначе, я буду свободен очень скоро [1]); но если напоминать об этом лишнее, если в этом достаточно убеждены, то, конечно, не к чему грозить лишний раз.

---

[1]) Намек на смерть.

«Во всяком случае смею уверить Вас в двух вещах: 1) я не буду ничего особенного делать, не предупредивши Вас, чтобы Вы могли заранее сложить с себя ответственность; 2) я не намерен повторять того, что делал однажды, потому что повторение скучно [1]).

«Правила, которые Вы обязаны соблюдать, так дики, что, кажется, нет средства избавить Вас от труда лично навестить меня, чтоб я мог узнать о ходе дела, — извините, что я обременяю Вас этим, но это — единственное средство отклонить недоразумения, конечно, неприятные для Вас, какие, было, произошли однажды. На-то, чтобы Вам иметь такой случай для доклада и получения ответа, я полагаю, достаточно будет, если я подожду три-четыре дня. Но Вы согласитесь, что нужно же знать потом, что намерены делать, и следует ли ждать дальше.

«Я — человек очень мягкий, всегда любящий извиняться; потому прошу у Вас извинения в том, что обременяю Вас своими просьбами. Я очень ценю Вашу добрую волю и очень рад был бы жить смирно, как жил прежде, не делая Вам хлопот. Но обстоятельства принуждают меня, и потому не будьте в претензии на мою видимую беспокойность, — спросите прислугу, — я точно так же спокоен и отчасти весел, как всегда.

«С истинным уважением имею честь быть вашего превосходительства покорнейшим слугою. *Н. Чернышевский.*

«P. S. Это мое письмо, конечно, уж совершенно неофициальное; оно имеет единственною целью только показать собственно Вам, что Вам я очень благодарен и на Вас нисколько не претендую, а, напротив, отчасти совещусь перед Вами, что надоедаю Вам вещами, которые могут казаться Вам странными, но в самом деле нисколько не странны».

Вторая записка от 12 марта:

«Ваше превосходительство, я хотел писать его светлости длинную записку, но рассудил, что она именно своею длиннотою могла бы затянуть развязку. Потому я предпочитаю просить Вас при докладе его светлости прилагаемой моей записки к Вам сообщить изустно его светлости те из сообщавшихся

[1]) Очевидно, речь идет о голодовке.

мною Вам моих мыслей, какие понадобятся по ходу Вашего разговора; из них я осмеливаюсь напомнить Вам те, которые, может быть, важнее других, и прибавить еще две - три заметки, которых я не сообщал Вам, потому что еще не виделся с Вами после того, как они сделаны мною 23 февраля.

«1) С первого же раза я говорил Вам, что меня арестовали по каким - нибудь пустым сплетням; что тотчас по моем арестовании лица, виновные в нем, убедились, что слишком сильно промахнулись своими сплетнями, и просто боятся сказать правительству, что ввели его в ошибку; что поэтому они длят дело только с тою целью, чтобы самим выпутаться из него, заглушив его длиннотою времени (я писал это однажды с тою целью, чтоб комиссия прочла и увидела, что не смеет потребовать у меня отказа от такого дурного для нее утверждения моего, и чтобы в моем деле остался документ об этом).

«2) Вообще я делал все возможное, чтобы возбудить комиссию вызвать меня для об'яснений, для сделания мне замечания, — с этою целью я несколько раз писал резкие дерзости — это вовсе не в моем характере, но это было нужно, чтобы доказать ей, что она боится или совестится взглянуть мне в лицо. И, действительно, она уличила себя в этом. Вы сами были свидетель, что от одного воспоминания о моих резкостях, корчились и теряли хладнокровие, — значит, чувствовали их; а вызвать для требования ответа или для отречения от них, все - таки, не посмели ни разу. Комиссия может об'яснять такую ангельскую свою терпеливость какими ей угодно причинами — пренебрежением, снисхождением, но, конечно, никто из людей с здравым смыслом не поверит возможности другого мотива, кроме того, который привожу я.

«3) Верность этого моего об'яснения терпеливости комиссии к обидам от меня совершенно подтвердилась тем, что я видел во время разговора моего 23 февраля с членами комиссии: я начал говорить, по своей привычке, легко и шутя, любезно, — и лица членов приняли и сохранили во все время разговора выражение, говорившее: «ну, слава богу, как легко мы от него отделываемся»; они могут признаваться или не признаваться в этом, как им угодно, — но ведь я был в очках и потому видел выражение их лиц.

«4) Я официально заявил в комиссии при первом (и единственном) моем допросе, что по окончании моего дела я подам жалобу на действия комиссии.

«5) Прежде, чем в эти последние дни я стал писать Вам записки с дерзкими выражениями о комиссии (Вы теперь знаете цель этих резкостей — заставить комиссию уличать себя саму в том, что совестится или трусит видеть меня) — я два раза писал мягкие, формально-мирные просьбы о разрешении мне новых свиданий с моею женою.

«6) Да вообще я всегда начинаю мягко и мирно, желая избежать скандала; только вынуждаемый крайностью, я прибегал к другим средствам; но в этих других средствах я с каждым новым разом шел дальше и дальше. Теперь у меня в запасе остается только одно из этих тяжелых для меня средств, — не то, которое было употреблено мною в конце января и начале февраля, — нет, повторение было бы скучно; — этого последнего моего средства я вовсе не желаю употреблять, — думаю, что мне и не придется употребить его; но Вы согласитесь, что я не стал бы писать так, как пишу, еслибы не знал, что я ни от кого не в зависимости, если так понадобится. Пожалуй, вычеркните эти строки, чтобы не было вида угрозы. Но неужели эти глупцы до сих пор не поймут, что со мною шутить, — вещь рискованная? (N. B. Обыска не стоит производить, — у меня нет ни ядов, ни кинжалов, никаких подобных штук, — я до них вообще не охотник). — Повторяю: я вовсе не угрожаю, — я только говорю, что я действую по расчету; если я горячусь, — я горячусь по расчету; если я терплю, — я терплю до рассчитанного срока. Если кому кажется, что я действую по увлечению, то я на это замечу, что все называют меня человеком умным, следовательно, очень может быть, что я поступаю не без некоторого соображения . . .

«7) Если бы стали говорить, что свидания мои с женою моею не допускались в видах соблюдения знаменитой нашей канцелярской тайны (которая у нас вовсе не соблюдается лицами, которыми должна охраняться, — например, за две недели до моего ареста мне сделан был очень явный намек, — конечно, вовсе незамеченный лицом, делавшим его и думавшим, что дурачит меня, тогда как я издевался над ним, — намек вовсе не произвольный со стороны этого лица, но очень понятный для меня, — что меня

хотят арестовать; я пренебрег этим, думая: нет, вы не посмеете так компрометировать правительство, — кто это лицо, вы можете догадаться, я Вам говорил о нем несколько раз, как о болтуне [1]), — если бы стали говорить, что моих свиданий с женою не допускали в видах соблюдения канцелярской тайны, — это пустяки: во-1-х, мне не о чем расспрашивать, потому что против меня нет обвинений; во-2-х, у меня нет нужды рассказывать что-нибудь для того, чтобы узнали это в городе, — разбалтывание делается (очень давно) лицами, которые были бы обязаны молчать по долгу службы. Я, например, был довольно приятно изумлен, когда прежде, чем успел вымолвить хоть одно слово жене, услышал от нее вопрос: «Зачем тебя держат? Ведь против тебя нет никаких обвинений». — Да ты почему-ж это знаешь? — спросил я ее. — «Да как же, — ведь это давно всем известно; об этом так давно говорили, что уж и говорить устали». Вот вам канцелярская тайна. Это курам на смех.

«8) Собственно для меня решительно все равно, сидеть ли в заключении, или в своем кабинете. Но мне необходимо скорое освобождение потому, что здоровье моей жены требует этого.

«9) В моем деле, кроме общей несправедливости, есть много частностей очень неблаговидных. Назову две из них: во-1-х, пропажа золотого кольца во время второго обыска, делавшегося без меня. Кольцо лежало в запертой шкатулке; шкатулка стояла в комнате, запечатанной при первом обыске, — какова эта штука? А вот какова эта, во-2-х: моей жене долго не выдавали вида на проживание в Петербурге, чтоб вытеснить ее полицейскими придирками из Петербурга, — а ведь она не только для свиданий со мной приехала; ей приказали ехать в Петербург медики, — это было необходимо для лечения. Однажды Вы сказали мне, что невыдавание вида ей могло быть следствием ошибки или недоразумения, — нет, у меня есть доказательство противного, доказательство того, что это было делано с умыслом. Таких милых вещей я могу подобрать не один десяток.

«10) Вообще, каждое из моих слов я могу подтвердить фак-

---

[1]) Должно быть, речь идет об А. Л. Потапове. В таком случае указание Рейнгардта на стр. 177 не согласуется с истиной.

тами. Я не так глуп, чтоб говорить в подобной записке что-нибудь, кроме того, что могу доказать.

«Само собою разумеется, что ваше превосходительство, передавая эти мысли и замечания, нисколько не принимаете на себя ручательства за их верность, — я прошу Вас только передать их его светлости, как мои мысли.

«С истинным уважением имею честь быть вашего превосходительства покорнейшим слугою. *Н. Чернышевский*».

Третья записка:

«Чернышевский имеет честь покорнейше просить его превосходительство г. коменданта С.-Петербургской крепости доложить его светлости г. с.-петербургскому генерал-губернатору следующее:

«1. Чернышевский приносит его светлости благодарность за то, что имел свидание со своею женою (23 февраля).

«2. Перед этим свиданием Чернышевский имел разговор с некоторыми из гг. членов комиссии. Чернышевский говорил им: «Как же это комиссия может поступать со мною таким образом, каким поступала»? Ему на это отвечали: «С вами поступали жестоко, но не кладите ответственности за то на комиссию; это действовала не она». Чернышевский спросил: «Если вы полагаете, что я когда-нибудь мог верить, что против меня существовали какие-нибудь обвинения, то вы ошибаетесь». Ему отвечали: «Это такой случай, как против меня (члена комиссии, отвечавшего Чернышевскому) могли бы быть подозрения в убийстве» (Чернышевский уверен, что действительно против лица, говорившего с ним, могли бы быть только вздорные подозрения в убийстве, из которых никак не могло бы произойти никакого обвинения, — ведь от подозрения до обвинения, по законам о следственном производстве, очень далеко, и от обвинения до ареста — тоже очень далеко: чтобы арестовать, нужно, по закону, хорошенько рассмотреть солидность обвинения; а чтобы составилось обвинение, нужно бы, по закону, рассмотреть основательность подозрений). Чернышевский говорил: «Да когда же это кончится? Когда вы освободите меня»? Ему отвечали: «Через несколько дней». Вообще, весь характер разговора (дружелюбного и веселого, по привычке Чернышевского до последней

крайности выдерживать такой тон и заставлять других понимать его) был таков, что Чернышевский винил и укорял, а перед ним извинялись и слагали с себя ответственность на других.

«3. Еслибы кто-нибудь, — по здравому смыслу, этого нельзя ждать; но с Чернышевским сделано довольно много такого, чего нельзя ждать по здравому смыслу, — еслибы кто-нибудь осмелился сказать, что Чернышевский не с совершенною точностью передает или хотя одно из приводимых им слов разговора, или общий характер разговора, то Чернышевский бросает в лицо такому человеку название лжеца и требует очной ставки с тем, чтобы доказать, что справедливо клеймит его таким названием.

«4. После этого Чернышевский, кажется, имеет право сказать, что то лицо (или те лица), которое внушило (или которые внушили) или его величеству, или его светлости сомнение в совершенной справедливости просьбы Чернышевского о его освобождении по недостатку обвинений против него выраженной в письмах Чернышевского к его величеству и к его светлости от 20—22 ноября прошлого года, что это лицо виновно (или эти лица виновны) перед правительством, которое они ложными своими уверениями ввели в напрасное продление напрасной несправедливости. 12 марта 1863 года. *Н. Чернышевский*».

Разумеется, торжествовавшая комиссия «приобщила к делу» эти бумаги и победоносно вызвала Чернышевского на второй со времени ареста допрос-диспут.

IV.

16 марта Н. Г. понял, наконец, почему с ним «шутили» так настойчиво и нагло, и ясно увидел, каким «козырем» обладала комиссия и на что она была способна.

На вопросы, почему Герцен писал Серно-Соловьевичу о готовности издавать «Современник» за границей, и когда Чернышевским было дано на это согласие, Н. Г. отвечал: «Подтверждаю прежнее показание и совершенно не знаю, на каком основании г. Герцену вздумалось, что я могу согласиться издавать с ним журнал, ибо никаких сношений с ним не имел, ни прямых, ни через какое-либо посредство».

Относительно письма Огарева и Герцена к неизвестному (Н. Н. Обручеву) Чернышевский показал:

«Письмо это я получил по городской почте весною (или в начале лета) 1862 г.; кем оно мне было прислано, не знаю. По тону речи и языку видно, что оно писано гг. Огаревым и Герценом (почерков их я не знаю, потому сужу только по содержанию письма); к кому оно писано — неизвестно мне. Кем и для чего и какие слова выскоблены в нем, я не знаю, — оно было прислано ко мне со словами, уже выскобленными (вероятно, посылавший его ко мне хотел, чтобы не знал я его фамилии и других; вероятно, выскобленные слова — фамилии). Лицо, которому я поручал передать Герцену, чтобы он не завлекал молодежь в политические дела, — г. М. И. Михайлов, ездивший за границу летом 1861 года. Слова, что я «имею влияние на юношество», означают, что я, как журналист, пользовался уважением в публике. «Знамя», о котором упоминается в письме, — наше обычное общинное землевладение, которое я постоянно защищал, но относительно которого, всетаки, выражал сомнение, удержится ли оно против распоряжения к потомственному землевладению, — это об'ясняется в статье «Современника» (моей), которою Герцен остался недоволен; выражение «ехали вместе» относится к тому, что я, подобно Герцену, защищал обычное наше общинное землевладение. Поручение М. И. Михайлову отклонять Герцена от вовлечения молодежи в политические дела основывал я на общественных слухах о том, что Герцен желает производить политическую агитацию, — я поручал Михайлову сказать Герцену, что из этого не может выйти ничего хорошего, ни с какой точки зрения, что это повело бы только к несчастию самих агитаторов [1]).

---

[1]) 19 марта Чернышевский к этому добавил: «М. И. Михайлов, отправляясь за границу, упомянул мне, что если он поедет в Англию то, может быть, увидится с Герценом. Больше мне ничего не было известно. О намерениях Михайлова издавать что-нибудь тайное я не знал. О сообщниках его тоже не знал и сам никакого участия ни в каких замыслах Михайлова не принимал». Разумеется, Михайлову было поручено несколько иное: убедить Герцена, что действенная радикально настроенная молодежь не пойдет за „Колоколом" и потому на нее не следует рассчитывать в планах построения земского собора и т. п.

О картонных полосках с алфавитом и цифрами Чернышевский отозвался: «Эти лоскутки заключают в себе какую-то азбучную шалость, составленную неизвестно мне кем из моих родственников, живавших у меня».

«С Михайловым я познакомился, когда был студентом, а он — вольнослушающим; потом видывались и почти всегда по журнальным делам (г. Михайлов читал корректуры «Современника», по желанию г. Некрасова). С г. Шелгуновым я был знаком уже через г. Михайлова; кроме того, он помещал статьи в «Современнике»; это знакомство было слишком неблизкое. Г. В. Костомарова я видел несколько раз по тому случаю, что он помещал статьи в «Современнике». У г. Михайлова и г. Шелгунова я бывал; к г. Костомарову заезжал однажды отдать деньги за стихи (когда проезжал через Москву в Саратов). Г. Михайлов и Шелгунов бывали у меня по журнальным делам. Собственно журнальными делами ограничивалось мое знакомство с гг. Костомаровым и Шелгуновым. О распространении возмутительных сочинений г. Костомаровым я ничего не знал, о преступлении г. Михайлова — точно также ничего. Под журнальными делами, которые имел я с гг. Шелгуновым и Костомаровым, я разумею то, что г. Шелгунов приносил мне свои статьи, а г. Костомаров — свои стихи для помещения в «Современнике»; я никому из них никаких поручений не давал».

«Из лиц, живших в Москве, я был знаком с г. Плещеевым. В 1861 г. весною я ездил в Москву хлопотать по цензурным делам и прожил там дня три; в 1862 г. я проезжал через Москву в Саратов и пробыл там несколько часов. Бывши в 1861 г. в Москве, я бывал у г. Каткова [1]). Жил в гостинице против дома Шипова, — вероятно, на Лубянке. Г. Плещеев — литератор, постоянно помещавший повести в «Современнике»; других отношений к нему у меня нет и не было».

Относительно воззвания к барским крестьянам Чернышевский показал: «Ничего подобного я не писал. Эти сведения неосновательны. Г. Сороко я не знаю; ни с Михайловым, ни с г. Костомаровым, ни с Шелгуновым ничего подобного не говорил и никаких статей для тайной печати не писал. Г. Костомарову ни

[1]) Последний собирал совещание для обсуждения проекта закона о цензуре.

какой статьи о крестьянском деле не передавал. Все, что я писал, печаталось в «Современнике». Г. Костомаров не имел никакого участия в моей деятельности, которая всегда была открыта и законна. Никогда не имел я никаких сношений с Костомаровым по тайному печатанию и ничего не поручал печатать. Но подарил ему сборник рукописный — лирические стихотворения, которые когда-то хотел издать с книгопродавцем Вольфом, и который валялся у меня брошенный».

«О воззвании к русским солдатам я ничего не знаю».

Что касается составления прокламации к раскольникам, то Н. Г. отвечал: «Ничего такого не было. Эти сведения неосновательны».

Когда комиссия, в опровержение показания о поверхностном знакомстве с Костомаровым, пред'явила Чернышевскому его письма к последнему, то Н. Г. ответил: «Мои слова не имели того смысла, что я знаком в Москве *только* с *одним* г. Плещеевым, — я вспоминаю о нем потому, что больше знаком с ним, чем с кем другим, хотя, все-таки, не слишком близко; будучи знаком с г. Костомаровым только по журнальным делам, я, по своей привычке помогать всякому нуждающемуся, принимал человеческое участие в его стесненном положении, — просто по чувству доброты. Г. Котляревский — преподаватель в каком-то московском кадетском корпусе [1]); я был знаком с ним, как с литератором и человеком умным. Г. Свириденко служит в книжном магазине Кожанчикова; я был несколько знаком с ним, как с человеком образованным; он искал моего знакомства, — я не могу отказываться от посещений, мне делаемых, — у меня такой характер, слишком деликатный. Ни с г. Котляревским, ни с Свириденко я не был близок».

Наконец, дело дошло до центрального пункта: Чернышевскому пред'явили карандашную записку к Костомарову... Он отверг ее, написав: «Пред'явленная мне записка не моего почерка; я не признаю ее своею, и потому остаюсь при прежнем ответе». А на самой записке написал: «Эта записка была мне пред'явлена комиссиею, и я не признаю ее своей. Этот почерк красивее и ровнее моего. Отставной тит. сов. *Н. Чернышевский.* 16 марта 1863 г.».

---

[1]) Отец нынешнего академика Н. А. Котляревского привлекался по делу Н. Серно-Соловьевича.

Мало того, если бы он знал хорошо один из истинных почерков Костомарова (а у того их было не меньше трех), то он указал бы, что подделку выдавала с головой буква «в»: она не похожа на его букву и является точной копией буквы Костомарова в письмах к Путилину. Это-то и доказывает, кстати, что неуверенный в себе и видя еще неполное сходство не набитого на такой характерный чужой лад своего почерка, Костомаров не только отложил представление «пакета» Шиповалова, но сделал первую пробу карандашом, при котором да еще при затертости (якобы, от времени), труднее было оспаривать неподлинность.

19-го Чернышевскому была дана очная ставка с Костомаровым.

Приведу протокол о ней полностью. Он очень характерен и необходим для ясного понимания дальнейшего.

Костомаров: «Я с своей стороны подтверждаю свои прежние показания:

а) «что был введен в дом к г. Чернышевскому Михайловым; что г. Чернышевский в присутствии Михайлова читал мне возмутительное воззвание «К барским крестьянам», написанное им, Чернышевским».

Чернышевский: «Я с своей стороны остаюсь при прежних своих ответах:

А) «Кем и когда я был познакомлен с г. Костомаровым, я не помню. Воззвания к барским крестянам в присутствии г. В. Д. Костомарова вместе с г. М. Л. Михайловым я не читал и этого воззвания не писал».

К.: b) «что впоследствии я получил от Сороко это воззвание в несколько измененном виде, причем Сороко мне сказал, что получил это воззвание от Чернышевского вместе с 200 р. на издержки по тайному напечатанию брошюры»;

Ч.: В) «С г. Сороко я незнаком, — потому денег ему не давал ни на тайное печатание, ни на что другое; не давал ему и воззвания к барским крестьянам.

К.: с) «что печатание воззвания началось у меня в доме, и г. Чернышевский, посетив меня, видел набор этого воззвания и оставил мне денег на дальнейшее производство работы»;

Ч.: C) «Набора у г. Костомарова я не видел, денег на работу ему не оставлял».

К.: d) «что, придя ко мне в другой раз, он не застал меня дома и оставил на столе пред'явленную мне записку, в которой просил меня исправить в *своей* брошюре неверно написанное им выражение «срочнообязанные» и заменить его словом «временнообязанные»;

Ч.: D) «Записка эта не писана мною».

К.: e) «что весной 1861 г. в Знаменской гостинице г. Чернышевский диктовал мне воззвание к раскольникам, с тем, чтобы я напечатал и его; но я этого не исполнил»;

Ч.: E) «В Знаменской гостинице я не был с г. Костомаровым и воззвания к раскольникам ему не диктовал».

К.: f) «что я писал к г. Чернышевскому о том, что он поступил весьма неосторожно, поручив печатание своей брошюры Сороко»;

Ч.: «F) «Такого письма от г. Костомарова я не получал».

К.: g) «перед поездкой в Знаменскую гостиницу г. Чернышевский заехал в квартиру моего отца, на Поварскую; № Знаменской гостиницы я запомнил тем, что изрезал подоконник перочинным ножом, взятым нами в числе принадлежностей для писанья»;

Ч.: «G) На квартире у батюшки г. Костомарова в Поварском переулке я был, но оттуда отправился прямо домой».

Что чувствовал и думал Чернышевский, трудно сказать. Но он еще не терял надежды на благоприятный исход дела, твердо веря, разумеется, не в порядочность правительства вообще и его агентов в частности, а просто в его благоразумие, — веря, что оно не станет скандализировать себя явно беззаконным приговором уж слишком заметному человеку . . . В этой вере он и черпал силы и спокойствие духа, необходимые для продолжения начатых и продолжавшихся литературных работ.

А они шли усиленным темпом. Гервинус подвигался быстро и то и дело отсылался Пыпину. 26 марта Потапов прислал в комиссию 4-ю главу «Что делать?», 28 и 30 — еще главы, а 6 апреля — окончание. Как и прежде, роман читал кто-нибудь из членов комиссии, не находил в нем ничего, касающегося дела, и рукопись отправляли к Пыпину через обер-полицмейстера,

каждый раз напоминая, что печатание должно происходить на общем основании, с разрешения цензуры. Цензор «Современника», где печатался роман в мартовской, апрельской и майской книжках, видя на рукописи печать и шнуры комиссии, проникался соответствующим трепетом и пропускал, не читая [1]).

Но возникает невольно вопрос: почему же после напечатания начала «Что делать?» власти не хватились и не поторопились исправить свою ошибку? По-моему, были две причины: сразу вообще не поняли значения романа и, во-вторых, цензурное ведомство чувствовало себя спокойно за спиной комиссии, а последняя, не зная этого и занятая массою дел, не интересовалась ни романом, ни произведенным им впечатлением. В конце концов, пострадал цензор Бекетов, в том же году уволенный от службы.

V.

Привожу самый текст прокламации к барским крестьянам, действительно, как утверждает Шелгунов, написанной Чернышевским.

---

[1]) В литературе по этому поводу масса самых разнообразных росказней. Кто приписывает разрешение романа князю А. Ф. Голицыну, кто — Потапову, кто — Валуеву и т. д. и, что любопытно, почти все ссылаются на «достоверных» свидетелей и «очевидцев». Скальковский (см. «Новое время» 1904 г., № 10303) прибавил еще одну выдумку: якобы под романом подписано было: «4 апреля 1862 года», и указывалось, что через четыре года произойдет важное событие — 4 апреля 1866 года Каракозов покушался на Александра II... Все это совершенный вздор: под романом подписано: «4 апреля 1863 г.»... Головачева-Панаева рассказывает о потере Некрасовым с экипажа рукописи «Что делать?». Оказывается, в ее пространном рассказе, как и всегда, много лишнего и неверного. Роман был доставлен только на третий день после утери. Вот текст об'явления, поставленного Некрасовым в №№ 29, 30 и 31 «Ведомостей Спб. Городской Полиции» за 1863 год: «*Потеря рукописи.* В воскресенье, 3 февраля, во втором часу дня, проездом по Б. Конюшенной от гостиницы «Демут» до угольного дома Каппера, а оттуда чрез Невский пр., Караванную и Симеоновский мост до дома Краевского, на углу Литейного и Бассейной, обронен сверток, в котором находились две прошнурованные по углам рукописи с заглавием «Что делать?». Кто доставит этот сверток в означенный дом Краевского к Некрасову, тот получит пятьдесят руб. сер.».

«В 1861 г. я написал прокламацию «К солдатам», а Чернышевский прокламацию «К народу» и вручил их для печатания Костомарову. Разговоров вообще было у нас мало, а о прокламациях тем более. Я переписал прокламацию измененным почерком и, как все переговоры велись Михайловым, то я отдал прокламацию ему, а он передал ее Костомарову. Впрочем, Костомаров знал, что писал я» [1].

Свидетельство Шелгунова для нас является совершенно бесспорным само по себе: достаточно знать корректность и серьезность Николая Вас. в подобных делах. Но оно не стоит в одиночестве; его вполне подтверждает А. А. Слепцов. Вот что он записал в имеющемся у меня своем мемуарном манускрипте: «Отдать справедливость, план был составлен очень удачно, имелось в виду обратиться последовательно, но в сравнительно короткое время ко всем тем группам, которые должны были реагировать на обманувшую народ реформу 19 февраля. Крестьяне, солдаты, раскольники (на которых тогда вообще возлагали большие и весьма, конечно, ошибочные революционные надежды), — здесь три страдающих группы. Четвертая — молодежь, их друг, помощник, вдохновитель и учитель. Соответственно с этим роли были распределены следующим образом: Чернышевский, как знаток крестьянского вопроса, который он, действительно, знал в совершенной полноте, должен был написать прокламацию к крестьянам; Шелгунов и Николай Обручев взяли на себя обращение к солдатам; раскольников поручили Щапову, а потом, не помню по каким обстоятельствам, передали тоже Николаю Гавриловичу; молодое поколение взяли Шелгунов и Михайлов. О таком плане и о его выполнении мне сказал в начале 1861 г. сам Чернышевский, знал о нем и Н. Н. Обручев, потом, из боязни быть расшифрованным, уклонившийся от участия в общем деле».

Вряд ли при наличности таких двух свидетельств, из которых одно, собственно, дополняет другое, можно сомневаться, писал ли Чернышевский прокламацию к барским крестьянам. Михайлов опрометчиво доверился Костомарову, как своему другу, и, видя, что Чернышевский, Шелгунов и Обручев не расположены вполне ему доверяться, взял на себя все сношения с вольной московской

---

[1] «Голос Минув.» 1918, № 4—6 стр. 66.

типографией, которой и передал прокламации к крестьянам и солдатам, еще раз переписав их измененным почерком. Костомаров, человек ловкий и умевший выуживать из людей интересовавшие его конспиративные тайны, мог догадываться об авторе «К барским крестьянам», но ничего твердого в этом отношении в своем распоряжении не имел. Отсюда вся та осторожность, с которой он постепенно вскрывал этот вопрос сначала перед комиссией Собещанского и III Отделением по своему и Михайлова делам, потом перед комиссией Голицына и III Отделением в делах Шелгунова и Чернышевского.

Обращаясь к существу прокламации к барским крестьянам, нельзя не заметить, что идея «топора» проводится и здесь, только в качестве меры, требующей предварительной организованности и подготовки, что в сущности вовсе не противоречит письму «Русского человека». С другой стороны, Чернышевский готов принять не только республику, но помириться и на конституции, однако, его конституция — не буржуазная конституция проектов дворян того времени и «Великорусса». С своей конституцией Н. Г. готов помириться потому, что не мыслит ее без серьезного привлечения к власти на всех ее ступенях многомиллионного крестьянства. С другой стороны, возможно, что, не заостряя республиканского переворота в сознании своих будущих читателей, он этим самым хотел привлечь на свою сторону симпатии той крестьянской толщи, которая летом 1861 года все еще боготворила особу царя. Как материалист, Чернышевский почти не останавливается на вопросе политической демократии, центр тяжести его агитации лежит в экономических интересах крестьянста. На более резкое выступление у Н. Г., может быть, и не было права, раз приходилось, все-таки, думать о *серии* прокламаций, в чем, впрочем, авторам была, повидимому, дана некоторая свобода, так как прокламация Шелгунова и Михайлова к молодежи, Шелгунова к солдатам и Чернышевского к крестьянам не лишены своих особенностей в смысле основных положений.

Какой же момент казался Н. Г—чу подходящим для поднятия крестьянской массы? Лето 1863 г., — момент, точно определенный самой техникой «освобождения», когда крестьянин

должен был понять, что царь его обманул. В народное восстание 1863 г. верили тогда все, от радикалов до либералов.

Когда в 1861 г. разыгрались дела первой вольной типографии и Михайлова, у Чернышевского было достаточно времени не только строго продумать каждую мелочь из имевшего, может быть, возникнуть и о нем дела, но и принять ряд мер, чтобы выйти чистым из подобного процесса. Он твердо знал, что близкие товарищи по серии не выдадут его, что они поступят по примеру Михайлова, и потому теперь, когда стал вопрос о прокламации, решил твердо стоять на своей непричастности.

Барским крестьянам от их доброжелателей поклон.

Ждали вы, что даст вам царь волю, вот вам и вышла от царя воля.

Хороша ли воля, которую дал вам царь, сами вы теперь знаете.

Много тут разговаривать нечего. Но два года остается все попрежнему, и барщина остается, и помещику власть над вами остается, как была. А где барщины не было, а был оброк, там оброк остается, либо какой прежде был, либо еще больше прежнего станет. Это на два года, говорит царь. В два года, говорит царь, землю перепишут да отмежуют. Как не в два года! Шесть лет, либо 10 лет проволочат это дело. А там что? Да, почитай, что то же самое еще на семь лет; только та разница и будет, что такие разные управления устроят, куда, вишь ты, можно жаловаться будет на помещика, если притеснять будут. Знаете вы сами, не ново это слово: «жалуйся на барина». Оно жаловаться-то и прежде было можно, да много ли толку было от жалоб? Только жалобщиков же оберут да разорят, да еще пересекут, а иных, которые смелость имели, еще и в солдаты заберут, либо в Сибирь да в арестантские роты сошлют. Только и проку было от жалоб. Известно дело: коза с волком тягалась — один хвост остался. Так оно было, так оно и будет, пока волки останутся, — значит помещики да чиновники останутся. А как уладить дело, чтоб волков-то не осталось, это дальше все рассказано будет. А теперь покуда не об этом речь, какие новые порядки как надо завести, покуда об том речь идет, какой

порядок вам от царя дан, — что, значит, не больно-то хороши для вас нынешние порядки, а что порядки, какие по царскому манифесту да по указам заводятся, все те же самые прежние порядки. Только в словах и выходит разница, что названия переменяются. Прежде крепостными, либо барскими вас звали, а ныне срочно-обязанными вас звать велят, а на деле перемены либо мало, либо вовсе нет. Эки слова-то выдуманы! Срочно-обязанные, — вишь ты глупость какая! Какой им чорт это в ум-то вложил такие слова. А по-нашему, надо сказать: вольный человек да и все тут. Да чтоб не названием одним, а самым делом был вольный человек. А как бывает взаправду вольный человек и каким манером вольными людьми можно вам стать, об этом обо всем дальше написано будет. А теперь покуда о царском указе речь: хорош ли он.

Так вот оно как: два года ждать, царь говорит, покуда земли отмежуются, а на деле земля-то межеваться будет пять, либо и все десять лет, а потом еще семь лет живите в прежней неволе, а по правде-то оно выйдет опять на семь лет, а разве что семнадцать, либо двадцать, потому что все, как сами видите, в проволочку идет. Так, значит, живите вы по-старому в кабале у помещика все эти годы, два года да семь лет, значит девять лет, как там в указе написано, а с проволочками-то взаправду выйдет двадцать лет, либо тридцать лет, либо и больше. Во все эти годы оставайся мужик в неволе, уйти никуда не моги: значит не стал еще вольный человек, а все остается срочно-обязанный, значит все такой же крепостной. Не скоро же воли вы дождетесь; малые мальчики до бород аль и до седых волос дожить успеют, покуда воля-то придет по тем порядкам, какие царь заводит.

Ну, а покуда она придет, что с вашей землею будет? А вот что с нею будет. Когда отмежевывать станут, обрезывать ее велено против того, что у вас прежде было, в иных селах четвертую долю отберут из прежнего, в иных третью, а в иных и целую половину, а то и больше, как придется где. Это еще без плутовства от помещика да без потачки им от межевщиков, по самому царскому указу. А без потачки помещикам межевщики делать не станут: ведь им за то помещики станут деньги давать, — оно и выйдет, что оставят вам земли менее, чем на поло-

вину против прежней; где было тягло по две десятины в поле, оставят меньше одной десятины. И за одну десятину либо меньше мужик справляй барщину почти что такую же, как прежде за две десятины, либо оброк плати почти что такой же, как прежде за две десятины. Ну, а как мужику обойтись половиной земли? Значит должен будет прийти к барину просить: дай, дескать, землицы побольше, больно мало мне под хлеб по царскому указу оставили. А помещик скажет: мне за нее прибавочную барщину справляй, либо прибавочный оброк давай. Да и заломит с мужика, сколько хочет. А мужику уйти от него нельзя, а прокормиться с одной земли, какая оставлена ему по отмежевке, тоже нельзя. Ну, мужик на все будет согласен, что барин потребует. Вот оно и выйдет, что нагрузит на него барин барщину больше нонешней, либо оброк тяжеле нынешнего.

Да на одну ли пашню надбавка будет? Нет, ты барину за луга подавай, ведь сенокос - то, почитай, что весь отнимут у мужика по царскому указу. И за лес барин с мужика возьмет, — ведь лес - то, почитай, во всех селах отнимут; сказано в указе, что лес — барское добро, а мужик и валежнику подобрать не смей, коли барину за то не заплатил. Где в речке или озере рыбу ловили, и за то барин станет брать. Да за все, чего ты ни коснись, за все станет с мужика барин либо к барщине, либо к оброку надбавки требовать. Все до последней нитки будет барин брать с мужика. Просто сказать, всех в нищие поворотят помещики по царскому указу.

Да еще не все. А усадьбы - то переносить? Ведь от барина зависит. Велит перенести — не на год, а на десять лет разоренья сделает. С реки на колодцы пересадит, на гнилую воду да на вшивую; с доброй земли на солончак, либо на песок, либо на болото, — вот тебе и огороды, вот тебе и конопляники, вот тебе и выгон добрый, — все поминай, как звали. Сколько тут перемрет народу на болотах - то да на гнилой воде! А больше того ребятишек жаль: их лета слабые, — как мухи будут на дрянной - то земле да на дрянной - то воде мереть. Эх, горькое оно дело! А гробы - то родительские — от них - то каково отлучиться?

Тошно мужику придется, коли барин по царскому указу велит на новые места переселяться. А коли не переселил барин

мужиков, так, значит, в чистой, как есть, в кабале у него; на все у него одно такое словцо есть, что в ноги ему упадет мужик да завопит: «Батюшка, отец родной, что хочешь требуй, — все выполню, весь твой раб!». А словцо у барина таково: «коли не хочешь такую барщину справлять, либо такой оброк платить, так я хочу перенести усадьбу». Ну и сделаешь все по этому словечку.

А вот что еще скажет: ты на меня работал этот день, да я его в счет не ставлю: плохо ты работал, — завтра приди отрабатывать. Ну и придешь. На это тоже власть барину дана по указу царскому.

Это все о том говорится, как мужикам будет жить, пока их срочно - обязанными звать будут, — значит, девять лет, как в бумаге обещано, а на деле дольше будет — лет до двадцати, либо до тридцати.

Ну, так, а потом что будет, когда, значит, мужику разрешено будет отходить от помещика? Оно, пожалуй, что и толковать об этом нечего, потому что долго еще ждать этого по царскому указу. А коли любопытство у вас есть, так и об этом дальнем времени рассудить можно.

Когда срочно - обязанное время кончится, волен ты будешь отходить от помещика. Оно так в указе обещано. Только в нем вот что еще прибавлено: а коли ты уйдешь, так земля твоя остается за помещиком. А помещик и сам, коли захочет, может тебя прогнать с нее. Потому, вишь ты, что земля, которая была тебе отмежевана, все же не твоя была, а барская, а тебе барин только разрешение давал ее пахать, либо сено с нее косить; покуда ты срочно - обязанным назывался, он тебя с нее прогнать не мог, а когда перестал ты срочно - обязанным называться, он тебя с нее прогнать может. В указе не так сказано на - прямки, что может прогнать, да на то выходит. Там сказано: мужик уйти может, когда срочно - обязанное время кончится. Вот вы и разберите, что выходит. Барину - то у мужиков землю отнять хочется; вот он будет теснить их да жать, да сожмет так, что уйдут, а землю ему оставят, — оно, попросту сказать, и значит, что барин у мужика землю отнять может, а мужиков прогнать.

Это о том времени, когда срочно - обязанными вас называть

перестанут. А покуда называют, барину нельзя мужиков прогнать всех с одного разу, а можно только по отдельности прогонять, — ноне Ивана, завтра Сидора, послезавтра Карпа, поочередно; оно, впрочем, на то же выходит.

А мужику куда итти, когда у него хозяйство пропало? В Москву, что ли, или в Питер, али на фабрики? Там уже все полно, больше народу не требуется, поместить некуда. Значит, походит, походит по свету, по большим городам да по фабрикам, да все туда же в деревню назад вернется. Это спервоначала пробу мужики станут делать. А на первых-то глядя, как они нигде себе хлеба не нашли, другие потом и пробовать не будут, а прямо так в том околотке и будут оставаться, где прежде жили. А мужику в деревне без хозяйства да без земли что делать, куда деваться, кроме, как в батраки наняться. Ну и нанимайся. Сладко ли оно батраком-то жить? Ноне, сами знаете, не больно вкусно, а тогда и гораздо похуже будет, чем ноне живут батраки. А почему будет хуже, явное дело. Как всех-то погонят с земли-то, так везде будут сотни да тысячи народу шататься да просить помещиков, чтоб в батраки их взяли! Значит, уж помещичья воля будет, какое им житье определить, они торговаться не могут, как ноне батрак с хозяином торгуется: они куску хлеба рады будут, а то у самого-то в животе-то пусто, да семья-то приюта не имеет. Есть такие поганые земли, где уж и давно заведен этот порядок: вот вы послушайте, как там мужики живут. У вас ноне избы плохи, а там и таких нет: в землянках живут да в хлевах, а то в сараях больших, в одном сарае семей десяток набито, все равно как табун скота какого. Да и хлеба чистого не едят, а дрянь всякую, как у нас в голодные годы, у них вечно так. У нас в русском царстве есть такая поганая земля, где города Рига, да Ревель, да Митава стоят, а народ тоже христианский и вера у них тоже хорошая, да не по вере эта земля поганая, а потому, как в ней народ живет: коли хорошо мужику жить в какой земле, то и добрая земля, а коли дурно, то и поганая.

Так вот оно к чему по царскому манифесту да по указам дело поведено; не к воле, а к тому оно идет, что в вечную кабалу вас помещики взяли, да еще в такую кабалу, которая гораздо и гораздо хуже нонешней.

А не знал царь, что ли, какое дело он делает? Да сами вы посудите, мудрено ли это разобрать? Значит, знал. Ну и рассудите, чего надеяться вам на него. Оболгал он вас, обольстил он вас. Не дождетесь вы от него воли, какой вам надобно. А почему не дождетесь от него, тоже рассудить можно. Сам - то он кто такой, коли не тот же помещик? Удельные - то крестьяне чьи же? Вед они его крестьяне крепостные. Да и вас - то в крепостные помещикам все цари же отдали, — иных давно, так что вам уже и не памятно, а других не больно давно, так что деды помнят; прабабка нонешнего царя Екатерина отдала в крепостные из вольных. А есть еще такие неразумные, что ее матушкою Екатериною величают. Хороша матушка, — детей в кабалу отдала.

Вы у помещиков крепостные, а помещики у царя слуги; он над ними помещик. Значит, что он, что они — все равно. А сами знаете, собака собаку не ест. Ну, царь и держит барскую сторону. А что манифест да указы выпустили, будто волю вам дает, так он только для обольщенья сделал. А почему сделал, вот почему: у французов да у англичан крепостного народа нет, — вот они ему глаза и кололи, что у тебя, говорят, народ в кабале. Ему и стыдно было перед ними. Вот он им пыль - то в глаза и подпустил: для похвальбы это сделано, для обману сделано.

Волю, слышь, дал он вам! Да разве такая и в правду - то воля бывает? Хотите знать, так вот какая.

Вот у французов есть воля. У них нет разницы: сам ли человек землю пашет, других ли нанимает свою землю пахать; много у него земли — значит богат он, мало — так беден, а разницы по званию нет никакой, все одно, как богатый помещик либо бедный помещик — все одно помещик. Надо всеми одно начальство, суд для всех один, и наказание всем одно.

Вот у англичан есть воля, а воля у них та, что рекрутства у них нет: кто хочет, иди на военную службу, все равно как у нас помещики тоже юнкерами или офицерами служат, коли хотят. А кто не хочет, тому и принуждения нет. А солдатская служба у них выгодная, жалованья солдату больше дается, значит доброй волей идут служить, сколько требуется людей.

А вот еще в чем воля и у французов, и у англичан: подушной подати нет. Вам это, может, и в ум не приходило, что без

рекрутчины да без подушной подати может царство стоять. А у них стоит. Вот, значит, умные люди, коли так устроить себя умели.

А то вот еще в чем у них воля: паспортов нет, — каждый ступай куда хочешь, живи, где хочешь, ни от кого разрешения ему не надо.

А вот еще в чем у них воля: суд праведный. Чтобы судья деньги с кого брал, у них это и не слыхано. Они и верить не могут, когда слышат, что у них судьи деньги берут. Да у них такой судья одного дня не просидел бы на месте, в ту же минуту в острог его запрятали бы.

А вот еще в чем у них воля: никто над тобою ни в чем не властен, окроме мира. Миром все у них правится. У нас исправник, либо становой, либо какой писарь, — а у них ничего этого нет, а заместо всего староста, который без миру ничего поделать не может и во всем должен миру ответ давать. А мир над старостою во всем властен, а кроме мира никто над старостою не властен, и ни к кому староста страха не имеет, а к миру имеет. Полковник ли, генерал ли, у них все одно перед старостою шапку ломит и во всем старосту слушаться должен; а коли чуть в чем провинился генерал, али кто бы там ни был, пред старостою, али ослушался старосты, староста его, полковника-то аль генерала-то, в острог сажает, — у них пред старостою все равно, хоть ты простой мужик, хоть ты помещик, хоть ты генерал будь, все одно староста над тобою начальствует, а над старостою мир начальствует, а над миром никто начальствовать не может, потому что мир значит народ, а народ у них всему голова: как народ повелит, так всему и быть. У них и царь над народом не властен, а народ над царем властен. Потому что у них царь, значит, для всего народа староста, и народ, значит, над этим старостою, над царем-то, начальствует. Хорош царь, послушествует народу, так и жалованье ему от народа выдается, а чуть что царь стал супротив народа делать, ну, так и скажут ему: ты, царь, над нами уж не будь царем, ты нам не угоден; мы тебя сменяем; иди ты с богом, куда сам знаешь, от нас подальше, а не пойдешь, так мы тебя в острог посадим да судить станем тебя за твое ослушанье. Ну, царь и пойдет от них, куда сам знает, потому что ослушаться народа не может. А как провожать его

от себя станут, они ему на дорогу еще деньжонок дадут из жалости, Христа ради там складчину ему сделают промеж себя по грошу или по копейке с души, чтоб в чужой-то земле с голоду не умер. Добрый народ, только и строгой же: потачки царю не любят давать. А на место его другого царя выберут, коли хотят, а не захотят, так и не выбирают, коли охоты нет. Ну тогда уж просто там на срок староста народный выбирается, на год ли там, на два ли, на четыре ли года, как народ ему срок полагает. Так заведено у народа, который швейцарцами зовется, и у другого народа, который американцами зовется. А французы и англичане царей у себя пока держат. И надобно так сказать, когда народный староста не по наследству бывает, а на срок выбирается и царем не зовется, а просто зовется народным старостою, а по-ихнему по-иностранному президентом, тогда народу лучше бывает жить, и народ богаче бывает. А то и при царе можно тоже хорошо жить, как англичане и французы живут, только значит тем, чтобы царь во всем народу и послушание оказывал, и без народа ничего делать не смел, и чтобы народ за ним строго смотрел и чуть, что дурное от царя увидит, сменял бы народ его, царя-то, и вон из своей земли выпроваживал, как у англичан да у французов делается.

Так вот она какая взаправду-то воля бывает на свете: чтобы народ всему голова был, а всякое начальство миру покорствовало, и чтобы суд был праведный и ровный для всех был бы суд, и бесчинствовать над мужиком никто не смел, и чтобы паспортов не было, и подушного оклада не было бы, и чтобы рекрутчины не было. Вот это воля, так воля и есть. А коли того нет, значит и воли нет, а все одно: обольщенье в словах.

А как же нам, русским людям, и в правду вольными людьми стать? Можно это дело обработать, и не то чтобы очень трудно было; надо только единодушие иметь между собою мужикам, да сноровку иметь, да силой запастись.

Вот вы, барские крестьяне, значит, одна половина русских мужиков. А другая — государственные да удельные крестьяне. Им тоже воли-то нет. Вот вы с ними и соглашайтесь, и растолкуйте им, какая им воля следует, как выше прописано. Чтоб рекрутчины, да подушной, да паспортов не было, да окружных там, да всей этой чиновной дряни над ними не было, а чтобы

у них тоже мир был всему голова. И от нас, ваших доброжелателей, поклон им скажите: как вам, так и им одного добра мы хотим.

Государственным и удельным крестьянам от их доброжелателей поклон.

А вот тоже солдат — ведь он из мужиков, тоже ваш брат. А на солдате все держится, все нонешние порядки. А солдату какая прибыль за нонешние порядки стоять? Что ему житье что ли больно сладкое? Али жалованье хорошее? Проклятое нонче у нас житье солдатам. Да и лоб-то им забрили по принуждению, и каждому из них вольную отставку получить бы хотелось. Вот вы им и скажите всю правду, как об них написано. Когда воля мужикам будет, каждому солдату тоже воля об'явится: служи солдатом, кто хочет, а кто не хочет, отставку чистую получай. А у солдата денег нет, чтобы домой итти да хозяйством или каким мастерством обзавестись, так ему при отставке будут на то деньги выданы, сто рублей серебром каждому. А кто волей захочет в солдатах остаться, тому будет в год жалованья 50 рублей серебром. А и принужденья никакого нет: хочешь оставайся, хочешь в отставку иди. Вы так им и скажите, солдатам: вы, братья солдатушки, за нас стойте, когда мы себе волю добывать будем, потому что и вам воля будет: вольная отставка каждому, кто в отставку пожелает, да сто рублей серебром награды за то, что своим братьям-мужикам волю добыть помогал. Значит, и вам, и себе добро сделают. И поклон им от нас скажите:

«Солдатам русским от их доброжелателей поклон».

А еще вот кому от нас поклонитесь: офицерам добрым, потому что есть и такие офицеры, и не мало таких офицеров. Так чтобы солдаты таких офицеров высматривали, которые надежны, что за народ стоять будут, и таких офицеров пусть солдаты слушаются, как волю добыть.

Так вот какое дело, надо мужикам всем промеж себя согласие иметь, чтобы заодно быть, когда пора будет. И покуда пора не пришла, надо силу беречь, себя напрасно в беду не вводить, значит, спокойствие сохранять и виду никакого не показывать. Пословица говорится, что один в поле не воин. Что толку-то, ежели в одном селе булгу поднять, когда в других селах готов-

ности еще нет? Это значит только дело портить да себя губить. А когда везде готовы будут, значит везде поддержка подготовлена, ну тогда дело начинай. А до той поры рукам воли не давай, смиренный вид имей, а сам промеж своим братом - мужиком толкуй да подговаривай его, чтобы дело в настоящем виде понимал. А когда промеж вас единодушие будет, в ту пору и назначение выйдет, что пора, дескать, всем дружно начинать. Мы уж увидим, когда пора будет, и об'явление сделаем. Ведь у нас по всем местам свои люди есть, отовсюду нам вести приходят, как народу да что народ. Вот мы и знаем, что покудова еще нет приготовленности. А когда приготовленность будет, нам тоже видно будет. Ну, тогда и пришлем такое об'явление, что пора, люди русские, доброе дело начинать, что во всех местах в одну пору начнется доброе дело, потому что везде тогда народ готов будет и единодушие в нем есть, и одно место от другого не отстанет. Тогда и легко будет волю добыть. А до той поры готовься к делу, а сам виду не показывай, что к делу подготовление у тебя идет.

А это наше письмецо промеж себя читайте да друг дружке раздавайте. А кроме своего брата - мужика да солдата ото всех его прячьте, потому что для мужика да для солдата наше письмецо писано, а к другому ни к кому оно не писано, — значит, окроме вас, крестьян да солдат, никому и знать об нем не следует.

Оставайтесь здоровы да вести от нас ждите. Вы себя берегите до поры, до времени, а уж от нас вы без наставленья не останетесь, когда пора будет.

Печатано письмецо это в славном городе Христиании, в славном царстве шведском, потому что в русском царстве царь правду печатать не велит. А мы все люди русские и промеж вас находимся, только до поры, до времени не открываемся, потому что на доброе дело себя бережем, как и вас просим, чтобы вы себя берегли. А когда пора будет за доброе приняться, тогда откроемся.

Сравнивая эту прокламацию со всеми другими той эпохи, надо сказать, что она написана очень народно и по языку и по пониманию крестьянской жизни.

VI.

По содержанию допросов и очной ставки решено было вызвать в Петербург Сороко и Яковлева, причем комиссия постановила, чтобы второго привезти прямо в III Отделение, т. е. под особое его крылышко и заботу... Оказалось, что Сороко еще в январе выехал в Виленскую губ., а Яковлева долго не могли разыскать.

В это время исправляющий должность московского губернского прокурора прислал Потапову докладную записку Яковлева и отобранные от него бумаги.

Оказывается, достойный сотрудник Костомарова так обрадовался случаю выпить на жандармский счет, что по дороге в Спб., на станции Тверь, был задержан за убийство в пьяном виде и передан в местную полицию. Оттуда его вернули в Москву «вместе — как он писал Потапову — с отобранным у меня *доносом*», а тамошнее мещанское общество постановило заключить Яковлева, уже неоднократно попадавшегося в буйстве, в смирительный дом на четыре месяца.

«Находясь в настоящее время в московском смирительном и рабочем доме, я, — писал Яковлев, — упустил возможность лично об'яснить вашему превосходительству обстоятельства, касающиеся до г. Чернышевского, равно и письмо г. Чулкова, из которого вы изволили бы усмотреть надобность личного моего присутствия в Петербурге для раз'яснения обстоятельств, сопряженных с отношением г. Чернышевского к Костомарову, а потому я осмеливаюсь убедительнейше просить ваше превосходительство приказать вытребовать меня в Петербург, хотя бы за караулом, но только в собственной одежде, и вместе с тем истребовать донос и письмо на Ваше имя, которые в настоящее время находятся в доме московского градского общества».

Яковлев ошибался: донос его был давно уже получен от Чулкова, а рекомендательное письмо последнего к Потапову и письмо Костомарова к матери прокурор приложил при приведенном выше документе.

5 апреля случайно Сороко и Яковлев были доставлены в III Отделение одновременно с разных концов России.

8 апреля на допросе Яковлев заявил: «Доказательств, кроме своего справедливого доноса, представить не могу, а уличать и доказывать справедливость слышанного мною разговора г. Чернышевского с Костомаровым лично могу, потому что очень хорошо помню разговоры их».

В 1858 и 1859 гг. Яковлев жил на квартире в доме Костомаровых. Отношения их были чисто деловые.

«Видал я г. Чернышевского положительно три раза. Первый раз в феврале или марте месяце 1861 г., а за верное припомнить не могу, но только хорошо помню, что г. Чернышевский был в енотовой шубе; второй раз — вскоре после этого времени и, наконец третий раз — в июле месяце 1861 г. (числа же припомнить не могу), именно в то время, когда он ехал в Саратовскую или Симбирскую губернию. В этот последний приезд г. Чернышевского я действительно находился в беседке сада г. Костомарова, из которой и слышал разговор г. Чернышевского с Костомаровым, когда они ходили по саду под руку, и г. Чернышевский действительно произносил слова: «барским крестьянам от их доброжелателей поклон. Вы ждали от царя воли, — вот вам и воля вышла» — и между тем усиленно упрашивал Костомарова поскорее напечатать эту статью. За какими именно надобностями бывал г. Чернышевский у г. Костомарова, мне неизвестно, а полагаю, что по короткому их (как это видно было) знакомству». Видел же я Костомарова в последний раз в ноябре месяце 1862 года» [1]).

В тот же день Сороко показал, что, действительно, приезжал в Петербург вместе с Костомаровым для хлопот по переводу своему из московского университета в Спб. Медико-хирургическую академию. У них никто не бывал. Уезжая в Москву, Костомаров просил его зайти к Михайлову «насчет его сочинений, которые он помещал в разных периодических изданиях». Сороко исполнил просьбу и получил от Михайлова запечатанное письмо к Костомарову. Что касается Чернышевского, то он его не знает, никогда у него не был и никаких денег от него не получал.

---

[1]) Явная ложь: они виделись 1 марта 1863 г. в Москве, что хорошо знала комиссия.

На очной ставке с Костомаровым Сороко подтвердил все эти показания.

Увидев, что второго лжесвидетеля в лице Сорока не получить, комиссия *поспешила* вывезти его из Спб. домой, в Виленскую губ., взяв для спокойствия подписку о неразглашении им о вызове в Спб. Между тем, казалось бы, никак нельзя было не привлечь его к новому делу, не посадить в крепость и не судить, как видного соучастника . . .

Комиссия хотела, всетаки, оставить в деле след своей об'ективности и показать, что она не склонна признавать голословные показания Костомарова окончательными обвинениями Чернышевского, а потому 11 апреля она запросила первого, что он может представить к улике. Костомаров отвечал, что «фактических доказательств к улике г. Чернышевского, кроме тех, которые уже имеются в виду комиссии, дать никаких не может, но просит доставить ему еще раз очную ставку с г. Чернышевским, ибо, может быть, ему удастся подействовать на него силою убеждения» . . .

Разумеется, очная ставка была дана на следующий же день, но Чернышевский не поддался силе костомаровских убеждений . . Мало того, когда ставка была закончена, Н. Г., обратясь к комиссии, сказал: «Сколько бы меня ни держали, я поседею, умру, но прежнего своего показания не изменю». . . Этому заявлению он остался верен до конца.

В тот же день Чернышевского пред'явили и Яковлеву, но при такой обстановке, что тот безошибочно мог утверждать, что именно его - то и видел у Костомарова . . . Затем им была дана очная ставка.

Яковлев прибавил на этот раз, что — «в первое посещение г. Чернышевским Костомарова они сидели в кабинете последнего, и г. Чернышевский разговаривал что - то с жаром, тихо и, повидимому, очень осторожно; разговора же их в то время я слышать не мог, потому что входил в комнату один раз, подавая им чай или закуску, чего хорошенько припомнить не могу. Во второй же раз г. Чернышевский не застал Костомарова дома, а оставил ему запечатанную записку, написанную им в комнате Костомарова на бумаге, лежащей на столе и, кажется, одна сторона была исписана». На это Чернышевский возразил, что в быт-

ность его в Москве проездом (в августе 1861 г., а не в июне, как он теперь соображает) он заходил к г. Костомарову на несколько времени и просидел это время у него в беседке. «Я был в Москве в 1861 г. до конца августа только *два* раза, а не *три*. Никакой записки г. Костомарову в бытность мою в Москве я не оставлял, потому что заставал его дома, когда заходил». Остальные показания Яковлева Чернышевский отвергал безусловно.

В тот же день комиссия решила вывезти Сороко, а Яковлева вернуть в смирительный дом.

Затем она решила сличить почерк Чернышевского с почерком карандашной записки, для чего вызвать секретарей сената. Любопытно, что сенатор Гедда решился подать свое особое мнение: сличение почерка может делать только суд и притом на точном основании особых для этого правил. Но министр юстиции отказал в командировании секретарей сената без определения последнего об этом, и потому пришлось ограничиться чиновниками губернского правления Карцова и Степановского, уголовной палаты Филимонова и 2 деп. гражданск. палаты Беляева. 24 апреля они нашли, что «почерк записки имеет *некоторое* сходство с почерком Чернышевского».

Вдруг 16 апреля к Потапову является поэт Некрасов и вручает ему только-что полученное коллективное письмо из Москвы...

«Милостивый государь. Недели две тому назад с нами произошел случай, о котором считаем долгом довести до Вашего сведения.

«Мы находимся арестованными в смирительном доме с конца февраля; на страстной неделе к нам явился какой-то арестант, мещанин Петр Васильев Яковлев (как он сказал нам) и начал речь с того, что он содержится тоже за политическое преступление (как было заметно, он считал нас арестованными за университетские безпорядки 61 года) и потому решился обратиться к нам за советом. В чем должен был состоять этот совет, Вы увидите из нашего с ним разговора, который мы постараемся передат Вам возможно точнее.

«— Я, господа, ездил по очень важному делу в Петербург, к начальнику III Отделения, но на Тверской станции подвыпил

немного и забуянил; тверская полиция представила меня обратно в Москву, к обер-полицмейстеру, передав меня в распоряжение мещанского общества, которое и послало меня за дурное поведение в рабочий дом; оно вот уже второй раз присылает меня сюда, все за пьянство . . .

« — По какому же делу вы ездили к г. Потапову?

« — А вот видите ли: был я знаком с Всеволодом Дмитриевичем Костомаровым. На-днях получаю записку без подписи, в которой меня приглашают явиться в гостиницу «Венеция» в 18 номер. Явившись туда, я был крайне изумлен, заставши там Костомарова в солдатской шинели и в сопровождении жандармского офицера; оказалось, что записка была от Костомарова, который сделал мне следующее предложение: «вот тебе письмо к моей матери, поезжай с ним в Петербург и отдай его по адресу, — мать моя научит тебя, что делать, и, ежели ты последуешь ее наставлениям, то будешь хорошо вознагражден».

« — А Костомаров не говорил вам, что именно вам придется делать?

« — Говорил, и говорил, что я должен дать показание в III Отделении в том, будто я слышал, как Николай Гаврилович Чернышевский летом 61 года,в разговоре с Костомаровым сказал следующую фразу: «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон, — вы ждали воли, — вота вам и воля, благодарите царя». Я не знаю, что значат эти слова и зачем Костомарову нужно, чтоб я дал такое показание, но скажите мне, господа: если я действительно дам такое показание, может ли сделать для меня что-нибудь Потапов, может ли он, например, велеть освободить меня из рабочего дома?

« — Ну это вряд ли, мы думаем, что за ложное показание Потапов вас будет скорее преследовать, потому что по закону ложный свидетель подвергается строгому наказанию.

« — Я уже подал Потапову отсюда прошение, и меня должны скоро потребовать в Петербург; сам не знаю, что делать ! . .

«Мы сказали, что лучше всего будет, когда он скажет правду, и разговор на этом покончился. Мы не поверили Яковлеву, зная хорошо, что Костомаров не мог быть в это время в Москве, потому что судился по одному с нами делу и, по приговору сената, конфирмованному государем и об'явленному нам 2 января этого

года, должен подвергнуться шестимесячному заключению в крепости и потом уже ссылке в солдаты на Кавказ. 4 апреля мы удивились, увидя на дворе Яковлева в сопровождении двух жандармов; его повезли, как нам сказали, в Петербург. Тогда мы вспомнили наш прежний разговор с ним и невольно пришли к таким предположениям: 1) что Чернышевский действительно обвиняется в каком-нибудь политическом преступлении и 2) что Костомаров и его семейство хотят с помощью Яковлева подвергнуть Чернышевского несправедливому обвинению суда. Все это заставляет нас обратиться к вам, милостивый государь, как человеку, вероятно, близкому к г. Чернышевскому (по редакции «Современника»), уполномачивая Вас, в случае действительности наших подозрений, представить это письмо, куда следует, чтобы предупредить возможность несправедливого приговора суда.

«Все это мы готовы, в случае надобности, подтвердить перед судом присягой. *Иван Гольц-Миллер, Петр Петровский-Ильенко, Александр Новиков, Яков Сулин, Леонид Ященко.* Москва, 13 апреля 1863 г.».

Потапов знал, что Некрасов молчать не будет, что в обществе уже говорят о подкупе Яковлева,—но не «сорвалось» и здесь...

«Глубоко возмущенная» комиссия вошла 19 апреля со всеподданнейшим докладом, чтобы —«не ожидая окончания 4-месячного срока, на который Яковлев присужден обществом в рабочий дом, отправить его теперь же на жительство и под надзор полиции в Архангельскую губернию». 22 апреля не менее «глубоко возмущенный» правосудный царь утвердил доклад, и немедленно было сделано распоряжение о приведении его в исполнение, но... показания Яковлева были оставлены, конечно, в полной силе. Мало этого, сенат рассказал в своем приговоре обо всей этой истории и, всетаки, основал его и на показаниях купленного Костомаровым свидетеля...

VII.

19 апреля был снят допрос и с Н. В. Шелгунова, арестованного, как уже известно, в Сибири и привезенного в Петербург.

Он показал, что знает и Чернышевского, и Костомарова, и Михайлова, и братьев Серно-Соловьевичей. «Николая Серно-Соловьевича, как домохозяина, у которого я квартировал, и как содержателя книжного магазина; Александра Серно-Соловьевича, как издателя на русском языке перевода всемирной истории Шлоссера; Николая Чернышевского, как редактора «Современника», в котором я помещал свои статьи. Михайлова знал очень давно, и он жил у меня на квартире; наконец, Всеволода Костомарова видел раза два у Михайлова. Мои отношения к этим лицам были такого рода: к Николаю Серно-Соловьевичу, как к домохозяину; с ним я познакомился при переезде к нему в дом в январе 1862 г.; Александра Серно-Соловьевича видел раз зимой 1861 — 1862 г. у Михайлова и потом, по переезде в дом его брата, получил от него работу — перевод истории Шлоссера. С Чернышевским имел отношения исключительно по поводу статей моих, помещавшихся в «Современнике». Знал г. Чернышевского, как литератора с замечательным талантом, но знакомства с ним не имел, посещая его исключительно по своим литературным делам [1]). По какому случаю, как познакомился с Михайловым — не припомню, ибо знакомство наше давнее; но он жил прежде у меня на квартире лет шесть или семь. Всеволода Костомарова я видел у Михайлова в конце 1860 или в начале 1861 года раза два, но знаком с ним не был. Знакомых в Петербурге и вне оного, кроме лиц, с которыми я находился в служебных отношениях, не имел».

[1]) На следующий день комиссия заметила Шелгунову, что его знакомство с Н. Г. было ближе. На это он ответил: «Знакомства или, вернее говоря, того, что я знал Н. Чернышевского, я не отрицал, но только делал резличие между выражениями «знал» и «был знаком», понимая под последним, как говорят, «водить хлеб-соль». Такого рода знакомства я с Чернышевским не имел и до конца 1861 г., когда Михайлов был предан суду, с Чернышевским почти не виделся. С этого времени же я видел Чернышевского чаще, потому что, принужденный оставить службу, я обратился к литературным занятиям и стал помещать статьи в «Современнике», который редактировал Чернышевский».

«Пред'явленное мне комиссиею воззвание (к солдатам — *М. Л.)* мне неизвестно, и рукопись его я никогда не передавал Всеволоду Костомарову, и какое участие в составлении его принимали Чернышевский, Костомаров и Михайлов, мне неизвестно».

«Участия в составлении такого воззвания (к барским крестьянам — *М. Л.)* не принимал, и читалось ли оно в квартире Михайлова Костомаровым, не знаю, потому что при этом не был. Что же касается до обстоятельств его написания, т. е. кем, когда и по какому случаю оно написано, я этого не знаю».

Что касается рассказа Костомарова о хождении с солдатами в харчевню, то Шелгунов признал его «совершенно неверным», ибо «ничего даже подобного он не делал и не мог делать, по совершенному незнанию русского солдата». «С Костомаровым я даже не имел случая сталкиваться, ибо служил постоянно по специальной и учебной лесной части».

Очная ставка Шелгунова с Костомаровым кончилась замечанием первого, что, «показывая голословно, г. Костомаров не указывает на казармы или солдат, с которыми я говорил, или куда я ходил, на харчевню, в которой он меня видел. Помня так хорошо разные мелочные подробности, он эти, более крупные, не помнит».

В неизданной части своих воспоминаний Шелгунов говорит, что Костомаров сочинил все свои обвинения, и что ему совершенно непонятны причины такого озлобления против него. «Лично у меня с Костомаровым почти не было никаких отношений, и не знаю, сказал ли я с ним во все наше знакомство больше десяти слов».

24 апреля Потапов прислал в комиссию две записки Чернышевского к коменданту крепости. В одной Н. Г. просил отыскать в его бумагах паспорт жившей у него прислуги Михельсон и передать его Пыпину, а в другой писал:

«Ваше превосходительство, Я много раз говорил Вам в своих откровенных об'яснениях, что все неприятности, от которых я страдаю, возникают из каких-то недоразумений. Третьего дня также произошло недоразумение: я слишком поздно получил от моей жены письмо, говорившее, что она на другой день уезжает. Я сказал Вам вчера, что я из этого вывел: то, что и я, и г. председатель комиссии (давший мне обещание дозволить свидание мне с моей женой) — мы оба обмануты. Теперь я вижу, что ныне моя жена

еще не уехала, — прошу Вас, убедите, что я не добиваюсь ничего чрезмерного, — например, в настоящем случае я только прошу, во-первых, чтоб мое письмо к моей жене от нынешнего числа, не содержащее в себе ровно ничего подозрительного, было отправлено к моей жене поскорее, без проволочек, ныне же, чтобы успело застать еще в Петербурге, а во-вторых, чтобы ее ответ мне на это письмо также был доставлен без проволочки; наконец, чтобы сказали нам, когда мы можем ожидать назначения свидания, в котором, ведь, вовсе и не хотят нам отказывать, — не завтра, не после-завтра, ну через три, четыре дня или как будет можно, — только к чему же вводить в недоумение женщину, когда вовсе не хотел г. председатель комиссии обещать напрасно, — конечно, он хочет разрешить свидание, — я только и прошу, чтобы сказали моей жене, когда это будет; тогда она и будет ждать спокойно. А ведь я только этого и добиваюсь в настоящем случае.

«С истинным уважением имею честь быть вашего превосходительства покорнейшим слугою. *Н. Чернышевский.* 24 апреля».

Второе свидание было разрешно в присутствии члена комиссии генерала Огарева.

В первых числах мая царь утвердил доклад комиссии о передаче дела Чернышевского в сенат с тем, чтобы последний предварительно постановил определение, должен ли Чернышевский во время суда оставаться под арестом или может быть освобожден на поручительство. Такая неожиданная постановка вопроса была не опасна: сенаторы не осмелились бы освободить человека, столь нужного царю для примерной расправы.

10 мая *прапорщик* Панкратьев подал следующий рапорт командиру Спб. жандрамского дивизиона: «8 мая, во время моего дежурства в штабе, я прогуливался в надворном саду штаба с находящимся под присмотром в старом арестантском здании в № 6 [1]), и он между разговором со мною по поводу бывшего адреса от самарского дворянства, выразился о благодарности государя императора следующим образом: «Так-ли нужно благодарить государю за подобные адресы русское дворянство. Зачем он равняет адресы каких-нибудь мужиков, адресы, которые не могут при-

[1]) «Костомаров» — пометка Потапова.

нести никакой существенной пользы, с адресами лиц высшего сословия. Читая в газетах, только и видишь, что об'явлена благодарность его величества, равная и крестьянину и дворянину, и неужели лучшего выражения не в состоянии придумать государь? Нигде, ни в чем не видно и тени ничего здравого, а если и была им сказана к сословию 17 апреля в Зимнем дворце речь, то она не что иное, как заученная из хрестоматии с переменою некоторых слов. Везде адресы, всюду адресы, некуда преклонить и головы, куда ни обернись, все заявляет преданность и преданность с готовностью на все жертвы для царя. Думал по приезде на Кавказ приписаться в черноморские казаки, полагая, что как этот народ живет в стороне от треволнений, то он, может быть, умнее прочих и ни до каких адресов, как я полагал, ему и дела нет, но, к несчастию, и они недавно поразили меня, как громом, из'явлением государю своим адресом преданности с готовностью для него на все жертвы. Теперь некуда преклонить и головы своей; людей, что-нибудь понимающих, нет; обратиться разве к заступничеству Тихона Задонского, может быть, он меня выслушает.

«О сем имею честь донести».

Эта провокаторская проделка Костомарова об'ясняется просто: как раз в то время член комиссии С. Р. Жданов и Потапов приняли меры для уловления двух офицеров, оказывавших услуги политическим заключенным: крепостного плац-ад'ютанта Пинкорнелии и *поручика* жандармского дивизиона, исполнявшего обязанности плац-ад'ютанта Панкратьева. Часть этой «работы» была поручена Костомарову, которому она была с руки еще и для поддержания в обществе мнения о его политической неблагонадежности; он только спутал прапорщика с поручиком, а, может быть, решил «поработать» поглубже и пошире данной задачи.

Сенатское следствие.

I.

16 мая министр юстиции Замятнин сообщил сенату о воле царя и прибавил, что Шелгунов предан военному суду, а Костомаров . . . а Костомаров, по высоч. повелению, прикомандирован к Петербургскому батальону внутренней стражи, впредь до ми-

22*

нования в нем надобности по делам Чернышевского и Шелгунова, и поручен ближайшему надзору командира баталиона. Надзор был сведен к формальности, и Костомаров преспокойно жил себе на частной квартире, притом на лучших улицах Спб. (сначала на Сергиевской, в доме ген. Корсакова, потом на Захарьевской, № 23), на службу не являлся и катался, как сыр в масле.

Состав 1-го отделения 5-го департамента сената, которому предстояло судить Чернышевского, был почти тот же, что и по делу Михайлова: первоприсутствующий М. М. Карниолин-Пинский и сенаторы А. В. Веневитинов, Н. Е. Лукаш, Б. И. Бер, К. Б. фон-Венцель и гр. Д. А. Толстой, обер-прокурор Я. Я. Чемадуров, обер-секретарь Кузнецов.

29 мая Чернышевский был вызван в первый раз. Он подтвердил все показанное в комиссии и просил, во-первых, о разрешении подать особое об'явление, во-вторых, о свиданиях с родственниками, в-третьих, об освобождении на поруки, и, наконец, о допущении его к прочтению и рукоприкладству записки, которую сенат составит в конце рассмотрения всего дела. Сенат признал возможным исполнить все, кроме освобождения, впрочем... последнее было обусловлено ознакомлением с делом.

По удостоверению обер-полицмейстера И. В. Анненкова, обязанного представлением, так называемого, тогда «повального обыска о поведении» подсудимого, — Чернышевский «вел жизнь до такой степени уединенную, что не только соседи, но даже и лица, жившие в одном с ним доме, весьма редко его видели, а потому и невозможно произвесть повального о нем обыска».

7 июня кн. Суворов послал сенату очень пространное «Дополнительное показание» Чернышевского.

Привожу его, разумеется, полностью.

«Оставаясь при показаниях, данных мною следственной комиссии, я имею честь пополнить их перед судом правительствующего сената следующими об'яснениями.

Общие пояснения.

«I. Против каждого из обвинений я выставляю такие факты, большая часть которых общеизвестна в кругу, близко знающем меня. Доказывать их теперь же ссылками на свидетелей и оты-

сканием документов значило бы усложнять и затягивать дело. Потому беру на себя смелость просить, чтобы пр. сенат принимал настоящее показание за окончательное по полноте доказательств только относительно тех из указываемых мною фактов, в верности которых не останется сомнения у пр. с. по выслушании настоящего показания, и чтобы пр. с. предоставил мне право привести более полные доказательства на те факты, которые, по мнению сената, еще нуждаются в дальнейшем подтверждении.

«II. Мне известно, что кроме обвинений, против которых я могу теперь прямо оправдываться, потому что они прямо выражены, существовало против меня множество других подозрений. Например,были слухи, называвшие меня возбудителем беспокойств между студентами Спбургского университета осенью 1861 года; возбудителем безпорядка, происшедшего в зале Думы весною 1862 г. на одной из публичных лекций [1]); были также слухи, что я направляю к пропаганде запрещенного характера Главный совет петербургских воскресных школ; что я возбудил проф. Павлова написать и при публичном чтении дополнить резкими прибавлениями ту статью, за чтение которой проф. Павлов был удален из Петербурга (весною 1862); что я даже был участником поджога Толкучего рынка (в конце мая 1862). Мне неизвестно, до какой степени продолжают существовать такие слухи в кругах, в которых они существовали год тому назад, и неизвестно, может ли иметь влияние на мнение моих судей о мне более или менее определенный или неопределенный отголосок таких слухов, — отголосок, дававший мне прежде в мнении многих почтенных людей, не знавших меня лично, репутацию агитатора. Если может, то я прошу, чтобы мне дано было право разобрать и эти подозрения для отстранения сомнений в том, действительно ли я такой человек, за какого меня знают все, хорошо знающие меня лично, — человек очень мирного характера, всегда ставивший главною заботою своею то, чтобы удаляться всяких столкновений не только с уголовным судом, но и с простою полициею.

«Выразив эти общие просьбы мои пр. с., перехожу к разбору обвинений, находящихся в деле.

---

[1]) На лекции Н. И. Костомарова.

1. Пояснения по обвинению меня в намерении уехать за границу, чтоб издавать журнал вместе с Герценом.

«В конце мая или начале июня 1862 года было остановлено на восемь месяцев издание журнала «Современник», в редактировании которого я участвовал. Через это я приобретал на время свободу жить или не жить в Петербурге. По моим домашним обстоятельствам, мне небесполезно было переехать в мой родной город, Саратов. Мое семейство уехало туда 2 или 3 июля (1862), за 4 или за 5 дней до моего ареста. Мы продавали лошадей, экипажи, мебель. Отчасти для окончания этого, отчасти для окончательного приведения в порядок своих литературных дел, я должен был остаться в Петербурге еще на месяц. После того я должен был уехать в Саратов и прожить там до весны 1863 года вместе с семейством, а весною или летом 1863 года возвратиться вместе с семейством в Петербург.

«Это предположение было известно всем моим знакомым. В искренности его не мог сомневаться никто из знавших мои семейные чувства. Продолжительная разлука с семейством — единственное серьезное страдание, которое я могу чувствовать.

«Если бы я думал эмигрировать, неужели я проводил бы свое семейство в Саратов, от которого так далеко до Западной Европы, а не прямо за границу из Петербурга? Или я хотел на долгие годы разлучиться с семейством?

«В моих руках бывало довольно много денег. Моя жена, уезжая, взяла с собою только 500 рублей, а мы привыкли расходовать довольно много. Еслиб я думал, что моей жене придется долго жить без меня в Саратове, неужели она уехала бы из Петербурга с 500 р.?

«При от'езде моя жена не получила от меня доверенности на заведывание моим домом в Саратове. Из этого вышли серьезные домашние неприятности для нее. По характеру ее прежних отношений к моим саратовским родным, я не мог не ждать этого, в случае, еслиб ей пришлось долгое время оставаться в Саратове без меня. Еслиб я думал надолго разлучиться с нею эмигрированьем, неужели бы я не дал ей доверенности, которую при первой возможности поспешил дать, когда был разлучен с нею арестом?

«Когда меня арестовали, у меня было только 115 рублей. А в несколько предыдущих дней я получил до 1.500 р. или более. Но я отдал из них 300 р. типографщику, 200 р. торговцу бумагою, остальные роздал сотрудникам «Современника». Мне не было настоятельной нужды делать ни одной из этих выдач: бумажный торговец и типографщик могли ждать, сотрудники «Современника» — обратиться за деньгами в контору журнала, вместо которой я заплатил им. Так ли распоряжается деньгами тот, кто собирается эмигрировать?

«Сборы моего семейства к от'езду, продажа вещей, — все это делалось длинно, со всею обычною хлопотливостью таких перемен. Надеюсь, что, еслибы я думал эмигрировать, то у меня достало бы смысла и уменья, чтоб уехать, не подав ни малейшего знака намерения двинуться куда бы то ни было из Петербурга, — быть далеко за Берлином или Стокгольмом прежде, чем кто бы ни было подумал бы, что я думаю уехать дальше Павловска, где была у меня дача.

«Я был арестован в субботу (7 июля); в понедельник (9 июля) должен был прийти ко мне из типографии Вульфа наборщик (бывший помощником метранпажа по «Современнику») с образцами формата и шрифта для издания, которое я хотел начать печатать дня через 3, 4 после того. Я поручил ему сделать образцы в то самое утро, как был арестован, или накануне. Фактор другой типографии (г. Огризко) имел поручение поскорее сделать для меня образцы шрифта и формата для другого издания у Вульфа; я хотел печатать маленькие книжки, в которых думал, с разрешения авторов, перепечатывать для простого народа рассказы и отрывки из повестей. У Огризко я хотел печатать перевод политической экономии Милля, который был уже окончен мною.

«Эти два издания должны были печататься через несколько дней — 12 или 15 июля. Еще недели две, три понадобилось бы мне оставаться в Петербурге, чтоб устроить правильность в чтении корректур, цензуровании и т. п. Устроив это, я тотчас отправился бы в Саратов. Но я предполагал очень быстро начать другие издания, из которых назову три. Я тогда уже имел столько известности, что публика стала бы покупать «собрание» моих «сочинений». Они составляют массу более 8.000 страниц (500 печатных листов в 8) журнального формата. Я хотел мно

гое выбросить, как не важное, другое сократить, но, всетаки, оставалось бы листов 300 печатных. Печатание такого огромного числа листов заняло бы много времени. Я рассчитывал сделать это года в два. Но во всяком случае нельзя напечатать такую массу в 3, в 4 месяца. И потом, ведь не могло же издание, которое хотел я сделать в 4 или 5 тысяч экземпляров, распродаться в какой-нибудь год. Следовательно, уж это одно издание связывало меня с Россиею не на один год. А я рассчитывал, что оно даст мне несколько десятков тысяч рублей, — это не такой расчет, которым мог бы пренебречь человек без состояния, для удовольствия издавать журнал за границею. Но, отнимая у меня всякую мысль об эмиграции, это издание не стоило бы мне почти никакой работы. Печатая его, я хотел готовить два другие. Я хотел составить два ручные энциклопедические словаря. Один — в два тома лексиконского формата, ценою от 7 до 10 р., другой — вовсе маленький, страниц в 600 или 700 в 12 долю, ценою рубля в полтора, два. Книгопродавцы знают, что такие книги такой цены имели бы большой успех и, постоянно перепечатываясь, служили бы источником очень порядочного дохода на долгие годы. Я называю только эти три издания потому, что могу указать в моих бумагах рассчеты, сделанные для них.

«Эти рассчеты свидетельствуют, что я не думал о себе иначе, как о человеке, по крайней мере, на несколько лет остающемся в России.

«Я перечислил некоторые из фактов, показывающих, что я не *думал* эмигрировать. Есть другие, свидетельствующие, что я не *мог*, положительно не мог эмигрировать.

«Я уже привык получать и проживать много. Я имел тысяч 10 в год и больше [1]). Но я проживал все деньги, которые получал. Дом в Саратове и кусок земли в Аткарском уезде, доставшиеся мне по наследству, — имущество слишком незначительное для человека, привыкшего иметь такие деньги от своей работы. Я оставлял и намерен был оставлять это имущество и доход с него во владении моих саратовских родственников. Но

---

[1]) По словам М. Н. Чернышевского, родители его жили тогда очень широко, держа своих лошадей, прекрасные экипажи, нанимая повара и т. д. Впрочем, сам Н. Г. относился к комфорту вполне равнодушно.

если бы я для эмиграции изменил свою мысль и продал его (к чему не делал никаких приготовлений), всетаки, оно не дало бы мне возможности жить за границею. По особенности моего образования, я, читая книги на главных европейских языках, решительно не умею, до замечательной странности не умею ни говорить, ни тем более писать ни на одном из них. Следовательно, я не мог очень долго, по крайней мере несколько лет, сделаться французским, немецким или английским литератором. А писать за границею на русском языке вещи, не пропускаемые в открытую продажу в России, значит не получать почти никакого дохода от своей работы. Итак, эмигрировать значило бы для меня обрекать свое семейство на великие страдания от нужды. Надеюсь, кто знает меня, тот не усомнится, что мысль об этом не могла быть для меня слишком привлекательна [1].

«Или не хотел ли я уехать по опасению ареста? Я слишком давно, слишком много слышал от других опасения, что меня арестуют. Еслиб я считал возможным, что сбудутся эти опасения, то, конечно, не стал бы ждать июля 1862 г., а уехал бы в сентябре 1861 года [2]. Но кто знает меня, тот знает, что я смеялся над опасениями других, будто меня могут арестовать. Я подробнее

---

[1]) Пробывший с Чернышевским в ссылке около шести лет С. Г. Стахевич рассказывает, что задолго до ареста Н. Г—ча Сераковский передал ему свой разговор с Кауфманом, директором канцелярии военного министерства. Этот потом известный генерал находил, что за вредное влияние на молодежь Чернышевский должен был быть сослан. Незадолго же до ареста к Чернышевскому явился ад'ютант кн. Суворова и посоветовал Н. Г., от имени князя, немедленно уехать за границу от грозившего ареста. Суворов обещал выхлопотать для этого все документы и устранить все затруднения. На вопрос Чернышевского, почему же князь так о нем заботится, ад'ютант ответил: «Если вас арестуют, то уж значит, сошлют, сошлют в сущности без всякой вины, за ваши статьи, хотя они и пропущены цензурою. Вот князю и желательно, чтобы на государя его личного друга, не легло бы это пятно — сослать писателя безвинно». Но Чернышевский отказался последовать совету Суворова. «Не поеду за границу. Будь, что будет» (См. фельетоны Стахевича в «Закаспийском Обозрении» 1905 г. №№ 237, 238, 239, 243 и 450). О процессе Стахевич сообщает немного и неверно.

[2]) Действительно, Никитенко, например, записал 22 сентября 1861 г.: «говорят, взят и великий проповедник социализма и материализма, Чернышевский».

говорю об этом в письме к его светлости Спбургскому генерал-губернатору от 20 или 22 ноября и ссылаюсь на это письмо в дополнение настоящего моего показания.

«Я не думал, я не предполагал нужды думать, я не имел возможности думать об эмиграции. Но еслиб я мог и хотел эмигрировать, то Герцен менее всех литераторов целого света мог представляться мне товарищем в издании журнала. На это много причин.

«В письме моем к его величеству я привел и в письме к его светлости г. спбургскому генерал-губернатору изложил подробнее две из причин, отчуждающих меня от Герцена. Я не одобрял некоторых планов Герцена, известных мне по слуху (о чем говорится в его письме, находившемся в моих бумагах), и имел личное неудовольствие на него по процессу г-жи Панаевой из-за векселей и имения покойной г-жи Огаревой. Ссылаюсь на эти письма (от 20 или 22 ноября прошлого года) в пополнение моего настоящего показания. В них я представил только две причины, как почти не требовавшие поверки. Здесь приведу еще две, поверка которых незатруднительна.

«Первая из них — моя чрезвычайно сильная привязанность к покойному Н. А. Добролюбову и дурные отзывы о нем Герцена, начинающиеся с весны 1859 года, когда в № 45 или 47 [1]) «Колокола» была напечатана обидная для Добролюбова (и для меня, — но о себе я не говорю) статья Герцена «Very dangerous». Этих отзывов о Добролюбове я не мог извинить Герцену никогда, а тем более после смерти Добролюбова. Когда я потерял Добролюбова (в ноябре 1861 г.), неприязнь к Герцену за него усилилась во мне до того, что увлекла меня до поступков, порицаемых правилами литературной полемики, не дозволяющей бранить того, кого не мог бы похвалить, еслиб захотел. Укажу для примера на выражение мое о нем в одной из первых книжек «Современника» за 1862 г. в статье, которою начал я биографию Добролюбова. Это было напечатано мною около того времени, когда я, — говорит обвинение, — будто бы собирался вступать в товарищество с Герценом [2]). Эта моя резкость наделала тогда довольно шума

[1]) № 44.

[2]) Чернышевский ошибся. Этого рода выходка по адресу Герцена была сделана им не в статье о Добролюбове, а в «Свистке» при январ-

в нашей литературе, и вообще в последнее время перед моим арестом литературный мир очень хорошо знал мою неприязнь к Герцену. На это есть печатные указания в русских периодических изданиях. Для примера укажу на «Спбургские Ведомости» первой половины 1862 г.

«Но кроме политических причин несогласия и кроме личной неприязни, существует еще одно обстоятельство, по которому я никак не мог думать о товариществе с Герценом. Я привык быть полным хозяином направления журнала, в котором участвую. Я могу уступить своему товарищу всю денежную часть, оставив на его волю помещение безразличных по своему содержанию повестей, но направление журнала должно быть безусловно мое. С Герценом это было бы невозможно. Он не только стал бы спорить со мною о чужих статьях, но стал бы требовать, чтобы я поправлял по его замечаниям свои статьи. А я не только не мог бы допустить такого вмешательства, а сам потребовал бы от него безусловного подчинения себе, то есть вещи невозможной. Кто не знает, что непременно я хочу быть безусловным хозяином направления журнала, в редакции которого участвую, тот не знает меня. А при этом мысль о моем товариществе с Герценом — нелепость. Натурально, после этого, что я был до крайности удивлен, услышав на допросе 30 октября, что я обвиняюсь в сношениях с Герценом, и почел этот вопрос сделанным без всяких оснований. Но еще более был я изумлен, когда на первом из двух допросов, бывших в марте, сообщили мне, что существует письмо, выражающее согласие Герцена на то, чтоб издавать журнал со мною. Кем придуман такой невоз-

---

ской книге 1862 г. Там он писал между прочим: «В пять лет литература наша не подвинулась ни на один шаг, а так как литература служит отражением жизни, то значит, что ни на шаг не подвинулась и наша жизнь. Но едва мелькнула эта мысль в моей голове, как застыла кровь в жилах от ужаса: что скажет о таком бездушном скептицизме пламенный г. Громека! Да еще хорошо бы, еслибы вознегодовал только г. Громека! Есть публицист, несравненно более знаменитый и гораздо более пылкий, который так и крикнет: «very dangerous!» и назовет меня «окаменелым титулярным советником» или «ископаемым кандидатом». В самом деле, какая безрассудная забывчивость бездушного скептицизма! как мог я забыть, что в эти пять лет совершено освобождение крестьян!»

можный для меня проект, я и не постигаю. Но если еще остается какое-нибудь подозрение в том, что я имел это намерение, то я прошу, чтобы пр. с. разрешил мне принять для исследования этого странного случая те меры, какие могут быть допущены по закону.

2. Об'яснение о мнимом шифре, найденном у меня.

«Эти картонные лоскутки исписаны буквами и цифрами почерка моего родственника, Алексея Осиповича Студенского, который теперь, вероятно, находится в Петербурге, и адрес которого, вероятно, известен моему двоюродному брату Александру Николаевичу Пыпину, живущему у Владимирской, в Свечном переулке, в доме Тулякова, квартира № 43 (А. Н. Пыпина).

«Уезжая в Саратов, за несколько времени перед моим арестом, г. Студенский принес мне на сохранение зеленую папку со своими бумагами и положил ее на окно моей комнаты или в нижний ящик стоявшего в ней шкапа с книгами, — не припомню в точности. Я, разумеется, и не дотрогивался до этой папки. Вероятно, в ней и нашлись эти картонные лоскутки. Что это за игрушка, вероятно, об'яснит г. Студенский. А я делаю такое предположение, за удачность которого, впрочем, не ручаюсь:

«Незадолго перед моим арестом были совещания людей, занимающихся русскою грамматикою (кажется, в зале 2-й гимназии), об улучшении русского языка и орфографии. Г. Студенский был очень заинтересован этим предметом и занимался лексикографическими и этимологическими разложениями русских слов на их составные части, — я думаю, не сделал ли он эти картонные лоскутки для пособия себе в таком занятии. А, впрочем, не решаю, угадал ли я.

«Я не обратил на них большого внимания, когда мне показывали их, думая, что сама комиссия почтет удобным оставить без внимания эту игрушку. Но если не обманывает меня память, лоскутки исписаны так: по краю лоскутка с начала строки идет ряд цифр от 1 до 36 или 35, а после цифр написаны буквы русской азбуки. Еслиб это был шифр, этот шифр принадлежал бы к такой системе: каждой букве соответствует одна цифра (от 1 буквы до 9-й) или 2 цифры (от 10 буквы до конца азбуки);

знак каждой буквы (одну цифру или две) надобно ставить отдельно от предыдущего и последующего знака, потому что иначе нельзя было бы различить, где брать две цифры за букву, где одну, и сам писавший не мог бы разобрать того, что написал, и никакой ключ не помог бы путанице. Поясню это примером. Пусть будет

а — 1
б — 2
л — 12;

тогда, если написать сплошь 1212, нельзя будет имеющему ключ шифра знать, как прочесть это: *абл* или *лаб*, или *абаб*, или *лл*. Потому необходимо писать врозь, — так:

1 2 12 —

это будет *абл*,

12 1 2 — *лаб*
12 12 — *лл*.

«Но все шифры такой системы (для каждой буквы особый знак, и знак каждой буквы ставится особо от предыдущего и последующего) уже черезчур просты. Я никогда не занимался искусством дешифровки, но берусь в один вечер найти ключ к отрывку, писанному каким бы то ни было шифром этой системы. Еслиб я имел надобность или охоту придумывать или употреблять шифр, то надеюсь, что у меня достало бы смысла понять, что шифр такой системы слишком плох, и достало бы ума придумать шифр получше.

«Прибавлю: я не такой невежда, каким предполагает меня это обвинение. Из чтения гражданских и политических и неполитических уголовных иностранных процессов мне известно, что употребление какого бы то ни было шифра признано вещью устарелою, неудобною для тайных сношений и слишком опасною для сносящихся. И еслиб я хотел иметь с кем-нибудь тайные письменные сношения, то уж наверное не выбрал бы средством для них не только такой младенческой системы шифра, какую давали-б эти лоскутки, когда бы служили для шифрования, но и никакой системы шифра.

3. Пояснения по показаниям г. Костомарова всем вообще.

«Я не юрист, потому прошу пр. с. быть снисходительным, если в этом отделе моего дополнительного показания беру предмет, который, по обычаям нашей судебной практики, должен быть предметом моих ответов не теперь, а в каком-либо последующем периоде моего процесса. Следственная комиссия не спрашивала меня, имею ли я причины отвода против г. Костомарова. Я не знаю, должен ли быть предложен мне этот вопрос; если нет, то вновь прошу снисходительности пр. с. к той погрешности, что утруждаю сенат разбором вопроса, не подлежащего моему ответу. Наконец, что касается самой сущности пред'являемых мною оснований отвода, вновь прошу снисходительности пр. с. в том случае, если причины эти неудовлетворительны: я никак не хотел бы приводить законов, не подходящих к делу, но по недостатку специального юридического знания могу ошибиться.

«Мне кажется, — не знаю, основательно ли, — что г. Костомаров подходит или под какой-либо, или под некоторые из следующих законов —

> Св. зак. т. XV кн. 2 ст. 216 п. 1 — «не допускаются в деле уголовном к свидетельству под присягою 1) лица, прикосновенные к делу».

«Г. Костомаров есть лицо, прикосновенное к делу, если не сделал своих показаний против меня при самом начале следствия над ним; по статье (того же тома той же книги) 596:

> «Всякого состояния люди обязаны доносить о делах, касающихся до преступлений государственных, означенных в статьях 275 — 280 и 282 — 287 улож. о наказ., под опасением за недонесение наказаний, определенных за сие в статьях 277, 279, 281 — 286 и 288 того же уложения»,

и статье 17 уложения о наказаниях:

> «прикосновенными к преступлению считаются и те, которые, знав о умышленном или уже содеянном преступлении и имев возможность довести о том до сведения правительства, не исполнили сей обязанности».

«Если же г. Костомаров сделал свои показания против меня при самом начале следствия над ним, то я прежде допущения показаний г. Костомарова за обвинения, подлежащие судебному

рассмотрению, в настоящее время должен просить пр. с. об исследовании вопроса: почему при существовании таких показаний я не был призван к суду или какому-либо ответу в последнюю половину 1861 года, когда производилось следствие над г. Костомаровым?

«Или, быть может, г. Костомаров подходит под пункт 2-й той же 216 статьи XV тома 2 ч.:

«не допускаются в деле уголовном к свидетельству под присягою 2) имевшие с ним (подсудимым) вражду»;

мне казалось бы, что он подходит под этот пункт на основании фактов, которые я излагаю ниже.

«Если же г. Костомаров подходит под какой-либо из этих законов, то мне казалось бы, что нет нужды и входить в разбор его показаний, на основании

Св. зак. т. XV кн. 2 ст. 334: «Показания свидетелей вовсе не имеют силы доказательства 1) когда они учинены без присяги» [1]).

«Перехожу к пояснению моих отношений с г. Костомаровым.

«Я был внимателен, могу сказать: добр к нему. Не скрывается ли в этом нечто особенное? Да, скрывается или, вернее сказать, обнаруживается особенность моего характера, доходящая до такой крайности, которая служит предметом всеобщих насмешек в кругу моих знакомых, источником бесчисленных хлопот и неприятностей для меня; трудно найти человека, который не получил бы от меня всякой возможной услуги и помощи, кто бы ни был этот ищущий ее у меня, — знакомый или незнакомый, все равно. Как писатель, я известен крайнею жестокостью, — в частной жизни я страдаю противоположным недостатком.

«Но, кроме этой особенной, была другая, самая обыкновенная причина моей внимательности к г. Костомарову. Я был журналист. Всякий неглупый журналист знает, что должно быть внимательным к молодым, начинающим литераторам, потому что из них выходят свежие силы, а без внимательности к ним журнал

---

[1]) Этот несложный юридический анализ был, конечно, совершенно бесспорен; Чернышевский понимал это, но нарочно строил из-себя профана. Конечно, не наш преступный сенат мог и должен был сконфузиться от своей оплошности и спешить ее исправить изъятием всей костомаровщины из дела.

хилеет и падает. Поэтому я, для собственной выгоды, всегда былъ внимателен к начинающим литераторам, высматривая, не окажется ли кто-нибудь из них хорошим работником. Люди более меня зоркие умеют скоро различать, годится или не годится молодой человек в сотрудники журнала. Мне нужно всматриваться долго. И я все еще только всматривался в г. Костомарова, не решаясь предложить ему работать в «Современнике», пока получше не узнаю его способностей. (Быть может, нелишнее об'яснить, что сотрудничество, постоянное участие в собственно журнальной работе, в так называемых текущих статьях вовсе не то, что напечатание стихов в журнале).

«В таких отношениях я был с десятками начинающих литераторов. Г. Костомаров был не исключение, а подходил под общее правило. Для г. Костомарова я сделал даже гораздо меньше, чем для многих других.

«Эта необходимость быть внимательным и оказывать возможные услуги еще вовсе не составляет интимности и не свидетельствует о доверии. Это просто то, что наниматель на работу высматривает хороших работников между людьми, ищущими работы. С г. Костомаровым я был менее короток, нежели бывал со многими из начинающих литераторов. Что действительно не был я с ним короток и почему не был, это будет видно из следующих пояснений.

«Но я действительно был внимателен к нему. Например, он стал говорить, что хочет издать поэтическую хрестоматию; я отдал ему сборник подобного рода, валявшийся у меня уже несколько лет и ненужный мне. Он принял за большую услугу подарок этой вещи, непригодной мне ни на что, и просил позволения написать в предисловии, что хрестоматия, которую он сделает на основании этого сборника (уже устаревшего и потому требовавшего переделки), составлена по моим советам. Когда он вздумал издать перевод «Истории литературы» Шерра, я на его просьбу помочь отвечал, что беру цензурные хлопоты и печатание на себя. То и другое не было для меня важностью. Цензор был всегда готов по моей просьбе прочесть рукопись поскорее; типография Вульфа и бумажная лавка (бывшая) Заветнова имели текущий счет и кредит с конторою «Современника». Но для г. Костомарова была важна услуга, которая не стоила мне ничего.

«По возвращении моем (в сентябре 1861) из Саратова в Петербург, когда г. Костомаров был уже арестован, я перестал делать для него что-либо и, между прочим, отказался печатать перевод Шерра. Кто хочет об'яснить это только в невыгодную для меня сторону, легко найдет две причины перемены. Возвратившись из Саратова, я узнал, что мой двоюродный брат г. А. Пыпин, взял на себя редакцию другого перевода той же книги Шерра; натурально предположить, что я не хотел мешать успеху издания, в котором работал мой родственник. Этим, кажется, достаточно об'ясняется отказ мой печатать перевод г. Костомарова. А вообще, у меня, как у журналиста, исчезла причина внимательности к г. Костомарову: даровитый он был человек или нет, все равно, он надолго лишался способности быть полезным для журнала. Я не имею права требовать, чтобы мою перемену приписывали побуждениям более благородным [1]).

«Но от чего бы ни произошла перемена, г. Костомаров увидел, что ошибся в рассчетах на мою помощь, и это очень раздражило его против меня. Я говорю о факте очень известном, утверждая, что он был очень раздражен против меня.

«В то время, когда производилось дело г. Михайлова, носились слухи, что у г. Костомарова найдено воззвание к барским крестьянам или два какие-то воззвания; что по судебному исследованию найден был автор этой рукописи или этих рукописей. Если какой-либо из этих слухов основателен, то мне нет надобности доказывать, что воззвание к барским крестьянам писано не мною. На очной ставке со мною при втором из допросов, сделанных мне в марте, г. Костомаров упомянул, что это воззвание (или эти два воззвания) признано (или признаны) по суду за написанные им, г. Костомаровым. Но хотя эти слова его и совершенно в мою пользу, я не ссылаюсь на них, как на что-либо достоверное, потому что вообще в словах г. Костомарова слишком много неточностей; я только прошу о поверке этих его слов справкою с его делом.

«Прибавлю: носились слухи, что г. Костомаров в продолжение своего процесса переменял свои показания и постепенно дошел

[1]) Разумеется, истинная причина — донос на Михайлова. После этого Чернышевский и принял меры к уничтожению следов сношений с Костомаровым, имея время обдумать все возможные на этой почве обвинения.

в них до таких странностей, что следственная комиссия, производившая его дело, перестала принимать его показания к сведению. Этот слух также требует поверки справкою с делом г. Костомарова.

«Вообще справка с делами г. Костомарова и г. Михайлова должна об'яснить много вопросов, решение которых, каково бы оно ни было, непременно устраняет обвинения против меня, извлекаемые из показаний г. Костомарова. Из этих вопросов в предыдущем изложении фактов уже явились следующие: когда и как даны показания г. Костомарова (если давно, я устраняю их, как уже отвергнутые судом; если недавно, я устраняю их, как показания лица, лишившегося способности быть свидетелем); переменял ли г. Костомаров свои показания или нет (если переменял, они теряют силу доказательств по взаимному противоречию; если не переменял, то, значит, они признаны за основательные судом, не призывавшим меня к ответу); открыт ли судом автор рукописи (или рукописей), найденных у г. Костомарова (если открыт, мне не в чем оправдываться; если нет, то одно из двух: г. Костомаров знает или не знает его; если знает, он неспособен быть свидетелем, как лицо, бывшее укрывателем; если не знает, его показания против меня неосновательны). Другие вопросы, требующие справки с делами г. Костомарова и г. Михайлова, будут представляться в последующем изложении фактов.

«Сделав эти пояснения, относящиеся ко всем обвинениям против меня, извлекаемым из показаний г. Костомарова, перехожу к разбору каждого из этих обвинений в отдельности, повторяя, что по предыдущим об'яснениям мне кажется, что я имею право отвергать их без всякого разбора, как незаслуживающие судебного рассмотрения, и прося снисходительности пр. с. к моей ошибке, если, не будучи юристом, ошибаюсь в этом моем мнении.

4. Пояснения по показанию г. Костомарова, будто я читал ему с г. Михайловым воззвание к барским крестьянам, как написанную мною вещь.

«Г. Костомаров (зимою 1860 — 61 года) однажды вечером приезжал ко мне с г. Михайловым. Когда меня спрашивали при следствии, где я видел г. Костомарова в первый раз, я не мог ручаться за то, что он когда-нибудь прежде этого не видел меня

в лицо или не был в одних комнатах со мной. Человек, который по своим занятиям постоянно видит новые лица, часто и не говорящие ему своей фамилии из авторского самолюбия, чтоб не осталось у журналиста связанного с фамилиею воспоминания о какой-нибудь плохой, отвергнутой им повести или статье, — такой человек не может ручаться за то, когда именно видел его кто-нибудь в первый раз. Приведу факт из своей жизни. Г. Краевский и г. Некрасов поступили бы очень опрометчиво, если бы сказали перед судом, когда виделись со мной в первый раз. Без сомнения, каждый из них очень хорошо помнит, когда я был у него в первый раз в 1853 году, с которого начались наши литературные отношения. Но я видел того и другого несравненно раньше. Г. Краевскому я отдал (лично, в тогдашней конторе «Отечественных Записок») перевод биографии г-жи Ментенон из фельетона «Journal des Débats» в июле или августе 1846 года; и г. Краевский был так мил, что говорил со мною довольно долго и очень ласково, но перевод мой не годился для журнала. Он очень удивится, когда я напомню ему это обстоятельство. Точно также удивится г. Некрасов, когда я скажу, что в конце 1847 года или в начале 1848 года я видел его и сказал с ним несколько слов в тогдашней конторе «Современника», отдавая ему написанную мною тогда повесть (содержание которой были несчастия сироты-девушки, воспитывавшейся в институте и потом попавшей в дурные руки), — повесть, которая тоже оказалась незаслуживающею печати. Конечно, я не напомнил ни тому, ни другому об этих свиданиях, когда начинал знакомство с ними через несколько лет, и был очень рад, что они совершенно забыли о них и встретили меня, как человека, никогда еще не виданного ими.

«Но когда мне сказали, что г. Костомаров говорит, что не видел меня до своего приезда с г. Михайловым ко мне, то я полагаю, что это правда; по крайней мере, это согласно с моими собственными воспоминаниями. И когда теперь мне известно, что под первым свиданием моим с г. Костомаровым разумеется приезд г. Костомарова с г. Михайловым ко мне, то я могу об'яснить, как это произошло.

«В ту зиму (1860 — 1861 г.) г. Михайлов бывал у меня довольно редко, почти всегда только по утрам, на короткое время

по делам «Современника», корректуры которого тогда читал он. Но он знал, что мои знакомые собираются у меня сидеть вечера по средам. И вот в одну среду вечером он приехал ко мне с молодым человеком в уланском мундире и рекомендовал его мне, как г. Костомарова, литератора. Когда они приехали, у меня уже находилось, когда они уехали, у меня еще оставалось несколько человек гостей. Я встретил г. Михайлова и г. Костомарова в зале, где сидел с гостями, и новые два сели в кругу прежних. Через несколько времени г. Костомаров сказал мне, что хочет поговорить со мною наедине; это очень обыкновенная вещь у литераторов; журналисты привыкли слышать такие желания и исполнять их: литературные дела так близко касаются авторского самолюбия, что о них очень часто говорят наедине. Я ждал обыкновенного для журналистов об'яснения о литературных намерениях, просьб о советах по каким - нибудь стихотворениям или повестям — и пошел с г. Костомаровым — одним им — в мой кабинет. Г. Михайлов оставался в зале с другими гостями и не входил в кабинет. Все время нашего отсутствия он оставался безвыходно в зале. Через несколько времени я и г. Костомаров возвратились в зал. Это факты, виденные моими гостями в ту среду.

«Г. Михайлов привез ко мне г. Костомарова в такой вечер, в который у меня бывали гости. Из этого я вывожу, что, привозя ко мне г. Костомарова, он не имел никакой тайной цели. Для тайных разговоров не выбираются вечера, когда у хозяина собираются гости.

«Мой разговор с г. Костомаровым в кабинете весь, с начала до конца, происходил наедине. Г. Костомаров очень неудачно ввел в свое показание обстоятельство, неточность которого я в состоянии доказать. Так как в этом обстоятельстве — присутствие г. Михайлова — не было ему надобности для его целей, то из этого я вывожу, что его воспоминания очень сбивчивы.

«Итак, наш разговор с г. Костомаровым в моем кабинете происходил совершенно наедине, как очень часто происходят разговоры журналиста с литератором, — и без особенного случая я не мог бы доказать, что содержание этого разговора было вовсе не таково, как говорит г. Костомаров. Но, к счастью, через несколько дней после того произошел следующий случай. У г. Не-

красова был обед. Я и г. Михайлов находились в числе гостей. За обедом г. Михайлов обратился ко мне с укоризнами в том, что я охлаждаю молодых людей и что я возбудил этим неудовольствие г. Костомарова, который говорил ему (г. Михайлову), что разговор его (г. Костомарова) со мною в кабинете показал ему (г. Костомарову) во мне апатичного человека, желающего, чтоб и все другие были, подбно мне (т. е. мне, Чернышевскому), апатичными гражданами, не думающими об общей пользе, заботящимися только о своих семейных делах. Г. Михайлов осыпал меня этими укоризнами почти с самого начала до самого конца обеда, довольно продолжительного. Он сидел довольно далеко от меня (я сидел на одной из узких сторон стола, а г. Михайлов — близко к другой узкой стороне стола), так что он говорил со мною через весь стол, говорил громко и с жаром, заглушая разговоры между собою других обедавших, которые скоро почти все или все перестали говорить между собою, слушая наш разговор, состоявший из длинных горячих нападений Михайлова на меня и моих коротких холодных или шутливых ответов.

«Это последствие моего разговора с г. Костомаровым показывает, что этот происходивший между мною и им разговор имел с моей стороны направление и содержание прямо противоположное тому, что утверждает г. Костомаров.

«Мне кажется, что я могу теперь ожидать веры в следующее мое показание о действительном содержании этого разговора. Вот оно. Г. Костомаров, начав речь с сборника переводных стихотворений, который он издавал тогда, перешел к обыкновенным жалобам литераторов на цензуру, а от них начал, было, переходить к тому, что вообще дела у нас в России идут плохо, но на этом, совершенно еще неопределенном периоде его слов я остановил его шутливым вопросом, велико ли у него состояние, когда он служит репетитором в одном из московских кадетских корпусов, — я привык находить, — сказал я, — что между преподавателями кадетских корпусов нет людей очень богатых (о том, где он служит, я спрашивал у него прежде, когда мы сидели в зале).— «Никокого состояния, кроме маленького разваливающегося домика у моей матушки». — Ах, у вас есть матушка? — спросил я иронически. — «И сестры», — отвечал он. — Вот как, у вас есть матушка и сестры, — сказал я с еще большей иронией, —

и, вероятно, живут доходами с этого разваливающегося домика?— «Нет, какой же с него доход» — отвечал он уныло: — «я содержу их своею работою и жалованьем». — А когда так, — сказал я серьезным тоном, — то вам следует думать не о том, хорошо или дурно идут дела в России, а о вашем семействе, которое вы обязаны содержать вашими трудами; — сказав несколько слов на эту обыкновенную тему обыкновенным тоном людей, успевших поостыть и читающих по всякому малейшему поводу нотации молодым людям о семейных обязанностях и рассудительности, — я встал, и мы возвратились в зал.

«Я перервал г. Костомарова так рано, что он не только не успел дойти до каких бы то ни было намеков о каких-нибудь тайных своих делах, но и не успел сказать ровно ничего особенного, — немногие слова, которые успел сказать он о плохом, по его тогдашнему мнению, ходе дел в России, были так неопределенны и бледны, что показались мне не больше, как попыткою того, что называется «полиберальничать», — обыкновенною замашкою многих, скучною для меня [1].

«В горячих укоризнах, делаемых мне г. Михайловым за обедом у г. Некрасова, также не было ничего такого, что могло бы возбудить во мне предположение о каких-нибудь тайных делах или намерениях у г. Михайлова или г. Костомарова. Это само собою следует уже из того, что он говорил при нескольких лицах, открыто, громко. Я знал г. Михайлова за человека пылкого, но очень мало занимающегося политическими вопросами, — да и разгорячился тогда он вовсе не по какому-нибудь политическому вопросу, а из-за того, что я назвал бездарным стихоплетом г. А. Майкова (известного поэта), — г. Михайлов вспыхнул, начал говорить, что у меня нет эстетического чувства, что я унижаю искусство, отвергаю поэзию, отвергаю все высокое и благородное, что мой взгляд — холодный, леденящий все благородные порывы, — вот каким рядом мыслей дошел он до того, что я охолодил и тем рассердил г. Костомарова — и поэтому слова г. Михайлова в своей неопределенности не имели никакого политического смысла.

«Но если не было ничего замечательного в содержании слов

---

[1]) Чернышевский ее вообще не выносил.

г. Михайлова, то, все - таки, ведь они говорились в укоризну мне, — это была сцена, неприятная для меня: полчаса слушать брань на себя, хоть и от доброго знакомого, — это такой случай, на который не стоит сердиться, но который невольно запоминается с обстоятельствами, к которым он относится. Вот причина, по которой врезались в моей памяти черты моего разговора с г. Костомаровым.

«Но сам по себе этот разговор не был важен, да и весь вечер, проведенный у меня г. Костомаровым вместе с г. Михайловым, тоже не был важен, — вот об'яснение тому, что у г. Костомарова осталось слишком слабое воспоминание об этом вечере и этом разговоре, так что, делая показание, он не мог сообразить, что вводит в него такую черту, неточность которой я могу доказать, — то есть мнимое присутствие г. Михайлова при нашем разговоре.

«У меня никогда не было никакого разговора втроем с г. Костомаровым и г. Михайловым без других свидетелей. Я видел г. Михайлова и г. Костомарова вместе только один раз, и в этот раз г. Михайлов не выходил из моего зала, где сидел с другими моими гостями.

«Г. Костомаров ввел в свое показание другое обстоятельство, которого не вздумал бы утверждать при близком знакомстве с моими привычками. Он говорит, будто я читал ему и г. Михайлову вещь, написанную мною. Всякий, близко знающий, знает, что это нравственная невозможность. Я никогда не читаю никому что бы то ни было, написанное мною. Этот обычай столь же чужд мне, как танцованье балетных танцев и собирание милостыни под окнами. Автор только по одному из двух следующих побуждений читает кому - нибудь что - нибудь, написанное им: или из авторской любви к написанному, когда дорожит тем, что написал, или по авторской скромности, чтобы просить замечаний, советов. Но всем моим хорошим знакомым известно, что в моих глазах не имеет никакой важности ничто из того, что я пишу. Быть может, когда - нибудь я напишу что - нибудь, чем буду дорожить, но это будет не политический памфлет, а большое философское сочинение. А все, что я написал до сих пор, я считаю ничтожным для себя. Я, как литератор, чрезвычайно горд, но именно по чрезмерной гордости чужд авторского тщеславия.

Мне противно даже слушать, когда говорят о чем-нибудь, написанном мною, — с похвалою ли говорят, или с порицанием, или тоном безразличным, все равно, — я немедленно поворачиваю разговор на другой предмет. При такой чрезвычайной гордости натурально, что я не могу читать и для того, чтобы спрашивать советов или замечаний у кого бы то ни было. Это было бы унизительно для меня. Я имею гордость думать, что, как писатель, не нуждаюсь ни в чьих мнениях и советах, и сам лучше всех знаю достоинства и недостатки того, что пишу. Я никогда ни у кого не спрашивал мнения или совета ни о чем, что писал или пишу.

«То, что г. Костомаров мог ввести в свое показание такое неимоверное обстоятельство, будто бы я читал что бы то ни было, написанное мною, об'ясняется только тем, что он не был никогда близок ко мне и потому не знает моих обычаев.

«Прибавлю: по словам самого г. Костомарова, я видел тогда его в первый раз. Правдоподобно ли, чтоб я стал выдавать себя за государственного преступника, чтоб отдал свою голову во власть человека, которого видел в первый раз?! Я дорожу моею головою больше, чем предполагал г. Костомаров, делая такое показание.

5. Пояснения на показание г. Костомарова о посещениях, сделанных ему мною в бытность мою в Москве весною 1861 года, и о записке, будто бы оставленной мною ему в это время.

«Г. Костомаров говорит, что в один из дней, которые провел я в Москве весною 1861 года, когда он возвратился домой, ему отдали записку со словами, что она оставлена ему мною, незаставшим его дома. В дополнение этому найдено, что г. Яковлев показывает, будто бы я, не заставши дома г. Костомарова, написал ему (г. Костомарову) записку и, как кажется г. Яковлеву, написал ее на лоскутке бумаги, уже написанном с другой стороны. О способности или неспособности г. Яковлева быть свидетелем — я буду говорить ниже, по поводу его показания о моем посещении г. Костомарова в августе 1861 года. Здесь же я разбираю не качества показывающих лиц, а только существо самого дела.

«Мне показывали записку на лоскутке бумаги, другая сторона которого исписана чем-то. Я сделал на ней надпись, что не

признаю почерка этой записки своим, что он ровнее и красивее моего.

«В пояснение этого обращу внимание на две из тех особенностей, которыми ровные и красивые почерки отличаются от неровных и некрасивых. Строка состоит из трех частей: 1. росчерки, выдающиеся вверх, 2. росчерки, выдающиеся вниз, 3. средняя полоса строки. Пример — в этом слове «примѢр» [1]) буквы *р* имеют росчерк вниз, буква *ѣ* — росчерк вверх, буквы *и, м* не должны выдаваться ни вверх, ни вниз из основной средней полосы строки. В ровном почерке линии, проведенные по верхним и нижим оконечностям букв и частей букв, не выдающихся из основной средней полосы, должны быть прямые параллельные линии; в неровном они — ломаные линии, то сходящиеся, то расходящиеся. Пример: слово *наша,* — тут все части всех букв должны оставаться в основной средней полосе строки; в ровном почерке верхние и нижние части этого слова представляются в таких линиях ═══════════; в неровном в таких 〰〰〰〰〰〰. Прямые части букв, занимающие эту среднюю основную полосу строки, в ровном почерке все имеют одинаковое наклонение к горизонтальной оси строки, а согнутые части — части эллипсов, имеющих один размер, т. е. одинаковую степень собственно искривленности, или целые ровные эллипсисы; эти части эллипсисов и эллипсисы все имеют центр на одной прямой и горизонтальной линии, т. е. одинаковое наклонение к оси строки. В неровном почерке ни одна из этих одинаковостей не соблюдается. Пример: *теплота.* Здесь, в ровном почерке, первые линии букв *т* и *п* одинаковы, одинаково наклонены; последние линии букв *т, п, л, т,* а также большая округлость буквы *е,* буквы *о* и первая половина буквы *а* — также. В неровном почерке этого не будет . . .

«Прошу сравнить мой почерк с почерком записки, напрасно мне приписываемой, в этих двух отношениях.

«Мой почерк гораздо хуже почерка записки в обоих этих отношениях. Можно нарочно написать худшим, но нельзя нарочно написать лучшим почерком, чем каким способен писать.

---

[1]) Подлинник писан по старой орфографии.

В ломаном почерке не могут уменьшиться недостатки подлинного почерка.

«Если же, чтобы уменьшить эти недостатки подлинного почерка для замаскирования руки в ломаном почерке будут употреблены особенные средства: проведение линеек, очень медленное черчение (вырисовывание) букв вместо обыкновенного довольно быстрого и свободного движения руки, то эти искусственные средства оставляют очень яркие следы на написанном. В комиссии я слышал замечание: «вы могли вырисовывать буквы». Поэтому укажу средство распознать вырисованные буквы от писанных свободным движением. Это средство — сильная лупа или микроскоп, увеличивающий в 10 или 20 раз. Вырисованные буквы явятся с резкими обрывами по толстоте линий; в буквах естественного почерка переход толстого в тонкое и тонкого в толстое гораздо постепеннее. Пример. Дана буква *а*, — спрашивается, вырисована она или написана свободно и довольно быстро? В первом случае она под микроскопом явится в таком виде (рис. 1) (части, перечерченные поперечными линиями, представляют собою сплошную массу). Таков будет вид рисованной буквы; вид буквы, написанной свободно, будет (рис. 2). Т. е. при вырисовании букв край черты имеет тенденцию становиться ломаною линиею, между тем, как в обыкновенном почерке он имеет тенденцию быть кривою или прямою линиею.

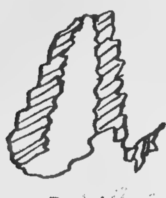


Рис. 1.



Рис. 2.

«Я не изучал специально правил распознавания почерков, потому привожу лишь отрывочные сведения, какие мне случилось приобресть из чтения иностранных гражданских процессов. В случае недостаточности этих сообщенных мною приемов распознавания почерков, прошу Пр. с. разрешить мне прибегнуть к тем из даваемых для этого наукою средств, какие могут быть допущены по закону.

«Осмелюсь сказать следующее: я бы никак не подумал делать указания на приемы, употребляемые для распознания почерков, если бы не был и не оставался в недоумении о том, каким

образом было возможно приписывать писанную не моим почерком записку мне, имеющему почерк, дикая своеобразность которого режет глаза. Мой почерк так дик, что когда, бывало, в школе товарищи дурачатся, по школьническому обыкновению подделываясь под почерки друг друга и учителей, я бесился от решительных неудач написать что-нибудь похожее на обыкновенные почерки.

«Относительно общеизвестного приема распознавания почерков, состоящего в сличении фигуры отдельных букв, прошу обратить внимание, между прочим, на следующие буквы и группы букв:

«*е, с, г* выходят в моем почерке очень часто очень похожи друг на друга;

«группа *ес* выходит подобно букве *и* (иногда бывает трудно разобрать в моем почерке *если* от *или);*

«форма буквы *з* в моем почерке;

«постоянная уродливость буквы *и* (первая черта обыкновенно бывает слишком велика перед второю; расстояние между ними вверху очень часто бывает слишком мало сравнительно с нижнею частью);

«почерк очень часто перерывается, гораздо чаще, чем в обыкновенных почерках; эти обрывы бывают между прочим на буквах *и, л, м,* после которых не обрывается обыкновенный почерк.

«В настоящем показании особенности моей руки являются менее ярко, чем в вещах, написанных стальным пером или карандашом, — притом же я пишу это показание крупно и тщательно [1]. Для сличения удобнее могут служить вещи, писанные карандашом, подобно присваиваемой мне записке, — таких вещей много между моими бумагами.

«Сделав эти пояснения, я утверждаю, что почерк приписываемой мне записки:

«1) не имеет сходства с моим почерком и относится к почеркам совершенно другого характера;

«2) что он не есть ни ломаный почерк, ни вырисованный почерк, т. е. что неизвестное лицо, писавшее эту записку, писало ее свободным и быстрым движением руки;

«3) что я, как бы ни старался, не мог бы написать так ровно.

[1]) В крепости никому стальных перьев не давалось. Всем приносились уже приготовленные гусиные.

«Кончив эти пояснения о почерке записки, перехожу к другим сторонам вопроса о ней.

«Писать и оставлять записку, которая, еслибы была действительно моя, служила бы прямою уликою, — это такая глупость, которая решительно не согласна ни с моею известностью, как человека неглупого, ни с моим мнительным характером. Еслибы я был такой преступник, каким выставлен в показаниях г. Костомарова, и с тем вместе такой опрометчивый глупец, каким следовало бы назвать меня, еслибы я написал эту записку, то, конечно, против меня были бы сотни улик более солидных, чем эта записка и вообще те обвинения, которые я опровергаю теперь.

«Я был в Москве весною 1861 года и заходил тогда же к г. Костомарову — то и другое обстоятельство я обращаю в доказательство тому, что я не находился ни в каких преступных сношениях с ним и не предполагал, чтобы он был замешан в каком-нибудь деле тайного печатания. Недели за две перед моею поездкою было отправлено в Москву лицо, служившее по политической полиции [1]), отправлено с поручением разыскать тайное литографирование и печатание, производившееся тогда в Москве. Я знал это по слуху, который был тогда известен всему Петербургу, и по такому же слуху я знал, что это лицо еще остается в Москве в то время, когда я поехал туда. Мне, как и всему литературному кругу, было известно, что политическая полиция давно имеет надзор за мною. Сверх того, я должен был думать, что само дело, по которому ехал я в Москву, обратит на себя внимание политической полиции (ниже я об'ясняю это дело), и что поэтому надзор за мной в Москве будет особенно бдителен. Еслибы я действительно был прикосновенен к делу тогдашнего московского тайного печатания, то у меня, по всей вероятности, достало бы осторожности, чтобы не ездить в Москву в такое опасное (в случае моей прикосновенности) время. Ехать для предупреждения моих соучастников (в случае моей прикосновенности) было уже поздно; еслиб у меня была эта мысль, я поехал бы двумя неделями раньше. Ехать в то время, когда поехал я, значило бы (в случае моей прикосновенности) уже только понапрасну лезть в петлю. И без всякого сомнения, у меня достало

[1]) Житков.

бы благоразумия не бывать в доме г. Костомарова, еслибы я предполагал, что он занимается тайным печатанием, которое разыскивается политическою полициею, имеющею надзор за мною. Еслиб я был его соучастником или знал о его участии в тайном печатании, то я, конечно, сообразил бы, что своими посещениями выдаю его и себя.

«То, что я посещал г. Костомарова в бытность мою в Москве весною 1861 года, приобретает характер нравственной возможности только при принятии за истину того, что я не был с ним в тайных сношениях и не знал о его участии в тайном печатании.

«Прибавлю: когда я познакомился с г. Костомаровым и стал оказывать участие к нему, то оказалось, что некоторые из моих знакомых знают его ближе, чем г. Михайлов. От них я услышал, что он — человек, во - первых, не умеющий молчать, во - вторых, расположенный выдавать свои мечты за факты. Когда я был у него в Москве в первый раз, я уж имел эти сведения о нем. Конечно, их было бы достаточно для меня, чтобы прекратить всякие сношения с ним, еслибы эти сношения имели сколько - нибудь тайный или рискованный характер. Но так как я имел с ним дело только, как с молодым, начинающим литератором, то для меня было все равно, скромен он или нескромен, прикрашивает он или не прикрашивает факты, — при совершенной невинности и несекретности моих отношений к нему мне нечего было опасаться ни от нескромности, ни от наклонности прикрашивать факты.

«Дело, по которому я ездил тогда в Москву, было следующее. Несколько петербургских литераторов, собравщихся в квартире г. Вернадского [1]), выслушали и с некоторыми изменениями одобрили основные черты новых правил цензуры, написанные г. Вернадским, и положили подать об этом просьбу г. министру народного просвещения. Надобно было кому - нибудь отправиться в Москву для предложения участия в этом деле московским литераторам. Г. Вернадский вызвался ехать, но не раньше, как недели через две или три. А в тот самый день, как было это собрание, «Современник» получил сильную цензурную неприятность,

---

[1]) Издатель-редактор еженедельного журнала «Экономический Указатель».

которая усилила мое нетерпение хлопотать о цензурных улучшениях, и потому я сказал: «что откладывать в долгий ящик; если присутствующие согласны поручить это мне, я поеду завтра или после - завтра». Они согласились, и я действительно поехал через полуторы суток. По приезде в Москву тотчас же поехал к г. Каткову, важнейшему тогда из московских журналистов; он собрал у себя других, я был на этом собрании. Проект г. Вернадского был принят с некоторыми изменениями; г. Каткову было поручено написать записку и подробные правила; я почел свое поручение исполненным и уехал в Петербург [1]).

6. Пояснения на показание г. Костомарова, будто я диктовал ему воззвание к раскольникам.

«Г. Костомаров утверждает, будто бы я диктовал ему в Знаменской гостинице воззвание к раскольникам. Он не вздумал бы говорить о Знаменской гостинице, еслибы был ближе знаком со мною. Нет на свете человека, менее меня расположенного к посещению гостиниц, ресторанов и всего тому подобного. Г. Костомаров напрасно основался на слухе, будто бы я кутила; нет, я не охотник кутить.

«Когда я сказал это на первом из мартовских допросов, то у г. Костомарова, явившегося при втором мартовском допросе на очную ставку, было готово об'яснение такому обстоятельству, как мой обед в Знаменской гостинице. Он сказал: «Вы повели меня в гостиницу потому, что ваш (т. е. мой, Чернышевского) кабинет был неудобен для диктования». Но эти слова г. Костомарова показывают только, что он забыл положение моего кабинета в тогдашней моей квартире (на Вас. острове, во 2 линии, в доме Громова). Нельзя было бы желать комнаты более удобной для тайной диктовки. Эта комната отдалена от других коридором.

«Но эта комната имела менее хорошие обои, менее красивую печь, менее красивые полы, чем другие комнаты той квартиры; вероятно, г. Костомаров слышал какие - нибудь порицания моей

---

[1]) Подробности об этом и самая «записка» русских литераторов приведены в моей книге «Эпоха цензурных реформ 1859—1865 г.г.» на стр. 57—82.

комнаты по сравнению с другими в этих отношениях, — переза-
был, спутал, подумал, что она неудобна для нужной ему тайной
диктовки, и поэтому выстроил своею мечтою Знаменскую гости-
ницу. Напрасно. Очень удобно было бы поместить тайную дик-
товку в мой кабинет. Тогда одним неправдоподобием было бы
меньше.

«Но если бы мой кабинет действительно был неудобен для тай-
ной диктовки, то ведь я очень хорошо знаю, что гостиницы еще
гораздо неудобнее для таких занятий. Уж лучше было бы нам
с г. Костомаровым отправиться для диктовки к г. Михайлову,
если мои отношения с г. Михайловым и с г. Костомаровым были
таковы, как говорит г. Костомаров. Или у г. Михайлова не было
удобной для того комнаты?

7. Пояснения о способности или неспособности г. Яковлева быть свидетелем.

«На допросах в марте и на первой очной ставке моей
с г. Костомаровым еще не представлялось ничего преступного
в посещении, которое делал я г. Костомарову в августе 1861 г.
Но на апрельском допросе был выведен на очную ставку со мною
г. Яковлев и сказал, что слышал, как я просил в это время г. Ко-
стомарова печатать воззвание к барским крестьянам. Г. Косто-
маров только уже подтвердил это.

«В начале очной ставки г. Яковлева спросили, узнает ли он
меня, но меня не спросили, не имею ли я причины отвода против
г. Яковлева. Но когда, по окончании очной ставки, он вышел,
я сказал: «Предостерегаю комиссию против этого свидетеля».
Если остается хотя малейшая тень подозрения на мне от его по-
казания, я прошу у пр. с. разрешения пояснить эти мои слова.

«Теперь скажу только следующее. Я не знаю, в качестве ли
свидетеля, или только оговаривающего соучастника является
г. Яковлев. Если в качестве свидетеля, то (прося у пр. с. снисхо-
ждения к моей ошибке, когда такое мнение мое ошибочно) я по-
лагаю, что он не имеет способности быть свидетелем. Если он
сделал свои показания в недавнее время, то он был укрывателем
и, следовательно, есть лицо, прикосновенное к делу. Если же он
не был укрывателем, т. е. немедленно сообщил правительству

о прступном разговоре, который будто бы слышал, в августе 1861 г., то — так как я не был тогда ни арестован, ни призван к ответу, из этого следует, что его показания против меня были во время процесса г. Костомарова найдены неосновательными, и что я не имею нужды разбирать их. Но от этой формальной стороны обращаюсь к существу дела.

8. Пояснения по показаниям гг. Костомарова и Яковлева о посещении мною г. Костомарова в августе 1861 г.

«Показания представляют меня гуляющим в саду. Я не гуляю и не прохаживаюсь. Исключение бывает лишь, когда я бываю принужден к тому желанием лица, пред которым обязан держать себя слишком почтительно, благодаря его официальному званию. Я терпеть не могу ходить по комнате или саду. Это было очень ясно видно во время моего ареста. Сначала я думал, что тяжесть в голове, которую я чувствовал в первый месяц ареста, происходит от геморроя, и принуждал себя ходить по комнате для моциона. Но как только я заметил, что это боль не геморроидальная, а ревматическая, происходящая от того, что я лежал головою к окну, я стал ложиться головою в противоположную сторону от окна и с того же дня перестал ходить, абсолютно перестал ходить по комнате. Когда меня приглашали выходить в сад, я сначала выходил, воображая, что в это время обыскивается комната, и что я возбудил бы подозрение отказом удалиться из нее, но месяца через три я убедился, что обысков не делают, подозревать не станут, — и, как только убедился в этом, стал отказываться выходить в сад. Так я абсолютно не сделал ни одного шага для прогулки по комнате до сих пор с начала сентября; не выходил в сад с октября. Исключение были несколько дней в конце апреля, когда я принуждал себя к тому и другому по гигиенической надобности; она прошла — и вот уже больше месяца я опять бываю исключительно только в двух положениях: сижу и лежу.

«Неужели я с осени предвидел, что это понадобится для возражения г. Яковлеву? Но не предвидел же я этого за двадцать лет назад. А я, по крайней мере, 20 лет абсолютно не гуляю. Прогуливаться мне скучно и противно. Это известно моим зна-

комым. С кем из них, когда я ходил по комнате или по саду? — Ни с кем никогда.

«Я все время, когда был у Костомарова в августе 1861 г., просидел с ним в беседке.

«Г. Яковлев говорил на очной ставке: «Г. Костомаров не повел вас (меня, Чернышевского) в беседку потому, что там был я» (т. е. г. Яковлев). Кто знает меня, знает, что еслибы г. Костомаров сказал: «В беседку итти нельзя», то я тотчас бы уселся на скамью; еслибы скамьи не было, я пошел бы к г. Костомарову сидеть в комнатах; если бы нельзя было сидеть в комнатах, я все время простоял бы, прислонившись к стене или дереву, или лег бы на землю, но гулять не стал никак и ни за что.

«Г. Яковлев ввел в свое показание (а г. Костомаров подтвердил) мое невозможное гуляние по саду только потому, что оба они не знали моих особенностей.

«Итак, г. Яковлев, говоря, что я и г. Костомаров не входили в беседку потому, что он был в ней, этим самым признает, что я и он, г. Яковлев, не могли быть вместе в беседке. Я утверждаю, что в беседке был я.

«Чем доказать, что я был в беседке? Я описал г. Костомарову (на очной ставке) расположение мебели в ней. Положим, я мог говорить на удачу и отгадать. (Хотя г. Костомаров после этого моего описания сказал: «Быть может, мы с вами и входили в беседку, но, всетаки, гуляли и по саду»). Но вот чего уж никак нельзя было отгадать, не видевши: на столе в беседке стоял мой портрет в величину обыкновенного, фотографического, но не фотографический, а рисованный. «Как это вы нарисовали?« — спросил я, — На - память, — отвечал он. Кажется, ясно теперь, что в беседке был я.

«Следовательно, неосновательны слова г. Яковлева, будто бы он, сидя в беседке, слышал отрывки разговора между мной и г. Костомаровым, гулявшими в саду. И, следовательно, напрасно подтверждал эти слова г. Костомаров.

«Но в беседке или в саду, сидя или прогуливаясь, будучи или не будучи слышим г. Яковлевым, говорил ли я в августе 1861 г., чтобы г. Костомаров напечатал воззвание к барским крестьянам?

«Решить это поможет решение вопроса: когда было написано воззвание к барским крестьянам? До высочайшего манифеста?

Или по его обнародовании, но до бездлинского дела (о котором, конечно, не мог бы не упомянуть автор). Или после того, но до получения известий, что крестьяне повсюду неохотно принимают уставные грамоты (до этого и после этого должно быть совершенно разное содержание)? Вопрос о времени, когда написано воззвание, вероятно, бесспорно решается его содержанием.

«По словам г. Костомарова, оно было написано до весны. В словах г. Костомарова столько неточностей, что ни на одно из них невозможно опереться. Но если воззвание действительно было написано до весны, оно уже никуда не годилось в августе. Когда я сказал это г. Костомарову (на очной ставке), он даже не понял моих слов (значит, мы с ним не говорили о воззвании ни в августе, никогда прежде, иначе он понял бы меня на очной ставке). «Конечно, вы говорили тогда, что весною оно имело бы больше действия», — сказал он. Не в том дело, — наплыв новых фактов с весны до августа был так велик, что все содержание писанного до весны должно было никуда не годиться. Видя, что он не понимает этого, я сказал: «Мы с вами литераторы: мы должны понимать, что писанное в феврале никуда не годится по своему содержанию в августе». — Но набор был цел, — отвечал он мне на это. Это требует справки с делом г. Костомарова. Если бы я был его соучастником, то я знал, что делается у него. Был ли цел набор, был ли цел станок у него 17 или 18 августа, когда я проезжал через Москву? Если нет, то он, когда бы я был его соучастником, мог бы рассказывать мне об уничтожении станка и набора, если это не было сообщено мне прежде. Но уж никак в этом случае не оставалось места моей мнимой просьбе о печатании [1]).

«Если же станок и набор были целы, является другое соображение. Когда я выехал из Петербурга, весь Петербург уже знал, что в Москве арестованы некоторые лица, обвиняемые в тайном печатании. И, без сомнения, я стал бы просить г. Костомарова не о печатании, а об уничтожении всяких следов печатания. А вернее всего, что я не показал бы носа к г. Костомарову.

«Я мог быть у него только потому, что знал себя и считал его нимало неприкосновенным к делу тайного печатания.

[1]) Конечно, станка тогда уже не было, а набор не мог храниться, как новое обличение по делу Костомарова.

«Но всетаки, зачем я был у г. Костомарова в августе? Когда я прожил весною несколько дней в Москве, я от нечего делать навещал и знакомых, и полузнакомых, и почти незнакомых (например, г. Маслов, управляющий московскою удельною конторою, скорее почти незнакомый, чем полузнакомый мой, особенно тогда; после мы встречались раза три в обществе, когда он приезжал в Петербург). Но в августе я приехал в Москву с петербургским поездом, выехал из нее в тот же день с владимирским, — не показывает ли короткости, что я поскакал на свидание с г. Костомаровым? Дело в том, что я поехал вовсе не к нему. Переехав с петербургской станции на владимирскую и взяв билет, я написал письмо к жене. Мне сказали: с этой станции оно не попадет на нынешний петербургский поезд, — отправляйтесь в отделение почтамта. Я повез письмо. Отдав письмо, я подумал: если уж попал в город, то заеду к Плещееву. Поехал, но вспомнил, что его нет в Москве, сказал извозчику «стой» и начал думать, куда бы поехать. При моем от'езде из Петербурга Добролюбов дал мне адрес г. Головачева [1]), сказав, что, быть может, г. Головачев годится в сотрудники «Современника». Я поехал по этому адресу: собственный дом на каком-то бульваре. «Дома г. Головачев?» — Нет, — отвечала служанка. Выходя из калитки, я взглянул — перед глазами Екатерининский институт. «А, да это рядом с Костомаровым, — зайду к нему покурить». И зашел. Но зашел только покурить. Г. Костомаров на очной ставке, сказав сначала, что я пробыл у него долго, согласился потом, что я торопился ехать, говоря: «Опоздаю на поезд», — точно, я говорил это: ведь неловко же сказать: мне скучно сидеть с вами, — я зашел только выкурить папиросу, потому что боюсь курить на улицах [2]). На самом деле я не мог опасаться опоздать: я приехал на станцию очень задолго до первого звонка — вероятно, слишком за час, — это можно проверить. При мне происходила сцена между военным и мужчиною высокого роста, худощавым, в русском костюме, — это было очень задолго до первого звонка. Полиция должна знать это. Итак, я предпочел курение у г. Костомарова некурению, одинокое курение на стан-

---

[1]) Алексея Адриановича, публицист.

[2]) Тогда курение на улицах не разрешалось.

ции курению в разговоре с г. Костомаровым, — вот пределы, показывающие степень нашей интимности.

«Повторяю: быть внимательным и оказывать услуги — выгода журналиста и качество моего характера; но от этого еще очень далеко не только до тайных отношений, но и до хорошего знакомства; не только до хорошего знакомства, но и до того, чтоб не предпочитать сиденье на станции сиденью с ним.

9. Общее заключение пояснений по всем обвинениям, выводимым из показаний гг. Костомарова и Яковлева.

«Если остается на мне хотя малейшая тень подозрения по этим обвинениям, то я прошу пр. с. разрешить мне употребление средств для получения более полных опровержений. Средствами к тому я нахожу: то, чтобы мне дано было пересмотреть дела г. Михайлова и г. Костомарова — в них должно быть много вещей, разрушающих настоящие показания гг. Костомарова и Яковлева; то, чтобы мне дано было рассмотреть воззвание к барским крестьянам, — так как оно не писано мною, то я ожидаю найти в самом его содержании приметы того, что оно не писано мною; позволить мне внимательно рассмотреть записку, отвергаемую мною. Упоминая особенные средства к раскрытию истины, я, конечно, не отважусь считать нужным для меня перечислять общие средства к тому, полезные для всякого подсудимого: мои судьи сами лучше, нежели мог бы сделать я, откроют все те способы к защите, какие могут быть доставлены мне из этих общих средств.

10. Пояснения по некоторым из вопросов, порождаемых предыдущим изложением или изустною частью допросов, деланных мне во время следствия.

«Я ссылаюсь на мои письма к его величеству и к его светлости г. спбургскому генерал - губернатору в пополнение моего настоящего показания. Но в них есть одно утверждение, которого я не могу повторить теперь. Я в них говорю, что против меня нет обвинений, — теперь против меня выставлено много обвинений. Как мог я говорить тогда, что против меня нет и не может быть обвинений, и что я должен сказать теперь вместо этого?

«Чтобы отвечать на это, прежде всего нужно знать: когда явилось в следствии, производившемся надо мною, каждое из показаний или обстоятельств, служащих материалами для обвинений. При допросе 30 октября мне не было сказано, что есть письмо, говорящее о согласии Герцена издавать со мною журнал, — находилось ли тогда это письмо в руках комиссии? Мне не было сказано о картонных лоскутках, — имела ли тогда комиссия в виду эти лоскутки и считала ли их достойными того, чтобы спрашивать о них, не шифр ли они? — и так далее по каждому обвинению. Как из положительного, так и из отрицательного ответа на каждый из этих вопросов является новый вопрос. Из положительного ответа является вопрос: если это обвинение существовало, почему не спрашивали о нем? Из отрицательного ответа является вопрос: почему-ж этого обвинения не было тогда в руках комиссии, или почему она прежде не находила, а потом нашла его достойным быть предметом допроса?

«Вот факты: я был арестован 7 июля. Первый допрос мне был сделан 30 октября. Но это допрос — говорю не в порицательном, а в юридическом смысле слова, не заключающем в себе ничего предосудительного — чисто только формальный; он совершенно удовлетворительно исполнял юридическую форму, необходимость и почтенность которой я вполне понимаю и ценю: отобрать у подсудимого показания о имени, звании, летах и проч.; я знаю, что эта форма служит для ограждения подсудимого, и уже одна сама иногда открывает его невинность. Но существа дела этот допрос не представлял. Существо дела явилось только на первом мартовском допросе, более чем через восемь месяцев после моего ареста.

«Эти факты многознаменательны: я еще не имею права говорить, в какую сторону они многознаменательны; это право даст мне или отнимет у меня приговор моих судей, — но и в том, и другом случае многознаменательны.

«Когда я был призван в комиссию 1 или 2 ноября (не для допроса, а для формальной замены некоторых моих выражений другими, — замены, почтенность которой я вполне понимаю), один из членов комиссии, — я теперь знаю его имя: он сказал мне его 28 апреля, — это г. Огарев, — я сказал ему в глаза, что считаю человеком честным и хорошим, и конечно, не скажу за

глаза меньше; скорее, я говорю в подобных случаях больше за глаза, чем в глаза, — но не потому я составил себе очень выгодное мнение о его честности, чтоб он защищал меня на допросах, — напротив, он живее всех налегал на то, чтоб я признал записку за мою, а лоскутки — за шифр, — но я могу понимать и всегда ценю, когда человек честно высказывает свое мнение, — все равно, ошибочно или справедливо само это мнение на мой взгляд, в мою ли пользу оно или против меня, — я в том и другом случае одинаково признаю его честность и уважаю за него человека, — итак, г. Огарев 2 ноября сказал мне, что за несколько времени перед моим арестом я более или менее официальным образом спрашивал, могу ли я получить заграничный паспорт. Я прошу пр. с. исследовать истину по этому вопросу. Лицо, манеры и тон голоса г. Огарева всегда внушали мне и теперь внушают мне полную уверенность, что он никогда не унизится до уловок для получения признания, — да это и говорилось вовсе не к тому, чтобы получить от меня показание, — нет, он, конечно, считал основательным сведение, которое высказывал [1]). Такое сведение важно, если же не основательно, то как пример того, что гг. члены следственной комиссии могли иметь неверные сведения обо мне и принимать их за верные, — т. е. с полною добросовестностью ошибаться во вред мне. Где, как, у кого я более или менее официальным образом спрашивал за несколько дней перед моим арестом, могу ли я получить заграничный паспорт? Мне кажется, что это заслуживает исследования; если же не заслуживает, прошу пр. с. извинить то, что я напрасно утруждал его представлением этого моего мнения.

«В изустных об'яснениях на допросах в следственной комиссии я говорил многое из того, что письменно представляю теперь пр. с. в свою защиту, но многого не говорил. Почему же я не говорил тогда? Если это не раз'яснится самым ходом моего процесса, то я с полнейшею готовностью об'ясню это пр. с. точно

---

[1]) Разумеется, Чернышевский язвил, чтобы показать отношения к себе комиссии: Огарев был именно из тех, которые были в состоянии прибегать ко всем приемам, лишь бы вынудить необходимое признание. Н. Г. не мог не знать этого «отличавшегося» тогда генерала.

также, как и все, что потребует об'яснния, по мнению пр. с. Это показание дал 1 июня 1863 года пр. сенату отставной титулярный советник *Н. Чернышевский*».

Итак, мы прежде всего видим, что Чернышевский все еще не терял надежды на здравый смысл агентов царской власти, на их способность быть хоть сколько-нибудь честными людьми, меньше зависевшими от приказа Голицына, Долгорукова и Замятнина, чем от своей совести. Он, наконец, верил, что правительство не решится вести все дело на подлогах, зная, что личность осужденного была очень заметна и популярна.

Сенат ограничился приобщением к делу всех его пространных показаний . . .

Беседуя с опытными юристами, основательно знакомыми с судопроизводством тогдашнего времени, я убедился, что игнорировать эти совершенно элементарные указания Чернышевского можно было только при явном решении вовсе не руководствоваться никаким законом, сколько-нибудь ограждавшим интересы обвиняемого. И подлый сенат твердо и определенно вступил именно на этот путь . . . Вот почему он уже не счел нужным проверить все те фактические указания, которые были сделаны Н. Г. в доказательство того или другого своего утверждения . . .

II.

Еще до получения приведенных дополнительных показаний сенат признал необходимым прежде всего сличить почерк карандашной записки с почерком Н. Г. 19 июня были призваны секретари сената, которые, разумеется, совсем не должны были обладать какими бы то ни было специальными знаниями в области графологии. Такова была рутина, другого способа не знали даже и в сенате.

Для сличения им не дали права свободного выбора бумаг, бесспорно писанных Чернышевским, из всего обширнейшего дела, а, по определению сенаторов, им предоставили карандашную записку Чернышевского, взятую у него на обыске еще 7 июля 1862 г., и показания его 30 октября. Записка эта писана была в марте 1862 г. Вот ее текст: «Вчера было высоч. повеление

оставить без рассмотрения дело о манифестации в Думе. Беспокоить по этому делу никого не будут. Костомаров согласился не читать лекций. Павлов весьма вероятно будет или отдан на поруки князю Г. А. Щербатову или получит разрешение жить в Нижнем у родственников».

Секретарь 1 отд. 3 деп. Любавский нашел, что в почерках есть разница, но буквы *ж* и *з* писаны везде одинаково; способ писания букв *л, я* и *ѣ* тоже; поэтому он пришел к убеждению, что «на записке было сделано умышленное извращение почерка»; к нему присоединился межевого деп. Варгасов; 2 отд. 3 деп. Ордин, 2 отд. 5 деп. Гренков и герольдии Малышев нашли, что «сходство в общем характере почерка нельзя признать, но есть много отдельных букв, имеющих сходство: *б, з, ж, р, л, Д, я, т;* 4 деп. Брут и 1 деп. Григоровский — «характер почерка различен, отдельные же буквы *з, ж, б, к, Д* весьма сходны»; наконец, 2 деп. Тришатный нашел: «в общем почерки руки не нахожу сходными, кроме литер *В, Д, з, ж* и *р* в некоторых словах».

Таким образом каждому ясно, что шестеро отрицали сходство почерка, двое находили *то же самое,* но приписывали это злой воле... Чернышевского, а не подлости Костомарова. Мудрый и честный сенат, подумав над этим вопросом пять дней, решил заняться безграмотным сложением аршин с булками, — чем еще угодно, но составить определение, нужное власти. Оно классически: «Сличив почерк руки Чернышевского на бумагах, писанных им до пред'явления еще ему записки, которую отвергает он, с почерком, коим писана (карандашная) записка», и приняв во внимание, что, по исследованию секретарей оказалось, что из 25 составляющих записку букв найдено сходство 12-ти, — «с своей стороны нашли, что и в отдельных буквах сей записки и в общем характере почерка есть совершенное сходство».

Отсюда решение того же, 24 июня — оставить Н. Г. заключенным в крепости.

16 июня кн. Суворов сообщил сенату, что царь разрешил иметь свидание с ближайшими родственниками: Александром и Евгениею Пыпиными.

Обработка судей.

I.

Сомневались ли титулованные негодяи, так беззастенчиво разыгрывавшие за кулисами будущее сенатское судбище, в сенаторах, зная, что не всех их можно было посвятить в *необходимость* осуждения Чернышевского, во что бы то ни стало, и потому откровенно сознаться в подделке основных улик, — или совесть их беспокоила до полной победы, которая вот-вот могла вдруг сорваться, — но III Отделение сочло нужным преподать будущим судьям знаменитого публициста урок по социализму, коммунизму, эзоповщине языка подцензурной печати и, наконец, по экспертизе происхождения нашумевших «К молодому поколению» и «Молодой России», которые так хотелось связать с тем же Чернышевским.

Для этого сенаторам были взяты два достойных учителя...

2 июля Замятнин послал обер-прокурору пространную «Записку о литературной деятельности Чернышевского», сообщенную ему кн. Голицыным, и мало того, решился прибавить, что посылает ее «к совокупному рассмотрению с делом»...

А от кого получил ее кн. Голицын? На этот вопрос нет положительного ответа. Об авторе можно только догадываться. Это — пресмыкавшийся Илья Арсеньев, литератор, бывший на гастролях в III Отделении и потому прозванный «Искрой» «Арсеньевым III». Так, по крайней мере, рассказывал Рейнгардту служивший в III Отделении подполковник Зарубин. Но принимая во внимание весь тот вздор, который рассказывал этот подполковник и который изложен на стр. 463 — 464 февральской книжки «Русской Старины» за 1905 год [1]), вряд ли можно категорически утверждать принадлежность записки именно Арсеньеву.

Она настолько любопытна во всех отношениях, что, разумеется, должна быть приведена полностью.

---

[1]) Совершенно непонятно, как Рейнгардт решался утверждать, что сам Николай Гаврилович вполне подтвердил разсказ подполковника. Я категорически утверждаю, что этого не могло быть. Нельзя было подтвердить такую ужасную околесицу.

«Две теории, заключающие в себе разрушительные элементы разложения, угрожают опасности нашей общественной жизни при самом начале ее благотворного развития. Первая теория — материальный фатализм, отрицающий индивидуальную нравственную свободу человека, есть извращенное учение нравственной философии; другая — социализм, неисходно переходящий в коммунизм, ставит себя в основание новой политико-общественной экономии.

«По учению первой теории, человеческие деяния совершаются не от свободной решимости разумного человека, не вследствие выбора его совести между добром и злом, а определяются и творятся *исключительно* неодолимою силою среды, в коей живет человек, неотклонимым могуществом природы, географической организации человека и происходящих оттуда обычаев и учреждений. Таким учением уничтожается нравственная *вменяемость* человеческих деяний. Если нет в человеке свободной нравственной воли и деятельности, тогда нет греха, нет преступления, нет стыда, — все деяния безразличны; тогда не за что человека хвалить и хулить, награждать и наказывать. Награжденный для этого класса людей смешон; преступник есть только *жертва общества*, а законное преследование злодея есть только беда.

«Этот материалистический фатализм есть результат того учения, которое отрицает духовную природу в человеке и отвергает бытие божие. Оно исходит из тех основных мыслей, что как *животные*, так и *растения наравне*, т. е. не различаясь между собой, *тождественные* по природе и *единые* по составу своему и жизни, суть скопление разно-вещественных ячеек; что вообще *жизнь* есть не что иное, как химический процесс ячеек, разнообразно разлагающихся и слагающихся между собою и окружающею их средою; что такой процесс и акт размножения и есть единственное допускаемое разумом *бессмертие вещества;* что высший организм в природе, с таким же процессом химическим, но искусно снабженный раздельными органами для каждого отправления, есть *человек* — произведение веществ природных, в коем инстинкт называется *разумом*.

«Изложенная теория, распространившись отдельно, без связи со второю, была бы способна произвести в государстве увеличение числа преступлений; но это учение в своем применении введено в другую теорию, которая направлена *прямо* против всего благо-

устроенного общества, — на его силы, труды, богатство и учреждения, короче сказать — введено в социализм и коммунизм. Социализм, переходящий в коммунизм, есть учение о необходимости распределения материального богатства, т. е. разделение его между всеми лицами народонаселения не на юридических основаниях, отсталых, как говорит эта школа, общественных учреждений, а на прогрессивных *соображениях* новых экономистов, *с созданием других* (коммунистических) *форм правления*. Эти две теории составляют в наше время зерно будущих общественно - правительственных переворотов в Европе. Сторонники их — не заговорщики, а проповедники революций. С тех пор, как *совершаются* революции, говорят они, не стоит заниматься заговорами. Эти слова характеристичны. Стоит ли прибегать к такому опасному средству, когда есть возможность, отвергая, по теории нигилизма, стыд, преступление, грех и указывая, по теории коммунизма, на готовые чужие капиталы и ценности, спокойно, сидя за письменным столом, проповедывать массе народа: богатства распределены не так! они распределены вредно для общества! кто живет на проценты, прибыток, ренты, тот *похищает достояние общества*; надобно сообща разделить ценности арифметически, так, чтобы *их делитель* был *цифра населения, делимое — цифра ценностей*, а выйдет *частное*, это частное есть *количество ценностей, принадлежащих каждому лицу*.

«Из наших периодических изданий «Современник» в последние годы являлся проводником обеих указанных теорий в статьях Чернышевского, обзор которых составляет предмет настоящей записки.

А. *Материальный фатализм.*

«Для социалистов и коммунистов воля человеческая разумно-свободная, опирающаяся в выборе деяний на совести или сознании добра и зла, делала всегда, как само собою разумеется, много хлопот. С одной стороны, вводимая ими совершенная зависимость от общества по имению и управлению, необходимость руководиться природою требует, конечно, сильной дозы самоотвержения, нигилизма. Тут для привлечения себе адептов пропагандисты коммунизма прибегают к теории материального фатализма, животного

инстинкта, несправедливо называемого разумом, к отвержению духовности и материализму. Но, с другой стороны, все-таки, возникает необходимо вопрос: как же будущий коммунист без свободной воли уживется в утопической коммуне? Чем будет он руководствоваться, чтобы безобидно поставить себя относительно своих собратов? Тут дают ему иные некоторую волю, например, на выбор труда, на разумное соревнование, на общее содействие. Доза этой свободы так мала, что Бокль, все-таки, прямо отвергает свободную волю, но Чернышевский, желая обольстить *индивидуальною самостоятельностью в коммунизме,* высказал мысль, что *люди существенно все одинаковы!* («Атеней», 1858 г., май и июнь). Коммунисты приобрели себе драгоценную находку в том положении, что *каждый человек — как все люди, что в каждом — то же, что в другом.* Это положение дозволяет выводить из него те же следствия, как из материалистического фатализма. Так, из развития означенной мысли оказывается: 1) что этот фатализм тождественности есть *материальный,* естественный (там же, стр. 76); 2) что человек, лишенный свободы нравственной, лишается и вменения (стр. 78), и 3) что вины в человеке нет, а есть беда (стр. 79).

«Стеснение индивидуальной свободы в коммунизме сознают все наблюдатели коммунистических тенденций. Чернышевский в одном месте сам напоминает об этом («Совр.», 1860 г., № 1; «Современное обозр.», стр. 60), но опровержения на это замечание не поместил нигде, а только рассказал далее, каким путем в изустных спорах он с торжеством опровергал своих противников.

«Замечательна еще одна сторона в учении Чернышевского. Он иногда проповедует высокие истины, — например, *человек обязан искать истины, поступать честно,* общество обязано стремиться к водворению *справедливости, правды, законности.* Но такие принципы, *предписывающие что-нибудь делать,* имеют у Чернышевского два значения: одно значение их только *общее,* теоретическое, *неопределенное:* истины их, взятые *в частности,* могут терять свой всеобщий характер, свой неизменный тип; другое значение их *частное* в сфере практической, а не в теории, в сфере действия, а не мысли; тут коль скоро общая мысль переходит в применении своем в практику, и уже указан способ ее исполнения, она может изменить первообразному своему характеру всеобщ-

ности, потерять свою безысключительную применяемость. Так, самое общее положение — *поступай честно* при определении способа применения может допускать *некоторые* исключения. А всякое другое правило допускает еще *больше исключений*. Неопределенность общих принципов даже такова, что они дозволяют (под пером Чернышевского) различные для себя выражения: так, *поступай, честно* (по его мнению) равносильно принципу: *поступай согласно с природой*, или: обязанность поступать честно, по природе, неразлучна с организмом человека.

«Итак, в частности в приложении к практике общие принципы подвержены изменению: наприм., *честность вообще* требует истины, но *в частности честность почти всегда* (не абсолютно, а только *почти* всегда) требует соблюдения истины; *иногда она требует нарушения истины*. Случаи, в которых нарушение истины может допускаться, принадлежат исключительно практической сфере; они относятся к жизни действия.

Б. Социализм и коммунизм.

«Учение о материальном фатализме, не составлявшее главной стороны тенденций Чернышевского, далеко не полно развито в его сочинениях; напротив, теории социализма и коммунизма изложены весьма подробно: им со скрытыми их следствиями, в 1860 г., Чернышевский посвящал все свое время.

«Главным источником для уразумения автора служат три его произведения, помещенные в «Современнике»; из них два содержат теоретическую сторону учения, третье — сторону историческую или применительную.

«1. «*Капитал и труд*» — большая статья («Совр.», 1860, янв.), написанная по поводу сочинения профессора Горлова («Начала политической экономии»), содержит почти целую теорию социализма и коммунизма в сокращении.

«2. Перевод политической экономии английского ученого *Милля*, весьма приближающегося в своих воззрениях к Прудону, сделанный Чернышевским и снабженный его примечаниями, тянется почти во всех книжках «Современника» 1860 года и переходит в 1861 год. Переводчик своими примечаниями и толкова-

ниями, присоединенными к переводу, стремится Милля переделать в Прудона. Этот перевод и об'яснения содержат целую систему учения, проповедуемого Чернышевским.

«3. Для распространения этого учения в том же 1860 году написана весьма резкая для правительства и достаточных классов статья под заглавием *«Июльская монархия»*, в которой выставлены тенденции как французских, так и всяких либералов, демократов, возникновение социализма и бунты работников; правительство Луи - Филиппа, пренебрегавшее низшими классами, выставлено в самом черном свете, и на этом основании выведена несостоятельность династии июльской. Статья написана вследствие выхода мемуаров Гизо, но автор сам говорит, что он не держался этой книги, издание которой служило для него только предлогом для изложения фактов с точки зрения диаметрально противоположной Гизо, и по другим источникам (Луи Блан).

«Основание всей теории коммунизма состоит в том, что *труд есть единственный производитель ценностей!* Давать участие в производстве *капиталу* — одни фразы («Труд и капитал», «Совр.», 1860 г., январь, стр. 38).

«Отсюда следует:

«1. Что потребление произведенных ценностей по праву не принадлежит никому другому, как *работнику,* так как *капиталисты* не трудятся.

«2. Судя по теперешнему положению вещей, нужно другое распределение богатства. Да и вообще всякое потребление имеет основою *распределение* (стр. 19 той же статьи).

«3. Поэтому богатство, излишек ценностей, непроизводительно, вредно: оно произошло в обиду работнику. «Каждая индейка, покупаемая в Петербурге за 3 рубля, отнимает у общества пуд говядины. Каждый аршин сукна ценою в 10 рублей серебром отнимает у кого - нибудь теплую шубу» (стр. 43 и 44).

«4. Богатые составляют *лигу.* Рабочий класс еще не понимает этого. «Среднее сословие уже действует на исторической сцене, а главная масса еще не принималась *за дело:* ее густые колонны еще только приближаются к полю исторической деятельности» («Совр.», 1861 г., май, стр. 115). Масса убеждена, что роскошь и воровство одинаково непроизводительны, вредны; роскошь их обкрадывает, убавляет от их заработков.

«5. Распределение путем *переворотов* должно совершиться в том смысле, что часть каждого члена общества по возможности будет близка к средней цифре, полученной из отношения массы ценностей к числу народонаселения (стр. 18 и 50).

«6. Осуществлению этого идеала мешает *лига:* она вся основана на существовании *фактов* (не закона) *собственности и обычая наследства* (стр. 36).

«7. Должны быть даны новые учреждения, имеющие целью перевести ценности только в руки лиц, вносящих в общество *труд, лишив* ценностей лиц, которым принадлежат капиталы, потому что: а) капиталисты располагают только силами других лиц, которым поэтому принадлежат ценности одним по праву, б) трудящийся не должен имет более того, что сам произвел, а капиталисты захватывают ценности, произведенные другими (воровство) (стр. 51).

«8. Средства, представляемые теориею для осуществления этого состояния, несколько похожи на предприятие из среды общества таких подвигов, какие совершил американец Векер, или какие совершало парижское общество Des amis du peuple, которое располагало таким могуществом, что вооружало батальон и отправляло на помощь Бельгии против Голландии.

«9. При настоящем положении общества в Европе эта теория лежит в основании деятельности: *в Англии* — у работников; это видно из союзов их или стачек, обнаруживающихся в колоссальных отказах от работы для принуждения фабрикантов к повышению заработной платы; *во Франции* — у учеников Прудона и Сен-Симона; *в России* — у раскольников и отчасти в общинном землевладении.

«Здесь нельзя не вспомнить, что в одной из статей Чернышевского («Капитал и труд») начертан подробный план коммунистического устройства общества, основаннного как бы для образца. Этот план в своем изложении обставлен, естественно, весьма благовидно и благонамеренно, скрываясь под формою обыкновенного товарищества для совокупной четырьмя или пятьюстами семейств эксплоатации земледельческих продуктов с устройством мастерских общих и для других производств, с согласия правительства, даже при его пособии. План назначен для государства, которое хотя не поименовано, но которое очень не-

трудно угадать по приведенным тут же признакам: 1) оно дает десятками миллионов взаймы компаниям железных дорог, 2) тратит десятки миллионов на разные великолепные постройки, 3) богато полями и другими угодьями, 4) признак, что в нем для помещения товарищества трудящихся находится среди полей множество старинных зданий, стоящих запущенными и продающихся за бесценок, конечно, не подходит ни к одному из существующих теперь государств, но совершенно подходит к Франции 1793 — 1799 годов. Припомнив утопию в воззвании «К молодому поколению» о распространении подобных коммун, приняв в соображение первые три признака, подходящие теперь к России, четвертый, вероятно (в мысли автора) *имеющий подходить*, нельзя не убедиться, что план имеет в виду дать новый вид нашему отечеству.

«Распространители идей коммунизма выказали огромные таланты, когда они не только развили учение, но и дали приемы уничтожать все существующее, все устроенное на религии, нравственности, законах, обычаях. Методы эти могут быть рассматриваемы с трех сторон: а) или для обойдения цензурного устава, или б) для наведения мыслей юных адептов коммунизма на новые коммунистические начала, для сообщения им определенных форм и приемов в борьбе при столкновении с прежним порядком вещей. Тут придуманы два метода: один — *отрицательный*, уничтожительный, разрушительный, а другой — *гипотетический*, или способ суждения *по предположению*.

«Что касается методы для обойдения цензуры, которая, впрочем, в 1860 году была очень слаба, то приемы были отчасти общие: ослабление мысли, смягчение, ограничение чрез прибавление слов: *иногда, некоторый, иной;* сваливанье всего дела на западных народов; это все делалось и трактовалось так, что ясно было, что идет дело о принципах и истинах всеобщих.

«Специальные приемы Чернышевского состоят в следующем:

«а) В главную цепь суждений и умозаключений он вставляет обыкновенно слова и фразы из обыденной жизни, из сведений пошлых, впрочем, несколько идущих к делу, и вслед затем опять продолжает главную свою мысль и опять прерывает подобную болтовнею и пошлыми речами. О Чернышев-

ском нельзя сказать того, что обыкновенно говорится о газетах: читать над строками. У него должно читать буквально между строками, отделенными одна от другой пустой болтовней. Это его главный, преобладающий тон. Колорит резкий стерт с мысли перерывами, очевидно, нелепыми, но он стерт, как сказано, грубо, и послушная фаланга читателей поневоле вчитывается, размышляет, а тогда уже не трудно отыскать преобладающую мысль. Надобно полагать, что ключ к этому секрету открывался иногда словесно, иногда сам автор в важных местах советовал вникнуть в дело, которое, впрочем, *само за себя говорило.* б) Другой прием, свойственный Чернышевскому, есть буффонство и глумление. Везде, где он начинает буффонить, за этим глумлением непосредственно следует самое резкое место. в) Иногда он торжественно заявляет, что о том-то и о том-то он говорить не будет и не дорожит этим: в одном месте он плюет на коммунизм, но читайте дальше, дальше он говорит, и как говорит! Под конец коммунизм оживленный является необходимым исходом для настоящего порядка! г) Иногда мысль выставляется у него в свете весьма неблагоприятном, но зато сряду жестоко опровергаются ее противники. д) Наконец, он никогда не пропустит случая доказать свою мысль каким-нибудь существующим учреждением или обычаем, которое отчасти напоминает его мысль или имеет некоторое к ней отношение. Так, в праве государства отчуждать от частного лица недвижимую собственность, нужную для какой-нибудь важной общественной надобности или предприятия, Чернышевский видит начало коммунизма, распоряжающегося посредством своих представителей общественным достоянием.

«*Отрицательный* способ связан не только со всею системою коммунизма, но и со всем логическим и метафизическим строем ума и духовной деятельности человека. Он есть ужасное изобретение разрушительного мышления нашего времени. Понятие об этом способе дано Чернышевским в «Современнике» 1860 г. за апрель и май, в критике книги Лаврова.

«Известно, что школа материализма отвергает всякое духовное начало: нет в человеке души, нет воли, нет свободы, нет добра и зла, нет вменения. «Наблюдением физиологов, зоологов и медиков отстранена всякая мысль о *дуализме* человека»

(349 стр. «Совр.», май). Никакого дуализма в человеке не видно; еслибы человек имел, кроме *реальной* своей натуры, другую, духовную натуру, то эта натура обнаружилась бы где-нибудь.

«Короче: души нет, — одна животная натура в нас!

«Для уразумения всей важности методы отрицания надлежит сообразить следующее: так как доселе и вера, и совесть, и философия учили противному, т. е., что в одном человеке соединены две природы: духовная и телесная, то естественно, что от *принятия* и в обществе человеческом *духовного начала* как в мысли, так и в практике есть в обществе множество сторон и учреждений *духовных* или, по крайней мере, основанных на *духе;* такие стороны духовные есть в сферах семейной, гражданской, государственной, религиозной; эти духовные стороны, выражаемые часто, как аксиомы, принимаются, верятся, возвышают человека до неба и Творца.

«Новая школа не принимает духовности; следовательно, должно отринуть, отказать в бытии, уничтожить в обществе и учении все, основанное на духовности во всех сферах: в семье, в гражданстве, в государстве, в добродетели, в науке, в вере, — да тогда всего этого и не будет, не будет и святости, и семьи, и права, и власти, нет добродетели, нет самоотвержения и соединения религиозного с богом. Даже нет и мысли, потому что, по этой философии, *мыслят и собаки.* Таков отрицательный метод, задача которого состоит в том, чтобы на основании отречения от духа и от невидимой идеи провести это отречение через все сферы, в какие только может поставить себя человек по своей всесторонней природе!

«На чем основывает эта школа свое отвержение от духа? На начале самом детском, — именно, что духа никто не видит, от духа никто ничего не слышал! «В эту минуту вы, читатель, уверены, что, когда вы читаете эту книгу, в той комнате, где вы сидите, нет льва. Вы так думаете потому, во-первых, что не видите его глазами, не слышите его рыкания. Есть у вас второе ручательство: это факт, что вы живы. Еслиб в вашей комнате находился лев, он бросился бы на вас и растерзал бы вас» и проч.

«Приняв в основание этот нигилизм, материализм, фатализм жизненный, автор научает, как должно отвергать все духовное. Этот отрицательный метод иначе называется: *заключение о ха-*

рактере неизвестного по характеру известного. Известным здесь называются *истины наук материальных,* или *математических,* имеющих назначением приложение к *материальным* величинам. Неизвестное, это — духовный мир. Делать заключение о характере неизвестного по характеру известного значит судить *о мире духовном* с точки зрения наук материальных и все духовное, как сказано, отвергать, низводя все в сферу материализма.

«Таким образом в излагаемом учении, вместо свободной воли, поставлена необходимость причинности. Отвергнув свободу и хотение, последователи этого учения уже не допускают различия между добрым и злым человеком. Для этой школы нет добродетели. Жена плачет о потере мужа, мать плачет о смерти дитяти: это отголосок эгоизма (стр. 33).

«Как вид, как подробность в приложении методы отрицательной является метода *гипотетическая,* или *предположительная.*

«В работе отрицания, конечно, школа Чернышевского встретила целый живой мир, восточный и западный, прошедший и настоящий, верящий в духовность и благоустройство. Особенно законы, ограждавшие и ограждающие собственность и наследство, повсюдны. Для этой специальной борьбы с собственностью, для убеждения людей в необходимости нового *распределения* изобретен новый прием — *гипотетический,* или предположительный.

«Особенность его есть следующая:

«Обыкновенно политико-экономы для своих выводов пользуются статистическими данными, но факт статистический есть произведение истории; он сотворился жизнью народа при господстве известной веры, законов, правления, обычаев. Поэтому, принявши статистическое данное, автор должен был принимать и факт исторический и его всякого деятеля.

«Но этого-то наши экономисты и несогласны делать по закону отрицания. Для сего, чтобы провести свою мысль, они учат, что фактов статистических принимать не нужно, а нужно предположить известное состояние людей на основании мысли (фантазии) автора. Так, они предполагают (вне существующего мира) известное место с таким-то народонаселением, мужским и женским, с таким-то количеством рабочих сил, времени и выводят потом, конечно, те же результаты, какие сначала уже были

в их мысли, и которые они как будто бы вывели на основании *предположительных данных*. «Ваши статистические данные, — говорят они, — не суть данные чистые, одной причиной произведенные, а произведены они многими причинами; а наши *предположительные* данные, суть данныя чистые, верные, стоит их только увеличивать или уменьшать». На это можно ответить, что это-то и доказывает *фантастичность* данных ваших: значит, в жизни действуют многие факторы, *вдруг* и *постоянно*, и отклоняться от них мы права не имеем.

«Этим гипотетическим методом Чернышевский пользовался постоянно в своих замечаниях на политическую экономию Милля и с помощью его выводил свои результаты, которым недоставало одной реальной действительности.

«Подобная литературная деятельность Чернышевского принесла горькие плоды. Проповедуемое им вредное учение было усвоено неопытною молодежью, которая, проникнувшись новыми идеями, пожелала осуществить их на деле путем опасной пропаганды и прибегла для этого к тайной печати. В подметных прокламациях высказываются те же самые политико-экономические учения, которые развивал Чернышевский, с тою лишь разницею, что в прокламациях они не прикрыты ученою диалектикой, а являются в безыскусственной форме и осязательной нелепости. Те самые политико-экономы старой школы (Бастиа, Рошер, Рау), на которых с ожесточением нападал Чернышевский в своих сочинениях, составляют предмет резких и грубых нападок для авторов подметных листков. Наконец, насильственные средства к осуществлению новых порядков указываются в прокламациях с беззастенчивою откровенностью такие же, на какие Чернышевский, стесненный условиями цензуры, мог в своих литературных произведениях только намекать более или менее ясно. Словом сказать, прокламации суть как бы вывод из статей Чернышевского, а статьи его — подробный к ним комментарий».

Вот *какой* «документ» приказано было принять во внимание сенату, и под каким властью предписанным заведомо преступным углом зрения рассматривать Чернышевского. Ни Замятнину, ни

сенату, ни правительству вообще, конечно, не было совестно вменять человеку в преступление статьи, разрешенные правительственной же цензурой. То ли еще делалось в застенках подлого самодержавия...

Сенат, так заботившийся о *внешнем* декоруме юридического приличия, определил не вносить ни эту «записку», ни приведенную вначале «Записку из частных сведений» (стр. 198—202) в свое определение с откровенным указанием: так как обе они сообщены *секретно,* а «записку» сената надо будет дать Чернышевскому для прочтения...

II.

Второй учитель... В. Д. Костомаров.

Вот письмо кн. Долгорукова к Замятнину от 4 июля 1863 г.

«Милостивый Государь, Дмитрий Николаевич! Не угодно ли вам будет, если найдете свободное время, просмотреть прилагаемую другую записку о литературной деятельности Чернышевского. Она очень занимательна и, может быть, была бы прочтена не без пользы некоторыми г.г. сенаторами».

Разумеется, просьба была исполнена — шефы жандармов, как императоры, прося приказывали.

Она не вполне оригинальна, во многом повторяет первую, но заслуживает не только быть приведенной здесь без каких бы то ни было сокращений, но и весьма внимательно прочтенной.

Разбор литературной деятельности Чернышевского,

составленный Всеволодом Костомаровым.

I.

Жизнь общества, как лица собирательного, подлежит тем же законам, по которым совершается и жизнь всякого человеческого индивидума, отдельно взятого.

Таким образом, общество заявляет о своем существовании непрерывным движением вперед, — жизнью, совершающейся воочию каждого.

Подобно отдельному человеку, общество имеет различные органы, совокупною деятельностью которых совершается жизненный процесс целого организма.

Подобно отдельному человеку, общество имеет высшие и низшие органы, руководящие и подчиненные; подобно отдельному человеку, функции одних органов могут совершаться правильно и приносить общую пользу целому организму в то время, как бывают поражены болезнями и неправильным отправлением своих функций или приводят весь организм в расстройство и причиняют ему смерть, или задерживают правильный ход жизни, — смотря по тому, какую они играют роль в экономии целого организма.

Если у общества поражены лучшие органы его организма, оно хиреет и начинает умирать. У общества, как и у отдельного человека, есть болезни, против которых нет исцеления.

Но если поражены такие органы, исцеление которых возможно, мы не должны запускать лечения, как бы ни ничтожно казалось нам с первого взгляда положение болезненного органа в общей экономии целого организма.

Медицина не признает никакой болезни ничтожною. Простой порез пальца может иметь исходом поражение целого организма и смерть.

Все зависит от того, чтоб захватить болезнь в самом ее начале. Но если вы пренебрегли порезом своего пальца, и у вас приключится Антонов огонь, — дайте отрезать свою руку, иначе смерть неизбежна.

II.

Наш общественный организм находится именно в таком положении.

Язва, привитая к нам извне, готова войти в плоть и кровь нашу.

Болезнь запущена.

Пораженные органы исцелить уже нельзя. Их надо отсечь.

Иначе яд их привьется ко всему оргнизму.

III.

Цель настоящего мемуара есть исследование болезни, поразившей наше общественное тело.

IV.

Болезнь эта есть два учения, привившиеся к нашему обществу.

Материалистический фатализм, — учение которого направлено к полнейшему искоренению всех начал нравственности, религии и закона, и

Коммунизм, прямо направленный к ниспровержению всех начал семейного, общественного и государственного устройства.

V.

Эти две теории начинают входить в плоть и кровь нашего общества.

Но как же это случилось, что при таком (казалось бы) бдительном надзоре цензуры пропаганда этого учения могла взойти так далеко?

С другой стороны, почему пропаганда этих материалистических и коммунистических идей так глубоко запала в сердце нашего организма и так сочувственно встречена была лучшим большинством нашего общества?

Мы говорим «лучшим большинством нашего общества» и не думаем, чтобы употребленное нами выражение было неправильно. Как и в отдельном человеке, в экономии общественного организма совершается непрерывное обновление сил. Не велика еще радость, что старые наши соки не заражены; старое доживает свое время, и организм его выбросит. В жилы его войдет свежая, молодая кровь, и ею будет поддерживаться жизнь целого организма, пока и эти молодые соки не состарятся, не выкинутся и не заменятся новыми, свежими. Хороша ли же будет жизнь, когда здоровое старое уйдет, а новое молодое будет гнило?

VI.

Итак, мы предложили себе два вопроса: 1. Опека цензуры у нас строга. Как же случилось, что при ее бдительном надзоре пропаганда вредных учений могла зайти так далеко?

Решение этого вопроса находится в тесной связи с решением второго:

2. Почему пропаганда нового учения так сочувственно встречена была лучшим большинством общества?

Связь между этими двумя вопросами мы покажем ниже. Теперь мы займемся пока только внешнею стороною первого.

VII.

Первый шаг пропаганда сделала, прикрывшись маской науки: «Бунты иногда не удаются», говорит Чернышевский. «Есть другой, гораздо спокойнейший путь к разрешению общественных вопросов — путь ученого исследования».

С этою целью, т. е. для пропаганды «новых» идей путем научного исследования, и в «Современнике» был помещен ряд статей против Юркевича и других философов-идеалистов. В этих статьях защищался и косвенным образом пропагандировался материализм, доведенный, как мы увидим, до материалистического фатализма, т. е. до полного отрицания нравственности, религии и закона.

В то же время и в том же журнале Чернышевским напечатаны три «ученые» сочинения: 1) «Капитал и труд» («Совр.» янв. 1860), 2) перевод политической экономии Милля, с примечаниями и 3) «Июльская монархия» (ib). *Все эти статьи путем научного исследования* проповедуют теорию социализма, доведенного автором до крайних результатов, т. е. коммунизма.

Это один путь.

Другой путь — надувательство цензуры. Об этой чрезвычайно удобной методе послушаем анонимного автора юмористической, но весьма серьезной статьи «Цензор впопыхах», помещенной в апрельской книжке «Совр.» за 1862 г.

«Я давно уже помышляю, — говорит анонимный автор (или, если хотите, Щедрин, потому что статья, очевидно, написана им) — о возможности пред'явить публике такое произведение человеческого слова, в котором грубость являлась бы в приятном сочетании с лестью, и которое в одно и то же время удовлетворяло бы требованиям современности и не противоречило намерениям начальства . . . Нет сомнения, что грубость в одиноком состоянии, — *грубость абсолютная в государстве, пользующемся покровительством законов, невозможна,* но, с другой стороны, не подлежит

сомнению и то, *что публика настоятельно требует, чтобы писатели грубили как можно сильнее.* Посему задача писателя знаменитого обрисовывается сама собою. Он должен действовать, так сказать, двуутробно: одною утробою изливать яд и хулу, другою источать тонкую паутину лести. Я знаю, что и до меня некоторые отличнейшие писатели выказывали в этом смысле намерения, заслуживающие всякого поощрения, но считаю, что опыты их были не совсем удовлетворительны, ибо лесть действовала в них слишком исключительно и притом во всей своей наготе. Я же, напротив, думаю, что в литературном упражнении лесть должна быть распространена в виде тончайшего эфира»...

Дальше эта мысль развивается еще яснее: «Дело в том, — говорит автор, — что нынче «мальчишки» так писать изловчились, что сам чорт их не разберет. Хвалят они, издеваются, сочувствуют или только так время проводят, определить это можно разве только посредством «ключа к таинствам природы». Мало того, что писать сами изловчились, но и цензуру к такому своему противоестественному слогу приучили и постепенно достигли, наконец, того, что вещи отлично благонамеренные, но написанные слогом размашистым, весьма часто не проходят, а вещи противоестественные, написанные слогом, так сказать вывороченным на изнанку, проходят весьма благополучно». Тут автор делает такое примечание: «Значит, что всякое дело надо делать умеючи... и сверх того означает, не следует ли предоставить авторам свободу выражаться как им хочется?». И в самом деле, работа эта такая трудная, что в голове поставленного втупик цензора зреет следующий «весьма полезный» проект:

«Для рассмотрения нигилистических сочинений определить цензора из нигилистов; разумеется, такого нигилиста, который понимал бы нигилистические диалоги, но в сущности был бы человеком благонамеренным. Посредством такой комбинации... всегда был бы под руками человек, который нигилистическую кабалистику мог бы читать à livre ouvert».

Мы много находим намеков на эту методу и в серьезных статьях «Современника». Говоря о каком-нибудь предмете полусловами или с маскировкой ради обойдения цензуры, авторы этих статей часто обращаются к читателю с просьбой хорошенько вникать в их слова или в их образ мыслей. Так, напр., в статье

«о распределении» («Соврем.» 1861 № 6), говоря о способе распределения и находя неудобным высказаться о том, «который способ лучше сам по себе», Чернышевский замечает: «читателю, сколько-нибудь вникающему в наш образ мыслей, должно быть это понятно». Иногда это вразумление читателя делается еще проще: автор, восхваляя какое-нибудь учреждение, напрямки говорит, что слова его следует понимать в обратном смысле, и если он говорит не то, что надо, так это только потому, что за «инаковый» образ мыслей его могут представить к суду для наказания.

Возьмем, например, перевод Милля. Первые две главы 2-й книги трактуют о системах экономического устройства, основанных на коммунизме и на уничтожении частной собственности. Чернышевский совершенно справедливо предполагает, что читатель ждет от него изложения этих систем и доказательства их полезности. «Как бы не так! держи карман!» — восклицает Чернышевский, — «неужели, читатель, вы до сих пор так наивны, что думаете, будто мы (я говорю, собственно, про себя, про других не знаю), будто мы поступаем как следует поступать (т. е. станем доказывать полезность коммунизма). Например, будто мы пишем, о чем следует писать? Никогда! Да, с гордостью могу сказать я о себе, что никогда не отступал до сих пор от правила: пиши не о том, о чем следует, да и о том, о чем почти что не стоит писать, пиши не так, как следует» («Совр.» 1861, № VI, стр. 479). Кончая свою статью, Чернышевский опять-таки предполагает, что читатель заметит в ней один важный пробел: именно, что Милль ни слова не говорит об общинном землепользовании у нас, а русский переводчик не пополнил этого натурального пропуска. «Что-ж делать!», — оправдывается Чернышевский, — «будто уж всегда действуешь натурально: иной раз поступаешь так, что сам пожимаешь плечами. Отложим этот предмет до другого случая» . . . (ibid., стр. 547). Когда этот другой случай представится, Чернышевский обещает уж откровенно высказать свое мнение об общем принципе нормы хозяйства, требуемого теорией коммунизма, — в противоположность (говорит он) принятому нами правилу, не говорить о том, о чем должно: но, ведь, человек не ангел, погрешает иногда против правил самых хороших и самых любимых» (ibid., стр. 518). «Но на этот раз (продолжает автор) мы по своему правилу отказались от той формы распре-

деления, которая происходит из хорошего рассчета и о которой по всем соображениям здравого смысла следовало бы нам теперь говорить» (ib., стр. 519). Что же заставляет Чернышевского умалчивать о той теории, которую он считает рассчетливо-хорошею? «Я уважаю законы», — отвечает Чернышевский. Стало быть теория, от изложения которой поневоле отказывается Чернышевский, противна основаниям нашего законодательства?

Ну, конечно.

Какое, подумаешь, трогательное уважение к закону! Вот уж чего никак-то нельзя было ожидать от человека, отвергающего самый принцип закона.

Да и не ждите.

Чернышевский сейчас же об'ясняет нам источник своего уважения к *закону:* «Я уважаю закон» — говорит он, — «*да и то лишь, когда за ним стоит судебная власть с своими наказаниями, и не могу я от них уйти*» (ibid., 519).

Где уж тут уйти. «Ведь, человек не ангел». Проговорился и поступил «в противность» своему правилу — ну, и не ушел lex dormitavit.

Но иногда он и просыпается.

И тогда уж, конечно, *не можете вы от него уйти.*

Эта метода *полуслов и намеков,* совершенно понятных для *вникающего читателя,* чрезвычайно удобна. Административного преследования она, конечно, навлечь на себя не может; если же голос негодования на слишком резкие выходки «мальчишек» (как сами себя называют писатели-нигилисты) раздается из среды самой литературы, «мальчишки» сейчас же оправдываются тем, что всякая строка их писаний напечатана с дозволения и одобрения администрации. Напр., упрекают «Совр.» в слишком крайнем демократизме, «Совр.» отвечает своим обвинителям:

«О каком демократизме вы говорите? Вспомните, что, ведь, мы не *в диком* государстве живем, где все можно говорить; что у нас цензура тоже есть, цензура попечительная, налагающая на уста добровольное молчание... а то — «демократизм»! где такое чудо видели?».

Неправда ли какая «грубость в виде лести» в этой тираде о диком государстве, где все можно говорить?... А, между тем, фраза совершенно цензурна.

Поневоле согласишься с автором «Цензора впопыхах», что «для россиян ничего неприступного быть не может».

Наконец, нам остается сказать еще несколько слов о третьем пути пропагандирования «новых идей», — пути «тайного книгопечатания» и подметных воззваний, манифестов и плакард.

Ниже мы увидим, что большая часть произведений этой подметной литературы есть не что иное, как развитие, дополнение и пояснение идей, замаскированных или недоговоренных в привилегированных статьях нигилистских литературных органов.

VIII.

Теперь мы приступим к разрешению второго из двух вопросов, поставленных нами во главе этого мемуара:

Почему пропаганда нового учения так сочувственно встречена была лучшим большинством общества?

Мы об'ясняем себе это следующим образом.

Жизнь русского общества естественным и легитимированным путем дошла до отрицания своих старых порядков, считавшихся в продолжение многих веков непреложными; русскому обществу дана была возможность критически относиться не только к тому, что доживало свои последние дни, но и к тому, что предназначалось для замены старого. Таким образом, и по внутренним условиям своего развития, и поощряемое извне, русское общество вышло из своей пассивной несамодеятельности и вступило на путь отрицания и самостоятельного критизма.

Этим моментом чрезвычайно ловко воспользовались агитаторы для своих целей, чтобы отрицания только некоторых видимо отживших условий социального и государственного быта,—довести русское общество до безусловного отрицания всего существующего в церкви и религии, в семействе и обществе, в законе и государстве.

Одним словом, условное отрицание *некоторого* они превратили в безусловное отрицание *всего*.

С другой стороны, относясь ко всем явлениям нашей жизни критически и рядом самых наглых софизмов стараясь доказать несостоятельность всех отживших, всех существующих и всех

вновь заводимых порядков, они показали нам картину нового социального быта, идеал которого они видят в коммунизме.

Постараемся развить эту мысль подробнее и яснее.

IX.

Если явление существует, значит оно имеет причины существовать. Если оно не находит поддержки извне, значит находит силы для своего развития внутри того общества, в котором оно явилось.

Отрицать жизнь в живом организме было бы смешно. Старое старится, молодое растет. Отрок уже не довольствуется тем, что занимало ребенка, юноше мало того, чем был доволен отрок. Новый возраст — новые потребности. Новая жизнь — новые идеи. Новые силы — новые движения. Новая деятельность — новые надежды.

Люди отжившие, — люди, которых старческая немочь не пускает итти вслед за поколением юным и свежим, с горечью и желчью говорят, что больше всего их пугает та беззаботность, с какою в эти эпохи возрождения каждый высказывает и отстаивает свое мнение. Этим ясно и резко обозначается контраст обеих эпох, — отжившей и спящей старины и бодро встрепенувшейся юности.

В эпоху беспомощного детства, когда малолетнее общество находилось еще под безответственной и неограниченной опекой старших, литература жила в полнейшем ладу со всем, что существовало в государстве и церкви; она была восторженным панегириком власти, под опекой которой всякому жилось хорошо, как в дни Соломона «всякому под своей смоковницей». Теперь не то.

Молодое растет.

Литература давно уже отказалась от своего хвалебного тона. Но еще не имея сил быть независимой, она стала относиться индиферентно ко всем социальным вопросам и посвятила всю свою деятельность области искусства.

Но старое все старится и дряхлеет, молодое все крепнет и растет.

Опека ослабла. Ей уже не под силу сдерживать порывы юных сил. Не под силу, — да она и сама поняла, что водить на помочах своего мужающего питомца и смешно, и стыдно. И вот она сняла эти помочи, ограничившись одним разумным отеческим надзором.

Литература стала отрицательна и критична.

Литература перестала тихо и незаметно прозябать в своем замкнутом кружке только для себя самой; она делается воинственною, обращается к массам и формирует неведомую до сих пор силу общественного мнения. Поэзия скромно отступает назад и охотно служит орудием распространения новых идей; даже наука стремится к тому, чтобы свое учение и свой образ мыслей сделать непосредственным основанием новой церкви, нового государства и нового общества.

Если явление существует, значит оно имеет причины существовать.

Никогда бы эта наступающая и отрицающая литература не могла иметь такого быстрого и громадного успеха, если бы она не была естественным и необходимым следствием господствовавшего положения вещей.

В эпоху французских философов освобождения идеи их ревностно переносились на русскую почву передовыми людьми русского общества. И несмотря на то, что они находили внешнюю поддержку, исходящую от самой опеки, они не привились к нам. Семена, брошенные французской философией XVIII ст., или не взошли, или пустили кривые ростки и выросли в безобразное явление аристократического вольтерианизма, безотрадного отрицания и животного материализма нашего старинного барства. Потом все это замерло. Было рано.

Теперь не то. Семя, посеянное философией отрицания и материализма всходит быстро и развивается быстро. Извне уже не только не помогают этому всходу, но стараются затоптать семя и вырвать с корнем всход, где только он ни покажется. Но всходы с каждым днем становятся все гуще и зеленее Отчего же это?

Если явление существует, значит оно имеет причины существовать. Если оно не находит поддержки извне и развивается,

значит оно находит силы для своего развития внутри того общества, в котором явилось.

. . . .

Реформы начались . . . . . .

. . . .

Так или иначе, но мы шли вперед. Отойдя далеко от старого, мы оглянулись и с ужасом увидели всю мерзость и запустение нашего прошлого. Очень естественно, что нам захотелось отодвинуться от него еще дальше, поскорей оторваться от гниющего трупа нашей безвоскресно скончавшейся старины. Молодость так способна увлекаться. Ей так свойственно думать, что нет того подвига, кокторый не был бы ей под силу. Опечаленные до безотрадного отчаяния горькой картиной прошедшего, мы враждебно относились и к настоящему, недовольные его медленным ходом.

Мы забыли, кому мы обязаны этими не многими, но твердыми и безвозвратными шагами вперед, — и помним только то, кому обязаны тем непроглядным, тысячелетним мраком, который тяготел над русской землей, как гнев ветхозаветного бога. Мы не верили, что из одного и того же источника можно напиться мертвой и живой воды; мы упустили из вида, что жизнь идет одинаково и сверху и снизу, что не в одних нас, но и *там* старое старится, молодое растет.

И вот увлеклась нетерпеливая молодость . . .

И она бросила богом данного вождя уже в виду обетованной земли и пошла вслед за лжепророками, которые громко и нагло звали за собою, обещая скорое избавление от «египетского рабства».

Как и все лжепророки, они говорили льстиво и громко. Многие пошли за ними — и вместо спасения, к гибели они пошли.

Да погибнут же соблазнители и да уменьшится число жертв соблазненных ! . . .

X.

Но чтобы увлечь за собою массу людей разумных, мало одной силы слова. Для этого нужна сила убеждения.

Агитаторы и действовали на убеждения.

Во-первых, они воспользовались минутой нетерпения и страстного порыва вперед и увлекли за собою общество обещанием скоро довести его до желанной цели.

Во-вторых, они приобрели себе симпатии передовой и юной части общества. Для этого они ловко воспользовались моментом прохождения литературы через фазис отрицания и критизма, в которой, как мы видели, литература вошла, следуя по пути своего естественного развития; дальше увидим, как агитаторы оторвали ее от этого естественного развития и ловко повернули ее на служение своим целям. В этом-то вот и лежит тайна их обаятельной силы. Преобразование литературы из ars musarum в орган общественного мнения случилось как раз в то время, когда общество, движимое своим естественным ростом и своею внутреннею силою и руководимое внешней силой, исходящею сверху, дошло до критизма и отрицания старых порядков. К несчастию, во главе литературы в это время стояли люди, заедаемые самым неограниченным славолюбием и как нельзя более способные сделать для себя ремешок из всякого общественного лычка. Людям этим ни за что не хотелось итти вперед вместе со всем обществом, хотя бы и в передних рядах его. Во что бы то ни стало, им хотелось вести вперед молодое поколение, а не итти вместе с ним. И вот они возводят самих себя в вожди движения.

Но для того, чтоб реализировать это звание, им надо было выполнить два условия. Во-первых, обмануть законного вождя движения, т. е. правительство, и обманывать его до тех пор, пока масса их приверженцев будет так велика, что они будут уже в состоянии вступить с ним в открытую борьбу; и, во-вторых, приобрести себе симпатии тех масс, которые они предполагают увлечь за собою. Все это сделать им было очень легко, потому что, как мы уже видели, оружие, которым действовали реакционеры всех времен и народов, — *отрицание* и *критизм* было уже в их руках: с одной стороны, легитимированное самим правительством, которое, отказавшись от своего прежнего застоя, само вступило на путь либерально-прогрессивного отрицания и критизма старых порядков, а с другой стороны, уже вкоренившееся в сознание массы, которая дошла до критизма и отрицания путем естественным и законным и успела уже по достоинству оце-

нить принесенные ими результаты. С массой, таким образом, было уладить легко. Она вкусила уже сладкие и благие плоды отрицания и критизма и, стало быть, весело и легко шла за людьми, обещавшими ей, руководствуясь *этими же началами, привести ее гораздо скорее к желанной цели.* Они говорили ей: «Цель у вас пред глазами. Зачем вам плестись нога за ногу за своим старым вождем? Идите сами. Цель видна, — не разбирайте дороги. Как ни прийти, лишь бы скорее. Не идите массой. В массе есть люди старые и немощные, люди осторожные и недоверчивые; они только задерживают ваш путь; бросьте большую дорогу, ступайте врассыпную; кто добежит скорее, тот и прав»...

И увлеченные люди шли за ними, оставляя своего законного вождя и большую широкую дорогу; и шли они по глухим проселкам и по окольным тропам, сбиваясь с дороги, выбиваясь из сил, падая в глубокие пропасти...

XI.

Этим желанием в один прыжок перескочить к результатам, до которых доводят целые века исторической жизни, проникнута каждая страница наших ультра-прогрессивных журналов. Мы уже говорили, что скачек этот они надеются благополучно совершить посредством теории безусловного отрицания, посредством полнейшего разрыва со всеми преданиями нашей прошедшей жизни. Между нашим историческим прошедшим и тем условным будущим, к которому приглашают итти нас наши ультра-прогрессивные новаторы, лежит целая пропасть. Они зовут нас перескочить эту пропасть и с «зубовным скрежетом» относятся к сторонникам неторопливого прогресса, изобретая для них название «постепеновцев», — название, обратившееся в настоящее время в самую язвительную брань, с которой соединяется понятие о самом невежественном обскурантизме, о нравственной порче, «о гниении мозгов» и, наконец (самая модная тема обвинений), о подкупе правительством. И кому же теперь мила эта постепенность прогресса? «Какой-нибудь князь Оболдуй-Тараканов, древний старик со слезящимися глазами и перекошенным лицом, лоснящимся от внутреннего довольства,

со ртом, улыбающимся до такой степени, что, кажется, так ему и хочется сбегать посмотреть, что делается на затылке»... Какой-нибудь Андрей Карлыч Кирхман, придающий какой-то особенный таинственный смысл словам «постепенность и неторопливость» (вследствие этого толкования многие весело потирают себе руки)»... Какой-нибудь отставной капитан Постукин, который даже не говорит, а только беспорядочно махает руками и страшно при этом растопыривает пальцы...

«За Постукиным следуют Петровы, Ивановы, Федоровы, Григорьевы и прочие потомки коллежских асессоров, Амалатбековы, Уланбековы, Млодзиевские, Войдзицкие... и всю эту компанию достойным образом заключает отличающийся представительной наружностью маркиз де Шассе Краузе. Сердце земли надрывается скорбью, Лиссабон разрушается, и рыба кит выбрасывает из себя Иону от их благодарных воплей и восхищений. «Постепенность! постепенность! стонет этот новый кагал» («Совр.», янв. 1860, стр. 395). Но и это еще не все. «Постепенность и неторопливость» восклицают все Гершки и Ицки, все Бестианаки и Мерзоканаки и, восклицая, скрежещут зубами» (ib., стр. 397). Похвалу постепенности «словоизвергает» его сивущество кн. Полугаров, ему вторит жидовское «шипенье» Иоселя Гершсона, молодого, но уже в конец изворовавшегося еврея».

Так вот каковы эти постепеновцы, по мнению самого любимого русскою публикою журнала! Понятно, что нужно иметь много нравственной твердости, чтобы открыто заявить себя сторонником «постепенности» и не бояться заслужить упрек в «улиткоподобности» и быть сопричисленным к отвратительному кагалу Оболдуй-Таракановых, Мерзоканаки, Ицек, Гершек, капитанов Постукиных, Уланбековых, Сивушкиных и прочему сброду.

И какие же речи говорятся на этом кагале постепеновцев! Напр., князь Оболдуй-Тараканов (сия престарелая отрасль древнего дома) в «тиши своего уединения» слагает сладкий панегирик России во вкусе академического витийства старого времени. В этой речи, что ни слово, то самая едкая насмешка. «Не излишним считая напомнить, — мямлит почтенный князь, напоминая своим убогим слушателям «о разных благоприятных данностях» России, — не излишним считаем напомнить, что мы имеем Си-

бирь, которая, как известно, составляет весьма важное подспорье в нашем гражданском и государственном быту».

Всякую похвалу новому порядку вещей, всякое теплое слово, сочувственно сказанное навстречу начинающейся реформе, противники «постепеновцев» встречали с «зубовным скрежетом» и преследовали самым беспощадным сарказмом. По мнению этих господ, люди, относящиеся благодарственно и любовно к началу нашего обновления, говорят только потому, что вследствие общего ненормального состояния организма в оконечностях языка почувствовали нестерпимое раздражение»... Хвалят только потому, что такова воля начальства.

«Папаса, хацу гавалить!» — сказали мы. — Говори, друг мой! отвечали нам» («Совр.» 1860, № 21, стр. 381).

Если вышло человеку дозволение говорить, может ли он молчать? и самое нежелание с его стороны воспользоваться предоставленным правом не должно ли быть признано равносильным ослушанию воли начальства? (ib., стр. 381).

«Дозволение! Разрешение! — какие ненавистные слова! В этих двух словах новаторы наши видят корень всех зол, угнетавших Россию с первого дня ее жизни... То ли бы дело, еслиб все делалось у нас без разрешения».

«Да (мечтает автор цитируемой нами статьи) («Совр.» LXX IX стр. 383), не разреши Гостомысл (призвать варягов), и долго, быть может, оставалась бы она только великою и обильною! И затем всюду, куда я потом не обращался, бродя по дебрям и лесам нашей истории, всюду видел, что слово «разрешение» имело для нас такую магическую силу, от которой слабели не только умы, но и желудки наших предков. Вот рюриковичи, разрешающие своим добрым подданным полянам колотить добрых подданных кривичей, а кривичам добрых подданных родимичей. И все эти поляне, кривичи и родимичи не только не задают себе вопроса, откуда и на какой конец этот ряд колотушек, но, пользуясь данным разрешением, с бескорыстною отчетливостью тузят друг друга и по сусалам, и под микитки, и в рождество. Вот батыевичи, любезно разрешающие нашим предкам платить им дани много, а предки не только не пользуются этим дозволением, но даже всякий раз произносят при этом «хи - хи!». Вот Иван Грозный, разрешающий утопить в Вол-

хове целое народонаселение; вот Петр Великий, разрешающий дворянам вступать на службу и брить бороды... Боже! как все делается легко, как все становится ясно, если перенесем вопрос на историческую почву! И что бы мы стали делать, если бы не было у нас этой благодетельной исторической почвы? Пожалуй, смотря на нынешних ораторов, мы и впрямь могли бы подумать, что они заговорили, чего доброго, не дождавшись разрешения!..

«Но слава богу, — продолжает автор — этого нет, и я надеюсь, что в настоящее время слово «разрешение» имеет для вас ясный и определенный смысл, и что самая история настоящей цивилизации вполне раз'ясняется посредством этого слова» (ib., стр. 384).

Но, верно, не слишком полагаясь на догадливость своих читателей, автор на той же странице принимается сам об'яснять настоящий смысл слова «разрешение».

«Если кем-либо употребляется, — говорит он, — напр., выражение: «дозволяется быть веселым», то это положительно значит, что веселость есть вещь обязательная, и что всякий, кто отныне осмелится взглянуть исподлобья или быть недовольным погодой и проч., должен подлежать истязанию, как нарушающий общественную симетрию. Подобно сему слова «позволяется говорить» положительно означают... не то, что отныне могут пользоваться даром слова желающие, а то, что всякий благонамеренный гражданин должен считать своею обязанностью говорить, и не просто говорить, а без устали, до истощенья сил, говорить до тех пор, пока на устах не покажутся клубы пены, а глаза не пропадут бог весть куда... Выходит, что это уж не красноречие, а нечто в роде щекотания под мышками»...

Итак, вот чем об'ясняют себе ультра-прогрессисты «красноречие» «постепеновцев».

Таким образом, в противоположность этим «улиткообразным постепеновцам» новаторы наши желают:

1. Чтобы все у нас делалось и говорилось без «разрешения», и 2. Чтобы мы шли не по гладкому и ровному пути постоянного прогресса, а бежали сломя голову к цели, указанной этими новаторами, бежали не разбирая ни буераков, ни пригорков, и отважно перескакивая через пропасти и овраги.

По мнению публицистов «Современника», оттого мы так далеко и отстали от Европы, что в нашей исторической жизни не было никаких прыжков чрез пригорки и пропасти.

«Что касается до жизни, — спрашивает Щедрин, — то, какие поучения могли бы мы извлечь из нее? Шли мы все по отлогому месту, не знали ни оврагов, ни пригорков, не ехали, можно сказать, а катились. Урожай у нас — божья милость, не урожай — так, видно, богу угодно; цены на хмель высоки, стало быть такие купцы дают; цены низки — тоже купцы дают . . . Господи! И жарко - то нам, и об'елись - то мы и не умеем - то и не знаем - то. . . поневоле со всякою мыслью свыкнешься, со всяким фактом примиришься!» . . . («Совр.», LXXIX, стр. 391).

Послушаем теперь, что говорят об этой «постепенности и неторопливости» прогресса люди более серьезные, — люди, ведущие свою пропаганду путем научного исследования.

«История грустна только потому, что прогресс идет очень медленным шагом», — говорит автор статьи «Июльская монархия» (Чернышевский). Печально то, что улучшение в жизни идет так медленно, что лишь наука открывает его посредством своих тонких наблюдений, как только она открывает его и в климате; а для простого, практического чувства улучшение и в климате, и в жизни мало заметно. Впрочем, так было всегда, и наше поколение не имеет основания жаловаться на свою судьбу: более счастливых поколений не было. Эти последние слова могут служить как смягчению гнева, который мы заслуживаем со стороны умеренных либералов, восторгающихся настоящим временем; эти почтенные люди могут с торжеством сказать: ну вот вы сами признались, что наше поколение самое счастливое во всей истории, стало быть, оно очень счастливо. Мы не будем возражать» («Совр.», LXXIX, стр. 223).

Сами по себе слова эти относительно справедливы. Медленность процесса есть явление, конечно, печальное. На это «мы не будем возражать».

Но многое зависит от того, кем и как сказана та или другая фраза; le ton fait la musique.

1. Выписанные нами слова сказаны г. Чернышевским, политические убеждения которого, по его собственному признанию, за-

служивают гнев умеренных либералов, восторгающихся настоящим временем (ibid., стр. 223); стало быть, слова эти сказаны крайним либералом, которому настоящий порядок вещей кажется гадким. Выписанной нами фразы совершенно достаточно для определения политического profession de foi г. Чернышевского, еслиб даже на стр. 215 той же статьи он и не сказал, что, по его мнению, «все права и блага общественной жизни находятся теперь и, вероятно, долго еще будут находиться в нелепом положении». Но для чего же он на 223 стр. признается, что наше поколение очень счастливо? Ну, очевидно, затем, чтоб вникающий читатель, вместо слов: «мы не будем возражать (умеренным либералам)» читал: «умеренным либералам возражать не стоит, потому что они доврались до крайних пределов нелепости», «выболтнулись вон», как говорит Герцен.

Выписанные нами слова сказаны г. Чернышевским в статье его об июльской монархии, которая есть «почти простой перевод» строго запрещенной у нас и еще строже преследуемой во Франции книги Луи Блана «Histoire de dix ans» [1]. Таким образом, Чернышевский от своего лица передает нам рассказ самого от'явленного демагога и революционера тридцатых годов. Нечего и говорить о том, что каждый переводчик выбирает для своего перевода или своей компиляции того автора, которому он сочувствует; а тут, мало того, переводчик, не называя по имени настоящего автора, ведет рассказ от своего лица, т. е. как будто сам делается Луи Бланом; не следует ли из этого, что их политические верования совершенно тождественны? Иначе как же

---

[1]) Не рискуя своего автора назвать по имени, Чернышевский в предисловии к своему труду говорит следующее: «читатель, знакомый с литературою франц. истории, конечно, назовет наши рассказы простым переводом. Теперь мы считаем излишним распространяться об этом, *но со временем* удовлетворим и требованиям библиографической точности представлением цитат»... Когда же это *со временем?* Чернышевский очень хорошо знал, что никакой цензор не позволил бы ему цитировать Луи Блана. Он знал это, потому что когда на стр. 219 ему непременно понадобилось сделать ссылку на источник, он, не упоминая имени Луи Блана, подписал просто: «*История десяти лет*» и снабдил свою выноску таким обращением к читателю: «Просим сравнить это примечание с нашим предисловием». Это зачем?

я буду от своего лица высказывать убеждения, с которыми не согласен?

Ну, а политическое profession de foi Луи Блана известно всем и каждому.

В каком же духе и с какою целью могла быть написана «История десяти лет» таким человеком, как Луи Блан или его русский суррогат, г. Чернышевский?

Уж, конечно, не для того, чтоб согласиться с умеренными либералами, что наше поколение очень счастливо, а, напротив, затем, чтобы показать, в каком нелепом положении находятся теперь все права и блага общественной жизни и что единственный исход из этого нелепого положения есть революция.

Чернышевский, конечно, не обращается со своими советами прямо к русскому обществу; этого он не мог сделать в статье, профильтрованной сквозь листки цензурного устава, но не забудем тех многозначительных слов самого автора, в которых он сам выясняет цель своей мнимо-исторической монографии. Отказываясь знакомить своих читателей с внешними событиями описываемой им эпохи и останавливаясь с видимым сочувствием на передаче возмутительных речей демагогов и клубистов, на рассказах о бунтах и мятежах, на анализе коммунистических учений и пр., автор сознается, что и примеры внешней политики могли бы подтвердить его полезную мысль, но он боится, что польза от этого «*далеко перевешивалась бы вредом, происходящим от уклонения мысли читателей и наших собственных соображений от истинного важного предмета*» («Совр.», стр. 224).

Что же это за важные предметы, от которых г. Чернышевский так боится отклонить мысль читателя и *свои собственные соображения?*

Борьба прогрессивно-либерального правительства с представителями демагогического санкюлотизма, мятежи черни, резкие прокламации демагогов, возбудительные речи клубистов, теория и практика коммунистических учений и пр., и пр.

Но к чему же Чернышевский хлопочет о том, чтобы внимание его читателя было упорно сосредоточено на этих «истинно важных предметах»?

А вот к чему. Чернышевский знает, что открытая пропаганда открытой оппозиции правительству у нас невозможна.

«Но надобно помнить, — говорит он, — что есть другой, гораздо спокойнейший путь к разрешению общественных вопросов, путь ученого исследования («Совр.» 1860 II, стр. 736). Во-первых, уличные бунты не всегда удаются (напр., возмущение лионских ткачей); во-вторых, они, как кровопускание, так сказать, местное, не всегда вредят правительству даже и при удаче его противников и во всяком случае представляют вредную растрату сил. Казалось, чего бы лучше: Чернышевский является противником бунта. «Есть меры, говорит он, к которым не должен прибегать рассчетливый человек (заметьте — рассчетливый человек), как бы ни были гибильны они для людей, ему ненавистных. Мы говорим это не с точки зрения нравственности и гуманности, а просто с точки зрения выгодности эгоистического рассчета».

Так вот почему Чернышевский и не одобряет уличного бунта: Он не выгоден.

Да; потому что он просто не выгоден, а не потому что он безнравственен. Этого Чернышевский не признает. Он смотрит на вещи только с точки зрения выгодности для своей партии, с точки зрения эгоистического рассчета.

А эгоистический рассчет заставляет, пока можно, воздерживаться от уличных мятежей.

Потому что они вредят обществу.

А каковы бы ни были цели известной партии, но каждая должна была бы помнить, что нанесение вреда обществу не может быть полезно даже и для частных его целей (ibid, стр. 736).

Но во всяком случае и уличный бунт не есть преступление; это только опрометчивое действие, не тот путь, который должна бы была избрать реакция.

Уличный бунт есть средство невыгодное, опрометчивое; с этим Чернышевский вполне согласен; «но, конечно (прибавляет он), хорошо говорить это людям, спокойно смотрящим издали на историческую борьбу, и почти нет человеку возможности удержаться от опрометчивых действий, когда он охвачен вихрем исторической жизни, влекущей к столкновениям» (ibid).

Ну, а сам-то Чернышевский как смотрит на эту историческую борьбу, спокойно или нет? Увы! Он признается, что принадлежит к людям, увлекающимся пристрастием к внешним сс-

бытиям и к эффектному драматизму собственно, так называемой, политической истории (ibid).

Стало быть?

Стало быть, принадлежа к категории людей увлекающихся, он не может иногда удержаться от опрометчивых действий.

А опрометчивыми действиями он называет бунт.

Но, всетаки, будем справедливы к Чернышевскому и не забудем, что он признает бунт мерою нерасчетливою, не всегда выгодною, действием опрометчивым, вредною растратою собственных сил и общественных средств; что если он сам и принадлежит к числу людей, увлекающихся пристрастием к внешним событиям и к эффектному драматизму собственно, так называемой, политической истории, то, всетаки, признает, что есть другой, гораздо спокойнейший путь к разрешению общественных вопросов, путь «ученого исследования», и он обращается к людям своей партии с убеждением уважать этот путь, как «более выгодный и разумный». «Надобно было бы, говорит он, не бесславить тех немногих людей, которые работают на этом пути за всех *нас, увлекающихся* пристрастием к внешним событиям... Мыслители, отыскивающие средства к отстранению тех недостатков, из которых проистекают гибельные для всего общества катастрофы, подвергаются насмешкам и клеветам общества, которому хотят помочь. Довольно нелепым образом за основание для порицаний и гонений берется то, что они — нововводители. Но, ведь, в том именно и состоит общественная потребность, что старые отношения не соответствуют новым условиям жизни, стало быть, должны замениться новыми» («Совр.» 60, II, стр. 737).

Изо всего этого мы имеем право сделать следующие выводы:

1. Чернышевский недоволен настоящим порядком вещей. По его мнению, все блага и права общественной жизни находятся в нелепом положении.

2. Выход из этого нелепого положения может совершиться двумя путями: а) путем кровавых катастроф, местных восстаний, грабежей и убийств, вообще всеми теми ужасами, которые, по выражению Чернышевского, составляют эффектный драматизм политической истории, в) посредством неуклонной пропаганды

реформистических идей путем научного исследования, так сказать, радикальным перевоспитанием нации.

3. Чернышевский признает себя человеком увлекающимся пристрастием к тому, что он называет эффектным драматизмом политической истории; стало быть, он не прочь и сам от возбуждения этих драматических эффектов.

4. Но в то же время, сознавая, что эти драматически эффектные катастрофы, вместо желаемой пользы, иногда приносят трудно поправимый вред (см. конец 235 стр.), и видя, что есть другой, гораздо спокойнейший путь к разрешению общественных вопросов, — путь ученого исследования, Чернышевский высказывается в пользу этого пути и, стало быть, не прочь при случае вступить на него и сам.

Таким образом, деятельность Чернышевского, как реакционера, двояка:

1) возбуждение эффектно-драматических катастроф в роде тех, какие совершались во Франции под руководством людей, подобно г. Чернышевскому, увлекавшихся пристрастием к внешним событиям политической истории (напр., бунт лионских работников, разграбление архиепископского дворца и собора парижской богоматери, уличные домонстрации, баррикады и пр.).

2) Перевоспитание нации путем научных исследований, т. е. пропаганда реформы посредством учено-литературных статей по всем отраслям знания (исторических, политико-экономических, философских и т. д.), в которых бы наглядным образом проводились известного рода идеи и показывалось в исторической картине практическое применение их у других народов; одним словом, путь, избранный французскими энциклопедистами и незаметно приведший Францию к великой революции 89 года. Не может ли Чернышевский в оправдание свое сказать, что на своем пути научных исследований он и не думает преследовать те цели, к которым стремятся люди, пристрастные к революционным катастрофам?

Никак не может.

Он сам говорит, что путь ученого исследования есть *только другой,* гораздо спокойнейший путь к разрешению общественных вопросов, стало быть, он ведет к той же цели, которую преследует и первый путь кровавых катастроф.

К чему же ведут оба эти пути?

«К разрешению общественных вопросов», отвечает Чернышевский.

Ну что ж? Чернышевский путем научных исследований идет к разрешению общественных вопросов.

В этом не только нет никакой беды, это даже очень похвально.

Но дело-то вот какого рода.

К разрешению тех же общественных вопросов ведет и другой путь, — путь «эффектного драматизма», путь местных бунтов, пожаров, баррикад, разрушения дворцов и т. д.

Чернышевский только боится на этом пути сломать себе шею и идет по дороге более спокойной.

Но обе дороги ведут в Рим.

Оба пути приводят к одному и тому же, — *к революции.*

Кажется ясно. Если a = b и a = c, то и b = c.

Таким образом мы знаем, что Чернышевский разумеет под своими «учеными исследованиями».

Подготовку общей революции посредством внушения народу тех идей, на основании которых должно совершиться желаемое пересоздание общества.

Это путь верный и спокойный; местные же мятежи при неподготовке всей нации представляют только вредную растрату сил и потому от них следует, если можно, воздерживаться.

Это все высказано Чернышевским в его статье «Июл. мон.».

Посмотрим теперь, не найдем ли чего-нибудь подобного где-нибудь в другом месте.

«Так вот оно какое дело. Надо мужикам всем промеж себя согласие иметь, чтобы заодно быть, когда пора будет, и покуда пора не пришла, надо силу беречь, себя напрасно в беду не вводить . . . .».

Это говорит автор воззвания к барским крестьянам.

Чернышевский в статье «Июл. мон.», говоря о местных бунтах в Париже и Лионе, полагает, что партии, возбудившей это движение, следовало бы воздержаться от вредной растраты сил в бесплодных (т. е. невыгодных) катастрофах.

Очевидно, что это говорит один и тот же человек: только в воззвании к б. к. он одет в мужицкий кафтан и никого не

боится, а в статье об июльской монархии одет во фрак и боится закона, за которым стоит судебная власть с своими наказаниями (смотр. 519 стр. перевода Милля, «Совр.», 61, № 6).

Автор статьи «Июльская монархия» рассказывает своим читателям о том, что происходило во Франции в тревожный период «десяти лет»; все его ученые исследования ведут к тому, чтобы в лице июльского правительства поругать самый принцип королевской власти, унизить его авторитет, показать, что только одни демагоги были бы в состоянии вывести Францию из того «нелепого положения всех прав и благ общественной жизни», в которое привела ее монархия; отдавая все свои симпатии этим демагогам, автор, очевидно, имеет в виду «путем научного исследования» вразумить своих читателей, что не мешало бы, дескать, и нам таких людей, хорошо бы и у нас завести такие порядки.

Автор «Поклона к барским крестьянам», на чем свет стоит охаяв «царскую волю», тоже пускается «в ученые исследования» и рассказывает мужикам, «какая заправская бывает воля» и какие порядки заведены у англичан, у французов, у народа, что швейцарцами зовется, и у другого народа, которого американцами называют: «вот она какая взаправду воля бывает на свете!», восклицает автор, кончая свои «ученые исследования» о конституциях разных народов.

Очевидно, приемы одни и те же. Но, конечно, в характере этих «ученых исследований» разница большая. В народной школе и символ веры об'ясняется, верно, не так, как в аудитории профессора богословия. Но и там и тут он *об'ясняется*. Слово одно. Совершенно то же значение придают себе и остальные произведения тайной прессы. Вот что говорится в листке, озаглавленном «Молодая Россия»:

«Может случиться, что крестьяне восстанут не сразу в нескольких губерниях, а отдельными деревнями, что войско не успеет пристать к нам, что революционная партия не успеет сговориться, недостаточно централизуется и заявит свое существование не общим бунтом, а частными вспышками, императорская партия подавит их, и дело революции снова остановится на несколько лет.

«Для избежания этого центр. революц. комитет в полном своем собрании 7 апреля решил:

«Начать издание журнала, который выяснил бы публике принципы, за которые он берется, и в то же время служил бы органом революционой партии в России» и пр.

Вышедший листок заключает в себе главные основания, на которых должно построиться новое общество; в следующих номерах издатели обещаются постараться развить каждое из этих положений.

Ниже мы увидим, не постарался ли об этом и еще кто-нибудь.

Приводим еще одно место из статьи об июл. монархии, где вся надежда на пересоздание общественного строя возлагается на перевоспитание крестьян. «Ничего истинно-полезного не может быть осуществлено во Франции (говорит Чернышевский, и не забудем, что он говорит это, шествуя по пути своих ученых исследований, — оттого и во *«Франции»),* пока *честные люди* не займутся воспитанием поселян. Теперь это делается, и усилия, все же, не остаются бесплодными. Раньше или позже поселяне станут рассудительнее, и тогда прогресс для Франции станет легче» (стр. 216). Надо заметить, что в статье «Июл. мон.» *честными людьми* называются только демагоги. Из этого ясно, *какое* воспитание должны получить поселяне, чтобы для них осуществилось нечто «истинно хорошее». Это «истинно хорошее» есть *право каждого быть участником общественной власти.* Здесь мы кстати заметим, что того же самого требует для России автор воззвания «К молодому поколению».

«Мы хотим, говорит он, чтоб все граждане России пользовались одинаковыми правами, чтоб привилегированных сословий не существовало, чтоб право на высшую деятельность давали способности и образование, а не рождение, чтобы назначение в общественные должности шло из выборного начала. Мы не хотим дворянства и титулованных особ. Мы хотим равенства всех перед законом, равенства всех в государственных тягостях, в податях и повинностях». Французы когда-то имели это право [1]), но они утратили его, *потому что дурно были подготовлены.* Но когда воспитанием поселян займутся демагоги, они, конечно, будут лучше подготовлены пользоваться этим правом (ibid,

---

[1]) Т. е. право каждого быть участником в общественной власти. *В. К.*

стр. 216). А то при Луи-Филиппе над общественными делами владычествовал только малочисленный привилегированный кружок; бедный же класс был совершенно удален от участия в делах и «имел против себя вооруженную силу, готовую наказать *всякую преступную попытку к ниспровержению существующих узаконений*». Подчеркнутую нами фразу Чернышевский поставил во вносных знаках, т. е. не думайте, дескать, что это моя фраза, что таково *мое* мнение о попытках к ниспровержению существующих узаконений; эта фраза чужая и попытки к ниспровержению существующих узаконений престуными называю *не я*. Это чужая фраза, чужое мнение, оттого оно и стоит во вносных знаках. А считает ли эти попытки, т. е., проще сказать, бунты, преступными сам Чернышевский, мы сейчас увидим. Если правительство посылает для подавления мятежа вооруженную силу и в случае крайности приказывает войску стрелять в мятежников, делает ли оно преступление? По мнению людей, видящих в бунте против правительства преступления, *нет*. А по мнению Чернышевского, министры Карла X, посоветовавшие королю стрелять в взбунтовавшийся народ, были *гнусные изверги, преступники, достойные смертной казни*. На 191 стр. он называет их преступными слепцами, на 188 — людьми злонамеренными. В чем же состояло их преступление? Взбунтовавшаяся чернь устроила баррикады, осадила дворцы; жизнь короля была в опасности. Министры присоветовали королю употребить для подавления мятежа войско. «Они, — говорит Чернышевский — приказали войскам стрелять по народу ... и за это бесспорно подлежали смертной казни» (стр. 188). Они виноваты в том, что заставили братьев резаться между собою и принесли тысячи людей в жертву своей гордости (189). Так вот оно как: правительство, наказывая мятежника, приносит его в жертву своей гордости. Народ был недоволен своим государем и взбунтовался. Государю оставалось одно из двух: или уступить мятежникам и отказаться от своей власти, или подавить восстание вооруженной силой, т. е. прибегнуть к деспотизму, как говорит Чернышевский. «Если Карл X (спрашивает он), действительно, был в необходимости отказаться от власти или прибегнуть к деспотизму, почему он выбрал деспотизм, а не отречение? Ему следовало выбирать между своими правами и правами нации: из этого еще не сле-

дует,чтобы он был прав, решившись пожертвовать правами нации. Говорят, что обвиняемые министры действовали по необходимости; но если принимать необходимость за оправдание, то . . . каждый убийца мог бы оправдаться, сказав, что считает убийство делом нужным» («Июл. мон.», «Совр.» 1860, № 1, 198).

Из этого ясно, что если Чернышевский считает правительство, подавившее мятеж вооруженною силою, *преступным*, значит, он признает за нациею право низлагать власть и считает народное восстание делом совершенно законным. Еще пример:

Во время лионского бунта префект Бувье Дюмолар потакал вооруженным мятежникам. За такие «неблагоразумные действия» он был отставлен от должности. Слова *неблагоразумные действия* Чернышевский опять-таки выгородил из своего рассказа (стр. 237) выносными знаками: это, дескать, не мое мнение; по-моему, префект действовал благоразумно, потакая бунтовщикам.

Заметим уж кстати, что бунтовать, по фразеологии Чернышевского, значит одушевляться сознанием своих сил («Совр.» 1860, май, стр. 128). Любопытен на той же странице взгляд его на преследования, которым подвергаются «предводители приверженцев новых политических идей»: преследование, по мнению Чернышевского, есть натуральная участь всякой новизны; смотря по тому, к какой сфере относится новизна, различна бывает и форма возбуждаемого ею преследования. «Если дело относится к обществу, к политике, то, конечно, и отрицательное воздаяние должно иметь административный и юридический характер. Этому так и следует быть, по крайней мере при нынешнем состоянии общества. Быть может, когда *состояние массы изменится*, когда она будет руководиться собственными, а не чужими внушениями в своих мнениях об общественных делах, — очень может быть, что *тогда* будет иначе . . . а до той поры новые общественные идеи должны, по всем возможным основаниям и рассчетам, подвергаться преследованию, как бы полезны в сущности ни были».

Проследить деятельность Чернышевского на этом последнем пути и будет предметом следующих параграфов настоящей записки.

XII.

Таким образом, указав на:

1) вредное значение деятельности наших агитаторов вообще (§ 1) и

2) на необходимость немедленного и радикального прекращения этой деятельности (§ II),

3) на цель настоящей записки, заключающуюся в исследовании болезни, поразившей наше общественное тело (§ III),

4) на то, что болезнь эта есть две теории, привившиеся к нашей общественной жизни: теории материалистического фатализма и коммунизма (§ IV),

5) поставив два вопроса: а) каким образом при бдительном надзоре цензуры пропаганда положительно вредных учений могла сделать такие значительные успехи и в) почему эта пропаганда так скоро и так глубоко привилась к русскому обществу (§§ V и VI),

6) разрешив первый из этих вопросов тем, что, во-первых, пропаганда велась путем ученых исследований, против которых разумная цензура бессильна, и что, во-вторых, авторы статей этого разлагающего свойства изобрели свой чрезвычайно удобный способ говорить известные вещи понятно только для посвященных в их «нигилистскую кабалистику» (§ VII),

7) разрешив второй из этих вопросов тем, что пропагандисты новых идей, воспользовавшись естественным прохождением жизни общества чрез фазис отрицания и критизма, и развивая свое учение из этих начал, извратили отрицание в нигилизм и путем научных исследований дошли до коммунизма (§ VIII),

8) подтвердив эту мысль историческим изложением хода нашего умственного развития (§ IX) и

9) показав, что, исходя в своей пропаганде от таких начал, как отрицание и критицизм, новаторам нашим легко было увлечь за собою общество к теории безусловного нигилизма и заставить полюбить идеал коммунистического быта (§ X),

10) об'ясняя это нетерпеливым желанием общества поскорее достичь желаемой цели социальных реформ и показав, как но-

ваторам нашим, ненавистен медленный и постепенный ход прогресса,

наконец, —

11) выяснив политический образ мыслей одного из наших новаторов, деятельностью которого с этих пор мы будем преимущественно пояснять наши общие выводы (§ XI),

мы переходим теперь к рассмотрению двух отдельных рычагов агитации, по возможности разоблачая ее «нигилистскую кабалистику», которой она прикрылась ради цензуры. Мы будем рассматривать эти две силы (отрицание и критицизм) уже в том конечном видоизменении, какое они получили сообразно с целями агитаторов, т. е. отрицание, перешедшее в нигилистический материализм, и критицизм, приведший к коммунизму.

XIII.

Материализм.

Мы уже показали, что материализм есть конечный результат отрицания. До этого результата он доведен был Дидро и его последователями. Разумное *отрицание* никогда и нигде не переходило границ, начертанных ему Ньютоном и Локе. Молодое поколение, выросшее во Франции после Вольтера, переступило эти границы. Деизм Вольтера сделался *атеизмом* и *материализмом.*

Деизм признает личное существование бога, материализм отрицает его.

Полюс его ротации есть понятие о движении или, как выражаются новые материалисты, отношение вещества (материи) к силе (Stoff und Krafft). Деисты утверждают, что всякое движущееся вещество указывает нам существо невещественное, которое им движет (toute matière qui agit nous montre un être immateriel, qui agit sur elle, говорит Вольтер,[1]), а материалисты полагают, что движимость вещества не зависит от вне сообщающегося

[1]) Таким образом признают необходимым *личное существование бога как силы движущей. В. К.*

толчка, а есть принадлежность самого вещества, — его неот'емлемое свойство, присущее ему от вечности. Вещество, говорит материалист, совершенно немыслимо без движения; движение есть его сущность. Нет вещества без силы, нет силы без вещества.

Очевидно, что такое учение приводит к безусловному отрицанию бога и, стало быть, откровения божественного.

Кто отвергает откровение, тот не может смотреть и на нравственное учение, как на данную извне религиозную заповедь.

И в самом деле материалисты признают, что стремление к добродетели и нравственности лежит в самом существе человеческой природы, и что самая нравственность есть, стало быть, не что иное, как предрассудок, привычка и инстинкт. Не допуская таким образом преступления в нравственном смысле, материалисты не признают его и в смысле гражданском, юридическом.

Ясно, что сторонники этой теории отвергают всякую идею о вменяемости как нравственной, так и гражданской (юридической). Все награжденные для нас смешны, все наказанные достойны сожаления, как невинные жертвы титанически действующего закона. В применении к законодательству впервые эту идею высказал Гельвеций: «пороки народа, — говорит (Discours sur l'esprit и проч. II стр. 15), *если можно так выразиться,* всегда скрыты в глубине его законов». Но это осторожная и отчасти справедливая схема в настоящее время доведена до безграничной крайности Боклем, который решительно провозгласил преступника жертвою общества.

В русской литературе, если не ошибаемся, идея эта впервые высказана Чернышевским. «Вы вините человека, говорит он («Атеней» 1858), — всмотритесь прежде, он ли в том виноват или виноваты обстоятельства и привычки общества, всмотритесь хорошенько — может быть, тут вовсе не вина его, а беда»... «вины почти никогда не бывает на свете, а бывает только беда» (стр. 79).

До этого крайнего результата теории материалистического фатализма Чернышевский доходит следующим путем.

Так как, по учению материалистов, люди не одарены свободной волей и, стало быть, лишены нравственной (и, конечно, юридической) вменяемости своих поступков, то порицать людей не следует ни за что и ни в чем (ib., стр. 74).

Нечего и говорить о том, какое бесконечно вредное влияние на общество может иметь учение, по теории которого нет преступления и, стало быть, вор, убийца, лгун и человек, по нашему понятию, честный, имеют совершенно одинаковые права на уважение общества и, пожалуй, на монтионовскую премию за добродетель.

Наша литература добралась даже и до этих геркулесовских столбов материалистического фатализма.

«Люди существенно все одинаковы», говорит все тот же Чернышевский («Атеней» 1858). Такой чудовищно - безнравственной фразы до него не решался еще высказывать никто, даже Le-Mettrie, самый наглый из французских материалистов XVIII ст., прямо смотревший на материализм, как на оправдание своего бесстыдного распутства. Да, русские материалисты пошли далее этого отвратительного развратника, сочинения которого все до одного были сожжены рукою палача; наши материалисты с свойственною русской природе размашистостью прямо утверждают, что каждый человек, как все люди; в каждом точно то же, что в другом.

В таком случае чем же об'ясняется разница в поступках? «Все зависит от общественных привычек», отвечает Чернышевский, — все зависит исключительно от обстоятельств» (ib. 78).

То - есть, как же это? Да вот как. Если я не ворую, значит или мне не за чем красть, или нечего, или я не умею, или я трушу красть, трушу или из ложного стыда (ложного, потому что в воровстве нет ничего безнравственного) или из боязни несправедливой кары закона (несправедливой, потому что в воровстве нет ничего преступного). С одной стороны, если я ворую, значит я поставлен в необходимость воровать и таким образом не делаю ничего ни безнравственного, ни преступного; если я украл у вас шубу, следует винить не меня за то, что лишил вас законной собственности, а обстоятельства, которые сложились так, что у меня нет шубы, а она у вас есть.... Все зависит исключительно от обстоятельств.

Во взятом нами примере (совершенно логически построенном по теории г. Чернышевского) мы употребили выражение «законной собственности». С нашей точки зрения выражение это совершенно правильно. Всякая собственность, которою мы вла-

деем законно, есть наше законное достояние; насильственное отчуждение от нас этой собственности есть преступление, которое по способу его совершения мы называем воровством, грабительством, насилием, вымогательством и т. д.

С точки зрения материалистических фаталистов, выражение «законная собственность» не имеет никакого смысла. По учению материалистов, вор не делает никакого проступка ни нравственного, ни юридического, т. е. он имеет полное право овладеть тем, что до сих пор принадлежало другому. Ясно, что эта теория возможна только при другой, и именно при теории коммунизма, не признающей за человеком никакого права на обладание какой бы то ни было собственностью.

К рассмотрению этой-то теории мы теперь и переходим.

XIV.

Коммунизм.

I.

В конце своей статьи об «Июльской монархии» Чернышевский укоряет учение сен-симонистов тем, что, по его мнению, оно было «галлюцинациею, сформировавшейся из ошибочной идеализации католицизма и кроме того носившей приторный характер изящной аристократичности, аффектирующей замашки сентиментального демократизма» («Совр.» LXXXI, стр. 158). «Сен-симонист, — продолжает Чернышевский, — смешит наш рассудок своею фантастичностью, возмущает наше чувство своим благонамеренным иезуитизмом, своею апотеозою авторитета [1]),

---

[1]) На эту фразу стоит обратить особенное внимание. Чернышевский обвиняет сен-симонизм не в ошибочности его основной идеи, а только в артистической приторности его первоначальной формы. Да еще возмущает его чувство то, что сен-симонисты признавали необходимость нравственной религии (что Чернышевский называет «благонамеренным иезуитизмом») и допускали существование гражданской главы общества, что у Чернышевского называется «апотеозою авторитета». А это Чернышевскому еще тошнее иезуитизма.

Вот что говорит Чернышевский: «в человеческих действиях часто

своими поползновениями к артистичности. Балетная танцовщица может быть очень хороша на своем месте, но она стала бы противна, если бы выделывая свои антраша, говорила нам о страданиях бедных мучеников... Но называя приторной ту форму, которую имело первое проявление мысли о преобразовании общества, мы, конечно, должны ценить историческую важность этого первого его проявления. Оно важно, как признак того, что пришла пора обществу заниматься идеями, выразившимися на первый раз в этой неудовлетворительной форме. Скоро мы увидим, что они стали проявляться в формах более рассудительных и доходить до людей, у которых бывают уже не восторженною забавою, а делом собственной надобности; а когда станет рассудительно заботиться о своем благосостоянии тот класс, с которым хотели играть кукольную комедию сен-симонисты, тогда, вероятно, будет лучше ему жить на свете, чем теперь» (ibid., стр. 159).

Посмотрим же теперь, в каких это формах «более рассудительных» проявлялись те благодатные идеи, при осуществлении которых будет лучше жить на свете, чем теперь.

может не бывать смысла, но если они совершаются с участием мысли, то бывают результатом *собственного самостоятельного соображения* обстоятельств и доказательств, а не внушением авторитетов. Думать иначе, верить в возможность авторитета, которому свободно подчинился бы развитой разум, мог только энтузиаст, экзальтированный фальшивыми рассказами о прежней благотворительности папизма» («Совр.» 1860, № V, стр. 136).

Слова эти служат сильным подтверждением того, что было сказано выше о воззрении г. Чернышевского на религию, — в смысле нравственной заповеди, данной человеку посредством откровения. Г. Чернышевский не допускает, чтобы человек в здравом рассудке мог руководствоваться чем либо иным, кроме своих собственных соображений. По учению же христианства, религия никак не принадлежит к числу *собственных* соображений человека, а дана ему посредством откровения или, как выражается Чернышевский, есть *внушение авторитета*, стало быть, по его теории, человек не должен и не может верить в возможность такого авторитета, который подчинил бы себе наш рассудок; таким образом он отвергает религию, *как авторитет нравственный*.

Точно также не нравится Чернышевскому у сен-симонистов и то, что они допускали регламентирующую верховную власть, т. е. *авторитет гражданский*. «Они (укоряет Чернышевский сен-симонистов) придумывали

Прежде всего мы должны заметить, что наши новаторы крайне недовольны той системой политической экономии, «которая до сих пор считается у нас единственною и полною представительницею всей науки». «Мы знаем только, говорят они, что Гнейсты, Моли, Рау, Рошеры раскапывают навозные кучи и гниль прошедших веков хотят сделать законом для будущего» («К молод. покол.», 2 столб., 1); наши новаторы пытаются сыскать для себя другой закон, не надевая на себя петли европейских учреждений и ее экономических порядков» (ibid.) Поэтому они с ожесточением нападают на тех русских экономистов, которые, не делая самостоятельных попыток открыть новый закон для экономических условий русского быта и не вдаваясь в изыскание практических правил и способов действия в данных случаях, излагают только естественные законы политической экономии, довольствуясь старою, заброшенною формулою laissez faire. К таким книгам, излагающим экономические законы, найденные прежними мыслителями, принадлежит чрезвычайно добросовест-

---

правила и хотели, чтоб люди исполняли эти правила *не по расчетливому убеждению в их основательности*, а по уважению и по преданности к людям, провозглашающим эти правила, повелевающим хранить их. Мало того, люди, облеченные авторитетом, сами должны были стоять выше всяких правил, их воля должна была служить верховным и безусловным правилом для других, как воля папы, будто бы, служила верховным законом для католиков в средние века. Мы не станем делать (порешает Чернышевский), не станем делать уже никаких замечаний о дикости этой фантазии: нелепость тут очевидна» (ibid., стр. 143).

Так вот оно что.

Уважение к закону — нелепость.

Я не должен исполнять закон, если не имею *рассчетливого* убеждения в его основательности.

Идея лица, облеченного высшим авторитетом власти, т. е. человека, лично стоящего выше всяких правил, — нелепость.

Идея лица, воля которого служила бы верховным и безусловным правилом для других, — нелепость.

Таким образом, по мнению Чернышевского, выходит, что наш основной закон, гласящий, что «Император всероссийский есть монарх самодержавный и неограниченный. Повиноваться его власти не токмо за страх, но и за совесть сам бог повелевает», — есть нелепость, в которой, по словам автора «К м. п.», «можно уверить только китайцев и турок, да и те едва ли верят подобной басне».

ный труд проф. И. Горлова «Начала политической экономии». В февральской книжке «Совр.» за 1860 г. Чернышевский жестоко нападает на эту книгу именно за то, то она составлена по трудам тех «ветхих экономистов», которые, по выражению автора статьи «К молодому поколению», «гниль прошедших веков хотят сделать законом для будущего, т. е. Рошер, Рау, Моль, Мак-Кэллок». Делать заимствования из трудов этих ученых значит раскапывать навозные кучи, по выражению «Молод. пок.». Люди, занимающиеся этим раскапыванием, есть люди просто отсталые, по мнению Чернышевского, и он сильно гневается на этих отсталых людей, несмотря на свое признание, что «отсталость должна в чувствительной душе возбуждать сожаление, а не гнев». Но он, все-таки, гневается на г. Горлова за его отсталость, за то, что он почерпает свою ученость из иностранных книжек, за то, что от его мыслей пахнет ветхостью. «В последнее время расплодилось у нас много преждевременных старцев, жалких экономистов, взявших свой теоретический опыт из немецких книжек», говорит автор недошедшего по адресу письма «К молодому поколению». По мнению Чернышевского, русский автор тоже не должен был бы без всякой критики заимствовать всякое пустословие из французских книжек [1]) или книжиц

---

[1]) Слово «книжки» есть любимое выражение Чернышевского, которое он употребляет всякий раз, когда хочет с презрением или негодованием отнестись к какому-нибудь сочинению. Он приписывает себе изобретение слова «книжка» и не позволяет никому оспаривать у себя взятую им привилегию на это слово. Так, в споре с «Русским Вестником» он выразился в одном месте следующим образом: «И зачем бранить тех, кому подражаем? Хотя бы ту предосторожность взяли, чтоб нашими любимыми выражениями не заимствоваться, придумать свои какие-нибудь, а то, напр., для обозначения людей, пробавляющихся сведениями из вторых рук, употребляет «Рус. Вестник» выражение: «привыкшие почерпать свои данные из французсских книжек» — ай-ай-ай! откуда это выражение доходит до заимствования слов» («Совр.» 1861, № VI, стр. 466).

Совершенно в этом смысле употреблено выражение «книжка» в «Молод. пок.» (колонна 2, строка третья снизу), где сказано: «такие экономисты взявшие свой теоретический опыт из немецких книжек».

Конечно, это факт очень мелкий, почти не стоящий внимания, но в совокупности с другими, более ценными и он составляет все-таки, *нечто*, доказывая, что в прокламации «К мол. поколению» попадаются не только мысли, но и любимые выражения Чернышевского.

с дурным направлением («Кап. и труд», «Совр.» 60, II, стр. 7). Развивая свою мысль далее, автор «Молод. покол.» напоминает своим читателям, как решен был вопрос об уничтожении крепостного права Рошером. Известно, что взгляд Рошера ни в чем не противоречил тем принципам, которыми руководствовалось наше правительство при разрешении этого вопроса. Освобождение крестьян совершилось у нас именно так, как (в экономическом отношении) полагал разрешить этот вопрос Рошер. Автор «Молод. пок.», недовольный этим решением, очевидно, недоволен и экономическими взглядами Рошера. По его мнению, вопрос этот решен с немецкой точки зрения, и для нас такое решение не годится. Чернышевский тоже укоряет Горлова за то, что он пользовался трудами Рошера и излагал его теории без всякой критики в то время, когда вопрос об освобождении был у нас не кончен (книга Горлова вышла в 1859 г.), а нелепые рассуждения об этом предмете могли иметь дурное влияние.

Все это мы сказали не потому, чтобы ставили в вину Чернышевскому и его политико-экономической школе несогласие со взглядами западных экономистов, в роде Рау, Рошера, Моля, Гнейста и Бастиа, — в этом еще нет никакой беды, но нам надо было показать совершенное тождество политико-экономических взглядов Чернышевского и той партии, органом которой служил изданный в конце 1861 г. листок «К молодому поколению».

Мы видели, что Чернышевского соединяет с этой партией совершенное тождество взгляда на западных экономистов и ненависть к тем русским экономистам, которые берут свой теоретический опыт из немецких книжек. Таким образом и Чернышевский и автор листка «К м. п.» согласны в том, что эти теории для нас не годятся, что нам надо попытаться сыскать для себя другой закон, иные экономические порядки, и что мы придем к ним, если разовьем те начала, которые живут в народе.

Но исходя из общей точки, не расходятся ли наши авторы в дальнейшем пути к отысканию этих новых законов экономического порядка?

Посмотрим.

«Мы хотим, чтоб земля принадлежала не лицу, а стране; чтобы у каждой общины был свой надел, чтобы личных землевладель-

цев не существовало, чтобы землю нельзя было продавать, как продают картофель или капусту, чтобы каждый гражданин, кто бы он ни был, мог сделаться членом земледельческой общины, т. е. или приписаться к общине существующей или несколько граждан могли бы составить новую общину. Мы хотим сохранения общинного владения землей с переделами в большие сроки» . . .

Каждая область, говорит автор другого листка («Молодая Россия») должна состоять из земледельческих общин, все члены которой пользуются одинаковыми правами.

«Всякий человек должен приписаться к той или другой из общин; на его долю, по распоряжению мира, назначается известное количество земли, от которой он, впрочем, может отказаться или отдать ее внаем. Ему предоставляется полная свобода жить вне общины и заниматься каким угодно ремеслом, только он обязан вносить за себя ту подать, какая назначается общиною.

«Земля отводимая каждому члену общины, отдается ему не на пожизненное пользование, а только на известное количество лет, по истечении которых мир производит передел земель. Все остальное имущество членов общины остается неприкосновенным в продолжение их жизни, но по смерти делается достоянием общины.

«Мы требуем правильного распределения налогов, желаем, чтобы они падали всею своею тяжестью не на бедную часть общества, а на людей богатых . . . одним словом, вводится налог прогрессивный.

«Мы требуем заведения общественных фабрик, управлять которыми должны лица, выбранные от общества, обязанные по истечении известного срока давать ему отчет, требуем заведения общественных лавок, в которых продавались бы товары по той цене, которой они действительно стоят, а не по той, которую заблагорассудится назначать торговцу для своего скорейшего обогащения.

«Мы требуем общественного воспитания детей, требуем содержания их на счет общества до конца учения. Мы требуем также содержания на счет общества больных и стариков, одним

словом, всех, кто не может работать для снискания себе пропитания.

«Мы требуем полного освобождения женщины, дарования ей всех тех политических и гражданских прав, какими будут пользоваться мужчины...

«Мы требуем уничтожения главного притона разврата, монастырей женских и мужских...

«Мы требуем увеличения в больших размерах жалования войску и уменьшения солдату срока службы. Требуем, чтобы по мере возможности войско распускалось и заменялось национальной гвардиею».

Вот требования (?), рассказанные в двух самых толковых произведениях тайной прессы, — воззвании «К молодому поколению» и плакарде, озаглавленной «Молодая Россия».

Мы видели, что все они клонятся к коммунистическому строю русского быта.

Посмотрим теперь, не найдем ли поборников этого учения в деятелях нашей явной прессы.

В числе этих деятелей, занимавшихся разработкою социальных вопросов, мы видим экономистов — меркантилистов, физиократов и регламентаторов.

Непримиримым противником всех этих теорий является «Современник».

В нем мы и должны искать отголоска всех этих требований нашей прессы, так как теория, отвергающая разом все названные нами выше теории, и есть коммунизм.

Представителем политико-экономической деятельности «Современника» является Чернышевский. Поэтому преимущественно в его статьях и будем искать предполагаемых нами сближений.

2.

«Мы удивим многих, так называемых, экономистов», говорит Чернышевский (60, № 1, стр. 10), «если скажем, что вполне принимаем основную идею их системы, т. е. принцип laissez faire, laissez passer». Чернышевский предполагает (и на этот раз совершенно справедливо), что, услыхав подобное признание, так называемые, экономисты с изумлением скажут ему: «как? вы

признаете принцип laissez faire, laissez passer? Зачем же вы защищаете столь противоречащие этому принципу мысли, как законодательное определение экономических отношений и общинное владение землею?» (ibid.).

В ответ на этот предполагаемый вопрос Чернышевский об'являет «так называемым экономистам», что они сами не разумеют основной теории, которой следуют; и что из нее прямо истекают именно те выводы, которые защищает он, Чернышевский.

Мы не будем следить за изворотами той наглой диалектики, посредством которой принцип laissez faire превращается у Чернышевского в основание теории коммунизма; для нашей цели достаточно указать на результаты этого диалектического процесса.

Вот они:

а) Производство.

«Основною идеею учения о производстве мы находим полное совпадение идеи труда с правом собственности над продуктом труда; иначе сказать, полное соединение качеств собственника и работника в одном и том же лице» (стр. 18), то есть

«*Работник должен быть собственником вещи, которая выходит из его рук*» (стр. 17).

Поэтому *при настоящем порядке вещей* Чернышевский не видит ровно никакой экономической разницы между состоянием невольника и наемного рабочего. Разница между ними существует только в нравственном и юридическом отношении; «но если нравственная философия и юриспруденция удовлетворяются уничтожением невольничества, то политическая экономия удовлетвориться этим никак не может; она должна стремиться к тому, чтобы в экономической области была произведена в отношении труда к собственности перемена, соответствующая перемене, производимой в нравственной и юридической области освобождением личности; эта перемена должна состоять в том, чтобы сам работник был и хозяином» (стр. 21).

в) Распределение.

«Основною идеею учения о распределении ценностей мы находим стремление к достижению, если можно так выразиться, такого порядка, при котором частное число (количество ценно-

стей, принадлежащих лицу) определялось бы посредством арифметического действия, где делителем ставилась бы цифра населения, а делимым цифра ценностей» (стр. 18). Не надеясь, что все читатели сразу уразумели благодетельность этой теории, Чернышевский подкрепляет свои выводы следующим фактическим примером из истории Рима: «пока были в действии благотворные законы об общественной земле, ager publicus, из которой каждому гражданину давался небольшой участок, достаточный для прокормления его семейства, пока Цинцинат и Регул, командовавшие войсками, сами пахали землю, до тех пор Рим был и честен, и благосостоятелен и могуч. Когда оптиматы убедили римлян, что общественная земля — бесплодное бремя, что частная поземельная собственность производительнее, когда ager publicus перешел в частную собственность, Италия разорилась, и Рим погиб» (стр. 20). Этот пример, по мнению Чернышевского, «прямо свидетельствует в пользу общинного поземельного владения», тогда как первый вывод (а) «прямо говорит о необходимости сделать работника хозяином, антрепренером» (стр. 22).

Так чего же хочет Чернышевский?

«Каждая область должна состоять из земледельческих общин, все члены которой пользуются одинаковыми правами» («М. Р.»).

«Мы хотим, чтобы земля принадлежала не лицу, а стране» («К м. п.»). А это и есть общественная земля — ager publicus, на которой основывает Чернышевский благоденствие Рима.

«Мы хотим, чтобы у каждой общины был свой надел, чтобы личных землевладельцев не существовало, чтобы землю нельзя было продавать, как картофель или капусту» («К м. п.»). Совершенно того же хочет и Чернышевский. В введении частной поземельной собственности он видит причину падения Рима и непременным условием благосостояния государства видит общинное владение, т. е. коммуну. Если Чернышевский говорит, что работник должен быть собственником той вещи, которая выходит из его рук, это, конечно, не значит, что ему дается право частной собственности над его полем или конопляником. Работник имеет право собственности только над продуктом своего труда (стр. 18). Между членами коммуны, по теории Чернышевского, делится цифра ценностей, причем делителем берется цифра населения, т. е. общая цифра ценностей делится поровну между

членами общества. Но так как всякая ценность создается трудом, то, очевидно, что труд есть единственный виновник всякого производства. А если так, — заключает Чернышевский, то труд должен быть единственным владельцем производимых ценностей (стр. 38).

Чтобы доказать еще убедительнее, что Чернышевский желает полного уничтожения частной собственности, сохраняя за членами коммуны право, да и то не неограниченное, на продукт его личного труда, выпишем одно место из «Очерков политической экономии»: «Когда люди живут в обществе, то всякое распоряжение вещами может происходить только по согласию общества или, точнее говоря, по согласию тех, которые располагают деятельною силою общества . . . даже вещи, произведенные одним своим личным трудом, без всякой чужой помощи, человек не может сохранять в своем распоряжении иначе, как по дозволению от общества. Мало того, что общество может их взять у него, — их могли бы взять и взяли бы у него отдельные люди, если бы общество осталось к этому равнодушно» («Совр.», 61, VI, 480).

Таким образом, Чернышевский и составители прокламаций хотят одного и того же: уничтожения частной собственности и общинного землевладения.

3.

Мы уже видели, что основною идеею о распределении ценностей Чернышевский принимает арифметическое деление цифры ценностей на цифру трудящегося населения.

Таким образом, распределение путем переворотов должно совершаться в том смысле, чтобы часть каждого члена общества по возможности была бы близка к средней цифре, получаемой из отношения массы ценностей к числу членов общества («Совр.», 60, I, стр. 50).

При таком порядке распределения капиталист есть, очевидно, явление ненормальное. Ибо возникновение капиталиста основывается на разорении другого человека. По теории Чернышевского, право на ценность, произведенную трудом, имеет только сам производитель труда: капиталист же располагает силами других лиц и таким образом приобретает сумму ценностей, произве-

денную трудом многих (ib., 51). В современном строе общества явление капиталиста считается совершенно нормальным; но, по мнению Чернышевского, явление это совершенно ложно, ибо он лишает трудящегося самостоятельности, подчиняет его рассчетам и оборотам капиталиста и производит пагубное соперничество между работниками для получения работы (ib., стр. 51).

Совершенно таков же взгляд на современно-экономический порядок России и у автора плакарды «Молодая Россия».

«Безурядица наших общественных отношений, по мнению этого автора, не может прекратиться до тех пор, пока будет существовать современный экономический порядок, при котором немногие, владеющие капиталами, являются распорядителями участи остальных»... Далее плакарда считает совершенно ложным и нелепым «положение работника, постоянно истощаемого работою, от которой получает выгоды не он, а капиталист».

4.

При общинном владении право наследства уничтожается само собою.

По мнению Чернышевского, понятие о семействе и о праве наследства неестественно. Эти учреждения не могли бы существовать без охранения правительственной власти. Еслибы европейские законы не определяли семейных отношений, у нас бы не могло утвердиться и понятие о единоженстве и о праве наследства. Неестественность этих учреждений доказывается тем, что законы, их регламентирующие, не одинаковы у всех народов. Утоление голода пищею есть закон, общий всему человечеству; поэтому он естественен. В новом строе общества все должно совершаться по естественным законам. А

Nature n'est pas si sote,
Qu'elle faist nestre Marote
Tant solement par Robichon...
Ains nous a falt, beau filz n'en doutes,
Toutes par tous, et tous par toutes,
Chascune par chascun commune
Et chascun commun par chascune, —

говорится в старинной французской песенке. Что оба эти учреждения регламентированы законодательством, это для Чернышевского ровно ничего не значит: «законодательное определение вовсе не служит нормою естественности: может называться естественным также учреждение, которое ограждено законами, и могут называться неестественными такие учреждения, которые тоже ограждены законами» («Совр.», 1860, № 1, стр. 46).

«Молодая Россия» относит семейство тоже к разряду явлений ложных и нелепых и требует «уничтожения брака, как явления в высшей степени безнравственного и немыслимого при полном равенстве полов, а следовательно и уничтожения семьи, препятствующей развитию человека и без которого (т. е. уничтожения семьи) немыслимо уничтожение наследства».

5.

В последнем параграфе этой записки, который будет посвящен рассмотрению проекта товарищества трудящихся, мы увидим, что проект этот удовлетворяет всем остальным требованиям двух разбираемых нами воззваний.

Проект этот назван проектом общества трудящихся потому, что назови его Чернышевский как следует, проектом коммунистического общества, ему бы невозможно было провести свои соображения сквозь цензуру, уже ради одного названия «коммунистическое общество». Очевидно, что выражение «теория трудящихся» употребляется Чернышевским для прикрытия слов — «теория коммунизма».

Теорией трудящихся, говорит Чернышевский, мы будем называть теорию, соответствующую потребностям нового времени в противоположность отсталой, но господствующей теории, которую мы будем называть теориею капиталистов» («Совр.», 1860, янв., стр. 44).

Из предыдущих параграфов мы уже настолько знакомы с политико-экономическими воззрениями Чернышевского, что было бы излишне доказывать еще раз, что теориею, соответствующею потребностям нового времени, он считает коммунизм, но мы не можем не сделать, кроме того, указания на те места сочинений Чернышевского, где эта мысль высказывается самим автором совершенно определенно.

XV.

Во многих местах своих сочинений Чернышевский открыто высказывает свое горячее сочувствие к Роберту Оуэну и Прудону, этим верховным апостолам коммунизма. Если Чернышевский не называет совсем дураками Ад. Смита, Мальтуса и Рикардо, так это потому, что в сочинениях их проскальзывают иногда мысли, близкие к коммунизму. Наконец, Чернышевский переводит Милля потому, что он цензурнее других излагает коммунистические теории. «Будучи в русской литературе представителем взгляда на экономические вопросы, во многом отличающиеся от теории французских, так называемых, экономистов (говорит Чернышевский), «Современник» часто чувствовал затруднение, которому подвергаются и его читатели и сам он от недостатка на нашем языке трактатов о политической экономии, излагающих науку в духе теории, нами разделяемой. По соображению разных обстоятельств мы нашли, что самым удобным способом помочь этому недостатку будет перевести на русский язык книгу Милля и прибавить к переводу примечания», («Совр.», 60, II, 1). Зачем понадобились Чернышевскому эти примечания? Чтобы превратить Милля в совершенного коммуниста, потому что настоящий, английский Милль недовольно коммуничен для его русского переводчика. «Он превосходно раз'ясняет частичные истины, но создать новую систему, дойти до поверки основных принципов и пополнить их он не в состоянии» («Кап. и тр.», стр. 40). Не забудем, что Чернышевский непременно хочет создать новую систему, при которой человеку лучше бы жилось на свете, чем теперь. А Милль-то не делает ровно никаких попыток к сооружению этой новой системы. Он говорит, напр., что все возражения экономистов против коммунизма не выдерживают критики, а между тем, он только исправляет и дополняет в данных случаях ту теорию, односторонность которой доказана писателями, по его собственным словам, неопровержимыми в сущности своих мыслей. Почему же он не перестроил всю теорию с самых оснований? Очевидно, у него нет силы отделить сущность новых мыслей от их политической и административной формы, перевести французское ораторство в теоретическую речь и согласить новые мысли со старыми. Во всяком

случае, политическая экономия у него самого далеко не похожа по своему духу на то, что называется политическою экономиею у отсталых французских экономистов» («Т. и к.», стр. 40). Таков, по мнению Чернышевского, характер Милля. Чернышевский избирает Милля для перевода за то, что он убедительно (по мнению Чернышевского) доказывает «невозможность охранять прежнюю систему от новых идей», т. е. от коммунизма. Кроме того, Милль очень удобен для русского переводчика тем, что он «без особенного шума вводит в науку новые взгляды», т. е. опять-таки коммунизм («Т. и к.», 40). Но, к сожалению, он не строит совершенно новой теории.

Этот-то вот недостаток и берется восполнить Чернышевский в своих примечаниях к Миллю.

То есть он хочет развить полную теорию коммунизма, основанного на отречении от частной собственности, каковую теорию наше законодательство, вообще, не слишком разборчивое в выражениях, весьма неделикатно называет **воровством.**

Если бы мы занялись процеживанием всех этих примечаний, записка наша приняла бы размеры довольно об'емистой книги. Но, к счастью, сам Чернышевский дает нам возможность уклониться от этой утомительной и весьма сложной работы, — довольно подробно излагая свое коммунистическое profession de fo в проекте товарищества трудящихся, в котором Чернышевский силится создать русскую фаланстерию, или русский Ньюленэрк.

XVI.

Своему проекту Чернышевский дает название проекта товарищества трудящихся.

Мы уже знаем, как следует понимать это название, и прежде чем перейти к из'яснению самого проекта, нам остается только доказать, что осуществить его автор желает в России. Каким путем он надеется осуществить его, говорить об этом совершенно излишне: очевидно, путем насильственного переворота, ибо не мог же Чернышевский предполагать, что правительство не только позволит, но даже поможет ему заводить в России порядки, глав-

ным образом основанные на принципе уничтожения частной собственности и равномерном распределении ценностей.

Если Чернышевский и говорит, что проект его предназначается для правительства, то эта ложь, во - первых, была ему нужна для того, чтоб провести свой проект в печати, а во - вторых, затем, чтоб читатель посредством некоторых, приведенных Чернышевским признаков, мог догадаться, в каком государстве было бы желательно осуществление этого проекта.

Вот эти признаки:

1. «Надобно сказать, — говорит Чернышевский, — что в государстве, для которого предназначался этот план, правительство ежегодно бросает десятки миллионов на покровительство сахарным заводчикам и оптовым торговцам;

2. «кроме того, оно дает десятки миллионов взаймы компаниям железных дорог;

и 3) «тратит десятки миллионов на разные великолепные постройки (ib., стр. 61).

Эти три признака ясно указывают на русское правительство. Тут сомнения быть не может. Но есть у Чернышевского еще четвертый признак, который требует некоторых пояснений.

В государстве, к которому относится план, находится среди полей множество старинных зданий, стоящих запущенными и продающихся за бесценок, говорит Чернышевский (ibid). Что это такое?

Где и в чем искать ключа к этой странной загадке?

В настоящее время нет ни одного государства, которое хотя бы сколько - нибудь подходило к этому признаку. Может быть, это утопия? Но, ведь, утопия создается не для забавы праздных людей, это не шахеразада; это проект, по которому должна создаться действительность.

Да, это, конечно, утопия. В действительности нет еще такого государства, в котором бы среди полей стояло множество разрушенных и запущенных зданий. Это государство будущего.

Какому же государству желает Чернышевский такую блестящую будущность? По первым трем признакам, это, несомненно, Россия.

В прошедшем мы видим подобную картину.

Во Франции стояло много запущенных, разрушающихся, продававшихся за бесценок зданий, замков и домов, из которых великая революция 89 года выгнала феодальных помещиков, но, ведь, Чернышевский не говорит о том, что было, он проектирует то, что должно быть, и быть в таком государстве, которое подходит к трем данным приметам, уже отпечатавшимся на его физиономии. Это не идеальное государство; иначе на его физиономии мы не видали бы этих примет, которые, по экономическим воззрениям Чернышевского, очевидно, ее не красят. Идеал есть совершенство, стало быть про него нельзя сказать, лучше бы, дескать, в нем было *так*, а не *этак;* в нем все *так*, а между тем, Чернышевский недоволен тем, что *его* государство тратит десятки миллионов на поощрение сахарного производства, на помощь компаниям железных дорог и на великолепные постройки. По его мнению, лучше было бы употребить эти миллионы на содействие основанию обществ трудящихся.

Да, это не идеальное государство. Оно существует; это Россия, это на русских полях Чернышевский предполагает в будущем множество опустевших и запущенных зданий.

Но что же это за здания? Кем и зачем они будут разрушены? Кто их будет продавать за бесценок?

Не монастыри ли это, уничтожения которых так пламенно желает «Молодая Россия»?

Не помещичьи ли дома, из которых большие землевладельцы должны быть выгнаны, по исповедуемой Чернышевским теории уничтожения частной собственности и математически равномерного распределения богатства?

Мы воздержимся от предположений.

Чернышевский стоит пред лицом закона и ему должен он сам ответить на эти вопросы.

XVII.

Вот этот знаменитый проект «товарищества трудящихся» («Совр.», 1861, № 1, стр. 61 — 66).

1. Участвовать в составлении товарищества приглашаются все желающие.

2. Число участников в каждом товариществе полагается от 1.500 до 2.000 человек обоего пола. Как поступили они в товарищество по своему желанию, так и выходить из него каждый может, когда ему вздумается.

3. Для товарищества всего выгоднее будет купить одно из тех запущенных и продающихся за бесценок зданий, которых такое множество находится среди полей государства, к которому относится план.

4. В таком здании, или если товарищество найдет выгоднейшим, оно может построить новые здания, для помещения работников, устраиваются квартиры с теми удобствами, какие нужны по понятиям самих работников, которые будут жить в них.

5. Но обязательного правила жить в этих зданиях нет никакого. Кто хочет, может нанимать себе квартиру, где найдет удобным.

6. При здании находятся принадлежности, которые требуются правилами или пользою членов товарищества. По нравам того народа и его потребностям такими принадлежностями считается церковь, школа, зало для театра, концертов и вечеров, библиотеки; кроме того, разумеется, больница.

Таким образом, церковь составитель устава считает не непременной принадлежностью общественного здания, как больницу, и ставит ее в ряд таких условных принадлежностей, каковы театр, зала для балов и концертов и пр., т. е. церкви может быть и не быть, смотря по нравам общества. Какая, подумаешь, уступка нравам! Просто самопожертвование!

7. Товарищество будет заниматься и земледелием, и промыслами или фабричными делами, какие удобны в той местности. Все нужное для этого покупается на общественные суммы. В периоды посева и уборки хлеба все члены товарищества приглашаются заниматься земледелием; впрочем, и тут обязательности нет: кто чем хочет, тот тем и занимается.

Примеч. к § 7-му:

«Всякий человек должен непременно приписаться к той или другой из общин . . . но ему предоставляется полная свобода жить вне общины и заниматься каким угодно мастерством» («Молодая Россия»).

8. Но общество доставляет рабочим мастерские только такого рода, какие оно найдет для себя нужным. Сапожники, портные,

столяры, конечно, для него нужны, и оно найдет выгодным иметь такие мастерские. Но если бы иной член вздумал заняться производством ювелирных вещей, товарищество рассудит, нужна ли ему такая работа; если нужна, оно заведет ювелирную мастерскую, если нет, то скажет ювелиру, что когда он непременно хочет заниматься только ювелирством, а не другим чем-нибудь, то пусть ищет себе работы, а оно, товарищество, не может ему доставить мастерской такого рода.

(NB. Примеч. «Мы требуем заведения общественных фабрик, управлять которыми должны лица, выбранные от общества» — «Молодая Россия»).

9. На первый раз этот разбор возможного и невозможного принадлежит директору, но власть директора неограничена только до тех пор, пока формируется общество; как только состав товарищества определится, из членов его избирается общий административный совет, который контролирует директора и его помощников. На третий же год, когда члены товарищества успеют приобрести опытность в том, как ведутся дела, — *власть прежнего директора, назначенного правительством, становится уже излишнею и совершенно прекращается.*

10. За вычетом заработной платы и других издержек производства у товарищества остается значительная прибыль. Часть этой прибыли идет в запасный капитал, который будет служить, так сказать, застрахованием товарищества от разных случайностей. Если товариществ много, запасный капитал служит основанием для *взаимного застрахования от разных невзгод.*

11. Мы уже говорили (п. 4), что все желающие члены пользуются в общественном здании квартирами. Точно также они могут брать, если захотят, всякие нужные им вещи из магазинов товарищества по оптовой цене, которая гораздо дешевле обыкновенной, розничной. Кто захочет, тот может брать кушанья на квартиру из общей кухни, которая отпускает их дешевле, нежели обходятся они в отдельном маленьком хозяйстве, и кому угодно, тот может обедать за общим столом, который стоит еще дешевле.

(NB. Примеч. «Мы требуем заведения общественных лавок, в которых бы продавались товары по той цене, которой (sic) они действительно стоят, а не по той, которую заблагорассудится

назначить торговцу для своего скорейшего обогащения» («Мол. Росс.»).

Такова эта будущая фаланстерия, Нью-Ленарк, Нью-Гермона русского государства.

Товарищество трудящихся, это — прототип русской общины. Это основная ячейка, собрание которых должно составить общинную Русь. «Везде должно проходить одно начало», — говорит автор воззвания «К м. п.», мечтая о таком коммунистическом соте, — «вот что нам нужно».

Да, им это нужно. Но не нужно ни таких ячеек, ни такого сота правительству, и это очень хорошо поняли наши доморощенные Оуэны, совершенно справедливо предполагая, что план их «имеет свойство возбуждать в экономистах отсталой школы неимоверное негодование... хороший отсталый экономист скорее согласится пойти в негры и всех своих соотечественников тоже отдать в негры, нежели сказать, что в плане этом нет ничего слишком дурного»....

Не забудем, что Чернышевский не раз намекал совершенно ясно на солидарность правительства с этими отсталыми экономистами.

«Почему же такая простая и легкая мысль (говорит он в своем проекте) до сих пор не осуществилась и, по всей вероятности, долго не осуществится? Почему такая добрая мысль возбуждает негодование в тысячах людей добрых и честных? Это вопросы интересные» («Совр.», 1860, I, 66).

Именно интересные.

И жаль, что до сих пор никто из людей действительно добрых и честных не взялся ответить на них г. Чернышевскому.

Еще подлог.

I.

Юридический декорум надо было провести до конца, чтобы оградить достоинство правительства вообще и сената в частности от тяжких обвинений в шемякинстве.

Карниолин-Пинский понимал, что на нем, как на первоприсутствующем, лежит долг точно соблюсти закон судопроизводства; Чемадуров, как орган обвинения, тоже не протестовал, тем более, что они оба знали, с какою легкостью можно достигнуть законности форм — настолько, что в 1912 году явится «ученый» à la М. Клочков, который будет иметь . . . наивность доказывать юридическую правильность ведения всего процесса Чернышевского.

Действовавший тогда закон требовал наличности целого сложного здания доказательств и свидетельств, чем, конечно, вовсе не обеспечивал страну от той беззаконности своих судебных процессов, которая дала полное основание даже Хомякову крикнуть на всю Россию:

В судах черна неправдой черной
И игом рабства клеймена!

Доказательства виновности закон разделял на совершенные и несовершенные и считал, что для установления виновности достаточно одного совершенного или нескольких, но не менее двух, несовершенных (ст.ст. 305, 308, 331 ч. 2, т. XV св. законов). Совершенными доказательствами считались: собственное сознание, признанные действительными подсудимым письменные против него документы и «общая ссылка на одного» (ст. 303). Несовершенными доказательствами могли быть показания свидетелей, вещественные доказательства (ст. 343), оговор, «повальный обыск» и т. п.

В деле Чернышевского, как и вообще в громадном проценте дел, совершенных доказательств не было — он отрицал свою виновность и оспаривал подлинность документов; надо было, следовательно, громоздить доказательства несовершенные.

Когда сенат вдумался в положение дела, он увидел, что собственно говоря, все-таки, имел одно вполне надежное, с его безусловно преступной точки зрения, несовершенное доказательство — показание Костомарова; подложная карандашная записка была не очень надежна, раз она так недружно оценивалась экспертизой; ее, значит, можно было трактовать, только как документальное подтверждение показания Костомарова, не больше. Показание Яковлева было тоже опорочено им самим и письмом бывших московских товарищей Костомарова.

Вывод ясен — нужно было еще одно несовершенное доказательство или в лице одного лжесвидетеля или в виде одного подложного документа... В этом и состояла очередная задача, во-время раз'ясненная сенатом Потапову.

Дело, конечно, не стало. Находить лжесвидетеля было опаснее и рискованнее, надо было посвящать его во всю мерзость содеянного III Отделением собственной его правосудного величества канцелярии, а мало ли что могло случиться на этом скользком пути... Поэтому было решено остановиться на документе, который, будучи немым, однако, многое мог сказать.

Вернемся немного назад.

В мае был составлен и переделан, а в июне представлен царю следующий доклад шефа жандармов:

«Во время состояния Костомарова под судом, бывший надзиратель здешней полиции Путилин доводил до сведения Спб. военн. ген.-губернатора, что Костомаров, если он будет освобожден и даны будут средства, откроет вместе с ним, Путилиным: 1) Главную думу революционного комитета в Москве и Спб., 2) тайную типографию и архив сего комитета в Москве и 3) склад оружия. Ген.-ад. кн. Суворов об'явил Путилину, что высоч. разрешено, если открытия эти будут сделаны, выдать Костомарову 500 руб. и производить его матери ежегодно по 1.500 р. Путилин передал это Костомаровым.

«Костомаров открытий сих не сделал и об'ясняет, что он обнаружить вышеизложенное не вызывался и положительных сведений о существовании в России тайного общества не имел, но сообщал ему лишь свои личные соображения и выводы вообще о разных направлениях в обществе и, сверх того, некоторые известные ему частные сведения об отдельных личностях. Но Костомаров указал следственной комиссии, что Шелгунов писал воззвание «к воинам» и ходил в казармы с целью склонить солдат к восстанию; он показал также, что Чернышевский поручал ему, Костомарову, печатание воззвания «К барским крестьянам» и диктовал ему воззвание к раскольникам. Шелгунов и Чернышевский, хотя и не сознались в этом, но показания Костомарова и улики, им представленные к их обвинению, были достаточным основанием к преданию их суду; а потому он не может не заслуживать внимания правительства, тем более что, по словам ген.-ад. кн. Суворова, Пути-

Добрый друг
Алексей Николаевич

Костомаровское подложное письмо к А. Н. Плещееву.
(В натур. вел., 1-я стран.).

(2-я стран.).

(3-я стран.).

лин уже об'явил семейству Костомарова о всемилостивейшем соизволении на производство оному денежного пособия».

22 июня Долгоруков пометил на докладе: «высоч. разрешено дать Костомарову с его семейством единовременно пятьсот руб. сер., истребовав эти деньги из госуд. казначейства на известное его величеству употребление». Раньше чем деньги были получены из казначейства, III Отделение выдало их своему агенту и получило расписку: «1863 года июня 25 дня пятьсот рублей серебром получил Рядовой из дворян *Всеволод Костомаров*». Сличение почерка этой коротенькой расписки убедит всех и каждого, что *именно этою рукою* писано новое подложное письмо Чернышевского к А. Н. Плещееву. Она дана Костомаровым не своим почерком, как будто, нарочно, из какого - то хвастовства, молодечества, которое так хорошо уловил в психологии преступников Достоевский. Она одна уже кричит о его предательстве.

Но когда же и каким образом выплыло это письмо к Плещееву и где все остальные, бывшие с ним вместе у мифического Шиповалова? Ответ на первый вопрос очень прост: пробыв на свободе полтора месяца, Костомаров принес Потапову свою вторую подделку незадолго до 12 июля, в этот день она была послана III Отделением кн. Голицыну, а 18 - го сенат был уже оповещен о получении еще одного и уже окончательно решающего вопрос о виновности Чернышевского несовершенного доказательства.

Для ответа на второй вопрос в делах нет *никаких* указаний, и это особенно важно: значит, письмо было просто принесено Костомаровым, и Потапову предоставлено было поступить дальше, как он пожелает. Ни записки Шелгунова, ни двух писем Михайлова и т. п. так никогда и не появилось на свет; ни о каком «Шиповалове» или таинственном «И. С.» не было больше ни одного звука . . . Зато в письмах министра финансов Рейтерна к П. А. Валуеву, есть одно, от 5 августа 1863 г., т. е. уже *после* сенатской экспертизы поддельного письма, признавшей его настоящим, загадочное содержание которого становится вполне ясно: «Погубивший дирижера радикального оркестра, завтра, от 9 до 11 веч. может получить у Ф. Т. Ф. [1]) 1000 р., если приготовит заранее

---

[1]) Директор общей канцелярии министерства финансов Федор Тимофеевич фан-дер-Флит.

расписку от имени матери своей Надежды Николаевны, которая, однако, как вам известно, по поставленному им условию, не должна об этом знать. Будьте любезны принять на себя труд послать надежное извещение по известному вам адресу» (архив П. Я. Дашкова).

18 июля Замятнин сообщил обер-прокурору, что 12-го числа Потапов прислал кн. Голицыну, а последний направил к нему очень важное письмо Чернышевского к какому-то «Алексею Николаевичу (вероятно, Плещееву)», полученное от В. Костомарова.

Привожу и этот третий козырь крапленой колоды III Отделения с подлинника, а не с копии, любезно при нем приложенной Потаповым, в виду «ветхости» оригинала... Все, что приходится допускать, взято в круглые скобки. Оригинал, конечно, яснее прилагаемой фотографии.

Вот что написано было на изорванном, протертом и подмоченном листе почтовой бумаги обыкновенного формата:

«Добрый Друг Алексей Николаевич! Может быть Вы и справедливы, упрекая меня за слишком большую доверчивость, оказанную людям, едва мне знакомым; я и сам очень хорошо знаю, что не смотря на все, принятые мною предосторожности, рискую очень м(ногим), но кто виноват? Как знаете, что времени терять нельзя (теперь), или никогда. Тут раздумывать много было бы преступлением, — слабостью, ничем не оправдываемой, и ошибкой, никогда непоправимой. Вы вот около уже полугода водите нас со своим станком, и довели до такой минуты, далее которой откладывать мы не можем, если хотим, чтоб дело наше было выиграно. В то время, как Вы откладываете со дня на день, (нам) подвернулись под (руку) люди, хотя, (са)ми по себе, и весьма, как ви(дно, пуст(еньк)ие, но все-таки энергичные и более года занимавшиеся тайным печатанием, стало быть, вести свое дело умеющие. Мы не могли не воспользоваться таким удобным случаем (напе)чатать свой манифест, тем более, (что в) случае неуспеха, самая большая доля ответственности падает на них самих. Тем не менее Вы все-таки примите свои меры к прекращению всех слухов, которые могут повредить нам, потому что я уже не от Вас одних слышу, что Сулин [или как там его] хвастает знакомством со мной, и рассказывает будто (я)отдал ему (для)тайного пе(чата)ния свое сочинение [?]. Старайтесь заглушить эти слухи; это будет

Вам тем более легко, что, как я слышал, и Сул., и Сор. не пользуются в Москве репутацией людей положительных и дельных.

«Что касается до К., то на него, кажется, можно положиться, хотя, конечно, и с ним нельзя через чур откровенничать, не следует, не испытав предварительно верности его на деле. Впрочем, он (мне ка)жется человеком дельным и (полезным) и я во всяком (слу)чае (весьма) благодарен Вам за знакомство с ним.

«Я ничего не пишу Вам теперь о *литературных* делах, хотя на(копи)лось довольно много новостей для (Вас небез'интересных). По обыкновению с(пешу и)ли лучше сказать спешит К., с которым я отправляю это письмо.

«Вы все попрежнему продолжаете сомневаться в добром исходе нашего дела; так (не) годится. Больше энергии, больше веры (в) успех. Дремать грешно в такое удо(бное) время, когда все проснулось. Оттого (у Вас) ничего и не выходит. Нет, мы не тер(яем времени в бесплод)ном раздумьи. Посмотрите, каких (чудес) наделал Л. с своими офицерами или 23 в Понизовьи. Ваша работа легче, а подвигается медленнее; отчего? Энергии мало, мало силы воли.

«Совсем некогда. Жму Вашу руку.

Ваш *Черныш*.

«С(ко)ро буду писать (через К.)».

Подделка ясна до очевидности и еще более заметна каждому, чем в карандашной записке. Любопытно, что Костомаров и на этот раз не сумел быть грамотным и хоть этим подделаться под Чернышевского: его с головой выдает «некогда» на третьей от конца строке...[1])

---

[1]) Относительно этого письма в печати сообщено не мало всякого вздору. Так, например, Захарьин-Якунин писал: «Чернышевский указал презусу военно-судной комиссии на водяные знаки почтового листа большого формата, на котором было написано это письмо: поддельным почерком Чернышевского был выставлен под письмом 1863 год, а водяные знаки удостоверяли, что бумага сделана на фабрике в 1864 году» («Новое Время» 1904 г., № 10321). Здесь все с первого слова неверно, и никаких водяных знаков на бумаге нет. Сын Плещеева сообщил, что по первой экспертизе письмо было найдено подложным, а по второй — подлинным («Новое Время», № 10304). И это неверно.

24 июля Чернышевский был призван в сенат. Карниолин-Пинский начал с того, что бережно держал подложное письмо в своих руках и, поднеся его к глазам Н. Г., сказал с большою торжественностью: «Oculis, non manibus!..» [1]).

Разумеется, Чернышевский отверг его и не дал никаких раз'яснений, кроме указания, что может лишь догадываться, что письмо адресовано к Плещееву. При этом он не преминул заметить, что если в вовсе неискусной подписи нужно читать «Чернышевский», то письмо явно поддельное.

Решено было сделать сличение почерков.

Призванные 30 июля восемь секретарей сената дали следующее заключение: «По сличении предложенного к рассмотрению письма с имеющимися в деле бумагами, признанными г. Чернышевским за писанные им самим и в особенности на л. 305 подлинного дела, нижеподписавшиеся нашли единогласно, что как сие письмо, так и означенные бумаги писаны одною и тою же рукою». Имена секретарей пусть будут ведомы потомству: Ф. Ордин, Варгасов, Ф. Григоровский, В. Малышев, В. Беляев, Гренков, Елпатьевский и Тришатный... Разумеется, сенаторы одобрили эту свободную экспертизу, и вопрос, таким образом, был решен бесповоротно.

31 июля был снят допрос с Костомарова.

Среди массы повторений, ошибок и противоречий с прежними его показаниями и письмом к Соколову, особенно заслуживают упоминания такие, например, что уже в первое свидание с Чернышевским, при Михайлове, он говорил ему о неудовлетворительности редакции воззвания к барским крестьянам и предложил свои поправки; что он наотрез отказался взять это воззвание; что когда он узнал, что Сороко получил от Чернышевского прокламацию, то «сейчас же поехал в Петербург предупредить Чернышевского и других». Затем Костомаров рассказал: «Чернышевскому повез я письмо от Плещеева. Чернышевский был очень встревожен, но утешал и меня, и себя тем, что если эта болтовня дойдет до правительства, то он, Чернышевский, от всего отопрется,

---

[1]) «Смотрите, но не троньте». Сообщено самим Наколаем Гавриловичем А. Н. Пыпину.

потому что улик на него никаких нет. Я спешил в тот же день уехать в Москву, назад, решившись перенять работу от Сулина и потом, под каким-нибудь благовидным предлогом, прекратить ее совсем . . . В этот приезд я получил от Чернышевского письмо к Плещееву, которое он вынес мне из кабинета . . . Я его куда-то затерял дорогой, так и сказал я Чернышевскому. А после, когда я нашел его за подкладкой своего саквояжа, оно было и измочено, и изорвано — одним словом, в таком виде, что отдать его Плещееву мне было уже совестно, — да оно уже и не имело бы смысла».

Читатель помнит, что имя А. Н. Плещеева упоминалось Костомаровым уже несколько раз и раньше, еще в период его дружеской переписки с Путилиным, и потом. Все эти данные были собраны, обработаны и сообщены III Отделением министру юстиции. 5 августа Замятнин сообщил Чемадурову «для сведения», что, по имеющимся «слухам», у Плещеева видели несколько номеров революционного листка «Мысль и Дело» и типографский шрифт и что он — один из деятелей общества «Земля и Воля»; был сделан обыск, но ничего предосудительного не найдено, о чем кн. Голицын и доложил царю. Сенат принял это к сведению, очень мало интересуясь еще одним весьма, казалось бы, преступным соучастником Чернышевского, как не заинтересовался Сороком . . .

13 августа Чернышевский был привезен в сенат для чтения составленной о нем «записки».

Можно себе представить, какие большие глаза сделал Николай Гаврилович! Только тут он начал понимать, что делалось для его обвинения . . . и, наконец, стал угадывать свое близкое будущее . . .

Он написал только: «1863 г. августа 13 дня я, нижеподписавшийся будучи вызван в 1 отд. 5 деп. пр. сената, дал сию подписку в том, что сего числа приступил к чтению записки из дела, обо мне составленной, которое обязуюсь окончить в узаконенный срок и подать рукоприкладство».

На другой же день он отправил коменданту запечатанный пакет с надписью: «В Правительствующий Сенат от отставного титул. советника Чернышевского. Образец черновой литературной работы Чернышевского, содержащий в себе пятнадцать полулистов и один полулист пояснительной заметки (писанной 14 авгу-

ста 1863) для облегчения работы гг. делопроизводителей по разбору фактов дела о Чернышевском. 14 августа». III Отделение направило пакет в сенат только 20-го числа.

А вот и указанная «пояснительная заметка».

«В той части записки по делу Чернышевского, которую Чернышевский прочел 13 августа, очень много говорится о литературной деятельности Чернышевского, о личных свойствах его характера, особенно о его самолюбии. Эти соображения подтверждаются авторами бумаг, их содержащих, посредством извлечений из черновых бумаг и семейных писем Чернышевского.

«Чернышевский находит полезным для раз'яснения представить вложенный здесь образец черновой его работы, заключающейся на 15 листах его нумерации, деланной его рукою ныне поутру, 14 августа.

«Это нужно для облегчения разбора дела о Чернышевском — в его ли пользу, или нет, он предоставляет решит Пр. Сенату.

Отставной тит. сов. *Н. Чернышевский.*

«14 августа 1863 г.

«P. S. Он просит гг. делопроизводителей просматривать листы по порядку нумерации, деланной им 14 августа, — читать всего сплошь не стоит, по его мнению, достаточно употребить часа полтора или два на пересмотр.

«Но если гг. делопроизводители будут читать внимательно, сплошь, то тем лучше для раз'яснения дела. Отставной тит. сов. *Н. Чернышевский.* 14 августа 1863.

«Чернышевский предполагает, что легче всего понять эти странные работы, если предположить, что это материал для будущих романов, именно для таких частей романов, в которых изображается состояние очень сильного юмористического настроения, доходящего почти до истеричности. Но, конечно, он не в праве требовать, чтобы гг. делопроизводители ему верили на слово. Отставной тит. сов. *Николай Чернышевский*».

Что же это за 15 полулистов? Это, действительно, черновые наброски некоторых произведений, сделанные в крепости. Я не привожу их, как мало неидущие к делу. Мне кажется, что, посылая их сенату, Чернышевский издевался над ним, желая подчеркнуть способность «делопроизводителей», как он ядовито

называл теперь целый департамент, копаться в душе обвиняемого и строить необходимое им обвинение на совершенно непригодном материале...

Но там это не произвело впечатления; в сенате не поняли цели присылки.

Через неделю Н. Г. вручил обер-секретарю следующую записку:

«Прочитав на листах 409 — 410 черновой (дополнительной) записки по моему делу изложение результатов сличения почерка письма к Алексею Николаевичу, которое я называю непринадлежащим мне, с моими подлинными письмами или бумагами, я осмеливаюсь просить Пр. С. разрешить мне, если то не противно закону,

> «прибегнуть к тем из даваемых наукою для распознавания почерков средств, какие могут быть допущены по закону» (мое дополнительное показание).

«Из них первое требует, чтобы мне самому дана была возможность сличить отвергаемое мною письмо с а) бумагами, несомненно писанными почерком г. В. Костомарова, и б) бумагами, писанными мною, которые были принимаемы за основание для сличения моего почерка с почерком письма.

«Итак, имею честь просить пр. сенат если не противно закону, дать мне на рассмотрение эти бумаги. При рассмотрении отвергаемого мною письма и бумаг почерка г. Костомарова нахожу полезным пользоваться сильною лупою, увеличивающею в 10 — 12 раз; прошу у пр. с. или приказания доставить ее мне, или разрешения мне приобресть ее.

«20 августа 1863. Отставной титулярный советник *Николай Гаврилов сын Чернышевский*».

Разумеется, увидя, что подсудимый сразу попал в цель, указав на Всеволода Костомарова, сенат признал «таковое домогательство Чернышевского незаконным, ибо сличение почерка руки его сделано секретарями, а затем присутствием пр. сената, на точном основании закона, с соблюдением всех предписанных законом правил; того же, чтобы самому подсудимому дозволено было де-

чать сличение своего почерка с актом, им отвергаемым, или употреблять для сличения сего лупу, в законах постановления нет» . . .

21 августа Н. Г. выслушал это решение, которое показывало уже с полной ясностью, как ведется и чем кончится все дело . . .

2 сентября он устно заявил сенату, что во время чтения дела комендант лишил его всяких свиданий, между тем скоро должна приехать Ольга Сократовна, и потому он просит о разрешении видеться с нею. Свидание было дано.

II.

Плещеев еще не опрошен, он даже не приехал еще и в Петербург, а уж Чернышевский прочел всю сенатскую записку и заявил о желании присутствовать при слушании ее в присутствии сената . . .

25 сентября он заключил свою работу по чтению последними своими обращениями к правосудию. Вряд ли Н. Г. верил в их успешность. Вернее, он просто хотел всеми возможными способами выявить тот поразительный произвол, который творился над ним в течение почти двух лет. Человек с сильно развитым сознанием исторической ответственности (припомните, например, его указание, почему он не уничтожил письмо Герцена и Огарева), Чернышевский, очевидно, думал и о том, что когда-нибудь придет время вынести все это на суд общества . . . И он не ошибся — оно пришло . . .

25-м сентября им датированы три документа.

Первый из них — прошение, только по форме, на высочайшее имя, а, по тогдашним правилам, посылаемое в сенат, который или удовлетворял их, или отвергал. Царю Чернышевский писал первый и последний раз 22 ноября 1862 года . . .

«Всепресветлейший, Державнейший, Великий Государь Император, Александр Николаевич, Самодержец Всероссийский, Государь Всемилостивейший!

«Просит отставной титулярный советник Николай Гаврилов сын Чернышевский, а в чем мое прошение, тому следуют пункты:

«1. Мой процесс веден так, что решение его в том или другом смысле имеет для правительства важность, далеко превышающую решение того, какова будет моя личная судьба.

«2. Потому, сказав это, я исполняю долг русского подданного, прося правительствующий сенат, или принять во внимание политическую сторону фактов, приводимых в моем рукоприкладстве, или принять те меры, какие повелеваются законом в подобных случаях, а потому всеподданнейше прошу,

«Дабы повелено было рассмотреть политическое значение фактов, совершившихся по моему процессу. Отставной тит. сов. *Николай Гаврилов сын Чернышевский* руку приложил. Сентября 25 дня 1863 года.

«К поданию надлежит в первое отделение пятого департамента правительствующего сената».

Что подразумевал Чернышевский под «политической стороной» своего процесса, для нас, знакомых с «пропавшими» письмами его к царю и кн. Суворову, в которых им развита была именно эта точка зрения, ясно.

Второй документ — пространное прошение, опять по началу той же формы и, следовательно, тоже обращенное, в сущности, к сенату. В нем Чернышевский последний раз разобрал падавшие на него обвинения и больше уж никогда не говорил о них ни с сенатом, ни с кем-нибудь другим...

«Всепресветлейший и т. д., а в чем мое прошение, тому следуют пункты:

«1. По прочтении моего дела для сделания рукоприкладства, я нахожу средства в значительной степени пояснить обстоятельства моего процесса на основании данных, которые представляются бумагами, заключающимися в этом деле. То, что можно было по закону ввести в форму рукоприкладства, я изложил в нем; пояснения, не вошедшие в рукоприкладство, излагаю в этой моей просьбе.

«2. По изложению обстоятельств моего арестования надобно заключать, что самый факт ареста был произведен по распоряжению, еще не уполномоченному высочайшею волею государя императора, которому было доложено об арестовании меня, как о факте, уже совершившемся, только для испрошения высочайшей воли по вопросу о том, в каком месте заключения содержать лицо, уже арестованное. Я теперь сужусь по обвинению в политическом преступлении; следственно, самый характер процесса моего обязывает меня выставлять на обсуждение

подлежащих правительственных учреждений политическую сторону моего процесса. Она важна для интересов самого правительства. Не зная, как не юрист, в праве ли пр. с. принять во внимание эту (политическую) сторону дела, я излагаю ее в отдельной просьбе, для того, чтобы настоящая моя просьба не погрешала по форме, если просьба к пр. с. о принятии во внимание политической стороны дела есть погрешность против формы.

«3. Фактом моего арестования правительство и один из его органов — высоч. учрежд. следств. комиссия — с одной стороны, а с другой — один из подданных его императорского величества, именно я, были поставлены в такое отношение: арестован человек, против которого нет обвинений; это положение имело первым своим последствием нарушение св. зак. т. XV кн. I статьи 475. Допрос мне в первый раз был сделан спустя только уже около четырех месяцев после моего арестования, и только на этом допросе была высказана причина моего арестования [1]).

«4. *Время шло, — надобно же было представить в высоч. учрежд. комиссию что-либо под именем улик или обвинений против меня* [2]). И вот явились на внимание комиссии разные бумаги из числа найденных у меня. Из чтения моего процесса я увидел, что не было обращено никакого внимания на особенности положения журналиста, и потому выставлены были, как факты подозрительные, по своей странности, такие обстоятельства, которые необходимо связаны с профессиею журналиста. Со мною было то самое, как еслибы, нашедши в лаборатории химика химические реактивы, стали удивляться этому и строить на этом юридические действия против него. Потому вижу теперь необходимость изложить некоторые особенности профессии журналиста.

«5. Первая из них та (неприятная для людей нежного темперамента и) безразличная для журналистов, привыкших к своему положению, проделка оскорбленных им литературных или сословных самолюбий, что журналист нередко получает пасквили

---

[1]) Опускаю здесь, как и ниже во многих местах, указания в скобках на страницы подлинного дела или сенатской записки.

[2]) Я беру курсивом в этом документе все то, что показывает, как ясно видел теперь Чернышевский не хитро, но крепко сплетенную вокруг него жандармскую сеть.

против себя. Таких пасквилей не мало в моих бумагах. *Выбраны были те из них, которые имеют своим содержанием политическую брань на меня.* Эти пасквили введены в дело в нарушение св. зак. т. XV ч. 2 ст. 53.

«6. Ясно, что письмо гг. Герцена и Огарева прислано было ко мне, как пасквиль или подметное письмо. Ясно, что оно, однако же, теперь уже не может быть принято во внимание, потому что из него уже извлечены комиссиею многие вопросы Чернышевскому. Поэтому я уже имею право ссылаться на него.

«Поясню, при этом, что я обязан был, как литератор, сохранить у себя этот документ: он важен для истории литературы, и всякий ученый, занимающийся ею, скажет, что я поступил бы недобросовестно, еслибы или уничтожил его, или передал в какой-нибудь архив официального места, не открытый для ученых, занимающихся историей литературы.

«Это письмо показывает неприязненность моих отношений к гг. Герцену и Огареву; оно явно выставляет, что подозрение в моем намерении эмигрировать для сотрудничества с Герценом было неосновательно. Оно показывает также, что на самом деле я поступал противоположно ложным слухам обо мне, о которых буду говорить ниже.

«7. Также я уже имею право ссылаться на другой пасквиль против меня, когда он введен в дело. Это — анонимное письмо ко мне. Я прошу обратить в нем внимание на слова безыменного автора ко мне: «Вспомните, в какую цену вы оценили наши имения». Они показывают истинный источник бывших обо мне слухов, как о человеке злонамеренном: сословное раздражение той части дворян - землевладельцев, которая была недовольна освобождением крепостных крестьян. Видя, что, с одной стороны, напор на правительство по этому делу очень силен (например, требуются невозможные цифры выкупа по рассчету дохода в 70 или 80 руб. сер. с тягла, с капитализациею из 5%,—около 600 руб. сер. за ревизскую душу), я считал полезным противодействовать этому наивозможно сильным отстаиванием низких цифр, чтобы правительство имело возможность остановиться на умеренных, возможных величинах выкупа.

«8. Это письмо введено в дело; *оно послужило одним из источников для письма г. В. Костомарова к г. Соколову.* Там и здесь

подозрения на меня выводятся из того, что я социалист. В печатной литературной полемике мои литературные противники, действительно, называли меня социалистом; называли также Кромвелем, Бонапартэ и проч. Я не имею ровно ничего против употребления этих или каких бы то ни было других укоризненных или обвинительных прозваний против меня в литературной полемике. Я надеюсь, что огромное большинство литераторов, полемизирующих против меня, и большинство рассудительных читателей понимает истинное значение резких выражений в полемике: они служат приправою, без которой спор казался бы скучен публике. Это ретсрические фигуры: метафоры, метонимии, гиперболы. *Но я не ждал, чтобы полемический термин моих противников был введен в следственное дело против меня с юридическим смыслом.* Я твердо убежден, что огромное большинство их вознегодовало бы на этот факт, если бы узнало о нем.

«В юридическом смысле слова, — в серьезном, ученом смысле, который один имеет юридическое значение, термин «социалист» противоречит фактам моей деятельности. Обширнейшим из моих трудов по политической экономии был перевод трактата Милля, ученика Рикардо; Милль — величайший представитель школы Адама Смита в наше время; он гораздо вернее Адаму Смиту, чем Рошер. Из примечаний, которыми я дополняю перевод, обширнейшее по об'ему — исследование о Мальтусовом законе. Я принимаю его и стараюсь разбить Мальтусову формулу. Этот принцип — пробный камень безусловной верности духу Адама Смита.

«Я не социалист в серьезном, ученом смысле слова, по очень простой причине: я не охотник защищать старые теории против новых. Я — кто бы я ни был — стараюсь понимать современное состояние общественной жизни и вытекающих из нее убеждений. Распадение людей, занимающихся политической экономией, на школы социалистов и не - социалистов такой факт в историческом развитии науки, который отжил свое время. Практическое применение этого внутреннего распадения науки также факт минувшего: в Англии давно, на континенте Западной Европы — с событий 1848. Я знаю, что есть многие отсталые люди, полагающие, что это мое мнение подлежит спору; но это спор уже о том, основательны ли мои ученые убеждения, — предмет чуждый юридического значения. А, между тем, он введен в дело.

«9. В дело введено мое письмо к жене. О политической стороне этого факта не говорю здесь: она излагается мною в другой просьбе моей. *Письмо это дало тему, также вошедшую в письмо г. В. Костомарова к Соколову, и несколько строк, в которых я тут называю себя Аристотелем, много раз повторяются потом в деле, как уличение меня собственными моими устами в непомерности самолюбия, и наведение тем на мысль, что человек с подобным самолюбием не может не быть врагом общественного порядка.*

«В числе моих слабостей есть гордость, — качество противоположное мелкому самолюбию, хотя бы и непомерному, — но, все-таки, качество, имеющее свои забавные стороны. Я люблю смеяться над своими слабостями. Все мои статьи, все мои письма к людям близким наполнены моим иронизированием над собою. Может быть, это также недостаток. Но до него нет дела уголовному следствию. Ирония не предмет XV тома свода законов. Между тем я нашел в деле факт, о котором говорю.

«Действительно ли я человек непомерного самолюбия? Пусть прочтут серьезные страницы моих статей: в них я называю — даже в нашей бедной русской современной литературе — несколько людей, которых ставлю выше себя по ученой и публицистической деятельности. Пусть обратятся с вопросом к людям, знающим меня близко, — такой ли я человек, который бы тяготил кого-нибудь своим самолюбием. *Пусть же употребят серьезные, достойные средства к раз'яснению психологического вопроса, который не подлежит суду по XV тому свода законов, но который я вижу введенным в дело для осуждения меня по этому тому.*

«Но, нарушая границы между биографическим любопытством и юридическими обязанностями, не захотели даже принять серьезных средств к открытию истины, а сделано гораздо проще: дали юридический смысл ироническому отрывку.

«Мое письмо к жене, приводимое в деле, состоит из двух частей: в одной я говорю о себе так, что посмеется над этою частью письма всякий, — и я смеялся, когда писал ее, — смеялся над собою, преувеличивая до нелепости ту сторону моих ученых предположений, которая забегает в будущее: я излагаю план таких ученых работ, для исполнения которых нужно несколько сот лет работать день и ночь, — работ, которых не в состоянии исполнить никто на свете; в этой части письма я называю себя продолжате-

лем Аристотеля. В другой половине письма о действительных делах я просто говорю моей жене, что она, по моему мнению, может лучше меня рассудить, потому что умнее меня. Ясно, что первая половина письма — мое иронизирование над самим собою. *Но не умели или не могли обратить внимание на такой простой способ понять, в чем тут вся вещь.*

«10. Но при всех этих вещах, все - таки, не было ни улик, ни даже таких фактов, на которых можно бы было основать серьезное следствие против меня. Высочайше учрежденная комиссия видела это. Желая дать ей путь выйти из положения, в которое она была поставлена фактом моего арестования, я написал после первого моего допроса письмо к его величеству и к г. генерал-губернатору. Этих писем нет в деле. Почему их нет в нем, я говорю в другой моей просьбе.

«11. Комиссия видела недостаточность подозрений, возводившихся на меня бумагами, бывшими в ее руках во время первого допроса (30 октября). Потому после этого допроса (16 ноября) были доставлены ей тетради моего дневника с картонными лоскутками, которые в бумаге, передающей их комиссии, названы «указателями шифра», которым писаны тетради моего дневника, хотя в это время уже было удостоверение от министерства иностранных дел, что дневник мой писан не шифром.

«12. Политическую сторону введения в дело вещей, подобных моему дневнику, я раз'ясняю в другой моей просьбе. Здесь я оставляю политическую сторону вопроса без рассмотрения.

«Способ сокращенного писания, подобного моему, употребленному в дневнике, употребляется, в большей или меньшей удачности сокращения, почти всеми студентами университетов, записывающими лекции. Это служит заменою стенографии, а не тайным письмом. Я с детства писал очень много и еще в семинарии записывал таким образом лекции, и тетради этого периода, еще детского, находятся в моих бумагах. В университете привычка развилась у меня. Из того периода в моих бумагах есть, между прочим, весь «Герой нашего времени» Лермонтова, переписанный таким способом. И после я точно также писал почти все, что писал для себя (например, в деле черновые списки с моих писем к профессору Андреевскому, оставленные у себя мною для будущих справок). Все это было в руках и перед глазами лиц, раз-

биравших мои бумаги. И все - таки дневник мой выдается за написанный шифром, даже после уверения министерства иностранных дел, что он писан не шифром.

«Что такое этот дневник? Министерство иностранных дел нашло, что не следует понимать его в смысле обыкновенного дневника. В бумаге, присланной в комиссию, это мнение министерства передается словами: «можно думать, что слог этот имеет условный смысл». Я не знаю, до какой степени точно передан этот отзыв министерства в этой бумаге; подлинного отзыва министерства нет в деле.

«Разбиравшим бумаги мои должно было бы знать, что они разбирают бумаги литератора. При разборе бумаг они могли бы заметить, что им попадаются повести, писанные моею рукою. Еслибы они потрудились заметить эти два обстоятельства, мне не пришлось бы утруждать пр. с. об'яснением факта, которому не следовало бы попадать в дело.

«Я издавна готовился быть, между прочим, и писателем беллетристическим. Но я имею убеждение, что люди моего характера должны заниматься беллетристикою только уже в немолодых годах — рано им не получить успеха. Еслибы не денежная необходимость, возникшая от прекращения моей публицистической деятельности моим арестованием, я не начал бы печатать романы и в 35 - летнем возрасте. Руссо ждал до старости, Годвин также. Роман — вещь, назначенная для массы публики, дело самое серьезное, самое стариковское из литературных занятий. Легкость формы должна выкупаться солидностью мыслей, которые внушаются массе. Итак, я готовил себе материалы для стариковского периода моей жизни. Мною написаны груды таких материалов — и брошены; довольно написать, хранить незачем, — цель: утверждение в памяти — уже достигнута. Но я не мог уничтожить некоторых моих черновых работ, потому что они были писаны на одних листах с вещами, которые я считал интересными для меня. Тетради, внесенные в дело, именно таковы: среди материалов для будущих романов набросаны кое - какие отметки из моей действительной жизни (например, список дней, когда я в первый раз говорил с моею невестою, когда она дала мне слово).

«Надобно об'яснить, что у меня, как почти у всех беллетристов, порядок возникновения романа таков: берется факт,

отдается на волю фантазии, она играет им — это самый важный период так называемого «поэтического творчества». Итак, тут, в моем дневнике, вольная игра моей фантазии над фактами. Я ставлю себя и других в разные положения и фантастически развиваю эти вымышленные мною сцены.

«Что же я вижу в деле? *Берут одну из этих сцен и дают ей юридическое значение. На этом основан весь ход моего процесса до передачи его в пр. с.*

«Сцена состоит в том, что какое - то «я» говорит девушке, что может со дня на день ждать ареста, и если его будут долго держать, то выскажет свои мнения, после чего уже не будет освобожден.

«В тех же тетрадях есть многие другие «я». Одного из этих «я» бьют палкою при его невесте. Можно удостовериться справкою, что ни тогда, ни вообще когда - либо со мною, Чернышевским, ни при невесте, ни без невесты не случалось ничего такого.

«Я могу об'яснить, из каких фактов взята мною, как литератором, сцена, вошедшая в дело с таким важным влиянием на него. Это прикрашенный идеализацией случай из жизни Иоганна Кинкеля (известного немецкого ученого, о котором тогда много писали в газетах), приспособленный мною, как романистом, к рассказу, незадолго перед тем слышанному мною от Николая Ивановича Костомарова (не имеющего ничего общего с г. В. Костомаровым) — он был арестован в то время, как собирался жениться (за шесть лет перед тем).

«Два очень простые соображения могли бы показать, что сцена, созданная мною, литератором, для будущего романа, не могла относиться к моей действительной жизни: 1) у меня, Чернышевского, не было тогда не только друзей, даже близких знакомых между важными людьми; в этой сцене действует человек, имеющий за себя сильных в правительстве друзей; 2) тогда (весною 1853) не было в России, не только в Саратове, где я жил уже два года, даже и в столицах, никакой политической жизни, не только тайных обществ. Это факт, принадлежащий истории.

«13. В другой моей просьбе я поясняю отношение между предположением, основанным на этой сцене, и фактами моего процесса; здесь я только скажу, что действительно я, Чернышевский, поступил так, что оказалась разность между ним и романическим

лицом, слова которого были ему приписаны, но в деле нет первых записок моих по этому обстоятельству и нет письма, написанного мною с целью открыть комиссии истинное положение дела. Письмо это имеет форму ответа моей жене на ее вопрос о том, в чем состоит мое дело. Я не знаю, было ли доложено комиссии.

«14. Итак, по связи между предыдущими фактами, об'ясняемой мною в другой просьбе, в начале марта (8 марта) в комиссию *были, наконец, доставлены — только уже по прошествии восьми месяцев после моего арестования — такие документы, которые она могла принять за основания для начатия процесса против меня.*

«15. Первый из этих документов — письмо к Соколову. По приблизительному моему счету оно имеет до 30.000 букв [1]); оно занимает в выписке 117 страниц. Требуется, значит, время, чтобы переписать набело такое произведение. *Список, взятый у г. В. Костомарова г. Чулковым и находящийся в деле, очевидно, есть беловой список.*

«Изготовление чернового подлинника требовало времени еще более значительного, чем переписка его набело. *Литературная отделка труда тщательна. Расположение его частей многосложно и обдуманно.*

«Г. Костомаров приехал в Тулу 5 числа марта поутру. В тот же день, 5 марта, письмо было уже найдено у него г. Чулковым. На месте выставлено «Тула, 5 марта», *но оно не могло быть ни изготовлено, ни даже только набело переписано в Туле. Оно заготовлено раньше, — это очевидно по рассчету физической невозможности противного.* Итак, где же оно изготовлено? 1 марта г. Костомаров приехал в Москву, и у него был посетитель, г. Яковлев; посещение г. Яковлева было продолжительно, *как видно из важности предмета их совещания и из того, что г. Костомаров и г. Чулков должны были убеждать г. Яковлева.* 2-го числа г. Костомаров был уже болен, *или должен был держать себя, как больной,* — это продолжалось до самого его выезда из Москвы; он не мог в эти три дня много заниматься письменною работою; и кроме того, у него в это время бывало много по-

---

1) См. стр. 274 — 292.

сетителей. *Человек опытный в литературных работах видит, что и в Москве не могло найтись достаточно времени у г. Костомарова, — что он взял с собою свою работу (или не свою, а только переделанную им с другой, черной работы), когда поехал из Петербурга (28 февраля).*

«Сличение этой работы с письмом Герцена обо мне, найденным у меня, с пасквилем на меня, найденным у меня, с ироническою частью моего письма к жене обнаруживает, что *«письмо к Соколову» есть литературная работа, половина которой основана на этих документах, что они были под глазами у составителя «письма к Соколову» во время его работы.*

«Это очевидно для человека, имеющего опытность в разборах подобного рода вопросов (в критической технике), точно также, как и следующее: «письмо к Соколову» есть произведение вымысла, «чуть ли не целая эпопея», по шутливому выражению самого г. Костомарова; в ученом и истинном юридическом смысле это, конечно, не «эпопея» в частности, но *«произведение вымысла»*. Как всякое произведение вымысла, оно пропитано подробностями, не выдерживающими юридических вопросов: «кто», «когда» и «где».

«Г. Костомаров приписал этому произведению вымысла юридическое значение (он готов подтвердить присягою подробности письма, которые можно будет ввести в дело; это письмо есть «откровенная беседа» со «*старым другом*»). *Комиссия не занялась исследованием той стороны письма, которую я выставляю;* но и на те малочисленные «кто», «где», «когда», которые предлагались ему по поводу «письма к Соколову», г. Костомаров часто должен был отвечать, как всякий автор вымышленного произведения стал бы отвечать на юридические вопросы о подробностях его вымысла — «не умею об'яснить», «не знаю». Из этих случаев самый любопытный — г. Костомаров не знает даже, какое звание имеет лицо, которое он называет своим старым задушевным другом: «чин и звание г. Соколова неизвестны мне», — говорит г. Костомаров, — *ясно, что даже этот друг есть поэтический вымысел.*

«Я скажу, откуда, по всей вероятности, взята фамилия для этого вымышленного лица. *«Соколов» упоминается в письме*

г. Плещеева, которое находилось при г. Костомарове в Туле (штемпель письма г. Плещеева — 4 июня 1861 г.). Но по этому письму этот действительный г. Соколов вовсе не «старый задушевный друг» г. Костомарова. Подобное заимствование фамилий для вымышляемых лиц — очень обыкновенная вещь.

«Комиссия не обратила внимания даже на то, что если бы этот г. Соколов, вымышленный поверенный тайн г. Костомарова, не был лицо вымышленное, то *не было бы ни малейшего затруднения отыскать его, хотя бы г. Костомаров не знал или не захотел указать его адреса:* у него очень много примет, с которыми трудно человеку затеряться в толпе.

«Точно также г. Костомаров не помнит цвет, формат и клеймо бумаги первоначальной редакции воззвания к барским крестьянам, но еслибы эта рукопись была читана при нем два раза и служила предметом споров, то нельзя было бы не заметить ему ее формата и цвета.

«Точно также он не знает личностей, которые «стали жертвами» моего агитаторства, и о которых столько рассуждает в письме к Соколову; «я вовсе не имел в виду кикие-либо личности», принужден он сказать на вопрос: кто они? *Ясно, что эти личности — реторическая фигура, называющаяся «просопопеею».* Впрочем, он прибавляет, что это «авторы журнальных статей», или в другой раз, что это «молодые люди, которые агитировали», как ему «кажется», под моим «влиянием», — но это ему только «кажется», это только его «личный взгляд», «непогрешимость которого» он не намерен упорно отстаивать; он принужден даже сказать, что у меня не было своего «кружка», и называет это свое выражение «неосмотрительным». Он никого не знает, кроме себя, кто стал бы агитатором по моему влиянию, а сам он занялся тайным печатанием до знакомства со мною. *Ясно, что все это выдумка:* и мое агитаторское влияние на г. В. Костомарова, и чтение первоначальной редакции воззвания к барским крестьянам, и эта первоначальная редакция.

«16. Но показание, вопросы для которого можно было извлечь из письма к Соколову, не могло опираться ни на какие доказательства (сам г. Костомаров на допросе сказал, что только поэтому и удерживался до той поры от показания против меня). Явилась в комиссию записка, писанная карандашом. Она найдена

вследствие того, что нашлось письмо к Соколову, — нашлось именно при обыске г. Костомарова в III Отделении собственной е. и. в. канцелярии. Находка эта противоречит «откровенной беседе» г. Костомарова со «старым другом» г. Соколовым, *в которой за три - четыре дня пред тем он говорил, что не имеет письменных улик против меня* («были», но он что - то «сделал» с ними). Что он сделал с ними? Почему не имел их 5 марта в Туле? Потому что «сжег», — говорит в одном месте об одном документе, который будто бы был у него; в другом месте отказывается об'яснить, что сделал с ними; в третьем месте вставлено в деле шифрованное письмо, которое он дешифрирует, и которое излагает, что письма против меня отданы на сохранение лицу, имени и адреса которого он сам (г. Костомаров) не знает.

«*Истина очень проста: все это — выдумка.* Никаких письменных улик против меня не имел г. Костомаров. Записка карандашом не моя, — прошу строжайше рассмотреть ее. Степень технической точности ее рассматривания свидетельствуется тем, что подпись ее прочтена за букву Ч., между тем как это буква С. *Рассматривавшие были вовлечены в оплошность тем, что не знали, каким образом ведется дело против меня, и потому были чужды предположения обмана в документах, пред'являемых против меня.*

«17. *Но лица, вводившие в такой обман, натурально, ждали, что обман этот, может, как - нибудь и не удастся. Потому записка карандашом казалась им недостаточна, и явился против меня, сверх улики, и уличитель, г. Яковлев.* После того, как он за свое показание против меня отправлен на жительство и под надзор полиции в Архангельскую губернию, я считал бы излишним рассматривать его показания против меня; однако же, скажу несколько слов.

«Г. Чулков известился о своем от'езде через Москву с г. Костомаровым только 27 февраля; 28 - го они выехали; на другой день — в первый же день их приезда в Москву — г. Яковлев уже знает о их приезде, является к ним, пишет свой донос на меня. *Г. Чулков свидетельствут, что г. Яковлев «уже оказал ему услугу»;* г. В. Костомаров тоже говорит, что г. Яковлев оказал ему «весьма важную услугу», и что он, г. Костомаров, «подарил» г. Яковлеву «свое пальто».

«Г. Яковлев, отправившись доносить на меня, по дороге пьет и буйствует, как сам говорит. *Итак, у него есть средства пить до буйства, когда он «оказывает услугу».*

«Он даже «неоднократно за дурные поступки был в приводах» по делам московского мещанского общества.

«Слова, которые влагает мне в уста г. Яковлев, — заглавие и начало прокламации; неужели я помнил ее наизусть? *Неужели не выражался бы в разговоре короче и проще?* Многосложные письменные заглавия не употребляются в разговоре, и какая надобность была декламировать начало прокламации? Ведь это не стихи, а проза; так не бывает.

«На вопрос, почему медлил показанием против меня, г. Яковлев отвечал, что только в феврале узнал о характере процесса г. Костомарова, а между тем он виделся с г. Костомаровым в ноябре 1862 г., когда уже было и высочайше утверждено мнение госуд. совета по делу г. Костомарова.

«При пред'явлении меня г. Яковлеву была нарушена форма, по которой следует в подобных случаях показывать обвинителю несколько человек, — *явно опасались, что г. Яковлев не сумеет выбрать, кто из них я.*

«Кроме всего этого, весь ход дела поясняется словами самого г. Яковлева, приводимыми в письме, по которому г. Яковлев наказан за этот свой поступок. Этим решением явно признана справедливость этого письма, притом подробности разговора, передаваемого этим письмом, подтверждаются документами, находящимися в деле, которые не могли быть известны писавшим письмо.

«По записке г. Чулкова от 1 марта, желание г. Яковлева доносить на меня было известно со 2 или 3 марта, но только 3 апреля комиссия постановила вызвать его к допросу; итак, *целый месяц колебались, прежде чем, вынужденные крайностью, решились ввести комиссию в эту ошибку.*

«Рапорт г. Чулкова, об'ясняющий его выражение, что «г. Яковлев оказал ему услугу», подан уже по решении комиссии испросить и по испрошении высочайшего повеления передать мое дело в пр. с.; *на этом рапорте число и месяц подачи его подскоблены* (подскоблена ли цифра 7 — не могу наверное рассмотреть без

лупы; имя месяца «мая» очень явно написано по подскобленному)[1].

«18. В дополнительном показании моем в пр. с. я вызывался подтвердить подробными доказательствами те факты этого показания, которые покажутся еще нуждающимися в подтверждении. В записке и в деле я уже нашел подтверждения для большей части фактов, приводимых мною. Приведу лишь немногие, для примера.

«Я говорю в показании, что на мое арестование и ведение дела против меня имели влияние ложные слухи. Их примеры в безыменном письме, о котором я говорил выше; оно основывается на лживых слухах о моем участии в столкновениях, бывших в С.-Пбургском университете; когда и в каком духе я вмешался в эти дела, видно по документам [2]); их об'яснение, если нужно оно, докажет: 1) что я познакомился с гг. студентами, имевшими влияние на товарищей своих, только уже после манифестации в Думе; 2) познакомился с целью быть посредником между ними и князем Щербатовым (Г. А.), благородно начавшим тогда хлопотать о предотвращении дальнейших столкновений; 3) что, когда я таким образом познакомился с молодыми людьми, которых прежде считал — как и другие считали — поднимавшими беспорядки, то, к удивлению моему, получил документы, доказывавшие, что беспорядки поднимаются действием опрометчивости лиц, гораздо старших их летами и почтенных по положению в обществе, — не злонамеренностью, а только безрассудною опрометчивостью этих лиц, — и доказательства были так неоспоримы, что самый яростный из обвинявших в печати злонамеренность студентов увидел себя принужденным подписать и подписал акт, говорящий, что в беспорядках виноваты не студенты, а другие лица [3]); 4) что я находил нужным для предотвращения беспорядков то самое, что находили тогда нужным г. министр на-

---

[1]) Действительно, характерно, что свое пояснение Чулков дал только *после* передачи дела в сенат; но подскобленные месяц и число ровно ничего не говорят, и что хотел этим замечанием сказать Чернышевский, мне не понятно.

[2]) Т. е. по переписке с проф. Андреевским.

[3]) Речь идет о диспуте с А. В. Эвальдом на его квартире, кончившемся полным поражением очень сконфуженного педагога.

родного просвещения и князь Щербатов, бывший попечитель С.-Пбургского округа, и действовал в том же духе. Прошу сравнить с этим «Записку из частных сведений».

«Другие примеры слухов, столь же неосновательных и столь же вредных мне, отмечу на [1]). В деле я нахожу сведения и мнимые документы, еще более неосновательным образом введенные в процесс против меня. В дело внесены: статья г. Мечникова, присланная для напечатания в «Современнике»; *«Записка из частных сведений» — документ, который будет одним из любопытнейших памятников нашей процедуры для будущего ее историка, и часть которого, однако же, вошла в окончательный доклад комиссии обо мне.* Две статьи г. Шемановского, присланные мне для передачи г. министру народного просвещения и, с его частного одобрения, напечатанные в «Современнике»; дневник мой; письмо г. Чацкина о тайнах женщины, имевшей мужа. Об ужасном вреде для правительства от введения (в дела политического характера) документов такого рода я говорю в моей другой просьбе.

«Я говорю, что ложное истолкование моих сборов к от'езду в Саратов было основанием решения арестовать меня по поводу письма г. Герцена, и в доказательство ссылаюсь на слова, в которых был передан этот слух мне одним из гг. членов комиссии. Я нашел в деле указания, по которым теперь могу даже пояснить, как произошло это извращение факта, подобное вещам, прочитанным мною в «Записке из частных сведений».

«Находя в деле приводимые с юридическим значением неожиданные мною психологические сведения обо мне и вывод из этого, что я непременно, уже по устройству моей души, должен быть заговорщиком, я принужден об'яснить, что *психологические исследования, хотя бы даже и обо мне, требуют специальной ученой подготовки*, которая, например, показала бы господам исследовавшим, что человек, иронизирующий над своими недостатками, не способен резать людей для удовлетворения слабостям своим, если бы и имел их; и что приписываемая ему в преступление слабость (самолюбие, тщеславие) прямо противоположна качеству, которое, если и есть недостаток, то уже вовсе не уголовный, — качеству гордости, которая, как известно из психо-

---

[1]) Указано несколько страниц записки.

логии, только дает отпор дерзким нахалам, а без того внушает человеку держать себя очень спокойно. Такие об'яснения принужден я делать в моем процессе — это факт.

«Итак, я должен пояснить, что я известен всем моим знакомым за человека очень уживчивого и мягкого и, например, работать вместе с Герценом не мог бы не по неуживчивости моего самолюбия, а потому, что я человек с твердыми убеждениями, которые неодинаковы с убеждениями г. Герцена. Я не хочу этим сказать, его или мой образ мыслей лучше в юридическом отношении — закону нет дела до образа мыслей, каков бы он ни был — я хочу только сказать, что я человек более поздней философской школы, чем г. Герцен. Я никак не ждал, что увижу необходимость делать эти ученые замечания в моем процессе.

«19. Я говорю, что все слова в письме г. Герцена, которые послужили поводом к моему арестованию, загадочны для меня. Теперь, взглянув на самое письмо, я нахожу это место и сопровождающие строки вещью еще более загадочною. Ограничусь одним замечанием. Письмо уже спрашивает, печатать ли об'явление о моем соредакторстве с Герценом — или даже уже положительно говорит, что об'явление об этом печатается. Такие вещи не печатаются до выезда редактора из России. Эта приписка требует очень внимательного исследования, если еще не об'яснена самыми фактами, которые остаются мне неизвестны.

«20. Я говорю, что *г. Костомаров очень давно распускал слухи, которые были оставлены без внимания по убеждению других в неудобстве пользоваться его готовностью делать политически - уголовные показания.* Теперь, видя, что дело против меня начато серьезным образом на основании письма г. Костомарова к Соколову, я приведу один из фактов, известных не мне одному. *Есть другая более ранняя редакция того же произведения; список ее был у меня под глазами очень за долго до моего ареста, и я не имею средств знать, уничтожен ли подлинный список, писанный рукой г. Костомарова. В той редакции дело излагается столь же вымышленным образом, но в духе не том и с другими фактами (также неверными). В этом произведении я играю гораздо меньшую роль, чем III Отделение собственной канцелярии его величества: г. Костомаров утверждал там, что его подвергали жестоким истязаниям и ими принудили делать показания (дух*

произведения был тот самый, какой вылился из души г. Костомарова потом).

«Я говорю, каковы были мои действительные отношения к г. Костомарову; они доказываются письмами моими к нему, находящимися в деле, — я стараюсь помочь г. Костомарову, как человеку небогатому. В одном из писем я стараюсь устроить от'езд его гувернером за границу, — неужели я хлопотал бы об этом, если бы он был моим агентом по тайному печатанию в Москве? Я говорю, что г. Костомаров был раздражен против меня ошибкой в надежде на мою денежную помощь после его арестования. Он сам говорит, что у него со мною были «столкновения», которые прямо относятся к его личным интересам, и отказывается пояснить это. О своем ожесточении против меня он много раз говорит в письме к Соколову и приписывает его, кроме «личных столкновений», разности со мною в политических тенденциях; из того, что он говорит по этому предмету, видно, что он сам никогда не имел отчетливого образа мыслей.

«Я говорю, что памятный мне по постороннему обстоятельству вечер, проведенный у меня г. Костомаровым вместе с г. Михайловым, сам по себе не представлял ничего замечательного, и что, поэтому, г. Костомаров плохо запомнил его, — и он сам свидетельствует, что не помнит ни моих гостей, ни их и своего разговора со мною.

«21. Факты, которые совершились по рассмотрению записки и письма, выдаваемых за мои, — я говорю об актах сличения почерков, — показывают, что *без помощи технических знаний и пособий труды для исследования истины по техническим вопросам безуспешны.*

«22. Я говорил, что если бы находился в тайных сношениях с г. Костомаровым, то нашел бы неудобным посещать его во время моей поездки в Москву по цензурным делам; это повело к тому, что г. Костомаров *выдумал особую мою поездку в Москву* — поездку, предшествовавшую поездке по цензурным делам. Этой поездки не было. А во время ее - то именно г. Костомаров и выставляет меня видевшим шрифт. Я не выезжал из Петербурга ни на один день в 1860 г. и до самой поездки моей по цензурным делам в 1861 г. Я не мог бы укрыть своего отсутствия из Петербурга, хотя бы на один день, потому что у меня ежедневно

бывали наборщики и рассыльные типографии «Современника» за получением статей и корректур по журналу. Мой от'езд хотя на один день был бы замечен десятками людей, работавших в типографии г. Вульфа.

«23. В показании г. Костомарова пр. с. обстоятельства его второй поездки в Петербург изложены им так, что мне не оставалось бы времени узнать, что он не уехал в Москву, и что я еще могу найти его в Петербурге после того, как он ушел от меня поутру с мыслями ехать в Москву в то же утро. А в эту поездку происходила, по его прежним показаниям, диктовка в Знаменской гостинице.

«24. К листу 370 выписки считаю нелишним заметить, что теперь с месяц я опять гуляю по саду. Но опять только по гигиеническим надобностям.

«25. Просмотрев прокламацию к барским крестьянам, я вижу, что автор ее еще не имел известий и о бездненском деле, не только о том, что мужики весною 1861 г. вообще неохотно шли на уставные грамоты. Всякий публицист найдет нелепым хлопотать в августе 1861 г. о печатании такого устарелого произведения. Единственным предлогом для моих *придуманных им просьб об этом* г. Костомаров придумал, что набор был тогда еще цел. А по сведениям из дела о г. Костомарове и словам его самого — шрифт был уничтожен, не только набор разрушен, *за долго до того времени.*

«Считаю долгом оговорить описку, сделанную мною (раньше), проезд мой через Москву был не 17 или 18, а 7 или 8 августа.

«27 [1]). *Для об'яснения того, как и зачем возникло «письмо к Алексею Николаевичу»*, считаю долгом просить пр. с. обратить внимание на то обстоятельство, что мое дополнительное об'яснение пр. с. от 1 июня прошло через несколько рук прежде, чем поступило в пр. с.

«28. Г. Костомаров говорит, что письмо это было найдено им за подкладкою саквояжа еще до ареста, но на прежних показаниях он говорил, что у него уже не остается улик после представления записки карандашом, — единственной улики; *ясно, что*

---

[1]) П. 26-й состоит в коротком указании на подтверждение одних листов дела другими.

письмо к Алексею Николаевичу явилось у него в руках уже после того.

«29. Когда явилось это письмо, г. Костомаров уже забыл, что сам говорил в комиссии: «Плещеев (Алексей Николаевич) не имел и предположения, что я (Костомаров) занимаюсь тайным печатанием, и сам не занимался ничем подобным». Слова г. Костомарова сами по себе не были бы надежным заявлением факта; но этот факт с несомненностью известен всем сотням людей, знающим г. Плещеева, и, вероятно, уже обнаружен официальными мерами, которые повлекло за собою появление «письма к Алексею Николаевичу».

«Я утверждаю, что это письмо — подлог, и смею наверное ручаться в следующем: сам г. Костомаров, если еще не разгласил, разгласит это.

«Появление письма к Алексею Николаевичу и надобность объяснить это были обстоятельствами, которых не предвидел г. Костомаров при своих прежних показаниях и в письме к Соколову. Потому показание его 31 июля не сходится с ними. Кроме черт разногласия, приводимых в моем рукоприкладстве, легко найти десятки других. Если бы нужно было, я готов сделать это. Не делаю этого здесь, чтобы не удлинить моей просьбы.

«А посему всеподданнейше прошу,

«Дабы повелено было освободить меня от суда и следствия, с предоставлением права иска на лиц, которые незаконными действиями причинили мне денежные убытки, освободить меня от содержания под арестом с сохранением мне права жить, где мне будет нужно по моим делам, в том числе и обеих столицах, и применить приводимые мною в рукоприкладстве статьи свода законов к лицам, которые по исследовании окажутся виновными в их нарушении. Отставной тит. сов. *Николай Гаврилов сын Чернышевский* руку приложил.

«К поданию надлежит в первое отделение пятого департамента правительствующего сената 25 сентября дня 1863 г.»

Третий документ того же числа — так называвшееся рукоприкладство. Это очень ценный документ по ясности, краткости и неотразимости статей закона, приводимых в ответ на произвол сената и комиссии.

30*

«Прошу пр. с. обратить внимание на следующие обстоятельства:

«1. Я был арестован по подозрению в намерении эмигрировать, но не только намерение эмигрировать, и самое эмигрирование не составляет преступления; преступлением становится уже только ослушание приказанию возвратиться. Св. зак. т. XV кн. I ст. 368 (также 367, 369, 370).

«2. Мои письма к его величеству и г. генерал-губернатору, писанные в ноябре, не внесены в дело.

«3. Картонные лоскутки мнимого шифра прошу сравнить с действительным ключом шифра, в котором нумерация букв различна, между тем, как на лоскутках одинакова.

«4. Письмо г. Костомарова к Соколову имеет все признаки, отличающие произведение вымысла от фактического рассказа. Лицо, к которому адресовано письмо, очевидно, есть лицо выдуманное.

«5. У г. Всеволода Костомарова 5 марта не было улик против меня, а 7 марта явилась в руках лиц, обыскивавших его, записка карандашом, приписываемая мне.

«6. Письмо о разговоре г. Яковлева в смирительном доме подтверждено официальными актами и решением комиссии, высочайше одобренным.

«7. В дополнительном показании моем пр. с. я вызвался подтвердить приводимые мною факты. В деле есть уже подтверждения большей части их.

«8. Слова мои о влиянии неосновательных слухов обо мне на начатие и ведение процесса против меня подтверждаются тем, что подобными слухами наполнено дело.

«9. Слова мои об истинной причине раздражения г. Костомарова против меня делаются несомненными после того, как сам г. Костомаров ясно намекает на нее и отказывается пояснить свои слова.

«10. Солидный характер г. Плещеева, известный сотням лиц, несовместен с отношениями, в которые ставит его ко мне «письмо к Алексею Николаевичу». Лживость этого письма, конечно, уже раскрыта и официальными мерами по поводу этого письма, подвергавшими г. Плещеева неприятностям.

«11. В «письме к Алексею Николаевичу» слово *не*когда (нет времени) написано *нѣ*когда (когда - то, когда - либо).

«12. Это письмо есть подлог, — факт подобного рода нуждается в точнейших средствах исследования истины, о которых говорю я в бумаге, поданной мною пр. с. по поводу акта сличения почерка этого письма.

«13. Появление «письма к Алексею Николаевичу» противоречит словам г. Костомарова перед его появлением, что у него, г. Костомарова, уже не остается улик против меня.

«14. Появление «письма к Алексею Николаевичу» заставило г. Костомарова делать новые выдумки, противоречащие прежним его показаниям и его письмо к Соколову; все его показание 31 июля проникнуто подробностями, несовместными с его прежним изложением его мнимых тайных сношений со мною; вот некоторые черты несовместности:

Показания г. Костомарова 31 июля.	*Прежние слова г. Костомарова.*
«В первый свой приезд в Петербург имел он рекомендательное письмо ко мне от Плещеева.	«Он уже познакомившись с Михайловым, «не знал, как устроить знакомство» со мною, и только Михайлов познакомил его. О рекомендательном письме ни слова; явно, его не было.
«Первая редакция прокламации к барским крестьянам при первом чтении ее у меня не понравилась г. Костомарову.	«При этом первом чтении г. Костомаров был в таком восхищении, что даже не мог говорить, и потому Михайлов увез его.
«Итак, г. Костомаров тут же, в первое свидание со мною, при первом чтении в моем кабинете, потребовал изменения редакции; я не согласился; г. Костомаров отказался печатать. Он не помнит, виделся ли со мною еще раз для продолжения	«Требование изменить редакцию прокламации явилось у г. Костомарова только при втором ее чтении (у Михайлова); только тут, на другой день после первого чтения, переговоры со мною вел исключительно Михайлов, ездя для этого ко мне

переговоров: одно или два свидания мои с ним были заняты ими; но он и я лично вели переговоры.	один, без г. Костомарова, и г. Костомаров знает об этих переговорах только по пересказу Михайлова.

«Все эти чтения и переговоры — выдумка г. Костомарова.

«Во время своих занятий тайным печатанием (несколько месяцев) г. Костомаров ездил в Петербург «очень часто», «раза два в месяц».	«Он до своего арестования ездил в Петербург, «кажется» ему, только два раза.
«Узнав, что рукопись прокламации в Москве, г. Костомаров «сейчас же» поехал в Петербург предупредить меня; в эту поездку он получил от меня «письмо к Алексею Николаевичу».	«Узнав, что рукопись в Москве, он занялся приготовлениями к печатанию и печатанием ее, а известил меня письмом о том, за чем, по показанию 31 июля, сам ездил в Петербург.

«По всему этому прошу пр. с. повелеть освободить меня от содержания под арестом и применить статьи 383, 390, 392, 404, 475, 1206, 1209 и 1288 св. зак. т. XV кн. I к лицам, которые, по исследованию, окажутся виновными в нарушениях закона по моему процессу. Отставной титулярный советник *Н. Чернышевский*».

Итак, 25 сентября 1863 г. Чернышевский совершенно ясно дал понять, что прекрасно понимает, кому обязан всем делом... Неназванное, но всем видимое III Отделение было поставлено на надлежащее место, и, надо правду сказать, понятно, почему именно после такой отповеди оно не могло помириться иначе, как на каторге своего беспощадного обличителя... Да и только ли оно. А сам царь, благословивший весь этот процесс?! А подлый сенат? А двуличный Замятнин?

Сенат заслушал все эти три документа и определил внести их в «записку». На этом он считал роль свою выполненной... Впрочем, нет, он сделал еще один шаг: запросил кн. Суворова

о письмах Чернышевского к нему и царю в ноябре 1862 г. Но князь ответил, что ничего не получил, и написал в III Отделение, прося доставить оба письма в сенат, если они там и «если к передаче их не встречается препятствий»... В инквизиторской решили ответить незнанием...

III.

Наконец, решено было вызвать Плещеева.

На допросе 23 сентября Костомаров показал: «С Плещеевым я познакомился по поводу издаваемого мною сборника: «Поэты всех времен и народов». После издания первого выпуска этой книги я приехал к г. Плещееву просить его участвовать в следующих; к Чернышевскому он меня рекомендовал, как автора некоторых стихотворений, помещенных в «Современнике», за которые мне следовало получить деньги. Об отношениях г. Плещеева к Чернышевскому мне ничего неизвестно, как равно неизвестно и то, имел ли намерение г. Плещеев печатать какие-либо прокламации, как видно из письма г. Чернышевского к Плещееву. Когда Чернышевский передал мне письмо к Плещееву, я был уже знаком с ним, чрез Михайлова, хотя и имел рекомендательное письмо от Плещеева. Переговоры же о печатании начались прежде всего через Михайлова, и когда я приехал к Чернышевскому, я нашел его уже предупрежденным и знакомым с моею прежнею деятельностью по тайному книгопечатанию. Г. Плещееву известно было то, что я участвовал в печатании книги «Разбор книги барона Корфа: „Император Николай и 14 декабря"».

Достаточно вспомнить все прежние показания Костомарова и сравнить их с этим, чтобы увидеть, как нагл был этот негодяй, как нахально он лгал, прекрасно зная, что с него не спросится, что его не станут проверять и уличать во лжи...

30 сентября А. Н. Плещеев явился в сенат, дал подписку прибыть на допрос 2 октября и преспокойно удалился в занятый номер Знаменской гостиницы. Его, этого важного государственного преступника, не только не отправили немедленно в крепость, но даже не подвергли особому надзору. Может быть,

его спасло видное положение по службе? Нет, он был самым обыкновенным коллежским регистратором из осужденных Николаем I петрашевцев... Может быть, внимание было оказано в виду его литературной деятельности? Но этот вопрос в царской России просто нелеп... Почему же? Ведь, он был таким явным соучастником Чернышевского... Да просто потому, что мирный, тихий и спокойный Алексей Николаевич был совершенно никому не нужен; прекрасно знали, что он не мог получить такого письма... Конечно, если бы правительство хотело даже номинально считаться с общественным мнением, оно должно было бы продолжить комедию и, арестовав Плещеева, заслать его потом в дальнюю Сибирь.

2 октября Плещеев дал такие показания:

«Сношения мои с Чернышевским постоянно ограничивались литературой, делом журнальным, так как он принимал значительное участие в редакции «Современника».

«Я не упрекал никогда Чернышевского в излишнем доверии кому бы то ни было и не знаю никаких дел за Чернышевским, в которых бы он не должен был быть доверчив.

«Участия никакого я не мог принимать, так как мне совершенно неизвестно, какие именно это дела и были ли такие дела.

«Ни о каком станке я не имею понятия и ни в чем подобном не принимал участия.

«Никогда не слышал, чтобы Сулин хвастался чем - нибудь подобным (знакомством с Чернышевским), да и трудно было бы мне слышать, так как я знакомства с Сулиным никогда не водил. Ни о сочинении, данном будто бы Сулину, ни о тайном печатании им чего бы то ни было никогда я не слыхал. Сулин, кажется, студент или вольный слушатель московского университета.

«Костомарова я никогда собственно Чернышевскому не рекомендовал, но, когда он уезжал в Петербург, года два тому, если не ошибаюсь, то писал о нем кому - то из редакторов «Современника» (как о хорошем переводчике, знающем языки и могущем принести пользу журналу), но только не к г. Чернышевскому, потому что он заведывал критическим и ученым отделом журнала, а не литературным. Костомаров же преимущественно занимался переводом стихов. О тайном печатании Костомарова мне ничего неизвестно.

«Общего дела с Чернышевским я никогда никакого не имел.

«Все это письмо для меня совершенно непонятно: не знаю никакого Л., никаких офицеров и не понимаю даже, что значит — «23 в Понизовьи».

«Никакой работы никем возлагаемо на меня не было.

«Более об'яснить ничего не имею».

Когда же Плещееву пред'явили подложное письмо, яко бы к нему адресованное, он ответил, что, действительно, почерк первой страницы похож на почерк Н. Г., «но после как-то сбивается и особенно в конце».

Очная ставка Костомарова с Плещеевым тоже ничего не дала: первый плел всякий вздор, второй даже не понимал его...

Видя полную свою ненадобность сенату и III Отделению, Плещеев просил отпустить его в Москву, в чем и не встретил препятствия. Для виду с него была взята лишь расписка о немедленной явке по первому вызову... Так отпустили человека, который вел себя совершенно в духе Иванов Непомнящих: знать ничего не знаю... Казалось бы, уже одно сплошное отрицание всего должно было вызвать серьезные подозрения...

14 октября Чернышевскому дали еще очную ставку с Костомаровым. Последний, очевидно, совсем не считал нужным помнить свои прежние показания: на этот раз он снова плел какую-то околесицу. Теперь он утверждал, что о передаче Чернышевским Сороку прокламации он узнал со стороны, спустя несколько дней после возвращения Сорока в Москву, и был уведомлен о таких же слухах Плещеевым, который тогда тотчас же известил о них Чернышевского, а он, Костомаров, немедленно поехал в Петербург, там получил письмо к Плещееву и предложил взять работу у Сорока на себя. Что касается диктования в этот раз прокламации к раскольникам, то, может быть, оно происходило и в другой раз и т. д. Чернышевский снова опровергал всю эту путаницу. 15 октября Костомаров попробовал «поправиться», на что Н. Г. написал свои замечания.

28, 29, 30 и 31 октября происходило слушание сенатской записки, на котором присутствовал и Н. Г. Затем весь ноябрь составлялось и переписывалось определение, и только 2 декабря было подписано сенаторами Карниолин-Пинским, Венцелем, Веневитиновым, Толстым и Лукашом, — имена их да будут памятны

в потомстве. Через месяц министр юстиции вернул его с указаниями необходимых, по его мнению, поправок, напр., везде вместо «заговор» писать «злоумышление» и т. п. 7 февраля 1864 г. ему была послана новая редакция.

В это время учитель гимназии, литератор Дмитрий Щеглов, просил или свидания с Чернышевским по личному своему делу, или пересылки ему об этом незапечатанного письма. Было разрешено второе.

Порешили...

Определение сената настолько характерно, настолько ярко, как иллюстрация чудовищного произвола и наглости, что я приведу его полностью. И его необходимо прочесть без пропусков: только при этом условии помнящий все предыдущее читатель поймет, что это за документ.

«Отставной титулярный советник Николай Чернышевский, занимавшийся литературою, был одним из главных сотрудников журнала «Современник». Журнал этот своим направлением обратил на себя внимание правительства. В нем развивались по преимуществу материалистические и социалистические идеи, стремящиеся к отрицанию религии, нравственности и закона, так что правительство признало нужным прекратить на некоторое время издание сего журнала, а одновременно с сим открылись обстоятельства, которые указали правительству в Чернышевском одного из зловредных деятелей в отношении к государству. Обстоятельства сии состоят в следующем:

«Управляющий III Отд. собственной его императорского величества канцелярии получил безыменное письмо о Чернышевском, в коем предостерегают правительство от Чернышевского, «этого коновода юношей, хитрого социалиста». Он сам сказал, что настолько умен, что его никогда не уличат. Его называют вредным агитатором и просят спасти от такого зловредного человека. Все бывшие приятели Чернышевского, видя его тенденции уже не

на словах, а в действиях, люди либеральные, отдалились от него. «Ежели не удалите Чернышевского, — пишет автор письма, — быть беде, будет кровь. Эта шайка бешеных демагогов — отчаянные головы, эта «Молодая Россия» высказала в своем проекте все зверские ее наклонности. Может быть, перебьют их, а сколько невинной крови за них прольется? В Воронеже, в Саратове, в Тамбове — везде есть комитеты из подобных социалистов и везде они разжигают молодежь. «Николая Гавриловича (имя и отчество Чернышевского), куда хотите, поскорее отнимите у него возможность действовать. Избавьте нас от Чернышевского ради общего спокойствия».

«В конце июня месяца 1862 года получено было в III Отделении уведомление, что из Лондона в Петербург едет коллежский секретарь Ветошников, знакомый с Герценом и Бакуниным, и везет с собою запрещенные издания Герцена, Огарева и другие, а вместе с тем и корреспонденцию от пропагандистов. При арестовании Ветошникова между прочими письмами оказалось у него письмо изгнанника и пропагандиста Герцена к надворному советнику Серно - Соловьевичу, в коем он убеждает его распространять пропаганду в России, а в конце письма приписка: «Мы здесь или в Женеве намерены издавать «Современник» с Чернышевским».

«По поводу письма сего Чернышевский 7 июля был арестован, и у него был сделан обыск, при коем найдены следующие относящиеся к делу бумаги:

«Анонимная записка с уведомлением, что дело о манифестации в Думе, по высочайшему повелению, оставлено без рассмотрения; беспокоить по этому делу никого не будут. Переписка Чернышевского с профессором Андреевским, коему он предлагает быть посредником между публикою и читавшими лекции профессорами, для раз'яснения причины прекращения публичных лекций. Письмо И. Б. (по почерку — Ивана Бордюкова), в котором замечательны слова: «Москва занята теперь тверскими происшествиями, — говорят, революция будет». Письмо Герцена без надписи, а потому неизвестно, к кому адресованное, со многими выскобленными словами, где он опровергает совет Чернышевского — не вовлекать юношество в литературный союз, потому что из этого ничего не выйдет, и предлагает в темных выраже-

ниях проект организации какого-то общества или союза, избрав центрами деятельности ярмарки Нижегородскую, которую-нибудь из Днепровских и Ирбитскую или иной Урало-Сибирский тракт. Анонимное письмо к Чернышевскому, в коем называют его пропагандистом, социалистом, Маратом, желающим ниспровергнуть существующий порядок и учредить демократию и затем угрожают ему самому гибелью. Алфавитный ключ на четырех картонных бумажках и, наконец, две тетрадки, написанные с сокращением слов, слогов и букв. Тетрадки эти заключают в себе дневник Чернышевского, относящийся к тому периоду времени, когда он не состоял еще в брачном союзе, а был женихом. В нем обращают на себя внимание следующие мысли, к делу относящиеся: «Меня каждый день могут взять. Какая будет тут моя роль. У меня ничего не найдут, но враги у меня весьма сильные [1]). Что могу я другое делать? Сначала я буду молчать и молчать, наконец, когда ко мне будут приставать долго, это мне надоест, и я выскажу свое мнение прямо и резко. И тогда едва ли уже выйду из крепости. Видите, я не могу жениться. Я не могу, не в праве связать чьей бы то ни было судьбы с моей».

«Чернышевский, содержась в крепости, 5 октября написал жене своей письмо, в коем говорит, между прочим: «Наша с тобою жизнь принадлежит истории; пройдут сотни лет, а наши имена все еще будут милы людям, и будут вспоминать о нас с благодарностью, когда уже забудут почти всех, кто жил в одно время с нами». Об'ясняя жене своей, что он намерен составлять «Энциклопедию знания и жизни», он пишет: «Со времени Аристотеля не было делано еще никем того, что я хочу делать, и буду я добрым учителем людей в течение веков, как был Аристотель».

«Между тем во время производства изысканий по делу Чернышевского, отставной корнет Всеволод Костомаров, судившийся в Москве за печатание запрещенных сочинений и по высочайшему повелению разжалованный в рядовые с назначением на службу в Кавказский линейный баталион, при провождении его к месту назначения, с жандармским офицером Чулковым, дорогою в Туле заболел, а 5 марта 1863 года написал письмо неко-

---

[1]) А на самом деле было написано: «...но подозрения против меня будут весьма сильные».

ему Соколову в С.-Петербург. Письмо это Чулков представил начальнику III Отделения соб. е. и. в. канцелярии. Письмо это заключает в себе подробный рассказ Костомарова, каким образом он вовлечен был в преступление, за которое судился, Чернышевским, каким образом Чернышевский вместе с бывшим литератором, ныне государственным преступником Михайловым, сочинил воззвание к барским крестьянам, а полковник Шелгунов — воззвание к солдатам, и дали ему для напечатания через студента Сороко, с коим он приезжал в Петербург из Москвы. Описывая подробно личность Чернышевского, как агитатора, который совратил с пути истинного несколько юношей, он так характеризует его: сравнивая его с Самсоном, он говорит, что «израильтянин был так непрактичен, что, расшатав столбы здания, втемяшился в самую средину его и повалил обломки на себя. Наш Самсон (т. е. Чернышевский) рассуждает иначе; он полагает: чем мне погибать под обломками старого здания, я лучше пошлю других развалить его, а сам посижу пока в стороне. Коли развалят — хорошо, я займусь постройкой нового, а не развалят, надорвутся, — так мне-то что? Я-то всячески цел останусь».

«Далее Костомаров пишет другу своему, что напрасно он будет укорять его за то, что не открыл в свое время всего, что в его руках были средства увязить Чернышевского на свое место, что он сам видел эти письма, что в его руках была возможность сделать то, чтобы текст сентенции за составление воззвания к барским крестьянам относился не к нему, а к Чернышевскому. Тогда он должен был молчать, но теперь, когда уже совершилось, говорит в нем горькая боль оскорбленного сердца. Выгораживая Чернышевского и Шелгунова из этого дела, он предал себя. Он виноват в этом перед обществом, для которого деятельность кружка, созданного учением Чернышевского, принесла и приносит такие горькие, отравленные плоды. Затем Костомаров описывет, как Михайлов привез и рекомендовал его Чернышевскому, как они втроем в кабинете читали сочиненное Чернышевским воззвание к барским крестьянам, и как он не соглашался напечатать его, если Чернышевский не смягчит выражений этого воззвания, взывающих к резне, как Чернышевский не соглашался сначала на это, но потом изменил несколько; как Шелгунов сочинил воззвание к солдатам, ходил в казармы чи-

тать это воззвание и уговаривать солдат; как Чернышевский диктовал ему, Костомарову, в Знаменской гостинице воззвание к раскольникам, которое он впоследствии уничтожил.

«По распоряжению III Отделения соб. е. и. в. канцелярии Костомаров был возвращен из Тулы в Петербург, и при нем найдены письма Михайлова и записка карандашом следующего содержания: «В. Д. Вместо срочно - обяз. (как это по непростительной оплошности поставлено у меня) — наберите везде «врем. - обяз.», как это называется в положении. Ваш Ч.». Костомаров об'яснил, что записку эту написал Чернышевский, бывши у него в Москве, но не заставши его дома, когда уже дано было ему для печатания воззвание к барским крестьянам. Но по пред'явлении этой записки Чернышевскому, он не признал ее своею.

«По сличении почерка руки Чернышевского с его запискою, секретари сената нашли, что хотя в общем характере нет сходства с почерком Чернышевского, но многие буквы, а именно 12 - ть из числа 25 - ти, составляющих записку, имеют сходство. Присутствие же прав. сената нашло, что и в отдельных буквах сей записки, и в общем характере почерка ее есть совершенное сходство с почерком руки Чернышевского.

«Воззвание к барским крестьянам, в сочинении коего обвиняет Костомаров Чернышевского, и экземпляр которого, переписанный неизвестно кем, находится в деле Костомарова, будучи писано языком простонародным, заключает в себе превратное толкование Положения 19 февраля 1861 года об освобождении крестьян. В нем говорится, что государь обманул крестьян, и что на основании Положения они будут еще в большей кабале, чем были доселе, и окончательно разорятся; затем об'ясняется крестьянам, в чем именно состоит воля; приводятся в пример Франция, Англия, Швейцария, Америка, где нет будто ни подушных, ни рекрутства, ни паспортов, где всем управляет народ, и где цари находятся под властью народа, который выбирает и сменяет царей, если они не нравятся ему. В заключение автор прокламации приглашает барских крестьян готовиться добывать себе волю в тайне, подговаривать к тому же государственных и удельных крестьян и солдат, а когда все это будет готово, он обещает дать сигнал к общему восстанию. В этом воззвании везде упо-

минаются «срочно - обязанные», каковую ошибку, как выше упомянуто, просил Костомарова Чернышевский запиской исправить при напечатании.

«Кроме сего, жандармский капитан Чулков донес генерал-майору Потапову, что во время остановки его с Костомаровым, по случаю болезни его, прежде приезда в Тулу, еще в Москве его посетил мещанин Яковлев, желавший проститься с ним. Из разговоров их он заметил, что Яковлеву хорошо известны все отношения Костомарова к Чернышевскому, и предложил Яковлеву подтвердить это письменно, на что Яковлев и согласился.

«Показание Яковлева состоит в следующем: Летом 1861 г. он был переписчиком бумаг и сочинений у Костомарова. Занимаясь у него, он очень часто видел у него приезжавшего из Петербурга какого-то знаменитого писателя под именем Николая Гавриловича Чернышевского. Раз, когда он занимался перепискою бумаг, по случаю летнего времени в садовой беседке Костомарова, он слышал между ними, ходившими в саду под руку друг с другом, следующий разговор: Чернышевский говорил: «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон. Вы ждали от царя воли, ну вот вам и воля вышла». Называя статью эту своею, Чернышевский просил Костомарова скорее напечатать ее.

«Не находя в этих фразах ничего противозаконного и не понимая точного их смысла, он тогда оставил это без внимания. Но ныне, узнав, что Костомаров осужден за какие-то противозаконные действия, и желая оградить себя от всякой ответственности, он долгом считает слышанный им разговор довести до сведения правительства.

«На предложенные Костомарову высочайше утвержденною следственною комиссиею вопросы, он подтвердил все изложенное им в письме к Соколову. Генерал-майор Потапов препроводил в высоч. учр. следств. комиссию полученную им через московского губернского прокурора докладную записку содержащегося в смирительном доме мещанина Яковлева и переписку конторы московского смирительного и рабочего домов. Из бумаг этих видно, что Яковлев отправился в Петербург для донесения об отношениях Костомарова к Чернышевскому, но на Тверской станции Николаевской железной дороги за пьянство и буйство был взят в полицию и препровожден к московскому обер-полиц-

мейстеру, а от него в дом градского общества, которое отправило его за вышеиз'ясненные проступки в смирительный дом на четыре месяца. По вытребовании Яковлева и студента Сороко в Петербург, они на данные им вопросы ответили: Сороко, что хотя он и приезжал с Костомаровым в Петербург и хотя знаком был с Михайловым, но воззвания к барским крестьянам Костомарову не передавал, а передал ему запечатанное письмо от Михайлова; с Чернышевским же лично знаком не был. Показание сие Сороко подтвердил и на очных ставках с Костомаровым, несмотря на улики его. Яковлев же подтвердил прежнее свое показание и по пред'явлении ему Чернышевского утвердил, что онесть то самое лицо, о котором он свидетельствует.

«Редактор журнала «Современник», Некрасов, представил генерал-майору Потапову полученное им по почте из Москвы письмо, в коем пищущие об'ясняют, что они находятся арестованными в смирительном доме. На страстной неделе к ним явился какой-то мещанин Яковлев и об'яснил, что он также содержится за политическое преступление, и обратился к ним за советом.

«Он поехал в Петербург по весьма важному делу, но на тверской станции выпил и забуянил; за это общество посадило его в рабочий дом. На вопрос, по какому делу он ездил к генералу Потапову, Яковлев отвечал: «Я был знаком с Костомаровым, на-днях получил записку без подписи, в коей меня приглашают в гостиницу «Венеция» № 18. Явившись туда, я был изумлен, встретив Костомарова в солдатской шинели и с жандармским офицером. Он сделал мне следующее предложение: «вот тебе письмо к моей матери, поезжай с ним в Петербург и отдай его по адресу. Мать моя научит тебя, что делать, и ежели ты последуешь ее наставлениям, будешь хорошо награжден». «А Костомаров не говорил вам, что именно придется делать?» спросили они. «Говорили, что должен дать в III Отделении показание, будто бы слышал, как Чернышевский, в разговоре с Костомаровым, сказал следующую фразу: «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон!» Я не знаю, что значат эти слова и зачем Костомарову нужно, чтобы я дал такое показание. Скажите, если я дам такое показание, может ли Потапов что-нибудь сделать для меня? Может ли, например, освободить из рабочего дома?»

«Ну, это вряд ли. Мы думаем, что за ложное показание Потапов вас будет скорее преследовать, потому что, по закону, ложный свидетель подвергается строгому наказанию». «Я уже подал Потапову отсюда прошение», — сказал Яковлев: — меня скоро потребуют в Петербург; сам не знаю, что делать!». «Мы сказали, что лучше сказать правду. Мы не поверили Яковлеву, зная, что Костомаров не мог быть в это время в Москве, потому что судился вместе с нами в сенате и приговорен к шестимесячному заключению в крепости и к ссылке в солдаты на Кавказ. 4 апреля мы удивились, увидев Яковлева на дворе с жандармами. Нам сказали, что его отправляют в Петербург. Вспомнив разговор наш с ним, мы невольно пришли к предположениям, что Чернышевский, действительно, обвинялся в каком-либо политическом преступлении, что Костомаров и его семейство с помощью Яковлева хотят подвергнуть Чернышевского несправедливому обвинению суда». Все это заставило пишущих обратиться с просьбою к Некрасову, прося представить письмо это, куда следует, чтобы предупредить возможность несправедливого приговора суда. Все это они готовы, в случае надобности, подтвердить перед судом присягою. Подписали: Гольц-Миллер, Ильенко, Новиков, Сулин и Ященко.

«Комиссия положила: вследствие такого поступка Яковлева и безнравственного его поведения, не ожидая окончания 4-месячного срока, на который он присужден обществом, отправить его на жительство в Архангельскую губернию, на что испрошено высочайшее соизволение, каковое и последовало. Полковник Шелгунов против выводимых на него Костомаровым обвинений не сознался, утвердив запирательство свое и на очной с Костомаровым ставке. Литератор Михайлов, бывший губернский секретарь, судившийся в сенате за распространение привезенного им из Лондона возмутительного воззвания «К молодому поколению» и сосланный на каторгу, во время производства над ним в сенате следствия, между прочим, показал, что он имел в руках своих воззвания и к барским крестьянам, и к солдатам, из которых последнее переписывал и поправлял, но не открыл никого из своих сообщников. Правительствующий сенат испрашивал высочайшее повеление, следует ли Михайлова судить отдельно за то преступление, за которое он был предан суду 1-го отделения

5-го департамента сената, т. е. за распространение воззвания «К молодому поколению», или совокупно с падающим на него обвинением в отношении сочинения воззваний к барским крестьянам и солдатам. Государь император высочайше повелеть соизволил: судить Михайлова за распространение прокламации «К молодому поколению» отдельно от других падающих на него обвинений.

«По поступлении дела о Чернышевском в правительствующий сенат, г. обер-прокурор, по поручению управляющего министерством юстиции, предложил на совокупное рассмотрение с делом о Чернышевском полученное в III Отделении собственной е. и. в. канцелярии письмо Чернышевского к Алексею Николаевичу (вероятно, Плещееву). Письмо это следующего содержания: (приводится полностью уже известное читателю письмо — *М. Л.).*

«Письмо сие пред'явлено было в присутствии сената Чернышевскому, и по содержанию оного он был допрошен. Но Чернышевский в данных ответах об'яснил, что письмо сие писано не им, и о содержании оного отозвался неведением.

«Вследствие заключения сената, делаемо было секретарями сената сличение почерка руки Чернышевского с почерком, коим писано письмо сие, и секретари единогласно признали, что как это письмо, так и бумаги, в деле находящиеся, писанные Чернышевским и им не отвергаемые, писаны одною и тою же рукой. Присутствие 1-го отделения 5-го департамента, сличив с своей стороны почерк Чернышевского с письмом сим, признало вышеозначенное заключение секретарей сената правильным и посему определило заключение сие утвердить во всей силе. Рядовой Костомаров, быв вытребован в присутствие сената и подтвердив прежние об'яснения свои касательно сношений своих с Чернышевским, о письме сем об'яснил, что оно дано было ему Чернышевским для передачи Плещееву, но он его куда-то затерял, а после нашел его за подкладкой своего саквояжа, но как оно, быв измочено и разорвано (письмо это, действительно, получено в сенате разорваное и со следами подмочки), то отдать его Плещееву ему было уже совестно.

«Подсудимый Чернышевский во всех вышеизложенных, выводимых на него обвинениях ни на допросах в следственной комиссии, ни на передопросах в правительствующем сенате, ни на очной

с Костомаровым ставке не сознался, не отвергая, впрочем, знакомства своего с Костомаровым, ни с Михайловым. На очной ставке с Костомаровым в комиссии он сказал: «Я поседею, умру, но не переменю своего показания». Знакомство свое с Костомаровым он об'яснил тем, что покровительствовал только ему, как молодому, начинающему литератору. Чернышевский домогался пред правительствующим сенатом, чтобы сличение почерка руки, коим писано было письмо к Алексею Николаевичу, дозволено было ему произвести самому с почерком Костомарова и чтобы ему дали для сего лупу, увеличивающую в 10 или 12 раз. Но правительствующий сенат, имея в виду, что при сличении соблюдены были все требуемые законом обряды и формы, в домогательстве его отказал.

«Коллежский регистратор Алексей Николаев Плещеев был вызван в сенат и, утверждая оному знакомство и литературные отношения свои с Чернышевским, ни в каком противозаконном участии с ним не сознался, равно как и в получении от него письма, посланного через Костомарова, под заглавием: «Добрый друг Алексей Николаевич».

«Из сведений о происхождении Чернышевского видно, что он сын священника, воспитывался первоначально в семинарии, а потом в университете, служил преподавателем во 2 кадетском корпусе, был учителем гимназии в Саратове, потом причислился к С.-Петербургскому губернскому правлению и в 1858 году вышел в отставку. От роду ему 35 лет, женат, имеет двух детей.

«Рассмотрев обстоятельства настоящего дела, правительствующий сенат находит, что на подсудимого Чернышевского выводятся три следующие обвинения:

«1. Противозаконные сношения с изгнанником Герценом, стремящимся пропагандою ниспровергнуть существующий в России образ правления, и участие с Герценом в сих преступных его замыслах. — В отношение сего обвинения из дела видно, что основанием к тому служит токмо приписка Герцена в письме к Серно-Соловьевичу о намерении его издавать с Чернышевским журнал здесь, т. е. в Лондоне или Женеве, и письмо, найденное у Чернышевского, неизвестно к кому адресованное, которое, по словам его, получено им по городской почте, писанное Герценом или Огаревым, в коем возражают против убеждения Чернышевского не вовлекать юношество в литературный союз. Чернышевский, с своей

стороны, не сознался ни в каких противозаконных сношениях с Герценом, об'яснив, что, действительно, Михайлову, отправляющемуся в Лондон, он поручил сказать Герцену, чтобы он не вовлекал молодежь в его противозаконные планы. При таковых обстоятельствах нет основания признавать Чернышевского виновным в участии с Герценом в его стремлениях пропагандою ниспровергнуть существующий в России образ правления, а посему по обвинению этому, согласно 304 ст. 2 кн. т. XV св. зак. уг., его следует признать недоказанным.

«2. Сочинение возмутительного воззвания к барским крестьянам, переданного Костомарову для напечатания, с целью распространения. — В отношении сего обвинения из дела оказывается, что подтверждением оному служит: а) показание разжалованного из корнетов в рядовые Всеволода Костомарова, подробно и обстоятельно об'яснившего весь ход переговоров его с Чернышевским о печатании воззвания к барским крестьянам; б) записка, найденная у Костомарова и оставленная у него Чернышевским, в которой последний просит исправить ошибку его в рукописи и напечатать вместо «срочно - обязанные» — «временно - обязанные» (крестьяне), как это значится в Положении, что подтверждается и рукописью, в деле находящеюся, в коей, действительно, написано «срочно - обяз.», и признанное присутствием правительствующего сената совершенное сходство почерка сей записки с почерком Чернышевского, как в отдельных буквах, так и в общем характере; в) показание мещанина Яковлева, переписчика бумаг у Костомарова, слышавшего разговор Костомарова с Чернышевским, который просил его скорее напечатать воззвание к барским крестьянам; г) показание бывшего под судом в правительствующем сенате политического преступника Михайлова о том, что он имел у себя в руках воззвание к барским крестьянам и передал Костомарову. Так как показание это совпадает с показаниями Костомарова, об'яснившего об участии Михайлова в напечатании воззвания к барским крестьянам; токмо Михайлов, пойманный и уличенный государственный преступник, не будучи в состоянии сам избавиться от заслуженного им наказания, скрывает своих сообщников. К опровержению вышеизложенных улик предоставлено токмо литератором Некрасовым письмо содержащихся в смирительном доме за политические преступления 5 лиц, доказывающих,

будто бы Яковлев был подговорен Костомаровым к ложному против Чернышевского показанию, имеющее само по себе вид стремления осужденных к легчайшему наказанию спасти своего сообщника, еще не осужденного судом уголовным, представляет и ту несообразность, что извет на Яковлева не представлен начальству смирительного дома, которое по горячим следам имело бы возможность раскрыть истину, а сообщено владельцу журнала, в котором Чернышевский развивал свои зловредные идеи. Сам Чернышевский против улик сих никакого опровержения не представил.

«Из сих улик вытекает полное нравственное убеждение, что воззвание к барским крестьянам сочинил Чернышевский и принимал меры к распространению через тайное отпечатание оного.

«и 3. Приготовление к возмущению. Вещественным доказательством сего преступления против Чернышевского служит находящееся в деле собственноручное (т. XV св. зак. уг. кн. 2 ст. 326 и т. X ч. 2 ст. 354) письмо Чернышевского к некоему Алексею Николаевичу (Плещееву). Таким образом, это письмо обращает нравственное убеждение виновности Чернышевского в юридическое тому доказательство (ст. 308 т. XV). В этом письме он, укоряя друга своего в медленности приобретения орудия к тайному печатанию и распространению возмутительных воззваний, пишет, что они воспользовались случаем, когда им подвернулись люди, занимающиеся тайным печатанием, напечатать свой манифест. Несомненно, что здесь речь идет о Костомарове, Сулине, Сороко и о воззвании к барским крестьянам, которое они взялись напечатать. Из этого письма явствует, что ему были известны другие злоумышленники, возмущавшие общественное спокойствие распространением своих воззваний (Л. и 23 в Понизовьи).

«Изложенные обстоятельства не допускают сомневаться в существовании злоумышления к ниспровержению правительства и в принятии Чернышевским деятельного в том участия с приготовлениями к возмущению. Таким образом, действия Чернышевского заключают в себе все условия преступления, предусмотренного в св. зак. уг. кн. I т. XV в главе о госуд. преступл. в ст. 283, т. е. участие в злоумышлении противу правительства. Но принимая во внимание, что таковые злоумышления Чернышевского открыты правительством заблаговременно, при начале оных, и ни смятений,

ни каких-либо других вредных от того последствий не произошло, Чернышевский на точном основании последующей 284 ст. должен быть подвергнут наказанию по 3-ей или 4-ой степени 21 ст. Обращаясь затем к определению степени предлежащего Чернышевскому наказанию, сенат находит, что Чернышевский, будучи литератором и одним из главных сотрудников журнала «Современник», своею литературною деятельностью имел большое влияние на молодых людей, в коих со всею злою волею посредством сочинений своих развивал материалистические в крайних пределах и социалистические идеи, которыми проникнуты сочинения его, и указывая в ниспровержении законного правительства и существующего порядка средства к осуществлению вышеупомянутых идей, был особенно вредным агитатором, а посему сенат признает справедливым подвергнуть его строжайшему из наказаний, в 284 ст. поименованных, т. е. по 3-ей степени в мере, близкой к высшей, по упорному его запирательству, несмотря на несомненность доказательств, против него в деле имеющихся.

«В сих соображениях и на основании вышеприведенных законов правительствующий сенат полагает: отставного титулярного советника Николая Чернышевского, 35 лет, за злоумышление к ниспровержению существующего порядка, за принятие мер к возмущению и за сочинение возмутительного воззвания к барским крестьянам и передачу оного для напечатания в видах распространения — ***лишить всех прав состояния и сослать в каторжную работу в рудниках на 14 лет, и затем поселить в Сибири навсегда.***

«Решение это, на основании 617 ст. 2 кн. т. XV св. зак. уголовных, представить на высочайшее его императорского величества усмотрение и ожидать утверждения.

«Затем правительствующий сенат определяет: его же, Чернышевского, по обвинению в противозаконных сношениях с изгнанником Герценом и в участии в его преступных замыслах, ***признать недоказанным***».

II.

Из сената это определение было передано в государственный совет, вполне присоединившийся к его мнению, затем представлено

царю и утверждено им 7 апреля в таком виде: «Быть по сему, но с тем, чтобы срок каторжной работы был сокращен на половину». 26 апреля Замятнин прислал в сенат это высочайше утвержденное мнение государственного совета, а 4 мая оно было об'явлено Чернышевскому при открытых дверях.

Русское движение понесло страшную потерю... Из его передовых рядов был вырван самый видный вождь... И любопытно, что потерю эту чувствовали не только единомышленники Чернышевского. Например, тот самый Никитенко, который то и дело называл его «краснокожим либералом» и «насадителем смуты», передав вкратце приговор, записал в двевнике: «Из рук вон это печально!..» Разумеется, умных людей, независимо от их направления, не могло не поразить, а сколько-нибудь честных — и не возмутить упоминание в приговоре статей «Современника», своевременно разрешенных цензурой. Это обстоятельство было причиной более или менее широкого общественного негодования...

Очень интересна другая запись Никитенка: «Я спрашивал у сенатора Любощинского, доказано ли юридически, что Чернышевский виноват так, как его осудили. Он отвечал мне, что ему известных юридических доказательств нет, но что моральное убеждение прямо против него. Как же, однако, осудили его? В государственном совете некоторые из членов не находили достаточных улик и доказательств для приговора его к тому, к чему он приговорен. Тогда кн. Долгорукий показал им какие-то бумаги из III Отделения, — и члены вдруг перестали противоречить. Но что это за бумаги? Это тайна... Некоторые сильно негодуют на государя за Чернышевского. Как было осуждать его, когда не было на то достаточных юридических данных. Так говорят почти все».

Думаю, что рассказ Никитенка не совсем верен: вряд ли в государственном совете могло произойти разногласие с определением сената, которое, как было небезызвестно членам, вполне одобрялось правительством... А, впрочем, все могло быть; что же касается таинственных бумаг, то теперь можно утверждать, что вряд ли Долгоруков показал те бумаги, которые не были подшиты к сенатскому делу, а таились в разного рода делах III Отделения, только теперь нам хорошо известных. Если что он и мог

показывать, то только костомаровскую «Записку о литературной деятельности».

В тот же день 4 мая, возник вопрос, *как* отправить Чернышевского к месту назначения. Хорошо помня явное нарушение закона, сделанное в 1861 году по отношению к Михайлову, Суворов считал своим долгом исчерпать все доводы, чтобы убедить III Отделение не поступить также и с Чернышевским. Поэтому он писал кн. Долгорукову:

«Высочайше утвержденным 21 февраля сего года мнением комитета гг. министров преступники всех категорий из привилегированных классов, ссылаемые по судебным приговорам в Сибирь, должны быть отправлены на подводах порядком, указанным в 510 и 511 ст. XV св. зак. о ссыльных, т. е. они препровождаются этапным порядком, но не с прочими ссыльными, а особыми партиями и без употребления оков и наручней.

«Ныне состоялся приговор о судимом за политическое преступление дворянине Николае Чернышевском, который имеет быть отправлен в каторжную работу.

«По особо уважительным причинам, известным вашему сиятельству, я полагал бы Чернышевского отправить не этапным порядком, *но на почтовых с двумя жандармами* применяясь к правилам, высочайше утвержденным 10 января 1854 года.

«При этом, согласно вышеприведенному высочайше утвержденному мнению комитета министров и ст. 96, 170, 171 и 224 XIV т. св. зак. уст. о содер. под страж. и улож. о наказ. примеч. к ст. 19, я полагал бы отправить Чернышевского без оков и наручней, так как и губернское правление при отправлении этапным порядком лиц привилегированных сословий, осужденных в каторжную работу, не налагает оков и наручней, а также не исполнять над ним обряда, указанного в 541 ст. 2 кн. 15 т. св. зак. (о выставлении к позорному столбу), ибо Чернышевский, по приговору правительствующего сената, не присужден к политической смерти».

На эту записку 5 мая последовал ответ:

«1. Высочайше утвержденным 21 февраля 1864 г. положением комитета министров (собр. узак. 1864 г. № 26 стр. 217) дозволено всем арестантам привилегированных сословий, ссылаемым в Сибирь, как по политическим причинам, так и за общие преступления, отправляться на почтовых лошадях, буде они того по-



Об'явление царского приговора

желают и будут иметь к этому достаточные собственные средства, причем соблюдаются правила, высочайше постановленные 10 января 1854 г. (которые министерству юстиции неизвестны).

«2. По точному смыслу 170, 171, 224 ст. XIV т. уст. содер. под стражею и ст. 96 т. XIV уст. о ссыльн., дворяне и чиновники, при препровождении в Сибирь, не должны быть заключаемы в оковы и идут под строгим надзором.

«3. Установленный в 541 ст. II кн. XV т. св. зак. угол. обряд (переламывание шпаги и выставление на эшафот к позорному столбу), по точному смыслу сей статьи, должен быть исполняем над всеми без исключения лицами, осужденными в каторжные работы (а не над теми только, кто, по ст. 75 улож. о нак., приговорен к политической смерти)».

При этом было приложено циркулярное отношение министерства юстиции губернским, областным и прочих мест прокурорам от 21 мая 1863 г. о точном соблюдении установленных правил о неналожении оков на ссыльных малолетних, женщин и тех, кои до осуждения были из'яты от телесных наказаний.

Таким образом, кандалы и наручни отменялись, но гнусная комедия «гражданской казни» была оставлена...

Суворов не ограничился своим письмом Долгорукову. Получив просьбы многих лиц о свидании с Чернышевским, он приказал своему чиновнику написать коменданту крепости следующее письмо:

«Приговор правительствующего сената отставному титулярному советнику Чернышевскому уже об'явлен, и об исполнении оного ваше превосходительство изволите получить вслед за сим официальное сообщение; предварительно же сего сообщения, по поручению князя Александра Аркадиевича, имею честь покорнейше просить вас, милостивый государь, уведомить меня, когда Чернышевский будет переведен из равелина в обыкновенный каземат крепости, и не встретится ли завтрашний день, т. е. 6 мая, каких-либо препятствий к свиданию его с сыном и близкими родными».

На письмо это 6 мая был получен от Сорокина ответ:

«По установленному порядку, вообще перевод из Алексеевского равелина решенных преступников в обыкновенный каземат или на главную крепостную гауптвахту исполняется или накануне

того дня, в который определено привести *публично* в исполнение конфирмацию, или же накануне отправления по назначению, если публичного об'явления не назначено. Свидание допустится в течение дня не в месте заключения, а в особой комнате, в присутствии кого-либо из чинов комендантского управления. По пробитии вечерней зари (накануне отправления) осужденному стригут волосы на голове и бреют бороду и усы, а при самом отправлении одевают в казенное платье и сдают конвойным для следования по назначению на почтовых лошадях».

III Отделение и здесь доезжало своего безжалостного обличителя...

Суворову оставалось дать знать петербургской управе благочиния о наказании, постигшем Николая Гавриловича, и об обряде приведения приговора в исполнение... «К сему нужным считаю присовокупить, что для публичного об'явления приговора Чернышевский имеет быть переведен накануне дня исполнения из С.-Петербургской крепости, где он ныне содержится, в С.-Петербургский тюремный замок. Распоряжение это возложено мною на генерал-майора Чебыкина, которому поручено по исполнению над Чернышевским приговора препроводить его обратно в С.-Петербургскую крепость, откуда уже он должен быть отправлен по назначению на почтовых в сопровождении 2 жандармов».

Относительно прощания А. Н. Пыпин писал управляющему канцелярией Суворова Четыркину:

«Ваше превосходительство! На случай, когда воспоследует от князя Суворова разрешение видеться с Ч. для его родственников, сообщаю вам имена их и место жительства:

Александр Ник. Сергей Ник. Евгения Ник. Полина Ник.	Пыпины. — В Кабинетской ул., на уг. Ивановской, д. Матушевича, кв. № 14.
Иван Григорьевич	Терсинский,—обер-секретарь при святейшем синоде. — На Васильевском острове по 8 линии, за Средним проспектом, в Синодальном доме, подле Благовещенья.

«Кроме того, покорнейше прошу вас передать прилагаемое при сем письмо его светлости. Честь имею быть вашего превосходительства покорнейший слуга

Александр Пыпин».

А вот что писалось им князю Суворову:

«Ваша светлость! Имею честь представить вашей светлости имена тех посторонних лиц, которые желали бы иметь разрешение видеться с Ч. перед его от'ездом и список которых вы изволили у меня спрашивать:

Николай Алексеев. *Некрасов* (на Литейной, в д. Краевского).

Максим Алексеев. *Антонович* [1]) (в Басковой ул., близ Бассейной, д. Даммера).

Григорий Захар. *Елисеев* [2]) (на Васильевском острове, на углу 1-й линии и Большого проспекта, в д. церкви с. Екатерины).

Доктор Петр Ив. *Боков* (в Эртелевом пер., д. Ханыкова).

«Имена родственников Ч. я уже сообщил г. Четыркину вместе с означением их места жительства. Честь имею быть вашей светлости покорный слуга

Александр Пыпин».

На обоих письмах резолюция Суворова: «согласен».

Независимо от этих писем, родственник Чернышевского И. Г. Терсинский [3]) 8 мая сам подал заявление о желании свидания с ним.

О допущении свидания с Терсинским, Боковым, Елисеевым, Некрасовым и Антоновичем кн. Суворов сообщил обычным по-

---

[1]) Прибавлено, очевидно, уже в канцелярии: «Кол. Секр.».

[2]) Прибавлено: «Надв. Сов.».

[3]) Был женат на двоюродной сестре Н. Г.— Л. Н. Котляревской, умершей в начале пятидесятых годов.

рядком коменданту 9, 13 и 19 мая, причем в бумаге от 19 мая имеется приписка: «В случае же, если будет просить свидания с Чернышевским родственница его Михаэлис [1]), то ей в том разрешения покорнейше прошу не давать».

Почему Михаэлис решено было не допускать — неизвестно. Точно предчувствовали, что она не останется безучастной к судьбе своего учителя...

Сначала Чернышевского хотели отправить из Петербурга 19 мая, но потом почему-то отложили на 20-е, а 19-го назначили «казнь», о чем и об'явили всенародно за два дня в «Ведомостях С.-Петербургской Городской Полиции»...

Петербургская передовая интеллигенция нервно встретила эту весть... Решено было проводить знаменитого публициста возможно многолюднее...

Из многих описаний «казни» приведу лучшее и более верное, принадлежащее перу Гейнса (Вильяма Фрея) [2]).

Вот как описывает он свои впечатления от памятного утра на Мытнинской площади:

«Высокий черный столб с цепями, эстрада, окруженная солдатами, жандармы и городовые, поставленные друг возле друга, чтобы держать народ на благородной дистанции от столба, множество людей хорошо одетых, кареты, генералы, снующие взад и вперед, хорошо одетые женщины, — все показывало, что происходит нечто чрезвычайное.

---

[1]) Она не была родственницею.

[2]) См. рассказы Венского (стр. 99 — 100 VI кн. «Русского Богатства» за 1905 г.), Кокосова (стр. 159 — 162 XII кн. того же журнала за 1905 г.), А. Тверитинова «Об об'явлении приговора Н. Г. Чернышевскому» Петерб., 1906 г., — оттуда заимсгвую три рисунка очевидца, А. С. Суворина в своей книге «Всякие», сожженной в шестидесятых годах и написанной им под псевдонимом Бобровский (стр. 186 — 187); укажу кстати, что вообще в этой книжке, писанной Сувориным старого времени, Чернышевский выставлен с весьма симпатичной стороны под именем Самарского, а Всеволод Костомаров — с весьма отрицательной, под именем Теломарова. Наконец, есть несколько строк и в книге Скальковского — «Наши государственные и общественные деятели». При этом любопытно, что все, кроме Гейнса и Тверитинова, называют разные и неверные числа, утверждая иногда, что хорошо их помнят...



Лишение дворянства.

«Какая - то старуха предложила мне скамейку. «Надо сиротам хлеб заработать», — говорила она мне. Если бы она взяла с меня не 10 копеек, а 50, то и тогда я с удовольствием взял бы скамью, потому что публики набралось слишком много — и мне уже приходилось стоять в третьем ряду.

«Три четверти часа мне пришлось стоять на скамейке, дожидаясь приезда Чернышевского. Но для меня это время прошло быстро. Я жадно вглядывался во всякую подробность. Хозяйка моей скамьи, стоя вместе со мной, рассказывала мне, как новинку, что будут делать с преступником. Показала саблю, заранее подпиленную и стоящую внизу эстрады. Заметила, между прочим, что в прежние разы столб был гораздо ближе к народу, чем теперь, но, всетаки, будет слышно, что прочтет арестанту Григорьев (помощник надзирателя) . . .

«Ряд грустных мыслей был прерван каким - то шумом толпы; «едут», — сказала старуха. «Смирно!» — раздалась команда, и вслед затем карета, окруженная жандармами с саблями наголо, под'ехала к солдатам. Карета остановилась шагах в пятидесяти от меня; я не хотел сойти с своей скамьи, но видел, что в этом месте толпа ринулась к карете; раздались крики «назад!»; жандармы начали теснить народ; вслед затем три человека быстро пошли по линии солдат к экстраде: это был Чернышевский и два палача. Раздались сдержанные крики передним: «уберите зонтики!» — и все замерло. На эстраду взошел какой - то полицейский. Скомандовали солдатам «на - караул». Палач снял с Чернышевского фуражку, и затем началось чтение приговора. Чтение это продолжалось около четверти часа. Никто его не мог слышать. Сам же Чернышевский, знавший его еще прежде, менее, чем всякий другой, интересовался им. Он, повидимому, искал кого - то, беспрерывно обводя глазами всю толпу, потом кивнул в какую - то сторону раза три. Наконец, чтение кончилось. Палачи опустили его на колени. Сломали над головой саблю и затем, поднявши его еще выше на несколько ступеней, взяли его руки в цепи, прикрепленные к столбу. В это время пошел очень сильный дождь; палач надел на него шапку. Чернышевский поблагодарил его, поправил фуражку, насколько позволяли ему его руки, и затем, заложивши руку за руку, спокойно ожидал конца этой процедуры. В толпе было мертвое

молчание. Старуха, сошедшая со скамьи, беспрерывно задавала мне разные вопросы в роде таких: «в своем ли он платье или нет? как он приехал — в карете или в телеге?». Я беспрерывно душил свои слезы, чтобы можно было ей кое-как отвечать. По окончании церемонии все ринулись к карете, прорвали линию городовых, ухвативших друг друга за руки, и только усилиями конных жандармов толпа была отделена от кареты. Тогда (это я знаю наверное, хотя не видел сам) были брошены ему букеты цветов. Одну женщину, кинувшую цветы, арестовали. Карета повернула назад и, по обыкновению всех поездок с арестантами, пошла шагом. Этим воспользовались многие, желающие видеть его вблизи. Кучки людей человек в 10 догнали карету и пошли рядом с ней. Нужен был какой-нибудь сигнал для того, чтобы совершилась овация. Этот сигнал подал один молодой офицер; снявши фуражку, он крикнул: «прощай Чернышевский!». Этот крик был немедленно поддержан другими и потом сменился еще более колким словом «до свидания». Он слышал этот крик и, выглянувши из окна, весьма мило отвечал поклонами. Этот же крик был услышан толпою, находящейся сзади. Все ринулись догонять карету и присоединиться к кричавшим. Положение полиции было затруднительным, но на этот раз она поступила весьма благоразумно и, против своего обыкновения, не арестовала публику, а решилась попросту удалиться. Было скомандовано «рысью», и вся эта процессия с шумом и грохотом начала удаляться от толпы. Впрочем, та кучка, которая была возле, еще некоторое время бежала; возле еще продолжались крики и махание платками и фуражками. Лавочники (ехали мимо рынка) с изумлением смотрели на необыкновенное для них событие. Чернышевский ранее других понял, что эта кучка горячих голов, раз только отделится от толпы, будет немедленно арестована. Поклонившись еще раз с самою веселою улыбкою (видно было, что уезжал в хорошем настроении духа), он погрозил пальцем. Толпа начала мало-по-малу расходиться, но некоторые, нанявши извозчиков, поехали следом за каретой.[1]).

---

[1]) «Рус. Стар.», 1905 г., II, 460—462.

Теперь послушаем петербургского обер - полицмейстера. Вот что он доносил князю Суворову:

«Сего числа при публичном об'явлении на Мытнинской площади приговора бывшему титулярному советнику Чернышевскому, всеми зрителями, которых было довольно значительное число, соблюдена была совершенная тишина и никакого случая беспорядка не было. Я должен обратить при этом внимание вашей светлости на то, что в самое то время, когда Чернышевский шел к экстраде, из толпы, в довольно дальнем расстоянии от него, был кинут букет, упавший тут же впереди зрителей, стоявших шагов за 20 за линиею войск. Женщина, бросившая букет, была подмечена одним из переодетых городовых и в ту же минуту надзирателем Агафоновым отправлена в дом обер - полицмейстера. Все это было сделано так скоро и осторожно, что мало кто заметил эту сцену. Женщина эта оказалась девица Михаэлис. Я имею еще сведение, что на возвратном пути, когда экипаж, в котором был Чернышевский, проехал всю длину 4 - й улицы (на Песках) и под'ехал к Лиговке, несколько извозчичьих экипажей с седоками, в числе которых были и женщины, догнали кортеж и намеревались ехать около его; но так как экипаж был конвойрован жандармами, то они должны были отстать и раз'ехаться».

Это была та самая Мария П. Михаэлис (родная сестра Л. П. Шелгуновой), которой воспрещено было проститься с Чернышевским... Действительно, букет был брошен тогда, когда Н. Г. шел к экстраде; но Гейнс прав, говоря, что букетов было несколько. Обер - полицмейстер не хотел скомпрометировать свою полицию, не сумевшую заметить других бросавших...[1]).

Когда Чернышевский вернулся в тюрьму, его посетили жена, сын, Пыпины, Г. З. Елисеев, П. И. Боков, М. А. Антонович и Терсинский. Некрасова не было.

На другой день, в 10 часов утра, Н. Г. выехал в сопровождении двух жандармов и фельд'егеря. На станции Вестовая (по Шлиссельбургскому тракту) последний сдал Николая Гаврило-

[1]) Михаэлис была выслана из Петербурга в имение родителей в Шлиссельбургском уезде и там, под надзором полиции, пробыла более года.

вича старшему из жандармов, вахмистру Ильину, который и довез его до места ссылки.

Русская печать хранила глубокое молчание, и только Герцен мог излить поток негодования на головы петербургской камарильи . . . И, отдать ему справедливость, несмотря на неблагоприятные личные отношения к Чернышевскому, сделал это блестяще . . . Вот статья из «Колокола» полностью:

«Чернышевский осужден на *семь лет каторжной работы* и на вечное поселение. Да падет проклятьем это безмерное злодейство на правительство, на общество, на подлую, подкупную журналистику, которая накликала это гонение, раздула его из личностей. Она приучила правительство к убийствам военнопленных в Польше, а в России — к утверждению сентенций диких невежд сената и седых злодеев государственного совета . . . А тут жалкие люди, люди - трава, люди - слизняки говорят, что не следует бранить эту шайку разбойников и негодяев, которая управляет нами!

«Инвалид» недавно спрашивал, где же *новая Россия*, за которую пал Гарибальди? Видно, она не вся «за Днепром», когда жертва падает за жертвой . . . Как же согласовать дикие казни, дикие кары правительства и уверенность в безмятежном покое его писак? Или что же думает редактор «Инвалида» о правительстве, которое без всякой опасности, без всякой причины расстреливает молодых офицеров, ссылает Михайлова, Обручева, Мартьянова, Красовского, Трувеллера, двадцать других, — наконец, Чернышевского в каторжную работу?

«И это - то царствование мы приветствовали лет десять тому назад!»

«P. S. Строки эти были написаны, когда мы прочли следующее в письме одного очевидца эзекуции: «Чернышевский сильно изменился; бледное лицо его опухло и носит следы скорбута. Его поставили на колени, переломили шпагу *и выставили на четверть часа у позорного столба.* Какая - то девица бросила в карету Чернышевского венок — ее арестовали. Известный литератор П. Якушкин крикнул ему «прощай!» и был арестован. Ссы-



Опозорение.

лая Михайлова и Обручева, *они* делали выставку в 4 часа утра, теперь — белым днем! . .» [1]).

«Поздравляем всех различных Катковых — над этим врагом они восторжествовали! Ну, что, легко им на душе?

«Чернышевский был вами выставлен к столбу на четверть часа [2]), а вы, а Россия на сколько лет останетесь привязанными к нему?

«Проклятье вам, проклятье — и, если можно, месть!» [3]).

Когда зимой того же года гр. А. К. Толстой, пользуясь соседством с царем на придворной охоте и отвечая на его вопрос о новостях в литературном мире, сказал, что «русская литература надела траур по поводу несправедливого осуждения Чернышевского», Александр II «не дал ему даже окончить фразы» . . . «Прошу тебя, Толстой, никогда не напоминать мне о Чернышевском», — проговорил он недовольным и непривычно строгим голосом и затем, отвернувшись в сторону, дал понять, что беседа их кончена» . . . [4]).

Чтобы закончить настоящее исследование необходимо дорисовать жизнь двух негодяев, непосредственно участвовавших, не по должности, но по влечению, в такой гнусной расправе с одним из самых выдающихся русских писателей.

16 декабря 1863 г. Костомаров писал Потапову: «По случаю прикосновенности к делам гг. Чернышевского и Шелгунова я был вызван с Кавказа (?!) и жил по настоящее время в Петербурге. Теперь до меня дошли слухи, что дела эти кончены и, по всему вероятию, я должен буду вскоре отправиться на Кавказ, куда я назначен высоч. конфирмацией 1 ноября 1862 года. Военные действия на Кавказе затихли. Между тем мне бы хотелось как можно скорее загладить мои прошлые вины и своею кровью смыть с себя пятно того преступления, которое совершил я, почти невольно, под влия-

---

[1]) Фактические сведения не совсем верны.

[2]) *Примечание Герцена*: «Неужели никто из русских художников не нарисует картины, представляющей Чернышевского у позорного столба? Этот обличительный холст будет образ для будущих поколений и закрепит шельмованье тупых злодеев, привязывающих мысль человеческую к столбу преступников, делая его товарищем креста».

[3]) «Колокол» 1864 г., № 186.

[4]) «Новое Время» 1904 г., № 10321.

нием людей, лукаво умевших воспользоваться и моим трудным положением, и шаткостью моего тогдашнего образа мыслей, — шаткостью, столь свойственною легко увлекающейся юности. Но теперь, когда страстное увлечение прошло и я увидел ясно, с *какими* людьми и против *кого* шел я, — теперь понял я всю глубину моего преступления. Благодаря обстоятельствам совершенно случайным, оно не совершилось вполне. Но уже и того, что было сделано, слишком достаточно для того, чтоб наполнить всю жизнь мою самыми мучительными угрызениями совести. Я помогал кровавому преступлению, — кровью должн я и омыть его.

«Ваше превосходительство! Я беру на себя смелость просить Вас, чтобы Вы поверили искренности слов моих, — поверили, что не мелочное желание возвратить себе потерянное звание офицера, а только одна нравственная неопреодолимая потребность искупить свое преступление, заставляет меня искать возможности поскорее посвятить себя посильному служению государю и родине. Поэтому я осмеливаюсь просить в. п — во, не найдете ли Вы возможным ходатайствовать о переводе меня в один из полков, действующих против польских мятежников. Поднявшие меч, мечом и погибнут. Человек, бывший мятежником, мятежником наказан и будет. Совершение кровавого возмездия помирит меня с обществом и законом, а совершение нравственного — с жизнью и совестью»...

Надпись Потапова: «Иметь в виду по окончании дел Чернышевского и Шелгунова»...

«18 декабря 1863 г. получил от г-на майора Зарубина двадцать пять рублей серебром. *В. Костомаров*» — вторая его расписка в делах III Отделения. «Давай и веревочку»...

В июне 1864 г. Потапов запросил сенат, какое состоялось решение о Костомарове по делу о Чернышевском. Сообщили, что отделение сената «в суждение о рядовом В. Костомарове *вовсе не входило* и по сему о нем никакого решения постановлено не было». Пометка Потапова: «Спросить военно-судную комиссию при Спб. ордонанс-гаузе, нужен ли Костомаров по делу полк. Шелгунова». Комиссия нашла, что Костомаров не может быть пока отправлен из Спб.

Тогда же составлена записка: «В видах вознаграждения услуг рядового Костомарова деньги, следовавшие от него за печатание

его сочинений и за бумагу, купленную для этого издания, всего тысячу триста шестьдесят шесть рублей 35 коп. сер., принять на счет сумм III Отделения». За эти деньги было отпечатано издание: «История литературы древнего и нового мира», кн. 1 — «Франция», кн. 2-я — «Италия».

В июле военно-судная комиссия сообщила III Отделению об окончании дела Шелгунова и о том, что в рядовом Костомарове необходимости не представляется. 18 июля шефом жандармов был сделан доклад царю с кратким приведением всех уже известных читателю обстоятельств, заканчивавшийся так: «Имея в виду столь искренно выраженное Костомаровым желание скорее загладить кровью вину свою, — верить чему побуждает уже услуга, оказанная им правительству по обнаружению преступных деяний Чернышевского и Шелгунова, — а также принимая во внимание болезненное положение Костомарова, ибо он, страдая ревматизмом в ноге, едва ли в состоянии совершить дальнее путешествие на Кавказ, — в настоящее время полагал бы возможным на просьбу его о назначении в один из полков, действующих против польских мятежников, испросить высоч. соизволение».

Пометка: «Высоч. разрешено предложить Костомарову, если он хочет отличить себя на боевом поприще, перевод его в один из оренбургских или сибирских (западных) баталионов. В противном случае дозволено предварительное сношение с в. министром о переводе его в один из полков виленского округа или расположенных в Ц. Польском».

19 июля Костомаров бил отбой от временно принятой «благородной» роли: «Так как на моем попечении в настоящее время находится престарелая мать и незамужняя сестра, которых я содержу литературными трудами, составляющими единственный источник нашего пропитания, то перевод в такие отдаленные места, при настоящих условиях моего положения, был бы для меня равносилен лишению всяких средств к пропитанию», а потому он просил о переводе в один из кавалерийских полков виленского округа, «так как в настоящее время болезненное состояние левой ноги делает пехотную службу чрезвычайно обременительною». Просьба была исполнена: Костомаровым были осквернены списки 1-го уланского с.-петербургского полка.

25 ноября 1864 г. мать его писала Мезенцову, что «участие ее

сына в процессах против Михайлова, Чернышевского, Шелгунова и других поставило его в такие неприятные отношения к обществу петербургских литераторов, что даже самое имя его изгнано из их круга: они не только не принимают его стихотворений и переводов, но даже стараются разгадать и разгадывают его псевдонимы и везде, чем только можно, вредят ему. Ему удалось напечатать несколько стихотворений в «Библиотеке для Чтения» под именем «В. Д — цкой». Но, наконец, управляющий редакцией, узнавши, что это — псевдоним Костомарова, возвратил мне назад рукопись драмы Шекспира «Король Генрих IV», напечатавши уже два акта, и сказал прямо, что он ничего не может печатать из произведений противника Чернышевского, под страхом потерять всех своих сотрудников, и ко всему этому не заплатил сыну моему до сих пор еще денег за предшествовавшие работы [1]. Костомаров приготовил к тому времени несколько драм Шекспира в стихотворном переводе, но средств на издание опять не было, поэтому мать просила о денежном вспомоществовании.

Из справки оказалось, что, кроме указанных, Костомарову было еще выдано 100 рублей из секретных сумм. 28 ноября царь разрешил выдать Костомаровой 300 руб. сер.; в получении имеется ее расписка.

Любопытно, что в статье «Вольные русские переводчики», напечатанной до ареста Писарева в «Рус. Слове» и посвященной «Сборнику стихотворений иностранных поэтов» и «Поэтам всех времен и народов», вышедших в переводе Вс. Костомарова и Ф. Берга в 1860 — 62 гг., Писарев сумел хоть намеком увековечить истинную физиономию Вс. Костомарова. Вот конец этой статьи: «Напрасно Костомаров к имени пиетиста Генгстенберга, встречающемуся в переводе «Германии», делает следующее язвительное заключение: «Генгстенберг, по доносу которого отнята кафедра у Фейербаха». Кто так близко подходит к Генгстен-

[1]) Добавлю, что в 1863 г. Костомаровым была послана, под почерк Чернышевского, рукопись в «Искру»: «Для карикатур», за подписью: «Тертий Побирухин», и едва ли не с целью спровоцировать журнал анекдотами о царе и принце П. Ольденбургском и еще больше утопить Чернышевского и Пинкорнелли (арх. III Отд., I эксп., 1863 г. № 97. ч. II). Однако, тонкий нюх В. С. Курочкина почуял что-то недоброе и не напечатал присланное.

бергу по воззрениям, тому следовало бы быть поосторожнее в отзывах.

«Кто знает? Может быть Генгстенберг сделал донос с благою целью! Может быть, делая свой донос, Генгенстенберг воображал себя таким же полезным общественным деятелем, каким воображает себя Костомаров, обличая нераскаянного грешника и «иронического юмориста» Генриха Гейне»...

В мае 1865 г. кн. Долгоруков просил медицинское начальство оставить Костомарова в Мариинской лечебнице, не отправляя его в военный госпиталь. В октябре врачи выдали Костомарову удостоверение, что болезнь его ноги неизлечима и делает его неспособным к военной службе. 16 октября царь согласился с шефом жандармов и вовсе уволил Костомарова от службы, а в начале декабря 1865 г. Костомаров умер. Мать его умерла вскоре после него.

В апреле 1867 г. П. В. Яковлев просил министра вн. дел о возвращении его в Москву. III Отделение нашло, что в виду роли Яковлева в 1863 г., просьба его не подлежит удовлетворению. 12 февраля 1873 г. он умер в гор. Кеми от водянки.

Таким образом через десять лет не осталось актеров, а режиссер, директор театра, сценариус и прочий закулисный персонал вскоре и забыл свое темное дело; одним больше, одним меньше — это не важно, какая разница.

Проследив весь ход дела Чернышевского, сознательный читатель, вероятно, сам найдет ответ на вопрос, задававшийся и тогда и после всеми теми, кто не мог разобраться в самой сущности этого вопиющего инквизиционного судилища, — на вопрос «за что?».

С Чернышевским рассчиталась не только придворная камарилья с царем во главе, с ним рассчиталась вся та Россия, которая понимала, что он был виднейшим на ее территории социалистом, а социализм считала своим злейшим врагом. Это была расправа одного класса с другим. Чернышевский был видным представителем нарождавшегося тогда класса мелкой буржуазии, искавшей скорейшей смычки с крестьянством, всеми своими симпатиями наиболее передового авангарда примыкавшего к социализму и демократизму, выросшего в сознании ужаса современного ему политического, правового и экономического строя, клят-

венно решившего бороться в корне с такой Россией и тем поднявшего ее на себя. Чернышевский был знамя и вождь новой группы людей, шедших на смену старому, обветшалому самодержавно-капиталистическому строю. Его ненавидел от всей души прежде всего сам царь, как «первый помещик», ненавидел двор, как вторые помещики, ненавидели крупные аграрии, капиталисты, банкиры, фабриканты, большие чиновники, бывшие плотью от плоти строя, державшегося только господством этих элементов.

Мало того, врагами Чернышевского были и все либералы, которых он клеймил, сколько мог, в подцензурной печати, глумясь над их конституционными мечтами, в которых они видели панацею от всех зол на многие десятилетия. Кавелины, Тургеневы и от них все до какого-нибудь заурядного Альбертини, — все это было против проповедника социалистических начал, все это трепетало прихода социализма, представлявшегося им всегда в образе страшного урагана, который прежде всего снесет их культурные балаганчики и потребует дворцов труду, с помощью которого, после периода разгрома наследия — никто не скрывал и тогда, как временного явления, — создаст здоровую культуру масс и выкинет за борт барское самоуслаждение в литературе, науке и искусстве.

Достаточно вчитаться хотя бы в те два дворянских письма, которые взяты были у Чернышевского при обыске, чтобы понять, что пером этих анонимов водила классовая ненависть, что имена их нам даже не интересны, потому что, связанные с именами, эти вопли и проклятия получили бы долю личного чувства и утратили бы смысл большого общего явления.

С другой стороны, прочтите еще раз «записки» Арсеньева и Костомарова, — произведения уже именные, и вам станет ясно, что господствующие классы боялись Чернышевского больше, чем чумы и потопа. Потоп уничтожил бы всех разом, не пришлось бы быть свидетелями перелома, не пришлось бы выносить его на своих плечах, а здесь именно рисовался ужас этих переживаний катастрофической смены всех оснований жизни.

IV.

Дело „Карманной типографии“ и Д. И. Писарева.

I.

13 июня 1862 г. к наборщику типографии комиссариатского департамента военного министерства Горбановскому явился студент Петр Давидович Баллод [1]) и просил напечатать с принесенного им готового набора 360 экземпляров прокламации по адресу офицеров. Получив согласие на исполнение такого заказа, он сказал, что зайдет за ним утром 15-го, и удалился. Вечером того же дня Горбановский принес полученный набор экзекутору департамента и рассказал все, что знал, не скрыв и того, что в квартире своей жены он недавно открыл небольшую типографию, еще не заявленную полиции...

Разумеется, сейчас же было сообщено обо всем по начальству, и ранним утром 15 июня у квартиры Горбановского в Коломне, близ церкви Покрова, дежурила полицейская засада.

Действительно, к 7 часам туда явился слуга Баллода Иван Абрамович Лисенков и в качестве удостоверения, что он прислан именно за прокламацией, пред'явил один ее экземпляр. Его арестовали, сняли допрос и отправили в полицию; то же сделано было и с Горбановским.

В 11 часов утра нагрянули к Баллоду, жившему в меблированных комнатах на Васильевском острове. Там нашли всевозможные прокламации, типографские принадлежности и бумаги самого хозяина и уехавшего товарища его, Еленина. Затем направились в соседнюю комнату, занимаемую Н. И. Жуковским, которому

---

[1]) Сын священника Лифляндской губернии; воспитывался в рижской семинарии; окончив ее, поступил в петербургскую Медико-Хирургическую академию, а в 1858 г. перешел на естественный факультет тамошнего университета.

служил тот же Лисенков. Там в отсутствии хозяина взяли кое-какие бумаги. Баллод был арестован полицией 16 июня и помещен в 3-й части, при полиции.

Вечером случайно обнаружили его вторую квартиру, на Выборгской стороне, произвели в ней обыск, обнаружив много шрифта, типографских принадлежностей и несколько заграничных изданий. 18-го привезли туда Баллода, удостоверившего принадлежность себе всего найденного.

20 июня член следственной комиссии свитский генерал Слепцов доложил последней, что царь лично приказал ему передать свою непреклонную волю, «чтобы комиссия обратила преимущественно и безотлагательно внимание на действия арестованного при полиции студента Баллода». Немедленно были приняты меры, и уже 25-го числа знакомому нам Каменскому было поручено рассмотрение бумаг Баллода, Жуковского и Еленина. Вместе с тем обер-полицмейстеру было предписано разыскать Жуковского, а III Отделению сообщено о необходимости обратить внимание на Еленина и хозяйку второй квартиры Баллода — Максимович (или, как тогда писали в таких случаях — «Максимовичеву»).

27-го, когда Каменский уже ознакомил комиссию с содержанием переданных ему бумаг, последняя допросила Баллода и Лисенкова. Первый уже 21-го был заключен в Петропавловскую крепость, а второй отпущен на свободу под надзор полиции.

Лисенков 18 июня показал, что Жуковский не ночевал дома по 3 — 4 дня подряд; у Баллода бывали военный инженер-подполковник Киселев, братья Виктор, Философ и Осип Даниловы, Кононов, А. С. Фаминцын и художник Валерий Иванович Якоби; видел также у него учителя Викторова, каких-то фруктовщиков и крестьянина. После пожара на Щукином дворе он сказал Баллоду, что наверное подожгли мошенники, на что хозяин его ответил: «почем ты знаешь? может быть, и не мошенники»... В средствах Баллод не нуждался, покупал иногда шампанское; поведения был хорошего, но «не признавал бога и глумился над всем святым».

Баллод с самого начала заявил, что даст вполне верные и подробные показания, которые будут отличаться от неверных и неполных, сделанных раньше в полиции. «К показаниям, данным

мною на приложенных листах, я не имею ничего прибавить», — написал он в начале своих вторых показаний.

Относительно своей второй, по теперешней терминологии — конспиративной, квартиры Баллод заявил, что не прописался там только потому, что еще не вполне переехал, так как хозяйка ее, Максимович, уехала сама лишь 20 мая. С Николаем Жуковским знаком около трех лет через брата его, Владимира, сначала петербургского студента, теперь судебного следователя в Уфе; Еленин — товарищ по рижской духовной семинарии, уехал на лето в Ригу и, думая возвратиться осенью, оставил ему свои вещи и бумаги. «Все участие Николая Жуковского состояло в том, что он мне достал от Горбановского один старый и один новый валик и краски. Больше же никакого участия он не принимал; он даже иногда смеялся над бесполезностью моих трудов. Листки, напечатанные мною, я давал ему, но какие именно и сколько, я не помню». С Горбановским познакомился в конторе Янова и К°, которою управлял Н. Жуковский. Горбановский предложил свои услуги при покупке шрифта и предлагал в наборщики одного ученика. До этого, в январе, Баллод просил Жуковского переговорить с Горбановским, не возьмется ли тот перепечатать лондонскую прокламацию Огарева «Что нужно народу?». Горбановский дал согласие, начал набор, но затем отказался, сказав, что он требует много шрифта, а убыль его в казенной типографии легко может быть замечена [1]).

Следующие вопросы комиссии касались найденных при обысках у Баллода прокламаций и бумаг.

Среди первых особенным вниманием ее пользовалась «Молодая Россия». Распространена она была в массе экземпляров. Например, из отношения министра внутренних дел Валуева к председателю комиссии кн. Голицыну, ясно, что в половине мая в Москве ее разбрасывали на бульварах, площадях и у под'ездов, посылали по городской почте, а несколько экземпляров найдены были даже в адресной книге студентов университета.

---

[1]) Баллод много работал и в области естествознания. Он вел издание перевода известной анатомии Гиртля, который делал вместе с академиком Ал. С. Фаминцыным, тогда студентом. По ходатайству последнего, ему были выданы потом все рукописи перевода, взятые у Баллода на обыске.

Она очень взволновала не только правительство и реакционеров, но и либеральную часть общества, а в более радикальной не вполне одобрялась, благодаря некоторым своим пунктам, в роде уничтожения семьи и брака. «Молодую Россию» осуждал даже такой «бунтарь», как Бакунин, в своей брошюре «Романов, Пугачов или Пестель?». Это была первая прокламация, вскрывшая истинную принадлежность ее читателей к боровшимся между собою классом. Разразившиеся, вслед за ее появлением, пожары в Петербурге были приписаны выпустившему ее центральному революционному комитету, и потому понятно, как хотелось комиссии кн. Голицына узнать что-нибудь от Баллода.

В виду громадного интереса этой прокламации привожу ее полностью с подлинника.

МОЛОДАЯ РОССИЯ.

«Крайности ни в ком нет, но всякий может быть незаменимой действительностью; пред каждым открытые двери. Есть что сказать человеку—пусть говорит, слушать его будут; мучит его душу убеждение—пусть проповедует. Люди не так покорны как стихии, но мы всегда имеем дело с современной массой; ни она не самобытна, ни мы не зависимы от общего фона картины, от одинаких предшествовавших влияний, связь общего есть. Теперь вы понимаете, от кого и кого зависит будущность людей и народов?

«— От кого?

«—Как от кого?.. да от нас с вами, например. Как же после этого сложить нам руки?»

А. Герцен. (Роберт Оуэн).

«Россия вступает в революционный период своего существования. Проследите жизнь всех сословий, и вы увидите, что общество разделяется в настоящее время на две части, интересы которых диаметрально противоположны и которые следовательно стоят враждебно одна к другой.

«Снизу слышится глухой и затаенный ропот народа, народа, угнетаемого и ограбляемого всеми, у кого в руках есть хоть доля власти — народа, который грабят чиновники и помещики, продающие ему его же собственность — землю, грабит и царь, увеличивающий более чем вдвое прямые и косвенные подати и употребляющий полученные деньги не на пользу государства, а на увеличение распутства двора, на приданное фрейлинам - любовницам, на награду холопов, прислуживающих ему, да на войско, которым хочет оградиться от народа.

«Опираясь на сотни тысяч штыков, царь отрезывает у большей части народа (у казенных крестьян) землю, полученную им от своих отцов и дедов, делает это в видах государственной необходимости и в то же время, как бы в насмешку над бедным, ограбляемым крестьянином, дарит по несколько тысяч десятин генералам, покрывшим русское оружие неувядаемою славою побед над безоружными толпами крестьян; чиновникам, вся заслуга которых — немилосердный грабеж народа, тем которые умеют ловчее подать тарелку, налить вина, красивее танцуют, лучше льстят!

«Это всеми притесняемая, всеми оскорбляемая партия, партия — *народ*.

«Сверху над нею стоит небольшая кучка людей, довольных, счастливых. Это помещики, предки которых или они сами, были награждены населенными имениями за свою прежнюю холопскую службу; это потомки бывших любовников императриц, щедро одаренные при отставке; это купцы, нажившие себе капиталы грабежом и обманом; это чиновники, накравшие себе состояния, — одним словом, все имущие, все у кого есть собственность родовая или благоприобретенная. Во главе ее царь. Ни он без нее, ни она без него существовать не могут. Падет один, — уничтожится и другая. В настоящее время партия либеральничает, обиженная отнятием у нее права на даровую работу крестьян, ругает государя, требует конституции, но не бойтесь: она и царь неразрывно соединены между собою и звеном соединения — собственность. Она понимает, что всякое народное, революционное движение направлено против собственности и потому в минуту восстания окружит своего естественного представителя царя. Это партия *императорская*.

«Между этими двумя партиями издавна идет спор, спор почти всегда кончавшийся не в пользу народа. Но едва проходило несколько времени после поражения, народная партия снова выступала. Сегодня забитая, засеченная, она завтра встанет вместе с Разиным за всеобщее равенство и республику русскую, с Пугачовым за уничтожение чиновничества, за надел крестьян землею. Она пойдет резать помещиков, как было в Восточных губерниях в 30-х годах, за их притеснения: она встанет с благородным Антоном Петровым — и против всей императорской партии.

«К этой безурядице, к этому антагонизму партий, антагонизму, который не может прекратиться, пока будет существовать современный экономический порядок, при котором немногие, владеющие капиталом, являются распорядителями участи остальных, присоединяется и невыносимый общественный гнет, убивающий лучшие способности современного человека.

«В современном общественном строе, в котором все ложно, все нелепо от религии, заставляющей веровать в несуществующее в мечту разгоряченного воображения — бога, и до семьи, ячейки общества, ни одно из оснований которой не выдерживает даже поверхностной критики, от узаконения торговли, этого организованного воровства, и до признания за разумное положения работника, постоянно истощаемого работою, от которой получает выгоды не он, а капиталист; женщины лишенной всех политических прав и поставленной наравне с животными.

«Выход из этого гнетущего, страшного положения, губящего современного человека, и на борьбу с которым тратятся его лучшие силы, один — революция, революция кровавая и неумолимая, — революция, которая должна изменить радикально все, все без исключения, основы современного общества и погубить сторонников нынешнего порядка.

«Мы не страшимся ее хотя и знаем, что прольется река крови, что погибнут, может быть, и невинные жертвы; мы предвидим все это, и все таки приветствуем ее наступление, мы готовы жертвовать лично своими головами, только пришла бы поскорее она, давно желанная!

«Понимает необходимость революции инстинктивно и масса народа, понимает и небольшой кружок наших действительно пе-

редовых людей ... и вот из среды их выходят один за другим эти предтечи революции и призывают народ на святое дело восстания, на расправу со своими притеснителями, на суд с императорской партией. Расстреливание за непонимание дурацких положений 19-го Февраля, работа в рудниках за указание безнадежности настоящего положения, ссылка в отдаленные губернии, ссылка гуртом в каторжные работы за публичное заявление своего мнения, за молитву в церквах по убитым, — вот чем отвечает императорская партия им!

«Императорская партия! думаете ли вы остановить этим революцию, думаете ли запугать революционную партию? или до сих пор вы не поняли, что все ссылки, аресты, расстреливания, засечения на смерть мужиков ведут к собственному же вашему вреду, усиливают ненависть к вам и заставляют теснее и теснее смыкаться революционную партию, что за всякого члена, выхваченного вами из ее среды, ответите вы своими головами? Мы предупреждаем и ставим на вид это только вам, члены императорской партии, и ни слова не говорим о ваших начальниках, около которых вы группируетесь, о Романовых — с теми расчет другой! Своею кровью они заплатят за бедствия народа, за долгий деспотизм, за непонимание современных потребностей. Как очистительная жертва сложит головы весь дом Романовых!

«Больше же ссылок, больше казней! — раздражайте, усиливайте негодование общественного мнения, заставляйте революционную партию опасаться каждую минуту за свою жизнь; но только помните, что всем этим ускорите революцию, и что чем сильнее гнет теперь, тем беспощаднее будет месть!

«Революции все способствует в наст. время: волнение Польши и Литвы, финансовый кризис, увеличение налогов, окончательное разрешение крестьянского вопроса весною 1863 года, когда крестьяне увидят, что они кругом обмануты царем и дворянами; а тут еще носятся слухи о новой войне, поговаривают, что государь поздравил уже с нею гвардию. Начнется война, потребуются рекруты, произведутся займы и Россия дойдет до банкротства. Тут то и вспыхнет восстание, для которого достаточно будет незначительного повода! Но может случиться, что крестьяне восстанут не сразу в нескольких губерниях, а отдельными деревнями, что войско не успеет пристать к нам, что ре-

волюционная партия не успет сговориться, не достаточно централизуется, и заявит свое существование не общим бунтом, а частными вспышками, императорская партия подавит их и дело революции снова остановится на несколько лет.

«Для избежания этого Центральный Революционный Комитет в полном своем собрании, 7-го Апреля, решил:

«Начать издание журнала, который выяснил бы публике принципы, за которые он берется, и в то же время служил бы органом революционной партии в России. В нем будут помещаться отчеты о заседаниях Комитета, будут предлаг. вопросы на обсуждение пров. комитетам, будут заявляться публике мнение революционной партии о каждом важном событии. Комитет вынужден был приступить к изданию своего органа и тем что еще ни один из издаваемых журналов не выяснил обществу революционной программы. Для доказательства этого мы обратимся к двум органам: Колоколу и Великоруссу.

«Не смотря на все наше глубокое уважение к А. И. Герцену, как публицисту, имевшему на развитие общества большое влияние, как человеку, принесшему России громадную пользу, мы должны сознаться, что «Колокол» не может служить не только полным выражением мнений революционной партии, но даже и отголоском их.

«С 1849 г. у Герцена начинается реакция: испуганный неудачною революциею 48 года, он теряет всякую веру в насильственные перевороты. Два, три неудавшихся восстания в Милане, ссылка и смерть на его глазах французских республиканцев, наконец казнь Орсини, окончательно тушат его революционный задор и он принимается за издание журнала с либеральною (не более) программою.

«Колокол», встреченный живым приветом всей мыслящей России, как первый свободный орган, вскоре становится загадкою для людей действительно революционных. Где же разбор современного политического и общественного быта России, где проведение тех принципов, на которых должно построиться новое общество.

«Проходит еще год, и Колокол, оказывая влияние на правительство, уже совсем становится конституционным. Увлечение им молодежи уменьшается, революционная партия ищет дру-

гого органа, и, если он читается, то этому способствует еще прежняя слава Герцена, Герцена, приветствовавшего революцию, Герцена, упрекавшего Лердю-Роллена и Луи Блана в непоследовательности, в том, что они, имея возможность, не захватили диктатуры в свои руки и не повели Францию по пути кровавых реформ для доставления торжества рабочим.

«Наконец, его надежды на возможность принесения добра Александром или кем-нибудь из императорской фамилии; его близорукий ответ на письмо человека, говорившего, что пора начать бить в набат и призвать народ к восстанию, а не либеральничать [1]). Его совершенное незнание современного положения России; надежда на мирный переворот; его отвращение от кровавых действий, от крайних мер, которыми одними можно только что - нибудь сделать, — окончательно уронили журнал в глазах республиканской партии.

«Но нам могут возразить, что ошибаемся мы, а не Герцен, что отвращение его от насильственных переворотов проистекло из знакомства с историею Запада, от его уверенности, что каждая революция создает своего Наполеона.

«Мы ответим на это, что и сам Герцен не разделяет этого мнения, да и революции кончались худо от непоследовательности людей, поставленных во главе ее. Мы изучали историю Запада, и это изучение не прошло для нас даром: мы будем последовательнее не только жалких революционеров 48 года, но и великих террористов 92 года, мы не испугаемся, если увидим что для ниспровержения современного порядка приходится пролить втрое больше крови чем пролито Якобинцами в 90 годах!

«В Июле прошлого года появился в России Великорусс.

«Не смотря на всю ошибочность и отсталость его мнений, не смотря на радикальную противоположность их с нашими, мы, всетаки должны заявить свое уважение к редакции его, выдавшей в России же протест против существующего порядка. Успех Великорусса был громадный, что и надо было предвидеть вначале. Удовлетворяя и как нельзя лучше совпадая с желаниями нашего либерального общества, т. е. массы помещиков стремя-

---

[1]) Письмо «Русского человека», принадлежащее Чернышевскому.

щихся хоть чем нибудь нагадить правительству и опасающихся в то же время даже тени революции, грозящей поглотить их самих, кучки бездарных литераторов, сданных за ветхостью в архив, а во времена Николая считавшихся за прогрессистов, он все таки не мог составить около себя партии. Его читали, о нем говорили, да и только. Он вызывал улыбку революционеров своим мнением о том, что государь побоится отдать приказ стрелять в собравшийся народ, своими невинными адресами, которыми думает спасти Россию.

«Об остальных заграничных журналах даже и упоминать не стоит. Не понимаем, зачем это уезжают из России господа вроде Блюммера и кн. Долгорукова. Шли бы себе они рука об руку с Русским Вестником и Северной Почтой, да вызывали бы все вместе своими принципами презрение всех честных людей.

«О прокламациях (на всякой бршюре, изданной нами, будет стоять: «Изд. Центр. Рев. Ком.») выходивших в последнее время в таком изобилии тоже распространяться не стоит: неимение определенных принципов, пустое ничего не значущее и ни к чему не ведущее либеральничанье, — вот отличительные черты их.

«Не находя ни в одном органе поного выражения революционной программы, мы помещаем теперь главные основания, на которых должно построиться новое общество; а в следующих номерах постараемся развить подробнее каждое из этих положений.

«Мы требуем изменения современного деспотического правления в республиканско - федеративный союз областей, причем вся власть должна переидти в руки Национального и Областных Собраний. На сколько областей распадается земля русская, какая губерния войдет в состав какой области, —этого мы не знаем: само народонаселение должно решить этот вопрос.

«Каждая область должна состоять из земледельческих общин, все члены которой пользуются одинаковыми правами.

«Всякий человек должен непременно приписаться к той или другой из общин: на его долю, по распоряжению мира, назначается известное количество земли, от которой он впрочем может отказаться или отдать ее в наем. Ему предоставляется также полная свобода жить вне общины и заниматься каким угодно ре-

меслом, только он обязан вносить за себя ту подать, какая назначается общиною.

«Земля, отводимая каждому члену общины, отдается ему не в пожизненное пользование, а только на известное количество лет, по истечении которых мир производит передел земель. Все остальное имущество членов общины остается неприкосновенным в продолжение их жизни, но по смерти делается достоянием общины.

«Мы требуем, чтобы все судебные власти выбирались самим народом; требуем, чтобы общинам было предоставлено право суда над своими членами во всех делах, касающихся их одних.

«Мы требуем, чтобы, кроме Национального Собрания, составленного из выборных всей земли Русской, которое должно собираться в столице, были бы и другие Областные Собрания в главном городе каждой области, составленные только из одних представителей последней. Национальное Собрание решает все вопросы иностранной политики, разбирает споры областей между собою, вотирует законы, наблюдает за исполнением прежде постановленных, назначает управителей по областям, определяет общую сумму налога. Областные Собрания решают дела касающиеся до одной только той области, в главном городе которой они собираются.

«Мы требуем правильного распределения налогов, желаем, чтоб он падал всею своею тяжестью не на бедную часть общества, а на людей богатых. Для этого мы требуем, чтобы Национальное Собрание, назначая общую сумму налога, распределило бы его только между областями. Уже Областные Собрания разделяют его между общинами, а сами общины в полном своем собрании решают какую подать должен платить какой член ее, причем обращается особое внимание на состояние каждого одним словом вводится налог прогрессивный.

«Мы требуем заведения общественных фабрик, управлять которыми должны лица, выбранные от общества, обязанные по истечении известного срока давать ему отчет, требуем заведения общественных лавок в которых продавались бы товары по той цене, которой они действительно стоят, а не по той, которую заблагорассудится назначить торговцу для своего скорейшего обогащения.

«Мы требуем общественного воспитания детей, требуем содержания их на счет общества до конца учения. Мы требуем также содержания на счет общества больных и стариков, одним словом всех, кто не может работать для снискания себе пропитания.

«Мы требуем полного освобождения женщины, дарования ей всех тех политических и гражданских прав, какими будут пользоваться мужчины, требуем уничтожения брака, как явления в высшей степени безнравственного и не мыслимого при полном равенстве полов, а следовательно и уничтожения семьи, препятствующей развитию человека, и без которого не мыслимо уничтожение наследства.

«Мы требуем уничтожение главного притона разврата — монастырей, мужских и женских, тех мест, куда со всех концов государства стекаются бродяги, дармоеды, люди ничего не делающие, которым приятен даровой хлеб, и которые в то же время желают провести всю свою жизнь в пьянстве и разврате. Имущества как их так и всех церквей должны быть отобраны в пользу государства и употреблены на уплату долга внутреннего и внешнего.

«Мы требуем увеличения в больших размерах жалованья войску и уменьшение солдату срока службы. Требуем, чтобы по мере возможности войско распускалось и заменялось национальной гвардиею.

«Мы требуем полной независимости Польши и Литвы, как областей, заявивших свое нежелание оставаться соединенными с Россиею.

«Мы требуем доставление всем областям возможности решить по большинству голосов: желают ли они войдти в состав Федеративной Республики Русской.

«Без сомнения мы знаем, что такое положение нашей программы как федерация областей не может быть приведено в исполнение тотчас же. Мы даже твердо убеждены, что революционная партия, которая станет во главе Правительства, если только движение будет удачно, должна сохранить теперешнюю централизацию, без сомнения политическую, а не административную, что бы при помощи ее ввести другие основания экономического и общественного быта в наивозможно скорейшем времени. Она должна захватить диктатуру в свои руки и не останавливаться ни

перед чем. Выборы в Национальное Собрание должны происходить под влиянием Правительства которое тотчас же и позаботится чтобы в состав его не вошли сторонники современного порядка (если только они останутся живы), к чему приводит невмешательство революционного Правительства в выборы доказывает прошлое французское Собрание 48 года, погубившее республику и приведшее Францию к необходимости выбора Луи Наполеона в императоры.

«Теперь когда мы выяснили свою программу к нам обратятся с вопросом, на кого же мы надеемся, где те элементы, сгруппировать которые мы хотим, кто на нашей стороне?

«Мы надеемся на народ: он будет с нами, в особенности старообрядцы, а ведь их несколько миллионов. Забитый и ограбленный крестьянин станет вместе с нами за свои права, он решит дело, но не ему будет принадлежать инициатива его, а —

войску и нашей молодежи.

«Мы надеемся на войско, надеемся на офицеров, возмущенных деспотизмом двора, той презренной ролью которую они играли и теперь еще играют, убивая своих братьев Поляков и крестьян, повинуясь беспрекословно всем распоряжениям государя. Оно вспомнит Сентябрьский приказ, разберет хорошенько в какое положение поставит себя если станет исполнять его, да кстати вспомнит и свои славные действия в 1825 году, вспомнит бессмертную славу, которой покрыли себя герои мученики.

«Но наша главная надежда на молодежь. Воззванием к ней мы оканчиваем нынешний нумер журнала, потому что она заключает в себе все лучшее России, все живое, все, что станет на стороне движения, все, что готово пожертвовать собой для блага народа.

«Помни же, молодежь, что из тебя должны выйдти вожаки народа, что ты должна стать во главе движения, что на тебя надеется революционная партия! Будь же готова к своей славной деятельности, смотри, чтоб тебя не застали в расплох! Готовься, а для этого сбирайтесь почаще, заводите кружки, образуйте тайные общества, с которыми Центральный Революционный Комитет сам постарается войдти в сообщение, рассуждайте больше о политике, уясняйте себе современное положение общества, а для большего успеха приглашайте к себе на собрания лю-

дей действительно революционных и на которых вы можете вполне положиться.

«Скоро, скоро наступит день, когда мы распустим великое знамя будущего, знамя красное и с громким криком: да здравствует социальная и демократическая республика Русская; двинемся на Зимний дворец истребить живущих там. Может случиться, что все дело кончится одним истреблением императорской фамилии то есть какой-нибудь сотни, другой людей, но может случиться и это последнее вернее, что вся императорская партия, как один человек, встанет за государя, потому что здесь будет итти вопрос о том существовать ей самой или нет.

«В этом последнем случае с полною верою в себя в свои силы, в сочувствие к нам народа, в славное будущее России, которой вышло на долю первой осуществить великое дело социализма, мы издадим один крик: «в топоры», и тогда . . . тогда бей императорскую партию не жалея, как не жалеет она нас теперь, бей на площадях, если эта подлая сволочь осмелится выйдти на них, бей в домах, бей в тесных переулках городов, бей на широких улицах столиц, бей по деревням и селам!

«Помни, что тогда кто будет не с нами, тот будет против кто против тот наш враг: а врагов следует истреблять всеми способами.

«Но не забывай при каждой новой победе во время каждого боя повторять: да здравствует социальная и демократическая республика Русская!

«А если восстание не удастся, если придется нам поплатиться жизнью за дерзкую попытку дать человеку человеческие права, пойдем на эшафот не трепетно, бесстрашно, и кладя голову на плаху или влагая ее в петлю повторим тот же великий крик: *«да здравствует социальная и демократическая республика Русская!»* [1]).

«Молодая Россия» составлена при ближайшем участии уже знакомого читателю П. Г. Заичневского, но тогда власть этого

[1]) До настоящего времени ни эта, ни другие прокламации 1860-х годов не появлялись вполне точно и полно, что необходимо помнить, имея дело с разного рода изданиями.

так и не узнала. Прокламация заслуживает особого внимания, как первое русское печатное заявление не только социалистической, но и коммунистической программы и первое гласное указание на республику. Правда, в эту программу были включены и такие пункты, которые не имели связи с самым социализмом, но во всяком случае до «Молодой России» на русском языке никто ничего подобного не печатал, никто не ставил вопросов так ясно и определенно по тогдашней общей неясности всех этих понятий. Историк развития у нас социалистической мысли должен обратить на «Молодую Россию» особенное внимание. Он же должен будет констатировать, что после появления именно этой лакмусовой бумажки группировка политических кругов в России стала гораздо более ясна и откровенна, — поневоле. «Молодой России» не мог органически одобрить ни один, хотя бы и ловко до того скрывавшийся феодал, аграрий, — ни один буржуа, понимавший, что начертанный прокламацией путь неминуемо должен привести к крушению создавшего его самого экономического и политического строя, — ни один либерал, наконец, — ни один политический радикал, не склонный вступать на путь радикализма экономического. Если сюда прибавить таких людей, как Герцен, не веривший в пришествие социализма кровавым путем восстания снизу, и Бакунина — боявшегося, что небольшая кучка «головорезов - смельчаков» только спугнула врагов, но не сделала им в сущности никакого вреда, — то станет ясно, что на стороне «Молодой России» должны были остаться только те немногие представители угнетенного класса трудящихся, которые или порвали с своим классом (мелкой буржуазией), став носителями новой идеологии, самой по себе тогда еще не очень ясной, — или принадлежали к нему, как представители крестьянства и неразмежеванных с ними экономикой рабочих, еще три десятка лет об'единяемых с мужиком под одним «народническим» знаменем.

При всем этом нельзя также не отметить, что Заичневский и его товарищи, по его собственным словам, не были знакомы с «Коммунистическим Манифестом» Маркса и Энгельса, что, однако, только лишний раз подчеркивает известную долю самостоятельности их мышления.

Пусть при достигнутой нами на сегодня зрелости «Молодая Россия» кажется нам даже «нелепой» (как ее называет тов. М. Н.

Покровский [1])), во всяком случае это—документ громадной исторической важности и притом, несомненно, положительный. «К молодому поколению» была пределом *демократических* реформ, «Молодая Россия» — пределом реформ *социалистических*, как они понимались тогда, да и долго позже, самыми передовыми, крайними элементами нарождавшегося революционного движения.

В числе переданных мне А. А. Слепцовым сделанных им в свое время копий писем (хранившихся до 1923 г. за границей) находится небольшое, но весьма важное письмо П. Г. Заичневского от 1889 г. на имя неизвестного «Андрея Михайловича». Привожу его буквально:

«Дорогой Андрей Михайлович, знаете мою натуру и потому не имеете права не только серчать, но и претензить. Все выбирал верную окказию и только теперь дождался. На ваш ряд вопросов не могу отвечать, как бы требовалось, по пунктам, потому что кое-что забыл, а кое чего как-то и не представляю себе. «Мол. Р.» писали я и мои товарищи по заключению. Припомнить долю участия каждого не берусь — написал аз многогрешный, прочел, выправили общими силами, прогладили и отправили для печатания через часового. Солдатик этот несколько раз потом встречался мне в Орле и только тогда я узнал его имя — Матвей Сидорович Стрелков — вот имя нашего почтальона, вызвавшегося дать ход нашему произведению. Знали ли мы тогда современную европейскую социалистическую литературу? Кое-что читали, кое-что слышали, но ничего основательно усвоено не было. Одно могу сказать определенно: Марксятину еще не читали, а «Манифеста» не видали до 1884 года, когда я узрел его впервые в русском издании.

---

[1]) «Нам теперь крайне трудно об'ективно отнестись к этому произведению, — так оно юно, и в своей юности — не побоимся употребить это слово—нелепо. Теперь не только студенты, а и гимназисты (??) наверно сумели бы написать что-нибудь гораздо более толковое и последовательное. Но теперь столько трафаретов, готовых формул, отштампованных схем — только выбирай» («Рус. история», т. IV, изд. 4-е, 1922 г., стр. 157). Очень жаль, что эту главу, написанную в 1912 г., весьма занятый наш товарищ, виднейший современный русский историк, не имеет возможности переработать так, как того требуют и накопившийся материал и возможность полного его освещения.

«Кто и зачем включил гонение брака и семьи? — вопрос трудный. Сколько ни думаю, сколько ни ворошу в своей памяти, не могу точно ответить, несмотря на ваши усиленные просьбы «напрячь все свои силы». Кажется сейчас, спустя почти тридцать лет, что эта мысль была подана поэтом Г.-Миллером, а нам понравилось, как излишняя порция пороха, которого искали тогда и хотели нагромоздить столько, чтобы всем либеральным и реакционным чертям стало тошно. Хотелось, наконец, сказать ту правду, которую кто боялся, кто не мог, а кто и не хотел выкрикнуть. Фальшивили, враги, ожидали блага сверху; так было противно, так было гнусно, что если бы не мы, так за нами то же самое сделали другие.

«Однако, оказия моя спешит неожиданно, вместо завтра, сегодня, и потому я пока кончаю. Когда будете в К., приезжайте ко мне — лично легче рассказывать, чем класть на бумагу. Ваш *П. З.*».

Заичневский сказал все самое главное, что может интересовать нас в данный момент, когда мы не заняты специальным исследованием о «Молодой России», но считаем нужным сделать экскурс в ее сторону в связи с делом о «Карманной типографии».

Из писем Заичневского к Аргиропуло и брату Николаю (1861 г.) нельзя не остановить внимания читателя на нескольких местах, еще раз, в дополнение ко всем его показаниям, доказывающих его кипучую горячую революционность.

«Здесь проезжал полковой командир Казанского полка, ходившего на усмирение крестьян в Пензу, и рассказывал, что там взбунтовалось тысяч до тридцати, но которые были раз'единены. Над первой толпой, встретившей их и состоявшей, по крайней мере, тысяч из 12, развевалось красное знамя [1]... Вот оно, красное знамя начинает развеваться и у нас и осенять собой толпы собравшихся, хотя и не вооруженных, но всетаки на защиту великого дела социализма — общинного владения землей!!!».

«Мужики окружили меня с радостью и слушали. Я им говорил о том, что земля их, и что если помещики не согласятся, то они могут принудить их к этому силой, что все пойдет хорошо,

---

[1]) Первое хронологическое указание не родное нам знамя в России.

если только они перестанут надеяться на государя, давшего им такую гадкую волю, и тут же рассказал им об Антоне Петрове» [1]).

Прибавьте, что тогда же Заичневский пил с каким-то дворянином «за коммунизм», — и нам станет ясно, что в основе «Молодая Россия» постепенно созревала в голове своего автора. Власть приняла прокламацию просто с ужасом за ближайшее будущее, если бы его не удалось повернуть на путь безудержной реакции [2]).

До такой степени правительство не понимало происхождения напугавшей его прокламации и было бессильно установить его и впоследствии, ясно из доклада комиссии кн. Голицына, представленного ею в 1871 г. и охватывавшего десятилетнюю работу этого летучего застеночного аппарата. Вот что находим там черным по белому: «Этот ярый листок издан Центральным Революционным Комитетом, который заседал в Варшаве и с которым депутаты «Молодой России» заключили конвенцию [3]) . . .

Баллоду было поручено сделать второе издание, но этого он не открыл и, вообще, в деле, которое могло создаться о «Молодой России», не положил того начала, которое пролило бы на нее хоть какой-нибудь свет и привлекло бы в казематы Петропавловки еще группу борцов.

Баллод указал на свои связи с Центральным Комитетом и дал следующее показание о своем с ним знакомстве, происшедшем, по особому приглашению, в Александровском парке.

«В Александровский парк впервые, в первой половине мая, я приглашен краткой анонимной запиской по почте, в которой говорилось, что, придя во-время в указанное место, я очень весело и разнообразно проведу время. На другой день, когда я пришел в парк, то в нескольких шагах от ворот, обращенных к Тучкову мосту, подошли ко мне каких-то два господина и сказали:

---

[1]) «Красный архив» I, 277, 278—279.

[2]) В конце книги привожу статью о ней Ф. М. Достоевского, до сих пор неизвестную, напечатанную в «Сборнике статей, недозволенных цензурою в 1862 г.».

[3]) «Гол. Минувш.» 1915, IV, 197.

«— Здравствуйте, Баллод. Это мы вас приглашали, но не для того, чтоб провести приятно время, а для того, чтоб поговорить о деле.

«Оба они были с бородами, среднего роста. Один из них был в пальто «Гарибальди» серого цвета и в фуражке; ему было около 40 лет; он был довольно плотный. Другому было лет около 27; одет он был в пальто и в шляпе. У первого борода была с проседью, у второго русая.

«— Мы слышали, что вы — честный и энергичный человек: вы можете нам сильно помочь. Скажите, как вы смотрите на революцию?

«Я смешался. В это время подошел к нам один господин высокого роста, в поярковой шляпе и в суконном пальто, поклонился мне, назвал мою фамилию. Разговаривавшие со мной назвали мне его своим. Видя, что я смешался, они мне сказали, что они — члены революционного комитета и что знают меня, как разбрасывателя листков. Я сказал, что лучше желал бы остановить движение революции, потому что считаю революцию сомнительной борьбой.

«— Напрасно, — отвечали они. — Ну, а как вы думаете, будет революция или нет?

«Я сказал, что инстинкт, который у меня очень силен, говорит мне, что революция будет.

«— Ну, а если революция будет, то нельзя же сидеть сложа руки, — нужно что-нибудь делать. Что же вы будете делать?

«— Не знаю, — сказал я. — Что придется.

«— Странно! Вы — человек с таким здоровым мозгом и так рассуждаете. Вступили бы вы в революционный комитет, еслибы вам предложили?

«— Это зависит от программы комитета, — сказал я.

«— Вот мы дадим вам программу и вы скажите нам ваше слово.

«Здесь они повели меня к присевшим в нескольких шагах от нас пяти человекам, отрекомендовали меня, взяли у одного из них 9 экземпляров «Молодой России», подали мне и сказали:

«— Вот наша программа.

«После этого мы отошли от них. Тут они стали говорить о моем характере, называли меня мягким, женственным; гово-

рили, что я нормально энергичен тогда, когда действую один, но что могу измениться очень скоро, попав в общество людей с другими убеждениями, и что один из их общества сказал даже, что меня нужно опасаться, как человека, который в критическую минуту, будучи разжалоблен чем-нибудь, может напакостить. При этом я вспомнил выходки Ноздрева и обратился к ним с вопросом:

«— Что же, вы считаете меня за человека без убеждений?

«— Нисколько, — но вы мягки и чувствительны; увидев несчастного, вы можете забыться. Вспомните 8 марта. Вы тут показали вашу энергию и вашу чувствительность [1].

«После этого мы скоро расстались, и они просили меня прийти через неделю, в это же время, в Александровский парк.

«Когда я пришел во второй раз, то подошли ко мне трое; одного из них я видел первый раз. В это свидание мы занялись разбором «Молодой России». Я возражал; они отстаивали каждую строчку, кроме того места, где говорится о боге. Во время этого разговора подошел один господин высокого роста, худощавый, к которому они обратились со словами:

«— Отчего вы не были у нас третьего дня?

«— Я не был в городе эти дни, — ответил он.

«— Мы были у вас часа два тому назад; ведь, вам ехать.

«— Знаю. Я был сейчас у ...; там узнал, что вы будете сегодня здесь.

«— Я вам привозил деньги; вот они и вот вам инструкция. Если вам этих шести тысяч мало, то вы знаете, куда обратиться?

«— Знаю, — ответил он.

«После этого они сказали ему несколько слов шопотом, и он ушел, говоря, что ему нужно ехать за город сейчас.

«Потом они обратились ко мне с вопросом:

«— Думаете ли вы вступить в революционный комитет?

«Я сказал, что еще не решил, и спросил: «к чему вы меня торопите?»

---

[1]) Потом, на вопрос комиссии, что это значит, Баллод об'яснил, что 8 марта 1862 г., на известной «думской истории» с Н. И. Костомаровым он, Баллод, расстроенный оскорблением, нанесенным аудиторией почтенному профессору, кричал, чтобы его выслушали, и добился своего.

«— Нам бы хотелось вас отправить в ваш край, к литовцам. Там у нас почти никого еще нет. Если вы на это не согласитесь, то, верно, не откажетесь заведывать полицейскою частью У нас этою частью заведует один господин, да ему, вероятно, придется скоро уехать.

«Я спросил, что это за должность.

«— Следить за всяким вновь вступающим членом и вообще за всяким, на которого укажут. Вам это легко: у вас много знакомых, да у вас будут еще и компаньоны.

«Я сказал, что у меня нехватит средств на это. Они сказали, что мы за этим не постоим.

«— Вот отправили господина, которого вы видели, в некоторые юго - западные губернии ревизовать комитеты и, если можно, то организовать, и дали ему шесть тысяч рублей.

«— На это, может быть, и соглашусь, — сказал я.

«Потом они стали говорить о карманной типографии и сказали:

«— Вы, вероятно, в сношении с ней.

«Я сказал, что она моя.

«— Неужели она у вас там, на Васильевском острове?

«Я сказал, что у меня есть другая квартира, о которой никто не знает.

«— Если мы к вам обратимся когда - нибудь, то вы не откажетесь напечатать?

«— Если статья не будет иметь характера «Молодой России», — сказал я, — то, пожалуй.

«Вскоре после этого мы расстались.

«Оба эти свидания продолжались не более полуторых часов. Мы гуляли по аллеям парка, обращенным к Кронверкскому проспекту.

«В начале июня мне было прислано на Выборгскую письмо, которым меня приглашали в Петровский парк. Когда я пришел в парк, то подошли ко мне двое. Это были те, которые говорили со мной в первый раз. Прежде всего они сказали мне:

«— Какова наша полиция?

«Потом спросили, решил ли я. Я сказал, что посмотрю, каков будет следующий нумер «Молодой России», и тогда скажу.

«— Хорошо. Он выйдет через месяц, а может быть, и позже. А теперь мы попросим вас напечатать одну статейку; она самая невинная, чисто в вашем духе.

«— Если так, то хорошо.

«Здесь я сказал, что нельзя ли так сделать, что я сделаю набор, а чтобы они напечатали, так как им легко это, потому что у них есть станок, а у меня не выкуплен еще заказанный мною станок [1]).

«— Нет, — сказали они, — это неудобно. Сколько вам нужно денег на выкуп станка?

«Я сказал, что от 40 — 50 рублей. Один из них тотчас вынул из кармана 50 рублей и дал мне. Потом они повели меня к двум другим, которые были от нас в шагах 50, взяли у них бумагу, карандаш, портфель и рукопись, с которой мне диктовали. Я просил дать мне рукопись, но они сказали, что этого нельзя, и просили меня написать. Когда я написал, то они сказали, чтобы я не изменял здесь ни одного слова и не подписывал бы «Карманная типография» [2]). Я согласился. Потом они спросили, когда я надеюсь напечатать. Я сказал, что, быть может, через неделю. Они попросили меня назначить не только день, но и час. Я назначил воскресенье и 7 часов вечера. Потом они сказали, что дадут мне знать, куда доставить.

«Это было в 12 часу дня.

«Познакомиться с ними я не имел особённого желания, а говорил с ними потому, что рассчитывал отклонить их от этой уродливой программы».

К этому рассказу Баллод прибавил, что из полученных экземпляров «Молодой России» он четыре сжег, один или два дал Н. Жуковскому, а об остальных ничего не помнит.

Надо ли говорить, что весь этот рассказ был придуман Баллодом для того, чтобы усыпить внимание власти к истинным своим сотрудникам и избежать необходимости называть чьи бы

---

[1]) Станок, около 9 пуд. весом, по особому чертежу, был заказан у Сан-Галли, но и ко времени обыска Баллодом еще не был взят. Его взяла уже полиция, по указанию самого Баллода.

[2]) В деле экземпляр этой прокламации написан чернилами. Баллод об'яснил, что, вернувшись домой, он сейчас же переписал ее чернилами. Печатать просили 700 экземпляров.

то ни было имена. Конечно, ничего подобного не происходило уже потому, что весь комитет «Молодой России» сидел в московской тюрьме по делу первой вольной типографии.

II.

Якобы, заказанная Баллоду прокламация, озаглавленная «Предостережение», настолько важна и интересна, что я приведу ее полностью. До сих пор нигде не встречалось указания на то, что «Центральный комитет» сам считал необходимым поправить сделанные в «Молодой России» ошибки и извинить ее увлечения.

Покойный И. И. Гольц-Миллер, один из членов «Центрального революционного комитета» рассказывал своему приятелю С. Н. Южакову, что Чернышевский прислал к ним в Москву видного революционного деятеля той эпохи и одного из основателей общества «Земля и Воля», ныне покойного А. А. Слепцова, уговорить Комитет сгладить как-нибудь крайне неблагоприятное впечатление, произведенное «Молодой Россией». К сожалению, Южаков не помнил, что сказал его приятель о результатах приезда Слепцова, но мне кажется, что, высоко ставя мнение Чернышевского, весьма возможно, что Заичневский, Аргиропуло, Гольц-Миллер и их товарищи признали справедливым совет Николая Гавриловича и написали именно приводимую ниже прокламацию. Тогда остается вопрос, почему же ее печатали не в Москве, а в Петербурге? Но почему не предположить, что это было сделано именно в видах лучшей конспирации и желания сбить с толку полицию.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ.

«Правительство говорит, что революционеры жгут Петербург. Установлен во всей России суд по полевым военным законам против злоумышленников, потому что правительство полагает, будто во всех провинциях революционные комитеты возбуждают к бунту и поджогу. Петербургское общество само дало правительству возможность принять подобные меры: оно дало эту возможность своими сплетнями и читая повторение своих выдумок

в официальных об'явлениях, совершенно убедилось, что сплетни эти справедливы.

«Мы достоверно знаем, что таких революционеров нет и не было. Несколько пылких людей написали и напечатали публикацию, резкие выражения которой послужили предлогом для нелепых обвинений [1]). Довольно прочесть эту публикацию со вниманием, чтобы понять чувства ее издателей: это люди экзальтированные и уже по тому самому неспособные иметь никаких низких намерений. Они сказали несколько опрометчивых слов, но, конечно, не придавали им того смысла, какой хочет в них видеть правительство и находит петербургская публика. Из их слов для нас ясно было их желание сказать только, что правительство ведет народ к восстанию и что они готовы стать в ряды народа при наступлении вооруженной борьбы. Но не отстать от народа, когда он поднимется, вовсе не то, что возбуждать его к резне. Думать, что облегченье судьбы простого народа не будет слишком дорого куплено ценою революции, — вовсе не то, что поджигать жилища и лавки бедняков. Эта разница очень ясна, но теперь публике угодно было заняться сплетнями вместо того, чтобы вникнуть в дело. История свидетельствует, что демократы никогда не действовали ни поджигательствами, ни другими подобными средствами. Она обличила, что если много раз винили их в этом, то обвиненье всегда было клеветою, которую порождало легковерье и которою пользовались деспотические правительства, всегда склонные к реакционным мерам.

«Так и теперь. Но мы хотим указать публике на последствия ее легкомыслия, на злоупотребления, которые делает из него правительство, хотим предостеречь публику, чтобы она не повторяла подобных шалостей, за которые всегда приходилось ей же тяжело рассчитываться.

«Революционная партия никогда не бывает в силах сама по себе совершить государственный переворот. Пример тому — многочисленные попытки парижских республиканцев и коммунистов,

---

[1]) Речь, как уже сказано, идет о «Молодой России». Эта прокламация умышленно, очевидно, никем не подписана, чтобы сделать ее якобы голосом сторонних лиц (все же, революционеров), хотя и хорошо знающих «Центральный комитет».

которые всегда так легко подавлялись несколькими баталионами солдат. Перевороты совершаются народами.

«Еслибы начавшаяся теперь реакция ограничила свое влияние только преследованиями свободномыслящих людей, — из этого не вышло бы ничего важного для праздной толпы так называемого просвещенного общества. Но реакция отразится и на крестьянском вопросе, она окончательно отнимет у правительства всякую заботу об удовлетворении требований крепостных крестьян, а это уже плохая шутка для всего образованного общества. Крестьяне уже начинают готовиться к восстанию и поднимутся, если не получат новой воли. Это уже решено между крестьянами во всех губерниях. Не верьте слухам, отрицающим этот факт, — они лживы. Они распространяются или малодушными людьми, зажмуривающими глаза от опасности, или правителями, обманывающими публику. *Народное* восстание близится. Пусть поймет это публика и пусть помнит. Пусть сообразит теперь, что реакция, порожденная ее же сплетнями, поддерживается ее легковерием, дает восстанию черного народа характер столь свирепый, что никакие усилия революционеров не будут в состоянии ни смягчить переворота, ни положить ему пределов.

«Мы революционеры, т. е. люди, не производящие переворота, а только любящие народ настолько, чтобы не покинуть его, когда он сам без нашего возбужденья ринется в борьбу, мы умоляем публику, чтобы она помогла нам в наших заботах смягчить готовящееся в самом народе восстание. Нам жаль образованных классов; просим их уменьшить грозящую им опасность. Но для этого нужно, чтобы публика сделалась более хладнокровна и менее легкомысленна, чем какою выказала она себя в сплетнях о пожарах. Перестаньте поощрять правительство в его реакционных мерах.

«Обращаемся с просьбою и к правительству. Пусть оно хорошенько поищет нас, пусть поищет получше, чем до сих пор искало. Как нам ни жалко несчастных страдальцев, которых оно мучит и судит за нас, как доходят до нас слухи, но мы все же ни об'явим себя, чтобы снять с этих людей ложное обвинение. И в этом мы всегда и перед всеми останемся правы: мы не посылали этих людей на опасность; мы, наши люди, целы и будут целы. Мы считали бы себя слишком слабыми, если бы могли по-

падаться. Нас узнают только тогда, когда мы явимся сами в рядах народа, открыто добывающего себе человеческие права».

III.

Затем комиссия поинтересовалась второй прокламацией, взятой у Баллода — «Русское правительство под покровительством Шедо - Ферроти».

Псевдоним «Шедо - Ферроти» принадлежал нашему бельгийскому агенту министерства финансов, барону Ф. И. Фирксу, назначенному на эту должность по личному повелению царя, которому он был рекомендован вел. кн. Константином Николаевичем.

Великого князя окружали люди в роде министра народного просвещения А. В. Головнина, которые внушали ему, что для умиротворения всколыхнувшейся России необходимо настоять на проведении и других полу - реформ, могущих удовлетворить не очень взыскательную либеральную часть общества. Предполагалось заручиться, таким образом, поддержкой этих многочисленных тогда элементов и, пользуясь ею, гарантировать страну от революционного взрыва, в котором тогда были уверены не только радикалы. В то время, по мнению многих, революция вот - вот назревала...

Головнин считал, что для осуществления его планов небходимо прежде всего отвлечь русское общество от Герцена, которого он и его присные совершенно не понимали. Считая его за ярого демагога и сторонника всеразрушительной революции, они боялись его дальнейшего влияния... Но борьба возможна была исключительно на почве слова, как единственного оружия самого Герцена... Писатели нашлись, недостатка в них не было... Катков, действовавший, правда, по собственной инициативе, но частью в планах Головнина, Скарятин, Аскоченский, Н. Ф. Павлов и многие другие — всего этого было мало. Купили перо и разбитного Шедо - Ферроти.

В августе 1861 года он разразился первой брошюрой — „Lettre à monsieur Herzen“.

В ней говорится о Герцене вообще, безотносительно к какому-либо его отдельному шагу, делается его общая характеристика и — что особенно важно — оценивается его громадный талант, который автор с удовольствием видел бы приложенным к черновой русской работе. Знающие Герцена и его сочинения, конечно, не подпишутся под письмом Шедо-Ферроти, но оно и не важно со стороны критики его работы. Важно, что Герцену предлагалось помочь правительству. С этой стороны, свободное допущение письма в Россию — факт очень знаменательный. Правда, французский его текст гарантировал не особенно-то широкое распространение брошюры, но, все же, факт остается фактом.

Остановлюсь на брошюре подробнее.

Прежде всего Шедо-Ферроти касается не содержания, а только формы, в которую облекает Герцен свои мысли, — так, по крайней мере, говорит он сам. Автор надеется, что слова его будут приняты без предубеждения, и, может быть, эта строгая критика заставит Герцена задуматься и даже умерить резкий тон своих статей! Ведь, публицист должен иногда жертвовать своим самолюбием, если того требуют принципы, которым он служит.

Шедо-Ферроти с благодарностью вспоминает строгих критиков, которые ему самому посоветовали умерить резкость в выражениях; он никогда не раскаивался в этом, так как умеренный тон дает ему возможность говорить о таких вопросах, как, напр., о военной службе. И эту статью не только читали высшие военные чины, но, быть может, они даже проводили в жизнь некоторые высказанные в ней мысли. Для Герцена же, с его необыкновенным красноречием и талантом, такое влияние будет обеспечено. Получая ценные сведения из провинции, имея ценных сотрудников, — сколько можно было бы сказать о причинах неурядиц в России — но сказать серьезно и без озлобления — и тогда, конечно,все прислушивались бы к этому *авторитетному* голосу. «И вы могли бы быть уверены, что вас выслушают и оценят ваши идеи, раз эти идеи удовлетворяли бы двум условиям: 1) они должны быть применимы при существующем положении вещей и 2) должны быть изложены в выражениях, не задевающих за живое никого из тех, кто может провести в жизнь ваши идеи» (стр. 6).

Резкость же тона Герцена и его личные нападки мешают такому благоприятному ходу вещей. Нападать надо на учреждения, а не на лица.

В России надо изменить все законы, оставив неприкосновенным лишь монархический принцип, — административные формы не соответствуют более нуждам страны, — а для этой цели далеко недостаточно переменить только людей. Пусть друзья Герцена говорят, что его произведения будут по достоинству оценены только последующими поколениями. Если их послушать, можно повторить ошибку средневековых монахов, которые учили народ не сеять, не работать в виду близкой кончины мира. Герцен, ведь, тоже предсказывает конец нынешнего социального строя и наступление новой эры. Неужели же на основании этого предсказания надо всем бросить исполнение своих обязанностей, не указывая притом точно наступление эпохи торжества новых начал?

Шедо-Ферроти приводит пример прежних цивилизаций. Весь социальный строй некогда могущественных государств — Ниневии, Египта и т. п. — основывался на тех же двух принципах, которые положены в основание и теперешних обществ — частной собственности и семейном начале. Прошли века, Ниневия и Вавилон погибли и занесены песком, а эти два принципа все так же сильны. Он не берется решить, какие социальные отношения создадутся в то время, когда на месте Лондона и Парижа будут бродить стада овец. Ведь, не могли же люди времен Сезостриса предвидеть тех форм, в какие вылились общественные отношения в наше время. Шедо-Ферроти утверждает, что Герцен счастливее его: «Если вы не определяете точно форм, то во всяком случае вы провозглашаете основной принцип будущего — социализм». Автор не смеет спорить с Герценом — пусть социализм восторжествует в конце-концов, хоть и трудно сказать, будет ли это благом для человечества... Возвращаясь к предыдущему, он говорит: «если прошло столько веков и два принципа — собственности и семейного начала — все так же, как и раньше, служат основой государственного строя во всех странах, то трудно предположить, чтоб они сразу были отброшены. 50 веков для этого было мало! А ведь пока человечество не освободилось

из-под власти этих двух идей, трудно говорить о проведении в жизнь социализма».

Конечно, легче поручать воспитание детей обществу, спокойнее не чувствовать, что надо работать для блага детей, заманчиво думать неимущим, что собственность будет распределена между всеми трудящимися. Но скоро ли это будет, — Шедо-Ферроти сомневается.

Пусть до водворения социалистического строя пройдет еще 5.000 лет; он считает, что это очень скромная цифра, ведь, прогресс движется весьма медленными шагами. Допустим даже, что теперь развитие общества пойдет усиленным темпом, пусть торжество социализма наступит через 1.000 лет... Но, ведь, до тех пор будут существовать правительства, более или менее сходные с нынешними. Автору кажется, что именно необходимо убедить правительство в преимуществе новых идей, и для этого нужно, чтоб идеи эти были применимы к жизни и осуществимы в данное время и в данной стране.

Ведь, и для народа мало привлекательны, хотя бы и блестящие, перспективы, которые могут осуществиться лишь через 1.000 лет.

В виду этого, неужели же не заслуживают внимания те поколения, которые будут жить до введения нового строя? Неужели больше стоит трудиться для 2861 г., чем для людей 1861 г.? Честь и слава человеку, который поднялся высоко над действительностью и заглянул в будущее. Но зачем же так неумеренно строго относиться к настоящему и так резко о нем отзываться?

Массы не поймут его. По мнению автора, труд Герцена будет гораздо продуктивнее, если он обратится *к людям просвещенным и, наконец, к правительству;* ведь, нельзя отрицать, что в настоящее время оно преисполнено благих намерений. Шедо-Ферроти уверен, что Герцен мог бы быть очень полезен России, — надо только оставить резкий тон, иногда доходящий даже почти до бранных выражений, и говорить о недостатках существующего строя серьезно, пользуясь всем своим обширным материалом. Неужели это был бы бесполезный труд? Ведь, правительство в России теперь не то, что было во времена молодости Герцена; нужно только, конечно, помнить, что дело идет об обыкновенных людях, а не о гигантах, которых Герцен рисует в будущем.

Но, могут сказать, раз Герцен социалист - республиканец, то будет изменой убеждениям, если он вступит в какие бы то ни было отношения с монархическим правительством. Автор старается стать на точку зрения Герцена и рассуждает так: пока не существует в России социалистического строя, желательно, ведь, чтоб законы и порядки были возможно лучшие. Не полезнее ли было бы для русских, еслиб Герцен, вместо разработки кодексов будущего государства, занялся исследованием и обработкой законов для нынешнего правительства, существование которого, ведь, всетаки, нельзя отрицать? Предположим даже, что все его идеи окажутся в данное время слишком передовыми, что их сейчас не примут во внимание, но, ведь, они укажут будущим исследователям путь, по которому нужно итти. А теперь, ведь, никто в России не смотрит на «Колокол» и на отдельные статьи Герцена, как на серьезные сочинения.

Серьезные ученые и люди, интересующиеся благом родины, их не читают более. Учащаяся молодежь читала «Колокол», пока он был запрещенной вещью. Теперь, когда в России вообще стало свободнее жить, сочинения Герцена потеряли прелесть тайны, и их стали читать не так охотно. Остаются еще читатели — чиновники. Они с большим интересом ищут сообщения о каком - либо скандале в чиновничьей сфере. Никто не интересуется больше взглядами Герцена на общество и политический строй. «Вас больше не читают», говорит Шедо - Ферроти. Ищут острого словечка, восхищаются смелостью человека, бранящего тех, перед кем все пресмыкаются. Но, ведь, такие читатели не посмеют провести в жизнь ни одной из идей Герцена. «Одни признают эти идеи бесплодными; другие отстраняются от них, вследствие грубой формы, в которой они выражены; третьи считают их неосуществимыми мечтаньями; на остальных читателей вы не можете расчитывать, как на борцов». А, между тем, как ценны были бы статьи Герцена, еслиб он захотел применить свои силы к выяснению действительных нужд родины!

Подписывается автор псевдонимом и об'ясняет, что он выставляет его на всех своих брошюрах, что позволяет ему свободно говорить многое, не стесняясь родственными и другими связями и знакомствами.

Такова в кратких чертах первая брошюра...

Скоро, в декабре того же 1861 года, появилась и вторая — „Lettre de m-r Herzen à l'ambassadeur de Russie à Londres avec une réplique et quelque observations de D. K. Schédo-Ferroti“ («Письмо А. И. Герцена к русскому послу в Лондоне с ответом и некоторыми примечаниями»), напечатанная по поводу классического письма Герцена к русскому посланнику в Лондоне, бар. Бруннову — «Бруты и Кассии III Отделения», помещенного в «Колоколе [1]), и, кроме того, разосланного на французском языке в массе экземпляров.

Сначала Шедо-Ферроти написал небольшое письмо, полное «обличений» Герцена в хвастовстве и нескромности, и послал его в «Колокол». Искандер отвечал там, что не имеет никакого желания печатать присланное, и тут же подсказал, что письмо лучше выпустить отдельно. Тогда Шедо-Ферроти, присоединив к первоначальному тексту очень длинное возражение на отказ Герцена и самое письмо последнего Бруннову, издал все это брошюрой одновременно на двух языках (французском и русском), что, несомненно, делало ее еще более распространенной.

Я не могу познакомить здесь читателей со всей брошюрой, а потому отмечу лишь, что среди массы неблагоприятных отзывов и заключений о себе и «Колоколе» Герцен встретил там вещи, всетаки не позволяющие ставить Шедо-Ферроти за одну скобку с Катковым.

В ней нет уже прежнего сплошного признания важности и талантливости Герцена, зато есть много полемических красот и отзвуков личной обиды.

И, все-таки, снова указывалось на ум Герцена, на его важное значение, на его глубокие убеждения, искренность и бесстрашие, которых нельзя не уважать, на его прекрасные прирожденные качества, на его большой талант; говорилось, что «Колокол» — «журнал не маловажный», что ревностнейшие его читатели «чиновники наши» и т. п. Конечно, все это тонуло в общей массе брошюры, но, во всяком случае, было напечатано черным по белому, так же, как и самое письмо Герцена бар. Бруннову, как и возражения Шедо-Ферроти на обвинение его Герценом в преднамеренной защите правительства и в консерватизме. «По естествен-

[1]) 1861 г., № 109, 15 октября.

ной склонности, нам — писал автор брошюры, — приятнее хвалить ближнего, нежели бранить его, а потому мы бы чрезвычайно рады были, еслибы всегда могли делаться защитником правительства, но, к сожалению, это не всегда возможно. Когда мы видим, что правила, которыми руководствуется правительство, делаются причиною развращения служащего класса; что непомерная централизация останавливает ход администрации и парализует действие правосудия — тогда мы не только не защищаем правительства, но сами становимся в ряды обвинителей, стараясь обратить внимание публики как на самые ошибки, так и на средства к исправлению. Когда общественное мнение восстает против господствующего еще у нас предрассудка, что генеральские или адмиральские эполеты — вернейший признак административных способностей; против отсутствия общей системы в образе управления, против самоволия цензуры, против гонения раскольников и т. п., — тогда мы также не можем явиться заступниками правительства»[1].

Казалось бы, все это не могло расположить Головнина и Валуева к пропуску брошюр Шедо-Ферроти в Россию для свободной у нас продажи. Но они, конечно, понимали, что там были вещи и совсем другого порядка...

В течение 1862 г. вторая брошюра была издана русским правительством в четырех изданиях. Очевидно, этим самым из «письма» как бы вычеркивалась следующая фраза Шедо-Ферроти: «Одно упоминание фамилии «Герцен» достаточно для того, чтобы цензура вычеркнула целую статью, даже написанную не в тоне и не в духе г-на Герцена». И, действительно, лишь только брошюры перешли русскую границу — а это было, кажется, в марте 1862 г. — как тяготевшее четырнадцать лет молчание над именем Искандера-Герцена было прервано...

В «Современной Летописи Русского Вестника», постоянный ее сотрудник Пановский, между прочим, писал:

«Что же такое читает теперь Москва? Еще не так давно, я отвечал бы: Не спрашивайте так громко... Москва читает теперь то, что читают украдкой, — это не для всех... Но это недавнее время прошло, и теперь я отвечу во всеуслышание: Москва читает

[1]) Стр. 30—31.



Д. И. ПИСАРЕВ.

письмо г. Герцена, известного русского refugié, к русскому посланнику в Лондоне и комментарии на это письмо г. Шедо-Ферроти. Эта книжка раскупается в Москве тысячами экземпляров в неделю.

«Брошюрка «Ферроти», как ее называют в Москве, представляет литературную расправу по личному вопросу, который не мог бы возбудить такого всеобщего любопытства даже в нашей публике, так падкой до всяких скандалов, еслибы не особенные обстоятельства. Но независимо от своего содержания, книжка эта имеет большой современный интерес: она служит свидетельством, что наше правительство убеждается в пользе широкой гласности, и общество видит в этом явлении задаток так жадно ожидаемой свободы печатного слова.

«Брошюра Ферроти — у нас небывалое явление; мы не видим у ней, на обороте первой странички (не даром называемой в типографском argot: Schmuz-Titel) обычной надписи, встречаемой во всех читаемых нами русских книгах; не обозначено даже, сколько экземпляров этого сочинения следует доставить в публичную библиотеку... Все это для нас новость, а Москва до новостей охотница. Вот почему она так раскупает, читает брошюру г. Скедо-Ферроти, толкует о ней и спорит» [1]) . . .

Таким путем надеялись ослабить влияние весьма авторитетного Искандера ! . . Как только в марте 1862 г. брошюры Шедо-Ферроти появились в витринах книжных магазинов, дворянская часть русского общества принялась их читать . . . А когда реакционное начало стало крепнуть, то апологет III Отделения имел уже довольно заметный успех . . . Разумеется, лучшие люди не могли не призирать такую гнусную «борьбу», и первым против нее публично высказался студент Павел Сергеевич Мошкалов, написавший прокламацию:

РУССКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОД ПОКРОВИТЕЛЬСТВОМ ШЕДО-ФЕРРОТИ [2]).

«В действиях нашего правительства, подавляющего всякое проявление жизни, замечается новая черта — трусливая подлость

---

[1]) «Современ. Летопись» 1862 г., № 16. Курсив подлинника.

[2]) От заглавия была сделана следующая выноска: «Интересно бы знать, во сколько обходится это покровительство?».

иезуита. Не переставая ссылать, засекать, пытать, расстреливать, оно употребляет скрытные, подлые, но вполне достойные его меры там, где нельзя ничего сделать грубым насилием. На днях оно пустило в продажу брошюру, написанную каким-то Шедо-Ферроти и направленную против Герцена (Искандера). Первоначально она была напечатана в количестве 400 экземпляров, в виде пробы; в скором же времени выйдет еще в значительном количестве. Брошюра эта написана чрезвычайно хитро, и на людей, мало читавших издания Герцена, может произвести действие, ожидаемое Правительством. Автор ее, стараясь подорвать доверие общества к Герцену, выставляет его человеком, стремящимся захватить власть в свои руки при будущем перевороте в России; в виде подлой насмешки ставит его на одну доску с коронованными особами и упрекает его в перемене своих убеждений.

«Оставляя подобное мнение о Герцене при Шедо-Ферроти и нашем Правительстве, мы спросим вас, гнилые столбы деспотизма: неужели вы думаете подобными мерами ослабить огромное влияние, производимое изданиями Герцена на общество? Нет, вам остается одно — убить Герцена. Не предавайте смеху подобную гнусную мысль! — она ваша. И, несмотря на ловкую диалектику Шедо-Ферроти, ему не вполне удалось замаскировать и предать посмеянию подобную мысль.

«Трудности, которые пришлось нам одолевать прежде, чем наш голос мог раздаться в печати, были так велики, и силы наши пока еще так мало организованы, что мы теперь не можем входить в подробный разбор этой брошюры, но, вероятно, Герцен не преминет дать пощечину в своем «Колоколе» как Шедо-Ферроти, так и нашему Правительству.

«Печатано в Петербурге, в карманной типографии».

В мае она уже была распространена в разных углах России, не исключая окраин.

Баллод сознался, что напечатал эту прокламацию, дав ей заглавие и снабдив ее примечанием, сначала, в марте, в 125 — 150 экземплярах, а затем, по выходе второго издания брошюры, уже после Пасхи, в 300 — 400 экз. Набор сделал сам Мошкалов, учивший этому ремеслу Баллода; он же и распространил большую часть экземпляров, оставив немного на долю Баллода.

IV.

На вопрос комиссии, кто автор взятой у него рукописной статьи, тоже направленной против брошюры Шедо-Ферроти, Баллод ответил:

«Я не хотел сказать фимилии писавшего статью против Шедо-Ферроти, потому что знаю автора этой статьи очень хорошо, как не-революционера, но которого будут, как я думал, судить, как революционера, за высказанное им в конце статьи мнение в пользу революции. Причины, по которым он впал в крайность, два несчастия, постигшие его одно за другим. Коренева, которую он сильно любил и которую давно считал своей невестой, вышла в апреле месяце замуж за другого. Второе несчастие — закрытие журнала «Русское Слово», от которого он только и получал средства к жизни. Содержание статьи против Шедо-Ферроти я мало помню и потому не могу сказать, каких исправлений она требует. Писал эту статью Дмитрий Иванович Писарев, кандидат петербургского университета. Однажды пришел ко мне Писарев. Это было в половине мая. Мы говорили о брошюре Шедо-Ферроти. Писарев сказал мне, что он писал против него, но что цензура не пропустила [1]); я просил у Писарева эту статью, но он сказал, что не стоит ее читать; я сказал: «так ты напиши и такую, чтоб стоило прочитать». — Зачем тебе?» — спросил Писарев. Я сказал, что, может быть, мне удастся устроить напечатание этой статьи. «Изволь», — сказал Писарев. В начале июня я зашел к Писареву, и он дал мне 1½ листа этой статьи. За день до моего ареста Писарев принес мне вторую половину этой статьи».

Статья Писарева, приложенная к делу в подлинном автографе автора, до выхода настоящей книги в первом издании была никому неизвестна и потому приводится ниже с полной точностью.

«Глупая книжонка Шедо-Ферроти само по себе вовсе не заслуживает внимания, но из-за Шедо-Ферроти видна та рука,

---

1) «В Сборнике статей, недозволенных цензурою в 1862 году» указываемой статьи Писарева нет; вообще, ни одна статья против Шедо-Ферроти не включена Головниным в это издание.

которая щедрою платою поддерживает в нем и патриотический жар, и литературный талант. Брошюра Шедо-Ферроти любопытна, как маневр нашего правительства. Конечно, члены нашего правительства не умнее самого Шедо-Ферроти, но что делать, мы покуда от них зависим, мы с ними боремся, стало быть, надо же взглянуть в глаза нашим естественным притеснителям и врагам.

«Обскурантов теперь, как известно, не существует. Нет того квартального надзирателя, нет того цензора, нет того академика, нет даже того великого князя, который не считал бы себя умеренным либералом и сторонником мирного прогресса. Считая себя либералом, как-то неловко сажать людей под арест или высылать их в дальние губернии за печатно выраженное мнение или за произнесенное слово. Правительство наше, которое все наголо состоит из либералов, начинает это чувствовать. Александру Николаевичу совестно ссылать Михайлова и Павлова; сослать-то он их сослал, но, боже мой, что это стоило чувствительному сердцу! Студенту Лебедеву проломили голову, но правительству тут же сделалось так прискорбно, что оно напечатало в газетах об'яснение: так и так, дескать, это случилось по нечаянности, ножнами жандармской сабли [1]). Словом, наше либеральное правительство уважает общественное мнение и для своих мирно-прогрессивных целей пускает в ход благородные средства, как-то печатную гласность. Валуев и Никитенко сооружают газету с либеральным направлением [2]), а при этом и продолжают, все-таки, преследовать честную журналистику доносами и цензурными тисками [3]). Публицист III Отделения, барон Фиркс, Шедо-Ферроти тож, по поручению русского правительства, пишет и печатает в Берлине брошюры без цензуры; великодушное правительство смотрит сквозь пальцы на ввоз этого заказанного, но официально запрещенного товара; его продают открыто в книжных лавках; не давая своего официаль-

---

[1]) Во время студенческой демонстрации осенью 1861 г. в Петербурге.

[2]) Валуев с 1 января 1862 г. открыл газету министерства внутренних дел «Северную Почту», редактором которой первое время был А. В. Никитенко, а потом писатель И. А. Гончаров.

[3]) Намек на старания Никитенка в главном управлении цензуры и на неистовства Валуева.

ного разрешения, правительство упрочивает за книжкою заманчивость запретного плода; допуская и поощряя из-под руки продажу книжки, правительство обнаруживает свое великодушие. О, как все это тонко, остроумно, и политично. А, между тем, журналам не позволялось разбирать книжонку; Шедо-Ферроти, как в прошлую осень Борис Чичерин, об'являются личностями священными и неприкосновенными [1]). Горбатого одна могила исправит; наши умеренные либералы ни при каких условиях не сумеют быть честными людьми; наше правительство никогда не отучится от николаевских замашек. У него есть особенный талант оподлять всякую идею, как бы ни была эта идея сама по себе благородна и чиста. Например, все порядочные люди имеют привычку на печатное обвинение отвечать также печатно и защищаться, таким образом, тем же оружием, каким вооружен противник. Наше правительство захотело доказать, что оно тоже порядочный человек. Находя, что Герцен несправедливо обвинил его, наше правительство высылает своего рыцаря. Кажется, очень хорошо и благородно. Но посмотрите поближе. Произведение Шедо-Ферроти впущено в Россию, а сочинения Герцена остаются запрещенными. Публика видит, что Герцена отделывают, а того она не видит, за что его отделывают. Конечно, и «Полярная Звезда», и «Колокол», и «Голоса из России», и грозное «Под Суд!» известны нашей публике, но, ведь, все эти вещи провозятся и читаются вопреки воле правительства; стало быть, если оценивать только намерения правительства, то надо будет убедиться в том, что оно хочет чернить Герцена, не давая ему возможности оправдываться и обвинять, в свою очередь. Чернить человека, которого сочинения строжайше запрещены! Подло, глупо и бесполезно! Заказывая своему наемному памфлетисту брошюру о Герцене, правительство, очевидно, хочет продиктовать обществу мнения на будущее время. Это видно по тому, что мнения, противоположные мысленкам Шедо-Ферроти, не допускаются в печати. Правительство сражается двумя оружиями: печатною пропагандою и грубым насилием,

[1]) 1 января 1862 г. министром народного просвещения Головниным было предписано по цензуре не допускать никаких резкостей и оскорблений по адресу публициста «Нашего Времени» Б. Н. Чичерина.

а у общества отнимается и то единственное средство, которым оно могло и хотело бы воспользоваться... Обществу остается или либеральничать с разрешения цензуры, или итти путем тайной пропаганды, тем путем, который повел на каторгу Михайлова и Обручева. Хорошо, мы и на это согласны; это все отзовется в день суда, того суда, который, вероятно, случится гораздо пораньше второго пришествия Христова.

«Из чтения брошюры Шедо - Ферроти мы вынесли самое отрадное впечатление. Нас порадовало то, что при всей своей щедрости правительство наше принуждено пробавляться такими плоскими посредственностями. Приятно видеть, что правительство не умеет выбирать себе умных палачей, сыщиков, доносчиков и клеветников; еще приятнее думать, что правительству не из чего выбирать, потому что в рядах его приверженцев остались только подонки общества, то, что пошло и подло, то, что неспособно по человечески мыслить и чувствовать.

«Брошюра Шедо - Ферроти имеет две цели: 1) доказать, что петербургское правительство не имеет ни надобности, ни желания убить Герцена, 2) осмеять и обругать при сем удобном случае Герцена, как пустого самохвала и как загордившегося выскочку.

«Чтобы доказать первое положение, Шедо - Ферроти утверждает, что Герцен вовсе не опасен для русского правительства и что, следовательно, даже III Отделение не решится убить его. Процесс доказательств идет так: убивают только людей, от смерти которых может перемениться весь существующий порядок вещей в одном или в нескольких государствах; если Герцен, получая подметные письма о намерениях русского правительства, верит этим письмам, тогда он считает себя особою европейской важности и, следовательно, обнаруживает глупое тщеславие; если же он, не веря этим письмам, поднимает гвалт, тогда он пустой и вздорный крикун. Весь этот процесс доказательств рассыпается, как карточный домик. Во - первых, правительства ежегодно убивают несколько таких людей, которые могли бы оставаться в живых, вовсе не нарушая существующего порядка. Дезертир, которого запарывают шпицрутенами, вовсе не особа европейской важности. Бакунин, которого, захватили обманом,

Михайлов, Обручев, поручик Александров [1]) вовсе не особы европейской важности, а между тем правительство заживо хоронит их в рудниках и в крепостях. Правительство вовсе не так дорожит жизнью отдельного человека, чтоб казнить и миловать со строгим разбором. Ведь, турецкий султан и персидский шах вешают зря, как вздумается, а, кажется, в наше время только учебники географии проводят различие между деспотическим правлением и правлением монархическим, неограниченным. На основании какого закона повешено пять декабристов? А если правительство казнит по своему произволу, то отчего же оно не может, по тому же произволу, подослать убийц? Где разница между казнью без суда и убийством из-за угла? В наше время каждый неограниченный монарх поставлен в такое положение, что он может держаться только непрерывным рядом преступлений. Чтобы подданные его не знали о своих естественных правах, надо держать их в невежестве — вот вам преступление против человеческой мысли; чтобы случайно просветившиеся подданные не нарушали субординации — надо действовать насилием — вот еще преступление; чтоб иметь в руках орудие власти — войско, надо систематически уродовать и забивать несколько тысяч молодых, сильных, способных людей — опять преступление. Идя по этой дороге преступлений, нельзя отступать от убийства. Посмотрите на Александра II; в его личном характере нет ни подлости, ни злости, а сколько подлостей и злодеяний лежит уже на его совести. Кровь поляков, кровь мученика Антона Петрова, загубленная жизнь Михайлова, Обручева и других, нелепое решение крестьянского вопроса, история со студентами — на что ни погляди, везде или грубое преступление или жалкая трусость. Слабые люди, поставленные высоко, легко делаются злодеями. Преступление, на которое никогда не решился бы Александр II, как частный человек, будет непременно совершено им, как самодержцем всея России. Тут место портит человека, а не человек место. Если бы наше правительство потихоньку отправило Герцена на тот свет, то, вероятно, в этом не нашли бы ничего удивительного те люди, которые знают, что делалось в Варшаве и Казанской губернии. Но допустим даже,

---

[1]) Ошибка — капитан, см. дальше.

что наше правительство не намеревалось убить Герцена; из этого еще вовсе не следует, чтобы III Отделение не могло написать к нему несколько писем, наполненных глупыми угрозами и площадною бранью; судя по себе, Бруты и Кассии нашей тайной полиции могли надеяться, что Герцена можно запугать; чтобы разом покончить все эти нелепые проделки, Герцен написал и напечатал письмо к представителю русского правительства. Этим письмом он заявил публично, что если бы за угрозами последовали действия, то вся тяжесть подозрения упала бы на Александра II. Агенты, подсылавшие к Герцену письма, должны были увидеть, что Герцен их угроз не боится. Следовательно, им осталось или действовать, или замолчать. Действовать они не решились — духу не хватило; замолчать тоже не хотелось; ведь они думают, что прав тот, кто сказал последнее слово; вот они и выдумали пустить против Герцена книжонку Шедо-Феротти; родственное сходство между Шедо-Феротти и сочинителями подметных писем не подлежит сомнению; не даром же Шедо-Феррոти на двух языках отстаивает перед Россиею и перед Европою нравственную чистоту III Отделения. Свой своему поневоле друг.

«Шедо-Ферроти плохо защитил правительство; он ничем не доказал, что оно не могло иметь намерения извести Герцена или, по крайней мере, запугать его угрозами. Усилия его оклеветать и оплевать Герцена еще более неудачны. Шедо-Ферроти, этот умственный пигмей, этот продажный памфлетист, силится доказать, что Герцен сам деспот, что он равняет себя с коронованными особами, что он только из личного властолюбия враждует с теперешним русским правительством. Доказательства очень забавны. Герцен деспот потому, что не согласился напечатать в «Колоколе» ответ Шедо-Ферроти на письмо Герцена к русскому послу в Лондоне. Да какой же порядочный редактор журнала пустит к себе Шедо-Ферроти с его остроумием, с его казенным либерализмом и с его пристрастием к III Отделению? Герцен не думает запрещать писать кому бы то ни было, но и не думает также открывать в «Колоколе» богадельню для нравственых уродов и умственных паралитиков, подобных Шедо-Ферроти. Панегерист III Отделения требует, чтобы его статьям было отведено место в «Колоколе»; в случае отказа он грозит

Герцену, что будет издавать свои произведения отдельно с надписью: «запрещено цензурою «Колокола». Вот испугал - то! Да все статьи Булгарина, Аскоченского, Рафаила Зотова, Скарятина, Модеста Корфа и многих других достойных представителей русской вицмундирной мысли запрещены цензурою здравого смысла. Приступая к изданию своего журнала, Герцен вовсе не хотел сделать из него клоаку всяких нечистот и нелепостей. Эпиграфом к «Полярной Звезде» он взял стих Пушкина: «Да здравствует разум». Этот эпиграф прямо и решительно отвергает всякое ханжество, всякое раболепство мысли, всякое преклонение перед грубым насилием и перед нелепым фактом. «Да здравствует разум» и да падут во имя разума дряхлый деспотизм, дряхлая религия, дряхлые стропила современной официальной нравственности! Всякие попытки мирить разум с нелепостью, всякое требование уступок со стороны нравственности противоречит основной идее деятельности Герцена. Еслибы даже Шедо-Ферроти был просто честный простачек, верующий в возможность помирить стремления к лучшему с существованием нашего средневекового правительства, то и тогда Герцен, как человек, искренно и честно служащий своей идее, не мог бы поместить в «Колоколе» его старушечью болтовню. Но теперь, когда все знают, что он наемный агент III Отделения, теперь его претензии печатать свои литературные доносы в «Колоколе» кажутся нам в то же время смешными и возмутительными по своей беспримерной наглости.

«Шедо - Ферроти упрекает Герцена в том, что тот, будто бы, сравнивает себя с коронованными особами. В этом упреке выражается как нравственная низость, так и умственная малость Шедо - Ферроти. Какая же разница между простым человеком и помазанником божиим? И какая же охота честному деятелю мысли сравнивать себя с царственными лежебоками, которые, пользуясь доверчивостью простого народа, поедают вместе со своими придворными деньги, благосостояние и рабочие силы этого народа? Если бы кто - нибудь вздумал провести параллель между Александром Ивановичем Герценом и Александром Николаевичем Романовым, то, вероятно, первый серьезно обиделся бы такому сравнению. Но посмотрим, на чем же Шедо - Ферроти основывает свое обвинение? «Вы убеждены, — пишет он Герцену, —

что вы не только либерал, но и социалист - республиканец, враг монархическому началу, а поминутно у вас выскакивают выражения, обнаруживающие несчастное расположение сравнивать себя с царствующими особами. В письме к барону Бруннову, сказав, что вы не допускаете мысли, чтобы император Александр II вооружил против вас спадасинов, вы присовокупляете: «я бы не сделал этого ни в каком случае». В том же письме, говоря об убийцах, разосланных за моря и горы den Dolch in Gewande, и цитируя стихи Шиллера, вы опять сравниваете себя с царствующим лицом, с Дионисием Сиракузским. Наконец, самое оглавление (заглавие) статей «Колокола», извещающих всю Европу о грозящей вам опасности: «Бруты и Кассии III Отделения» содержит сравнение с одним из колоссальнейших исторических лиц. Брут и Кассий были убийцами Юлия Кесаря».

«Шедо - Ферроти, как умственный пигмей и как сыщик III Отделения, вполне выражается в этой тираде. Он не может, не умеет опровергать Герцена в его идеях; поэтому он придирается к случайным выражениям и выводит из них невероятные по своей нелепости заключения; эта придирчивость к словам составляет постоянное свойство мелких умов; кроме того, она замечается особенно часто в полицейских чиновниках, допрашивающих подозрительные личности и желающих из усердия к начальству сбить допрашиваемую особу с толку и запутать ее в мелких недоговорках и противоречиях. Вступая в полемику с Герценом, Шедо - Ферроти не мог и не умел отстать от своих полицейских замашек. Адвокат III Отделения остался верен как интересам, так и преданиям своего клиента.

«Вся остальная часть брошюры состоит из голословных сравнений между Шедо - Ферроти и Герценом. Шедо - Ферроти считает себя истинным либералом, разумным прогрессистом, а Герцена признает вредным демагогом, сбивающим с толку русское юношество и желающим возбудить в России восстание для того, чтобы возвратиться самому в Россию и сделаться диктатором. Шедо - Ферроти, как адвокат III Отделения, старается уверить почтенную публику, что наше правительство исполнено благими намерениями, и что от него должны исходить для великой, малой и белой России всевозможные блага, материальные и духовные, вещественные и невещественные. Шедо - Ферроти, конечно, не

предвидит возможности переворота или, по крайней мере, старается уверить всех, что, 1-х, такой переворот невозможен и что, 2-х, он во всяком случае повергнет Россию в бездну несчастия. Одной этой мысли Шедо-Ферроти достаточно, чтобы внушить всем порядочным людям отвращение и презрение к его личности и деятельности. Низвержение благополучно царствующей династии Романовых и изменение политического и общественного строя составляют единственную цель и надежду всех честных граждан. Чтобы при теперешнем положении дел не желать революции, надо быть или совершенно ограниченным, или совершенно подкупленным в пользу царствующего зла.

«Посмотрите, русские люди, что делается вокруг нас, и подумайте, можем ли мы дольше терпеть насилие, прикрывающееся устарелою формою божественного права. Посмотрите, где наша литература, где народное образование, где все добрые начинания общества и молодежи. Придравшись к двум-трем случайным пожарам, правительство все проглотило; оно будет глотать все — деньги, идеи, людей, будет глотать до тех пор, пока масса проглоченного не разорвет это безобразное чудовище. Воскресные школы закрыты, народные читальни закрыты, два журнала закрыты, тюрьмы набиты честными юношами, любящими народ и идею, Петербург поставлен на военное положение, правительство намерено действовать с нами, как с непримиримыми врагами. Оно не ошибается: примирения нет. На стороне правительства стоят только негодяи, подкупленные теми деньгами, которые обманом и насилием выжимаются из бедного народа. На стороне народа стоит все, что молодо и свежо, все, что способно мыслить и действовать.

«Династия Романовых и петербургская бюрократия должны погибнуть. Их не спасут ни министры, подобные Валуеву, ни литераторы, подобные Шедо-Ферроти.

«То, что мертво и гнило, должно само собою свалиться в могилу. Нам остается только дать им последний толчок и забросать грязью их смердящие трупы» .

Вот та статья, которая повлекла за собой Писарева в каземат Алексеевского равелина [1]).

В этом вряд ли ни единственном свободно написанном своем сочинении Писарев вырисовывается именно со стороны того плохо очередного буржуазного демократизма, который был платформой для довольно многочисленных групп оппозиционно настроенной демократической части, так называемого, общества. Он не разделяет полностью ни убеждений Шелгунова и Михайлова, ни утопического социализма Чернышевского; он очень близок к Герцену, с которым роднит его и общее им дворянское происхождение. Не ищите здесь ясной программы, не ищите здесь сколько нибудь научно продуманной схемы нового политического и социального строя страны. Революционный демократизм — вот все, что содержит статья Писарева. Таким мы его себе и рисуем по всему его литературному облику.

V.

Но это еще не все, найденное у Баллода.

Отобрано было еще несколько прокламаций. Они очень интересны. Первая:

ОФИЦЕРЫ!

«Настало время каждому честному офицеру спросить у своей совести, чего ему держаться в виду совершающихся событий.

«Жизнь России невозможна без коренных реформ. Правительство само это сознало; оно даже приступило к ним и — струсило. Эгоистическое, нелюбящее России, оно втягивает государство с пути реформ в путь революционный. Оно само нарушает мирный ход реформ баззаконными поступками, беспрерывно являясь вооруженным бунтовщиком против мирной России: то стреляет без нужды по народу, то сечет его и ссылает в каторгу, то наполняет казематы студентами, то хватает мирных посред-

---

[1]) Из всех, писавших до выхода первого издания настоящей книги, только Е. А. Соловьев упоминает вполне верно о причине ареста Писарева (см. Павленковское издание биографии Писарева, изд. 3-е).

ников [1]). Реформа, сопровождающаяся заточениями, ссылками, каторгой и обагряемая кровью, есть уже настоящая революция. Правительство первое стало прибегать к оружию, оно само начало революцию и разовьет ее дальнейшими своими действиями. Отечеству нашему предстоит пора великих бедствий. Столкновение между правительством, упорствующим остановить жизнь России, и силою этою жизни — неизбежно. Из каких элементов составятся противные стороны? Положительно можно сказать, что партии сложатся не по сословиям, а по убеждениям. В этом столкновении сословия перемешаются. И потому ваши задачи — не искать, к какому пристать сословию, а к каким пристать убеждениям. И обдумать это, проверить свои и чужие убеждения надобно теперь же. В минуту столкновения рассуждать будет поздно — можно наделать горьких ошибок, в которых вечно придется раскаиваться.

«На каждом человеке лежит прежде всего служба истине и отечеству. Каждый русский знает, что для блага его родины *необходимо:* освободить крестьян с землей, выдав помещикам вознаграждение; освободить народ от чиновников, от плетей и розог; дать всем сословиям одинаковые права на развитие своего благосостояния; дать обществу свободу самому распоряжаться своими делами; установить законы и налоги через своих выборных; не хватать никого без суда по-разбойничьи; устроить суд гласный и дать каждому право свободно высказывать свои мысли. Само правительство не может отвергнуть честности этих убеждений. А, между тем, оно поведет вас против них. Вас, русских, заставляют убивать русских, давить жизнь России. Дает вам роль бесчестную для того только, чтобы безотчетно распоряжаться достоянием России, чтобы вашими штыками поддерживать насилие, произвол и разврат, для того, наконец, чтобы вас самих держать в унижении.

«И чем оно отблагодарит вас за позорную роль палачей? Новою благодарностью в царском завещании, подобно Незабвенному, который в припадке самодержавного безумия заклеймил

---

[1]) Речь идет об аресте 13 мировых посредников Тверской губ; подробности см. на стр. 72 т. XV «Полного собрания сочинений» Герцена под моей редакцией.

свои войска перед лицом России. Но кто же из вас не краснел от такой благодарности?! Офицеры, подумайте о времени, которое мы переживаем, подумайте о *бедном, угнетенном* народе и нашей *жалкой родине*».

«В первый день Пасхи воззвание это поразило долгоруко-долгоухое шпионство в самую шишку честолюбия: в дворцовой церкви, перед самым носом государя оно было роздано в большом количестве.

Петербург, карманная типография.

ми еб нтисоосонзссвзасв — лбоа Внподатож овтвнтерие» [1]).

На вопрос комиссии об этой прокламации Баллод сообщил, что ему принадлежит лишь второе ее издание, которое он сделал, за неимением подлинника, по «Колоколу», полученному из-за границы через Мошкалова, во второй половине мая, всего в 70 или 80 экземплярах.

При этом он указал на студента Алексея Яковлева, как на просившего его посодействовать напечатанию прокламации. Не показав ему виду, что он имеет свою типографию, Баллод исполнил его просьбу. С Яковлевым же он иногда менялся изданиями Герцена. Ему же он дал для распространения 20 экз. прокламации о Шедо-Ферроти и 40 — о капитане Александрове.

Относительно этой прокламации Баллод показал, что тоже сделал лишь второе ее издание, перепечатав с первого, выпущенного «Великоруссом». Она была напечатана в 400 — 500 эк. При этом он заметил: «В первом экземпляре этого вопроса я написал, что статью о капитане Александрове напечатал мне наборщик Горбановский; я солгал там — мне было совестно смотреть на написанное мною, и я поспешил уничтожить тот экземпляр вопроса».

Привожу текст второй прокламации:

---

[1]) Все после черты прибавлено при печатании у Баллода; первоначальный текст кончается на черте.

ПОДВИГ

— *Варшавской телеграфной станции* —

Капитана Александрова.

«Узнав, что Варшавяне готовятся совершить поминки по убитым в прошлом году на улицах Варшавы, Лидерс испрашивал приказания у царя: как поступить против народных сборищ? — Добрый царь отвечал: «*разгонять холодным оружием, а если нужно, то употребил картечь*»!! — Получив эту *кровожадную* депешу, капитан Александров, желая устранить пролитие невинной крови, пожертвовал собой. Он передал Лидерсу, что приказано действовать увещаниями. Благодаря Александрову, дело обошлось без кровопролития, но сам он погиб!! **Его** приговорили растрелять; но царь, по **неизреченному** милосердию своему, помиловал Его вечной каторгой...

«Еще новый мученик за народное дело! Честные люди! Торопитесь облегчить участь погибшего собрата. — Бедного Александрова уже отправили в каторгу...

«Но помни царь: *отзовутся волку овечьи слезки!*»

Тип. Великорусса.

Так же, как и прокламация к офицерам, эта была напечатана с прибавкою самого Баллода; здесь перед началом он напечатал: «На днях типография «Великорусса» об'явила о разбойнических наклонностях Александра 2 в следующих словах» — затем следовал приведенный текст «Подвига»; вместо указания в конце на типограифю «Великорусса», Баллод поместил: «Петербург, карманная типография». Замечу, что прокламация была отпечатана без «ъ».

Относительно способа распространения своих изданий Баллод показал:

«Я разбрасывал отпечатанные мною листы преимущественно на Васильевском острове, на Выборгской стороне, около Медико-

Хирургической академии, на Невском проспекте и на Летейной. Это бывало обыкновенно вечером. В кафэ - ресторанах Еремеева и Доминика я вкладывал их в газеты и клал иногда просто на стол. У первого я бывал между 3 — 5 часами, а у последнего, кроме того, по вечерам».

На вопрос: «В показании своем вы говорите, что распространение сих листков в публике находили полезным по собственному убеждению. На чем основано это убеждение, и каких последствий вы желали достигнуть своими преступными действиями? — Баллод отвечал: «На этот вопрос, который я только теперь обдумал хорошо, я должен ответить тем, что все это была шалость и увлеченье. Действительно, я иногда думал, что подобные листки склонят правительство на уступки, как, например, на свободу книгопечатания, но это было только между прочим».

Найденный у него «Колокол», Баллод, по его словам, получал по почте, благодаря студенту Лобанову, предложившему сначала меняться с ним номерами, а потом устроившему ему аккуратное получение герценовского журнала.

Ознакомившись с ответами Баллода, комиссия поинтересовалась, куда же девался уничтоженный им ответ на вопрос о прокламации «Подвиг капитана Александрова». Баллод сознался, что бросил клочки в печку каземата. Тотчас туда был послан офицер; вернувшись, он представил комиссии разорванный полулист. В конце его Баллод писал: «Государь, когда будете подписывать мне приговор, то вспомните, что я жил среди воплей и стона, и трудно было мне, от природы очень чувствительному, не сказать упрека тому, кто смотрит на них равнодушно». К следующему разу этот листок привели в порядок и спросили Баллода, что он хотел сказать своим обращением к царю. Он отвечал: «Слова эти я относил к правительству, которое я считал в своих действиях вялым и даже равнодушным ко всем хорошим начинаниям».

Тогда же, взамен разорванного, Баллод представил следующее письмо к царю:

«Я напечатал три листка, которые называются возмутительными. Я не думаю, чтобы мои листки могли возмутить когонибудь, потому что, как мне кажется, они не могут переменить убеждений ни в ком, а для того, чтобы возмутить кого - нибудь,

необходимо переменить в нем убеждения, т. е. довести до того, чтобы он соглашался с такими листками. Попадись мне мои же листки лет шесть тому назад, я напал бы на них точно так же, как теперь напал на брошюру Шедо-Ферроти. Появление подобных листков показывает то, что есть уже люди, которые понимают их. В прошлом году в это время вышел «Великорусс»; цель его, как мне кажется, была зондировать общество. Когда зондирование дало успешные результаты, тогда комитет «Великорусса» выпустил второй и третий нумера.

«Потом вышло еще несколько листков; об них говорили много, но никогда почти не говорили с особенно дурной стороны.

«Несколько человек, недовольных этими листками, засели в кабинет, прочитали всех социалистов и демократов, вскочили, подумали, что строят памятник второму тысячелетию России, и стали зондировать общество. Общество приняло их за немцев и сухо сказало, что оно по-немецки не знает.

«Очень естественно, государь, что такое движение могло увлечь за собой человека неопытного. Теперь меня изолировали от общества и скрывают; зачем я печатал и каких последствий ожидал я от распространения этих листков?

«Печатая свои листки, я никогда не задавал себе вопроса, предложенного мне комиссиею. Петропавловская крепость дала мне возможность обдумать этот вопрос серьезно. Серьезное размышление об нем привело меня к несерьезному результату: я увлекся, от нечего делать вздумал пошалить и стал печатать; когда я печатал, мне было весело, я смеялся и никогда не воображал, что эта шалость заведет меня так далеко.

«Я виноват, государь, перед вами. Оправдаться я не могу.

«В конце своего письма, позвольте, государь, обратиться к вам и просить ваше величество при подписании мне приговора вспомнить о моей молодости, которая была причиной моего увлечения».

Горбановский не признал показания Баллода правильными и настаивал на том, что ровно ничего ему не печатал, красок и вальцов не доставлял и шрифта не покупал. Потом и сам Баллод сознался, что напрасно оговорил Горбановского, что все типографские принадлежности получал от Мошкалова.

VI.

27 июня следственная комиссия постановила поручить III Отделению произвести немедленно обыск у Мошкалова, Писарева и Лобанова, арестовать их и доставить в Петропавловскую крепость.

2 июля Писарев и Лобанов были отправлены в крепость и заключены там в Невской куртине, а Мошкалов оказался вполне легально уехавшим за границу еще в конце апреля. 3-го числа Писарева возили на его квартиру (Вас. остров, 2 линия, д. Дорна), нанимаемую от гв. штабс-капитана Попова, воспитателя 2-го кадетского корпуса, опечатали все его бумаги и вернули в крепость. Шкап с бумагами самого Попова был пока не тронут, но, все же, запечатан.

Комиссия с понятным нетерпением ждала показаний Писарева. Как и все правительство, кн. Голицын был уверен, что во всем движении роль инспиратора принадлежит литературе и не столько даже ей в целом, сколько отдельным литераторам. Искали лиц и рады были каждой находке. Конечно, Писарев, уже тогда бывший довольно крупной фигурой, казался комиссии очень ценным приобретением, которым она была обязана непонятной откровенности Баллода.

Впервые на допрос Писарев был приведен 6 июля. Ему сразу же пред'явили рукопись статьи, взятой у Баллода. Как же раздражена была комиссия, когда получила в ответ: «Я, кандидат С.-Петербургского университета, Дмитрий Писарев, пред'явленной мне статьи не писал и не сочинял»... Упорствовавшего отправили обратно в каземат и решили пред'явить ему его почерк и если, все-таки, не сознается, что писал статью, дать очную ставку с Баллодом. Рассмотрение бумаг Д. И. было поручено Каменскому. Генерал-губернатору сообщили, что необходимо иметь и те бумаги Попова, которые оставлены запечатанными в его шкапу.

Когда все это было исполнено, 9 июля Писареву снова пред'явили рукопись статьи и одно из его писем, взятых на обыске. Дмитрий Иванович написал: «Я, кандидат Дмитрий Писарев, действительно писал пред'явленное мне письмо, но статья, заключающая в себе возражения на брошюру Шедо-Ферроти, напи-

сана не мною, хотя почерк поразительно похож на почерк моей руки». 11-го была очная ставка. Писарев оставался тверд: «Улик г. Баллода я не признаю и остаюсь при прежнем показании моем, данном в комиссии». После этого его не беспокоили ровно месяц. Очевидно, хотели показать, что могут решить дело без его показаний, и тем напугать.

Пересаженный в Алексеевский равелин, Писарев был подвергнут непривычному, особенно для него, человека избалованного и изнеженного, суровому режиму.

Каковы были тогда порядки в равелине — рассказывает сам помощник смотрителя этого романовского отеля.

В каждой двери каземата, выходившей во внутренний коридор, было небольшое, в одно звено, окошко, прикрытое со стороны коридора зеленою шерстяною занавескою. Приподняв ее угол, часовой мог бдительно наблюдать за арестованным. Двое часовых с обнаженными саблями ходили по всем коридорам; толстый, мягкий половик совершенно скрадывал их шаги. Казематы отапливались небольшими голландками из коридора, тепловые же отдушины были в казематах. Обстановка последних состояла: из деревянной зеленой кровати с двумя тюфяками из оленьей шерсти и двумя перовыми подушками, с двумя простынями и байковым одеялом, из деревянного столика с выдвижным ящиком и стула. Одевали заключенных во все казенное: холщевое белье, носки, туфли и байковый халат; последний без обычных шнуров, замененных короткими байковыми же завязками. Вообще, все крючки и пуговицы в белье и одежде были из'яты; вместо них, были везде матерчатые завязки. На голову надевалась мягкая русская фуражка; у кого головной убор был свой, могли носить его, если только это не был цилиндр. Собственное платье и белье выдавались только для выходов на свиданье с родственниками и на допросы. Вся обеденная и чайная посуда была из литого олова; ножей и вилок не полагалось, все подавалось уже нарезанным и лишенным костей. Обед и чай подавались солдатами равелинной команды под наблюдением караульного начальника из унтер-офицеров. Эти же солдаты по утрам убирали казематы. На пищу и чай отпускалось на человека в день 50 коп. Обед состоял из щей или супа с мясом или рыбой и жаркого; в праздники давалось что-нибудь сладкое, а в царские дни еще

и по стакану виноградного вина. Чай утром и вечером с французской булкой. Белье менялось каждую субботу, а русская баня, устроенная в одном из казематов, топилась два раза в месяц. Из библиотеки выдавались книги по истории и религии на русском, французском и немецком языках. У каждого заключенного была оловянная чернильница и гусиные перья, уже заранее очиненные. Бумага выдавалась по требованию. Вся корреспонденция в равелин и из него шла через III Отделение [1]).

Разобравшись в бумагах и в показаниях других, 11 августа Писарева призвали на четвертый допрос. Показания его были очень обширны и... довольно полно удовлетворили любопытство комиссии, предложившей массу самых разнообразных вопросов.

«Дмитрий Иванович Писарев, 21 год от рождения [2]), православного вероисповедания, на исповеди и у св. причастия бываю ежегодно. Родители мои: отставной штабс-капитан Иван Иванович Писарев и Варвара Дмитриевна Писарева, урожденная Данилова, проживают в Тульской губ., в Новосильском у., в сельце Бутырки. У меня две сестры [3]), братьев нет. Состояние моего отца заключается в деревне или сельце Бутырках, около 600 дес земли. Я окончил курс в университете в мае 1861 г., а в сентябре того же года получил кандидатский диплом; проживал после того в Петербурге, в квартире штабс-капитана Василия Петровича Попова, занимался работами для журнала «Русское Слово» и содержал себя, как деньгами, получаемыми за статьи, так и жалованьем за исправление должности помощника редактора означенного журнала; получил я эту должность в декабре 1861 года До настоящего арестования я был под следствием в начале мая 1862 г. за то, что в вокзале железной дороги ударил отставного прапорщика Евгения Николаевича Гарднера хлыстом по лицу. Следствие производилось в Каретной [4]) части следственным приставом Ласовским и кончилось тем, что мы оба подали мировое прошение».

---

1) *Борисов*, «Алексеевский равелин в 1862—1865 гг.», «Русская Старина» 1901 г., XII.

2) Родился 2 октября 1840 г.

3) Вера и Екатерина.

4) Позже—Александро-Невской. Столкновение произошло на Царскосельском вокзале.

Евг. Ник. Гарднер женился в апреле 1862 года на Раисе Александровне Кореневой, которую Писарев считал своей невестой. По словам самой Гарднер, по смерти ее матери, мать Писарева заменила ей самую заботливую и нежную мать. Детство свое она провела с Дмитрием Ивановичем. «Митя был довольно равнодушен к большинству окружающих, но мы с ним были одних лет, и я стала исключительною, но горячею и бесповоротною его привязанностью. Привязанность эта только росла с годами и становилась все более и более предметом страданий и всевозможных опасений для матери. Она положительно сделала какое-то пугало для себя из этой привязанности, ожидала от нее самых ужасных последствий [1])». Несмотря на это, Писарев искренно и глубоко все время любил девушку и с нетерпением ожидал, когда будет иметь возможность связать с нею жизнь... И, конечно, Дмитрий Иванович не мог спокойно перенести этот тяжелый удар и написал своему сопернику еще до свадьбы очень характерное для него письмо. Привожу его с писаревской копии:

«Милостивый Государь Евгений Николаевич! Как вы легко можете себе представить, я вовсе не радуюсь тому, что вы женитесь на моей двоюродной сестре. Не питая к Вам особенной симпатии, не имея высокого мнения о Вашем уме и характере, я намерен высказать Вам несколько горьких истин: я считаю вас за дурака и за фата и со свойственной мне откровенностью выражаю Вам это мнение. Я выражал его другим людям, говоря по поводу Вашей женитьбы следующую русскую пословицу: «не в коня корм» и варьируя ее иногда так: «не в осла корм».

«Вы удивитесь моему письму и не будете знать, что с ним делать. Я Вам укажу три образа действий:

1) Вы можете разорвать это письмо, притвориться, как будто Вы его не получили, продолжать со мною приятельские отношения и даже при случае порисоваться великодушием и даже видеть меня шафером на Вашей свадьбе.

2) Вы можете вызвать меня на дуэль, и я буду к Вашим услугам.

---

[1]) *Р. А. Гарднер,* «В. Д. Писарева», «Русская Старина», 1880 г. XII.

3) Вы можете представить это письмо III-му Отделению, и меня тогда посадят под арест, как нарушителя общественного спокойствия.

«В первом случае мне будет приятно знать, что Вы проглотили непозолоченную пилюлю. Во втором случае мне будет приятно сорвать зло на Вас или на самом себе. В третьем случае мне будет приятно знать, что Вы сделали подлость. Во всяком случае мне приятно подбавить капельку горечи в Ваше незаслуженное счастье, которое достается Вам на долю только потому, что теперь весна пробуждает чувственность женщин и усыпляет мозговую деятельность. Еслибы я Вас уважал, я бы не написал этого письма, а просто спокойно отошел бы в сторону.

Готовый к услугам вашим

Д. Писарев.

«P. S. Предупреждаю Вас, что я оставил у себя копию этого письма и что эту копию я, когда мне вздумается, покажу, кому вздумается. Фактических дерзостей я Вам не сделаю, потому что уважаю самого себя. Это письмо, в сущности, не дерзость, это откровенно выраженное мнение. Если вы с ним согласны, проглотите пилюлю и смолчите; если, паче чаяния, не согласны, протестуйте. Можете даже затеять диспут, в котором я буду доказывать, что вы глупый фат, а Вы будете доказывать совершенно противное».

4 апреля 1862.

Гарднер, повидимому, ничего не ответил, зная Писарева, как не только вспыльчивого, но и больного человека. Д. И. был еще более возмущен... В первых числах мая он отправился на Царскосельский вокзал, дождался там своего соперника, уже мужа Кореневой, и, подойдя к нему в упор, ударил хлыстом по лицу. Завязалась борьба, в результате которой последовал полицейский протокол и возбуждение дела о нарушении тишины и спокойствия в публичном месте.

Вскоре после этого Писарев получил от Гарднера следующее письмо от 4 мая:

«Милостивый Государь! Вы хорошо понимаете, что, не устроив предварительно состояния моей жены и не обеспечив по возможности ее спокойствия, я не мог стреляться с вами. Обви-

няя меня на железной дороге в отказе дать вам удовлетворение, вы только сделали еще одну лишнюю и совершенно бесполезную для себя подлость. Г. Чужбинский, а равно и брат мой — свидетели, что вызов ваш был мною принят. Причина, по которой я назначил дуэль в Москве и требовал 10-дневного срока, после всего сказанного должна быть вам ясна. Я думаю, что вы не захотите покончить это дело побоищем на железной дороге, которое, впрочем, оказалось совсем не в вашу пользу, чему может служить свидетельством плачевное состояние вашей физиономии. А потому повторяю, что по окончании полицейского дела я снова готов к ващим услугам, но все не иначе, как в Москве и по истечении 10-дневного срока, считая со дня моего выезда из Петербурга.

Е. Гарднер».

Затем впоследствии отношения между Писаревым и Гарднером вовсе не были недружелюбны [1]).

VII.

На следующие вопросы (так же, как и первый, ясные из самых ответов) Писарев отвечал:

«В Петербурге я знаком с графом Кушелевым-Безбородко, с г. Благосветловым, с Поповым, с г. Минаевым [2]), с г. Крестовским [3]), составляющими ближайший круг редакции «Русского Слова». Сошелся я с ними в конце 1860 г., а с гр. Кушелевым-Безбородко весною 1861 г. В университете я был знаком с очень многими студентами; в начале моего курса, от 1856 до 1859 года преимущественно с студентами историко-философического факультета: Трескиным, Майковым [4]), Ординым [5]), Полевым [6])

---

[1]) Кое-что о Р. А. Кореневой интересующиеся найдут в биографии Писарева, написанной Е. А. Соловьевым.

[2]) Дмитрий Дмитриевич, известный поэт и переводчик.

[3]) Всеволод Владимирович, потом спустившийся до своей печальной известности.

[4]) Леонид Николаевич, младший брат Ап. Н.

[5]) Брат известного финофоба К. Д. Ордина.

[6]) Петр Николаевич, старший сын известного в первой половине XIX ст. журналиста.

Замысловским [1]), Скабичевским [2]) и Макушевым [3]). В конце 1859 г. я сошел с ума и меня поместили в психиатрическую лечебницу доктора Штейна, где я пробыл до половины апреля 1860 г., потом я уехал в деревню к моим родителям, для восстановления сил, и пробыл там до конца сентября. Приехавши в Петербург, я переменил круг знакомства и, поселившись на Васильевском острове, в доме Белянина, в квартире кухмистерши Мазановой, сблизился с моими соседями студентами: тремя братьями Жуковскими, двумя Даниловыми, Баллодом, Сурковым и Федотовым. Потом, в сентябре 1861 г., сблизившись с редакциею «Русского Слова», я, по приглашению г. Попова, поселился у него на квартире, где и был арестован. Встречался я у гр. Кушелева со многими литераторами и познакомился довольно коротко с г. Афанасьевым - Чужбинским [4]), Палаузовым [5]), Шишкиным, с братьями Тибленами [6]), с Достоевскими [7]), с Кремпиным, у которого я еще прежде, в 1859 г., работал в журнале «Рассвет». С другими редакциями я не сходился и только два раза был по делам журнала, у г. Чернышевского.

«Со студентом Баллодом я познакомился, как сосед по квартире и как товарищ по университету. Видались мы с ним осенью 1860 г. и весною 1861 - го почти ежедневно, осенью 1861 - го реже, раз в неделю или в две, а с начала 1862 г., после того, как приятель мой, Владимир Жуковский, уехал в Уфу, я перестал бывать в доме Белянина и не видался с Баллодом до мая. В мае мы с ним встретились на улице; он упрекнул меня, зачем я его забыл; я обещал зайти к нему и звал его также к себе; потом я был у него раза два или три, и он у меня раза два, но застал меня дома только один раз. Когда я бывал у Баллода ежедневно, то встречал обыкновенно наших соседей по квартире, играл с ними в карты; иногда мы пили вместе и принимали женщин. О политической деятельности своей Баллод мне ничего не гово-

---

1) Егор Егорович, небезызвестный историк.
2) Критик и публицист.
3) Викентий Васильевич, известный славист.
4) Известный беллетрист и этнограф.
5) Спиридон Николаевич, знаток истории балканских государств.
6) Содержатели типографии и издатели.
7) Өедор и Михаил.

рил; иногда только, осенью 1861 г., соседи предупреждали меня, чтобы я не входил к Баллоду, потому что у него собрался интимный кружок. Не желая мешать их занятиям, я всегда пользовался этим предостережением и потому близких и доверенных лиц Баллода не знаю. Участия в действиях Баллода я не принимал. Я догадывался, что кружок Баллода имеет политические стремления, но так как сам Баллод никогда не говорил мне об этом, то я и не расспрашивал, чтобы не показать любопытства и навязчивости.

«Я, вообще, говорил с Баллодом о моих журнальных работах, как о предмете, наиболее занимавшем меня; при этом я упомянул вскользь о статье по поводу Шедо-Ферроти, пожаловался на строгость цензуры, которая даже таких пустяков не пропускает, и когда Баллод просил показать ему запрещенную статью, я отвечал ему, что это ничтожная статья, которую не стоило ни читать, ни запрещать, ни отстаивать от цензуры. При этом я должен оговориться, что запрещенная статья моя не заключала в себе возражения на брошюру Шедо-Ферроти, а только группировку отзывов его о Герцене и Огареве. Она никуда не пошла и, вероятно, не сохранилась».

Но вот, выслушав, вероятно, всевозможные увещания, уверения и пр. комиссии, Писарев, наконец, сделал так долго от него ожидавшееся сознание:

«Я вижу, что дальнейшее запирательство бесполезно и невозможно, и потому решаюсь раз'яснить все дело. Разговор мой с Баллодом происходил, действительно, так, как показывает Баллод. Я принял его предложение и исполнил данное ему обещание. В разговоре с Баллодом я выразил раздражение против цензурных притеснений и вообще против отношений правительства к литературе. Баллод предлагал мне выразить это раздражение, и я согласился, потому что, во 1-х, это предложение давало мне возможность вылить накопившуюся желчь; во 2-х, оно льстило моему авторскому самолюбию; в 3-х, оно было так поставлено, что не принять его значило бы обнаружить трусость. Вот побуждения, заставившие меня писать эту статью. Определенной цели у меня не было, потому что я не знал и не расспрашивал, каким образом Баллод намерен распространить мою статью. Я слышал от него только, что он может ее напе-

чатать. Когда я стал писать, то уже увлекся за пределы всякой осторожности и благоразумия; я дал полную волю моему раздражению и обругал всех и все, что только попалось мне под руку. Статья эта, как и большая часть моих журнальных статей, писана без черновой, прямо набело, под впечатлением минуты. А впечатления эти были: закрытие воскресных школ и читален, закрытие Шахматного клуба [1]), приостановление журналов «Современник» и «Русское Слово», упразднение II отделения Литературного Фонда [2]). Все это волновало меня и отражалось на моей статье. Поэтому она написана резко, заносчиво и доходит до таких крайностей, которые я в спокойном расположении не одобряю.

«Что я действительно человек впечатлительный и сильно увлекающийся, это доказывается, во 1-х, моим умопомешательством, о котором я упомянул в ответе на второй вопросный пункт. Сведения о моем темпераменте могут быть получены от докторов Штейна и Шульца, пользовавших меня во время моей душевной болезни; во 2-х, моею историею с г. Гарднером, о которой я упоминаю в ответе на 1-й пункт; в 3-х, моими карточными долгами, о которых говорится в 10 пункте. Написавши свою отчаянно резкую статью, я отдал ее Баллоду, который вскоре после того был арестован. Когда меня арестовали и привели в комиссию, я решился не сознаваться. Главною побудительною причиною моею в этом случае было нежелание набросить тень на ту часть журналистики, к которой я принадлежал. Я не хотел подать повода думать, что литераторы замешаны в тайные агитации, тем более, что нелепые толки в обществе и даже в газетах (в «Северной Пчеле» и в «Сыне Отечества») приводили эту агитацию в связь с петербургскими пожарами. Так как я сам принял участие в агитации совершенно случайно, то я не хотел, чтоб мое неосторожное поведение по-

---

1) Шахматный клуб был, собственно, литературным клубом.

2) Под названием второго отделения Литературного Фонда разумелось тогда деятельность в области поддержания молодежи, учившейся в высших учебных заведениях. Надо-ли говорить, что такое сближение литераторов со студентами в конце концов было признано совершенно недопустимым.

вредило в каком бы то ни было отношении литераторам, с которыми я работал.

«Об'яснивши, таким образом, дело мое по чистой совести, я совершенно предаю себя правосудию комиссии. Находясь теперь в спокойном состоянии духа, решившись откровенно сознаться в моем преступлении, я осмеливаюсь обратиться к милосердию монарха, хотя чувствую, что не имею на то ни малейшего права. Я умоляю его величество не считать меня закоренелым преступником и взглянуть на мою преступную статью, как на минутный порыв, а не как на выражение обдуманного плана действий. Я так молод, так способен увлекаться и ошибаться, так мало знаю жизнь, что часто не умею взвесить свои слова и поступки. Все это нисколько не оправдывает меня, но я уверен, что высочайше утвержденная комиссия повергнет эти обстоятельства на милостивое внимание его величества, и что милосердие монарха даст мне возможность загладить последующим моим поведением совершенное мною преступление»...

На вопрос, насколько было близко знакомство с Благосветловым и Поповым, Писарев отвечал:

«С г.г. Поповым и Благосветловым я познакомился в октябре 1860 года. Знакомство мое с ними началось с того, что я принес в редакцию «Русского Слова» перевод поэмы Гейне — «Атта Троль», который был помещен в XII книжке «Русского Слова» за 1860 г. Потом я стал получать заказы на каждый месяц, стал часто бывать у Благосветлова, в сентябре 1861 г. поселился у Попова, в ноябре того же года мы с Благосветловым стали говорить друг другу «ты», а в декабре он предложил мне быть его помощником по редакции. Я согласился и исправлял эту должность до приостановления «Русского Слова», происшедшего в июне. Отношения наши с Благосветловым были самые дружеские; он принимал даже участие в том, что касалось лично до меня и до моего семейства. С Поповым я также был в хороших отношениях» [1]).

---

[1]) Ниже, в приложении, я печатаю несколько писем Благосветлова к Попову; по моему мнению, они не дурно освещают взгляды руководителя «Русского Слова».

VIII.

Затем были заданы вопросы по найденным на обыске бумагам.

Между прочим, в письме матери от 18 сентября 1861 г. обратило на себя внимание следующее место: «В «Северной Пчеле» пишут, что устраивается подписка в пользу бедных студентов; вот бы ты подписался — неужели у тебя умерло чувство жалости? право, ведь это лучше, нежели пообедать у Дюссо в честь каких-то странных убеждений». При этом приписка сестры: «Понимаю обед 5 сентября и от души сочувствую». На вопрос, что это за обед, Писарев отвечал: «Обед у Дюссо 5 сентября давался мною в честь мое двоюродной сестры, Раисы Александровны Кореневой, с которою я воспитывался и в которую был влюблен. В этот день — ее именин — я хотел их праздновать. На обеде присутствовали г. Баллод и Владимир Жуковский; нас было всего трое. Сестра моя сочувствовала любви моей, а мать моя смотрела на нее недоброжелательно, но почему она называет ее «странными убеждениями», — этого я не знаю».

Затем в письме от 13 января 1862 г. мать, между прочим, писала: «Ты упорно молчишь — ну, и бог с тобой; слишком занят социальными вопросами, чтоб к матери написать: резон». Сестра в приписке высказалась тоже против пути, по которому пошел брат, и упрекнула его за охлаждение к матери и к ней. На вопрос комиссии, что все это значит, Писарев ответил:

«Моя мать была недовольна тем, что я редко пишу к ней; кроме того, ей не нравилось реальное направление мыслей, проявлявшееся в моих статьях для «Русского Слова», поэтому она и отзывается с укоризною о социальных вопросах и о ложной дороге».

В числе бумаг был следующий клочок:

«Попов	927
Чужбинский	650
Апухтин	344
Быковский	224
Кушелев	463

Благосветлов	88
Новинский	41
Баллод	38
Нехлюдов	40
Козлова	30
Делянов	50
	2,895.
	105».

Писарев расхолодил комиссию, сказав, что это — цифры его карточных долгов . . .

Заинтересовало следственную комиссию и письмо к Писареву Д. Тиблена от 3 марта 1862 г.: «Надобно достать, добрейший Дмитрий Иванович, на полчаса от Павлова его статью, подписанную Бекетовым. Я буду сейчас у Рахманинова и уведомлю его, что статья процензурована. Павлов не может отдать совсем подписанного Бекетовым экземпляра, потому что его, как слышно, сегодня же потянут в 3 Отделение, и он должен иметь подпись цензора для оправдания. А статью надо только показать Рахманинову, иначе он не выпустит книжки, в особенности, если будет скандал».

Писарев дал очень интересное об'яснение, освещающее малоизвестный факт: «Здесь идет дело о статье профессора Павлова «Тысячелетие России», читанной им 2 марта 1862 г., в доме Руадзе, на публичном чтении. Статья эта была разрешена для чтения цензором Бекетовым и приобретена редакцией «Русского Слова» для напечатания в февральской книжке. Я был на чтении 2 марта и, взяв у г. Павлова писанный экземпляр его речи, отвез в типографию и приказал поскорее набрать ее, чтоб успеть выпустить февральскую книжку 3 или 4 марта. Г. Павлов не дал мне того экземпляра, который был подписан г. Бекетовым, говоря, что он нужен ему, как доказательство, что статья действительно пропущена цензурою. Но так как нашим цензором был г. Рахманинов, то ему надо было пред'явить экземпляр, подписанный Бекетовым, иначе он мог отказать в выдаче билета на выпуск книжки. Об этом и пишет мне Тиблен, в ти-

пографии которого печаталось «Русское Слово». Так как речь Павлова произвела сильное впечатление на публику, то в обществе стали ожидать, что Павлову достанется, и Тиблен упоминает об этом словами: «если будет скандал». Я принимал во всем деле такое участие: взял речь Павлова и отвез ее в типографию, хлопотал о разрешении ее, ездил к председателю цензурного комитета и к управляющему министерством народного просвещения. Все эти старания оказались бесплодными, и речь Павлова, несмотря на подпись цензора Бекетова, осталась ненапечатанною».

Что касается взятой у Писарева фотографической карточки Герцена и Огарева, то он показал: «Фотографические портреты Герцена и Огарева продаются почти во всех бумажных лавках. В одной из них я купил этот экземпляр. С этими лицами я не знаком и не имел с ними никаких сношений, ни личных, ни письменных; купил я их миниатюрный портрет из любопытства, как мог бы купить портрет Гарибальди, Кавура или Людовика - Наполеона».

Наконец, относительно некоторых иностранных книг, считавшихся безусловно запрещенными, Писарев отвечал: «Сочинение Бюхнера „Physiologische Bilder" служило мне для составления статьи, помещенной в февральской книжке «Русского Слова». В этой статье я прямо указываю на источник, а так как эта статья пропущена цензурою, то и книгу Бюхнера я считал незапрещенною. Все указанные сочинения были куплены мною лично в разных магазинах иностранных книг в Петербурге в течение 1861 и 1862».

IX.

Обратимся теперь к знакомству с другими лицами, замешанными в дело.

Арестовав Лобанова, комиссия узнала, что взят не тот, которого надо было. Вместо Василия взяли Николая. 4 июля ошибка была исправлена.

Василий Лобанов [1]) был опрошен 6 июля. Он отвечал, что ни одного номера «Колокола» не получал, а потому и не мог снабжать им Баллода, которого знал по университету ближе обыкновенного, потому что Баллод был редактором студенческого сборника от разряда естественных наук, а Лобанов — депутатом кассы для бедных студентов, и они часто встречались на деловых сходках и собраниях. Но 9-го числа он сознался, что дважды давал Баллоду «Колокол», полученный еще два года назад от студента Евгения Печаткина. При этом он подтвердил, что Баллод выразил ему желание получать «Колокол» аккуратно и что, возвращая полученный от него номер, он, Лобанов, сообщил об этом Печаткину. Последний ответил, что это можно устроить, и взял адрес Баллода.

Разумеется, 11-го арестовали и Печаткина [2]). У него нашли, между прочим, следующую записку от 26 апреля 1862 г.: «Евгений Петрович, я вас прошу достать мне по мере сил ваших последние прокламации и передать мне их лично; один студент сегодня просил меня непременно добыть их; один его хороший знакомый едет в провинцию и желает распространить их там; так как он человек надежный, то мне бы хотелось услужить ему, — я ему пообещалась и до сих пор ничего не могу исполнить своего обещания. Прошу вас, Евгений Петрович, исполнить мою просьбу, вы меня очень обяжете, и я вам очень

---

[1]) 19-летний студент петербургского университета, куда поступил в 1859 г.; после беспорядков 1861 г. был под следствием и сидел вместе со многими товарищами в Петропавловской крепости. Затем был привлечен по делу «Великорусса», от которого отделался по следствию строгим внушением, а по суду получил прощение. Л. Ф. Пантелеев неверно характеризует его, как человека несерьезного (см. стр. 55—56 «Из воспоминаний прошлого»).

[2]) Учился в петербургском коммерческом училище, в университет поступил в августе 1860 г. 12 октября следующего года был заключен в крепость за беспорядки в университете; 6 декабря вместе с другими из крепости освобожден. Был тогда же депутатом от студенчества вместе с Гердом, Гайдебуровым, Макаровым, Ламанским, Спасским, Пантелеевым, Гогоберидзе, Утиным и Неклюдовым. Братья Печаткины, Константин и Василий, занимались писчебумажным производством, а Вячеслав — книжной торговлей.

благодарна. Прощайте. *В.* Доставьте мне их завтра, чем скорее, тем лучше».

По сличении почерка с письмами той же руки, комиссия признала, что записка эта писана Варварой Глушановской. Приказано было обыскать ее и арестовать.

Е. П. Печаткин рассказал мне, что потом Лобанов, видимо, очень страдал от неосторожности и откровенности своих показаний, о чем он заключил из того тона, которым звучал голос Лобанова, как-то случайно увидавшего Печаткина в крепостном коридоре и крикнувшего ему: «Прости меня, Печаткин!». Он также заметил, что не рассчитывал отделаться так легко, как отделался в конце концов. Во-первых, он никак не думал, что пришедшие делать обыск не посмотрят в дверной почтовый ящик: там лежала пачка каких-то прокламаций. Во-вторых, совершенно неожиданно получил товарищеское сообщение о том, что следовало показывать, чтобы выйти сухим из воды.

14 июля Печаткин показал, что ни Лобанову, ни Баллоду «Колокола» не давал; в 1861 г. сам купил несколько номеров у букиниста и, может быть, тогда и давал Лобанову — не помнит. О конспиративной деятельности Баллода ничего не знает; с Глушановскою знаком поверхностно, по лекциям в университете, куда она ходила в числе других женщин. Позже, уже в середине ноября, когда Печаткину пред'явили сознание Владимирова (привлеченного по другому делу) в передаче Печаткину «Колокола», он сознался, что, действительно, получил от Владимирова номеров восемь, но потом, по просьбе родителей, просил прекратить эти присылки.

28 августа предупрежденная о допросе Глушановская заявила, что выразила в письме не то, что было на самом деле: она сама хотела прочесть прокламацию к офицерам и для этого, зная любезность Печаткина, сочинила свою записку, но не была уверена, что он мог исполнить ее просьбу. Она была отдана на поруки.

Арестованный раньше по делу о пропаганде в войсках студент Алексей Яковлев 5 июля показал, что вовсе не обращался к Баллоду с просьбой посодействовать напечатанию прокламации к офицерам, будучи с ним для этого слишком мало знаком, равно

и не получал от него никаких прокламаций. Через месяц он признался, что давал Баллоду «Полярную Звезду» и «Колокол».

С большим вниманием отнеслась комиссия ко всему, касавшемуся Николая Жуковского и Мошкалова. Отсюда внимание и к братьям первого.

В числе взятых у Николая бумаг была, например, такая записка его брата Василия: ...«Дядя посылает тебе 4 № «Колокола», один «Под Суд!» и один номер «Будущности». Если успеешь прочитать к завтрему, то завтра получишь следующие номера с Володей, а старые отдашь ему». Или письмо какой-то дамы к кн. Е. А. Долгоруковой в Москву, в котором сообщалось, что податель его, Николай Жуковский, вполне заслуживает доверия, и ему следует передать деньги, собранные в пользу Бакунина. Очевидно, готовился его от'езд за границу... Из записки Горбановского видно, что Жуковский брал у него валик.

3 августа комиссия постановила представить царю, что Николай Жуковский и Мошкалов (комиссия упорно называла его Машкудовым) [1]) обвиняются в злоумышленных против правительства действиях, и испросить, не угодно ли будет повелеть распорядиться о вызове их для ответа в Россию, а если не явятся в положенной срок, то поступить с ними по закону. 5-го царь одобрил.

Немедленно комиссия сообщила все министерству иностранных дел.

Как раз к этому времени привезли из Уфы двух братьев Жуковского, Владимира и Василия, и заключили в крепость. Перед этим местный, уфимский жандарм так характеризовал живших там братьев Жуковских: «Недоучившиеся студенты Спб. (Григорий — Казанского) университета, за исключением Владимира, окончившего курс кандидатом и могущего быть полезным службе и обществу по своим способностям. К несчастию, все они заражены в последней степени учением юной России (надо думать «Молодой России») и в настоящем виде суть лишь вредные члены семейства и общества; все они, люди пустые и фаты, хотя и не очень глупые, живут при старухе матери, не имеющей других

---

[1]) Выехал лечиться за границу 24 апреля 1862 г., с паспортом, полученным от Спб. ген.-губернатора.

средств к жизни, кроме 2.000 руб. дохода с золотых приисков; единственная сестра их, женщина порядочная, в замужестве за здешним доктором Гурвичем, человеком солидным и благонадежным в политическом здравомыслии». Они были арестованы в Уфе 26 июля; при обыске не найдено ничего, кроме тетради, в которой помещено длинное стихотворение «Быль о чудо - звере». 17 августа допросили их обоих. Владимир [1]) показал, что жил одно время с Баллодом в меблированных комнатах Мазановой, а потом поселился с братом Николаем, приехавшим в Петербург в 1860 г. Николай у него и познакомился с Баллодом. О том, что они занимались какою бы то ни было политической деятельностью, он не знает. Считает Николая сейчас в Петербурге. Насколько помнит, Василий не посылал Николаю через него герценовских изданий, а что Баллод аккуратно получал по почте «Колокол», это знает точно. «Дядя» в письме Василия значил Баллод: так его прозвали товарищи.

Василий [2]) категорически утверждал, что «с 1860 г. сентября месяца и до сентября 1861 г. Баллод вел себя очень хорошо; кроме резких выражений, касающихся правительства, ничего не было заметно. С сентября же было видно участие в сходках, где он играл роль вожака»; сочинения Герцена у него были всегда, и «я знаю, что он их распространял». Он сам иногда брал у него «Колокол». Где в данное время Николай — не знает.

Через месяц III Отделение сообщило комиссии, что Владимир Жуковский, будучи следователем, внушал крестьянам Оренбургской губ. «вредные понятия». Комиссия просила министра внутренних дел навести по этому поводу соответствующие справки и не оставить ее уведомлением обо всем, что станет известно.

Кроме всех этих лиц, непосредственно прикосновенных к делу о распространении возмутительных сочинений, комиссия в раз-

---

[1]) Учился сначала в петербургской, потом в оренбургской гимназии, в 1857 г. поступил в казанский университет, который кончил в 1861 г. В январе 1862 г. уехал на место судебного следователя в Уфу, к матери. Она сдавала в аренду свои золотые прииски на Урале.

[2]) Воспитывался в оренбургской гимназии; окончив ее в 1860 г., поехал в петербургский университет. В январе 1862 г. тоже поехал в Уфу на службу.

ное время привлекала еще двоих: учителя Викторова и писателя Н. В. Альбертини. 2 июня 1862 года, вслед за страшными пожарами в Петербурге, вдруг загорелось уездное училище в Луге. Оказалось, что поджег его умышленно один из учителей, Викторов, сам потом сознавшийся в преступлении, совершенном в нетрезвом состоянии. Начали добираться до его связей и знакомств и обнаружили, что он бывал иногда у Баллода, брал у него заграничные издания и вообще находился под его влиянием. Открыто было и знакомство с Альбертини, тоже снабжавшим его «герценовщиной» и давшим рекомендательное письмо к Баллоду перед своим от'ездом за границу. Баллод отрицал сколько-нибудь близкое знакомство с Викторовым, хотя не скрыл, что «Колодол» ему давал. Альбертини был вытребован из-за границы, но просил позволить докончить курс лечения. Потом, уже в сенате, в мае 1863 г., он категорически отверг указание на снабжение Викторова нелегальной литературой, сказав, что давал ему «Год на севере» Максимова, а вовсе не «Полярную Звезду». и т. п. Он был отпущен без всяких неприятностей. Викторов был затем судим военно-полевым судом уже собственно за поджог и попал на поселение в Сибирь.

Когда, таким образом, были опрошены лица, указанные самым ходом дела, Баллоду 11 сентября пришлось дать комиссии некоторые раз'яснения [1]). Он отрицал свое деятельное участие в студенческих беспорядках 1861 г., сказав, что на демонстрациях в стенах университета не бывал, вожаком не держался. С товарищами по семинарии советовался об устройстве коммуны, и эти-то собрания у него Василий Жуковский считал конспи-

---

[1]) Пантелеев говорит, что ему документально известно, что однажды Баллод был вызван в следственную комиссию. «Там оказался только один член Жданов.—«Вы, пожалуй, меня не узнаете,— начал Жданов: — ранее вы всегда меня видели при ленте и орденах; поговорим запросто о вашем деле; оно очень серьезно, но я постараюсь помочь вам». И с этими словами Жданов вынул из кармана № «Колокола», где сам Жуковский сообщал о своем побеге за границу.— «Но вы меня не забудьте,— сказал Жданов,— когда ваша партия восторжествует: ведь, я уже стар и опасен для вас быть не могу» (336 стр.). Случай этот очень характерен для иллюстрации того, как, всетаки, наверху допускали возможность коренного политического переворота.

ративными, предупреждая Писарева, желавшего войти к Баллоду, но о политике не беседовали. Типографские принадлежности получил от Мошкалова, который научил его и набирать, набрав свою собственную прокламацию о Шедо-Ферроти; распространение ее было произведено почти полностью тоже самим Мошкаловым, лишь небольшую часть разбросал Баллод.

Что касается Писарева, то после допроса 11 августа его больше не беспокоили. Было решено лишь, ознакомившись с письмами Благосветлова к Попову, сообщить III Отделению, что за ними обоими необходимо учредить секретное наблюдение, и о последствиях его просить осведомить комиссию.

17 сентября она имела удовольствие прочесть в 144 № «Колокола» следующее письмо Николая Жуковского «К издателям *Колокола*»:

«Милостивые государи,

«Преследуемый правительством по делу одной из петербургских типографий, я бежал за границу.

«Собраты наши — поляки избавили меня в Польше от неприятностей и помогли перебраться за границу.

«Не имея возможности писать прямо к ним, я прибегаю к посредству «Колокола». Прошу Вас известить моих друзей о том, что я в Лондоне, и передать им мою искреннюю признательность за сочувствие и помощь.

«Подробности моего бегства сообщу в другое время, когда можно будет говорить о людях, не подводя их под *крепость* или *каторгу*, которыми доживающее свой век императорство хочет натешиться вволю.

«Преданный вам *Николай Жуковский*.

«8 сентября 1862 г.».

Тогда же комиссия была уведомлена министром внутренних дел, что по всеподданнейшему его докладу о том, что «в настоящее время представляется неудобным вызывать из-за границы политических преступников, тем более, что самый порядок вызова ни законами, ни бывшими примерами не установлен», повелено вызов Жуковского и Мошкалова приостановить.

26 ноября комиссия постановила просить разрешения царя отделить производство следствия о Баллоде, Писареве, Лобанове, Печаткине, братьях Жуковских и Мошкалеве от общего дела о распространении возмутительных воззваний и первых четырех предать суду сената, о Владимире Жуковском выждать ответа министра внутренних дел, Василия возвратить матери в Уфу, а о Николае и Мошкалове произвести следствие по возвращении их из-за границы, для чего сделать вызов, когда то будет признано удобным.

Александр II все утвердил.

X.

Сенат был уведомлен об этом Замятниным в последний день 1862 года.

Дело перешло в I отделение 5 департамента, где первоприсутствовавшим был М. М. Карниолин-Пинский, а членами (в разное время): Н. М. Корнеев, А. П. Бутурлин, А. В. Веневитинов, Б. И. Бер, К. Б. Венцель, Н. Е. Лукаш, М. Н. Любощинский и гр. Д. А. Толстой.

В конце ноября генерал-губернатор прислал в сенат, так называемые, «повальные обыски» об образе жизни и поведении Баллода, Лобанова и Е. Печаткина, а о Писареве сообщил, что обыск не был произведен, потому что «во время проживания его здесь, в доме иностранца Дорна, он вел себя таким образом, что о образе жизни этого подсудимого знал только квартирный хозяин его», Попов, спрашивать же его, состоящего под надзором, конечно, неудобно. 31 января Лобанов и Печаткин были выпущены из крепости на поруки с «приличным внушением», чтобы вели себя вполне безукоризненно.

Даже принимая во внимание, что, кроме интересующих нас подсудимых, сенат имел дело еще с семью другими, всетаки, надо удивляться той медленности, с какою велось все дело. Баллода впервые допросили лишь 16 и 18 апреля. Думая, что и Мошкалов, подобно Жуковскому, тоже эмигрировал, он сознался, что многое приписал Горбановскому, не желая сразу назвать Мошкалова; последний сам написал прокламацию о Шедо-Ферроти.

Писарева допросили 22 апреля. На вопрос, ради чего он обратился к милосердию царя, не ради ли желания отделаться меньшим наказанием? он отвечал:

«Я совершенно убежден в том, что не имею никакого права обращаться к милосердию монарха; я сочту совершенно справедливым и без малейшего ропота перенесу всякое наказание. Обращение мое к милосердию монарха было вызвано не рассчетом на смягчение моей участи, а желанием выразить мое полное смирение и чистосердечное раскаяние. Сознание мое было полное; в нем не было ни задней мысли, ни утайки. Сношения мои с Баллодом начались с того, что мы встречались с ним у студента Шефнера и у братьев Жуковских. Нам случалось кутить вместе; мы выпили с ним брудершафт и стали говорить друг другу *«ты»;* из этого не вышло особенной короткости, потому что во время моего студенчества я был на «ты» с 20-ю или с 30-ю человеками. Мы с Баллодом почти никогда не говорили серьезно, потому что встречались за карточным столом или за бутылкою вина; занятия науками не могли нас сблизить: он был натуралист, а я — филолог; мы никогда не доверяли друг другу никаких задушевных мыслей; я не знаю ни семейных, ни сердечных дел Баллода; между нами была только дружеская бесцеремонность, безо всякого нравственного сближения. Эти отношения не изменились и тогда, когда я поселился в одном доме с Баллодом, потому что другом моим был только Владимир Жуковский. Куда ходил Баллод, с кем он виделся, замышлял ли он что-нибудь — об этом я решительно ничего не знал и не догадывался. Один раз, когда я уже переехал на квартиру Попова, в декабре или в конце ноября 1861 г., я зашел к Жуковским и, не заставши Владимира, хотел зайти на минуту к Баллоду. Тогда Василий Жуковский сказал мне: «не ходи, — у него какое-то интимное собрание; он не любит, чтоб к нему входили». Какое это было собрание и действительно ли оно было, этого я не знаю. Василий, как мальчик недальнего ума и совершенно неразвитой, мог принять за собрание с особым значением простую сходку студентов, ругавших матрикулы. Я не стал его расспрашивать, потому что не люблю выведывать чужие секреты. Я высказал в своих показаниях, что предполагаю политический характер этого собрания только потому, что Баллод теперь арестован за

агитацию. Об'яснить, почему я, очертя голову, согласился, по предложению Баллода, написать статью, я могу только указанием на весь мой характер. Человек благоразумный не сделал бы этого, а я сделал это из мальчишеского ухарства; кроме того, я страдал тогда оттого, что любимая мною женщина вышла замуж за другого; я был расстроен закрытием «Русского Слова». Написать статью было недолго, и я не успел одуматься, когда Баллод был уже захвачен с моею статьею. Ни в моем предыдущем поведении, ни в моих бумагах, ни в книгах, ни в журнальных моих статьях нет никаких фактов, которые указывали бы на обдуманное намерение и установившиеся политические убеждения. Баллод предложил мне написать резкую декламацию, — я так и сделал. Эти показания вполне истинны; я готов подтвердить их даже присягою».

Писарев просил освободить его на поруки ожидаемой в Петербург матери, но сенат не нашел возможным исполнить просьбу; против же свиданий с нею ничего не имел. В мае приехала мать, и с этого времени начинаются довольно частые свидания ее с сыном, из которых первое было 27 апреля. По рассказу дяди, А. Д. Данилова, Писарев, имея в своем распоряжении очень ограниченное, вернее, точно проверяемое число листов писчей бумаги, но не стесненный в количестве книг, отрывал в последних поля и на этих узеньких ленточках мискропическими буквами писал те письма матери, Благосветлову и другим лицам, которые только частью напечатаны самим же дядею и Е. Соловьевым. Мать, приходя домой, немедленно садилась за переписывание получаемых через одного из служащих в крепости «шариков» и затем посылала копии по назначению [1]).

Со дня своего ареста в продолжение почти года Писарев мучился невозможностью писать, особенно, когда в средине февраля 1863 года «Русское Слово», отбыв свою восьмимесячную приостановку, снова стало издаваться... В начале июня мать обратилась к генерал-губернатору кн. Суворову за разрешением сыну заниматься литературной деятельностью, мотивируя свою просьбу необходимостью поддерживать гонораром существование не только самого арестанта, но и его семьи. Суворов

---

[1]) «Русское Обозрение» 1893 г., I.

запросил сенат; последний не встретил препятствий к удовлетворению ходатайства. Одновременно он снесся и с III Отделением, прося его ходатайствовать о разрешении Писареву, как уже было сделано для Чернышевского, литературных работ, как «единственного источника к приобретению средств для своего существования и поддержания семейства.». С 10—12 июля Писарев принялся за лихорадочное писание. Он просто засыпал своими статьями. Так, 30 июля Суворов представил сенату первую готовую работу — «Наша университетская наука» — и запрашивал, не встречается ли по обстоятельствам дела препятствий к ее напечатанию. Сенат препятствий не встретил, статья была возвращена Суворову, а им направлена к министру внутренних дел, ведавшему цензурой. Затем она прошла обычным порядком и появилась в «Русском Слове».

Через месяц, 31 августа, Суворов прислал в сенат «Очерки из истории труда», а 8 октября — их продолжение и статью «Мысли о русских романах». Первая не встретила препятствий и была затем напечатана, а относительно второй сенат 14 октября уведомил Суворова, что, ничего не имея против разрешения ее общим порядком, считает, однако, нужным сообщить, что это сочинение, заключающее по преимуществу разбор романа содержащегося под стражею литератора Чернышевского, под заглавием «Что делать?», и преисполненное похвал сему сочинению с подробным развитием материалистических и социальных идей, в нем заключающихся, по мнению правительствующего сената, в случае напечатания его, может иметь вредное влияние на молодое поколение, проникнутое этими идеями». Кончался указ очень ядовито: «впрочем, предмет этот подлежит рассмотрению цензуры»... Конечно, Суворов и не стал посылать статью дальше, а вернул ее Писареву. Позже, уже без предварительной цензуры, в X кн., «Рус. Слова» 1865 г. статья появилась под заглавием «Новый тип».

27 ноября Суворов прислал «Исторические эскизы», окончание которых дослал 11 января 1864 г. Статья была напечатана. 27 января присланы «Цветы невинного юмора». 11 февраля — «Мотивы русской драмы», 4 марта — начало «Прогресса в мире животных и растений», 16 апреля — продолжение, 20 июля — окончание и еще два новых произведения: «Кукольная трагедия

с букетом гражданской скорби» и начало «Реалистов», конец которых прислан 8 августа. Все это было напечатано. 16 сентября была прислана статья «Картонные герои». 21-го сенат предписал Суворову: «по соображениям статьи с политическими производствами сената, из которых к одному прикосновенен сей автор, правит. сенат не находит удобным допустить напечатание статьи». Что в ней заключалось, о чем шла речь — неизвестно. Статья была возвращена автору.

4 ноября прислана была последняя статья «Промахи незрелой мысли» и вскоре напечатана.

Вслед за введением нового устава о цензуре (с 1 сент. 1865 г.) статьи Писарева посылались обычном порядком. Особенным их врагом был чистокровнейший дворянин писатель, он же цензор, И. А. Гончаров. Интересующихся его «работой» в этом направлении отсылаю к «Голосу Минувшего» 1916 г. кн. XI и 1919 г. кн. I — IV.

XI.

8 февраля 1863 г. генеральный консул в Лондоне Берг прислал Жуковскому повестку. На другой день он получил ответ: «На повестку от 8 февраля 1863 г. Николай Жуковский уведомляет господина ген. российского в Лондоне консула, что он в консульство являться не считает нужным и просит г. консула сообщить Жуковскому письменно те причины, по которым он желает видеть его лично». Не желая давать в руки документов, которые Жуковский, следуя примеру Герцена, Огарева и других эмигрантов, конечно, опубликовал бы, и следуя мнению кн. В. А. Долгорукова, признавшего незадолго перед тем лишним писать в подобных случаях, посол приказал консулу ограничиться вызовом Жуковского через «Times».

Вслед за напечатанием и о вызове Мошкалова, последний тоже обратился к Бергу с письмом от 1 марта 1863 года из Фрейберга: «Имею честь уведомить русское консульство в Лондоне, что я, действительно, с 1859 по 1862 г. был студентом спб. университета, почему и покорнейше прошу уведомить меня письменно, *что именно* русский консул имеет мне сообщить».

Таким образом правительству оставалось снова через «Times» назначить срок, к которому Жуковский и Мошкалов должны были явиться в сенат. Положено было остановиться на 1 июня старого стиля.

Разумеется, они не явились.

25 мая 1864 года сенат имел последнее заседание, закончившееся, наконец, составлением определения, подписанного 2 июня Карниолин - Пинским, Венцелем, Лукашом и Веневитиновым.

Приговор сената касается еще и других лиц, совершенно перед читателем не проходивших; он включен в него потому, что, следуя порядку следственной комиссии, сенат группировал обвиняемых по роду их преступлений, не отделяя их так, как это сделано мною для большей ясности всей картины.

Теперь ознакомлю вкратце с делом лиц, включенных в общий с Писаревым, Баллодом и др. приговор.

2 июня 1862 г. в Петербурге была найдена кое - где на улицах и лестницах следующая прокламация:

ЧЕГО МЫ ХОТИМ.

«Чего хотим мы? — блага, счастья России; достижение новой жизни, жизни лучшей без жертв невозможно, невозможно потому, что у нас нет времени медлить — нам нужна быстрая и скорая реформа! Итак, на первом месте в настоящее время стоит вопрос о пропаганде идей между народом — с этою целью каждый член нашего кружка должен стараться приобретать агентов в деревнях и селах, городах губернских и уездных, толково и ясно убедить их в необходимости скорого переворота; — но одних слов мало, нужно дело; встретит ли кто - либо в нужде простолюдина, пусть немедля он поможет ему из общей нашей кассы. Только подобные действия дадут нам любовь народа — и тогда успех будет верен; тогда будет можно смело надеяться, что скоро настанет день, когда мы скажем: мы свободны от деспотизма.

«Читано в 3-м собрании».

К выпуску и распространению этой прокламации следственная комиссия считала прикосновенными студентов Медико - Хирургической академии Рымаренка, Гюбнера, Мультановского, Ляпустина и Краковецкого и содержателя типографии купца Маркова; потом к их делу комиссия присоединила студентов московского университета Леонида Ольшевского и петербургского — Николая Кемарского и Петра Ткачева и той же академии Владимира Яковлева, об'яснив такое соединение существом обоих дел — изготовлением и распространением возмутительных сочинений.

30 ноября 1862 г. комиссия представила всеподданнейший доклад об Ольшевском и других. Из доклада видно, что за участие в университетских беспорядках Ольшевский 24 декабря 1861 г. был выслан на родину под надзор полиции, а 23 апреля самовольно вернулся в столицу. В мае обер - полицмейстер получил анонимный на него донос, обвинявший в распространении прокламаций. 15 мая Ольшевский был арестован, причем обыск почти ничего не обнаружил. Однако, Ольшевский сумел достать разрешение кн. Суворова на проживание в Спб. для держания экзаменов и потому 20 мая был освобожден и получил свидетельство на дальнейшее пребывание в Спб. в течение двух месяцев. 16 июня обер - полицмейстер получил второй донос с указанием, что при первом обыске Ольшевский сумел скрыть свои бумаги, в доказательство чего доноситель приложил писанные Ольшевским прокламации: одна — «К русскому народу. Рассказ дяди Кузьмича», вторая без заглавия аналогичного содержания. Немедленно был произведен второй обыск. Между прочим, был найден экземпляр какого - то стихотворения, на обороте которого невинная заметка, начинавшаяся словами «Милостивый Государь»; однако, прочитывая ее по одному слову с каждой строки слева, потом на следующей — справа и, наконец, одно за другим слова, написанные снизу, можно было установить следующий текст: «Александр должен непременно отправиться на тот свет в самом скором времени, иначе все дела примут дурной оборот и нам придется поплатиться». Ольшевский был арестован (14 июня).

Воззвание «К русскому народу», написанное, простонародным языком, было составлено в форме призыва одного крестья-

нина, дяди Кузьмича, к другим крестьянам и содержало в себе рассказ «про то, что делается на Руси, как народ страдает и плачет, а пуще всех наш брат, мужичек горемычный».

«Нет ему доли, нет счастья, бесприютному, лихая беда убила, да и пожаловаться некому, окромя разве Богу, — ну и тот видно прогневался на нас али наказанием хочет уму разуму научить, вразумить православный народ, что довольно ему чужим умом управляться и пришло времечко самому порассудить да пораздумать, что он есть такое и что должен быть человек, по образу и подобию Божьему созданный». «Ведь, подумать — всех нас один Бог сотворил, все мы его дети, а за что нам приходится то быть его пасынками, терпеть нужду да поношение разное от таких же людей только потому, что они в черных кафтанах ходят да грамоту разумеют. Дай ка и нам волю да прибери всех лиходеев, и мы сумеем грамоте учиться, да еще, чай, и их перещеголяем. Нет, братцы, не Бог поставил над нами бар, не он приказал мужичку век свой горевать, а люди это сделали, по неправде своей. Так и не след нам подставлять шею как тварям безответным, да и весь век свой трудиться для разживы тунеядцев бар да разных чиновников. Всякому должна быть своя доля, всяк трудись для себя, да и живи на трудовую копейку, не обирая ближнего».

Дальше шли жалобы на обманную волю, на тяжелые подати («Подушные то за что нам платить, душа ведь от Бога дана, и всяк человек такую же душу имеет, только, чай, у других черна она бывает от великих злодеяний, как не в пример будет сказано у становых да исправников»), на ужасы рекрутских наборов и на другие беды «православного народа, всеми обижаемого и пренебрегаемого».

«Грабят нас все, кому только придет охота, все тяжести на нас свалили, а сами живут припеваючи в палатах своих белокаменных или за морем сорят наши кровные денежки. Царь то не хочет помочь крестьянскому горю, да и куда ему сердешному, чай за охотой да пирами нет времени подумать о несчастных, — благо ему хорошо с полюбовницами да собутыльниками денежки народные проживать. Говорят даже не хватает, так за морем занимает, — народ, мол, заплатит, — народу то взять откуда?».

«Недавно как то попался мне один молодец, ни то барин, ни то купчик, — одет он, сердешный, по нашему, в красной рубашке

да в плисовых шараварах, только говорит не по нашенски, все так складно да красиво, что слушать любо. Вот, — говорит он мне, — послушай ты, дядя Кузьмич, как ты думаешь, след ли человеку лечиться, коли Господь Бог болезнь пришлет? Я ему и говорю: знамо дело, что след лечиться, чтобы здоровье получить да за работу приняться, — вот он то мне на это: ты, мол, чувствуешь, что тебе жизнь то тяжела, что доля тебе лютая, что баре сидят тебе на шее, что царь и не думает о народе, одно лишь, что всех ограбляет. Эвто и есть твоя самая то болезнь; так отчего же ты не лечишься? отчего умом разумом не раскинешь, да и топор в руки истреблять лиходеев? Земля то, говорит, ваша, да и царю не след быть, когда он о благе государства не заботится. Как так? — говорю я ему, — царя то не нужно, когда его Бог нам дал, да попы бают, что и чтить пуще отца и матери повелел. Бог и болезнь то дает, а если она тебе в тяготу, так не запрещает лечиться, попы же все врут, потому что когда царь то ничего не смотрит, то и им есть, где руки погреть, обирая с живого и мертвого. То ли дело, говорит, когда народ сам управляться станет, когда все будут равны и мужики, и баре, когда никто не будет обижать другого, землю разделим всю поровну, вот заживем на славу, да припеваючи. А время это недалеко, нужно только погадать да рассудить, умом разумом раскинуть, да топор в руки, и валяй всех угнетателей».

«Во многих концах Святой Руси православный народ готовится приняться за дело и ожидает только, когда час настанет суда за все наши слезы да печали».

«Много кой что баял мне молодец в красной рубахе, и все так хорошо, так по сердцу, что слеза меня прошибла и вздохнул я, думая: когда же придет это время, что и нашему брату, мужику, можно будет вздохнуть по-свободнее. Ведь правда, православные христиане, хорошо бы быть нам свободными, иметь каждому свой кусок землицы, да не кланяться всем, кто черный кафтан носит. Говорят, что тогда и рекрутчины не будет, а всяк, у кого есть охота, ступай служить да землю родную от врагов защищать, а не пондравилось, то и домой вернуться можно. Будем же ждать, братцы, да держать ухо востро, чтобы и нам прибавить свою долю труда на свободу православного народа» [1]).

---

[1]) Воспроизвожу по книге Б. Козьмина «П. Н. Ткачев и революционное движение 1860-х годов», М. 1922, стр. 35—38.

Во время нахождения под арестом Ольшевский написал Кемарскому: «в бумагах моих найдены записки Печаткина и Ткачева; легко может случиться, что их потребуют для допроса, равно и тебя. Дело состоит в том, чтобы вы все показали, что я никогда не сообщал вам никаких моих планов или мыслей, что вы решительно ничего не знаете. Сообщи это и лешиной величине (Яковлеву — *М. Л.*). Берегись Карла Ивановича, это тоже шпион. Скажешь тоже, что ты недавно живешь со мною и большую часть времени не был дома, а потому и не мог знать, что я делаю, что никто к нам не приходил, а, насколько тебе известно, я был занят постоянно чтением».

26 июня был, разумеется, арестован Кемарский, у которого нашли рукою Ольшевского писанное воззвание «Меры правительства для усмирения Польши», которое, по сведениям комиссии, автор хотел напечатать в одном из заграничных журналов.

Комиссия, занятая другими более серьезными делами, вернулась к этому делу уже осенью, и только 17 ноября (1862) Ткачев, не будучи арестован, был доставлен в крепость, где помещалась комиссия. На обыске у него была, между прочим, взята тетрадь, в которой были помещены различные стихотворения и в том числе уже приведенное «Памяти Михайлова». После увещевания со стороны крепостного свящ. Михаила Архангельского, Ткачев показал:

«Зовут меня Петром Никитовичем Ткачевым, от роду 18 лет, вероисповедания православного, у исповеди и св. причащения был ежегодно; имею мать, брата и двух сестер, двух дядей Федора Николаевича и Николая Николаевича Анненских; оба в отставке, живут в Спб.; сам недвижимой собственности не имею; мать имеет имение в Великолуцком у. Псковской губ., Воспитывался во 2-й спб. гимназии, поступил в университет в прошедшем году, в августе месяце; уволен был из него за невзятие матрикул; определенных занятий не имею, живу у матери. Был в прошлом году под следствием за беспорядки в спб. университете, арестован при Кронштадтской крепости. По окончании следствия был оставлен на поруках у матери.

«С бывшими студентами Ольшевским и Кемарским был знаком, познакомился с ними в Кронштадте, в особенно близких сношениях ни с одним из них не был. У Ольшевского бывал, на-

сколько могу припомнить, иногда раз в неделю, иногда два, а иногда и в две недели раз. К Кемарскому ходил я в то же самое время, как и к Ольшевскому, так как они жили на одной квартире.

«С московским студентом Ольшевским познакомился в Кронштадте. Планы, о которых говорил мне Ольшевский, касались чисто его только одного; так, напр., он мне говорил, что он думает отправиться в университет в Киев держать там экзамен кандидатом и т. под. О других же каких-нибудь своих планах и намерениях он мне ничего, насколько могу вспомнить, не говорил. Из знакомых Ольшевского я знал Кемарского, с которым познакомился в Кронштадте, и студ. Медико-хирург. академии Яковлева; с Яковлевым я познакомился у Ольшевского; виделся с ним вообще очень редко, по большей части у Ольшевского; у самого его на квартире был не более, как раз или два.

«Относительно пред'явленного мне возмутительного сочинения Ольшевского чистосердечно показываю следующее: сочинений этих я никогда ни один, ни с Ольшевским не читал и даже не знал, что они есть у Ольшевского, исключая, впрочем, статьи его «Меры правительства для усмирения Польши». Об этой статье мне Ольшевский, действительно, когда-то, не помню именно когда, говорил и даже показывал ее, но, однако, не прочел, потому что я, не считая себя в таких близких отношениях с Ольшевским, чтобы мог иметь право на его тайны, — я не просил его об этом. Что касается до участия Яковлева или Кемарского в составлении этих бумаг, то об этом я решительно ничего не знаю, так как ни с тем, ни с другим в особенно близких отношениях не был. При мне, впрочем, они, насколько помню, никогда и ничего не говорили об этих бумагах. А других знакомых Ольшевского я не знал. Не помню, именно в какое время, приблизительно, однако, не задолго до ареста Ольшевского, я зайдя к нему как-то утром, увидел у него на столе большой свернутый лист; я хотел подойти и посмотреть, что это такое, но Ольшевский предупредил меня. Он сам взял лист, развернул его и на вопрос мой: «что это такое?» отвечал, что он пишет статью о мерах правительства, применяемых к усмирению Польши. Я не спросил его, зачем и с какою целью он пишет эту статью, так как не считал себя в праве делать ему подобные

вопросы; я только сказал: «какие же это меры?». Не помню, что ответил мне на это Ольшевский; помню только, что разговор у нас перешел на польские дела. Я спросил Ольшевского, не имеет ли он каких-нибудь известий из Польши. Он отвечал, что не имеет, что у него там теперь нет знакомых. Я сообщил ему какие-то, не помню именно какие, кажется, об Ярошинском, — известия об этом, почерпнутые мною из газет. И после этого я вскоре и оставил его совсем, позабыв о его статье».

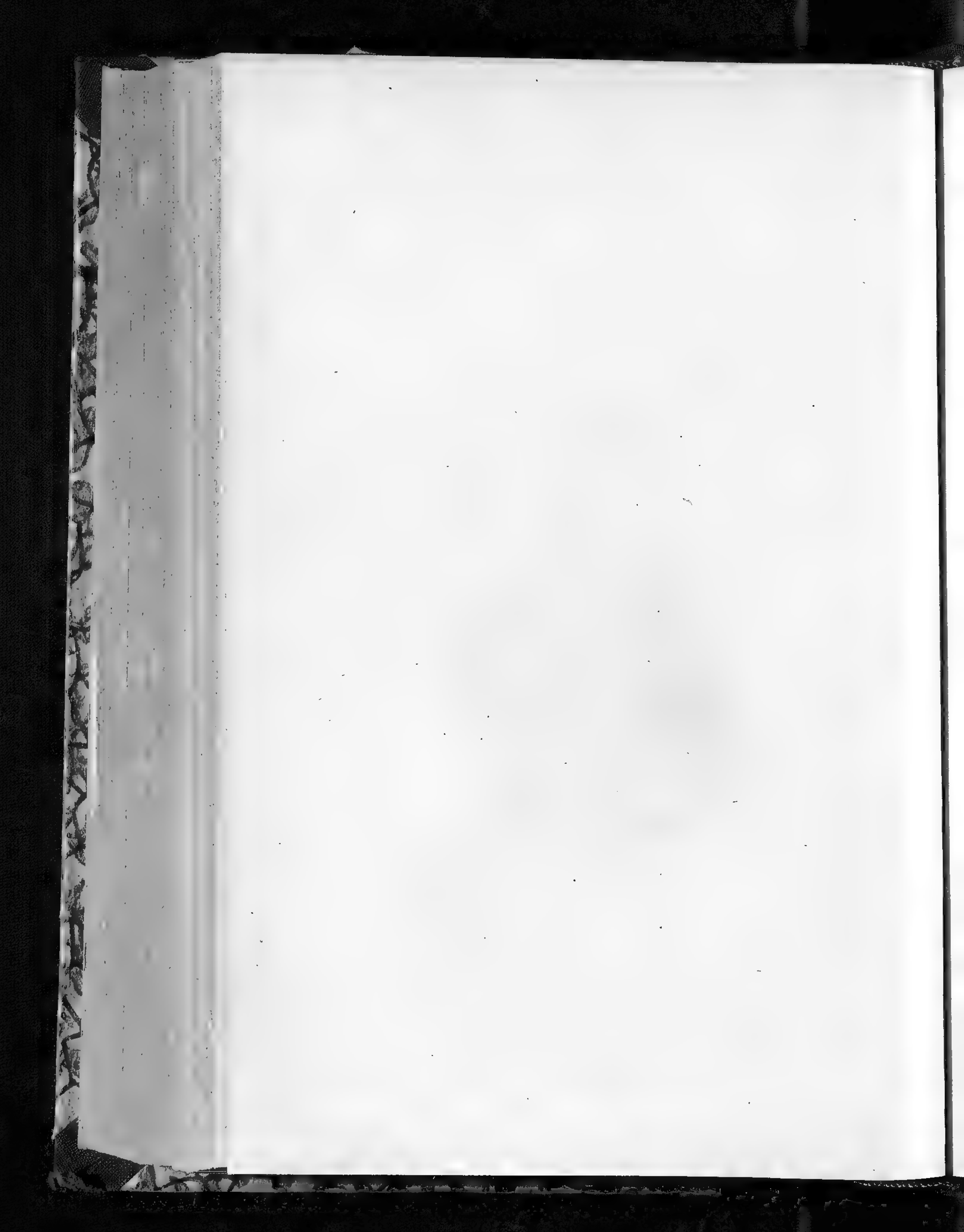
Комиссия признала нужным арестовать Ткачева, и 19 ноября он был заключен в крепость, а за Яковлевым был учрежден секретный надзор.

27 ноября Ткачеву был сделан второй допрос.

«Около года тому назад, — написал он, — познакомился в Публичной библиотеке с одним господином, познакомился настолько, что при встрече с ним мы кланялись, разговаривали — но не более; ни он моей фамилии, ни я его не знали, ни он моего местожительства, ни я его не знали. Один раз, вечером, — помню, что это было перед каким-то праздником, кажется, перед Рождеством, — когда я собирался выходить из Публичной библиотеки, господин этот вошел туда; увидя меня, он подошел ко мне, отвел меня в сторону и спросил, читал ли я сочинение Огарева «Что нужно русскому народу?»; я ответил, что нет. Тогда он всунул мне в руку лист какой-то свернутой бумаги и отошел. Меня это удивило, что человек, которого я так мало знал, и который меня так мало знал, давал мне в публичном месте запрещенные сочинения. Однако, боясь обидеть его отказом, я взял бумагу, положил ее в карман и пошел домой. Придя домой, я развернул данный мне лист и тут увидел, что, вместо одного, их было целых два; вероятно, этот господин вместо одного экз. по нечаянности дал мне два. Я прочел сочинение — и оно не произвело на меня почти никакого впечатления, так как я, вообще, не согласен с мыслями г. Огарева, хотя, впрочем, в основной идее этой прокламации я не видел ничего возмутительного, противоправительственного. Основная мысль эта, что «народу нужна земля да воля». Но разве само правительство несколько раз и открыто не высказывало эту мысль? Чем же иначе, как не этой мыслью, можно об'яснить Положение 19 февраля, чем иначе можно об'яснить и другие человеколюбивые меры, прини-



П. Н. ТКАЧЕВ.



маемые правительством для улучшения быта помещичьих крестьян, для обеспечивания их в будущем пользования землею? Прочтя сочинение Огарева, я свернул его и положил в карман; после хотел возвратить его господину, который дал мне его, но так случилось, что я его недели две или три не встречал: по случаю праздников библиотека была закрыта. А потом я с матушкой ездил в деревню, там совершенно и забыл о сочинении Огарева, забыл даже, где оно у меня лежало, забыл до того, что когда у меня был обыск, то я совсем и не подозревал, что оно у меня в кармане, вынул его оттуда с другими бумагами и сам подал его квартальному надзирателю. Читать это сочинение я никому не давал, где оно напечатано, не знаю, вероятно, впрочем, в Лондоне.

«Найденные у меня стихотворения списывал я в разные периоды моей жизни; некоторые тогда еще, когда я был в гимназии, а потому я теперь решительно не могу сказать, от кого я их всех доставал. Помню, что стихотворение «Памяти Михайлова» дал мне студент Пиотровский, с которым я познакомися в Кронштадте [1]). Последние три стихотворения получил я от одного господина, иностранца Неймерса, с которым я познакомился на лекциях в Думе. Он мне говорил, что списал их из какого - то русского заграничного издания. Кто сочинял их, он сам наверное не знал: раз он мне сказал, что Огарев, другой раз, что Блюммер. Не знаю, когда он был прав. Списывал я эти стихи обыкновенно под первым впечатлением минуты. После, когда я их, с более холодным рассудком перечитывал, то я в них ничего более не видел, как только громкие фразы да пустую болтовню. Оттого - то, верно, что там было так много громких фраз, они при известных обстоятельствах и могли произвести на меня то впечатление, под влиянием которого я их списывал. И так как я не считал эти стихи чем - нибудь важным, то и не торопился слишком уничтожить их. Некоторые, впрочем, я хранил ради смеха, так, напр., стихотворение «Воскресение Христвово», автор которого, между прочим, до того увлекся, что забыл то время, в которое мы живем, говоря, напр., что ангелы поют; забыл о том, что кажется о дне освобождения или воскресения —

[1]) Тогда уже умерший.

18 веков. По стилю своему впрочем, это стихотворение может быть отнесено скорее к 18 столетию, к периоду первой французской революции, чем к 19 веку. Не менее забавно стихотворение «Движение вперед», в котором автор призывает Европу открыть глаза и т. д. Ни списывать этих стихотворений, ни даже читать, я их никому не давал. А списывал я их в тетрадь, как я уже говорил, под влиянием минутного впечатления, и, раз списав, не торопился уничтожить, не считал достойным и слишком большого внимания».

Сергей Рымаренко показал, что родился в 1839 году, в 1858 г. вступил в Харьковский университет, затем перешел в Петербургский, деятельность свою сосредоточил исключительно в воскресных школах, «не отказывался от деятельности, имевшей целью распространение в народе образования, но не прибегал для этого никогда в противозаконным средствам, которые считает ложными в то же время». Он указывал, что иначе его уличили бы сами ученики воскресной школы. Типографский станок заказал для обойного фабриканта Хомутова, считая это совершенно пустым делом.

Марков показал, что пресс этот был заказан через него у мастера Вагнера, причем Рымаренко сказал, что станок будет взят Гюбнером, уезжавшим из Спб.; во всяком случае, этому деревянному станку нельзя было придавать серьезного значения, потому что все типографские работы давно производятся на металлических станках.

Гюбнер (род. в 1841 г., в 1850 г. вступил в тамбовскую гимназию кончил ее в 1858 г.) вполне подтвердил эти показания.

В январе и феврале 1863 г. состоялось определение сената об освобождении из крепости Мультановского, Ткачева и Кемарского. 31 января первым двоим сделано было от сената напутственное «приличное внушение». В марте Ольшевский заболел серьезно гриппом; «кроме того, по заключению врача, на лбу у него прыщи, указывающие на развитие бывшего прежде сифилиса; начиналась и бугорчатка легких». Последовало распоряжение о переводе его во 2-й военно-сухопутный госпиталь.

Помпей Яковлевич Мультановский в январе 1864 г. был допущен к держанию выпускного экзамена в Медико-Хирургической академии.

В мае 1863 г. кн. Суворов прислал шефу жандармов донос заключенного в с'езжем доме Каретной части кол. регистратора Ивана Кучинского на Ольшевского, Андрея Цветкова, Николая Кудиновича, Кемарского, Павла Никольского и Евг. Печаткина. Царь приказал направить этот донос министру юстиции для передачи сенату. При этом пояснялось, что Кудинович был прикосновенен к делу Алексея Яковлева, сосланного в каторжную работу, заключен по приговору военного суда в крепость на три месяца, а Никольский привлекался по прикосновенности к «Земле и Воле», но был освобожден.

Кучинский, арестованный за продажу золотого песка, доносил, что к Ольшевскому и Цветкову приходили в госпиталь названные выше лица и «приносили им прокламацию Русского Народного Центр. Комитета под девизом «Земля и Воля», но кто именно приносил, доноситель не знал; затем сообщил еще мнение Ольшевского, что для блага народа надо уничтожить дом Романовых. Опрос всех указанных лиц ничего не дал, Кучинский настаивал на своих показаниях; они отрицали их.

Теперь читателю ясно будет определение сената, которое привожу в его резолютивной части, — все остальное уже известно из предыдущего рассказа.

XII.

«Настоящее дело имеет предметом составление, печатание и распространение возмутительных противу правительства воззваний. Подсудимые по роду обвинения должны быть разделены на три категории, не имеющие между собою связи (исключая только одного Печаткина, о чем изложено будет ниже). К первой категории относятся: бывший студент С.-Петербургского университета Петр Баллод, кандидат Спб. у. литератор Дмитрий Писарев, бывший студент Спб. у. Василий Лобанов и почетный гражданин, бывший вольнослушатель того же университета Евгений Печаткин. Ко второй: студент Медико-Хирургической академии Сергей Рымаренко, типографщик купец Илья Марков и студенты упомянутой академии Помпей Мультановский и Юлий Гюбнер. Наконец, к третьей: бывший студент Московского университета Леонид Ольшевский, студенты Спб. у.

Петр Ткачев и Кемарский и упомянутый в I категории Печаткин».

Затем, после изложения обстоятельств дела, относящихся к каждому из названных лиц, шла уже и самая резолюционная часть определения:

«Рассмотрев все вышеизложенные обстоятельства дела сего, правительствующий сенат находит, что из подсудимых:

«1. Бывший студент Спб. университета Баллод виновен по собственному сознанию, с обстоятельствами дела совершенно согласному: а) в принятии участия в заговоре противу правительства и в заведении тайной типографии для напечатания возмутительных противу оного сочинений, б) в печатании сих сочинений и в) в распространении их посредством подкидывания. Первое из преступлений его составляет злоумышление против правительства,, предусмотренное в св. зак. угол., в главе о государственных преступлениях, в ст. 283. Но как это злоумышление Баллода открыто правительством при самом начале его, и посему никаких вредных последствий от оного не произошло, то на основ. последующей 284 ст., он подлежит наказанию по 3 или 4 степени 21 ст. уложения. Обращаясь к выбору одной их сих двух степеней наказания, сенат находит, что неискренность Баллода в сознании, ибо он, пойманный правительством на самом преступлении, не будучи в состоянии скрыть этого, тщательно утаивал своих сообщников, и нераскаянность в его преступных действиях, ибо при самых последних показаниях своих он, вместо подробного и точного изложения всех обстоятельств дела, как требовал от него правит. сенат, дозволил себе иронически отзываться о своем преступлении, сравнивая себя с охотником, идущим на медведя, — приводят сенат к тому убеждению, что он должен подвергнуться строжайшему из приведенных наказаний, т. е. по 3 степени 21 ст. За напечатание и распространение посредством разбрасывания возмутительных против правительства воззваний Баллод, на основ. 285 ст., подлежит наказанию по 5 степени 21 ст. По совокупности преступлений, на основ. 165 ст., он должен быть подвергнут строжайшему из вышеприведенных наказаний и в самой высшей оного мере, т. е. лишен всех прав состояния и сослан в каторгу в рудниках на 15 лет, а затем поселен в Сибири навсегда.

«2. Кандидат Спб. унив. Писарев виновен, также по собственному сознанию, с обстоятельствами дела вполне согласному, в составлении возмутительной статьи, заключающей в себе опровержение брошюры Шедо - Ферроти и преисполненной дерзких и оскорбительных выражений и против правительства, и против самого государя императора. Сочинение это написав, он отдал Баллоду, который сказал ему, что, может быть, ему удастся его напечатать. При таком положении дела, обращаясь к определению свойства преступления Писарева, сенат находит, что полных требуемых законом юридических доказательств к признанию Писарева виновным в составлении сочинения его с целью распространения в деле не содержится, ибо передача им статьи своей Баллоду не ведет еще к заключению, чтобы он непременно старался распространить ее, хотя по тем же обстоятельствам он в преступлении сем навлекает на себя сильное подозрение. Таким образом, не будучи признаваем вполне изобличенным в покушении распространить свое возмутительное сочинение, он положительно виновен в составлении его. Такое преступное действие закон называет приготовлением и началом покушения к возбуждению бунта и подвергает виновного в оном наказанию, в 3 ч. 285 ст. изложенному, т. е. заключению в крепости на время от 2 до 4 лет с лишением некоторых прав состояния. На основании указа 17 апреля 1863 года п. 7, заключение это должно быть сокращено на одну треть, а при обстоятельствах, уменьшающих вину, оно может быть уменьшено и на половину. Посему, обращаясь к суждению о мере наказания Писарева и сокращения оного по указу 17 апреля, сенат находит, что первоначальное упорное запирательство его в преступлении, а потом неискренность и в самом сознании, несмотря на все делаемые ему увещания, ведут к тому, что он должен понести наказание, ему следующее, в высшей оного мере, а сокращено должно быть оное на основании вышеприведенного указа сенату только на одну треть, т. е. он должен быть лишен некоторых прав и преимуществ и подвергнут заключению в крепости на 2 года и 8 месяцев, а по предмету покушения на распространение сочиненной им возмутительной статьи оставлен в сильном подозрении. Писарев во время производства дела сего ходатайствовал о смягчении ему наказания, оправдывая себя тем, что преступление

его было плодом минутного увлечения, и что он — человек впечатлительный до такой степени, что даже подвергался умопомешательству, от коего и был пользуем. Таковое ходатайство Писарева сенат признает не заслуживающим уважения, потому что статья, составленная им и заключающая два листа весьма мелкого письма, написанная при том не в один раз, а с значительным промежутком времени, доказывает обдуманность преступного его действия.

«3. Бывший студент Спб. у. Лобанов, обвиняемый в способствовании Баллоду к постоянному получению им «Колокола», в том не сознался, показав, что давал ему только некоторые номера «Колокола», простая же передача для чтения «Колокола» не составляет злоумышленного распространения сего вредного издания, по сему на точном основании 304 ст. 2 кн. XV т., он должен быть от всякой ответственности по настоящему делу освобожден.

«4. Бывший вольнослушатель Спб. ун. Печаткин обвиняется, вследствие показания Лобанова, в том, будто бы он доставлял Баллоду «Колокол» из-за границы, но Печаткин в сем не сознался, и сам Баллод в том его не оговаривает. Кроме сего, Печаткин обвиняется в знании о преступных замыслах студента Ольшевского, сочинявшего возмутительные воззвания. Обвинение это основано единственно на записке, найденной у Ольшевского от Печаткина, и на предостережении, выраженном Ольшевским в письме к Кемарскому, но Печаткин ни в участии с Ольшевским в преступных его замыслах, ни даже в знании о них не сознался, Ольшевским не оговорен, и других доказательств к обвинению его в деле нет. Но при обыске, произведенном у него, найдена возмутительная статья под заглавием «К русскому народу». Хранение такого содержания статьи, без права на то, подвергает виновного, на основ. последней части 285 ст., аресту от 7 дней до 3 месяцев и отдаче под надзор полиции на время от 1 года до 3 лет. Правительствующий сенат при первоначальном обсуждении степени вины подсудимых, во исполнение высочайшего повеления для определения того, должны ли они быть содержимы в крепости или могут быть освобождены из оной, нашел, что Печаткин может быть отдан на поруки, но предварительно освобождения признал полезным сде-

лать ему, в числе прочих, внушение, чтобы он вел себя осторожнее и не дозволял себе действий, законами воспрещенных; но несмотря на это, во время производства в сенате следствия по доносу кол. рег. Кучинского, обнаружено, что, когда Ольшевский был на излечении во 2-м сухопутном госпитале, то Печаткин, не имея права посещать его, виделся с ним под предлогом навещания бывшего там же на излечении поручика Жукова, ему вовсе незнакомого, и приносил Ольшевскому деньги. Хотя в прочих выведенных в доносе Кучинского поступках Печаткин не сознался, и доказательств на сие Кучинским не представлено, но и посещение Ольшевского, которого достигнул он через обман больничного начальства, несмотря на сделанное ему в присутствии прав. сената внушение, чтобы вел себя безукоризненно, доказывает крайнюю его легкомысленность, за что и следует сделать ему выговор (примеч. к 62 ст.). По совокупности проступков его, он должен быть присужден к строжайшему из приведенных наказаний и в самой высшей оного мере, т. е. его следует подвергнуть аресту на 3 месяца и отдать под надзор полиции на 3 года.

«5 и 6. Бежавший за границу губ. секретарь Николай Жуковский и находившийся там, с разрешения начальства, студент Мошкалов, прикосновенные к делу студента Баллода, о них, по вызове их из-за границы, высочайше повелено произвесть следствие, а в случае неявки их — поступить с ними по законам, будучи вызываемы правительством в Россию, не явились, а посему за таковое ослушание, на основ. 368 ст. кн. 1 тома XV, должны быть приговорены к лишению всех прав состояния и к вечному изгнанию из пределов государства.

«7. Студент М.-Х. академии Рымаренко и 8. типографщик купец Марков, бывший также некоторое время студентом М.-Х. академии, изобличаются: первый в заказе столяру Вагнеру типографских прессов для тайного печатания и в увозе с неизвестными лицами одного из этих прессов, а Марков в содействии Рымаренко по заказу означенных прессов. По закону, приобретение средств для совершения преступления признается лишь приготовлением к оному (10 ст. улож. о наказ.). За приготовление к совершению преступления виновный подвергается наказанию, смотря по тому, во-первых, употребленные им для

сего средства были ли противозаконные, во-вторых, самое приобретение сих средств не было ль соединено с опасностью для какого-либо частного лица, или многих, или всего общества. Наказание за одно, без сих увеличивающих вину обстоятельств, приготовление к преступлению определяется лишь в особых, именно означенных законами случаях (124 ст. улож.). Принимая засим на вид, что одно приобретение типографских прессов само по себе не составляет противозаконного действия и не соединено с опасностью ни для частных лиц, ни для общества, и что в наших уголовных законах не постановлено наказания за заказ или приобретение типографских прессов, хотя бы это и было делаемо с целью тайного печатания, правит. сенат находит, что Рымаренко за заказ двух типографских прессов, из которых один уже был им получен, а Марков за принятие участия в этом заказе, на точном основании 124 ст. улож., не подлежат никакому наказанию. Но совпадение времени заказа студентом Рымаренко типографских прессов со временем распространения в значительном количестве разных возмутительных и других преступных сочинений, тайно печатаемых, первоначальное запирательство Рымаренко и Маркова, а потом разноречивые и изворотливые об'яснения их по предмету заказа прессов и противуправительственное направление Рымаренко, ясно видимое из найденных у него при обыске бумаг, навлекают подозрение на Рымаренко в участии в злоумышленном распространении сочинений преступного содержания, а на Маркова, по близкому знакомству с Рымаренко, в знании сего. Сверх того, все эти обстоятеьства представляют достаточное основание к принятию в отношении Рымаренко и Маркова в административном порядке одной из мер, указанной в примеч. к 62 ст. улож., а именно: Рымаренко, как личность представляющуюся по делу весьма упорною и вредного образа мыслей, надлежит выслать на жительство в один из отдаленных городов Европейской России, по назначению министра внутренних дел, а Маркова отдать под особый надзор полиции на один год. Что же касается обвинения Маркова в заказе вдове унтер-офицера Андреевой пальто и шапок с особыми знаками, то по сему предмету он, как совершенно неизобличенный, должен быть от суда освобожден.

«9. Студент М.-Х. академии Мультановский [1]) обвиняется в участии с Рымаренко в заказе станков. Основанием к обвинению сему послужило токмо то, что он жил вместе с Рымаренко, что Марков писал к нему записку о платеже денег за станок, и что, по показанию Маркова, он будто бы сказывал ему, что первый станок увезен студентом Гюбнером. Но Мультановский ни в каком участии с Рымаренко и Марковым в заказе станков, ни даже в знании о том не сознался, и самими ими, кроме вышеиз'ясненного показания Маркова, не оговорен, а посему по обвинению этому он должен быть от суда освобожден, равно как и по обвинению в заказе Андреевой пальто и шапок, по непредставлению ею никаких противу него доказательств.

«10. Суждение о студенте Гюбнере должно быть отложено впредь до получения окончательных сведений от министра иностранных дел насчет помещика Черкесова, вызываемого из-за границы, от которого следует отобрать по сему делу показание [2]).

«11. Бывший студент Москов. у. Ольшевский виновен в сочинении возмутительного воззвания под заглавием «Рассказ дяди Кузьмича», с намерением напечатать и распространить его, что доказывается тем, что на самом сочинении отмечено его рукою «отдать в корректуру» и означено, сколько экземпляров этого сочинения и куда следует их разослать. Принимая во внимание, что одно намерение напечатать и распространить сочинение возмутительного содержания составляет лишь преступный умысел на это преступление, и что за подобный умысел в законах не определено какого-либо особого наказания (9 и 123 ст. улож.), правит. сенат находит, что Ольшевский должен быть подвергнут наказанию лишь за сочинение упомянутого возмутительного воззвания, а именно на основ. 3 ч. 285 ст. улож. По этой статье, виновные в составлении возмутительных сочинений, но не изобличенные в злоумышленном распространении оных, подлежат заключению в крепости на время от 2 до 4 лет с лишением некоторых особенных прав и преимуществ. При несовершеннолетии Ольшевского наказание это, на основ. 5 п. 152 ст. улож. по прод. 1863 г., должно быть уменьшено для него одною степенью, по отсутствию

---

[1]) Впоследствии небезызвестный хирург.

[2]) Потом был оправдан.

уменьшающих вину его обстоятельств, и назначено в средней мере по неискренности его в сознании (10 п. 145 ст.) с сокращением на одну треть, согласно примечанию к ст. 147 улож. по тому же продолжению (высоч. указ 17 апреля 1863 г.). По сим основаниям Ольшевский подлежит заключению в крепости на один год (1 степень 39 ст. улож.), а по освобождении из крепости, согласно высоч. повелению, последовавшему в отношении его по делу о происходивших в Спб. университете беспорядках, выслать на место родины с отдачею там под надзор полиции на один год. Что же касается обвинений, взведенных на него, Ольшевского, в доносе кол. рег. Кучинского, то он должен быть по сему предмету от суда освобожден, так как донос сей произведенным правит. сенатом следствием не подтверждается.

«12 и 13. Студенты Спб. у. Кемарский и Ткачев, обвиняемые в знании и участии с Ольшевским в преступных замыслах его, в преступлениях сих не сознались. Ольшевским не оговорены и других доказательств против них в деле нет, а потому их следует от суда освободить. Но из них Ткачев виновен в имении у себя возмутительной статьи «Что нужно народу», полученной будто бы им от неизвестного, и недонесении о том, кому следует. За таковой поступок он, на основ. 285 и 138 ст. 1 ч. XV т. св. закон. угол., должен подлежать заключению в крепости в течение года с смягчением наказания сего по несовершеннолетию его, на основ. 152 ст. улож. по прод. 1863 г. и высоч. указа от 17 апреля 1863 г., т. е. он должен быть заключен в крепость на три месяца; по обвинению же их вследствие доноса кол. рег. Кучинского, как донос сей следствием не подтвердился, следует от суда освободить.

«и 14. Обстоятельства дела, относящиеся до студентов Никольского и Кудиновича по доносу кол. рег. Кучинского, как следствием не подтвердившиеся, должны быть оставлены без последствий.

«По всем сим соображениям и на основании вышеприведенных законов правит. сенат полагает:

«1. Бывшего студента *Петра Баллода*, 24 лет, за принятие участия в заговоре противу правительства, за заведение тайной типографии для печатания возмутительных противу правительства воззваний, за печатание и распространение их посредством

подкидывания, лишить всех прав состояния и сослать в каторжную работу в рудниках на 15 лет, а затем поселить в Сибири навсегда.

«2. Кандидата Спб. у. *Дмитрия Писарева,* ныне 23 лет, за составление противу правительства и государя императора сочинения, лишить некоторых, особенных, по ст. 54, прав и преимуществ и заключить в крепость на два года и восемь месяцев, а по предмету покушения распространить это сочинение оставить в сильном подозрении; ходатайство же его о смягчении ему наказания оставить без уважения.

«3. Бывшего студента Спб. у. *Евгения Печаткина,* 24 лет, по предмету участия со студентом Баллодом и Ольшевским в преступных замыслах от суда освободить, а за имение у себя возмутительной статьи под заглавием «К русскому народу» и за посещение студента Ольшевского, посредством обмана, во 2-м сухопутном госпитале, выдержать под арестом три месяца и отдать под надзор полиции на 3 года.

«4. Бежавшего за границу губ. секр. *Николая Жуковского* за ослушание противу правительства, состоящее в неявке его в Россию, несмотря на делаемый ему вызов, лишить всех прав состояния и считать его изгнанным навсегда из пределов государства.

«5. Бывшего студента Москов. у. *Леонида Ольшевского,* ныне 23 лет, за сочинение возмутительного воззвания заключить в крепость на один год и потом выслать его на место родины с отдачей там под надзор полиции на один год, а по обвинениям, взведенным на него в доносе кол. рег. Кучинского, от суда освободить.

«и 6. Бывшего студента Спб. у. *Петра Ткачева,* 19 лет, по обвинениям в сообщничестве со студентом Ольшевским в преступных его замыслах и в посещении Ольшевского во время нахождения его во 2-м сухопутном госпитале с преступною целью от суда освободить, а за имение у себя возмутительного воззвания под заглавием «Что нужно народу» и за недонесение о том, кому следует, заключить в крепость на три месяца.

«Решение сие, на основ. 252 и 617 ст. кн. 2 тома XV, представить на высочайшее е. и. в. усмотрение и ожидать утверждения

«Затем сенат определяет: а) находившегося за границею с разрешения начальства студента *Павла Мошкалова* за ослушание противу правительства, состоящее в неявке его в Россию, несмотря на делаемый ему вызов, лишить всех прав состояния и считать его изгнанным навсегда из пределов государства; б) бывшего студента М.-Х. академии *Сергея Рымаренко,* 24 лет, оставив в подозрении в участии в злоумышленном распространении сочинений преступного содержания, выслать на жительство в один из отдаленных городов Европейской России, по назначению министра внутренних дел; в) типографщика купца *Илью Маркова,* 26 лет, оставив в подозрении в знании об участии бывшего студента Рымаренко в злоумышленном распространении сочинений преступного содержания, отдать под особый надзор полиции на один год, а по обвинению в заказе пальто и шапок с особыми знаками от суда освободить; г) студентов *Лобанова, Мультановского* и *Кемарского* от всякой ответственности по сему делу освободить; д) суждение о студенте *Гюбнере* отложить до получения окончательного уведомления от г. министра иностранных дел о помещике Черкесове и е) обстоятельства дела, относящиеся до бывших студентов *Никольского* и *Кудиновича* по доносу кол. рег. Кучинского, как розыском не подтвердившиеся, оставить без последствий, а находящиеся при деле станок типографский, шрифт и прочее отослать для уничтожения к г. спб. военному генерал-губернатору».

28 октября определение было возвращено в сенат министром юстиции вместе с предложением исполнить высочайшее повеление, последовавшее на мнении государственного совета. Последний вполне присоединился к заключению сената, и 16 октября 1864 г. в Ницце, царь положил резолюцию: «Быть по сему, но с тем, чтобы Баллоду срок каторжной работы ограничить 7-ю годами».

5 ноября, в 12 час. дня, при открытых дверях в собрании I отделения 5 департамента всем упомянутым в определении была об'явлена высочайшая воля.

---

22 мая 1865 г. Потапов писал кн. Долгорукову: «Представляемое письмо передано г.-л. Сорокиным. Письмо это обращает на себя внимание, потому что Писарев сообщает своей матери,

что он — самый деятельный сотрудник журнала «Русское Слово», известного своим дурным и вредным направлением; при этом ген. Сорокин сообщил, что Писарев пишет весьма много, статьи его передаются прямо Спб. ген.-губернатором Благосветлову, который весьма часто посещает Писарева. Писарев содержится в Екатерининской куртине в отдельном каземате и потому как переписка, так и свидания не подлежат ведению III Отделения. Писарев по своему преступлению подлежит лишению всех прав состояния и ссылке в каторжную работу, а потому во избежание, чтобы статьи Писарева не произвели бы тех же последствий, какие произошли от романа Чернышевского «Что делать?», я полагал бы снестись с министром юстиции, не признает ли он полезным переместить Писарева в Алексеевский равелин, и тогда, как выпуск его статей, так и неуместные свидания могут быть прекращены».

После беседы с Долгоруковым, Потапов надписал на этом: «оставить без последствий и приобщить к делу, 25 мая».

Таким образом, Д. И. остался под защитой кн. Суворова.

11 августа 1865 г. последний просил шефа жандармов ходатайствовать о его помиловании в виду того, что «молодой человек этот, неся заслуженное наказание с покорностью, являет из-за стен крепости пример добродетели, содержа литературными своими трудами престарелую мать и малолетних сестер», а между тем здоровье его все ослабевает. По докладу кн. Долгорукова, 28 июля дело было передано министру юстиции; 19 августа Замятнин не нашел возможным исполнить просьбу ген.-губернатора.

18 ноября 1866 г. Писарев был выпущен из крепости ранее срока, в силу п. IX манифеста о сокращении на одну треть сроков заключения. Обер-полицмейстер отобрал от него подписку о невыезде из Петербурга и запросил III Отделение, что вообще с ним делать. 22 ноября было приказано подвергнуть «бдительному наблюдению». В феврале 1868 г. Писарев просил заграничный паспорт для лечения, на что 29 февраля получил отказ. 2 июня ему разрешено было отправиться для лечения в Лифляндскую и Курляндскую губернии (Аренсбург, Виндава и Либава).

Финал известен: Д. И. утонул во время купанья.

Несколько слов об участи некоторых остальных сопроцессников.

П. Д. Баллод томился в каторге, потом был поселен в Якутской области. Как человек энергичный и практичный, он решил посвятить себя золотопромышленности, чему помогала его дружба с В. И. Базилевским, предложившим ему место главноуправляющего своими богатыми приисками. (Кстати, он принял эту должность от Л. Ф. Пантелеева, всем своим богатством обязанным тоже службе у Базилевского) [1]. В 1906—07 гг. были слухи о переезде Баллода в Америку, но я не знаю, насколько они правдоподобны. Во всяком случае, если он жив, русское революционное движение в праве пред'явить ему требование о составлении воспоминаний той эпохи, когда он стоял в рядах активных его работников.

Ев. П. Печаткин вскоре же отошел от движения, но, не принимая в нем в дальнейшем активного участия, так или иначе всегда был близок к нему и не один раз оказывал помощь своим более молодым товарищам. В 1906 году он удивил меня своею хорошею памятью и тоже был одним из тех, кто мог бы вскрыть истинную «революционность» Пантелева, занявшего «видное» место своими воспоминаниями, в которых вымысла и хлестаковщины гораздо более истины.

Н. И. Жуковский и П. Н. Ткачев, как эмигранты, известны достаточно по литературе.

Приложение I.

Письма Г. Е. Благосветлова к В. П. Попову.

I.

1857 г., июль. Лозанна.

Драгоценный и добрейший мой Василий Петрович.

Письмо ваше, отданное на почту за границей, я получил в Лозанне, перед самым от'ездом в Женеву. Сильных душевных потрясений стоила мне каждая строчка; несмотря на горькие, но совершенно справедливые упреки, я читал его с таким восторгом, какой редко испытывается в жизни. Понятно, ваше письмо

[1] „Гол. Минувш.“ 1914, XI, 141.

было первым известием с родимой земли, первым голосом друга, которого образ носится предо мной ежеминутно по вершинам Альп и в долинах счастливой Швейцарии. Лучшие минуты моей петербургской жизни в последнее время принадлежат *тебе* (да освятит твое теплое сердце эту патриархальную, но искреннюю частицу) — тебе, благороднейший мой друг. И вот новое доказательство твоего самоотверженного ко мне расположения: не изменяй ему, и я буду верить, что звезда моего счастия еще не совсем потухла. Брани меня — и я буду тебя слушать, как послушное дитя свою кормилицу; советуй мне — я приму всякий твой совет с совершенною признательностию; требуй от меня — я все готов исполнить, что не превышает сил моих. Торжественно утверждаю мой обет — обет чистейший любви к тебе и неизменной дружбы.

Итак, письма мои читаются в почтамте [1]); один англичанин очень умно заметил, что в блядском доме подобные обычаи могут быть допущены и то только потому, что блядь в юридическом смысле не имеет чести и не отвечает за нее. Не помню, насколько мои письма были откровенны; знаю только, что общее их направление не обвиняет меня, даже с точки зрения шпиона. Отдельные выражения, может быть, были неосторожны, но где же мера этой осторожности? Притом я писал их под влиянием нового общества, другой умственной атмосферы, других понятий. Видя вокруг себя безграничную свободу мысли и глубокого уважения к ней, трудно удержаться в пределах полицейского деспотизма, трудно не сказать того, что чувствуешь. Я не боюсь за себя; пусть казнят в добрый час: всякая новая жертва — шаг вперед к расплате за нее... Но меня сильно тревожит одно обстоятельство, — не повредил ли я тебе своим бумагомаранием? Не думаю, впрочем. Но чтобы отклонить всякую тень подозрения, я в каждом к тебе письме скажу что-нибудь в пользу колпаков. Вероятно, М. М. Попов попробовал мою переписку — на здоровье [2]). Будем называть его в официальных письмах г. Смо-

---

[1]) Попов получил письмо Благосветлова с ясным следом перлюстрации.

[2]) Тот М. М. Попов, который, сначала будучи учителем между прочим и Белинского, потом пошел по пути сыска и был видным чиновником в III Отделении с половины 1840-х годов.

родина (кисло-сладкое качество идет к нему) — и когда я тебя спрошу: «а что думает обо мне г. Смородина?», это значит, что думает III Отделение, в лице своего вожатая. Ты можешь все сообщить мне, с известным тактом, относительно г. Смородины, — а все прочее не стоит и слова. Лишь бы не затворили дверей в Россию, а о крепости нечего заботиться: даровая квартира по приезде — это недурно. Во всяком случае постараюсь сдерживать себя, сколько возможно больше, хоть и знаю, что этот пост и молитва обходится моим нервам очень дорого; но прими это, как первую жертву моей дружбы и горячего расположения к тебе, любезный друг. И чтобы смыть старые пятна, посылаю тебе самое трезвое письмо, которое было для меня рвотным, но для полиции будет исцелением... На этом развратном письме будет стоять в заглавии крест † как символ насильственного распятия моей мысли.

Да здравствует статья о Гончарове [1]); как бы я желал прочитать ее! Сократи ее в письме — и это будет славным праздником для меня. Дело в том, что справедливый протест нашел себе место в печати — и это меня радует, за это спасибо «Молве». Пора срывать маски с шарлатанства, пора оставить кумовство и раболепство — и перед кем? — перед подлейшим цензором, трусом, ленивцем и лицемером. Теперь я понимаю, что мог написать порядочный человек, об'ехав полсвета, когда с переменой каждой станции в голове мыслящего человека и наблюдательного ума являются тысячи новых идей и бездна интересных наблюдений. Нам нужны не справочные цены апельсинов и трактирных обедов, а честная живая мысль, согретая добрым чувством. Бейте этого........ до конца; я не отстану от тебя, когда будет нужно говорить в защиту правды.

Очень рад, что В. Н. Рюмин начал свой журнал [2]). Но ты

---

[1]) Статья самого Попова в № 13 «Общезанимательного Вестника» 1857 г. И. А. Гончаров считал возможным совмещение писательской и цензорской деятельности и, разумеется, сильно возмущал каждого, кто смотрел на литературу прежде всего, как на служение свободе. Благосветлов радуется, что, наконец-то, Гончарову дано было несколько вполне заслуженных щелчков.

[2]) «Общезанимательный Вестник». Успехом этот журнал не пользовался.

слишком лаконичен: с каким впечатлением приняла его публика, что говорили журналы, что говорило общее мнение? — Все это неизвестно мне, а между тем каждое твое слово, каждая буква дорога мне. Но о позволительных вещах можно говорить и в другом письме, а теперь потолкуем о предметах, более близких сердцу.

Дело вот в чем, Василий Петрович, — западная Европа страшно ненавидит Россию. За что? За прошлые ее казни, за прошлое противодействие общечеловечскому прогрессу. Поверишь ли, иногда стыдно произносить «я русский»: «ты раб» — отвечает на это общее мнение. С именем нашего доброго настоящего государя Европа соединяет великолепные надежды, но уже начинают в умах резких возникать сомнения, и не дай бог, если повернется общий голос назад... Сообщу при свидании, в каком отношении мы находимся к мыслящей Германии, Англии и Швейцарии. Нас боятся и презирают в одно и то же время.

Как далеко мы отстали в цивилизации от западно-европейских народов — трудно измерить это расстояние. Здесь жизнь кипит, рвется по всем направлениям. Народ грызет последнее звено своих ржавых цепей и с каждой минутой ожидает воззвания к себе; масса пороху готово — нужна одна искра, чтобы все вспыхнуло. Наполеон качается на канате, очень ненадежном; последние выборы были пощечиной его французскому величеству: лучшие умы Франции потеряли всякое доверие к правительству; национальная гордость, имевшая право на уважение за свое прошедшее, просыпается после минутного обольщения — и полишинель оборвется, если только не уступит своей власти другим началам. Так думает вся Европа, и лихорадочные припадки Франции подтверждают это мнение.

Долго хотелось бы беседовать с тобою, — но два часа ночи, а я должен проснуться в 6 часов и целый день трястись в дилижансе по дороге в Шамуни. Из Шамуни или по возвращении из Люцерна напишу тебе подробное письмо...

Прощай, любезный друг, — или лучше — до свидания.

Письмо это посылаю с И. И. Аронстом, г. учителем Мариинского института, бывшим моим товарищем по ремеслу. Из верных рук его получишь. За благоденствие его совершенно ручаюсь.

Б. П. Преженцову напишу особенное письмо и вложу его в твое. Вручи его по назначению и не ленись писать ко мне.

Известный тебе лозаннский житель *(Г. П.)*.

II.

1857 г., сентябрь.

Дорогой Василий Петрович.

Если я не совсем исчез из твоей памяти, то прими участие в настоящем моем письме.

1. Завтра я еду в Париж, через Южную Францию; буду в Лионе, Байоне, Бордо и Орлеане и потом в царстве жандармов, на берегах Сены. Грустно расставаться с Швейцарией, которую я полюбил и которой обязан самым гостеприимным приемом. Последний месяц я жил в Женеве; последнюю неделю в Вевэ, где в прошлую зиму прекрасное юношество пело республиканскую серенаду под окном не русского генерала, а даровитейшего инженера, Тотлебена. Виноградники, теплое осеннее солнце и ненаглядная природа так приласкали меня, что я боюсь ехать в Париж; но делать нечего! В нем одном можно найти всевозможные источники образования. Итак, с 18-го сентября пиши ко мне в Париж.

Пиши! — Это слово показалось мне очень наивным после бесчисленных моих просьб и одного, только одного письма, полученного мной от моих *незабвенных* приятелей. Ко мне пишут некоторые из учеников, я с удовольствием читаю письма даже от петербургских дам, но ни одного звука из того кружка, с которым я соединен некоторыми нравственными отношениями. Как ясно виден в этом русский человек! Впрочем, извините, недавно я получил очень забавное письмо, подписанное буквами: *К. С.* [1]). Письмо писано после обеда, и, признаюсь, оно диктовано тупым желудком, в котором квас и каша еще не успели химически соединиться; из этого же письма я вижу, что автор его

---

[1]) К. Случевский, писатель.

«пюэт», — поэт после обеда и прозаик натощак, — возлюбленное чадо Аполлона, застегнутое на все крючки гвардейского мундира. Эти зашнурованные поэты ярко рисуются мне издали... В четыре месяца заграничной моей жизни ничто меня так глубоко не оскорбило, как это поэтическое письмо. Почему эта прекрасная маска не хотела подписать своего имени? — Понятно. Она пишет либералу; но подумала ли она, по крайней мере, о том, что в этой неуместной осторожности есть грубая лакейская выходка: мы чванимся какими-то светскими приличиями, тонким обхождением с людьми и не знаем самых обыкновенных человеческих отношений. О, поборники русской мысли, люди прогресса, — у них достает смелости только на громкие звуки, на величавую проповедь в кулак, а где коснется дело сказать правду открыто, стать за себя, — они готовы бросить все свои убеждения за лишнюю звездочку на эполете; да простит ему бог его воспитание по силе старого прусского военного устава! К. С. просит меня или, лучше, намекает, чтобы я известил его ответом на его письмо; пусть подойдет к моему костру, на котором жгут либералов, с горячими клещами, и тогда не дождется от меня ни одного слова, разве, с ума сойду.

И как приятно подумать об отечестве, в котором ожидает презрение, насмешка и, может быть, шпионский донос. И за что? За то, что я сделал больше, чем кто-нибудь. Я обрек себя на все лишения ради того, чтобы ехать за границу, собрать что-нибудь годное и привезть его тому же отечеству. И кто смеет заподозрить меня в том буйном либерализме, который выдумал Дубельт [1]) и подарил его России... Я либерал, говорю это с гордостию, но либерал в том смысле, в каком должен быть всякий мыслящий человек. Как будет толковать мои мысли и чувства глупый шпион — до этого мне нет дела. Не написал бы я этого, еслиб не чувствовал гнетущей тоски при взгляде на русского поэта и литератора.

Извести и других: кто боится писать либералу, — пусть передаст как-нибудь свое имя; я нигде даже не упомяну его в своих письмах и тем спасу его от мнимых гонений и угрызений совести.

---

[1]) Отставленный незадолго перед этим управляющий III Отделением соб. е. и. в. канцелярии с 1839 по 1856 год.

Неужели, в самом деле, мы храбры на то только, чтобы набуянить на улице или в трактире?

Если ты, любезный друг, боишься вести хлеб-соль с отчаянным либералом, — уничтожь посвящение, которое я поставил в заглавии своих писем, и поставил от души. Я хотел видеть твое имя, слишком близкое моему сердцу, впереди тех строк, которыми обязан тебе. Это — начало того ряда писем, которые я намерен вести о заграничном путешествии. Я обещал первую работу В. Н. Рюмину — исполняю слово. Отдай «Часы моего досуга» [1]) в его журнал, если он не отвергнет моих листков. Я желал бы напечатать поскорей, чтобы прислушаться к мнению других. Если недурно — стану продолжать. Во всяком случае, второе письмо, более интересное и почти готовое, я пришлю не раньше, как услышу твое мнение и суд читателей. Если же Рюмин не напечатает, отдай Старчевскому [2]) и возьми деньги вперед. Пожалуйста, наблюди за корректурой и, если цензор исказит отдельные выражения, исправь их.

Все идет прекрасно: работается с успехом, здоровье в общем составе поправилось; но зрение гаснет: при двух свечах едва читаю. Рукописи подрывают глаза. О Лагарпе ты писал, — но то Лагарп другой, — Франсуа, а я спрашивал тебя о Фредерике-Цезаре, воспитателе императора Александра I. Но дело решено; его переписки ни на одном языке не существует; она отчасти хранится в Лозаннской библиотеке, отчасти в государственном архиве. Мне очень хотелось бы сообщить ее р. публике; не знаю, успею ли в этом. Для историка Александра это драгоценная вещь.

Завтра посылаю статью в женевский журнал на фр. языке: один критик задел нашего Пушкина; я отвечаю ему, доказывая 1) то, что он ни бельмеса не смыслит в р. литературе, 2) не знает и азбуки р. языка, 3) пишу, что все женевские поэты не стоят и сапога Пушкина. Здесь иное царство; можно обличать все, — все, что ложь и мерзость. Редактор сам просил статью, следовательно, напечатает. Жалею одно, что журнал не имеет европейского авторитета.

---

[1]) Напечатаны в «Общезанимательном Вестнике».
[2]) А. В. Старчевский, издатель «Сына Отечества»

Пиши Христа ради скорей. На адресе везде с этой минуты ставь полное имя Blahoswetloff; в Париже пред'является паспорт и следит полиция за всеми иностранцами. В Швейцарии я не вынул ни одного раза своего ярлыка.

Поклонись, кто помнит.

2. P. S. Да скажи слово и о том, что мои деньги за статью «Карамзин». Неужели обманут? А что мои бедные статьи в «Общезаним. Вестнике»?

Искренно любящий тебя *Благосветлов.*

P. S. Я намерен написать письмо генеральше Лазаревой, которая просила меня известить ее, когда я ворочусь домой. Я забыл ее имя: сделай милость, пошли человека узнать, как ее зовут. Она живет на углу . . . [1]) улицы и Вознесен. пер., в доме *Зейферта.* Да извести меня, согласишься ли ты давать уроки ее дочери: славная девушка. Если да, — я буду писать Лазаревой об этом, — она ждет моего совета.

А что твои дела в Нижнем - Новгороде? Пиши о них.

III.

1858 г., 15 января. Париж.

Любезный друг, Василий Петрович, кажется, я поздравлял тебя с новым годом, да еще вдвоем [2]). Желаю же тебе совершенного успеха в твоих любовных похождениях, в литературных трудах и чинах. Особенно желаю исправления в упорно осторожном характере и слишком набожном поведении относительно твоих друзей. До нас доходят страшные слухи о вас. 1 - х, будто вы освободили крестьян, на что очень сердятся в Париже помещики, разумно думающие, что после уничтожения кабалы им нельзя будет мотать даровые деньги в парижских кафэ и в собраниях лореток. Некоторые так обижаются, что, сломя голову, поехали к святым местам умолять Спасителя о спасении их крепостных душ. 2 - х, будто вы уничтожили чины. На это особенно не-

---

[1]) Название не разобрано.
[2]) Попов вскоре женился.

годуют гвардейские офицеры и лакеи, думавшие получить со временем коллежского регистратора. Вообще вы поступаете очень смело, вперед идете, а ты, не обращая внимания на окружающий тебя прогресс, продолжаешь прятаться в своих письмах за перегородкой старых убеждений. Не перестану я браниться с тобой (как мне это ни тяжело) до тех пор, пока ты не распустишь немного своей девственной скромности [1]).

Что вы особенно дурно делаете, это то, что посылаете офицеров за границу. Они совершенно испортили нашу репутацию, так что скоро не будут пускать нас ни в один порядочный дом, ни в одно учебное и ученое заведение. Одни из них покупают нищих поляков, чтобы узнать какой-нибудь секрет и, сообщив его в Петербург, выслужиться; другие добиваются чести представиться Наполеону III, как будто выше этой чести ничего лучшего нет на земле; один из них сидит в Клиши за долги; одного попросили убираться к чорту из Парижа за неприличное поведение даже с полицией. Скажи ты, пожалуйста, гвардейским и не гвардейским офицерам, что прежде надобно чему-нибудь поучиться, а потом уж и за границу ехать. Хуже нас, русских, никто не путешествует, глупее нас никто не живет в Париже. С одними мы горды, как помещики, с другими до гадости поползновенны, как лакеи, и все с наклонностью сподлить. В Париже говорят о нас так: Россия так отстала в образовании, что правительство принуждено посылать своих чиновников для исследования, как строятся помойные ямы. И это действительно. В одном со мной отеле живет русский инженер Шуберский, посланный Чевкиным [2]) единственно для того, чтобы посмотреть, как делаются паровые котлы и локомотивы. Этот малый, воспитанник Клейнмихеля [3]), часто приходит ко мне с вопросами: «что значит логика? Скажите, пожалуйста, какая наука учит правильно и красиво писать?»

Я не преувеличиваю ни на одну иоту глубокого невежества этого детины, получившего 8.000 тысяч франков казенных де-

---

[1]) Попов был очень осторожен в переписке с Благосветловым. Последний часто на это негодует.

[2]) Министр путей сообщения.

[3]) Предшественник Чевкина, известный своими «добродетелями» и изуверством.

нег для годичного путешествия. Однажды он приносит мне поправить рапорт, написанный им министру Чевкину: на 18 строчках — 28 грамматических ошибок. Но многие гораздо глупее и этого господина. Что же Париж должен думать о нас? Я не говорил бы об этом, еслиб не знал, что ты — великий патриот.

14 января, в 8 часов вечера Париж, богомерзкий и проклятый город, вздумал охотиться бомбами по Наполеону III и его худенькой супруге. В театре представляли «Вильгельма Теля», оперу, написанную вовсе не для императоров. Наполеон отправился слушать Теля; едва его карета в'ехала в улицу Пельтье, как вдруг из огромной толпы народа, всегда сопровождающей своего царя, выбежал худенький, низенький человек и, крича: «Vive l'Empereur!», замахал белым платком. Это был богомерзкий и, выражаясь слогом парижского архиепископа Марло, распроклятый сигнал. По этому сигналу из той же толпы полетели три бомбы, цилиндрического устройства, начиненные порохом и гремучей ртутью (одна бомба упала в клоак и не лопнула). Взрыв страшный, озаривший весь Итальянский бульвар пожаром. Карета Наполеона III разлетелась вдребезги; две лошади были убиты; кто попал под пули, или упал замертво, или был ранен. Помазанник же божий успел выскочить из кареты с женой и только получил легкую царапину на носу. Один из заговорщиков, видя, что удар не удался, бросился за императором с ножом, и в ту минуту, когда он готов был поразить его в затылок (Наполеон III постоянно носит стальную кольчугу), полиц. солдат хватает его за руку. Об этом умалчивают журналы, но Париж все знает. Бледный, испуганный племянник великого героя вошел в театр и прослушал оперу до конца. 400 человек арестовано; суд в Тюильери; пойду на место казни. В декабре было другое покушение. Неприятное положение Наполеона: он находится хуже, чем в осадном положении. На другой день я ходил на место этого ужасного происшествия — погром необыкновенный. Все окна в нижних этажах выбиты, стены исцарапаны пулями. Более 100 человек ранено; 12 убито. Я хожу по самой горячей почве; не нынче, так завтра явятся баррикады; но сами французы боятся будущей революции, хотя и убеждены в неизбежной ее необходимости. Мишно справедливо заметил: «мы носом чувствуем, что есть какой - то заговор и, вероятно, в войске».

Послал я тебе книг через Дюфура [1]), путем секретным, но совершенно безопасным.

От г. Гейгенбаха [2]) можешь узнать об этих книгах. Чтобы не смешать их с чужими, на моих книгах стоит буква V. Посланы — 6 № «Колокола», 3 части «Полярной Звезды» 4 кн. «Голосов из России», 1 кн. «С того берега», 1 кн. «Тюрьма и ссылка», 1 кн. «Крещеная собственность, 1 кн. Стих. Рылеева, 1 кн. Лермонтова («Демон»), 1 кн. «Войнаровский, 1 кн. «L'avenir de la Russie» [3]), 1 кн. «La Cour de la Russie» и еще две французские книги Таландье и Жантильома. NB. Еще забыл назвать одну книжку: «Les femmes de la révolution, par Michelet». Читай, давай другим, но не теряй книги. Они дороги во всех отношениях. Этим же путем я буду и впредь посылать запрещенные книги. Перед от'ездом из Франции перешлю незапрещенные морем. Пожалуйста, береги книги и отвечай мне, сколько получено, отмечая цифрой их счет.

Если у тебя от Катерины Николаевны [4]) останутся лишние деньги, посылай их мне; я сумею купить тебе порядочных книг: это и дешевле, и лучше.

Холодно в Париже, т. е. в Париже очень тепло, но для нас — русских, — холодно, потому что нет печей. Надобно постоянно греться у камина. Впрочем, зима очень мягкая. Работы мои идут хорошо; в последнее время устал, — и кутнул в двух маскарадах. Парижские маскарады, это — бешеная веселость, упоение канканом и всевозможными глупостями. Но все прилично; нет ни пьяных, ни буянов.

Моя Мими) тебе кланяется попрежнему и постоянно спрашивает: «as tu reçu la lettre de M. Popoff?». На что я отвечаю: «Il est bien méchant et toujours capable de m'oublier».

Ну прощай, любезный друг; не забывай меня своей *теплой и благоразумно откровенной строчкой.*

Г. Рюмину я посылаю с г. Гейгенбахом статью для печати. Теперь работаю над составлением лекции о Пушкине в Париже. А что если мои работы будут немножко понебрежней, — станут

---

[1]) Книгопродавец в Петербурге.

[2]) Знакомый Благосветлова.

[3]) Сочинение эмигранта кн. П. В. Долгорукова.

[4]) Неизвестно, о ком речь.

ли их печатать? Скажи откровенно; хотелось бы сберечь побольше времени и побольше денег. Вокруг меня все богачи, с казенными деньгами. Я спасибо сказал бы своей судьбе, еслиб мог заработать 5.000 франков в год. С этим можно жить в Париже. Поклонись папаше своему и не сердись на меня.

Благ.

Петру Михайловичу [1]) кланяйся в пояс, ниже, и скажи, чтобы он не беспокоился писать ко мне, если нет времени или не хочется.

IV.

Париж. 1858. 18 января.

Храбрейший и самолюбивейший мой капитан,

Василий Петрович.

Сейчас получил твоего опрятного, хорошо отпечатанного «Корсара» [2]). Бравый автор, славный «Корсар»! За одно я сержусь на этого морского разбойника, именно за то, что он разорил меня на целые 10 франков, которые я заплатил за его путешествие в Париж. На первый раз прощаю ему и очень радуюсь его смелому явлению в печати. Чтение откладываю до более досужной минуты.

Письмо твое (под № 1) согрело и утешило. Благодарю искренно. Я создан так, что без симпатического слова душа моя устает, без дружески благородной руки я слабею. Не моя вина, что не могу довольствоваться одной обыденной, пошлой действительностью. Есть инстинкты выше наших рассчетов, воли и сил — они ведут своим тайным путем за черту той жизни, которую так строго указывает горькая необходимость. За всем тем, напрасно ты обвиняешь меня в увлечении идеалным, поэтическим царством. Я желал бы жить в этом мире как можно чаще. Все равно, как ни обманывать себя, лишь бы обманывать без тяжких разочарований, без сердечных потрясений и проклятий.

---

[1]) Неизвестно кто.

[2]) «Корсар» — трагедия в 3-х действиях Попова.

Если я спокоен, доволен, — одним словом, счастлив хотя две минуты в сутки — я благословляю этот день, и он стоит благословения для каждого из нас. Но мера счастия слишком различна.... Одного удовлетворяет вполне крест с алой лентой, как собачий ошейник; другой восторгается приобретением новой тысячи рублей, украденной из кармана ближнего; третий... Я немножко строг, взыскателен к своему самодовольствию — и вот в этом заключается весь мой разлад с окружающим миром, источник горячих слез, которые текут в душе безмолвно... Но довольно элегии; ты слишком черств, чтобы понимать ее...

Я удивляюсь, почему не получено мое 3-е письмо (о Швейцарии)? Оно послано в первых числах декабря. Я боюсь, чтобы оно не пропало; черновые листы, к сожалению, уничтожены; придется составлять его почти вновь [1]). Сделай милость, упомяни об этом в следующем письме и попроси В. Н. Рюмина справиться в почтамте, в р. [2]) подлейшем почтамте. Только две почты воровские, мерзкие, отвратительно-безнравственные и существуют в мире — берлинская и р — кая. Впрочем, ты напрасно думаешь, что твои письма читаются. Мне известно из верного источника — положительно запрещено раскрывать частную переписку. Не мешает, однако-ж, во всяком случае быть *благоразумно*-осторожным.

В. Н. Рюмин вежливо, не говорю, великодушно, распорядился, прислав мне 736 франков; спасибо ему глубокое. Разумеется, заплачу статьями и, не умея работать нашаромыжку, надеюсь заплатить сторицею. Только я не знаю, сколько из этих денег я остаюсь ему должен; сосчитай это и уведомь, — только, пожалуйста, не в убыток мне. Относительно присылки биографии В. и «Общ. В.» не беспокойся; я не думал, чтобы фр. почта была так дорога. Ты поступил по-гусарски, прислав «Корсара» в Париж. Я тебя знаю и должен знать не по печати; «если мы будем судить друг о друге по статьям, — писал Дидро Гримму, — то едва ли и в 1000 лет узнаем друг друга». Помни это. Твоего «Корсара»

---

1) Третье письмо и напечатано не было. Первые два вошли в собрание сочинений Благосветлова под заглавием «Из путешествия по Швейцарии» и посвящены Попову.

2) Конечно — российском.

я крестил прямо из колыбели; напрасно ты вписал вымаранные цензором строчки — я помнил их хорошо, — вот тебе лучший комплимент, как я люблю тебя и как близко принимаю к сердцу, что производит твоя головушка. Пиши больше, только не спеши издавать скоро — давай созреть и устояться в ящике. Уведомь, как принят «Корсар» публикой и критикой. Своего мнения я не высказываю, потому что очень слаб и пристрастен к тебе. Притом я нянчил его, когда он только - что вышел из твоего мозга. Теряй меньше времени по маскарадам и вечерам: у нас все это так пошло, ничтожно, натянуто, что не стоит ни одной минуты в жизни, как бы она пуста ни была. Хорошо бы ты сделал, еслиб написал едкую статью на р. [1]) дураков, особенно богатых дураков, которые шатаются по З. Европе. Их надобно осмеять и оплевать. Результат скверный, поверь мне. Разумеется, многим это путешествие принесет огромную пользу, но это единицы, а общая сумма — толпа праздных мерзавцев, развратных, равнодушных к образованию и клеветников всякой доброй меры нашего правительства. Брошюра за брошюрой появляется в Париже — одна глупее другой, одна подлее другой — и все нашего, доморощенного произведения, «смесь франц. с нижегородским».

Относительно кафедры в парижском университете я думаю и глубоко, и печально. Место великолепное, но достижение его трудно. В Париже начинает развиваться кумовство и вечно царствует интрига. Ходзько [2]) не удержится на своем месте; его прогонят. Но чтобы заменить его, надобно быть немножко подлецом перед фр. академией. Во всяком случае думаю об этом и попробую. Напрасно ты говорил об этом М. Попову. Пожалуйста, не читай моих писем никому и не сообщай ничего о моих предприятиях. Я пишу тебе, — и тебе одному. Лекция у Мишле о Пушкине не состоялась, по случаю его болезни; вероятно, это устроится в феврале. Я познакомился с Тэном, (автором La philosophie de XIX s.) — прекрасный молодой человек, живой, умный и трудолюбивый. Он любит меня и навещает мою бедную келью. Вообрази, я живу пятую неделю совершенно в собачьей конуре. Переезжая в Hôtel de Rolin, я взял себе большую и просторную

---

[1]) Российских.

[2]) Александр Леонардович, польский писатель.

комнату, — и меня обманули. Отель полна; нанятая мной комната взята женщиной, родившей дочь; я из вежливости уступил, взял себе студенческую конуру, в ожидании лучшего помещения — и до сих пор не могу дождаться. Впрочем, останусь здесь: все близко и под рукой. *Шишков* уезжает из Парижа, и я переберусь в его комнату. Это славный, редкий р. офицер, хоть и есть лигатура.

С русскими не сближаюсь, а с кем сблизился, стараюсь бросить. Мерзость — люди. Бываю, впрочем, у Комарова, который пишет фельетон в «От. Зап.». Врун необыкновенный, но добрый человек. Жена его — прекрасная дама. Недавно познакомился с Ман - Магу, бывшим другом Введенского [1]); мы соседи и потому видимся часто.

Относительно Старчевского ты лицемеришь, не желая вредить своему приемышу — «Общ. В.». Не может быть, чтобы он не платил хороших денег за достойную статью. С московскими профессорами я разошелся: один связался с девкой, взятой им из - под лакея, другой — Лохвицкий [2]) — совершенный и . . . . . : ну их к чорту и с их протекцией перед «Р. Вестником». Когда приготовлю рукопись, уведомлю тебя, как надобно поступить. Денег у Ростовцова не стану просить, потому что не знаю о последних отзывах о моем руководстве; притом Иак. Ив. п . . . . . . гнусный, способный возмутить мало - мальски живую душу. История Басистова попала под «Колокол»; но это еще цветики, — плоды привезу в Лондон» [3]) . . .

С Поповым веди хлеб - соль [4]). Прощай.

NB. Книг моих не переплетай до моего приезда; в деньгах нуждаюсь: чем дальше живу, тем больше тратится в Париже. У французов без внешнего лоска — пропал. Дай бог сил зара-

---

[1]) Ир. Ив. Введенский — учитель Благосветлова, очень видный педагог.

[2]) А. В. Лохвицкий был исключен из сословия присяжных поверенных постановлением московского совета; потом власти отменили эту меру.

[3]) В «Колоколе» очень резко была освещена история с известным педагогом Басистовым. Можно предполагать, что ее сообщил Благосветлов.

[4]) С М. М. Поповым. Поддерживать с ним знакомство следовало, по мнению Благосветлова, чтобы быть в курсе дел.

батывать кой-что. До мая денег моих достанет; далее надеюсь на правую руку и голову; с Визгиным не церемонься: это простой и добрый человек. Деньги (35 р.) вышли после, с другими, что заработаю, и когда поднимется курс. Теперь теряю я слишком много.

Мими моей я передал твой холодный поклон и прибавил, что ты поцеловать ее не хочешь; она отвечала: «Est-t-il marié? — Non. — Mais il a quelque chose d'ours comme lui-meme dans les moments d'indisposition. — C'est juste. — Dis lui, que je suis bien mécontant de bon ami».

Девушка умная, денег не просит, времени не отнимает. О Мими никому — ни гу-гу. Из русских никто ее не знает; она мой первый и самый важный секрет.

В карты играй меньше или вовсе не играй, если проигрываешь. Думай, действуй, пиши и меня люби.

Биографию В. [1]) надо бы взять из книжных лавок: мы, кажется, осрамились ее изданием. Обделай это поумней, если не расходится. Ведь, это первый ярлык моего имени.

Передай комплимент В. Н. Рюмину за прекрасную бумагу и печать его журнала. Желаю ему счастия, а тебе — умного редакторства. Веди дело умней и осторожней.

V.

1858 г., август.

.....В Лондоне я надеюсь купить, вместе с твоими книгами, до 120 сочинений, которые имею уже в виду. Их перешлю в октябре. Но как много хороших, капитальных трудов, которые могли бы украсить любую библиотеку! Поэтому-то я и прошу тебя позаботиться о сборе денег и выписке этих книг: у кого бы они ни были, но если они в Петербурге, я без слез уеду из Лондона.

Случевский был у мен в Париже; я послал с ним Шекспира, в новом Ментеевском издании: оно лучшее из современных. Прими эту книгу на память старых дней.

---

[1]) И. И. Введенский.

Портрет свой, пожалуй, охотно вышлю из Лондона; но вот условия: 1) пришли мне немедленно портрет Дженчи[1]); я хочу ее видеть, страстно хочу видеть; 2) позволь написать ей письмо (разумеется, с ее позволения и когда получу ее портрет).

Жалею, что я не буду у тебя на свадьбе; но желаю тебе полного счастия. Уважай и люби отца; он старик добрый; о перевоспитании его поздно думать, но надо уметь ладить с ним. Он мне жаловался на тебя, как на самого негодного господина; я скажу это Дженни.

Искренно поздравляю тебя с обручением. Пусть первое кольцо на твоей руке будет первым и последним символом твоей чистой, святой и благородной любви к умной девушке. Поздравил бы я с крестом, еслиб не видел в нем дурного признака будущего Попова. В Лондоне мальчишки бросают грязью в вас — великолепных кавалеров . . . Но ты в Петербурге, и потому носи свое отличие на здоровье.

С завтрашнего дня я занимаюсь в British Museum; сегодня у меня был мистер Попов[2]), р. поп в Лондоне, — совершенный англичанин; вчера был Стрэчь, которого я учил по-русски в Петербурге — он был при посольстве. Был я и у лондонского патриарха; он кланяется всем вам[3]) . . .

Я здоров; Париж оставил с удовольствием, — впрочем, придется еще раз завернуть в него. Адреса моего не пишу, потому что я скоро переду на частную квартиру или уеду в Оксфорд. Пиши poste restante до моего второго уведомления. За границей я остаюсь до ноября, если только не до крестин твоего сына.

В Лондоне жить очень хорошо, немного дороже, чем в Париже, но в тысячу раз удобней и честней. Искренно благодарю за высылку 700 франков.

P. S. Я Кушелеву предложил, и он принял статью: «История Сорбонны или Париж. университета». 500 фр. я получил за статью, еще 100 фр. придется получить[4]).

---

[1]) Невеста Попова.

[2]) Евгений Иванович; конечно, был не спроста, а для зондирования отношений Благосветлова к Герцену.

[3]) Разумеется, речь идет о Герцене.

[4]) Речь идет о статье «Значение Парижского университета», напечатанной в январской (первой) книжке «Русского Слова» 1859 года. Ясно,

VI.

1859 г. янв.

В прошлом письме я забыл сообщить тебе две очень нужные вещи:

1. Относительно Дюфура. Сделай милость, повидайся с ним и переговори о книгах. В этом деле ничего нет запрещенного. Ты, верно, найдешь тысячи разных способов обделать это дело. Только в Петерб. и можно раз'яснить его, с глазу на глаз, в присутствии тех мошенников, которые украли их. Скажи ему прямо, что книги посланы иностранцем, которому нет дела ни до нашей божественной цензуры, ни до наших пошлых цензоров. Этот иностранец требует от него возвращения книг в Париж, если он не может отдать их там. Поставь вопрос ясно, и я уверен, что 300 фр. черному псу не будут брошены. Говорят, ты сделался храбрей; лучшего не могу пожелать тебе даже для нового года.

2. Я забыл в прошлом письме поправить эпитафию Людовику XV, которая стоит в примечании к статье о Тюрго. Эта эпитафия начинается так: Ci—git и проч. Последние три стиха надо изменить так:

Français ne faites plus la mine,
Il rend comte sur le charbon
Des vols qu'il fit sur la farine.

Вставь их, пожалуйста, вместо тех трех стихов, которые написаны в рукописи. Память изменила, и я переврал их, а потом встретился с ними в книге.

Почему ты не пишешь ни слова о смене Палаузова [1]. Ведь, это такой факт, по которому можно догадываться о многом; он прямо относится ко мне. Что-то теперь сделает «Р. Слово»? Оно могло составить себе, если не завидную, то порядочную

что статью эту, еще осенью 1858 года, взял у Благосветлова сам гр. Кушелев-Безбородко, издатель журнала, а не Полонский, как рассказывает Шелгунов (см. стр. VIII биограф. очерка при собрании сочинений Благосветлова).

[1]) Цензор «Русского Слова».

репутацию, благодаря превосходному цензору. Мы шагаем быстро к развязке. Я в одном убежден, что худшего быть не может.

Не знаю, что сделают с моим «Кольбером» и «Тюрго», — признаюсь, работать страшно не хочется. Неизвестность хуже всякого известного зла; ей обязан я совершенным расстройством здоровья. Не знаю отчего, но с твоим от'ездом на меня стали набегать такие грустные, тяжелые минуты, что, право, жизнь становится проклятием. Я никуда не выхожу, ничего нового не приобретаю; газеты еще кой - чем интересуют, да и все тут. Не знаю, насколько справедливо мое чутье, но мы живем накануне какого-то ужасного разгрома; я читаю его в признаках времени и своей собственной тоски.

Сближение Франции с Англией и, вероятно, уступка первой Савои и Ниццы тебе, конечно, известны. Католич. попы, разбуженные брошюрой, как летучие мыши, побиты вдвойне — и в литературе и в политике. В Париже ходит слух, что Валевский сменен за будущую взятку; ему обещано низложен. принцами 1 миллион до конгресса, другой во время конг. и третий после. Наполеон III узнал это и прогнал своего родича. Император жандармов очень много работает.

VII.

1859 г., февраль.

Неосторожнейший из самых осторожных Василий Петрович, твое последнее письмо стоило мне стакана, который я разбил от испуга. Я никак не думал, что твои дипломатические способности так низко пали. Прежде, чем раз'езжать по Дюфурам, ты потрудись спросить у Гейгенбаха, какие книги должны быть посланы. Ну что, если Мелье перемешал как-нибудь, да отправил протенстантские вместо католических, — ведь, ценз. комитет отведет мне даровую квартиру в Петропавл. крепости месяцев на шесть.

Разумеется, книги посланы с тем, чтоб ты получил их от Дюфура; другие имена здесь ничего не значат; но вот вопрос: как получить их? На это нужна вся твоя сноровка, уменье и, глав-

ное, способность понимать меня, когда я не могу очень ясно выражаться. Потрудись, пожалуйста, так распорядиться: спроси Гейгенб., какие книги я поручил Мелье, и потом, когда пережуешь его ответ, попроси кого-нибудь из очень близких людей, хорошо знающих Дюф., выручить эти книги и что следует заплатить за пересылку их. Я тоже что-то слышал о Наинском, но, я думаю, его вовсе не существует на свете. А что ты понял?

Гейгенбаху нечего надуваться. Моя записка была взаимной грубостью, вызванною им самим. Он употребил выражение: «Comme si vous avez dit à M. Blag...» Ведь это, я думаю, очень пошло. С чего же он взял думать, чтоб я оклеветал или солгал на Мелье. Говорить подобные вещи на далеком расстоянии можно, но на близком не совсем удобно. Ведь, это то же значило: если не лжет он, то вы, франц. подмастерье, развяжитесь с ним. У вас и вежливости-то понимаются на свой лад, и грубости говорятся без сознания. Потому я и поднес ему свою собственную пилю [1]), на которую жаловаться нельзя, потому что кто дает их, тот и должен принимать. Растолкуй ему это; я не имею причины особенно гневаться на него, но наступить себе на ногу тоже не позволю каждому слесарю по типографии. Он, в первую минуту моего знакомства с ним, видел во мне человека, способного быть очень вежливым, но вежливым до тех пор, пока я вижу в другом, кроме светских «ridicules precieuses», и честность. Относительно предложения его выслать мне деньги пошли его к чорту. Я знаю не только немецкую, но и русскую щедрость. Я требую не денег, а чести слова и рекомендации. А что, дом умалишенных все еще на седьмой версте от Петерб., или ближе? Beati i poveri di spirito, говор. итал. пословица.

О Зотове и его литературной чести не спорю с тобой [2]). Дело не в евреях, а в принципе; ведь и мы — христиане — не далеко ушли в нравственных доблестях. Ты бы прибавил к Краевскому и Курочкину еще Галахова или Семевского и потом бы заключил: видишь ли, неуч, какие знаменитости бывают у Зо-

---

[1]) Должно быть — «пилюлю».

[2]) Речь идет об известном инциденте, начавшемся гнусной статьей в «Иллюстрации» В. Р. Зотова — «Западно-русские жиды и их современное положение», а кончившемся коллективным протестом русских литераторов всевозможных направлений.

това; следовательно, он — добродетельнейший человек. А что логика Бахмана все еще преподается у нас?

О «Рус. Слове», вместо пустой импровизации, я думаю, не мешало бы прибавить, что говорится о журнале в обществе, в чем выразилось его направление или тень направления, отпечатан ли мой «Маколэ, как оратор» [1], или нет, и как напечатан; если он вышел скверен, нечего молчать, если хорош — тоже не мешает сказать. Ты очень щедр на пустяки, но фактами скупишься. Вот будешь за границей, — увидишь, что значит хорошее, толковое сведение кабинетному человеку, отделенному от родного мира 12 тыс. миль, и оценишь, что значит умное, искреннее и теплое письмо. Мне и в этом надо просить свою судьбу Христа ради... Эх! гадость — жизнь, если повернешь ее вместо права да налево.

О сиятельной бездарности нечего иначе думать [2]. Это мальчишка, накрытый юбкой пройдохи женского рода. Статья твоя во всяком случае будет напечатана, если поймет ее графская безмозглость.

Ты меня не очень испугаешь тем, что отложишь свою поездку, — я привык к географическим меридианам и всегда любил уединение, если нет общества, — но себе повредишь. Мне кажется, тебе следовало проситься на 6 месяцев, а потом из-за границы через посольство представить свидетельство о болезни, — и дело с концом. Во всяком случае, хорошо делаешь, что едешь на 11 месяцев. После 3 первых мес. каждый день будет новой школой для тебя.

Моим глазам немного лучше; но все еще плохо видят, и работать положительно запрещено. С утра и до вечера играю на скрипке, — одного соседа выгнал и другого надеюсь прогнать. Зато первые аккорды вытвержены отлично. Когда ослепну совершенно, пойду в уличные музыканты: все же кусок хлеба, и едва ли не более легкий, чем литератор.

Поклонись Евгению Алексеевичу [3]) и Петру Михайловичу.

---

[1]) Статья озаглавлена потом: «Ораторская деятельность Маколэ».

[2]) Гр. Кушелев-Безбородко, издатель «Рус. Слова».

[3]) Инспектор Павловского института.

VIII.

1859 г., 26 апреля. Фонтенай.

Последнее твое письмо подарило мне несколько ласковых слов; я выпросил их. Искренно благодарю. Для меня всегда казалось величайшим из зол — потеря веры в самого себя, в свои силы и отвагу. Кажется, это нравственное разложение подходит ко мне. Страх этого положения тяготит меня тяжестью Мон-Блана. С той минуты, когда иссякнет последняя капля самоуверенности, существование для меня сделается безразличным, а как скоро оно безразлично, прощай и деятельность, и борьба, и, если угодно, жизнь. За этой чертой лежит одна могила, т. е. горсть пыли и тень ничтожества. Вот что отуманивает мою мысль и косвенно падает темным оттенком на мои письма к тебе. Если еще достанет воли и силы, увижу берег и устрою пристань.

Но силы падают, юношеский огонь потух, и сквозь седые пряди волос проглядывает отвратительное качество человека — малодушие. Не думай, однако-ж, чтоб я ошибался насчет своего положения. Я принял его по доброй воле и не по ошибке; я знал, что ожидало впереди, я знал его труд и горечь, но не мог измерить сил, которые необходимы, чтоб вынести его. В этом весь вопрос моей души, моих назойливых просьб к тебе. Я счел бы кровной обидой и для тебя, и для себя, еслиб не был прямодушен с тобой; твои утешения (еще раз благодарю за них) имеют огромное значение для меня, но они отзываются каким-то официальным тоном. Остались ли мои друзья верны мне или нет — это всего менее интересует меня. Я стал равнодушен к звукам, под которыми мало действительного смысла. Дружба — героизм, — высокое мужество, которому нет пределов. Так, по крайней мере, я понимал это святое имя. Я заплатил ему свой долг, может быть, безумно и нерасчетливо, но заплатил сполна. Оставь мне несколько твоего искреннего расположения, и я больше не буду просить. Что касается до любви, в моей душе всегда было место для этого чувства; но разорванный нерв трудно настроить попрежнему. От этого тайного, глубокого и не раскрывавшегося вулкана осталась куча пепла и несколько искр.

Прими это слово в менее широком значении, и тогда я скажу и соглашусь, что есть люди, которые, действительно, отдали мне с теплой рукой и теплое сердце. На это не жалуюсь, но это вчуже. Об известности я всего меньше хлопотал; я знаю срок ее и степень. Известность дается годами и заслугами. Доселе я хотел быть усердным работником, чистым жрецом науки, не той пошлой академической науки, как ее понимают у нас, нет — науки, как средства к развитию в себе прежде всего человека. Половина пути самого скучного и трудного — пройдена; за вторую половину боюсь и горюю. Когда я прошу тебя сообщать мне всякое замечание, всякое суждение — и личное, и других — о моих печатных безделицах, это не значит, чтоб я напрашивался на похвалу. Я хочу суда, потому что жажду совершенства. Я не слышу ни голоса критики, ни отзывов частных; я живу далеко от того мира, который в праве миловать и казнить меня, без протеста и апелляции; в таком положении, ты поймешь, больше чем интересно знать мнение людей, достойных моего уважения. Ты не хочешь взвесить этого требования или держишься правила старой басни, очень понятной у нас, но слишком преувеличенной тобой. Переписка с человеком, поставленным в самые невинные отношения к тебе, не вредит даже тогда, когда-б этого человека вели на виселицу. Мне больно за это, больно, потому что я верю и пылко верил в тебя. Дай бог, чтоб этот вопрос скорей окончился. Реакции моей души круты и невозвратны. Умоляя тебя о подробностях, я умоляю о знании дела, которое мне нужно. Почему, например, не сказать, что ты думаешь о той или другой моей статье, что думает N. и что думает X, — все это дорогие факты для меня. От них зависит многое не только в успехе, но и в моих отношениях к России, в которую я должен возвратиться.

Относительно книг можно успокоить меня одним ловким словом; я пойму его и перестану думать [1]).

Жалко и очень жалко, что такое прекрасное предприятие, как журнал Кушелева, упадет [2]). Графа я никогда не считал

[1]) Очевидно, речь идет о той «нелегальщине», которую так давно Благосветлов послал Попову, а последний долго не мог ее получить.

[2]) После выхода оттуда Я. П. Полонского.

выше глупого мальчишки, но его журналом всегда дорожил; он мог бескорыстно помочь р. литературе и освободить хоть нескольких писателей от каторжной работы на Краевского или Панаева [1]). Это много значит у нас; это страшно много значит для тех, которые хотят прожить десять лет лишних и трудом литератора обеспечить себе дневной кусок хлеба. Рассуди об этом и увидишь, что это первый вопрос нашего успеха, нашей цивилизации. Литератор и чиновник или помещик всегда будет дрянь, если он соединяет в себе эти два призвания. Я говорю не за свое собственное рабство, но и за других. Краевский, как мерзавец, явление обыкновенное; он-то и выигрывает, когда вы не сумете поддержать «Рус. Слово». Разумеется, ничего не могло быть нелепее, как призвать к себе холуя в критики, подобного Ап. Григор. [2]). Но что же дремлет Полонский? Почему не протестуют другие? В вас нет ни капли любви к общему делу: мы служим и больше этого ни на что не способны. Попроси от меня Полонского, что я посылаю ему свои статьи, и только ему, и никогда бы не желал вмешат. московского кожевника [3]) в мои литературные взгляды. Переговори об этом с Полонским и передай мне его мнение; я боюсь за урывки, поправки и изменения своих статей, если они будут проходить сквозь рецензию Ап. Григорьева; поговори об этом обстоятельно. Не знаю также, почему он не хочет ответить, что решено у них относительно корреспонден. о Монтанелли [4]). Личного ответа его я не требую; он может сказать тебе, а ты передашь его. К июню я пошлю новую статью в «Рус. Слово» также об Италии; это вопрос живой и всей Европы, вопрос глубокий и свободный [5])... У нас нет политического чутья, — надо развивать его.

Я просил о деньгах; пожалуйста, поспеши выслать их, если заплатят за мои последние работы. Я нуждаюсь. Перед от'ездом твоим за границу я попрошу взять у Кушелева даже вперед, хоть за одну работу — не больше, попрошу его письмом.

---

[1]) Краевский издавал «Отечественные Записки», а Панаев с Некрасовым — «Современник».

[2]) Конечно, Ап. Григорьев.

[3]) Григорьев.

[4]) О статье «Реформа Италии», как понимал ее Монтанелли».

[5]) Статья «Надежды Италии».

И если он обяжет меня, я проведу с тобой первый месяц беззаботно. Это нужно для твоего первого взгляда на заграничную жизнь.

Да, пожалуйста, слушай мои советы. Выезжай в конце мая. Знаю, разлука твоя будет тяжелая [1]), но жертва искупается вполне полезным результатом. Чем раньше выедешь весной, тем больше увидишь на первый раз, тем легче войдешь в новую сферу. Это так.

Благ.

IX.

5 января 1860.

Сочинения Полежаева, если хочешь передать прямо мне через кого-нибудь, то давай; а то вели бросить в Берлине, прямо по назначению. Тар. [2]) скажет тебе не малое спасибо.

Я все ожидал, авось хоть слово скажешь, — напечатан «Кольбер» в декабре или нет? Ты знаешь, что «Рус. Слова» в Париже нет, а других журналов достать почти невозможно.

Второе — я желал бы знать, сколько заплатил Зотов за Лолу Монтес? [3]) Знать — ради любопытства и хоть какого-нибудь факта.

Столько же интересуют меня отношения мои к редакции «Рус. Слова». «Монтанелли» не высылают, и ни одного слова в ответ. Пожалуйста, раз'ясни все эти гадости и подлости совершенно откровенно; поставь вопрос так, как я поставил бы его: дальше писать для гнусной редакции нет ни желания, ни возможности. Со всеми лишениями бедности готов примириться, чем мешаться в это стадо ослов. «Отеч. Зап.», «Библиот.» и «Рус. Вестн.» с меня довольно. Если «Тюрго» не возьмут, не замедли отдать его Краевскому; но пусть не ошибаются: я отдаю им 1-ю статью и только ее за 300 р. сер., а за вторую — счет будет осо-

---

[1]) С женой.

[2]) Слово не разобрано.

[3]) В №№ 91 и 92 «Иллюстрации» 1859 г. статья «Автобиография Лолы Монтес».

бенный. «Тюрго» стоил большого труда, и если не оборвет цензура — выйдет недурен [1]).

А почему твои статьи отложились до февраля? Я одного боюсь: ты выдашь и себя, и меня Хмельницкому [2]). Впрочем, делай, как знаешь; я помню твое мудрое правило: «ведь, всех нельзя переделать на свой лад». — Но прогнать дурака с чужого ему места всегда следует порядочному человеку.

Сделай милость, вставь поправки в статью «Тюрго». Я прилагаю их здесь, — и прошу убедительно тебя вписать их в рукопись. Они очень важны. Без твоей корректуры эти невежы и мерзавцы опять испортят работу. Спаси от литературной милиции.

Ну, что нового у вас? Авось, не побоишься написать хотя о смерти своего кума и назначении Муравьева [3]). Хотелось бы знать, что цензура Корфа и Гончарова с компанией [4]). Неужели крыса и бульдог также способны цензуровать человеческую мысль! Исполать нашему прогрессу! Еще немного — и мы, действительно, убедимся, что игра в жмурки не есть настоящая реформа.

Говорят, Тимашева сменили [5]). Тебе есть искренний привет из Лондона [6])...

---

[1]) Напечатана в «Рус. Слове».

[2]) Л. А. Хмельницкий, человек совершенно необразованный и нелитературный, по странному капризу Кушелева, вел журнал 1859 года и совсем, было, погубил его своим неумением.

[3]) Неизвестно, о каком Муравьеве идет речь. Если о М. Н., то, будучи с 1857 по 1862 г. министром госуд. имуществ, в 1860 г. он не получал никакого назначения.

[4]) Речь идет о пресловутом «Bureau de la presse» 1859 года, где Корф играл активную роль, а И. А. Гончарова приглашали туда делопроизводителем.

[5]) А. Е. Тимашев, бывший тогда управляющим III Отделением.

[6]) От Герцена.

Приложение II.

Неизвестная статья Ф. М. Достоевского.

Приводимая статья, написанная в июне 1862 г. для журнала «Время», имеет двоякий интерес: как еще одно произведение изломанного самодержавием писателя и как показатель громадного поворота, совершенного фурьеристом 1840-х годов к «почвенному» консерватизму 1860-х.

Привожу ее полностью и точно, напоминая, что цензурой она пропущена не была.

Пожары и зажигатели.

Ужасные, возмутительные слова! Как раздражительно действовали они на всех и еще продолжают действовать на многих! Много было и говорено, и писано об этом под влиянием неизбежного раздражения. Слава богу, вот уже месяц, как мы избавились от несчастия видеть зловещие шары на башнях полицейских частей. Время заговорить об этом явлении беспристрастно и хладнокровно, sine ire et studio.

Некоторые связывают это событие с появлением перед тем возмутительного памфлета под именем «Молодой России». В этом печатном листке проповедывалось наступление нового порядка, основанного на уничтожении религии, собственности и семьи, а способом для водворения такого порядка предлагалась всеобщая резня и поголовное истребление всех тех, которые не сочувствуют этим идеям. Так как вслед за появлением этого листка начались пожары, то некоторым казалось очевидным, что пожары производились партиею или кружком тех, которые составляли и распространяли памфлет под названием «Молодой России».

Такое предположение имеет, повидимому, основание, но коль скоро мы рассмотрим дело повнимательнее, то найдем это основание довольно шатким.

Действительно ли петербургские пожары явление исключительное и непосредственно зависящее — по своим признакам —

от появления возмутительного памфлета, и не могло ли оно быть в таком же виде, если бы этот памфлет не появлялся вовсе?

По своим признакам петербургские пожары принадлежат к тем бесчисленным, так сказать, эпидемиям, которые составляют одну из отличительных черт нашей истории с древнейших времен до наших дней. Эти называемые нами эпидемии совершались обыкновенно так: вдруг вспыхнет пожар, за ним другой — распространяются о поджогах толки; народное воображение выдумывает побуждения, руководящие зажигателями, пожары усиливаются; носятся слухи наперед, что в таком - то месте и в такое - то время будет пожар — и он бывает; иногда подбрасывают записки, обещающие пожар в известном месте; на жителей находит панический страх; пожары усиливаются, потом жители опомнятся, энергически принимаются наблюдать за своими домами: пожары прекращаются. Опустошения, причиненные ими, завися, разумеется, от естественных явлений погоды, способствующих распространению огня, всегда бывают, в таком случае, пропорциональны продолжительности смятения и тревоги, поражающих общество. Чем скорее жители принимаются за дело, тем удачнее спасают свое достояние.

С такими признаками пожарные эпидемии поражали многие из наших губернских и уездных городов. Пусть жители этих городов припомнят былое и, вероятно, скажут то же, что мы говорим. Так горели Казань, Тула, Кострома, Самара, Саратов, Орел и проч. и проч.

Пятый десяток живу я на белом свете и не раз бывал свидетелем таких пожарных эпидемий. Помню — учился я в одном из внутренних наших городов: в конце августа начинаются пожары, на жителей находит страх, пожары увеличиваются — на день случается по пяти, по шести пожаров; народ почему - то подозревал жидов, которые в городе не имели, однако, постоянного жительства; но в этом городе поговаривали тогда о явлении святого, и вообразили, что город жгут жиды из ненависти к святому, который своими чудотворениями поддерживает ненавистную им христианскую веру. Никаких жидов, разумеется, не поймали, а поймали какого - то лакея, который зажег дом своего барина, под всеобщую суматоху.

Через двадцать слишком лет после того, проживал я, не по своей охоте, в одном приволжском городе. В июле месяце случилось два пожара, вслед за тем распространяется слух, что город будут жечь англо-французы (тогда была Крымская война, и многие читатели русских газет, находя в них название англо-французов, воображали себе, что действительно существует на свете народ под таким названием); говорят, что 25-го июля будет пожар на такой-то самой улице, и 25-го июля действительно случается пожар на той самой улице; потом в продолжение шести дней было семь пожаров; жители пришли в такой страх, что побросали свои дома, расположились с своими имуществами в поле, другие в лодках на Волге. Наконец, благоразумнейшие успокаивают их; составляется, мимо обычной полиции, другая полиция, усиливается наблюдение за домами, и пожары прекращаются. Англо-французов, разумеется, не поймали, но приколотили до полусмерти и чуть было не бросили в огонь грузина-семинариста, который своею нерусской физиономиею и неправильным выговором подал повод принять его за англо-француза. Двое поджогов было, однако, обнаружены: поймали девочку лет 14-ти, которую исколотила барыня: в отчаянии она зажгла дом, где барыня квартировала; потом поймали мальчишку, который, живя у сапожника в ученье, в три часа утра, перелез во двор к соседу и зажег сено в конюшне. Сначала он сочинял, будто бы его научил неизвестный прохожий, а потом сознался, что сделал это для того, чтоб полюбоваться пожаром и натворить суматохи, которая ему понравилась во время прежних пожаров.

Подобные явления совершались у нас в отдаленной древности; вот, например, то же, чтб мне удалось видеть в одном из приволжских городов в пятидесятых годах настоящего столетия, повествуется в новогородской летописи под 1342 г.: «Людие бояшеся не смеяху в городе жити, но по волю, инии порли живяху, а инии по берегу в учанех, и бе видети весь град движащься и бегаша по неделе и боле; и много пакости бысть людем и убытка от лихих людей и проч.» (Новг. лет, полн. собр. р. лет, III, 81). В 1443 году три раза сряду повторился пожар на торговой стороне в Новгороде и привел народ в такое ожесточение, что тогда хватали подозрительных, бросали в огонь, свергали с моста в Волхов

(Новг. IV лет., П. С. лет., IV, 122). Сам летописец из'являет сомнение в справедливости тогдашнего народного суда. «А бог весть» — говорит он — «испытая сердца человеческая, право ли есть глаголющая»; так как народный суд совершается в раздражительности, то, без сомнения, он всегда, в таких случаях, несправедлив. Кто не вспомнит при этом приснопамятного в русской истории московского пожара при Иване Грозном, пожара, имевшего такое благотворное влияние на его характер? А каков был суд народный в то время? Обратился на невинных в этом деле, на нелюбимых народом Глинских, да еще выдумана была нелепая сказка о вынимании человеческих сердец и кроплении московских улиц водяною настойкою из этих сердец! Если бы и в наше время отдаться в таких случаях на суд народный, то вероятно выдумали бы что-нибудь подобное. Кому неизвестно, например, что очень часто при наступлении таких пожарных эпидемий обвинение падало на поляков; уверяли, что они из политической неприязни к России жгут русские города. Кто же из просвещенных русских не покраснеет за свой народ, слушая эту гнусную клевету? Замечательно, что и теперь в Петербурге, те, которые не знали ничего о прокламации, предшествовавшей пожару, по старой привычке — обвиняли поляков.

По нашему глубокому убеждению, пожарные эпидемии происходят вот каким процессом. Случайно делается два пожара один за другим вскоре; это очень легко при деревянных постройках; в народе распространяется слух о поджогах. Тогда разыгрываются страсти, высказываются сдержанные порывы, являются наружу разные побуждения. Приколотил барин слугу; в другое время ему бы ничего в голову не пришло, пощемило бы втихомолку сердце, поболела бы голова и засохла бы, как на собаке, по пословице; а теперь говорят, стали пожары — город жгут. Ах, чорт возьми — думает он — что мне терпеть? Входит он в задор, берет его сердце не то что на одного барина, а так, и сам он не знает на кого... под горячий час побежал на чердак и пустил красного петуха. Иной горемыка бесприютный — терпел давно голод и холод и всякую обиду; разнеслась весть о поджогах, видит он, что богач в один час может сделаться таким же горемыкою как он, — пробудится в нем злоба, зависть, и пустит он красного петуха. Иному под тот час приходилось за преж-

ние грехи ответ держать, пошла молва о поджогах, вот случай очиститься: все сгорело, на неизвестных поджигателях пусть взыскивают, а у него шито-крыто. А вот мазурики-жулики ткнут в страшное место пакли или труту. Красный петух распустит крылышки, а они бегают, суетятся; будто, мирской беде помогают, а сами — один то слимонит, другой то. Иной же подожжет ради одного созерцания... такая художественная натура! Болезненные нервы возбуждаются театральною картиною черных клубов дыма над полосами пламени, волнуемого ветром, треском горящего дерева, громообразным падением железных крыш, диким отчаянием теряющих и безумною беготнею спасающих свое достояние, живописною скачкою пожарных, в своих блестящих шеломах и группою праздной толпы, которая равнодушно зевает, глядя на чужое горе и дополняет собою великолепное зрелище. Понравится это зрелище — захочется воспроизвести его снова, а тут еще чувство творческого самолюбия, что, дескать, все это мы — виновники такой кутерьмы; стало-быть, мы не то, что так себе, не последняя спица в колеснице, — сколько народу хлопочут, да ничего противу нас не сделают, а мы себе стоим, будто ни в чем не бывали, ничего не знаем, не ведаем.... никто не догадывается, «что все это мы, мы настроили; молчать же, не проговариваться! Тайна, тайна!» А тайну иметь за собой — вещь пленительная, по крайней мере, пока совесть не заговорит и не разрушит обаяния. Есть в человеческом существе что-то находящее прелесть в созерцании разрушения: нравятся же на сцене пожары; потешают же ими умышленно раек; почему же иному, у кого воображение закутит на счет рассудка и чувства, не пожелать любоваться ими в натуре?

Вот так работают поджигатели по разным побуждениям и делают дело одни, а со стороны кажется, что они делают его скопом, шайкою, и чудно! Явные следы поджогов, и поджигатели ловятся, шайки — никогда, и пожарные эпидемии облекаются у нас постоянно таинственностью, подающею новый повод к новым вымыслам. Последние петербургские пожары носят признаки прежних обычных пожарных эпидемий и не имеют органической связи с явившимся перед ними памфлетом.

Разбирая сущность и тон этого памфлета, легко усмотреть, что он плод безрассудства и незрелости, а не расчетливой зло-

намеренности. Памфлет этот мог быть написан только двумя-тремя слишком недозрелыми юношами, у которых чтение западных утопий да усвоение эфемерно-возбудительных фраз отуманили временно мозг. Опытный и хитрый враг существующего порядка, конечно, взвесил бы, что с подобною откровенностью нельзя излагать революционных принципов. Мог ли бы сколько-нибудь мыслящий человек ожидать сочувствия в русском народе к проповеди безбожия и разрушения семейных связей? Могли бы грозить всем противникам своих идей всеобщею поголовною резнею, не принимая в соображение, что противников придется считать миллионами, а последователей десятками? Притом в памфлете есть противоречие, обличающее детскую необдуманность и рассеянность: например, автор, возвестивши прежде об уничтожении всякой собственности, после того толкует о том, чтобы налоги были распределены так, чтобы богатому приходилось платить больше, чем бедному. Не ясно ли, что автор еще не дорос до того, чтобы найти несовместность между разными либеральными учениями, которые со всех сторон налетели ему на голову? А что, например, значит это припоминание, чтобы те, которые начнут истреблять защитников и сторонников существующего порядка, не забывали восклицать: да здравствует демократическая и социальная Россия? Что это, как не крайнее детство, которое пленяется собственно не внутренним смыслом убеждения, а театральною картиною занятой на прокат революции и тешится ею, как ребенок игрушкою; одним словом, по нашему глубокому убеждению, это скорее ребяческая шалость, чем сознательное преступление. Может ли такой памфлет заставить подозревать существование органического общества революционеров, употребляющих для своих целей поджоги? Да и в способе поджогов есть ли что-нибудь указывающее на существование общества: ни мало. Иначе пожары не так бы начались, не так бы кончились. Члены такого злонамеренного общества могли бы произвести пожар разом в сотне мест: разве большой труд каждому члену зажечь дом, в котором он квартирует? Все бы условились произвести таким образом пожар, выбравши ветреную погоду, и столица сгорела бы в несколько часов. Да, наконец, из самого памфлета не следует непосредственно необходимости поджогов для последователей идей, которые про-

поведуются. Памфлет возбуждает к истреблению тех, которые будут несогласны с проповедуемыми идеями, следовательно, предполагает резню тогда уже, когда поднимется революционное знамя и окажется, кто будет за революцию, кто против нее. С какой стати, прежде чем эта революция началась, жечь Апраксин и Щукин дворы? Говорят: для того, чтобы размножить пролетариев и озлобить их. Да против кого же можно этим их озлобить? Разумеется, против поджигателей, а никак не против правительства, которое подает руку помощи лишенным крова и достояния, прежде чем революция успеет вспыхнуть. Остается одно сближение между памфлетом и пожарами: и то и другое — преступление, но в таком случае пришлось бы считать прикосновенными к пожарам все различные преступления, совершенные в последнее время.

Если бы и могло случиться (мы не отрицаем, однако, что после распространения слухов о том, что город зажигают составители «Молодой России» и последователи идей, проповедуемых этим памфлетом—могло случиться), что какая - нибудь болезненно - художественная натура увлеклась театральною стороною политического зажигательства и произвела пожар будто бы с этой целью, то в сущности революционные идеи служили бы здесь только предлогом, а не причиною; причина же заключалась бы в болезненности нерв поджигателя, так как Гоголев сумасшедший, вообразивши себя Фердинандом VII, королем испанским, не от того сошел с ума, что читал газеты, а от того, что неправильно их понимал, что уже прежде носил в себе зачатки сумасшествия.

V.

Дело о фотографическом воспроизведении революционных реликвий.

30 октября 1862 г. Спб. обер-полицмейстер ген.-лейт. Анненков сообщил выс. учрежденной следственной комиссии, что до сведения его дошло, что в столице стали появляться фотографические рисунки преступного содержания, такие же карточки, не дозволенные в продаже, и снимки с польских прокламаций. Принятыми, по распоряжению его, мерами дознано, что распространявшее их фотографическое заведение принадлежало студенту Медико-Хирургической академии Бонифацию Степуту и находится на Выборгской стороне, в д. Воронина; что делом этим занимаются сам Степуто, имея у себя работника, крестьянского мальчика 17 лет, Ивана Павлова, и проживавший на одной с ним квартире, студент той же академии Иван Бабашинский.

Так как фотографическое заведение Степута давно уже обращало на себя внимание полиции, которая еще в июле 1862 г. делала в ней секретный обыск, но в то время Степуто успел скрыть следы своих работ, то в заведении этом 27 октября был вновь произведен строгий осмотр, по которому преступная деятельность Степута обнаружилась вполне; причем найдены следующие предметы, заслуживающие особого внимания: 1) два фотографические негатива с рисунками, которых смысл и значение относится до Польши. В одном из них она представлена в виде женщины, лежащей на земле (а в отдалении против нее светотенное изображение генерала с надписью «К. А. Т.», — добавлено позже сенатом), а в другом — в виде двух женщин с цепями на руках, стоящих на коленях пред крестом, надломанном в основании (с гербами литовским и польским — добавлено сенатом); 2) фотографический негатив одного из польских воззваний, переведенный с печатного листа на стекло; 3) фотографический рисунок, изображающий ссыльного Михайлова в тюрьме; 4) такой же рисунок, представляющий студентов в крепости; 5) такой же рисунок, изображающий группу молодых людей в польских нацио-

нальных костюмах, весьма важный для следствия тем, что он изображает друзей и сообщников Степута, и б) несколько визитных карточек (портреты Герцена и Огарева), в том числе и самого Степута.

«При допросах Степуто сознался во всем, с явным раскаянием. Он показал, между прочим: а) что прокламация принесена к нему недели три тому назад, для отпечатания посредством фотографии, юнкером Михайловского артиллерийского училища Шукстом, что подтвердил и Иван Павлов; б) что два рисунка с аллегорическими изображениями были доставлены ему, для такового же отпечатания, офицером Михайловской артиллерийской академии Рошковским; в) что группа молодых людей в польских костюмах снята им, Степутом, по заказу всех находившихся в этой группе, между коими на первом плане помещены Шукст (в самой середине) и Рошковский (крайний с правой стороны); г) что группа студентов в крепости снята с фотографии, которую передал ему студент здешнего университета Тшастковский.

«По сделанному обыску в квартирах Шукста и Рошковского ничего особенно сомнительного не оказалось, кроме найденных у Шукста разных писем на польском языке, которые от него и отобраны; при допросах же Шукст сознался только в знакомстве с Степутом и Бабашинским, но в принесении к Степуту прокламации для оттиска посредством фотографии, равно и в снятии себя в группе молодых людей в польских национальных костюмах не сознался; Рошковский же, как в знакомстве с Степутом, так и в снятии себя в означенной группе сознался, об'яснив, что с'емка эта происходила действительно в фотографии Степута, в апреле или мае сего года, и что снимались с ним в группе товарищи его: бывший юнкер, ныне подпоручик сапер Чехович, подпоручик артиллерии Рыдзевский, подпоручик Гедройц, подпоручик Луба, подпоручик Неслуховский, юнкер Шукст, штабс-капитан Русецкий, подпоручик Маевский и еще кто-то, но кто именно, в настоящее время не припомнит. Все они снимались в чемарках и конфедератках, и около него сидел юнкер Шукст и едва ли не Чехович. За картину эту было заплачено Степуту по 1 руб. сер. с человека. Что же касается до пред'явленных ему двух рисунков с аллегорическими изображениями, то от доставки их Степуту отказался».

Спб. воен. ген.-губ. приказал передать дело в комиссию.

Степуто и Бабашинский арестованы при полиции; фотографическое же заведение закрыто.

Перевод польской прокламации, сделанный чин. Бернардом:

«Поляки! Враги наши не могли нас одолеть ни убийствами, ни преследованиями; тысячи жертв легли под пулями солдат, населили сибирские пустыни и московские казематы; а народ непоколебимый под пулями, приносит жертвы, отвергает все лживые уступки и говорит: «одного желаем, об одном взываем: желаем Польши свободной, целостной, независимой; хотим, чтобы московское и немецкое правительства не оскверняли священной земли нашей».

«Целая Европа глядит на это народное мученичество, на это неслыханное постоянство; сердца народов тронулись, и народы говорят: так Польша жила и жить должна, потому что народ, выстрадавший то, что он выстрадал; народ, которого столько раз искушали и который не поддался, этот народ не погибнет; и народы волнуются, требуя Польши, а правительства обязаны повиноваться гласу народов и обращаются к царю, чтобы Польшу успокоил, потому что иначе и они покоя иметь не будут.

«Итак, потребовалась для Европы новая комедия: навязался поляк, изменник и палач своего отечества, взявшийся разыграть комедию, а царь дает ему в пособие достойного сына Николая, своего брата Константина. Они-то даруют милости, уступки, реформы, и таким образом, Александр в глазах Европы пребудет либеральным царем, реформатором и возобновителем. Высшие классы народа успокоятся титулами и должностями, а для народа — Сибирь и виселица. Только тихо, чтобы ни единый стон не донесся до ушей Европы, чтобы западная цивилизация не переставала прославлять цивилизацию царя. Эту комедию разыгрывают для четвертой доли народа, остальному же количеству не дозволено даже подавать голос, и Александр говорит Европе: «Чего же хотите? Польша имеет реформы, а Литва и Русь — не Польша, а Россия». Царство принимает реформы, а о Руси и Литве и мысли нет. А между тем цитадель и Модлин переполнены: еженедельно воздвигается виселица на стенах цитадели; милостедаватель и царский реформатор собственноручно заменяет пули в веревку, и наша молодежь висит на мерзкой веревке, для устра-

шения умилостивленного и реформированного народа, представленного в глазах Европы, как шайка злодеев, скопище преступников и заговорщиков. Ни возраст, ни состояние здоровья не удерживают руки палача; несчастная жертва должна глядеть на последние судороги своего товарища, а женщин, детей и стариков, которые своими слезами и молитвами выказывают ужас и сочувствие, казаки бьют палками, полицейские тащат в тюрьму. Утешайся, народ — тебе даны милости и реформы!

«Враг бичует и еще насмехается; хвастается совершенными казнями; отклик с нашей стороны зовет преступлением; хочет, чтобы мы отказались от прав нашей народности, чтобы мы забыли все наше прошедшее, а еще обращается к нашим сердцам, к нашему благородству, к нашему прошедшему, которое желал бы одним взмахом истребить до основания. Поляки! ответьте так, как вам повелевают сердца ваши, ваше прошедшее и ваша обязанность; они вам повелевают: выдержать до конца, неустрашимо стоять на народной позиции, вести с врагом непримиримую борьбу, беспрерывную, без (одно слово не разобрано) и без уступок, пока не изгоните из Польши последнего врага.

Центральный Народный Комитет».

8 ноября 1862 г. Бонифаций Филиппович Степуто показал в следственной комиссии, что ему 26 лет, в Спб. находится с 1857 г. В свободное время в 1862 г. занимался фотографией.

Фотографическое заведение открыто в августе 1861 г. на имя тит. сов. Николая Покровского, с разрешения обер - полицмейстера, с целью доставления себе средств к жизни. Заказы были больше на визитные карточки; портреты реже, а копии еще реже. Работы производил вначале витебский мещ. Матвей Правило, а в последнее время крест. мальчик Иван Павлов.

Прокламация на польском языке была принесена в его отсутствие и уже была приготовлена к снятию, когда он пришел; Павлов сказал, что она принесена юнкером Шукстом, который был здесь же в квартире; Шукст подтвердил это и просил сделать один экземпляр; заказывая, он не назвал ее по содержанию, подлинник же взял с собою; узнал, что эта прокламация, только тогда, когда был сделан оттиск, за три дня до арестования, о чем и хотел донести правительству.

С Шукстом был знаком по заказу визитных карточек; поэтому решительно никаких не имел с ним разговоров о прокламации до и во время заказа, а после заказа уже и не видел его; более четырех месяцев офицером Рошковским были принесены для заказа две картины, при Правило; он заказал снять по одному оттиску, о цели снятия не сказал. Подлинники же Рошковский взял с собою.

Группа в польских костюмах была заказана от всех там находящихся, и было сделано по одному экземпляру для каждого, именно 10, и все они получили. Был знаком с некоторыми только по заказу карточек. Карточки они заказывали почти все. Костюмы, в которых они изображены на снимке, некоторые были принесены ими тогда же, при снятии их одели, а некоторые были уже одеты до прибытия в фотографию, но кто из них пришел одетым, не помнит; ушли так же, как и пришли; но пришедшие в костюмах имели на себе шинели или пальто.

Около года тому назад студент университета Тшастковский принес фотографическую картину, группу студентов, снятую в Кронштадте, с нее он просил снять два оттиска, которые он и получил. С Тшастковским был знаком еще в Витебске до выезда в Спб. Снимки Герцена, Огарева и Михайлова не помнит, когда и кем были принесены; лежали же без всякой цели.

Иван Осипович Бабашинский, 22 лет, показал, что в Спб. с августа 1861 г. Со Степутом знаком был еще в Витебске, как с товарищем по гимназии. Квартирует у него с сентября 1861 г., никаких отношений к фотографии не имел; никакой прокламации на польском языке от Шукста не принимал и до прибытия полиции ее не видел. О картинах ничего не знает: когда они были сняты и кем, что они изображают; из группы студентов в польском костюме знает только одного Рошковского и познакомился с ним в то время, когда снимался, а сношений с ним никаких не имел.

Крестьянский сын Иван Павлович Павлов, 17 лет, показал, что занимался постоянно работами в заведениях Козловского и Степута; к последнему поступил 26 июня помощником; работы его заключались в снятии с приходивших лиц фотографических карточек и копий с них, и, кроме того, во все время своего нахождения у Степута печатал картины с уже находившихся у Сте-

пута стекол, двух женщин с цепями на руках и подломанным крестом, две мужских и одну женскую фигуру в группе деревьев, преступника Михайлова в тюрьме, женщину с двумя детьми и предъявленный ему писанный по - польски оттиск. Во всех этих работах принимал участие и Бабашинский, которое заключалось в том, что в отсутствие Степута он принимал заказы, получал деньги, если же не было ни Степута, ни Бабашинского, то все это исполнял сам Павлов. Бабашинский лакировал карточки и иногда печатал их.

Со времени поступления к Степуту видел, что Шукст приходил в фотографию раза четыре или пять; первые разы по случаю заказа картинки, изображающей женщину с двумя детьми, из коих одно на руках; один раз принес для снятия печатный листок на польском языке, которого негатив взят при обыске. В этот приход Шукст застал в фотографии его и Бабашинского, а Степуто пришел позже; кого же он заставал в фотографии в другие разы, Бабашинского или Степута, припомнить не может, но помнит, что во все приходы Шукста в фотографию лично сам его не видел. Рошковский приходил в фотографию чаще Шукста, но сколько именно раз был, определенно сказать не может. В один из приходов он заказал копии с визитных карточек, а потом приходил несколько раз за этими карточками; видел ли Рошковский негативы с листка, утверждать не может.

«В начале октября, юнкер, которого я фамилии не знаю, принес печатный листок; Степута в это время дома не было, а находился Бабашинский; прочитав принесенную бумагу, они оба, т. - е. юнкер и Бабашинский, пришли ко мне, причем Бабашинский сказал, чтобы я снял с бумаги на стекло; когда я приступил к работе, в то время вошел Степуто, которому я передал приказание Бабашинского. Так как этот лист был приклеен к столбу, то Степуто посмотрел на него и сказал мне «сымайте». После этого, я снял на стекло, облил купоросом и показал Степуту, который, посмотрев на перевод, сказал «хорошо»; после чего я и поставил стекло в шкаф. В то время, когда я обливал стекло, то заметил, что принесенный юнкером листок находился у него в руках, который он им читал. Кто снял со столба листок, взял ли его юнкер или кто другой и когда он унес из квартиры, я не знаю, потому что находился в другой комнате. После сего

Бабашинский и Степуто сказали мне однажды, нужно отпечатать на бумаге этот листок, чтобы посмотреть хорошо ли выйдет, но, по неимению времени, я все откладывал и только недели чрез две или три я, по настоянию Степута и Бабашинского, перебел этот оттиск на бумагу, причем по неосторожности разбил стекло; отпечатан мною был только один пред'явленный мне экземпляр. Что было написано в принесенной юнкером бумаге, мне неизвестно, потому что я польского языка не знаю.

«Картины: три фигуры в группе деревьев и две женщины в цепях и Михайлова в тюрьме, мною были отпечатаны с находившихся уже у Степута стекол, в тот же день, когда переводил бумагу, принесенную юнкером; осталные же картины (портреты Герцена, Огарева и Мицкевича в гробу) я не снимал и не видел у Степута.

«Кем, когда и в каком количестве экземпляров была снята группа в польских костюмах, я не знаю; из числа лиц, находящихся в сей группе, я знаю только юнкера и Рошковского».

Портупей-юнкер Михайловского артиллерийского училища Адольф Осипович Шукст показал, что до того времени, пока он не снимал свою фотографию в юнкерской форме, не был знаком ни с Степутом, ни с Бабашинским и бывал у них только потому, что работа долго продолжалась; другой раз приходил, чтобы сняться группой в 10 человек; кроме этих заказов, никаких сношений не имел.

«На квартиру директора училища генерала Платова приносили полицейский офицер и чиновник печатный листок на польском языке, который, как будто, я приносил к студенту Медико-Хирургической академии Степуту и теперь второй раз вижу этот листок. Не знаю, ни кем составлен и почему составлен. В фотографическом заведении никого больше не видал, кроме Бабашинского, Степута и различных прихожан. Листок этот я не приносил никогда в фотографическое заведение, а также нигде не видал и не читал. Общее наше желание было сняться группой; надеялись, что раз'едемся по войскам после окончания училища; а в этих костюмах потому, что нам понравилось на выставленных портретах везде и хотели видеть, идет ли этот костюм нам к лицу. Каждый из нас получил по одному экземпляру, а больше не знаю, сколько снято, ибо не видел и не любопытно

было знать; но когда узнали, что нельзя сниматься в костюмах других, кроме военных, то каждый из нас порвал в куски. На портрете были: Гедройц, Неслуховский и Луба, которые находились тогда в училище, как юнкера, мои товарищи, а остальные: Рошковский, Маевский, Русецкий, Чехович и Рыдзевский были мало знакомые мне, но как я знал товарищей их Гедройца, Неслуховского и Лубу, то присоединился к ним в одну группу прощальную».

Заказ был сделан всеми вместе, и платье достали в лавке с готовыми вещами на - прокат; лавка теперь уже, кажется, сгорела, близ Гостиного двора.

Прапорщик 8 пешей артиллерийской бригады Генрих Людвигович Рошковский, 20 лет, показал, что познакомился со Степутом по случаю заказа визитных карточек в феврале 1862 г.; затем заходил к нему иногда после лекций в академии, но сиживал у него очень недолго, самое большое полчаса. Иногда, по просьбе Степута, поправлял тушью фотографические недостатки портретов. Знакомство было самое официальное.

Никаких рисунков к Степуту не приносил и не знает с достоверностью, кто таковые давал для переснятия, с какою целью и на какое употребление.

«До Святой я встретил у Степута студента университета (кажется, Московского или Киевского) Тшастковского. Студент этот дал Степуту аллегорический рисунок и, как он об'яснял, — Наполеона первого (в тени дерев), обращенного лицом к гробовому камню. Знаю, что студент этот давал Степуту и другие рисунки, но я их не видал.

«Группа, в которой я снимался с моими товарищами, не имеет единственного автора — этот необдуманный и неуместный поступок сделан по общему нашему согласию. Особого заказчика не было, а каждый сам за себя платил рубль сер. Я взял только один экземпляр. Эта шалость не имеет никакого значения и сделана без всякой цели. Не могу назвать это платье польскими костюмами: некоторые из нас были в венгерках, другие в чемарках (костюм стрельцов Московского государства), иные же были в «серменжках» (обыкновенное одеяние крестьян и несостоятельных однодворцев), я же был одет в штатском сюртуке. Правда, что в настоящее время в Польше и дворяне (молодежь и несо-

стоятельные) ходят в подобном платье. Откуда мои товарищи достали себе платье, не знаю».

27 ноября, в дополнение к показанию своему 8 ноября, Степуто подробнее об'яснил свое отношение как к Рошковскому, так и к Шуксту. Во время своих посещений они оба и их товарищи никогда ни о чем политическом, а также и о своих планах и намерениях не говорили.

«В одно из таких посещений в мае или июне Рошковский принес картину, как он назвал вид, раскрашенную акварельными красками, представлявшую озеро; на первом плане этой картины берег этого озера с деревьями, а вдали на горизонте противоположный берег озера, кустарники и горы; картина вся была освещена солнечным лучем; надпись, находившаяся на этой картине, была написана белыми красками и трудно было ее разобрать. Смысла же этой картины я никакого не подозревал. Он попросил сделать один оттиск. Картина эта несколько времени у меня лежала на столе; когда он пришел через четыре дня за нею, то она не была еще снята; он попросил, чтобы ее сняли дня через три, хотя на стекло, а на бумагу после, когда будет у меня поменьше работы. Через три дня он пришел, при нем же ее и сняли на стекло; тут же он попросил снять и другую картину печатную, изображающую святых. После этого он еще раз приходил сниматься, но об этих картинах только раз вспомнил и сказал, что ему они к спеху не нужны, а у меня замедление работы происходило по недостатку копирных рам. За три дня до моего арестования, именно 25 октября, помощник мне показал отпечатанную прокламацию, и только тогда я узнал ее содержание, и сейчас же появилась у меня мысль, что теперь мне делать, но не колеблясь, я решился донести правительству; но наступавший в субботу экзамен заставил меня отложить мое намерение на несколько дней, и в воскресенье я хотел сходить к знакомому моему г. Покровскому посоветоваться с ним, куда нужно будет обратиться и как. Все эти три дня я находился, как в жару, не знал, что делать, и на экзамене не помнил что отвечал, через что не получил даже отметки. Если бы я был в тайных сношениях с гг. Рошковским и Шукстом и сочувствовал бы их идеям и их планам, то, во-1-х, я бы не по одному только оттиску сделал с находившихся у меня несколько месяцев негативов, и в продол-

жение трех недель не одну бы прокламацию отпечатовал; во - 2 - х, не доверил бы подобных вещей, которые делаются в тайне и со всевозможными осторожностями, помощнику, которого знал только по имени, который ко мне явился без всякой рекомендации, бог весть откуда, который у меня не жил, а приходил только с 8 часов утра и был до 5 часов вечера, и работал только всего два месяца. А все это произошло оттого, что я с ними (с гг. Рощковским и Шукстом) никакого не имел сношения; но главное и то, что я никогда бы не мог сойтись с ними в идеях и желаниях, потому что я белорусс, а не поляк, и по сердцу русский. В жизни у меня было одно только — труд, и усиленный труд проложить себе дорогу в свете. И пятилетнюю свою жизнь в Петербурге со столькими бедствиями и лишениями, как для меня, так и для бедной моей матери, я никогда бы не пожертвовал за какие - нибудь мечты; но вовлекли меня в эту ответственность, опутали меня столькими нитями, поставили меня в бездну, совершенно без моей воли, без моего согласия — злые люди. Бог им судья!».

Бабашинский, после упорного запирательства во всех падавших на него обвинениях, на очной ставке с Шукстом сознался, что принесенное Шукстом воззвание он, действительно, видел и читал; когда они его прочли, Шукст сказал: «нельзя ли его снять и посмотреть, выйдет ли что - нибудь»; в это время и он, Бабашинский, повторил то же и просил Шукста, чтобы он дал его для пробы, а затем отдали его фотографу, который и снял, однако, в то время, когда он, Бабашинский, был уже в другой комнате, а потому, куда девался оригинал, — не знает. Читал ли Степуто воззвание придя домой, не видел и с ним об оном никогда не разговаривал. Незадолго до ареста он, Бабашинский, точно напомнил Павлову, сделал ли он хотя один экземпляр, чтобы посмотреть, как выйдет. Кем принесены были к Степуту найденные при обыске и пред'явленные ему оттиски с картин, не знает; может, однако, сказать, что из этих картин он никому ни одной не давал.

По всепод. докладу обстоятельств, обнаруженных комиссиею, последовало повеление: студентов Бабашинского и Степуто, применяясь к 592 ст. XV т. кн. II, предать суждению прав. сената.

Бабашинский и Степуто, быв вытребованы в присутствие

I отделения V д—та сената, дали подписки в том, что при производстве следствия пристрастных допросов им делаемо не было и что прочитанные им в сенате показания, ими данные на допросах и очных ставках, они утверждают; но при этом Бабашинский добавил, что донос на него представлен Павловым из мести; вина же его состоит в одном только любопытстве, и цели никакой не было ни со стороны его, ни со стороны Шукста.

«Сообразив вышеизложенные обстоятельства настоящего дела с законами, прав. сенат находит, что подсудимые студенты Медико - Хирургической академии Бонифаций Степуто и Иван Бабашинский оказываются, по мере участия их в преступных деяниях, за которые преданы суду — не одинаково виновными. Главнейшее обвинение их заключается в воспроизведении фотографически крайне возмутительного воззвания на польском языке к полякам, в котором, при описании в самых дерзких выражениях настоящего управления Царством, поляки призываются к отделению Польши и к непримиримой беспрерывной борьбе без уступок, пока не изгонят из Польши последнего врага. По этому предмету обвинения более виновным оказывается Иван Бабашинский. Ему принес экземпляр печатного воззвания юнкер Шукст, в отсутствие Степута; тогда же Бабашинский прочел воззвание и отдал оное работнику для снятия на бумагу и потом напоминал ему о сем. В другом виде представляется вина по сему обвинению Бонифация Степута. Хотя он видел листок, принесенный Шукстом, в день снятия оного на стекло; но по показанию его, ничем не опровергнутому, содержания напечатанного на том листке он в то время не знал, а узнал содержание лишь за три дня до ареста, когда готов был снимок, и хотел донести, но не успел. Таким образом, Бабашинский виновен в распоряжении о воспроизведении напечатанного без дозволения цензуры сочинения, принадлежащего к числу тех, о коих упоминается в статьях Уложения о преступлениях государственных, а Степуто в недонесении о сем. Кроме сего, в фотографическом заведении Степута найдены недозволенные правительством рисунки и карточки. Обращаясь к определению подсудимым наказания, прав. сенат находит, что согласно 164 ст. Ул., по неимению закона, коим определялось бы наказание за совершенное ими преступное деяние, надлежит применить к вине их 1366 ст. Ул., коею определяются

наказания за преступления по важности и роду своему наиболее с их виною сходные, а именно о наказании содержателей типографий и литографий за напечатание без дозволения цензуры сочинений, изображений и т. п., принадлежащих к числу тех, о коих упоминается в статьях 197, 207, 279, 282, 285, 286 и друг. Ул. о нак. Имея в виду, что в этих случаях содержатели типографий и литографий, по упомянутой 1366 ст., подвергаются наказаниям, определенным за сочинение и распространение означенного рода сочинений, изображений и т. п., прав. сенат признает, что воззвание к полякам, которое переведено было на бумагу по распоряжению Бабашинского, должно быть отнесено к разряду тех сочинений, о коих упоминается в ст. 285 Ул., ибо по содержанию своему имеет целью возбудить к бунту и явному неповиновению власти верховной. Засим, так как Бабашинский в распространении означенного воззвания не виновен, то согласно 2 ч. означенной 285 ст., он подлежит заключению в крепости на время от 2-х до 4-х лет, с лишением некоторых особенных по ст. 54 Улож. прав и преимуществ, и во внимание к добровольному его сознанию, в низшей мере сего наказания, а именно заключению на два года. Переходя к назначению наказания Бонифацию Степуту, правительствующий сенат, при отсттствии обстоятельств, которые опровергали бы показание его, что он узнал о содержании воззвания лишь за три дня до ареста и имел намерение донести, но не донес по встретившимся препятствиям, — признает, что ему следует, на основ. 138 ст. Ул., сделать строгое внушение о всяком признаке преступления государственного доносить немедленно. По сим соображениям прав. сенат определяет:

1) студента *Бабашинского*, виновного в получении возмутительного воззвания к полякам и в распоряжении о воспроизведении оного фотографически, заключить в крепость на два года, с лишением некоторых особенных, по ст. 54 Ул., прав и преимуществ, а по освобождении из крепости отдать под надзор местной полиции на один год;

2) студенту *Степуту* за недонесение об известном ему воззвании, сделать строгое внушение, чтобы он доносил о всяком признаке преступления государственного немедленно подлежащему начальству;

3) не исполняя сего определения, согласно 617 ст. XV т.

кн. II, представить оное на высочайшее его императорского величества благоусмотрение и ожидать утверждения».

Государственный совет согласился с определением сената; мнение его было высоч. утверждено. Виновность военных, как видно, была выделена; все они, кроме Шукста, подверглись дисциплинарным взысканиям, а дело о Шуксте было закончено уже генерал-аудиториатом. Последний полагал: лишив его портупей-юнкерского звания, дворянства и всех прав состояния, сослать в каторжную работу на заводах на четыре года. 13 июля 1863 г. царь конфирмовал этот приговор, вкратце опубликованный в № 64 «Сенатских Ведомостей».

С 1 ноября 1862 по 3 февраля 1863 г. Степуто и Бабашинский были заключены в Петропавловской крепости; затем были освобождены на поруки, а в июле были вновь заключены, уже во исполнение приговора, каждый на два года и 8 месяцев. В августе их перевели в Шлиссельбургскую крепость вместе с Вороновым и Емельяновым (по делу о прокламации «Граждане!»).

Потапов так мотивировал шефу жандармов этот перевод: «Перемещение Степута и Бабашинского в Шлиссельбург я бы полагал необходимым теперь более, чем когда-либо, по следующим соображениям:

«1) участник в их преступлении юнкер артиллерийской академии Шукст, осужденный военным судом, приговорен к лишению всех прав состояния и на 4 года в каторжную работу, а товарищи его жуируют здесь при гуманно-филантропическом управлении Петропавловской крепости;

«2) присутствие в крепости плац-ад'ютанта Пинкорнелли и, наконец,

«3) весьма желаю удалить этих господ от товарищей их студентов М.-Х. академии и забыть об них на определенный приговором срок».

По окончании срока заключения Степуто был отправлен в Вологодскую, Бабашинский — в Архангельскую губ. Надзор с них был снят в 1873 г., разрешение на повсеместное жительство дано только в 1878 г. [1]).

---

[1]) Архив сената, архив III Отд. С. Е. И. В. канцелярии 1 эксп. 1862 г. дело № 230, ч. 160.

Подобных фотографических заведений в большинстве прямо нелегальных существовало несколько. Только при их помощи весьма многие революционные реликвии 60-х годов дошли до нас, современников гораздо более поздней эпохи. Многие прокламации тогдашнего времени распространялись в провинции чисто фотографическим путем. В общем, надо сказать, что с точки зрения конспирации, они работали очень успешно.

VI.

Дело о прокламации „Граждане!“.

31 августа 1862 г. петербургский обер-полицмейстер уведомил следственную комиссию кн. А. Ф. Голицына, что некто, подписавшийся «Николай Варман», письмом по городской почте от 22 августа довел до его сведения о преступных намерениях почетного гражданина Николая Васильева, жившего на Васильевском острове, в доме 1-го кадетского корпуса, в квартире отца его, помощника начальника 4-го отделения штаба военно-учебных заведений, кол. секр. Василия Васильева.

Письмо Вармана: «Ваше превосходительство! Следя за нынешним положением политических дел, ко всему прискорбию, находишь очень много неутешительного между нынешнею молодежью, все они толкуют и делают, сами не зная что. Вот Вам пример, который выходит из ряда обыкновенных: некто Николай Васильев до того дошел, что говорит публично, нисколько не стесняясь о том, что нет бога и что должно убить царя, а с ним весь Царствующий Дом. Это так противно, что я решился донести Вашему Превосходительству следующее: Николай Васильев, между прочим, находился в Кронштадтской крепости, вместе со студентами. Постоянно всем говорит, что для блага России и народа русского непременно надо перебить весь Царствующий Дом; имеет непозволительные и запрещенные законом стихи, несколько запрещенных сочинений, между ними замечательные Фейербаха о несуществовании бога, Бюхнера о том же, под заглавием «Сила и материя», рукописные «Великоруссы», несколько рукописных прокламаций; все это он распространяет между людьми, которые не были до сих пор посвящены в тайны политических событий и не думали о них, сбивает их с пути и хочет устроить общество, в которое будут приниматься все без разбора, а он с каждым днем все более и более успевает в этом. Говорит, что 8-го сентября что-то будет такое, что всякому честному человеку должно

иметь оружие и по первому зову или крику бить Царский Дом. Много говорит с солдатами, вселяет им мысли о неверности к Царю, об измене присяге, обещает им за это много льгот и т. д. Толкует крестьянам и мужикам, что Царь их обманул, что не дал воли такой, какой обещал, что они должны требовать гораздо больше, нежели имеют, чтобы они не служили теперь помещикам и т. п. Хотя у нас и есть пословица, что в семье не без урода, но этакий урод один расплóжает их много. Еще имею честь доложить Вашему Превосходительству, что по утрам его застать нельзя, а постоянно с 10 - ти часов вечера он дома, исключая 26 - е августа, его не будет всю ночь. Остаюсь покорнейший слуга Вашего Превосходительства *Николай Варман*».

«ГРАЖДАНЕ!

«Много и долго мы спали, а нас в это время давили, били, теснили, пора проснуться и доказать и царю и всем его сподвижникам и аристократам, что мы молчали до сих пор только потому, что хотели приискать больше причин, по которым бы можно обвинить их, и за которые бы он, т. - е. царь, дал ответ народу. Причин очень много, и конец их блаженству. Долой царя! На виселицу его! Мы и без него управимся гораздо лучше. Приготовляйте оружие! Скоро наступит блаженная минута, когда не правительство, а мы выйдем победителями.

Пора! Пора!».

Вследствие этого, сделано было распоряжение об опечатании бумаг Васильева, при рассмотрении которых сведения, сообщенные Варманом, вполне подтвердились.

Воззвание, взятое у Васильева:

В числе бумаг, писанных большею частью самим Васильевым, кроме «непозволительных сочинений», оказались такие, которые особенно отличались чрезвычайно дерзкими выражениями о царе и религии, а также высказываемым желанием истребления царствующего дома и особенно — лишения жизни императора и требования конституции. Из них видно, что Васильев имел сношения с несколькими товарищами в особых для сего собраниях. В числе последних упоминались: Л. Губин, М. Губин, Г. Черкасов, Воронов, Емельянов, Волков, Никольский и другие.

Кроме того, у Васильева найден еще листок, с написанными на нем двумя строками из того воззвания «К гражданам», которое передано было в комиссию 25 мая. При сличении этих строк с оставшимся у обер-полиц. другим экземпляром воззвания, замечается сходство почерков, из чего заключить можно, что оно было сочинено, если не самим Васильевым, то с его участием и таким лицом, которое ему непременно должно быть известно. Наконец, в тетрадке (алфавите) Васильева упоминаются и другие воззвания, как, например, «Великорусс» и «Чего мы хотим». Вследствие этого Васильев был арестован и отправлен в Петропавловскую крепость.

Варман — сын часового мастера и находится на даче в деревне Коломяги.

Акт обыска: «1862 года августа 27 дня. Нижеподписавшиеся должностные лица, вследствие распоряжения его превосходительства господина с.-петербургского обер-полицмейстера, при бытности почетного гражданина Николая Васильева Васильева, вскрыли пакет, в коем были опечатаны отобранные у него, Васильева, 25 сего августа бумаги, по рассмотрении коих некоторые, как оказавшиеся запрещенного содержания, а именно: 1) стихи *«Скажите мне»* и подражание Беранже: *«А он-то все хохочет, да ну их, говорит»,* которые он, Васильев, списал под диктовку себе на память от Пиотровского, с коим содержался вместе в Кронштадтской крепости за студентскую историю; 2) *Фамилии* тех, кои, будто бы, были взяты в 1825 г. в каком-то городке, тоже по словам Пиотровского; 3) *Стихи польские,* писанные русским шрифтом, рукою Воронова; но содержание оных ему неизвестно, по незнанию им, Васильевым, польского языка; 4) *Начало адреса* к его светлости; 5) *Алфавит,* по коему Пиотровский обещал дать ему, Васильеву, эти статьи для прочтения, но так как он, Васильев, по выпуске из крепости уже не видался более с Пиотровским, то это и осталось так без исполнения; 6) *«Сила и материя»* — соч. Бюхнера, писанное рукою Воронова; 7) *Сказка,* писанная кем-то, не помнит, в Кронштадтской крепости; 8) *«Что такое наш царь?»* писанное со слов кого-то из сидевших с ним в крепости: 9) *Об'яснение* Васильева по делу Гусбина; 10) *Алфавит;* все это обозначенное прошнуровано и припечатано печатями полицейскою и именною Васильева; остальные же

бумаги, как не содержавшие в себе ничего противозаконного, также опечатаны и прошнурованы отдельно, равно и университетские записки припечатаны печатями. Причем Васильев присовокупил: что все взятое у него при обыске он хранил у себя без всякого особого намерения, а так из одного любопытства, и никому никогда ничего подобного не показывал и не читал, да и к тому же никаких знакомств с кем-либо особых не имел. О чем и составлен сей акт (идут подписи)».

6 октября комиссия Голицына приступила к допросам.

Николай Иванович Варман, 21 года, лютеранского вероисповедания, показал, что готовится в Медицинскую академию. «Отец мой и мать — финляндские подданные, при жизни своей отец занимался торговлею в Гостином дворе, где имел две лавки, кроме того у него был магазин на Васильевском острову. Предметом его торговли были: вещи серебряные, золотые и ордена, которые он представлял в капитул. Часовым же мастерством отец мой никогда не занимался. Еще перед смертию за несколько лет он сделался несостоятельным и прекратил торговлю. Письмо, пред'явленное мне в комиссии, к обер-полицмейстеру, я не писал и почерк его мне не знаком. Николая Васильева, сына чиновника, служащего в штабе его императорского величества главного начальника военно-учебных заведений, я знаю и никаких его преступных действий не знаю. Я его знал еще до поступления в Ларинскую гимназию. Впоследствии, когда он поступил в гимназию, я был у него один только раз. Но вот уже около четырех или менее лет, как я у него не был, хотя встречал его много раз по первой линии гуляющим. Особенных дружественных отношений я не имел с ним, и, встречаясь, разговаривал об общих делах знакомых, одним словом, вели разговор обыкновенный».

Николай Васильевич Васильев, 18 лет, показал:

«Воспитание мое началось в Ларинской гимназии, откуда и вышел из 2-го класса с тем, чтобы поступить на казенный счет в 3-ю гимназию, но заблагорассудил лучше воспитываться дома для поступления в университет, что и хотел свершить в нынешнем году, и остановлен был арестом; проживал все время у отца, занимался своим воспитанием, содержался средствами отца. Под следствием находился в прошлом, 1861 году, содержался с 12-го

октября по 17-е в Петропавловской крепости, откуда 17-го был переведен с прочими студентами в Кронштадт, где и пробыли до 6-го декабря того же года; дело производилось комиссией, составленной из начальства Спб. университета. Дело кончилось тем, что нас отдали на поруки, и что мы лишаемся права поступления на службу, и в случае какой-либо истории мы должны быть сосланы на жительство в другие губернии.

«Познакомился я с Варманом в Ларинской гимназии; в то время он у меня бывал несколько раз и я у него, но как я вышел из гимназии, наши посещения кончились и мы поддерживали его только в саду 1-го корпуса, куда и он и я ходил, в отношениях были не более, как старые товарищи. Он вышел из гимназии из 6-го класса и носил несколько времени форму офицера, т. е. ходил с кокардой и саблей, в мундире была какая-то смесь гимназического с уланским; потом он ходил в штатском, потом одел форму Медицинской академии; ходят слухи, что он там вольнослушающим, а кто говорит, что он и не принадлежит вовсе туда; перед арестом я его видел в штатском. Жительство имеет на В. О. между набережной и Большим проспектом по 1-й линии, в доме Шуберта.

«Сочинение Бюхнера «Сила и материя» я приобрел у студента Николая Воронова для прочтения, потому что о нем очень много говорили, и я захотел его прочитать сам. Этот случай мне доставил Воронов, и я приобрел незадолго до ареста, не успел даже прочитать всего, потому что намерен был сделать некоторые выписки, и уже начал списывать первоначально, именно где он приводит некоторые слова других сочинителей. Выписки же деланы для памяти, потому что в этом сочинении есть числа, и следовательно прочитавши раз трудно помнить. О соч. Бюхнера «Сила и материя» я слышал в Кронштадте, где говорили об нем очень много; но кто именно говорил, я не помню, потому что говорили очень многие.

«Стихотворение «Скажите мне, зачем так часто» и т. д. это самое говорил Пиотровский прозой; вследствие слышанного я хотел перевернуть в стихи, но как это никогда не удавалось, то эти листочки и бросались в ящик в Кронштадте, а оттуда перешли и в С.-П—бург; к этому же разряду принадлежит и стихотворение «Царь есть бог земной» и т. д. Стихотворение «А он-то

все хохочет» было списано со слов Пиотровского; La Marseillaise имелась потому, что она была там пета очень часто хором. «Сказка» мне досталась от кого не помню, но должен сказать, что она была у меня вся, но при перевозке конец ее потерялся.

«Стихи, писанные русским шрифтом польского сочинения, принадлежат Воронову, и я взял у него с тем, чтобы переложить их на фортепиано, потому что мне нравился его мотив и я очень хорошо запомнил его, потому что как в Петропавловской крепости, так и в Кронштадте часто пелась хором. Стихотворение «А он - то все хохочет» было списано мною со слов Пиотровского потому, что все в это время списывали стихи, какие попадались под руку, несколько вольного содержания; определенной же цели не было».

На вопрос: «С какою целью написано вами начало письма, как полагать должно, на имя С. - Петербургского военного генерал - губернатора, в котором об'ясняется о том, будто бы публика подозревала студентов в поджогах во время бывших летом сего года в столице пожаров? Окончено ли вами это письмо, и если окончено, то было ли отправлено и кому именно?» — Васильев ответил: «Письмо, писанное г - ну военному генерал - губернатору, предназначалось послать ему в виде адреса или просительного письма; цель письма была просить о защите его светлость от несправедливых нападок и подозрений, и мало того, от побоев, которые становились не редки. Письмо было кончено, но осталось только предположением, потому что сопряжено было с многими хлопотами, именно: надо было искать подписчиков, а от 10 или 12 человек посылать не стоит; а так как у нас очень малый круг знакомых, то план этот и не осуществился. Под словом у нас, я подразумеваю тех, которые были ко мне вхожи и к которым я ходил, т. - е. студенты, круг моих знакомых. Подозрения и побои, о которых я говорю выше, происходили вследствие несправедливо разнесшихся в публике и, вообще, в народе (слухов), что будто бы студенты есть виновники этих пожаров, т. - е. поджигатели».

Вопр. «Раз'ясните смысл заметок, написанных на пред'являемом вам листке, в которых упоминаются фамилии: Эссена, Топтинова, Старкова, Колесникова, Дружинина, Шестакова, Ветошникова, Завалишина, Двенкова. Кто эти лица; что означают на-

писанные после фамилии Эссена, а также рядом с поименованными другими фамилиями цифры; равно, для чего вы заметили на том же листке о составе какой-то военно-судной комиссии и какой именно, и написали после сего: «Колесовать + лишить жизни и что-нибудь похожее в вечные солдаты»?

Отв. «На этом листке выставлены фамилии, которые показаны в вопросных пунктах, есть лица, которые были замешаны в дело юнкером, который был сослан в один из гарнизонных полков, в 1825 году, за различные доносы на своих начальников. По прибытии в этот гарнизон, он начал говорить офицерам, что он принадлежал к партии Рылеева и др. и что мало по малу сговаривал продолжать труды, начатые Рылеевым; когда он успел сговорить нескольких офицеров и юнкеров, даже и некоторых солдат, он на всех их — донес, и этот листок означает их казни, решение суда, конфирмация и т. п.

«Цифры же, означенные при фамилиях, были поставлены после, потому что фамилии стоят не по порядку, и эти цифры означают кого поставить прежде, кого после, знаки означают то же. Историю эту я слышал от Пиотровского в Кронштадте».

Вопр. «С какою целью вы записали на листке и в тетради противоправительственные сочинения; читали ли вы все исчисленные в оных сочинения; и если читали, то от кого получали оные; равным образом, что означают помещенные на листке заметки: № 12 Яковлев I, № 13 Яковлев II, № 14 Яковлев III, № 15 Яковлев IV (в разных местах). 20 «я час пред умывальником». 20 «Якову Ростовцову»?

Отв. «Листок, на котором написаны разные сочинения запрещенные, есть означенные сочинения, которые он (т. е. Пиотровский) обещался мне дать, если я приду к нему на квартиру в городе, при этом дал адрес, но который затерялся, а на память я не помню; я не пошел отчасти поэтому, а отчасти и потому, что я стал посещать публичные лекции, и потому некогда было, а там он вскоре застрелился.

«Тетрадь, в которой поименовано много сочинений запрещенных, есть книга, в которую я записывал все, что читал, что видел, о чем слышал и т. д. Листок, на котором написаны были означенные сочинения, был написан с целью, чтобы не забыть, что обещал Пиотровский. Тетрадь велась в Кронштадте и

отчасти после Кронштадта, именно для того, чтобы записывать все виденное и слышанное. Стихотворения и сочинения, означенные в алфавите, получались от разных лиц, содержащихся в Кронштадте, а в городе мне сообщали все оные мои знакомые то, что сами они слышали или что они читали; к таким принадлежит большая часть из моих знакомых, студентов. Листок, на котором написано Яковлев I, II, III, IV, представляет то, что мы хотели составить компанию для того, чтобы освистать г-жу Снеткову 3-ю, для этого составлялась компания, но не состоялась, потому что никто почти не хотел этого делать. Слова же «Я час пред умывальником» и «Якову Ростовцову» принадлежат к общему алфавиту».

Вопр. «В бумагах ваших оказалась вами писанная и вам пред'являемая черновая записка, в которой говорится, что лица, к коим должна была быть послана оная, уже получили прежде того приглашение притти в такой-то день, в такой-то час, туда-то. В записке об'ясняется причина приглашения, именно, разрыв вашего кружка с г. Губиным, упоминается о прокламациях и по окончании записки поименованы несколько фамилий (начальными буквами), из коих одни названы присяжными, а другие ответственными. Об'ясните смысл этой записки, а также из кого состоял кружок и с какою целью существовал он; о каких прокламациях говорится в записке; кто такие Губин и другие лица, поименованные в записке, почему одни из них названы присяжными, а другие ответственными, и какие были к ним ваши отношения?»

Отв. «Эта записка есть заметка, происшедшая, кажется, в апреле месяце нынешнего года. Г-да Губины были вхожи к нам в дом семейством, также как и мы. В это время, т. е. в апреле месяце, Виктор Михайлович Губин, бывший казначей Московского полка, получил чин полковника и сервиз от товарищей по службе. В один вечер Павел Михайлович Губин, брат, Виктора, сказал, что брат его получил сервиз от товарищей и полковничий чин, что он сделал заслугу тем, что он обобрал в Московском полку много прокламаций. Я, бывши у г-на Воронова, где собрались некоторые товарищи, передал слова Павла Михайловича; это было пересказано Губиным, но в превратном виде, именно: будто бы я сказал, что Виктор Михайлович полу-

чил полковничий чин и серебряный сервиз за то, что представил собранные им прокламации в III Отделение. Вследствие этого, я был приглашен на объяснение к Губиным, но объяснение кончилось фразами, не совсем деликатными. Вследствие этого я решил сам их пригласить на объяснение, и поэтому хотел выбрать лиц, которые бы, все выслушав от нас, решили, кто прав, кто виноват? Но это было лишнее потому, что Павел Михайлович сознался, что он действительно говорил эти слова, а если сказал, то нечего было и объясняться. Собственно же листок этот означает то, что я хотел сказать на объяснении.

«Кто составлял наш кружок, это показано на листе № 2-го; какие цели были этого кружка?—Положительно никаких; кружок он назывался потому, что в него не прибывает никто и из него не убывает никто, ходят друг к другу, и больше ничего. Две половины, присяжные и ответственные, названы потому, что те, которые были замешаны в этой истории, не могли участвовать в этом решении, а те, которые названы присяжными, те должны были решить, кто виноват.

«В конце записки были вставлены фамилии, которые и названы: одни — присяжные, другие — ответственные.

«I. *Присяжные:* Студент *Воронов*. Студ. *Крампф*. Служащий в почтамте *Волков*. Студ. *Николаев*. Студ. *Станкевич*. Худож. *Семечкин*.

«II. *Ответственные:* Леонид Михайлович *Губин*, вольнослушающий С.-Петербургского университета. Павел Михайлович *Губин*, служащий в каком-то департаменте. Михаил Михайлович *Губин*, гимназист 2-й гимназии. Г-н *Черкасов*, товарищ Губиных, служащий. Г-н *Гиршельд*, товарищ Губиных. Студент *Тишков*. Почетн. гражданин *Васильев*.

«Прокламацию «Граждане» писал действительно я, но она была написана вследствие различных наговоров со стороны студентов, находящихся под арестом в Кронштадте, говорили постоянно о конституции и т. п., где говорили совершенно непозволительные убеждения, которые я слышал, и если не принимал их, то интересовался ими и не далее как в разговорах. Записку эту я никому не давал читать, и едва ли кто знает о ее существовании. Она писана в Кронштадте во время нашего ареста. Цели она не имела никакой, а писалась потому, что я слышал

эти разговоры, и в часы скуки написал на бумаге. Кто именно говорил об этом, я не могу показать на отдельные личности, но могу сказать, что эти разговоры были распространены почти по всем камерам.

«Это есть 19-й листок, который я не кончил, а 18 из них были отданы мною Пиотровскому в Кронштадтской крепости, где я писал по его просьбе; кому он давал еще писать, я не знаю; а на вопрос мой, что мне от этого может быть плохо, он сказал, чтобы я не беспокоился, что это не может выйти ни в каком случае, и я успокоенный на этот счет написал 18 штук не говоря никому, что я пишу. Листок этот списывался с листка, который был дан мне Пиотровским; я как сказал в прежних пунктах, что был знаком с г-м Пиотровским в Кронштадтской крепости. Он мне говорил некоторые стихи, рассказывал некоторые небольшие истории, говорил свои мысли по поводу вольных суждений. Когда мы более с ним сошлись, он однажды (именно, кажется, в ноябре месяце, если не в середине, то в конце) позвал меня на корридор, и он показал мне листок, который попросил переписать, если мне нечего делать. Делать мне, действительно, было нечего, и я взял; написав один листок, я снес ему, он сказал, что написано хорошо и, если это меня не затруднит, то чтобы я написал несколько их. Я его спросил, что для чего ему? на что он меня спросил, что я уже не боюсь ли чего? — Да! отвечал я, не может ли от этого мне быть плохо? Он меня начал успокаивать, что это ничего не выйдет наружу, и никто не узнает. Этот разговор происходил между нами двумя, когда мы ходили по всем комнатам, которые составляли род галлереи. — И я написал 18 штук. Но 1-й мой вопрос о том, для чего ему их?—остался без ответа, потому что я не переспрашивал».

Вопр. «Сличение этого листка с имеющимися в комиссии подобными листками и с вашими мыслями, выраженными в записке, убеждает комиссию, что вы участвовали в составлении этого возмутительного листка, распространенного в С.-Петербурге, почему комиссия требует, чтобы вы чистосердечно и с полною откровенностью показали: когда и кем составлен этот листок; кто его распространял, где и каким образом; какое именно было ваше в составлении и распространении сего листка участие и кто был сообщником вашим в этом преступлении? При этом объяс-

ните все то, что вам известно о сочинителях и распространителях других подобного возмутительного содержания листков?»

Отв. «На предложенные комиссиею вопросы в 12-м пункте я не могу ничего сказать. Я не участвовал как в составлении прокламаций, печатании их, так распространении и разбрасывании, даже *не все читал.* Читаны мною были следующие прокламации: «Молодую Россию», полученную мною от г-на Воронова; офицерскую прокламацию, которую я нашел на Адмиралтейской площади в апреле месяце и которую по прочтении изорвал; слышал о «Земской Думе». Не знаю ни одного лица, которое было бы замешано в печатании прокламаций, и кроме этого листка, находящегося в комиссии, писанного моею рукою, по просьбе Пиотровского, я не знаю создателей ни одной прокламации, сочинителей — не знаю, печатающих — тоже. И распространяющих тоже не знаю».

Николай Александрович Воронов, 19-ти лет, показал, что с Николаем Васильевым познакомился в Кронштадте, бывши с ним в числе арестованных в 1861 г. В близких отношениях с ним никогда не был. О деятельности содержавшегося в Кронштадте студента Пиотровского ему ничего неизвестно. Составлял ли он возмутительное воззвание под заглавием «Граждане», переписывал ли его Васильев, равно и распространял ли, не знает.

«Найденные у Васильева при обыске сочинение Бюхнера «Сила и материя» и польские стихи, писанные русскими буквами, действительно принадлежат мне. Польские стихи писал я под диктовку одного поляка студента; фамилию его не знаю, потому что невозможно запомнить фамилии почти 250 человек, бывших в Кронштадте, тем более, что все мы были разделены на две части, которые содержались особо. Сообщения между нами были сопряжены с большими затруднениями. От кого я получил сочинение Бюхнера, тоже не знаю. Познакомился я с ним в Александровском парке, и после трех, четырех встреч, бывших между нами совершенно без всякого соглашения друг с другом, он одолжил мне названное мною выше сочинение. И сочинение Бюхнера и польские стихи дал я Васильеву по его просьбе».

«Прокламацию «Молодая Россия» ни от кого я никогда не получал, след., и Васильеву не мог давать. О записке, в которой Васильев в самых дерзких выражениях отзывается о госу-

царе императоре и излагает преступное намерение об убийстве императора и всей августейшей фамилии, я ничего не знаю потому, что Васильев об ней никогда мне ничего не говорил. Что же касается до разговоров, бывших об этом предмете между арестованными студентами, то говорю чистосердечно, что это, по моему мнению, чистейший вымысл, по крайней мере, я ничего не слыхал. Очень может быть, что тайно и говорились такие вещи, но я не могу знать, что говорится тайно».

10 ноября, в присутствии комиссии, священник Петропавловского собора Флоринский увещевал Николая Васильева, чтобы он объяснил сущую истину, вследствие чего Васильев прежние свои показания утвердил, за исключением исправленных следующими:

«Стихотворения, найденные в моих бумагах, согласно с прежним моим показанием, принадлежат мне собственно; но писаны они не под впечатлением слов Пиотровского и не под влиянием его, писаны не собственно в Кронштадте, но часть их была писана уже в Петербурге. Стихотворения же «А он-то все хохочет» и «La Marseillaise» я выписал из тетради студента С.-П. У. Историко-Филологического Факультета Павла Крампфа (отчества не знаю), которую я брал у него в СПБ., а также и «Сказка» выписана оттуда; это было в конце нынешнего года; прочие же стихотворения были составлены мною, которые и были писаны частию в Кронштадте и частию в Петербурге. Показанный мною рассказ и листок с фамилиями и знаками не есть рассказ Пиотровского, но выписано мною из «Полярной Звезды», которую я получил от вышеозначенного студента Крампфа; в какое именно время, я не помню».

«Листок, который гласит: «Граждане! Много и долго мы спали, а нас в это» — писано вовсе не под влиянием Пиотровского и не по поручению его, а писано и составлено было мною. Этот листок был показан Воронову и Емельянову, они прочитали, и мы сообща решили разбросать написанные листки. К нам присоединился и Волков. Всякий должен был написать сколько мог и разбросать — так и сделали; я разбросал 18 листков, то же самое сделали и остальные. Отсюда теперь ясно следует вопрос: «Для чего это было сделано? С какою целью? Не знаю, цели определенной кажется нет, а так, чтобы откликнуться чем-ни-

будь на герценовские идеи. Правда, его идеи... заводить типографии. Но для этого надо иметь средства и помещение, а мы не имели ни того, ни другого. Потому что если бы отец узнал, что у меня находится хотя одна литера, он меня непременно бы свез или к генерал-губернатору или к обер-полицмейстеру, а потому мы откликнулись рукописными листками. — Но цели не было такой, чтобы произвести смуту, бунт и т. п. что-нибудь в роде этого! Нет, по крайней мере я ручаюсь за себя».

«Пиотровский был громоотвод в моем первом показании; но в сущности я его не знал, а показал на него потому, что думал, что следствие дальше не пойдет, потому что мертвых не судят — и дело скорее кончится. Но обещавши дать верный ответ, сказать правду, я считаю долгом не укрывать ничего. Идеи, которые означены выше, т.-е. герценовские, я получил следующим образом: до моего ареста прошлого года, т.-е. до 12-го октября 1861-го года, я не знал ровно ничего, ни даже имени Герцена. Попав же в сообщество студентов, где не говорилось почти ничего, кроме вольных идей, я должен был свыкаться; вначале мне было действительно странно слышать все стихи, которые были читаны разными лицами на память. Но более сближаясь со студентами, я естественно более сближался и с идеями; по выходе из Кронштадтской крепости, я был уже довольно коротко знаком с ними. После Кронштадта я получал различные стихи от Воронова и Крампфа и в этом занятии я провел два или 3 месяца, переписывая стихи, читая их и толкуя о них. Так прошло время до 25 августа 1862 года, когда сделали у меня обыск. Предложенные комиссией мне два листка «Граждане!» один принадлежит мне, на котором я и написал свою фамилию, другой Емельянову, т.-е. им писано».

Николай Николаевич Волков, 20 лет, показал, что Емельянов, Воронов, Крампф и Васильев, хотя ходили к нему, но между ними не было никаких откровенностей, и отношения их ограничивались книгами, которые они брали друг у друга.

«Предъявленную мне в комиссии прокламацию под заглавием «Граждане!» я получил от г. Васильева перед праздником Св. Пасхи; г. Васильев, отдавая мне прокламацию, просил меня переписать побольше экземпляров и передать ему. Но я, получивши прокламацию, тотчас же разорвал, но, по настоянию гг. Воро-

нова, Васильева и Емельянова, я объявил им, что данную мне прокламацию я переписал, но в руки ее не отдам, а просил их объявить мне: что я должен делать с прокламациею; тогда Воронов и Васильев объявили, что я должен разбрасывать их по улице. В самый день Страстной субботы я пришел к Воронову довольно рано и на вопрос Воронова, почему я пришел так рано, сказал я ему следующее, что, проходя по Почтамтскому мостику, увидел за мной бегущего будочника и я в глазах его приклеил прокламацию, то же было сказано Васильеву и Емельянову. По приходе моем к Воронову, пришел студент Крампф. Настояние Воронова, Емельянова и Васильева состояло в том, чтобы я возвратил данную Васильевым мне прокламацию им обратно, вместе с моими, которые я списал, но как у меня их не было, то я не мог их удовлетворить, и прибегнул ко лжи, что будто бы приклеил прокламацию у почтамта».

«Но я не разбрасывал никогда никаких прокламаций и все вышесказанное Воронову, Васильеву и Емельянову было выдуманное. О сообщниках Воронова, Васильева и Емельянова по поводу этой прокламации я ничего не знаю. Что касается до Крампфа, мне неизвестно, знал ли он об этой прокламации или нет. А кем сочинена мне неизвестно, а тот экземпляр, который был дан мне для переписки, был написан рукою Васильева. С почетным гражданином Васильевым познакомился в Думе во время лекции Костомарова чрез брата своего Воронова, в апреле или марте месяце 1862 г. Отношения наши были дальни, я был вхож в дом к ним, и он ходил ко мне, передавали книги для чтения. Встречались в воскресной школе».

«Гг. Воронов, Емельянов и Васильев, как мне известно по их словам, распространяли под заглавием «Граждане!» прокламацию, но как и где, я этого не знаю. Сказанное мне Вороновым о «Молодой России» заключалось только в том, что вышла «Молодая Россия».

Яков Кондратьевич Емельянов, 17 лет, показал, что предъявленный экземпляр не был написан им и он не подбрасывал; об этом экземпляре только слышал от товарищей по университету. Составителей прокламации не знает.

Павел Федорович Крампф, 19 лет, показал, что тетрадей со стихотворениями, равно как и сочинений Герцена, не имеет; если

бы они находились у него, то при повальном обыске были бы найдены и представлены комиссии.

«Записка, найденная в моих бумагах, означает краткие заметки, кому я давал какие книги или номера газеты, где были помещены прокламации Гарибальди к итальянцам, также кому я сообщал портреты Гарибальди. Шилинг сын помещика, где я давал уроки; Николаев, Гогоберидзе, Тишков, Воронов, Спасские, Войцеховский и Лебедев — студенты; брал от них книги, и лекции сообщал им, также давал им свои книги по истории или естественным наукам, познакомился с одними из них в гимназии, с другими на публичных лекциях. Выставленная против фамилий заметка «Письмо к Герцену», обозначает «Письмо Герцена к русскому посольству», замеченное так, вероятно, для краткости; заметка «прокламация» обозначает прокламацию Гарибальди к итальянцам. Следовательно, краткая заметка «взять прокламацию» обозначает «взять тот номер газеты, где была сообщена прокламация Гарибальди». Заметка же «Письмо к Герцену» означает «Письмо Герцена к русскому посольству», как написано, вероятно, по ошибке или рассеянности. Список запрещенных заграничных изданий Герцена я списал с печатного объявления Трюбнера, не зная каким образом ко мне попавшего. Имел этот список для того, чтобы впоследствии, при занятии русской историей и русской литературой, пользоваться ими, как материалом при занятии историей развития русского общества в эпоху XIX столетия. Цифры в первой графе обозначают цену книг английскими монетами, далее «цена» — обозначает сколько они стоят русскими монетами, и, наконец сумма — сколько будут стоить несколько частей одного экземпляра. Держать эти книги я полагал возможным впоследствии или когда они будут продаваться открыто, или от букинистов на толкучем рынке. Предъявленный мне список запрещенных сочинений Герцена писан мною, для того, чтобы впоследствии пользоваться этими книгами, как материалом для истории развития русского общества в эпоху XIX столетия».

На вопрос: «От кого вы получали и для чего списали разные запрещенные стихотворения Пушкина, Лермонтова, Рылеева и Искандера, также и «Михайлову — студенты»?» — Крампф ответил, что «получил их в Кронштадте от лица, ему неизвестного,

списал их решительно без всякой цели; читать никому не давал».

На вопрос: «Откуда и для чего вами выписана статья о государственных доходах и расходах и по какому поводу помещено в конце статьи выражение: «Расходы и займы увеличиваются и налоги увеличиваются без нужды, но ради грабежа, вот где причина революции; но человеку, согласному с мнением Адлерберга, где же это понять?», — ответил, что статья списана в Кронштадте; приписку списал оттуда же, откуда и самую статью.

Вот и весь очень небогатый следственный материал.

Комиссия Голицына, отдать ей справедливость, сразу поняла, что все эти юнцы ничего больше не дадут, что они сами есть прямое знамение времени, одна из очень и очень многих сотен групп таких же не совершенно рядовых, массовых молодых людей, полубессознательно захваченных начинавшимся движением.

Я, в свою очередь, остановил внимание читателя на дела Васильева и его товарищей, как на самом обыкновенном тогда деле: ни одного выдающегося человека, ни одного захватывающего эпизода, ни одной в сущности краски — все серо, бесцветно, но ... непременно противоправительственно. Такова была природа молодежи мелко - буржуазного класса того времени, пока реакция 1862 — 66 годов не дифференцировала ее яснее и не стала комплектовать деятелей последующего движения и более серьезных и более конспиративных.

Определение прав. сената состоялось 24 января 1863 г.:

«1. В составлении воззвания к Гражданам и в распространении его в числе 18-ти экземпляров сознался находящийся прежде сего под следствием за участие в беспорядках, бывших в здешнем университете, и содержавшийся некоторое время в числе студентов и других лиц в Кронштадтской крепости, приготовлявшийся к поступлению в университет, почетный гражданин *Николай Васильев*. Причем Васильев объяснил, что он воззванием этим не желал произвести ни бунта, ни смут, что целью составления и распространения оного был единственно лишь факт составления и распространения, что к подобного рода поступку он вовлечен был как чтением «Колокола», возбудившим в нем желание откликнуться на герценовские идеи, так и разными не-

позволительными разговорами, которые он беспрестанно слышал во время содержания его в Кронштадтской крепости и о которых до того времени не имел понятия. Эти объяснения, однако, по соображению их с делом, по мнению правительствующего сената, не могут быть приняты ни в какое уважение, ибо: во-1-х, имея 18 лет от роду и получив некоторое образование, Васильев не мог не сознавать той тяжкой ответственности, которой должен подвергнуться, в случае открытия его, составитель и распространитель столь противозаконного и злоумышленного воззвания, и следовательно не мог решиться на такой поступок только из желания быть прокламатором, или вследствие чтения «Колокола» и противозаконных разговоров, которых он наслушался; во-2-х, в действиях Васильева видна некоторая обдуманность, ибо он сам говорит, что как одному невозможно было написать и разбросать порядочное количество листков, то он предложил участвовать в этом своим товарищам (Волкову, Воронову и Емельянову). Это, как видно из дела, и было им исполненно; в 3-х, в числе бумаг, принадлежащих Васильеву и в сочинении которых он сознался (бумаги эти не были распространяемы), находятся такие, которые по мыслям и предположениям, в них заключающимся, сходны с воззванием к Гражданам, а одна из них: «Что такое Царь» отличается особенно дерзкими и злобными выражениями о священной особе государя императора и против религии и изложением самых преступных намерений о царствующем доме. Признавая посему Васильева виновным как в написании означенных сочинений, так и и в злоумышленном составлении и распространении воззвания, содержащего в себе призыв народа к восстанию и цареубийству, и приступая к определению следующего ему за то наказания, правительствующий сенат находит, что такого рода злоумышление почитается на осн. 276 ст. Улож. действительным, в статье 275 предусмотренным, преступлением не только в случае, когда виновный сделает какое-либо покушение для приведения намерения своего в исполнение, но даже и тогда, когда он приступил к приготовлению для сего чрез словесное или письменное заявление своих о том мыслей. Вследствие этого, по точному смыслу 276 и 275 ст. Улож., Васильев должен быть подвергнут определенному в последней из означенных статей закона наказанию, т.-е. лишению всех прав состояний и смертной казни.

«II. Отставной канцелярский служитель *Николай Волков*, сознаваясь на допросе в правительствующем сенате в получении от Васильева воззвания к Гражданам для переписки и распространения и в переписке оного в числе пяти или шести экземпляров, из коих один найден был в ставне дома Клеменса, объяснил, что сам он однако воззвания этого не распространял и, переписывая оное никакой цели, кроме исполнения просьбы Васильева, не имел. Соображая объяснения Волкова с требованиями закона, правительствующий сенат находит, что хотя Волков, по обстоятельствам дела, не изобличается в распространении воззвания к Гражданам, но тем не менее он виновен в знании содержания этого воззвания, ибо переписывал его, и в недонесении о намерениях Васильева, в противность 596 ст. 2 кн. XV т. св. зак. угол. Хотя же Волков и говорит, что он не ожидал никаких последствий от воззвания и что не донес о намерениях Васильева потому, что не считал это своею обязанностью, а к тому же боялся потерять свое место на службе, ибо слышал, что доноситель должен содержаться в заключении, но объяснения эти не могут быть признаны уважительными, как потому, что поступок Васильева принадлежит к делам такого рода, о которых, по силе 596 ст. 2 кн. XV т. св. зак., всякого состояния люди должны доносить, под опасением в противном случае строгой ответственности, так и потому, что при всей ограниченности Волкова, в которой правительствующий сенат мог вполне убедиться из письменных его показаний и из личных с ним объяснений, нет однако возможности допустить предположения, чтобы, переписывая воззвание к Граждaнам, Волков совершенно не понимал смысла столь ясно выраженных в нем преступных намерений и всей их важности. Признавая вследствие сего Волкова виновным в принятии участия в злоумышлении Васильева перепиской составленного сим последним воззвания и в недонесении об этом злоумышлении, следует его, Волкова, на основ. 277 ст. улож., подвергнуть равному с Васильевым наказанию.

«III. Студент С.-Петербургского университета *Николай Воронов* и приготовлявшийся к поступлению в университет сын чиновника *Яков Емельянов* не сознались и обстоятельствами дела не изобличаются ни в участии с Васильевым в распространении воззвания к Гражданам, ни даже в знании содержания этого воз-

звания, но тем не менее: а) показания Васильева и Волкова, что Воронов и Емельянов читали воззвание к Гражданам и изъявили согласие распространить оное, причем каждым из них было избрано и место, где должно было разбрасывать воззвание; б) подтверждение показаний этих на очных ставках, данных подсудимым в следственной комиссии и в присутствии сената; в) отсутствие каких - либо побудительных со стороны Васильева и Волкова причин к привлечению Воронова и Емельянова к ответственности и г) неотрицание сими последними некоторых подробностей, при которых, по показанию Васильева и Волкова, сообщено им было воззвание, — навлекают на Воронова и Емельянова сильнейшее подозрение как в том, что они знали содержание воззвания к Гражданам, так и в изъявлении согласия принять участие в распространении его. Усматривая затем из показаний Воронова и Емельянова, что они знали о намерении Васильева распространить, как они говорят, какую-то прокламацию, но не донесли об этом, — Воронов потому, что не предполагал, чтобы намерение Васильева перешло в действие, а кроме того потому, что, зная Васильева, он не предусматривал от прокламации его никакого вреда, — а Емельянов оттого, что не знал содержания прокламации и что, по мнению его, доносить на товарища все-равно, что доносить на брата, правительствующий сенат находит, что хотя и нельзя подвергнуть Воронова и Емельянова наказанию, коему, по силе 596 ст. 2 кн. XV т., подлежат виновные в недонесении о преступлениях государственных, ибо они не изобличаются в знании о содержании написанного Васильевым воззвания, но тем не менее, однако, нельзя и не принять в соображение, что в то самое время, когда распространяемо было воззвание к Гражданам, спокойствие столицы было нарушено беспрестанным появлением всякого рода возмутительных прокламаций, имевших целью изменение существующего порядка в государстве, порицание действий правительства и даже подстрекательство к низвержению оного, и таким образом под словом «прокламация» нельзя было разуметь ничего другого, как призыв к достижению какой - либо из вышеозначенных целей, то следовательно и самое намерение, выраженное Васильевым, распространять прокламацию, какая бы она ни была, составляет уже преступление, о котором, как о совершившемся деянии, они, Воронов и Емелья-

нов, должны были по силе 138 ст. улож. донести. А посему и следует признать объяснения сих подсудимых о причине недонесения ими о намерении Васильева распространять прокламацию неуважительными, а их, как виновных в неисполнении требования 138 ст. улож. и не старавшихся даже отклонить Васильева от приведения намерения его в исполнение, должно подвергнуть, по важности дела, одному из строжайших наказаний, определенных в означенной 138 ст. улож. Вследствие сих соображений правительствующий сенат определяет:

«1-е, почетного гражданина *Николая Васильева,* 18 лет, за злоумышление против жизни государя императора, выраженное в составленном и распространенном им воззвании к Гражданам и других сочинениях, и отставного канцелярского служителя *Николая Волкова,* 20 л., за участие в этом злоумышлении перепискою того воззвания и недонесением о преступных намерениях Васильева, лишить всех прав состояния и повесить.

«2-е, студента *Николая Воронова,* 19 лет, и приготовлявшегося к поступлению в университет *Якова Емельянова,* 17 л., оставить в сильнейшем подозрении как в знании точного содержания составленного Васильевым воззвания к Гражданам, так и в изъявлении согласия распространить оное, а за недонесение о намерении Васильева распространять прокламацию лишить некоторых по 54 ст. улож. прав и преимуществ и заключить в крепость каждого на два года, с последствиями в. 55 ст. улож. означенными,

«и 3-е, не приводя этого решения в исполнение, представить оное, по силе 617 ст. 2 кн. XV т. св. зак. угол., на высочайшее его императорского величества утверждение установленным порядком. Матвей Карниолин-Пинский. Алексей Веневитинов. Борис Бер».

Государственный совет мнением положил: «утвердить по настоящему делу заключение прав. сената и, вследствие и на основании приведенных в определении сената узаконений:

1) *Васильева и Волкова,* лишив всех прав состояния, казнить смертию через повешение и

2) *Воронова и Емельянова,* лишив некоторых прав и преимуществ, заключить в крепость каждого на два года. Но при сем госуд. совет не мог не обратить внимания на то, что по действующим законам, несовершеннолетние преступники подвергаются на-

казанию значительно уменьшенному против того, которое определяется преступникам совершеннолетним по всем родам преступлений и проступков, и что это основное правило нашего уголовного законодательства не имеет и не может иметь своего применения к таким несовершеннолетним преступникам, которые оказываются виновными в деяниях, влекущих за собою смертную казнь. Вследствие сего госуд. совет положил: означенное обстоятельство повергнуть на всемилостивейшее е. и. в. благоусмотрение».

23 марта 1863 г. царь положил резолюцию: «Васильева и Волкова, вместо смертной казни, сослать в каторжную работу на десять лет. Воронову и Емельянову ограничить содержание в крепости одним годом» [1]).

---

[1]) Архив сената 1863 г.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН.

А.

Б.

Д.

Л

М.

Р.

С.

Т.

У.

Ф.

Х.

Ц.

Ч.

Ш.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

Иллюстрации:

